

К. Леонтьев

ПОЛНОЕ
СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
И ПИСЕМ

6(1)

К. Леонтьев





К. Н. ЛЕОНТЬЕВ

Фотография начала 1860-х годов

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(ПУШКИНСКИЙ ДОМ)



К.Н. ЛЕОНТЬЕВ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ И ПИСЕМ
В ДВЕНАДЦАТИ ТОМАХ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВЛАДИМИР ДАЛЬ»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2003

К.Н. ЛЕОНТЬЕВ

ТОМ ШЕСТОЙ

Книга первая

ВОСПОМИНАНИЯ,
ОЧЕРКИ,
АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
1869—1891 ГОДОВ



ФОНД
УНИВЕРСИТЕТ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВЛАДИМИР ДАЛЬ»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2003

УДК 8(47)82

ББК 84(05)

Л 47

Редакционная коллегия

*С. Г. Бочаров, В. М. Камнев,
В. А. Котельников (главный редактор),
Г. Б. Кремнев, А. П. Мельников, О. В. Николаева,
В. П. Сальников, Н. Н. Скатов, А. Феррари,
О. Л. Фетисенко (заместитель главного редактора)*

Тексты подготовили

В. А. Котельников, О. Л. Фетисенко

При подготовке данного тома использованы материалы,
хранящиеся в Российском государственном архиве
литературы и искусства
и в Государственном литературном музее

*Издание выпущено при поддержке
Комитета по печати и связям с общественностью
Санкт-Петербурга*

ISBN 5-93615-021-6 (1 т., кн 1)
ISBN 5-93615-011-9

- © Издательство «Владимир Даль», 2003
- © В. А. Котельников, О. Л. Фетисенко,
подготовка текстов, 2003
- © Санкт-Петербургский университет
МВД России, 2003
- © Фонд поддержки науки и образования
в области правоохранительной деятель-
ности «Университет», 2003
- © А. П. Мельников, оформление, 2003
- © П. Палей, дизайн, 2003

ВОСПОМИНАНИЯ,
ОЧЕРКИ,
АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ

НЕСКОЛЬКО ВОСПОМИНАНИЙ И МЫСЛЕЙ О ПОКОЙНОМ АП. ГРИГОРЬЕВЕ

(ПИСЬМО К НИК. НИК. СТРАХОВУ)

М. Г.

Незадолго до кончины Ап. Григорьева я познакомился с ним. — Имя его я знал и прежде — в первой моей молодости я читал его статьи в «Москвитянине» и сам тогда не знал, верить ли ему или нет? Слог его я находил смутным и странным; требования его казались мне слишком велики. — По критической незрелости моей я тогда был поклонником «Записок Охотника» и мне казалась возмутительной строгость, с которой Григорьев относился к 1-м произведениям Тургенева. — (Григорьев отнесся иначе к более зрелым произведениям этого писателя и доказал этим свой критический такт.) Однако многое и из тогдашних его статей осталось у меня в памяти, и суждения не только о наших, но об А. де Мюссе и др(угих) иностранных писателях, я и тогда это чувствовал, были исполнены глубины, изящества. — Я чувствовал это и тогда, но отчасти благодаря моей собственной незрелости, отчасти благодаря ширине духа самого Аполлона Григорьева, с *трудом вмещавшегося в слово*, я все-таки повторял: «Непонятно, чего хочет этот человек!»

Я не понимал, напр(имер), тогда ясно — почему Григорьев, отдавая справедливость дарованию Писемского, столь сильно предпочитает ему Островского. — И в том, и в другом я видел лишь комизм. — Я не умел тогда понять, что Островский более *положительный* писатель, чем Писемский, что положительность его особенно дорога своим реализмом; — ибо положительность его изображе-

ний была не в идеале, а в теплом отношении к русской действительности, в любви и поэзии, с которой он относился к нашему полумужицкому купеческому быту, несмотря на его суровые стороны и не скрывая их.

Апол. Григорьев искал поэзии в самой русской жизни, а не в идеале; — его идеал был — богатая, широкая, горячая русская жизнь, если можно, развитая до крайних своих пределов и в добродетелях, и даже в страстной порочности.

¹⁰ Так я понимаю его теперь; быть может, я и ошибаюсь, вам, как ближайшему его другу, предстоит исправить мои ошибки.

А. Григор(ьев) стоял особняком. — Оба московские кружки Западников и Славянофилов одинаково отталкивали его.

Разгульная ли жизнь Григорьева, чувственность ли, дышавшая в мыслях его, не нравились строгим Славянофилам, известным чистотою своей семейной и личной жизни, но Григорьев близок с ними не был.

²⁰ Между Аксаковыми и Григорьевым была та же разница, какая есть между теми *вполне русскими* стихами Кольцова, где дышат нравственность и чистая вера, и теми тоже *вполне русскими* стихами Кольцова, где дышат разгул, тоска по разгулу и чувственность.

С Славянофилами я лично не был знаком; зато *изустные* отзывы передовых людей другого рода о Григорьеве были мне хоть урывками, но хорошо известны. — Я бывал тогда нередко в одном доме, где встречал Кудрявцова, Грановского, Боткина, Тургенева и др.

³⁰ Тургенев был всегда блестящим светским человеком, капризно-остроумным в обществе, вроде так хорошо изображенного им Горского («Где тонко, там и рвется»).

Он любил небрежно и даже презрительно отзываться о своей собственной литературной деятельности; — ценил высоко только Пушкина и Гоголя, а из современных ему авторов отдавал справедливость всем, не восхищаясь ни одним. — Строгость его к другим выкупалась, как я сказал, строгостью его отзывов и о собственных произведени-

ях (тогда еще не были им написаны ни «Рудин», ни «Дворянское гнездо»).

А. Григорьева он называл: «огромный склад сведений и мыслей, без всякого регулятора». — Раз он сказал при мне:

— Я ужасно люблю тех, которые меня бранят; — Ап. Григорьев только исключение; — он меня бранит — и я его ненавижу...

Боюсь, что в этом причудливом отзыве баловня судьбы и общественного вкуса крылось тайное сознание того, что из немногих порицателей его только один Григорьев был прав. ¹⁰

Что касается до первого отзыва (т. е. «Григорьев есть склад мыслей и познаний без регулятора») — то я не слышал его от самого Тургенева; мнение это передавал при мне покойный профессор Кудрявцов.

Частная жизнь Григорьева и того круга, к которому, как слышно было, он тогда принадлежал, жизнь, так сказать, неряшливо-разгульная — не нравилась и не могла нравиться тому обществу литераторов, в которое я был вхож. — Я по молодости подчинялся тому, что слышал.

Даровитые и ученые люди этого круга жили все готовыми, ясными европейскими идеями и вкусами; за ними жил тем же самым и я; мне, по крайней моей молодости, казались одинаково чуждыми и Славянофилы, и Григорьев, с своим неуловимым идеалом. ²⁰

Прошло много лет; я долго жил, слава Богу, вдалеке от столиц и от мелкого обмена литературных кругов; — и приехал в Петербург, когда только что стал выходить журнал «Время». — Я не стану объяснять здесь подробно — почему «Время» удовлетворило меня сразу более, чем «Современник», «Русский Вестник» и «Отечеств(енные) Записки»; я скажу только, почему «Время» было мне тогда более по сердцу, чем взгляды московских Славянофилов. ³⁰

Под влиянием отвращения, которое во мне возбуждал «Современник», я стал ближе всматриваться и в окружающую меня русскую жизнь, и в те проявления ее, которые я встречал во время моих странствий; я начинал уже чувствовать в душе моей зародыши Славянофильских наклон-

ностей; — но не дозрел еще, не дорос до отвращения к избитым и стертым, как «крыловский червонец» — формам западной жизни.

К тому же многое рано прожитое было дорого сердцу, и к близкому, еще теплому прошедшему можно отнести тогда лишь вовсе холодно, когда оно заменилось более высоким, более полным идеалом. Московские Славянофилы имели этот идеал; для них он давно был ясен: русский мир и союз его с Самодержавием, Земская дума совещательная с полной свободой действия верховной власти; русская песня и русские обычаи; горячая Вера в Православие, добро и прекрасное; и чистота семейных нравов, полная внутренней свободы, веселья и любви.

Для меня идеал этот тогда не был еще ясен; — и даже отношения мои к тому, что в нем мне было ясно, не были еще теплы.

Я видел, что к Онегину, Рудину и другим подобным лицам, с которыми прожила моя юность, Славянофилы относятся сухо и если не громят их идеалы и их образ жизни так, как громят «нигилисты», то это лишь оттого, что литературные приемы Славянофилов были вообще более возвышенны, более чисты и просты, чем приемы нигилистов, которых сила была в жолчи и площадной цветистости...

Во «Времени» я встречал именно то, чего мне хотелось: теплое отношение к нашему недавнему прошедшему, к нашему *европейскому*, положим, но все-таки искреннему и плодотворному разочарованию. — Другая черта, которая ко «Времени» влекла меня более, чем к московскому Славянофильству — была следующая: «Время» смотрело на женский вопрос (собственно на его психическую, а не грубо-гражданскую сторону) менее строго, чем смотрели московские Славяне. — Московские Славяне переносили собственную нравственность на нравы нашего народа. — Я сомневался, правы ли они. — Мне казалось, народ наш нравами не строг, и очерки Писемского («Питерщик» и др.) казались мне более русскими, чем благочинные изо-

бражения Григоровича. (Здесь не место объяснять, счел ли себя и «Время» правыми впоследствии или нет.)

Следующие стихи А. Григорьева

Русский быт —
Увы! — совсем не так глядит,
Хоть о семейности его
Славянофилы нам твердят
Уже давно, — но, виноват,
Я в нем не вижу ничего
Семейного... О старине 10
Рассказов много знаю я,
И память верная моя
Тьму песен сохранила мне
Однообразных и простых,
Но страшно грустных... Слышен в них
То голос воли удалой,
Все злою долею женой,
Все подколодную змеей
Опутанный, — то плач о том,
Что тускло зимним вечерком 20
Горит лучина, — хоть не спать
Бедняжке ночь, и друга ждать,
И тешить старую любовь, —
И т. д., и т. д.

мне казалось, вернее *специфировали* великорусса, чем «4 времени года» Григоровича и др(угие) тому подобные вещи. — Не отрицая явлений и такого рода, я говорю только, что не они характеристичны для нашего крестьянства, для великорусско-казачества, для миллионов раскольников наших, *в высшей степени великорусских* — особенно когда мы хотим сравнить их с благочестивыми и 30
тяжелыми землепашцами Западной Европы.

Поэзия разгула и женолюбия, казалось мне, не есть занесенная с Запада поэзия, — но живущая в самых недрах народа.

Итак, эти две черты: теплое отношение к печальным, но изящным идеалам 40-х годов, и меньшая строгость по женскому вопросу влекли меня более ко «Времени», чем к

московским Славянам, — хотя я с каждым годом все более и более чтил их.

«Время» не выяснило определительно своей задачи, вы с этим должны согласиться; главная вина «Времени» против публики (и еще более против самого себя) была та, что оно не выработало в *собственно гражданских отделах своих ничего своеобразного*; если бы в гражданских отделах своих оно по крайней мере бы держалось явно Славянофильского идеала, то дела пошли бы лучше. — Но оно, кроме простой демократии, которая с большей силой и ясностью проповедывалась в «Современнике», ничего не давало. — Но в этом виноваты были не Вы, не Григорьев.

В других отделах «Время» было занимательно, но все-таки не ясно для большинства. — Лучшие статьи принадлежали Вам и Григорьеву; — но выводы их были все-таки не резки. — Я говорю не о себе; — я, мне казалось, понимал Вас, Григорьева и всю редакцию так:

В будущем мы желаем для России жизни полной и широкой, но своеобразной донельзя; — перед этим своеобразием пусть побледнеет и покажется ничтожным наше полу-европейское недавнее прошедшее. — Однако и к этому недавнему прошедшему мы не можем относиться без теплоты. — И в нем мы видим элементы, без которых не может обойтись богатая национальная культура и жизнь; мы бы желали только, чтобы эти общие элементы приняли бы более русские формы.

Так ли я понял Вас и Вашего друга? Если я ошибся, повторяю, поправьте меня.

Итак, взгляды «Времени» были мне по сердцу; — но, не любя никаких литературных сближений, я не спешил знакомиться с Григорьевым.

Наконец — любовь моя к литературе взяла верх над моим отчуждением от литераторов — и я, встретив раз Григорьева, на Невском, попросил шедшего со мной одного его знакомого представить меня ему.

Мы зашли в Пассаж и довольно долго разговаривали там. — Насколько помнится, «Время» уже пало, и Григорьев издавал тогда «Якорь».

Я был в восторге от смелости, с которой он защищал юродивых в то положительное и практическое время и не скрывал от него свое удовольствие.

Он отвечал мне:

— Моя мысль теперь вот такая: *то, что прекрасно в книге, прекрасно и в жизни; оно может быть неудобно — но это другой вопрос. — Люди не должны жить для одних удобств, а для прекрасного...*

— Если так, — сказал я, — то век Людовика XIV со всеми его и мрачными и пышными сторонами в своем роде прекраснее, чем жизнь не только Голландии, но и современной Англии? Если бы пришлось кстати, стали бы вы это печатать?

— Конечно, — отвечал он, — так и надо писать теперь и печатать!

Немного погодя я встретил Григорьева опять на Невском. Не помню, по какому поводу шел по улице Крестный ход. — Григорьев был печален и молча глядел на толпу.

— Вы любите это? — спросил я, движимый сочувствием.

— Здесь, — отвечал Григорьев грустно, — не то, что в Москве! — В Москве эти минуты народной жизни исполнены истинной поэзии.

— Вам самим, — прибавил я, — вовсе нейдет жить в этом плоском Петербурге; — отчего вы бросили Москву?..

Григорьев отвечал, что обстоятельства сильнее вкусов...

Я был потом несколько раз у него. — Жилище его было бедно и пусто.

Я сначала думал, что он живет *не один*. — Я знал еще прежде, что он женат, и раз на Святой Неделе спросил у него: — отчего у Вас, Славянофила, не заметно в доме ничего, что бы напоминало русскую Пасху?

— Где мне, бездомному скитальцу, праздновать Пасху так, как ее празднует хороший семьянин! — сказал Григорьев.

— Я думал — вы женаты, — заметил я.

— Вы спросите — как я женат! — воскликнул горько Аполлон.

Я замолчал и вспомнил о том, что слышал прежде о его семейной жизни. — Я вспомнил, как говорили, что он и семейную жизнь свою поставил совсем *особо, по-своему*; — и понял, что избранный им смелый и странный путь породил, по несчастию, разрыв и нечто еще худшее разрыва. — Так слышал я; но *теперь* я не позволю себе высказать все это яснее и подробнее.

Вскоре после этого Ап. Григорьев пропал без вести. — Вы сами, помните, не знали, где он. — Я долго искал его; нашел, наконец, его бедный номер в огромном доме Фридерикса; но не застал его дома, и мы уже больше не встречались. — Я уехал из России; а Григорьева через год не стало.

Вдали от отчизны я лучше вижу ее и выше ценю. — Не потому я ее ценю выше, что дальше от ее зол, как подумают иные; — а потому, что больше понимаю, узнавши больше чужое. — Страна, в которой я теперь живу, особенно выгодна для того, чтобы постичь во всей ширине историческое призвание России. — И эта мысль одна из величайших отрад моих. — Но иногда я с ужасом вспоминаю о том, как вымирают прежние люди на всех поприщах, и боюсь, что долго некому будет заменить их.

Чем знаменита, чем прекрасна нация? — Не одними железными дорогами и фабриками, не всемирно-удобными учреждениями. — Лучшее украшение нации — лица, богатые дарованиями и самобытностью. — Лица даровитые и самобытные не могут быть без деятельности творчества; — когда есть лица, есть и произведения, есть деятельность всякого рода. — Ограничимся на этот раз только литературным поприщем в самом пространном значении этого слова; — хотя и на других поприщах мы бы могли найти сходные явления и задать себе тот вопрос, который

тревожит иногда сердце. — Какими оригинальными дарованиями, каким русским творчеством заменят поколения 70-х годов, когда исчезнет богатое духом поколение 40-х годов? — Когда-нибудь не станет ни Островского, ни И. Аксакова, ни Каткова, ни других современников Ап. Григорьева; — как не стало ни Грановского, ни Кудрявцова, ни К. Аксакова, ни Хомякова, ни Станкевича, ни Кольцова, ни Шевченки и Белинского, — как *духовно* не стало Тургенева после «Отцов и детей». — «Дым» доказал, что сам автор духовно стал не что иное, как *прах*. — Какие национальные «образования» заменят их? — Многие из этих людей 40-х годов (отцы тургеневские) доказали, что они способны быть не только мыслящими Рудиными, но и стать во главе практических учений; — способны неусыпными трудами прокладывать свежие пути; являться в трудные минуты с духовной поддержкой колеблющемуся обществу. — Кто заменит их? — Здесь дело не в учении, а в личности. — Пространственная даль, в которой я живу от России, почти то же, что историческая даль прошедшего. — Каково бы ни было направление, лишь бы окончательная форма его была *своя, наша* и дышала бы силой!

Россия, дорогая Россия, неужели ты не дашь пышную эпоху миру, когда даже и то, чего недоставало тебе прежде, — политическое движение умов — нынче тебе дано, и семена этой жизни неугасимы никакой временной усталостью? — Неужели ты перейдешь прямо из безмолвия в шумное и безличное царство масс? — В безличность не эпическую, не в царство массы бытовой-русской, — а в безличность и царство массы европейской, петербургской, в безличность торгашескую, физико-химическую и чиновничью?

Аполлон Григорьев был и сам *лицо*, и все сочинения его дышали особенностью, и несколько недосказанное направление его было — искание прекрасного в русской жизни и русском творчестве.

Ап. Григорьев хотел и старался дополнить во «Времени» и в «Якоре» то, чего, по его мнению, недоставало строгим Славянофилам (которых он высоко ценил) для всесторонней оценки русской жизни.

Пока все еще трепетало перед тем внезапным порождением прежнего либерализма, которое уже и запоздалому пониманию европейцев теперь известно под именем «нигилизма русских», — Григорьев продолжал служить прекрасному; — не тому только прекрасному, что зовут «искусством» и что цветет на жизни, как легкий цвет на крепком дереве, но прекрасному самой жизни, прекрасному в мире современных движений, в мире политических учений, в мире борьбы. — Идеал Добролюбова и его друзей не мог не быть ненавистен ему; — но оттого, что сокол высиживает куриные яйца, сокол не перестанет быть смелой и ловкой птицей; — и Григорьев уважал Добролюбова, как лицо и деятеля. — Но в то же время он решался защищать и «юродивых» в «Якоре» и, основательно утверждая: *что прекрасное в книге прекрасно и в жизни*, — указывал на задушевные изображения в наших повестях этих лиц, неподходящих под утилитарную классификацию.

Эта критическая всесторонность вредила Ап. Григорьеву; — его не понимали; — имя его никогда не было популярно; — на многих грошовых устах это имя возбуждало улыбку, — иногда презрения, иногда мудрой благосклонности к бедному безумцу.

Иные в его статьях находили нечто тайно-растленное; — они были не совсем неправы. — Для себя лично он предпочитал ширину духа — его чистоте. — В статьях его было веяние, схожее с той струей, которая пробегает по сочным и судорожным сочинениям Мишле. — Но он не скрывал этого ни от себя, ни от других; — не боялся подобного обвинения. — Он знал, что в полной жизни прекрасно и полезно не одно только интензивное, строгое и чистое; — он знал, что и в мире гражданских учений нужны не только политический, нравственный и религиоз-

ный аскетизм, — но и широкие критические взгляды, которые в одно и то же время и выше и ниже временно-практических настроений. — Ап. Григорьев становился к своему времени в положение историческое. — Подобно тому, как хороший современный француз равно ценит в прошедшем и Боссюэта, и Мольера, и Рабле, и Кальвина; — как англичанин одинаково считает украшением английской истории и Кавалеров, и Пуритан, — так и Ап. Григорьев равно умел своей художественно-русской душой обращаться и к Славизму и Православию, и к притупившемуся у нас (вероятно, на время) философскому пониманию, — и к железным проявлениям матерьялизма, того матерьялизма, который, хотя по содержанию ни русский, ни немецкий, ни французский, а всемирный, но которого приемы — как бы грубы они не были — мы должны признать вполне русскими.

«Он сам не знает чего хочет!» — говорили про Григорьева.

Один молодой и умеренный либерал, не совсем дурак, но, конечно, и не умный, сказал мне в Петербурге: «охота Вам читать эту мертвечину — Ап. Григорьева!»²⁰

Я скоро после этого перестал с ним видаться, так он мне стал гадок своей казенной честностью, казенными убеждениями, казенной добротой, казенным умом.

Не порок в наше время страшен; — страшна пошлость, безличность! — Безличность бытовая, безличность, согнутая под ярко-национальное ярмо — почтенна и плодоносна, — но бесплодна и жалка наша общеевропейская пошлость!

Чтобы было яснее понятие этой общеевропейской пошлости, я вспомню одну статью из-за границы, напечатанную лет 5—6 тому назад в какой-то газете; — статья эта была написана не слабо и врезалась мне в память; — ее написала Евгения Тур. — Г-жа Тур назвала в ней русских «варварами» за то, что они толкуют о Ст. Милле и Бёкле, не понимая их. — Незаслуженный комплимент! — К несчастью, именно эти заграничные путешественники³⁰

нисколько не варвары, а вероятно, люди пошлые! — Пускай бы они были варварами, но такими, какими были Суворов, Потемкин и другие «екатерининские орлы», какими суть наши крестьяне, иные герои Островского и казаки Толстого. — Нация больше выигрывает от подобных варваров, чем от многих наших европеистов и писателей. — Кстати, желательно было бы знать, как понимает Милля и Бёкля сама авторша этой маленькой громовой выходки? — Называя других варварами (не в смысле свежести, а в смысле глупости) — надо было бы самой научить их, как понимать этих двух свободолюбцев — Бёкля и Милля, вовсе не похожих друг на друга. — Отдает ли себе ясный отчет г-жа Тур в том, что если бы человечество решилось внимать только Бёклю, который так серьезен в приговорительном труде и так мелок в общем выводе, — то через несколько десятилетий не стало бы ни религии, ни поэзии, ни искусства, ни славы, ни природы; — а если бы человечество поняло, что есть между строками у Милля, и, главное, послушалось бы своих догадок, — то оно бы вело войны, как ведет оно и теперь, но без лицемерных оговорок, не спешило бы везде вводить Парламентское устройство и строго запретило бы обрабатывать все пустыни, несмотря на мирно-либеральные увещания, которыми задобривает читателей этот, хотя и стесненный духом осмотнительного века, но все-таки смелый мыслитель. — Ибо: 1, — войны развивают индивидуальность как наций, так и лиц; — они прямо и косвенно подают людям повод обнаруживать творческие силы; — напр(имер), одно Ватерлоо дало множество превосходных страниц искусству, и давно ли еще напечатано было удивительное произведение Эркмана-Шатриана «Waterloo», от которого и слезы готовы литься, и волосы встают дыбом у самого закоснелого в чтении человека! — Ибо: 2) Парламентское устройство бессильно само по себе возвысить обедневшую духовно нацию. — А эпохи, полные жизни и творчества, бывали велики и без свободных учреждений: Германия Фридриха II, Марии Терезии, Гёте, Канта и

Бетховена была благороднее, прекраснее нынешней Швейцарии или нынешних Соединенных Штатов, знаменитых своим самоуправлением и своим мещанством. — В 3-х, ибо сам Милль говорит, что не следует человеку быть беспрестанно в обществе, — что с обработкой всех пустынь, с уничтожением дремучих лесов и диких зверей пропадет всякая глубина человеческого духа (и где же говорит он это, — не в книге «О свободе», — но в своей Политической Экономии!).

Чтобы доказать другим, что они пошлы, надо было самой авторше умудрить своих бедных соотичей. — Что же касается до названия *варвары*, — то это просто обмолвка; — это название слишком лестно для людей, которые носятся по железным дорогам Европы из гостиницы в гостиницу. — Вот г. Щедрин назвал их гастро-половыми космополитами, и в награду его самого можно назвать «Варвар севера надменный!» — Русский варвар мог вдохновить Беранже, который написал «le coursier du cosaque»; — но кого вдохновят (не отрицательно) те люди, которые оскверняют Невский своим пасквильно-европейским видом?

Отступление это не случайно. — У Ап. Григорьева²⁰ было именно то, что бы порадовало Милля и испугало Бёкля, если бы они оба его знали; — Милль увидал бы в нем индивидуальность человека и писателя; — а Бёкль понял бы, что для него *чистый рассудок* («разум» у Бёкля!) вовсе не был путеводной звездой. — Лично я, к несчастью, мало был знаком с Григорьевым, и биографические подробности о нем у меня почти всё отрывочные.

Мне нравилась его наружность; его плотность; его добрые глаза, его красивый, горбатый нос; покойные, тяжелые движения, под которыми крылась страстность. —³⁰ Когда он шел по Невскому в фуражке, в длинном сюртуке, толстый, медленный, с бородкой; когда он пил чай и, кивая головой, слушал, что ему говорили, он был похож на хорошего, умного купца, — конечно, русского, не то чтобы на негоцианта в очках и стриженных бакенбардах!

Один из наших писателей рассказывал мне о своей первой встрече с Ап. Григорьевым; — эта встреча, кажется,

произошла уже давно. — Писатель этот сидел в одном доме, как вдруг входит видный мужчина, остриженный в кружок, в русской одежде, с балалайкой или гитарой в руках; — не говоря ни слова, садится и начинает играть и, если не ошибаюсь, и петь. — Потом уже хозяин дома представил их друг другу.

Когда я хочу знать биографию лица, мне недостаточно отчета о его общественной деятельности, — я хочу знать все его слабости, все пороки, все домашние дела, все его привычки; всю анекдотическую часть его жизни. — Представляя себе Наполеона I-го, я думаю не только о Маренго, Аустерлице, Бородине и Пирамидах, об административной энергии его, об его законодательстве и т. п. вещах, — нет, — я интересуюсь тем, что он нюхал табак, что он носил серый сюртук, что ему нравилась одно время г-жа Рекамье, что в Москве он страдал геморроем мочевого пузыря, что в молодости он был хуже собой, чем в зрелости и т. п.

Многие читатели прощают Руссо его колебания; любят придворное тщеславие Гёте; забавную аккуратность Канта; оргии Байрона и Шеридана; грубости Петра I-го. — Смесь пороков и благородства, смешных привычек с паразитическими силами чувств и ума — сильнее действует на всех, чем безупречная плоскость. — Этот вкус читателей не есть, как обыкновенно думают, праздное любопытство; — не праздное любопытство также и страсть многих к анекдотам про разные странности, привычки и выходки известных людей. — В этих вкусах, кроме естественной и похвальной любви к увлекательному, есть как бы научное предчувствие. — Когда мы описываем растение, мы не говорим только о прикладной его части, об аптечных, фабричных и кухонных свойствах его; — подробное описание этих свойств предоставляется особым отраслям науки; — для описательной же ботаники интересны, напр(имер), в шафране — не одни только лекарственные красные тычинки его, но и корень, и листья, и микрография клеточек, и красота лепестков; — ботаник обязан не пропускать

даже таких мелких органов, или придатков, которых польза для самого растения до сих пор непостижима.

К несчастью, повторяю, я знал Григорьева очень мало; — знал, напр(имер), что он жил бедно и, кажется, очень беспорядочно; — знал о некоторых пороках и слабостях его, слышал, как его иные звали литературным Любимом Торцовым. — Но всего этого недостаточно. — Я бы желал, чтобы друзья Ап. Григорьева, которые знали его хорошо, не стесняясь никакими обыкновенными приличиями, составили бы биографию, достойную этой страстной и мыслящей натуры.*

Бояться обнаруживать ошибки и темные проступки любимого человека, значит мало надеяться на его достоинства и привлекательность. — Наконец и то сказать, — половина читателей в самой жизни предпочитают таких беспутных людей, каков был, напр(имер), А. де Мюссе, — людям обстоятельным, вроде Канта. — А в чтении и спора нет, что биография последних настолько же бледнее и скучнее, насколько трактат о красильных веществах скучнее и ниже книги Шлейдена «Растение и его жизнь»!

Нельзя не настаивать, чтобы у нас писались хорошие, подробные и откровенные биографии. — У нас до сих пор нет ни одной ясной художественной биографии таких лиц, как Императрица Екатерина 2-ая, Потемкин, Кутузов, Лермонтов, Хомяков и т. д. — Все сведения отрывочны. — Из существующих биографий — одни казенны, другие кратки и поверхностны. — Свое прошедшее мы знаем мало; — а нам знать свои, хотя бы и поблекшие, начала нужнее, чем кому-нибудь, ввиду гражданских реформ, в соседстве подавляющей культуры Запада и той внутренней работы душ, которая недоступна политическому миру, но зато глубоко изменяет на наших глазах семейную и общественную жизнь нашу. — Свое ближайшее про-

* К несчастью, находясь далеко от России, я не мог достать статьи об Ап. Григорьеве, написанную несколько лет тому назад г. Аверкиевым. — Быть может, и нашлось бы там отчасти то, чего я желаю.

шедшее мы знаем мало; — молодым людям, вырастающим теперь, не только XVIII-й век, но и вся первая половина XIX будет скоро казаться смутной картиной без живых лиц и теплоты, из глубины которой будут до них долетать только стоны рабов, шопот взяточников и команда генералов. — Да возгордятся они своей прогрессивной и бестолковой беспорочностью!

А между тем не только рабы, не только генералы, но и самые взяточники были люди, и 1000 теплых или отрад-
ных¹⁰ подробностей их жизни пропадают для истории. — Каковы бы они ни были, — они были *русские*, а нам нужно знать Россию не по одним официальным и обличительным крайностям. — Нам нужно знать, какие народные начала хорошо бы выработать, — нам надо даже знать, какое зло терпеть необходимо, чтобы быть *самим собою*, а не отсталыми и робкими лакеями европейских успехов; — чтобы отчизна наша все больше день ото дня занимала в мире то духовное положение, к которому она пышностью своих составных частей призвана, помимо вся-
кой²⁰ политической силы, давно уже доступной ей.

Я не говорю уже о крестьянах, о купцах, раскольниках, казаках, обо всем том, что носит на себе, слава Богу, еще долго неизгладимую русскую печать; — я говорю о нашем помещичьем и чиновничьем обществе, которое, хотя и менее народно, чем народ, но вполне все-таки и ни на одно иностранное общество не было похоже, и не похоже и теперь.

Положим, наше общество 30-х, 40-х и 50-х годов было заражено космополитизмом до низости; — положим, наши дамы говорили иногда: «как я могу интересоваться героем, которого зовут *Петр Иванович?*», — положим, наши лихие офицеры, которые как следует бились под Севастополем, слишком ласкались к европейцам при мирных свиданиях с ними. — Но разве этот неслыханный космополитизм не наша черта? — разве не вызван он был особыми историческими условиями, не похожими ни на французские, ни на греческие, ни на турецкие, ни на германские условия? —

Дело не в том, чтобы хвалить его, но чтобы изучить и понять, почему люди самые сильные, умы самые самостоятельные были так робки в этом случае. — Почему до сих пор еще этот космополитизм делает у нас успехи? — Разве это не любопытно и не поучительно? — Положим еще, что, кроме неуместного космополитизма, есть еще другая общая черта у русского общества — это какая-то неопределенность, расплывчатость, недоконченность многих отдельных явлений. — Какое-то соединение сложности и бледности. — Трудно сказать про наше общество то, что легко без ошибки сказать о других обществах: «семейное начало правильно и сильно в Германии и Англии; — в Италии свобода супружеских нравов доведена донельзя» и т. д. Можно ли сказать так резко о нашем обществе? — Конечно, нет! — С одной стороны, семейная жизнь, домоседство, власть старших, доходящая до деспотизма; — с другой — бродяжничество, цыганство со всеми его дурными и хорошими последствиями, неслыханная, свирепая эмансипация детей. — Молодые люди, «Дети» нашего времени, вырастают под самыми противоположными влияниями; — сын набожного купца становится нигилистом; — вчерашний космополит и атеист начинает ходить в церковь чаще, чем ходила его мать-помещица. — Один брат сочувствует полякам, другой Муравьеву; — Государство одевает войска в *кепí*, а молодые люди заказывают себе поддевки и красные рубашки; — демагог, почитавши статьи Антоновича, поступает на службу и знакомится с людьми высшего круга; — богатый и знатный гордец понижает тон. — Электричество гражданских учений пробегает по обществу и целой нации, которую реформы и фактическая свобода слова застали в сложном и бледном виде, завещанном нам 40-ми годами. — Краски начинают выступать несколько ярче, но все еще недостаточно. — Их надо сознать и оценить во всей полноте. — А много ли мы знаем про себя? — И если знаем кое-что, то давно ли? — Где у нас мемуары? — летописцы недавнего и уже забываемого прошедшего? — Где биографии знаменитых

людей? — Сколько оригинальных русских характеров утасло в неизвестности. — Многие ли у нас знают Кавказ, казаков, русское крестьянство, жизнь мусульманских племен нашей отчины? — Кто знает Финляндию, Сибирь? — Давно ли открыли, что есть на свете Белоруссия? — Где у нас ясные сведения о придворной жизни прошлого и запрошлого царствования; — и это было бы полезно изучить без светской исключительности и без скрежета плебейской зависти. — Самые подробности о великой борьбе 12-го года исчезают на всех концах России вместе со стариками и старухами, которые и не подозревают, какие сокровища уносят с собою в могилу. — Ввиду подобного невежества нельзя не дорожить всяким биографическим отрывком, всяким плохим подобием записок и воспоминаний.

Нашим писателям вообще свойственна добросовестная объективность, любовь к мелочам, крайне неуместная в области искусства; — для биографий же и воспоминаний она более чем полезна. — Панаева обвиняли за его пристрастие к описанию поз, ногтей, рубашек и т. п.; — я с этим не согласен; — за неимением лучшего и его «Воспоминания» пригодны. — И эта деревянная объективность в них менее возмутительна, чем в «Хлыщах» и т. п. искусственных, ложно-творческих мерзостях, где нет ни реальной, ни художественной правды.

Такие грубые, неумные, жалкие писатели повестей, как: Успенский, Станицкий и др⟨угие⟩, к⟨ото⟩рым имя «легион», были бы очень почтенны, если бы обратили свою поверхностную наблюдательность на службу современной истории, — вместо того, чтобы осквернять мир своим творчеством. — Разумеется, для них (особенно для Станицкого) это уже поздно; — и угол зрения у многих из подобных творцов более современно-дидактический, чем научно-верный; — но под словами Станицкий, Успенский и т. п. я разумею нечто генерическое, ужасное в искусстве, но достаточно способное для летописи. — Такие умы всегда будут и, лишь бы дидактизм и разные полезные негодования не сбивали их с пути, они могли

бы изготовлять матерьялы для биографий, для истории общества и народа, предоставляя умам более обширным делать выводы и давать направление.

Когда издали посмотришь на богатство наших начал, — то и писать об них как будто нет охоты. — Кажется — всякий это видит и знает, всякий этому радуется! — Однако на деле немногие это видят. — Немногие чувствуют, какую богатую жатву для всемирной истории готовит эта нация, в которой варварство самое темное и чреватое будущим живет рядом с усталой утонченностью, с глубокими познаниями, в которой этнографические и климатические условия так разнохарактерны и в которой разъединение сословий оставило надолго следы своеобразных путей развития. — Германия, Франция, Англия дали столько лиц истории в 1-ой половине нашего века; — все эти лица оставили столько влияний и плодов в мире политики, в мире семейном, в искусстве, философии, промышленности, что почва, их породившая, надолго, кажется, изнурена. — Не гниения надо за них опасаться; — гниение ужасно, но плодотворно; — им грозит скорее иной вид омертвения — окаменелость духа. — Все, что в них есть еще замечательного, выработано прежде; — молодое безлично и принуждено повторять зады в разных направлениях. — Близкое будущее есть только у России и у греко-славянского мира Турции и Австрии.

И, не говоря даже о будущем, настоящее России уже полнее и богаче содержанием, чем настоящее трех путеводных наций Запада; — своеобразными характерами мы и теперь богаты; — славные лица старого времени, подобные Генералу Муравьеву, еще живы и приобретают исторические имена; — а молодое растет на почве, богатой самыми противоположными началами. — Лишь бы это молодое сумело понять свое призвание! и не засыпало бы на готовых либерально-европейских рецептах. — Я повторяю, — *дело родит лица, а лица ролят дело.* — Резкие лица не могут долго оставаться при одной, бесплодной для общества, оригинальности; — и даже едва ли возможна

полная бесплодность оригинальности. — Монах, удалившийся в столб, продолжает действовать на людей, возбуждая в них своим потрясающим и смиряющим примером религиозное чувство; — какой-нибудь резкий чудак не обойдется без влияния, хоть на тесный кружок семьи и друзей, не говоря уже о том, что он украшает жизнь самим фактом своего существования.

10 В той гамме индивидуальностей, которой и теперь уже не бедна Россия, Ап. Григорьев занимал не последнее место. — И друзья его, как я уже выше сказал, должны, не стесняясь его недостатками и проступками (если таковые были), познакомить нас с ним короче. — Если иные вещи не хотят печатать *теперь*, пусть запишут и сохранят. — Сколько должно было быть страданий и высокого блаженства, сколько переходов в этой жизни!

20 Я не скажу — он умер рано; — я думаю, на срок нашей деятельности есть мера выше нашей. — Быть может, предоставленная ему Свыше доля влияния — исполнится и расширится после его смерти, — благодаря тому, что привлечет внимание многих к его имени и к сочинениям его, которые необходимо издать отдельно. — Не было ли того же с Белинским? — Многие ли знали его при жизни? — Я хотел сказать о нем, что думал, соображая дух его статей с тем, что заметил сам в 4—5 свиданий; — я знаю — это очень бедно и недостойно его, — но источников у меня нет, а душа и без них чувствует общую истину его угасшего бытия.

30 Мы часто ищем *русских* лиц. — Вот вам одно из них; — он был похож только на *русского* и еще на *себя самого*.

Примите, Мил(остивый) Г(осударь), уверение и т. д.

1869; Июнь.
Царьград.

Н. Константинов

МОЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СУДЬБА

[I]

Мне был 21-й год, когда я написал комедию: «Женитьба по любви».

Я сказал, что учился тогда медицине. Жил я на Остоженке. — Почти напротив нашей квартиры был довольно большой старый деревянный дом *Лошаковской*. — Я часто проходил мимо его, не подозревая, что он будет иметь такое большое значение в моей жизни. — Я не знал, что в этом доме жила мать Тургенева, которая скончалась именно в тот год, когда я написал «Женитьбу по любви».¹⁰

Это было, выражаясь языком университетским — в 50/51 академическом году.

Я был на втором курсе и очень много страдал в этот год.

У меня болела грудь, и я беспрестанно был нездоров. — Знакомства у меня были большею частью в богатом и высшем кругу; а денег не было.

В семье своей мне многое не нравилось. — Я был самолюбив; хотел от жизни многого, ждал многого и вместе с тем нестерпимо мучался той мыслью, что у меня чахотка.²⁰

Медицина меня тяготила; хотя, конечно, были минуты, в которые меня занимало что-нибудь на лекциях. — Общие научные выводы, общие идеи занимали меня больше, чем подробности. — Подробности стали несколько нравиться мне позднее на 4-м курсе у постели больного и еще

больше в военных больницах, где я уже был сам хозяином и распорядителем. — Впоследствии времени я стал лечить недурно и часто удачно. — Мне кажется, впрочем, что и в самые вопросы о том — дать ли тут опиум или aqua laugocerasi, пустить ли кровь или не пустить — я стал вникать не столько из любви к науке или из корысти, или из самолюбия, сколько из чувства долга и *так называемой гуманности*, на которой я тогда был просто помешан.

Одним словом, вынужденный обстоятельствами поступить на Медицинский факультет, я полюбить медицину искренно все-таки не мог. — Она всегда тяготила меня, и я от нее освободился при первой возможности.

Так что наука не могла никак утешать меня и особенно на втором курсе, где еще не было передо мною *живых страдальцов*, возбуждавших мое участие, мое рвение, мое самолюбие, а только подавленные старики, замерзшие на улице пьяные, убитые блудницы, которых трупы терзали студенты, смеясь и кощунствуя всячески.

Меня не занимала грубая веселость моих товарищей. — Видимо, они ни о чем почти не беспокоились и не думали, кроме экзамена и карьеры своей. — Я же с утра до вечера думал и мучался обо всем.

Я только что утратил тогда детскую религию; — только что перестал молиться; — успокоиться на каком-то неясном деизме, эстетическом и свободном, на котором я успокоился позднее, я в то время еще не мог; — а до серьезного горячего Православия последних лет моей жизни было еще очень далеко.

Все тогда меня мучало: безверие, жизнь в семье, болезни, безденежье, подавленное самолюбие, университетские занятия, которые мне не нравились и к которым я принуждал себя, чтобы кончить *во что бы то ни стало* курс в высшем заведении.

С другими студентами я не знакомился; мне казалось, что они ничего не понимают, и потом у многих были такие некрасивые лица; а я всегда любил изящное даже и в товарищах.

Я на лекциях даже почти ни с кем не говорил и как будто боялся всех.

Был у меня один только друг. — Он был тоже студент, двумя годами старше меня. — Но от него я видел больше горя и оскорблений, чем радости. — Я не буду много об нем говорить; — скажу только, что он был для меня тем, чем был Мерк для Гёте, Мефистофель для Фауста. — Но у него ирония и отрицание происходили не от недостатка поэзии или идеализма; а скорее от злобы на жизнь, которая не давала ему ничего. — Большинство товарищей не обращали на него внимания, — считали его просто *чудаком*; — но те немногие поумнее и поразвитее, с которыми он сближался, подчинялись немедленно его уму, или лучше сказать смело — его гению.

Он *отравился* в 65 или 66 году. — Я его совсем потерял из виду с 54 года; — но еще в 51-м я прервал с ним все сношения, потому что он уже тогда сделался нестерпим, жолчен и несправедлив.

Об нем одном можно было бы написать очень много; — но здесь я хочу упомянуть об нем только потому, что он своими советами имел большое влияние на мои литературные занятия и сверх того, самая комедия «Женитьба по любви» без него не написалась бы.

Я сказал, что мне тогда очень было тяжело жить на свете; — я говорил, что страдал тогда от всего: от нужды и светского самолюбия, от жизни в семье, которая мне многим не нравилась, от занятий в анатомическом театре над вонючими трупами разных несчастных и покинутых людей;... от недугов телесных, от безверия; от боязни, что *отцвету, не успевши расцвести*; — от боязни рано умереть «*sans avoir connu la passion, sans avoir été aimé!*»

Я помню, что ужасно обрадовался когда нашел у Бальзака в его «*Le lyl dans la vallée*» именно такую мысль. — *Ванденьесс*, юноша, почти такой же молодой, как и я тогда был, долго боялся чтобы муж той дамы, которая ему нравилась, не вызвал бы его на дуэль; — «я еще не знал любви женской и потому боялся...»

С той минуты, как эта *Лилея* стала его любовницей, Ванден(ь)есс перестал бояться дуэли.

Вот именно это самое чувство терзало и меня, сверх всех других терзаний.

Я был тогда точно человек с которого сняли кожу; но который жив и все чувствует гораздо сильнее прежнего.

Оттого-то я и не мог долго выносить тогда иронию и умственную злость моего разочарованного друга; его замечания действовали как едкое вещество на живое, окровавленное мясо...

Другой раз в жизни я уже так не страдал. — Не знаю как бывает у других — а у меня очень тяжелые года приходились всё через 10 лет ровно; — в 51 году, когда мне было 21 год; — в 61 и 62 году, когда мне было около 30; и в 71 и 72 — когда мне перешло за сорок.

Любопытно было бы многое, если сравнить эти три тяжелые эпохи моей жизни; но я дал себе слово сдерживать себя здесь и не отвлекаться от оригинальной истории моих постоянных литературных триумфов в *теории*, и неудач на *практике*, — в которых, как кажется, я редко был виноват.

В 51-м году мне было до того грустно и больно, что я вовсе перестал понимать веселые стихи, веселые сцены и т. п... Я чувствовал только — Байронические вещи и от всей души! — Когда Тургенев напечатал «Записки Лишнего человека» — мне показалось, что он угадал меня, не выдавши меня никогда. — Был против Университета трактир «*Британия*», в который я ходил читать журналы, слушать орган и пить чай (*завтракать* часто я не смел, потому что не было денег).

Что мне было делать, когда пришлось без преувеличения — плакать в трактире над «Лишним человеком»? — Я закрылся газетой в углу и плакал. — Слава Богу, никто не обратил внимания.

Была одна девица... Отношения наши длились пять лет подряд, все время пока я был в Москве, и принимали

разные формы от дружбы до самой пламенной и взаимной страсти. — Но *хорошее время* настало после; — а в 51-м году и эти отношения были какие-то нерешительные, неясные, шаткие и они причиняли больше боли, чем радости. — Есть одно стихотворение Ключникова (— θ —) —

Я не люблю тебя, но полюбив другую,
Я презирал бы горько сам себя —

Оно было тогда мне ближе всей остальной поэзии, ближе Пушкина, Фета, Лермонтова, Кольцова, ближе всего на свете... «Я не люблю тебя». Я находил несказанное наслаждение повторять это и себе и ей... А не видать ее день один была для меня мука.

Под такими впечатлениями я написал «Женитьбу по любви». — Не знаю, как бы мне как можно кратче изложить ее содержание?

В Москве живет с родной теткой своей, еще не очень старой женщиной, молодой человек — Андрей Киреев. У него вместе с теткой есть небольшое состояние, достаточное для независимой жизни. — Ему 24 года. 20

Ему нравится молодая девушка 22-х лет... (Имени ее не помню); — она гораздо хитрее и осторожнее его. — У этой девицы есть двоюродный брат, лет 30, Буравцов, брюнет, красивый, служил и сражался на Кавказе, «с красной ленточкой в петлице». — Для колеблющегося Киреева он то ритор и офицер à la Марлинский, то пример чести и мужества.

Для молодой девушки — он идеал мужчины «c'est un homme énergique et distingué qui à vu la mort de près» и т. д.

У нее с Буравцовым был небольшой роман; — но Б—в не захотел ни обольстить ее, ни жениться на ней. — Теперь ему хочется выдать милую и бедную кузину за Киреева. 30

У Киреева есть друг — Яницкий, 26 лет, бледный, красивый, с тонкими чертами, богатый, независимый; — но он страдает грудью и потому озлоблен.

Он точно так же, как мой небогатый студент-Мефистофель, от скуки проливает свой яд на раны беспокойного Киреева.

Киреев не знает, любит ли он кузину Буравцова или нет. — Яницкий тешится этим, уверяя с презрением, что Киреев и *неспособен любить...*

Киреев раздирается от отчаяния.

Я не люблю тебя, но полюбив другую,
Я презирал бы горько сам себя...

¹⁰ Тетка Киреева, которая его воспитала и обожает его, огорчена его страданиями и не понимает его. — Киреев и тяготится ею и до боли жалеет ее, делая ей, однако, всякие неприятности.

Наконец, Киреев, чтобы доказать Яницкому, что он *может что-нибудь сильное сделать*, решается жениться.

В последнем действии он очень несчастлив и мучает и свою новобрачную всячески, которая согласилась бы стать ему доброй женой, и тетку, которую он подозревает в неприязни к жене. — Поссорившись и с той и другой и почти прогнавши их, он вызывает на дуэль Яницкого из ²⁰ одного мщения и отчаяния. — Но Яницкий, который очень храбр, имеет моральное мужество отказаться от такой дуэли. — Это великодушие друга-врага окончательно уничивает несчастного Киреева.

Комедия эта была писана не для сцены, а для чтения; — она вся основана на тонком анализе болезненных чувств. — В ней, я помню, было много лиризма; — потому что она вырвалась у меня из души.

³⁰ Мне жаль, что я не могу здесь распространиться о разнице, которая была между мной и моим героем.

Конечно, у меня, как и оказалось на деле, при подобных же обстоятельствах, было несравненно больше такта и твердости; — но изменения эти внеслись сами собою в пьесу, как только я изменил некоторые внешние черты. — Я был гораздо беднее Киреева; — я был болен; он здоров; — он свободен; я учился через силу медицине; — я

был в многолюдной семье; — он жил с одной теткой, которая смотрела ему в глаза. — Одно из тех условий, которые меня тогда так несчастно опутывали, было бы достаточно для горя и грустного лиризма, а у меня их было 10 разом, и все это на почве души тоскующей по идеалу, самолюбивой, — беспокойной!

Отнявши у своего героя почти все те права на страдания, которыми я так щедро был тогда снабжен, — я должен был преувеличить его собственные вины, чтобы путем глубокого презрения, самоуничижения причинить ему страдания той глубины, какая у меня самого являлась на 1/2-ну следствием внешних обстоятельств.

Сколько бы я тогда (отчасти и со слов других) не винил и не казнил себя презрением, какой-то *внутренний* голос взывал во мне постоянно о пощаде; — он говорил мне, что условия и другие люди еще хуже меня самого, и я убедился позднее, что это было не *пристрастие*, а правда; с переменной даже и не людей, а только обстоятельств — и я стал другой.

Конечно, это я теперь так разбираю свою юношескую комедию, но тогда все это было мне не так ясно.

Я помню только, что мне вдруг стало гораздо легче, когда я написал ее.

Я не хотел прочесть ни родным своим, ни *той девице*, чтобы она не узнала многого и не судила об душе моей хуже, чем она была в самом деле. — Я прочел ее только двум товарищам: тому Мефист(офе)лю, о котором я говорил, и другому, который и теперь жив и здоров.

С этого второго я списал внешность изящного Яницкого; — он был моложе меня, богаче, танцевал прекрасно, ездил хорошо верхом; был иногда насмешлив, но больше как светский человек, а не как демон тайной и преувеличенной психологии.

Я составил Яницкого из своей болезненности, из ядовитости Г.— и из милой и светской внешности Ер—ва. — Я презирал и жалел *Киреева*; Яницкого я любил и уважал.

Я пригласил их обоих раз после обеда и прочел им комедию не спеша и с глубоким чувством.

Г. — очень любил и понимал искусство. — Он встал; — его румяное и полное лицо утратило обычное выражение гордости и насмешки, стало радостно; он обнял меня и сказал: «Ну вот, Костя, что ж ты жаловался, вот тебе и награда за все страдания твои! — Будущее — твое! будь покоен!»

А Ер — в судить тогда об искусстве еще не брался твердо (ему было 20 лет) — и сказал мне другое: «Знаешь, как странно видеть в своем близком знакомом вдруг такого даровитого человека!.. По правде сказать — я не думал, что ты можешь так серьезно писать!»

Как меня все это ободрило и утешило — сказать не могу! — Однако мне хотелось найти себе протекцию и поддержку литературную. — Я не решался верить только себе и этим молодым приятелям. — Плохую же вещь я печатать не желал.

Я стал думать к кому пойти? — Я видал Хомякова и Погодина, но они мне не нравились тогда: они мне казались такими моральными людьми, а я морали тогда не любил. — Сочинениям их я не находил в душе моей тогда ни малейшего отголоска.

Из незнакомых мне авторов я за глаза больше всех любил Турненева. — Но он был за границей.

Я хотел идти то к Гр(афине) Растопчиной; то к Евг(е-нии) Тур. — Но 1-ую я, судя по ее собственным стихам, не считал хорошим критиком, а к Мад. Сальяс не помню почему колебался идти...

Г., которому при всех нападках его на меня очень нравилась моя наружность, говорил шутя: «Иди, иди и к той графине и к другой. — Они обе в тебя влюбятся. — Вот и еще сюжеты!»

И потом прибавлял серьезно:

— Впрочем — ты смотри всем этим известностям не слишком верь. — Они тоже ошибаться могут. — Не верь им во всем. — Верь себе больше; — своему чувству: у тебя талант может выработаться еще побольше других. —

Скажут тебе — это дурно; а ты не слишком верь. — И верь, и не верь. — Вот хоть бы этот Тургенев сам — ведь он талант не первоклассный: — описания его уже становятся скучны; — у гениального писателя картина никогда не слишком похожа на жизнь; — она или лучше или хуже жизни. — У Гоголя она хуже; — а у Тургенева эти «Записки охотника» так мелочны и ничтожны; они производят точь-в-точь то впечатление, как сама жизнь! — Не поддавайся поэтому вполне никому и иди своей дорогой... Ты можешь много сделать. 10

Мне было приятно все это слышать от Мефистофеля Г—го; — но я тогда не в силах был понять всю глубину критики этого гениального юноши. — *Только лет 30-[ти]* я дорос до него и стал понимать, что перед судом строгого искусства — Тургенев *не совсем то*, чем можно быть. — Особенно — эти прославленные «Записки охотника»!

В то время нападки Г—го на Тургенева не последнего унижали в моих глазах, а заставляли лишь сомневаться в правоте первого. — «Если он не ценит Тургенева, — думал я, — то могу ли и я сам полагаться на его суждения и его похвалы». 20

(Каково было мое удивление, когда года через два — Катков и Феоктистов, люди более нас опытные, оба говорили мне о Тургеневе то же самое; — но я им не верил вполне, а поверил только своему чувству гораздо позднее.)

Итак — я все не решался, к кому мне идти за советом и помощью. — Островского, который тогда вдруг прославился комедией «Свои люди...», я видел у Калошиных (из них один теперь в Бельгии служит); — но он мне показался груб, мужиковат и горд. — Он пил водку и смеялся со стариком Калошиным и вовсе не пришелся мне по душе. — Я искал советника *джентельмена*, барина, дворянина хорошего, с такой же болеющей душой, как моя, но с весом... и, не зная лично Тургенева, все мечтал об нем. 30

Раз вечером, я пришел к родным моим Ох—м на Пре-
чистенке и сидел у круглого стола под лампой, беседа с
одной молодой немкой.

На столе лежали газеты. — Я газет не любил и не
читал; — но на этот раз случилось иначе. — Я говорил
с молодой девушкой о моих затруднениях, говорил о Тур-
генева и случайно раскрыл газету. — Вижу объявление:
«Николай Серг(ей)ч и Иван Сергеич Тургеневы вызы-
вают должников и заимодавцов скончавшейся матери
своей». — «Дом Лошаковской на Остоженке».

Это было напротив моей квартиры. — Я показал M-lle
Sophie газету, и мы оба удивились. — Я ушел домой и на
другой день утром часов в 9-ть с стесненным сердцем
понес свою рукопись Тургеневу.

Человек пошел доложить. — Иван Тургенев жил на
антресолях. — Как я ни был занят своим делом, но объ-
ективность, как и всегда, не покидала меня и тут. — Я
не знал ни наружности, ни состояния Тургенева и ужасно
боялся встретить человека *не-годного в герои*, некрасивого,
скромного, небогатого, одним словом, честного труженика,
которых вид и тогда уже прибавлял объективного яду в
мои субъективные язвы. — Терпеть не могу бесцветнос-
ти, скуки и буржуазного плебейства! Герои Тургенева
были всё такие скромные и жалкие... Мало ли что! — Это
чувство, — а я хочу вид хороший.

Меня скоро позвали, и я был приятно поражен. —
Тургенев очень любезно встал мне навстречу и, подавая
руку, спросил, что мне угодно!

Росту он огромного, широкоплечий, глаза глубокие,
задумчивые, темно-серые, волосы были у него тогда тем-
ные густые, курчавые с небольшой проседью; — улыбка
обворожительная; — профиль немного груб и резок, —
но резок барски и прекрасно. — Руки как следует кра-
сивые «des mains soignées» и большие, мужские руки. —
Ему было тогда около 30 лет. — Надет на нем был
темно-малиновый шелковый летний шлафрок и белье пре-
красное.

Если бы он и дурно меня принял, то я бы за такую внешность полюбил бы его. — Я ужасно был рад, что он гораздо *героичнее* своих *героев*.

Ни слова почти не говоря, я сел против него в большое кресло и начал читать ему свое сочинение.

Он закрылся руками и прослушал около 1/4 часа; но потом прервал меня и сказал, чтобы я оставил ему рукопись, что он прочтет ее лучше сам и обдумает. — Назначив мне на другой день зайти утром, сделал мне еще несколько вопросов, об университете, о том, давно ли я учусь, давно ли пишу и т. д.

На другой день я зашел; но мне сказали, что он очень болен сердццебиением и что у него был сам Иноземцов. — На третий день он меня принял. — Ему стало лучше, и мы говорили долго.

Может быть, здесь будет кстати упомянуть и об его впечатлениях; мне об них, смеясь, рассказывали позднее общие знакомые.

— Сижу я поутру дома, — говорил им Тургенев. — Накануне ко мне приносил свою драму незнакомый армейский офицер. — От бумаги ужасно пахло жуковым. — Там была какая-то графиня и обольститель, и такой благородный один офицер, верно это себя описывал автор... Вещь никуда не годная. — Я второй раз уже не принял его и выслал ему вниз записку, что драма по-моему не может быть напечатана. — Он при человеке моем ужасно рассердился, разорвал мою записку и ушел. — Только что он ушел, докладывают — студент. — Входит очень молодой человек, белокурый, наружности весьма красивой, в вицмундире с треугольной шляпой и с рукописью. — Говорит, что его фамилия Леонтьев, жмет мне руку, извиняется, что забыл надеть шпагу, и потом, ни слова не говоря, садится и читает. — Читал он не слишком хорошо, и потому я предпочел сам просмотреть рукопись. — И тотчас же увидал, что это совсем не то, что у офицера.

В глаза Тургенев говорил мне также много ободрительного и лестного.

— Ваша комедия произведение болезненное, но очень хорошее; — особенно для вашего возраста это очень много. — Видно, что вы не подражаете ничему, а пишете от себя. — Ваша тетка не похожа на моих теток или на теток Гончарова. — Искренности много. — Ваш герой — больной ребенок, но поэтому он и может возбудить участие. — Она у вас не совсем кончена. — Кончите ее, и я с радостью ее напечатаю. — Насчет цены я постараюсь выхлопотать Вам сразу 75 рубл(ей). — Так устроился ¹⁰ Писемский; — я и Григорович получаем только 50 рубл(ей) за лист. — За эту цену я вам ручаюсь.

Он спрашивал, нет ли у меня еще чего-нибудь начатого и просил принести. — Я принес ему две-три первые главы романа, который я начал почти в одно и то же время с комедией.

Имя романа было:

«Булавинский Завод».

²⁰ Недалеко от Калуги был Сахарный завод Унковского, которого окрестности мне очень нравились.

Это место я выбрал для своего романа. — Огромный сосновый бор; — «серо-зеленые» холмы и по ним сбегают кудрявые дубки и березы.

Завод в стороне; а на одном холме созданный воображением просторный и теплый новый домик; деревянный; — свежие бревна, не обшитые тесом; — зелень вокруг; а зимой морозным вечером — красные шторы на освещенных окнах.

³⁰ В этом милом домике на веселой опушке дремучего бора; в здоровом воздухе я поместил своего героя, доктора Руднева.

Руднева и Киреева я создавал в одно и то же время. — И тот и другой был — я; — и ни тот, ни другой не был мною.

Если Киреев был богаче меня, — был независимее и лучше моего поставлен в московском обществе — Руднев был еще беднее; — он нуждался в хлебе; он был сирота;

у него не было, как у меня, прекрасного материнского прибежища, — родного имения. — Киреев был здоров. — Руднев был болен грудью, как я. — Руднев был доктор, как я.

Все малодушное, все слабое свое я свалил на Киреева; все солидное, почтенное, серьезное, что во мне было, я вручил Рудневу. — Я отдал Рудневу всегдашнюю серьезность моей мысли, мою выдержку в занятиях даже и в медицинских, которых я не любил, мою честность, мою жажду знания, мой *grübeln* и осыпал его внешними невзгодами, как осыпан был ими я.

Сверх того в Кирееве была моя дворянская, светская сторона; — в Рудневе моя труженическая. — Я сделал Руднева любящим медицину, как полюбил бы, вероятно, ее и я, если бы мечты об искусстве не охлаждали меня к ней.

Я усладил его из столицы в лес управлять Заводом и имением богатого молодого помещика и лечить его крестьян; — ибо я и сам мечтал тогда об этом. — Я хотел быть один, хотел быть в лесу, здоров, хотел быть полезен бедным и вместе с тем независим.

Еще я хотел одного... Я хотел иметь молодую, очень молодую любовницу, русскую Гретхен, простую, кроткую, послушную, которая бы не требовала от меня все высокого и высокого, а только доброго и доброго...

Я дал моему доктору крепостную девушку лет 17, которую он откупил у помещика, нарядил и содержал, откладывая ей деньги на будущее.

По мере того, как я писал и переживал это еще недоступное студенту будущее почти независимого, сельского врача, душа моя все веселела и смягчалась — и требовала нового и нового. — Мне захотелось 17-летнюю облагодетельствованную мною любовницу, которая меня ничем не тревожила, я откупил эту Пашу и дал ее Рудневу. — Захотелось мне в Петербург — и помещик Булавин выписал Руднева в столицу на два месяца — не более!.. На радостях, что я такой дельный доктор и что я в лесу, и что грудь прошла, и что у Паши волосы как лен и платье

зимнее из толстой серой материи с белыми полосками и синий бантик, — на этих радостях захотел я еще добра и добра... Кого бы пожалеть?.. Кого еще полюбить?.. Я нашел для Руднева младшего брата, юношу молодца и красавца, которого он взял в свой лес...

Потом явился машинист молодой француз Огюст, воспитанный в России, знакомый давно с русскими, ловкий, bon enfant... Вот и начало романа... А дальше я не знал и сам, что будет!

10 Но писать эти три-4 главы было для меня тогда блаженство.

Тургенев прочел их и нашел, что они еще лучше «Женитьбы».

— У вас большой талант, — сказал он; — Руднев другое лицо; это уже не больной ребенок, как Киреев; — а человек физически болезненный, но сильный мыслью и духом. — Это лицо вовсе новое. — Описания ваши очень милы. — Эти *серо-зеленые холмы*... Это правда; в таких местах бывает много серого мху. — Этот завод, мальчик-
20 брат, все это очень кстати. — Не портите только вашего *светлого* таланта каким-то юмористическим любезничаньем с читателем... К чему это вы говорите вдруг... вместо «Забор был закопчен» — «и забор не ускользнул от проказ трубы». — Вы видели это, может быть, у кого-нибудь другого. — Но помните, что это и у самого Диккенса нередко выходит вовсе нехорошо. — Не острите; — бросьте это; — у вас может выработаться спокойное, светлое или грустное мирозерцание, но юмористику в искусстве вы оставьте. — Это не ваш удел! — Кончайте вашу комедию и ваш роман,
30 и я их напечатаю в Петербурге. — Не торопитесь и об деньгах не думайте. — Если будет очень нужно, я вам дам лучше. — Только не портите вашего таланта и не давайте, без моего совета, редакторам эксплуатировать себя; — они рады заставить вас писать фельетоны и т. п. гадость.

Свидание это с Тургеневым было весной 51 года; — через несколько дней он уехал в Орловскую Губернию на лето, а я в Калужскую.

Летом я не спеша отделал мою комедию совсем и послал ее ему. — Конец вышел лучше начала. — Создание Руднева, похвалы Тургенева, нескрываемое удивление моих близких, когда я рассказывал им о моем свидании с авторитетом — все это возвысило меня в моих глазах и отдалило от глубоко падшего Киреева. — Память о нем была еще так свежа, что теплота в выражении осталась, а отчуждение мое от него помогло мне лишь больше объективировать все образы.

Я получил летом от Тургенева самые лестные письма. ¹⁰

Осенью он повез мою рукопись в Петербург; — Краевский и Дудышкин взяли ее с радостью и согласились дать сразу 50 руб., т. е. тургеневскую тогдашнюю цену. — Но цензура — трудно поверить теперь — не пропустила ее.

Нашли комедию безнравственной; заподозрили, что тетка, напр(имер), сама влюблена в Киреева, и перечеркнули все большим крестом. — Тургенев привез мне весною в Москву корректурные перечеркнутые листы и в утешение показал мне необыкновенно лестное письмо к нему Дудышкина обо мне. ²⁰

Дудышкин дивился моему таланту; — он верить не хотел, что мне только 21 год; — он писал, что при всей привычке своей к подобным вещам — он прослезиться готов был под конец над Киреевым.

Тургенев говорил и писал мне, чтобы я не падал духом. — Но я, помню, ничуть и не падал духом. — Мною надолго, надолго тогда овладело в отношении искусства какое-то торжественное спокойствие. — Я был уверен в себе и в своей блестящей звезде. — Я не понимал, чтобы и люди, и судьба могут быть очень долго несправедливы. — Пришлось позднее понять, что бывают. ³⁰

Таким образом — мою 1-ю вещь, расхваленную и знаатоками и близкими людьми, не пропустила цензура. — Впоследствии времени я уже и сам нашел неуместным печатать произведение все-таки незрелое и болезненное.

Роман свой «Булавинский Завод» я очень скоро тоже перерос и не мог его продолжать, хотя и несколько раз

принимался за него впоследствии, воображая от времени до времени, что он хорош. — Понятно, что Тургенев при виде 20-летнего юноши хвалил его задатки; — но сам я очень был рад после, что «Бул(авинский) Завод» не напечатался.

Я думаю, что в развитии каждого художника бывают попеременные эпохи искажения и возрождения. — После 52 года именно, я думаю, на меня нашел период искажения. — Меня ничто не удовлетворяло в моем творчестве. — Раз излив свои страдания и свои мечты об успокоении, я уже не знал что бы мне выдумать *поглубже*, *позамысловатее*... Вероятно, и влияние реальной науки было здесь очень сильно. — Я искал то каких-то необычайно тонких и глубоких открытий в искусстве; — какой-то микроскопической и философской бездонности; — то гнался за слишком уже яркой образностью и картинностью. — Вкус теоретический у меня развивался; — я много читал хорошего тогда в свободные минуты; но творчество положительно падало.

20 Были на это, конечно, и личные причины в самой жизни. — Положение мое было лучше; — я жил почти один и очень хорошо; — но я был влюблен и был любим; — любовь эта, очень продолжительная, серьезная, поглощала у меня много времени, и сверх того — я стал больше заниматься медициной.

Тургенев, который видался со мной два раза в год до самой Крымской войны, часто повторял мне, чтобы я не спешил печататься, что он за счастье счел бы уничтожить некоторые прежние свои повести и стихи. — 30 прежде 30 лет редкий писатель произвел истинно-хорошие вещи.

Он говорил еще, что надо метить как можно выше, что хотя никто из нас не может знать, выйдет ли из него Гёте или Шекспир, но надо стараться, надо претендовать и потому надо — быть и строгим к себе, и смелым.

Я понимал его мысль и охотно слушался, не спешил; я рассчитывал на то, что кончивши курс я буду доктором, не

буду зависеть в выборе сюжетов и идей от редакторов, и находил, что лучше написать меньше, но свободно, чем по команде редакций. — Я с радостью готов был трудиться над медициной по утрам, чтобы иметь возможность потом запереться и писать что хочу. — Любовь моя также заставляла меня больше трудиться на лекциях. — Приданое у этой девушки было невелико, и я думал много о необходимости кончить хорошо курс, чтобы жениться. — Таким образом, — я в эти три года от конца 51-го до 54-го, до войны писал мало — и напечатал одну только небольшую повесть, о которой я после поговорю. ¹⁰

Не знаю, что было причиною и что последствием, но препятствий творчеству было много разом; — я их перечту: моя страсть (страсть может вдохновить на великие лирические произведения, особенно стихи; но она отвлекает от вещей обдуманых; а я стихов не писал); — занятия наукой; — влияние научных приемов, охлаждающих порывы искусства; — советы Тургенева — не спешить; писать, но не печатать. — И, наконец, сознание слишком уже больших цензурных препятствий. ²⁰

Однажды я сказал Тургеневу, что люблю и хочу жениться когда кончу курс; — он испугался за меня и сказал:

— Нехорошо художнику жениться! Если служить Музе, как говорили в старину; так служить ей одной; — остальное надо все приносить в жертву. — Еще несчастный брак — может способствовать развитию таланта; — а счастливый — никуда не годится. — Конечно, — страсть к женщине вещь прекрасная; — но я вообще не понимал никогда страсти к девушке; — я люблю больше ³⁰ женщину замужнюю, опытную, свободную, которая может легче располагать собою и своими страстями. — Вот бы вам что нужно. — Жаль, что вы погружены в чувство к одной особе. — При вашей внешности, при ваших способностях, если бы вы были больше лихим — вы бы с ума сводили многих женщин. — Надо подходить ко всякой с мыслью, что нет недоступной, что и эта может стать нашей

любовницей. — Такая жизнь, более буйная, была бы вашему таланту гораздо полезнее... Но что делать!

Я слушал всегда Тургенева с благоговением, но все-таки je faisais mes réserves, и любовь моя была очень сильна и искренна.

Я спрашиваю себя теперь — не был ли я сам виноват, что в течение 3-х лет ничего тогда не печатал кроме одной повести, или нет, и отвечаю, что я *был прав!*

Времени почти вовсе не было. — Я и тогда очень часто объективировал сам себя, отступал сам от себя и спрашивал, что мне больше нравится: «Нуждающийся худой, подурневший, болезненный сотрудник журнала, который пишет много, но к сроку и отчасти по заказу; — или <молодой врач, свежий, здоровый, полезный, добрый к бедным, светский человек с богатыми; притом эстетик, поэт, мыслитель. — Он не бегаёт сломя голову с утра до вечера по городу, чтобы приобрести много; — нет, он хочет только, отдавая часть своей свободы полезному практическому делу, > сохранить себе главное — свободу творчества и мысли. — Сверх того у него жена умная, с очень тонкой талией, прекрасно воспитана, умна, хитра даже, говорит по-английски, танцует как птичка или как воздух... Она обожает молодого и гениального мужа, но она любезна... она даже кокетка с другими... И умный муж улыбается этому... «Знай наших!»

Теперь — я говорю, что я был прав в своем выборе, — в том, что предпочитал врача, который мог удосужиться написать один очень хороший роман во всю жизнь — худому и лично скверному, хоть бы и знаменитому «сотруднику». — Такая жизнь, как жизнь Достоевского (кроме его Каторги), мне тогда была ненавистна.

Но Тургенев был правее меня, когда боялся счастливого брака.

Впрочем — инстинктивно и я это понял в 54 году. — Когда пришлось выбирать между свободой и семейным счастьем — я выбрал первую и, что бы ни случилось со мной после, до сих пор не каюсь...

В конце 53 года, или в начале 54 — в «Московских Ведомостях» была напечатана небольшая моя повесть под заглавием «Благодарность».

История ее довольно любопытна. — В рукописи она была озаглавлена «Немцы»; моральное заглавие ее придумано московским Цензором. — Задумана она была почти случайно и все еще в том же 51-м году, когда у меня вдруг открылся почти внезапный ключ вдохновения и мысли.

Обдумал я ее первый план идя по улице — в одну из тех молодых полу-веселых, полу-грустных минут, когда сердце очень полно и экспансивно.

У нас в Калуге был учитель немецкого языка Шрейбер; — очень смешной; — он потом сошел с ума где-то и умер. — На место его приехал молодой немец из Дерпта Штраух. — Этого мы уважали, и он не был нам смешон. — Лицом он был смугл; — черты неправильные, выразительные; — глаза прекрасные; одевался он прилично; был задумчив и смел; — говорил со мной о Шиллере и Гёте...

Был у меня один товарищ в Гимназии, Володя Б... — Лицо у него было очень нежное, тонкое отроческое; — но он всегда выпячивал грудь, которая и без того у него была хороша и высока; имел воинские ухватки, мрачно-добрый вид и все мечтал о войне. — Учился дурно и был довольно глуп. — Впрочем, мы с ним в Гимназии друг друга любили, и я, понимая смешные стороны его манер и характера, сочувствовал несколько его воинственности.

Были еще в Калуге у доктора Б. две дочери. — Сперва они были малы, а потом подросли, и мне очень иногда нравилась наружность старшей; — бледная и восковая, она, однако, не была худа, и бледность ее была здоровая.

Эти 4 лица, конечно, несколько измененные, явились главными действующими [лицами] моей повести: — Федор Федорович Ангст; — Лилиенфельд из Дерпта; — Володя Цветков и бледная Доротея, дочь русского чиновника и матери-немки. — Я тогда немцов очень любил. — Я

отдыхал на их честном спокойствии. — Борьба двух немцев, старого и молодого, за обладание Доротеей была сюжетом моей повести. — Ангсту старику помогает юноша Цветков, который ему за многое благодарен; — а Лилиенфельду — другой юноша, сын богатого помещика, красавец и повеса Поль, который готовится в Гвардию.

Этого Поля я составил так.

Когда я думал о его красивой, юношеской наружности, я вспоминал Князя Мишеля Голицина, с которым я познакомился у Хитровых в Пройдеве; — он был строен, высок, смугл, и профиль у него был нежный, как перышком писанный.

А мысль о буйстве, смелости и напускной грубости этого Поля мне подал особенно Николай Хитров. — Он смолоду именно был такой: — «*petit grand seigneur*» с напускной грубостью.

Итак — между добрым и смешным Ангстом и Лилиенфельдом идет борьба за обладание Дашею. — Цветкова Поль увозит за город, веселит, обещает увезти с собою ко Двору и в Гвардию. — А в это время Лилиенфельд увозит Дашу. — Ангст сходит с ума.

Моего личного тут не было ничего, кроме некоторой теплоты и приверженности к калужским воспоминаниям. — Я написал повесть в 52 году скоро и с любовью. — Она не дурна, и, если выбросить из нее кой-какие юмористические выходки, которыми я платил дань эпохе и на которые так справедливо нападал Тургенев, в теории, греша ими сам *еще до сих пор* сильно на практике, — то я без отвращения и теперь увидал бы ее и судил бы как вещь чужую, свежую, простую и правдивую.

Тургенев поправил в ней кой-что и опять повез в Петербург.

Была у меня тогда начата и другая повесть «Лето на Хуторе», гораздо затейливее, ярче и хуже. — Тургенев прочел три главы из нее не без строгих замечаний. — Он сказал тогда в семье Тютчевых; и Тютчевы мне это передали: «Надо „Немцы“ Леонтьева отдать Краевскому, а

„Лето на Хуторе” в „Современник”; — вот у молодого человека и выростут крылья».

Около того же времени в 52-м или 53-м году я написал отрывок — Зимнее утро в помещицкой, опустелой усадьбе; — оно со временем стало I-й главой моего большого романа «Подлипки», который я напечатал в 61-м году; почти 10 лет спустя.

Я помню, встал я раз зимою довольно рано; — комнаты у меня были тихие, отдаленные и хорошие. — Мне стало очень грустно и очень хорошо. — Я вспомнил о своем родном Кудинове, в котором я давно уже не был, кажется, вообразил себе, что я там один-одинешенек... И мне захотелось туда — смотреть «на бледную вечернюю зарю, умирающую за зимним проредевшим садом...» Я затворил внутренние ставни на окнах, чтобы легче забыть и город, и все на свете, велел слуге сварить поскорее побольше шоколаду и купить несколько хороших сигар...

Сел и написал этот отрывок.

На другой же день я, кажется, свез его к Гр(афине) С(альяс), с которой давно уже познакомил меня Тургенев. — Там были Щербина и Кудрявцов.

Я прочел.

— *Quel magnifique tableau de genre!* — воскликнула Графиня. — Лучший бы из русских поэтов не постыдился бы подписать под этим имя свое.

Кудрявцов и Щербина тоже хвалили. — Феокистов всегда удиялся ранней зрелости моих описаний.

Что касается до меня собственно, то я, вспоминая об этой Зимней Картине, вспоминаю также и слова Каткова, сказанные мне им гораздо позднее. — «Что ж такое теплота! Теплота в душе и останется, а на бумаге не выйдет!»

Мне теперь это описание не нравится. — Если находить, что описания Тургенева верх совершенства — то и мое ничуть не хуже. — Но в том и дело, что оба хуже.

Описания хороши или очень величественные, неопределенные, как бы носящиеся духоподобно (таковы описания в «Чайлд-Гарольде») — или краткие, мимоходом, наивные.

Мое Зимнее утро и все почти описания Тургенева грубо-реальны; — хотя и были согреты очень искренним чувством.

Другое дело также простые, — мужественные описания старика Аксакова в «Хронике». — Тут нет этих фальшивых звуков — тех взвизгиваний реализма, которыми богат Тургенев и к(ото)рым платил дань и я... увы... под влиянием его, Гоголя... и других...

Напр(имер:) «Собака, испуганная незнакомыми посетителями, вся взъерошилась от ужаса и гнева и преследует быстро убегающие сани!..» Фу! как скверно! Это я писал. — Это реализм.

Итак, все продолжали меня хвалить и ободрять.

Краевский писал мне из Петербурга чуть не почтительное письмо и говорил: «пишите больше! Вы не имеете права зарывать ваш талант в землю».

Имел ли я, неопытный юноша, право тогда или не имел — после всего этого поверить серьезно в мое призвание?

II

В то время, когда Тургенев, проезжая из своего орловского имения через Москву, возил мои рукописи в Петербург, Цензура дошла до крайней строгости и придирчивости. — Период этот продолжался от 48 года до Крымской войны. — Герцен писал много об этом времени. — В частной жизни или в официальной оно вовсе не было мрачнее других; — оно было тяжело лишь для высшей умственной деятельности. — В это время ограничили число студентов на всех факультетах, кроме Медицинского (оттого и я принужден был учиться Медицине; ибо хотел во что бы то ни стало кончить курс в Университете); — в это время студентов стригли коротко; сажали в карцер,

если на них не было треугольной шляпы; назначали Попечителем доброго и простодушного солдата Назимова; — Назимову сам Государь делал строгое замечание за погрешительную, слишком пышную овацию Гоголю; — он ссылал Тургенева на 2 года в деревню за статью о Гоголе и об этой овации; — сменял цензора Львова, который ее пропустил. — Грановский встречал затруднения для издания исторических статей; — у Каткова отнимали Кафедру философии и давали ее нашему Законоучителю Священнику Терновскому. — «Московские Ведомости», издаваемые тогда Катковым же при Университете, и вовсе на другом положении, были очень скромны и бледны. 10

Однако при всех этих затруднениях, никто, ни Тургенев, ни Краевский, ни я сам не могли ожидать, что петербургская Цензура не пропустит такой невинной вещи, как моя повесть «Немцы».

Однако она нашла ее вредной. — Тургенев скоро известил меня об этой вторичной неудаче; и всячески старался ободрить и утешить меня, напоминая мне мою молодость и надежды на будущее. 20

Если не ошибаюсь, осенью 53 года незадолго до разрыва с Турцией и до Синопской битвы приехал в Москву Краевский и пригласил меня к себе. — Он занимал прекрасный номер в гостинице Мореля. — Я застал у него Грановского; — которого знал уже и в доме Гр. Сальяс и по Университету. — Грановский был в духе и рассказывал разные анекдоты. — Краевский показал мне корректурные листы моей повести, помаранные двумя цензорами, *Фрейгангом* и *Крыловым*.

У одного чернила были красные, у другого синие. 30

В чем же было дело?

Во-1-х, что такое «Немцы»? Отчего? — Повесть нельзя пропустить, ибо смысл ее тот, что немцы честнее, лучше русских. — Какие тут русские? Отец Даши — старик Васильев, — добр и неглуп; любит дочь, способен к дружбе; но взяточник и сам сознается в том. — Юноша Цветков — дурак и с претензиями. — Юноша Поль, бу-

душый гвардеец, — негодяй, повеса, обманщик, сорви-голова, развратен. Отец Поля — сладострастный, ленивый бесхарактерный барин. — «Свинья», по выражению одного из Цензоров. — У Поля в деревне пьянствуют и кутят вообще — один студент и один юнкер. — Ни русский студент, ни юнкер не должны себя вести так дурно. — Какой пример!

А оба немца — честны, серьезны, любящи, трезвы, и сами русские их беспрестанно хвалят. — Видимо и автор ¹⁰ уважает их больше.

В последнем была доля правды. — Так как я сам был тогда все в беспокойстве, в *Sturm und Drang*, то все, что располагало к спокойствию, к здоровью, тишине и постоянству, мне нравилось. — Деревня, одиночество, кроткий брак или простая, *гигиеническая*, невзыскательная любовница, должность сельского врача, молоко, осенняя тихая погода... В этом же смысле мне нравились и многие германские характеры — тихие, твердые и спокойные в своей ²⁰ здоровой честности. — Другие времена! Другие мысли!

Итак, предпочтение немцев русским и самое заглавие — были главной причиной цензорского «veto». — Мне жаль, что я не спросил тогда у Краевского, который Цензор обратил на это внимание: Крылов или Фрейганг. — Но я уверен, что это был Фрейганг; вероятно, ему хотелось блеснуть фанатическим руссизмом. — Он же, кажется, и цензорвал прежде. — Краевский попытался отправить повесть к Крылову; — но тот тоже нашел, что она безнравственна. — Помарки их иногда совпадали, а иногда были несоответственны. — Так напр(имер) — ³⁰ один из них обращал больше внимания на подробности.

В одном месте я кратко описывал домик Ангста и говорил, что он стоял на краю живописного оврага, за которым видна была другая часть города... Видны были сады, пестрые дома и «колокольни, то древняя, живописно-дряхлая, вся покрытая мелкими окошечками, то новая с блестящим золотым шаром наверху и крестом, сияющим до того, что на него в полдень больно смотреть».

Цензор: «Это нельзя. — Это неуважительно к святыне. — Дряхлая колоколья... И потом, на крест и шар этот больно смотреть... Всегда должно быть приятно смотреть...»

В другом месте. — Ваня Цветков, поужинавши в деревне у Поля, который обещает ему роскошную жизнь вместе в Петербурге, засыпает, и ему «все мерещатся женские формы и поцелуи разных прекрасных Графинь», родственниц Поля.

«Это безнравственно!»

10

Я готов согласиться, что эта черта того грубоватого юмористического реализма, который я давно уже и сам возненавидел; — но стоит ли это вычеркивать с *моральной* точки зрения.

Я рассказал все это подробно, чтоб показать при каких тяжелых условиях со стороны Пра(вительст)ва и при каких благоприятных со стороны общества обстоятельствах я начинал писать. — Лет через 8—10 — мне пришлось пережить эпоху несравненно худшую для писателя: удобную со стороны власти, отвратительную со стороны вкуса и ума в публике и редакциях. — По мере расширения свободы, вкус и ум у нас положительно понизились. — Это ведь не я один говорю; — это знают многие.

20

Не скажу, чтобы и эта вторая неудача меня бы особенно сокрушила.

Во-1-х, повесть была написана мимоходом, почти играючи, я в нее не положил ничего драгоценного и ценил в ней только ее *объективную* полу-грусть, полу-веселость. — Я был рад, что испытал себя успешно в новом роде, вовсе не похожем на мои 1-е прочувствованные, страдальческие и аналитические произведения. — Это я понимал и тогда; — хотя, вспоминая тогдашние мои критические вкусы, я уверен, что относился к этой вещи небрежнее, чем к другим худшим, слишком ярким, изысканным и фигурным моим начинаниям и отрывкам. — Во-2-х, я видел, какие стеснения терпели тогда Грановский, Тургенев, Катков, люди всё по 10—12—15 лет и

30

больше старше меня, — я думал часто, что для них бедных все почти кончено; — а я?.. Я!..

Мне чего еще не предстоит.

Тургенев именно в это время и сам воображал, что он уже более ничего не будет писать; что круг его творчества свершился. — Он писал мне в Москву из своей орловской деревни так: «Моя деятельность уже, кажется, кончилась; — но я буду считать себя счастливым, если мне удастся быть повивальной бабушкой ваших произведений».

В эту же зиму (53 года если не ошибаюсь) Наследник и Орлов выхлопотали прощение Тургеневу, и ему позволено было возвратиться в столицу. — Он рассказывал мне, что Мад. Смирнова («Черноокая Россетти») и Блудов вредили ему. — За что, я помню, но здесь это долго рассказывать.

Тургенев приехал в Москву. — Я узнал, что он сидит у Мад. Сальяс, и поехал прямо туда. — Там, кроме его и Феоктистова, был еще Валентин Корш. — Корш все время молчал и смотрел на Тургенева из угла с священным ужасом.

Тургенев был в темно-зеленом бархатном сюртуке. — Очень весел и насмешлив. — Рассказывал про Орел, декламировал стихи Фета, к(ото)рого он очень любил, острил, даже представлял кой-кого в лицах.

В рассказах его про Орел — я помню многое, что отозвалось года через два в повестях его «Два приятеля» и «Затишье».

Мне ужасно он нравился; — все в нем и у него было крупно. — Я никогда не завидовал ему, а всегда любовался им. — Пришлось, однако, и его пожалеть на минуту.

Полулежа на диване у Мад. Сальяс и в какой-то львиной позе — потрясая своими кудрями, — он сказал вот что: «Главное дело для писателя — это уметь вовремя слезть с седла. — Садиться на него трудно; — страшно; — он не умеет. — Потом — он овладевает и конем и собой. — Ему легко. — Но потом — приходит время

еще более трудное, чем приступ; — как понять, что пора сойти со сцены с достоинством? — Я не говорю, — продолжал он, — о таких ничтожных фотографах, как мой приятель Панаев; — а лишь о тех людях, у которых есть хоть немного художественности — напр(имер), о Писемском, о Гончарове, о себе. — Этот бедный Ап. Григорьев все ищет *нового слова*. — Он мне ужасно нравится за то, что он меня терпеть не может и бранит мои вещи за многое очень основательно. — Ни от меня, ни от Писемского, ни от Гончарова он *нового слова* не дожидается. — Его могут сказать только двое молодых людей, от которых можно многого ожидать, Лев Толстой и вот этот».

И не меняя своей барской позы — он указал на меня просто пальцем.

Я даже не покраснел и принял это лишь как *должное*. — Я так мало сомневался уже в этом, что когда тот же Тургенев к чему-то похвалил еще раз мое лицо и сказал про какого-то Голицына... «И Леонтьев чрезвычайно *jolie garçon*; а Голицын еще лучше». — Меня это гораздо больше обрадовало, — пусть Голицын будет *еще* лучше. — А я и все-таки *jolie garçon*.

Я помню также, что удачное излечение трудных больных, успех какой-нибудь другого рода, — убеждение, пришедшее на опыте в Крыму, что я довольно смел перед смертью, Анна 3-й и 2-й степени в Адрианополе и Янине и какие-нибудь ловкие консульские дела гораздо больше меня радовали, чем признание моего *таланта в разговоре, на словах*. — (Я не говорю о статьях, которых до 75—76 гг. обо мне никто не писал, кроме Щедрина.)

Тургенев продолжал утверждать, что ни он, ни Писемский, ни другие им подобные, уже ничего больше хорошего не скажут.

Однако, — он ошибся в своем критическом пессимизме; — именно после этого времени Писемский напечатал лучшую свою вещь: «Тысяча душ»; — Гончаров издал два *chef d'oeuvre*'а — «Палладу» и «Обломова», и сам

Тургенев написал лучшие свои романы: «Рудина», «Гнездо», «Первую любовь», «Отцы и Дети». — Лев Толстой напечатал «Войну и Мир». — Явились новые таланты «Алексей Толстой», «Кохановская», «Марченко (М. Вовчок)»...

А я? — Положение мое теперешнее известно моим приятелям, и я об нем подожду говорить. — Только из всего вместе можно будет заключить, кто виноват? — Я ли, публика, редакторы и критики или вернее всего, особая звезда — странное стечение обстоятельств, — таинственный *fatum* и перст Господнего Промысла!

Возвращаюсь к «Немцам». — Мад. Сальяс жалела мою повесть; — она взяла у меня рукопись и дала ее Каткову. — Катков прочел ее и сказал ей так:

— Большая зрелость таланта; — странно даже, что у такого молодого человека написано это так не-лично и даже равнодушно и несколько холодно. — Я надеюсь ее напечатать.

Московский Цензор пропустил повесть и переименовал только заглавие — «Благодарность» — вместо «Немцы».

Напечатана она была, не помню, в декабре 53 или в начале 54 года. — В «Отеч(ественных) Записках» Краевский посвятил ей небольшую, но очень похвальную статью в Библиографии и жаловался, — зачем автор *этого милого произведения скрыл свое имя*.

Я испытал в то же время и два других удовольствия — я в первый раз получил деньги за мое сочинение и при этих деньгах очень лестное приравнение к Грановскому. — Феоктистов заехал ко мне на Пречистенку по просьбе Каткова и высыпал (кажется) около 75 рублей на стол, говоря: «Мих(аил) Ник(ифорови)ч извиняется, что мало. — Газета очень бедна и больше 3-х рубл(ей) за столбец не может давать. — Это цена Грановского».

Деньги, впрочем, тогда мне все давали и без печати. — Тургенев, все уговаривая меня не торопиться печатью, предложил мне около 175 рубл(ей). — Краевскому я на-

писал только 2 слова, и он выслал мне 50 рублей. — Потом — мне для одной простенькой любовницы занудно было еще — я поехал на три дня в Петербург, и он ни слова не говоря дал еще 150 рубл(ей).

В 56 году я заплатил ему это повестью «Лето на Хуторе», очень яркой описаниями и которую я терпеть не могу. — Ибо — в ней все фальшиво с начала до конца, кроме некоторых сторон характера девушки Маши, списанной с одной горничной.

Маленькая повесть в газете и небольшая похвальная статья в журнале — имени никому не дадут. — Чтобы очень мелкими вещами составить себе имя, надо или очень часто не прерывая их публиковать, или издать разом вместе.

Очень малая по размеру вещь может быть верхом искусства (таковы, напр(имер), «Frederic et Bernerette» Alf. de Musset; — «La mare au diable» G. Sand'a; — это вещи зрелые и гениальные) — но и они одни не упрочили бы за авторами их имен.

Моя же повесть, очень хорошая для начинающего, недурная и вообще — не имела в себе никакой особой гениальности и все-таки была незрела, испорчена тем дурным русским комизмом и грубостью, от которой и поседевши сам Тургенев не мог спастись, до того неуместная Гоголевщина въелась нам в кости.

Маленькие повести М. Вовчка — как малороссийские, так и великорусские («Червонный Король», «Институтка», «Саша», «Игрушечка» и т. д.) — неизмеримо выше и «Немцов» моих и «Записок охотника», напр(имер) — У М. Вовчка — тогда не было и следа нашей мужской грубости, того юмора, de mauvais-aloï, к(ото)рому мы до сих пор почти все подчиняемся.

Однако ни одна из этих повестей, напечатанная раз (и потом — молчание) — не могла бы дать М. Вовчку имя и положение. — Теперь же, когда повестей было много, я нахожу, что ее недостаточно озолотили и 1-е ее вещи следует признать несравненно более классическими, чем,

напр(имер), тургенев(ские). Не говоря уже о шершавых и топорно, аляповато ярких «Записках охотника».

Итак, судьба «Немцов» — эстетическая была вполне заслужена; и я мог жаловаться лишь на Цензуру, а не на вкус.

В 56-м году я напечатал «Лето на Хуторе». — Я послал эту повесть из Крыма; — но 1/2 ее была написана в 53 году и вся она принадлежит студенческому моему периоду. — Она была обдумана гораздо прежде; — но кончить я успел ее лишь в Крыму. — Ее никто не хвалил и поделом. — Я согласен был бы, чтобы ее разругали даже как нельзя хуже, но лишь с тем условием, чтобы всех Помяловских и Успенских сослали в какую-нибудь Сибирь; — а М. Вовчку — поставили бы хоть маленький монумент за высокую, изящно-классическую бледность и за нежную гармонию ее повестей.

Тогда бы я нашел все это справедливым.

Летом 54 года я уехал в Крым военным врачом. — С Тургеневым мы простились хорошо; — но он очень тогда был печален и нездоров.

Катков давал мне разные хорошие советы. — Он говорил мне:

— Я очень рад, что вы едете в Крым; — хоть вы и не будете в строю; — но все-таки, может быть, окуритесь порохом. — Во всяком случае — смолоду поживете широкой, действительной жизнью...

Тургенев тоже еще раньше говорил мне:

— Смелей бросайтесь в жизнь! Смелей! — Женщины! Лошадь, товарищи... Вы ведете жизнь одинокую и всё заняты вашим внутренним миром; — оставьте разбор самого себя. «Greift hinaus ins vollen Menschen Leben!..» Странно только, что вам выпала судьба быть доктором... При каких только условиях не развивается человек!..

Я был очень рад, что мнения и советы этих людей совпадали тогда с моими собственными вкусами. — Я хотел и без того ехать в Крым вопреки матери и всем родным. — Долгую кабинетную жизнь я не уважал; —

университетский же мой быт мне стал очень тяжел тогда, по многим причинам, о к(ото)рых говорить здесь не место.

Я с востогом сел в тарантас и уехал из Калуги в Керчь 16 августа, восемь дней после битвы под Альмою, ничего об ней даже и не зная.

III

(1854—1861)

В 54 году осенью я уехал в Крым на войну; в 61-м году, тоже осенью напечатал я в «Отечест(венных) Записках» мой 1-й большой роман «Подлипки».

В течение этих 7-ми лет я напечатал четыре небольших вещи: 1) «Лето на Хуторе», о к(ото)ром уже говорил и повторять не буду, потому что оно не только внимания не стоит, но и заслуживало бы совершенного уничтожения; — 2) Очерк из военного времени «Сутки в ауле Биюк-Дорте»; — 3) Комедию в 4-х действиях «Трудные дни» и 4) «Второй брак», довольно большую повесть (в Библиотеке для Чтения).

Это, конечно, очень мало для семи лет. — Но на это было много причин. — Прежде всего необходимость гораздо серьезнее прежнего заниматься медициной в военных больницах. — Не потому, чтобы контроль над нами был строг; или главные доктора были особенно искусны и страшны. — Нисколько, а потому, что сама совесть стала строже при встрече с действительной ответственностью. — Я не верю особенно в Медицину; — но нельзя же не согласиться, что опиум действует несколько иначе, чем каломель или рвотное; — что кровопускание ослабляет воспаление, а хинин прекращает лихорадку. — Хотя и это все условно и сомнительно, но надо по крайней мере стараться не убивать больных; ибо (так рассуждал я тогда) убить человека на дуэли и войне — есть сила, а убить в

постеле — незнание, неловкость — т. е. слабость. — Не только негуманно, но еще хуже того, для себя не лестно.

Вышел я не с 5-го, а с 4-го курса, — вместе со многими другими товарищами, когда Пра(вительст)во весной 54 года, видя недостаток в докторях, предложило нам получить равные права с медиками, окончившими полный курс, и двойное жалование на 1-й год службы. — Теоретическое образование на 4-м курсе было почти окончено; — была уже и привычка обращаться с больными в 10 Приготовительной Клинике Иноземцова и Овера; оставался год занятий преимущественно практических в Екатерининской больнице и Акушерской Клинике.

Последняя, положим, была не нужна, так как солдаты не роят; но опыт большой больницы — под ежедневным руководством таких профессоров, каковы были Польш, Варвинский, Полунин и др(угие) — значил очень много. — Не с той смелостью, не с той быстротой соображения, с иным запасом живых фактов и впечатлений выходил студент с 5-го курса.

20 Мы же чувствовали сами, что нам многого недостает.

Один из старших братьев моих, с которым я был довольно дружен, перед отъездом моим в Крым писал мне, отговаривая меня ехать на войну. — Он сам служил долго на Кавказе военным. — В числе разных неудобств он упоминал также о моей медицинской неопытности.

«Как же ты с твоим человеколюбием, с твоей гуманностью, писал он, будешь неприготовленным лечить людей, несчастных раненых, делать ампутации и др(угие) важные операции...» и т. д.

30 Я отвечал ему, «что я ехать решился; — что ампутации делать вовсе не так трудно, что это операция правильная, — с определенными линиями... и одним словом — что будет — будет!..»

И про себя я думал (это я хорошо помню) — «Имей успех; сумей быть независимым и тебе все простится! — Что делать — если несколько человек сначала пострадают от моего незнания: это их судьба! другой товарищ еще

будет хуже меня на моем месте; — знания равны; но он глуп, а я нет. — Я постараюсь. — Если я подчинюсь советам близких — тоска моя не излечится... Я должен ехать...»

Ехать я решился; — я бы пешком тогда пошел в Крым, чтобы только не упустить из моей жизни такой редкий случай, как большая война, чтобы *броситься в жизнь* (по Тургеневу), чтобы переменить на что-нибудь более мужественное и драматическое ту мирную и будничную среду, к(ото)рая меня окружала в Москве. — Я бы презирал себя до сих пор, если бы не поехал тогда в Крым; — а что касается до нескольких больных, которых я мог убить, а может быть, и убил вначале по незнанию или ошибке, то, во-1-х, это случается с лучшими врачами, а во-2-х, состояние души моей в Москве от сердечных чувств и друг(их) причин было до того тяжело, что я был похож на человека, который в минуту какой-либо общей паники и опасности сталкивает в огонь или бездну других, чтобы спасти себя. — Если он не столкнет, его столкнут другие!

Когда за мою хитрую, но любящую Э. посватался О—в, который был Предводителем и гораздо старше меня, она хотела отказать ему и сказала мне:

— Я буду ждать тебя; кончай свой курс и скажи мне только, будешь ли ты меня через год столько же любить сколько теперь. — Я откажу ему.

Я стоял перед нею. — Ей было 25 лет; мне 23. — Я подумал о бедности, о детях, о спешном труде; о том, что она подурнеет скоро; — о *Музе Тургеневской*.... И сказал ей: «Теперь люблю; — но теперь нам жить нечем; — а что будет через год — кто знает... Выходи за него».

Она поцеловала мою руку, ушла и тотчас же обручилась. — Жених ждал уже ее в комнате ее тетки, не подозревая, что только в эту минуту решилась его судьба.

Я старался быть твердым сколько мог; — я решился принести любовь в жертву свободе и искусству; — и сделал, конечно, хорошо; но стоило это мне таких страданий,

что я... совещаюсь и сознаться немного в этом — плакал и рыдал два часа подряд после этого — вовсе уже как ребенок или женщина.

Прибавим к тому еще, что родные и знакомые, выдавшие нашу близость с нею в течение 4-х лет, думали, что она меня *провела*, «*qu'elle s'est joué de ce pauvre garçon*» — и очень обидно жалели меня; смотрели все на меня с осторожными улыбками и вообще целую неделю обращались со мной как с чем-то нежным и хрупким. —
10 Иные из женщин в глаза мне осуждали ее, говоря: «*Voilà nous autres femmes! Nous prétendons être meilleurs que Vous autres.* — Однако — я помню — ты всегда в спорах говорил, что боишься бедного брака, детей, и говорил, что подвязанная щека у жены или ревматизм у мужа ужаснее всего на свете; — а она возражала и старалась идеализировать; а теперь вышла за человека нелюбимого по расчету»

Я прошу кого угодно стать на место самолюбивого, влюбленного и очень изощренного в мысли и неопытного
20 на деле 23-летнего юноши и спросить себя, каково ему было? — И какими болями всех родов отзывалась эта жертва всеожжжения долголетней страсти на Алтаре Свободы и Искусства?!

И я еще сотой доли подробностей не рассказываю! — Сожаление это о благородном и обманутом кокеткой мальчике, признаюсь, убивало мою гордость. — А какое-то чувство чести и другой еще высшей гордости заставляло меня молчать и скрывать лестную истину, несмотря на все мое самолюбие и природную откровенность. —
30 Еще дня через четыре после обручения она дала мне свидание в одном саду. — Сестры ее были с нею и уехали на пруд в лодке — нарочно, чтобы оставить нас одних... Мы долго прощались в беседке, и она обещала мне вот что.

— Я постараюсь быть ему хорошей женою. — Чем он бедный виноват! — Но, если мне станет очень трудно, я напишу тебе, а ты ответь правду — любишь по-прежнему или нет — и я приеду к тебе так жить.

Жених инстинктом влюбленного вернее всех понимал истину; — он бледнел, когда *обманутый мальчик* входил в комнату, и не скрывал от нее тревог своей ревности.

Итак, я не был ни жертвой, ни обольстителем и обманщиком, я был страдальцом, который с окровавленной раной сердца приносил в жертву и молодую страсть, и надежды на тихое семейное счастье, возможное с такой умной и доброй женщиной — неизвестному будущему поэзии, приключений и славы!..

Я был прав, конечно; — но оставаться в прежней среде ¹⁰ мне стало до того тяжело, что я, не имея средств уехать из Москвы, ушел под ничтожным предлогом из богатого дома, из хороших комнат, в больницу, пролежал там около 2-х недель со слугами, мужиками и писарями за 4-ре рубля в м(еся)ц.

Итак, мне надо было ехать, *притвориться* в самом деле уже доктором и, может быть, убить нескольких солдат. — Я решился их убить.

Конечно, для молодого человека, матерью довольно женоподобно воспитанного, от природы очень сострадательного и развившего в себе гуманность чтением Санда и Белинского, — такое решение было силой. — Но упорствовать долго в подобном деле было бы уже не только преступлением, но презренной слабостью и малодушием, более обидным для молодого поэтического сознания, чем какое-нибудь энергическое преступление. — Нельзя было лениться; — надо было работать. — И я начал трудиться в Крыму усерднее других. ²⁰

Мне сразу дали более *ста* разных больных. — Я решительно первые дни не знал, кто чем болен. — Я ³⁰ терялся; но не показывал вида и старался или прописывать невинные вещи, или продолжать то, что давали и делали до меня.

Кроме меня и старшего доктора, которому решительно было все равно, — месяца два, кажется, никого у нас из врачей не было. — Позднее стали на помощь приезжать другие.

Главный доктор думал только об доходах своих и об отчетах, ведомостях. — В этих отчетах он не любил встречать имена очень ученые и редкие — «Что это такое за новости! — говорил он, — «*Гидатиды печени*». — Умер? — Пишите его в тиф. — Тиф натуральное дело; а то еще выговор нам будет от Начальства. — Переведите этих трех из графы Лихорадки в *Pneumonia*. — От *Pneumonia* тоже многие умирают; — а от лихорадки — нехорошо!»

¹⁰ Другие молодые доктора были или гораздо лучше подготовлены моего, кончили полный курс и лечили свободно и смело; или были до того бессовестны, что им хоть трава не расти.

Я же поступал иначе. — От 8 часов утра и до часу-до 2-х едва кончался обход палат; было много раненых и вообще наружных, которых осмотр берет больше времени через перевязку. — После обеда устав требовал второго хотя бы краткого посещения. — Эта военная больница стала моим 5-м курсом, моей Практической Клиникой. —

²⁰ Я вставал в 6-ть часов, чтобы прочесть что-нибудь о непонятом мною накануне; — и после обеда, когда другие играли в карты, я учился опять.

Иногда, не понявши ничего в какой-нибудь болезни, — я прописывал что-нибудь безвредное и слабое, уходил домой, добивался понимания по книгам и рисункам и после обеда назначал средство серьезнее.

Иногда на дежурстве меня будили ночью, для принятия новых больных. — Другие товарищи этого не делали; — я хотел их превзойти — в энергии. — Меня это

³⁰ утешало.

Я делал часто и вскрытия трупов в часовне, приготовляясь по французским и немецким авторам — и скажу, что видеть на трупе, как верно угадана была опасная или неизлечимая болезнь — это большое наслаждение для начинающего.

Я начал в сентябре свою службу, а к весне 55 года — я уже был другой вследствие этих трудов, опыта и бесед с

одним более ученым товарищем — и сам видел и чувствовал огромную в себе разницу. — Все стало яснее; сам стал смелее и покойнее; видел и пользу с большою радостью. — Скоро пришлось резать руки, пальцы, ноги.

Первый раз у меня немного дрожала рука; а потом — нет. — Ампутации, правда, не трудны в смысле приемов, они гораздо легче, чем, напр(имер), вырезывание опухолей, вправление грыжей и др(угие) так назыв(аемые) неправильные операции. — Раз отнявши ногу на трупе в Анатом(ическом) Театре моск(овской) Клиники, — можно было вспомнить и здесь легко все движения ножа, скальпеля, крючка и пилы. — Но разница в чувстве для новичка — великая. — Резать холодную, мертвую ногу неизвестного человека под руководством доброго и умного Иноземцова; или видеть перед собою умоляющее или спокойно печальное лицо; вонзять огромный нож в теплое, живое, широкое мясо солдатской ляжки, обливаться самому живой горячей кровью... Решать самому судьбу страдальца, которого уже знаешь в лицо и по имени... Это труднее!..

Однако и это стало все легче и легче. — Я сделал в первую же зиму 7 ампутаций; — из этих людей — умерло 3-е, а 4 ушли домой здоровые; — эта пропорция для воздуха тесных больниц и изнуренных скорбютом, ранами и лихорадкою людей — очень хорошая. — Большого и не требует никто.

Теперь понятно или нет — почему я не мог и не должен был писать в первый год моей военной службы.

А писать иногда очень хотелось! Так было сладко на душе! — Здоровье было прекрасно; — на душе бодро и светло от сознания исполняемого по мере умения долга; — страна вовсе новая, полудикая, живописная, на Москву и Калугу ничуть не похожая; холмы то зеленые, то печальные на берегу широкого пролива. — Вдали Кавказский берег. — Милая, чистая красивая Керчь; — красивые армянские и греческие девушки... Встречи новые! общество совсем другое, гораздо ниже меня, во всем; но оно занимало меня.

Одинокие прогулки по скалам, по степи унылой, по Набережной при холодной луне зимою... Татарские бедные жилища... Воспоминания о страсти еще не потухшей, о матери далекой, о родине русской...

В Крепости общество напоминало мне то Гоголя, то «Капитанскую дочку»... Война вблизи; — ожидание нашей очереди. — Я жил и дышал свободой своей широко и радостно... И тем сильнее, что делиться было не с кем. — Я не говорил никогда с своими сослуживцами о ¹⁰Москве, о моем призвании; — они не знали даже, что я пишу; — и мне нравилось это мое *инкогнито* в измененной по духу, но все-таки новой и свежей среде.

Я считал себя, улыбаясь всем снисходительно, чем-то вроде Олимпийского бога, сошедшего временно на землю.

Если бы я был стихотворец-лирик, как Фет или Лермонтов, — я бы мог найти и повод и время написать тогда сонет или элегию; — но для архитектуры повестей, где нужен и расчет плана, — не было времени. И к тому же — какой сюжет?

²⁰ О своей прежней страсти я прямо писать не хотел тогда, — я думал очень справедливо вот что: «Чтобы описать *ту* или *то*, что для меня, для сердца моего святыня и высокая поэзия — надо, чтобы это было не хуже Фауста, Онегина или Лукреции Флориани; — а если я незрел еще и оскверню плохим изображением предмет в действительности для меня божественный... Только прекрасная, юная и грациозная женщина может, да и то с умом и тактом, позволить себе бесстыдство... А если бесстыдство и проституция некрасивы?.. Что за ужасное *crime de Lèze — esthétique!*»

³⁰ Не бедность московских воспоминаний мешала об них писать, а сила их и глубина.

Крым и военная жизнь — еще действовали на меня только общими чертами... Подробностей еще было мало сперва. — А потом — их стало через три года так много, и впечатления сердца, встреч и ощущений опять до того глубоки, что и их постигла участь московских воспомина-

ний. — Они были сохранены для будущего — да не осквернятся прежде времени неискусной рукою.

После 8-месячной довольно тихой и правильной жизни в крепости Ени-Кале, настало для меня время бродячей полковой жизни. — После взятия Керчи — я прослужил до глубокой осени при Донском Казачьем полку на аванпостах; был беспрестанно на лошади, переходил с полком с места на место, из аула в аул; пил вино с офицерами, принимал участие в маленьких экспедициях и рекогносцировках. — Тут было много впечатлений и встреч очень любопытных, но я об них молчу — чтобы не отвлечься от цели моей. 10

Осенью я перешел в Феодосию; потом через ссору с Начальником меня перевели среди зимы в Карасу-Базар, где люди сотнями гибли от тифа, лихорадки и гангрены, где что ни 1/2 часа, то звонили в Церквях для покойников, где из 14 врачей — на ногах были двое, а остальные были или уже в гробу или в постеле; у меня долго был один *двугривенный*; меня кормили долго другие; я был влюблен и любим; — я чуть не умер там; я *убежал* оттуда в Феодосию, бросив больных своих, и только благодаря стараниям друзей, избавился от суда. — Меня возвратили опять в Казачий полк. — Опять степь; опять вино и водка; опять тишина, безделье, конь верховой и здоровье... Опять новая командировка в Симферополь, где было очень много раненых и больных. — Опять больничные труды... но больше любовь, чем труды. 20

Мимоходом я увез одну девушку от родителей. — В это же время один гусар Кувичинский увез другую. — Нас перепутали; — мы были без паспорта в Карасу-Базаре; — нас задержали; мою бедную подругу хотели посадить в полицию, но я обнаружил в защиту ее столько энергии и решимости, что никто не осмелился на этот шаг; но целый день и ночь стояла стража у дверей наших, квартальный взял с меня взятку, последние пять рубл(ей); — один пьяный доктор, женатый человек, который отправил жену свою в Россию и жил с вовсе не красивой 30

«Наташкой», дал мне 10 рубл(ей). — Меня вернули под стражей в Симферополь; девушку я сам, отстоявши ее от полиции, отправил к родным.

Три дня я ел только черный хлеб; от голоду я принужден был поступить сам в больницу и обманывал долго своих сослуживцов-врачей, уверяя их, что у меня по ночам пароксизмы. — Ел казенную гадость от голода целый месяц; — потом получил вдруг много денег и от казны, и от родных; — опять здоровье, трактиры, музыка, знакомства с английскими гвардейцами, портер и шампанское. — Опять конец деньгам. — Удаление на тихую дачу «на берегах веселого Салгира». — Немецкая честная семья; — божественный вид из виноградника на Чатыр-Даг, кругом пышные сады; беседы с стариком о Крымской старине, о Боге, о природе. — Две дочери-вдовы; — меньшая молодая и благосклонна... Меня хотят женить на ней...

Но где — такая скромность! Через два месяца я уже опять в новом мире — я на другом конце города — в солдатской слободке — в маленьком доме вдовы Бармушкиной... Моя беглянка опять со мной. — Мы забываем весь мир и блаженствуем как дети на дальней слободке...

На службу я не хожу... и не каюсь. — Я — как будто опять болен. — По правде сказать, мне кажется, я больше думал о *развитии* моей собственной личности, чем о пользе людей; — раз убедившись, что я могу быть в самом деле врачом, не хуже других управлять и лечить — я успокоился, и любовные приключения казались мне гораздо серьезнее и поучительнее, чем *иллюзия* нашей военной медицинской практики! — Здесь на солдатской слободке — не было обмана; здесь достигалась *цель*; — но в больнице?..

Странствия мои все не кончались... На слободке нашел меня вдруг мой старый московский знакомый, богач Шатилов. — Он узнает, что я еще не был на Южном берегу, не видал ни Ялты, ни Алупки, ни знаменитого Аю-Дага. — Он восхищается моей подругой, восклицает, что

надо ехать с нею вместе на Южный берег, — дает мне на это 100 рублей, и мы едем. — Мы опять блаженствуем en tête-à-tête, среди невиданных ни ею, ни мной никогда красот южной, приморской и горной природы. — Мы возвращаемся без хлеба, закладываем ложки и опять расстаемся.

Я живу долго у Шатилова [в] деревне...

Война кончилась; строй военный мало-помалу давно редел; — полки расходились на все стороны с литаврами и пением... Уехали домой красные британцы... Помещики возвращались в свои имения. — Больницы пусты. 10

Боевые картины исчезали одни за другою, как степной мираж, и цветущая, разнообразная поэзия мирного и веселого Крыма становилась виднее и понятнее...

Я жил долго в степном имении Шатилова. — Прекрасное имение. — Я лечил его крестьян и соседей за годовую плату. — Здесь медицина стала опять приятна; — здесь — виден результат, — здесь — было меньше иллюзии. — Я катался верхом, гулял, читал, — занимался сравнительной анатомией — и даже стрелял... Здесь наконец — я стал опять писать на покое. — Ничто 20 не способствует так творчеству, как правильная жизнь после долгих тревожений и странствий.

К сожалению, наука (вообще), в которую я больше и больше стал вникать здесь на досуге, продолжала портить мой стиль и мой дух. — Всякое высокое развитие очень трудно. — Нужно много грубых камней, чтобы найти в них жилку золота; — нужно множество розовых листьев, чтобы выработать одну ложку дорогого душистого масла. — Не много остается истинного века — и у великих художников, у тех, у коих уменье соединилось в жизни и с удачей. 30

А сколько было писано!

Практическая жизнь, независимая должность были полезны мне для независимости, для новых впечатлений, для жизни, для того самоуважения, которого бы мне не дала презираемая мною серая и душная жизнь столичных редакций.

Теперь я больше любил, я больше уважал себя; — я сформировался и стал на ноги. — Но — такова судьба всего земного, — деятельная жизнь не была возможна без теоретических занятий, — а теоретические занятия приучали мою мысль к слишком научным, к слишком *точным*, реальным приемам, вредили капризу вдохновения, искажали подробностями простоту широких взмахов кисти, — ослабляли восторги и полет...

10 Вечная боязнь *выставить* слишком самого себя, боязнь, которой, не скрою, набрался я у Тургенева и других писателей того времени, — делала то, что я продолжал предпочитать сюжеты гораздо менее оригинальные и свежие, чем события моей собственной жизни, из-за какой-то *pruderie*, из-за ложного стыда, быть может, и похвального в человеке, но все-таки очень вредного для *художества*.

Лишь бы одну вещь гениальную написать — пусть она будет до бесстыдства искренна, но прекрасна. — Ты умрешь — а она останется. — Но чтобы решиться на это, надо быть или очень молодым, как я был, когда писал 20 *Кирева*, или уже усталым и сознающим невозможность сказать миру хорошо и 10-й доли того, что думаешь.

У Шатилова я много занимался сравнит(ельной) анатомией и медициной. — Кроме того и сам Шатилов влиял на меня в этом отношении хорошо ли, дурно ли, не знаю! — Он был страстный орнитолог; — у него был прекрасный музей крымских птиц, — я еще в Гимназии сам обожал зоологию, и мы сошлись. — Я читал у него Кювье и Гумбольдта, и мне кажется, чуть ли не думал 30 внести в искусство какие-то *новые формы*, на основании *естественных наук*.

Зоология, ср(авнительная) анатомия, ботаника исполнены поэзии, когда в них вникнешь. — Разнообразие форм и общие законы, — соблазн новых открытий и новых соображений — самые прогулки и близость к природе с научной целью — все это очень увлекательно.

Поэзия научных занятий и поэзия любовных приключений имеют между собою то общее, что они одинаково

отвлекают *вещественно* от искусства. — Но разница между ними та, что любовь и всякие приключения дают пищу будущему творчеству, влияют даже хорошо на форму его, ибо дают непридуманное содержание; а наука, отвлекая художника в настоящем, портит его приемы и в будущем, и надо быть почти гением, если не гением, чтобы стиснуть, задавить в себе этот тяжелый груз научных фактов и воспоминаний, чтобы не потеряться в мелочах, чтобы вырваться из этих тисков мелкого, хотя бы и красивого реализма, в высь и на простор широких линий, чтобы

«обрести язык простой
И голос страсти благородный».

Настал, наконец, час моего возвращения на родину.

Другие доктора возвращались с войны нажившись от воровства и экономии; — я возвращался зимою без денег, без вещей, без шубы, без крестов и чинов; — я ехал 18 дней с обозом от Крыма до Харькова и в Курске увидел, что у меня уже неостанет денег до Москвы, и если бы не сумел очень искусно и забавно обмануть одного спутника своего, то не знаю, как бы я доехал. — Он отмстил мне тем, что сам ел и пил хорошо три-4 дня, а мне кроме куска хлеба и кусочка сала все это время не давал ничего, и табаку даже не давал.

Так я ехал, бедствуя и наслаждаясь сознанием моих бедствий; ибо я был одним из очень *немногих*, которые могли из Крыма уехать не краснея перед открывшимся тогда либеральным и честным движением умов; — и сверх того, у меня осталась на руках одна бедная семья, которую я дал себе слово не оставлять и сдержал его.

Я помню, со мной был «Беранже». — Пообедав с музиками за 15 к(опеек) сер(ебром), я сел на воз. — Телега скрипела и ехала шагом до ночи по бесконечной степи — я читал Беранже...

Le verre en main
Gaiment je me confie...
Au Dieu des bonnes gens —

И простирая руки к небу, восклицал с радостью: «Боже! благодарю Тебя, что Ты меня создал не таким, как все эти подлецы, и дал мне силы и честь для такой трудной борьбы!»

В Москве родные заплатили за меня 20 к⟨опеек⟩ сер⟨ебром⟩ извозчику, который довез меня до дому — и я опять поселился в доме Ох—х на Пречистенке.

Ее давно уже не было в Москве, и мне это было приятно.

10 Позднее я встретил ее и увидел, что она привыкла к мужу и имеет много детей.

Мы говорили, обедали вместе и т. д. — Но мы уже были чужие друг другу — как в «Обыкновенной повести» Огарева.

Я искал места в деревне, в провинции.

Иноземцов, который славился способностью выводить молодых врачей в люди, знал и любил меня. — Он хотел оставить меня в Москве; — другие тоже советовали мне это, прельщая даже перспективой дамского доктора; но я оставался верен своему желанию уехать опять вдаль. —
20 Сельская жизнь обещала мне больше здоровья, больше досуга для мысли и творчества; наконец — возможность видеть и простой народ чаще и ближе, и высшее общество, если помещики попадутся хорошие; а мне и народ и знать, les deux e⟨х⟩trêms всегда больше нравились, чем тот средний профессорский и литературный круг, в котором я по средствам своим сначала принужден был бы, вероятно, возвращаться в Москве. — Я хотел быть на лошади... Где в Москве лошадь? — Я хотел леса и зимою; — где он? Я
30 хотел многого...

Кроме Тургенева, изящного, остроумного, светского, рослого и богатого барина, — и Фета, про которого я сказал бы стихами, если бы был стихотворец —

Улан лихой, задумчивый и добрый —

мне из литераторов и ученых лично никто не нравился для общества и жизни. — Панаев и Некрасов оба были от-

вратительны и т. д. <Гончаров тоже — ёрісіег толстый — и т. д.

Толстых я не встречал ни Льва, ни Алексея. — Майков очень жалок. — Жена его носит очки!

И потому — я на всех почти ученых и литераторов смотрел, как на необходимое зло; — как на какие-то несчастные *жертвы общественногo темперамента*, и любил жить от них далеко, эк(с)плуатируя их лишь для моих целей. — Может быть, от этого и из них никто не стал заботиться обо мне и все забывали меня, меня в моем удалении самолюбивом лично и самоуверенном художественно.>

МОЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СУДЬБА*

Ars longa — vita brevis!

(ПРИЕЗД В МОСКВУ И ПОСТУПЛЕНИЕ
В УГРЕШСКУЮ ОБИТЕЛЬ)

(ПОСВЯЩАЕТСЯ ДРУЗЬЯМ И ПОРУЧАЕТСЯ
С. П. ХИТРОВОЙ)

1874—1875 года

С. Кудиново

I

¹⁰ Из Калуги, по окончании всех дел по имению, мы с Георгием в Ечкинском тарантасе доехали до Ивановской станции, оттуда по железной дороге до Москвы. Сначала я занял порядочный номер в «Лоскутной» гостинице Мамонтова. Первое мое посещение было опять Иверской Божьей Матери. Я просил Ее (конечно!) о продлении моей земной жизни и о том, чтобы в делах литературных мне суждено было, наконец, *узреть правду себе на земле живых*. — Я надеялся и не унывал, но до сих пор,
²⁰ как оказалось, напрасно. Мне опять пришлось видеть искреннее сочувствие и слышать самые лестные похвалы от одних людей и самую странную несправедливость, самое

* Примечание 1890 года; Оптина. — Февраль. Все это написано 15 лет тому назад — слишком страстно, гневно и не духовно. — Оставляю это почти без изменений; не потому чтобы я и теперь одобрял все мои тогдашние чувства и поступки. — Ничуть; а только потому, что это может Мар(ье) Влад(имировне) и Варе дать деньги. — Есть и факты интересные. — И вместе с тем эта *тогдашняя* страстность моя, *после Афона и Угреши*, доказывает еще раз, как и
³⁰ самый искренно-верующий и опытный человек — немошен, когда дело касается до его самолюбия и выгод.

убийственное равнодушие от других, именно от тех, кто мог что-нибудь сделать.

Со мной была первая и совсем исправленная часть книги «Византизм и Славянство», которую я собирался отдать на прочтение Погодину и другим Славянофилам. — Были еще с весны взятые мной у Княгини Анны Матвеевны Голицыной рекомендательные письма к Княг. Трубецкой и Кн. Черкасскому. Еще были у меня отрывки из второй части «Византизма», которая еще не исправленная лежала у Каткова, и начало второй части «Одиссея», которую я почти насильно принуждал себя писать, гостя в августе в Оптиной Пустыни. Такой обширный объективный труд требовал большого досуга воображению; нужно в таком произведении, чтобы оно вышло недурно, обдумывать беспрестанно все, даже самые внешние обстоятельства, иногда и вовсе придумывать их, сообразуясь с местностью и другими возможностями. Героя я выбрал *неудобного*; — красивого и умного юношу, загорского купеческого сына, но боязливого, осторожного, часто хитрого, в одно и то же время и расчетливого, и поэта, как многие греки. Все изображается тут *не русское*; — надо большими усилиями воображения и мысли переноситься в душу такого юноши, становить себя беспрестанно на *его место*, на котором я никогда не был. Русские люди являются тут уже совсем *объективно*, в числе других лиц разных наций и вер. Не надо чрезмерной идеализацией русских внушать к себе недоверие; а вместе с тем самая правда жизни, сам реализм (хорошо понятый) требует давным-давно (с самых времен Онегина и Печорина) возврата к лицам более изящным или более героическим. Сам Тургенев насилу-насилу доработался до Лаврецкого и до блестящего *отца* в «Первой любви». — Гр. Л. Толстой насилу-насилу решился создать Андрея Болконского. — До того всех опутала тина отрицания и Гоголевщина *внешнего приема*.

К тому же разнообразных лиц — турок, греков, европейцев в «Одиссее» много. — Понятно, сколько *умст-*

венной свободы, сколько досуга воображения надо, напр., чтобы, с одной стороны, *сократить* до размера других лиц Консула Благова, который как бы составлен из Ионина, Хитрова и, разумеется, меня самого, а с другой, *расширить и отделить* друг от друга мусульман, действующих в романе. Мы так мало знакомы с мусульманами, нам так трудно узнать живые черты их домашнего быта, их всех так легко можно сделать *на одно лицо*, что изображение их требует несравненно большего внимания, чем

10 изображение греков, которые хотя весьма несхожи с нами психологически, но имеют с нами так много общего в историческом воспитании, в религиозных ощущениях и т. д.

А молодого русского консула — светского человека и художника по натуре, которого многие любят *в книге* и которого я сам люблю — изобразить трудно по противоположной причине: слишком легко впасть в *безличную идеализацию* своих собственных хороших чувств, приятных воспоминаний и даже некоторых из тех хороших свойств, которые автор знал и сознавал в самом себе.

20 Я вовсе не хочу нападать на несколько безличную и возвышенно бледную идеализацию; напротив того, она, пожалуй, и есть *художественный идеал мой*, по естественной реакции против гадкой и грубо осязательной мелочности, в которую впадает большинство лучших писателей нашего времени (особенно англичане и русские; французы теперь лучше). Но... Мадонна, почти иконописно идеализированная хоть бы кистью Ingres'a, была бы вовсе не на месте на хорошей реалистической картине Ге. Ее надо изобразить особо, на другом полотне. Вот это все надо

30 обдумать, обсудить, схватить и поскорей написать... Надо, чтобы роман был бы хоть *сносен в моих собственных глазах* прежде всего («Ты сам свой высший суд»). Большого я от «Одиссея» и не требую; — это не «Генерал Матвеев», которого я обожаю и который хотел бы довести до высшей степени совершенства.

«Одиссей» вовсе не любимый сын мой; я вижу в его манере очень много *обыкновенного*, но я хочу, чтобы и он

держал себя в обществе, по крайней мере, прилично. Нельзя, чтобы мой сын был просто слит из газетных известий и т. п., как антипольские романы Крестовского; или подслуживался бы только катковской умеренной морализации, как *напрасно и неудачно поднятый «Вопрос»* г. Маркевича (я говорю так, потому что именно те лица, которые Маркевич хотел более осудить — мать и гвардеец, вышли милее и понятнее других, особенно этого урода-сына!)

Вот почему я говорю, что мне «Одиссея» кончать трудно. Надо много *мыслить*, а я утомлен нестерпимо и мне хочется только *думать*. — А если уже *мыслить*, то над чем-нибудь более *решительным*, над «Прогрессом и Развитием» и т. п., а не над жизнью *маленького Эпира*, сколько бы в ней не было грации и оригинальности.

Итак, я в Оптиной едва-едва мог написать *две* главы, как неотложные по имению дела уже вызвали меня в Калугу.

В гадкой редакции на Страстном Бульваре что-то переделывали, и Катков в это время (в конце сентября? в начале октября?) был в своем Михайловском дворце! — В редакции секретари мне сказали, что 2-ю часть «Византизма» он взял с собой и читает ее.

Я был в этом дворце еще летом, и горбатый Леонтьев угощал меня там под вечер плохим и слабым чаем.

У меня сердце (художественное сердце) разрывается, когда я смотрю на это жилище, заселенное теперь Катковым и Леонтьевым! (Хотя последнего я и люблю до известной степени.)

Я не знаток декоративной археологии и никак не могу вспомнить, в каком старинном вкусе отделан этот маленький дворец (или скорее прекрасный барский дом), во вкусе реставрации, гососо или Rompadour — не знаю. — Но знаю, что глаз отдыхает на этих гостиных с расписными потолками, со свежей изящной мебелью *не нынешнего* фасона, с мраморными столами, яшмовыми вазами и т. п. Кажется, есть и штоф на стенах. Здесь бы Хитровым

принимать гостей; ибо другое дело их недостатки, их пороки даже, и другое дело их *декоративность*. — Породис-
тая, дорогая собака кусается иногда; — можно прятаться
от нее, можно ее прибить, убить, толкнуть (как иногда и я
старался бывать и толкать словами Хитровых, когда они
уж очень бывали злы или невежливы в своей изящной
gréotence), но нельзя же сказать, что собака неумна, не-
красива, *не декоративна*, оттого что она меня укусила. А
если приручить ее (как мне удалось под конец моей жизни
10 в Царьграде приручить немного Хитровых, то лаской, то
дракой, то терпением), — то воспоминание остается очень
хорошее.

Я как увидел летом этот дом, снаружи пошлый, но
внутри очаровательный, так мне сейчас же пришло на ум
все эти гостиные Rambouillet, Dudeffand, M. Récamier,
Staël и т. д., в которых встречались военный и дипломати-
ческий гений, литературный дар, поэзия и мысль, остроу-
мие и облагороженные страсти. Я подумал, кого бы я же-
лал здесь *видеть?*.. И не нашел никого удобнее для этой
20 цели Софии Петровны Хитровой... Пусть бы она в этом
доме являлась то в своей длинной белой блузе с розовыми
и палевыми бантами, которую она надевает будто бы *от*
усталости, или в том темно-лиловом платье и свежих
розах, в которых она ездила со мной в Игнатъевскую боль-
ницу...

Пусть бы она тут играла с Ветой, пусть бы рисовала
(стараясь только *нижнюю часть лиц* не так укорачивать),
пусть бы читала стихи Толстого, пусть бы говорила дер-
зости; то выгоняла бы доброго Зыбина Бог знает за что?
30 за то только, что он водевильный *jeune-premier*; слушала
бы мое чтение по вечерам, восхищалась бы *моим* умом...
Чтобы Цертелев был тут, чтобы Мад. Ону сверкала умом
(но только, чтобы она не говорила с хозяйкой дома о
воспитании детей!), чтобы Губастов лукаво молчал на
кресле...

Пусть бы непреклонный юрист, ее муж переводил бы
здесь Гейне, показывал бы нам свой стан, выправленный

и личную гордость, и кавалерийской службой, свой профиль германского рыцаря, свой славянский дух (хотя бы и не всегда *верно понятый*), свой взгляд César Bordjia; свою хладную закоснелую ярость на всех чем-нибудь высших и даже равных ему, свою снисходительность к Нико, Джою или Перипандопуло*... Пусть бы даже он и мне по-прежнему говорил 1000 неприятностей, вздора и неправды (притворяясь большею частью, что не понимает меня)... все это было бы кстати в таком изящном доме...

И вдруг вместо монументального Хитрова здесь передо мною умный, благородный, но все-таки горбатый однофамилец мой... Вместо Софьи Петровны Хитровой, в которой соединены изумительно лейб-гусарский юнкер и английская леди, — мать и супруга, японское полудетское личико и царственная поступь, злость и самая милая грация, восхитительное *косноязычие* и ясный, твердый ум... вместо всего этого... другая: ... и вообразите, тоже Софья Петровна... Каткова.

Впрочем, и сам Катков с годами стал не только ужасно неприятен характером, по свидетельству даже всех служащих у него в редакции, но сверх того... я не знаю как сказать... как-то *сер...* Мне все кажется, что и с него, и со всех его вещей в его кабинете надо долго сметать пыль. — Впрочем, и направление его чем дальше, тем *серее...* Придется еще раз цитировать Хитрова, который сказал мне про него в Царьграде: «Помни, бгат, что и Катков сам вступил уже в *пег'иод втог'ичного упр'ощения!*» — Правда, может быть невольно сознавая это, он оттого и раздражен. Хорошо! Но что сказать об этой *России*, от которой мы все имели наивность ждать так много, если вспомним, что Катков и «Русский Вестник» просто заменить нечем... И не видать до сих пор ничего возникающего. О чем думают люди молодые, отказавшиеся от нигилизма — представить себе нельзя... Или это центров нет, хоть есть и люди; или это *пройдет?*.. Но когда ж оно

* Слуга, собака, честный труженик.

пройдет?.. А жизнь видимо пошлет от прогресса... Вот и человек свежий, молодой, которому еще все улыбается и везет пока, Цертелев и тот это говорит о Москве. — Славянофилы говорили мне почти то же самое. — Федор Николаевич Берг (Боев) говорил мне, что если бы Катков умер, или *Вестник* закрыли, то печатать просто будет негде человеку со вкусом или убеждениями (не либеральными, разумеется, ибо непонятно, чтобы человека со вкусом не тошнило бы от нынешнего развития либеральности). Остроумный (либеральный) нигилизм так развит в Петербурге, что им питаются несколько изданий («*Вестник Европы*», «*Отечественные Записки*», «*Дело*», кажется, «*Биржа*», «*Петербургские Ведомости*» и т. д.!). Вот и хваленая молодость России... Я, признаюсь, за последние года совершенно разочаровался в моей отчизне и вижу, напротив, какую-то дряхлость ума и сердца... не столько в отдельных лицах, сколько в том, что зовут Россия. Чтобы она немного бы помолодела... боюсь сказать... что нужно... быть может, целый период внешних войн и кропопролитий вроде 30-летней войны, или по крайней мере эпохи Наполеона I-го. Надо приостановить надолго эту разъедающую, внутреннюю, *практическую* лихорадку.

Довольно обо всем этом! Теперь опять о себе... Итак, после молитвы у Иверской, я поехал к Каткову в Михайловский дворец, на Остоженку. Это было воскресным днем; тотчас после поздней обедни, которую я отслушал в Кремле. Человек Каткова сказал, что и он и Леонтьев, оба еще в церкви в Коммерческом Училище. Полагая, что они скоро вернутся, я пошел пока, но тотчас же на улице встретил Каткова. Он был окружен многочисленными дочерьми и вел за руку маленького сына в русской одежде. Меня это не особенно тронуло. Он увидал меня и улыбнулся мне своей натянутой улыбкой, в которой никогда я не видал ни добродушия, ни искренности, а всегда лишь одну притворную любезность. На дворе его сынок задержал нас несколько времени: он куда-то просился уйти с сестрами. Наконец Катков отпустил его. Мы пошли в ка-

бинет (хороший, вероятно, потому что они еще жили тут временно и не успели ничего испортить). Нам подали кофею, и я объявил ему, что приехал в Москву с целью заниматься у него при журнале, если условимся. Я сказал ему вот что:

— Не знаю, когда именно я поступлю в тот монастырь, о котором я говорил вам летом*. Я не могу даже ручаться, примут ли меня туда так, как я бы желал. Я бы предпочел лучше эту зиму всю прожить тут в Москве; только у меня нет денег, чтоб жить. Пенсия моя мала и она назначается для других целей. Мне, чтобы жить одному в Москве, надо по крайней мере 250 рублей в месяц.

— Вы нам много должны, — сказал Катков, — около 4000 руб. Таковую сумму — 250 руб. выдавать помесечно, как жалованье, нам неудобно. Это у нас не в обычае!

Я настаивал, что иначе просто нельзя. Я доказывал и говорил ему долго. Он слушал внимательно и думал. Потом сказал:

— Конечно, работа может быть разная. Вы можете заняться политическим отделом, не только по Восточным делам, но и вообще. — Иногда при редакции бывает вот что. — Все материалы собраны, все готово; нужно только бойкое литературное перо, чтобы это все объединить, округлить... Вы обладаете вполне таким пером, и для вас в редакции всегда найдется работа.

Так рек Михаил Никифорович, московский *публичный* *мужчина*, по выражению Герцена, которого он за это и ненавидит до самой возмутительной несправедливости.

Чтобы не упрекать себя после за какое-нибудь практическое упущение, или недогадливость, я на всякий случай поговорил с ним еще и о возможности возвратиться на службу, напр(имер) хоть при Московском Архиве Иностр(ан-ных) Дел, или получить то место в 3000 руб. (в Синодальной Типографии), о котором мне в Калуге, как о ва-

* Проездом через Москву в свою деревню я видел его раза три и получил от него 700 рублей.

кантном, говорила одна моя знакомая К. Н. Д—ва. Я говорил, что боюсь только потерять после пенсию, ибо служить долго все-таки не хочу, а лишь столько, сколько бы нужно для окончания некоторых дел. (Конечно, прежде всего литературных; я ужасно боялся, что в монастыре мне решительно запретят писать *повести*, а у меня до сих пор столько самых грациозных сюжетов из восточной и много оригинального в памяти из русской жизни. Эта боязнь утратить право на последнюю *земную* отраду моей жизни больше всего боролась во мне с жаждой удалиться в обитель.)

Говоря Каткову о возможности возвратиться на службу, я имел в виду две цели; одна была та, что он мог помочь мне легко в приискании места; П. М. Леонтьев, сообщали мне, почти друг с Обер-Прокурором Синода Толстым, а место в Синодальной Типографии зависит от Обер-Прокурора. А другое побуждение было вот какое: мне бы очень неприятно было, если бы Катков и Леонтьев сочли бы меня одним из тех *несчастливых идеалистов* и *бестактных людей*, которые ссорятся с Начальством, теряют хорошие должности, из-за пустяков бросают службу и т. п. Мне самому такие люди противны и жалки не в хорошем смысле, а в худом, особенно, когда они имеют какие-то *воображаемые убеждения*... И я никогда бы не променял своей службы на поденное писательство, если бы не *клятва пойти в монахи*. То поденное писательство, на которое я теперь почти решался, я считал лишь горькой и временной, унижительной необходимостью. Я не хотел, говорю, чтобы эти люди думали, что я поссорился с Министерством или что меня удалили за ошибки и непрактичность. У меня, я знаю сам, *такой вид*, что как раз, не зная меня коротко, можно эту гадость подумать. Даже Онú, который давно меня знал, говорил мне своим *билатеральным* голосом (я, впрочем, в нем этот голос, по личному уже к нему некоторому пристрастию — очень люблю): «Je m'étonne, mon cher, comment-vous, un homme de tout d'imagination, comment faisiez-vous pour être un consul très modéré et très pratique... Et vos écrits politiques sont

aussi excessivement positifs. — Voyez-vous — je suis un homme pratique...» и т. д. На это я ему отвечал смеясь: «C'est fort simple... Cela vient de ce que je suis très bien doué et de ce que j'ai en moi toute une masse de ressources variés».

Но другое дело мой милый Ону и другое дело московский «публичный мущина», с которым я желал бы иметь всегда одни лишь коммерческие отношения. Я, может быть, и ошибаюсь, но мне показалось, что он в 69 году, когда я приезжал в Москву на четыре дня консулом, был как будто внимательнее и любезнее со мной. По всему этому мне хотелось, чтобы он не считал меня вполне от себя зависимым и себе слишком обязанным и чтобы думал, что я и с нашим Министерством остался в хороших отношениях.

Он похвалил эту мысль служить в Москве и сказал, что занятиям у него это мешать, конечно, не будет.

Он назначил мне через несколько дней свидание в грязной своей редакции, и мы расстались. В большой гостиной я увидал с кем-то посторонним моего горбатого однофамильца. Он почти вскочил и подошел ко мне с большим *embressement* и с улыбкой всегда гораздо более живой и искренней, чем гадкая улыбка его знаменитого коллеги. Я поздравил его с недавним спасением (от револьвера Каткова-брата), и он, по-видимому, принял это хорошо. Он мне нравится давно уже гораздо больше Мих. Н—ча.

Я уехал с Остоженки и еще раз мысленно и в теории изгнал их всех: *Mad. Katkow en tête* — из прекрасного жилища и снова населил его Хитровыми, Игнатьевыми, Ону, Нелидовыми, Мурузи (вопреки Цертелеву и Зыбину) и т. д. Все эти люди могут иметь свои недостатки и несовершенства, но это живое общество, а не ученое, скучное хамство... Это люди, с которыми дышится легко даже и в минуту распрей.

Теперь я с радостью оставляю редакцию и поговорю немного о других моих встречах в Москве. Иные из них гораздо лучше и занимательнее редакционных дел. Редакции это кухни, или еще хуже — клоаки, ватерклозеты литературы. Что делать! теперь без них и поэзия невоз-

можно. Я говорю *теперь*, ибо были же счастливые времена, когда столько великого и столько изящного люди создавали и распространяли без помощи ватерклозетов. Прощаясь, хотя к несчастью и ненадолго, с Катковым, я замечу мимоходом, что у других редакторов еще обстановка по крайней мере лучше. Напр(имер), редакцию «Голоса» можно назвать отхожим местом *морально*, ибо здесь царствует демократическое зловоние самого лукавого и подлого оттенка; но по крайней мере у Краевского в доме хорошо, на ¹⁰ банкирский, буржуазный манер, на среднепетербургский, но все свежо, очень чисто, просторно и не без вкуса; и сам Краевский, когда я его видел в 60-х годах, производил какое-то скорей приятное и веселое впечатление неглупого и ловкого вивера. А у Каткова, как я уже говорил, все ужасно серо, криво, косо, грязно и противно!..

II

Здесь должна следовать глава о других встречах моих ²⁰ в Москве. Эти встречи были, может быть, важны для жизни сердца моего и в смысле воспоминания о прошлом моем (например, встречи мои с несколькими прежними крепостными нашими, которые все были чрезвычайно рады меня видеть), но я пока оставляю это и хочу заняться лишь теми людьми, которые прямо были связаны с литературной моей деятельностью и теми обстоятельствами, которые меня привели в монастырь скорее, чем я хотел и ожидал.

III

³⁰ Около этого же времени в редакции Каткова я встретил Федора Николаевича *Берга* (того, который пишет теперь под именем *Боева*). Я его прежде в лицо не знал, хотя в

60-х годах мы оба были долго вместе в Петербурге*. — Литературно я больше всего познакомился с ним по его Путешествию в «Заре». Я помню, мне там много понравилось; во-1-х, то, что он вовсе не всем восхищается в нынешней Европе и видимо предпочитает остатки старой; вовсе не все ему кажется там комфортабельным и, наконец, он даже *паспорты русские хвалит*; а я тоже рад и паспортам, и всему тому, что хоть чем-нибудь отделяет нас от современной Европы, хотя бы это *что-нибудь* и само было западного источника. 10

Что касается до мнения Берга обо мне, как о писателе, то он принадлежит к числу тех рассеянных по лицу земли моих почитателей, которых, как я с каждым днем убеждаюсь, вовсе не мало, *хотя мне от этого и ничуть не легче в литературном отношении.*

В 69-м (кажется) году Берг, встретивши мою племянницу Машу у Кашпиревых на вечере в Петербурге, сказал ей, что он в восторге от статьи моей «Грамотность и Народность» («Заря»), называл эту статью «высоко-художественной» и собирался даже, не будучи знаком со мной, писать ко мне и *благодарить* меня за нее. В первые же недели моего приезда в Москву мы познакомились в редакции. 20

Катков перебрался уже на свою ужасную лестницу в Университетской Типографии. Я пришел раз туда и увидел, что какой-то высокий молодцоватый мужчина средних лет, свежий, белокурый, немного немецкой физиогномии, говорит с Катковым. Потом ко мне подошел кто-то и сказал: «Ф. Н. Берг просит меня познакомить его с Вами». Мы поговорили; потом он зашел ко мне, и мы после двух посещений стали как свои люди. Он приехал в Москву по делам на время; он долго прожил в каких-то лесах Олонецкой, Архангельской или Вологодской губерн(ии); там, говорил он, у него лесопильный завод. Он уехал, по-види- 30

* Я и тогда искал личного знакомства с литераторами еще меньше, чем теперь.

тому, туда в первых 60-х годах, именно около того времени, должно быть, когда все, что любило изящное и поэзию и не успело составить себе положения прежде, бросало в отчаянии искусство, эстетику, бежало из России, умирало, шло в Польшу и т. п.; это было то время, когда я, промучавшись с 1 1/2 года в Петербурге, уехал в Турцию, когда Аполлон Григорьев совсем спился с горя и в самом Петербурге пропадад долго без вести, — когда Вс. Крестовский поступил в юнкера, скульптор Шрёдер разбил свои глиняные *chef d'oeuvres* и бежал в Бразилию, и т. д.

Берг сказал мне, что все мои сочинения у него собраны и переплетены особо. Он сказал мне также, что Вс. Крестовский, друг его, в «Русском Вестнике» прежде всего ищет моих повестей. Говорил много и другого в таком же духе.

Он уговорил меня оставить гостиницу Мамонтова и перейти на Тверскую в новую и небогатую гостиницу «Мир», которую держит очень добрая француженка Мад. Шеврие. «Это будет, говорил он, гораздо дешевле и лучше потому, что с ней можно лично сойтись и видеть от нее всякие уступки и внимание». Я ему за это до сих пор очень признателен. Правда, что в тяжелом моем положении Мадам Шеврие оказалась мне не раз почти другом и чуть не благодетельницей.

Как только я перешел к ней и условился с ней помесечно, так мне стало полегче на сердце и я, не откладывая больше, хотел приняться за работу помесечно для «Русского Вестника» или «Ведомостей».

Редакцию Каткова понять не легко.

Редактором *Вестника*, напр(имер), считался профессор физики Любимов; главным распорядителем по «Ведомостям» — некто Воскобойников. А между тем Любимов, кажется, ничего не значит, на Каткова влияния имеет мало и точно всех и всего боится. Когда мне приходилось говорить с ним о наших делах и счетах, он все жался, кидался куда-то, стыдился, не кончал фраз или кончал их испуганным шопотом каким-то и ни минуты не держал головы

покойно, а, избегая встречи глаз, все вертел шею туда-сюда. Маленький, серый, бледный, гладко выбритый, испуганный, он с своими дюжинными речами может служить образчиком этой современной умеренно-прогрессивной, умеренно-либеральной дряблости, мелкой учености и жалкого бесцветно-профессорского джентельменства новейшего времени, которого я терпеть не могу за его бесхарактерность.

Кривой, старый хохол и хитрый кутейник Бодянский, который живет как часы или как *Кант*, мне гораздо больше нравится.

Что касается до Воскобойникова, то он не так боязлив, по-видимому, как Любимов, но сказать, что он такое с своими усами — еще труднее. Так что-то такое *нынешнее, скучное*.

Я слышал, что он хороший исполнитель у Каткова, но сам ровно ничего не значит.

Катков сказал мне, что определенного жалованья ежемесячно давать нельзя, ибо нельзя знать, какая будет нужна работа. «А работа для Вас всегда найдется у нас; — сказал он еще раз. — Можно будет политику Вам поручить». Он сказал мне, чтобы я поговорил с Воскобойниковым, не найдет ли он мне дела в газете. Легко сказать у них: «поговорите с тем-то», но где и когда? Все они до того спешат, до того озабочены, что только добиваться встречи и разговора, и то уже какая-то унижительная мука для человека непривычного к суетам и нитью литературного пролетариата.

Я раза два-три просиживал в редакции по несколько часов; работы мне никто никакой не предлагал; я думал, что у них будет так же, как у нас в Министерстве или в Посольстве. Пришел человек 1-й, 2-й раз на службу; сейчас ему дают работу, и он спокоен, и дело идет. Он скоро может представить доказательства своей аккуратности, прилежания, ума. Но я напрасно ждал неделю, напрасно просиживал в редакции, теряя время, дорогое мне для романов и больших статей, целые утра. Все секретари и мел-

кие сотрудники, корректоры, ломовые чтецы иностранных газет, разные художественные фигуры, молча что-то умеренно-прогрессивное мыслящие в углах, *знали свое дело*, а я все не *узнавал*, и никто мне его не указывал.

Скучный Воскобойников с усами, у которого я наконец имел счастье просидеть около часа в кабинете, сказал мне так: «Трудно *теперь* найти такое занятие, которое давало бы рублей 200 в месяц. — Но прежде всего советую Вам иметь *инициативу*; тот из сотрудников, кто сам задумал написать что-нибудь для газеты или журнала, не обратится к Вам, а предложит Каткову свои собственные услуги».

Я задумался немного и сказал ему: «Не написать ли что-нибудь по поводу „Складчины“, которая была издана в пользу самарцев. Хотя это и не новость, но я только недавно прочел ее, и меня поразило в этой книге вот что: все, что в ней *история*, воспоминание, *правда*, то представляет русскую жизнь скорей в хорошем виде, чем в дурном. Все, что в ней вымысел, творчество, носит отрицательный, грубый, насмешливый или плоский характер.

Это замечание я сделал уже давно; я уже давно говорю, что если французская литература ищет всегда возвысить тон и краски изображаемой жизни, то русская, напротив, никак не может даже и до реальной жизни дорасти. Сначала Гоголь приемами, а революционеры позднее и *настроением* точно будто атрофировали, заморозили нас, подстригли нам крылья, и в этой книге „Складчина“ из очерков и повестей только и есть две неотрицательных; Кохановской — „Кроха словесного хлеба“ и Тургенева — „Живые мощи“. — Да и то „Живые мощи“ очень грустны.

Это вопрос очень интересный и капитальный; в такой статье можно коснуться кратко всей нашей литературы за последние 20—30 лет. Не надо называть статьи „О складчине“, а По поводу книги „Складчина“». Воскобойников сказал: «Это правда, что в этом смысле можно много интересного сказать. Но эта статья будет велика, ее надо в Вестник, а в дела Вестника я не мешаюсь. Там г. Любимов; поговорите с ним; я не имею там влияния. Он

другое дело, он профессор, Генерал, Действительный Статский Советник. Поговорите с ним».

Кончился Воскобойников.

Опять Любимов. Надо было дня два-три бегать по Москве искать его. Все это еще в первые две-три недели после моего приезда: где ж мне было примениться к тому, когда и где всех этих людей застать.

Наконец, просидевши часа три в лицее П. М. Леонтьева, я там уловил эту ускользающую серую штучку — Любимова. — Он всегда очень любезен, впрочем; сел со мной в сторонке, и, когда я сказал ему о «Складчине», он одобрил и отвечал: «„Одиссей“ ваш, я думаю, скоро будет набираться; я полагаю, что можно будет пустить его в следующей книжке (в ноябре), и когда будет к сроку и эта статья готова, то кажется, что можно и ее в той же книжке напечатать... Тем более, что вы подписываетесь под статьями *Константинов*. Вот как будто два лица!»

Я успокоился, и хотя денег у меня оставалось уже очень немного, но я надеялся, что можно будет сделать так, чтобы новые мелкие работы шли на прожиток, а «Одиссей», «Болгарский вопрос», «Матвеев» (если мы, наконец, сойдемся в этом с редакцией) — служили бы на погашение долга в 4000 рублей, который накопился за два года мои в Царьграде, благодаря неаккуратности редакции в ответах на мои письма и телеграммы, благодаря моему увлечению Восточной Политикой и моей любви к Церкви.

На другой день я заплатил 3 рубля за «Складчину» и сел писать.

IV

До сих пор я говорил все об отношениях моих к Каткову и Леонтьеву. Но я знакомился и имел дело в то же время и со многими другими лицами. С Погодиным, И. Аксаковым, Кн. Черкасским, Самариным, В. С. Неключевым, позднее с Бодянским и Княг. Трубецкой, к которой у меня было письмо от Кн. А. М. Голицыной.

Любопытно вот что: у Каткова я был какой-то пролетарий, труженик, подчиненный, должник неоплатный, ищущий еще денег, человек, бывающий только по делу. У других я был гость, консул на Востоке, у Погодина даже *замечательный человек*, почти авторитет по делам Востока.

Когда я виделся летом с Погодиным, мне достаточно было сказать ему: «Я писал также статьи о Панславизме под именем Константинова», чтобы он оживился и воскликнул: «Так вы бы сразу и сказали! — Помилуйте, я старик больной, умирать каждый день собираюсь. Время сочтено. Но теперь, когда я знаю, ктò вы именно, я готов с вами сколько угодно сидеть».

Вскоре после приезда моего в Москву, я поехал к нему на Девичье Поле. Он принял меня опять очень внимательно и попросил меня изложить вкратце, но не спеша, мою теорию *вторичного упрощения*. Я заметил ему на это вот что: «Вы, кажется, были всегда против аристократии и привилегий; а у меня, даже вовсе неожиданно для меня самого, вышло заключение в пользу аристократии и привилегий».

Он сказал, что научные взгляды меняются и что он мог и ошибаться.

Я начал ему излагать свою систему. Пришлось, беспрестанно удерживая себя от увлечений и подробностей, говорить подряд, я думаю, час если не более.

Вот тут я увидал, что значит долгая привычка ко вниманию и умственному труду. Этот больной старец во все время не сводил с меня глаз, не перебивая, не шевелясь и все слушая. Глаза его не выражали ни малейшего утомления; они все были светлы и внимательны.

Сколько бы из моих очень умных и молодых друзей и приятельниц стали бы невнимательны, или зевнули бы не от скуки непременно, а от телесного утомления, или начали бы перебивать, сбивать и спорить, не постигши еще хорошо сущность мысли.

Впрочем, тут много значит еще и то, ктò говорит. Когда говорит человек с авторитетом, человек уже известный, его

слушают и самобытные люди внимательно, хотя после могут и бранить его.

Свой брат, товарищ, приятель не то! А для самих авторитетов, для людей, имеющих имя в науке и литературе, свежий новый человек иногда гораздо дороже тех стародавних знакомцев общего дела, друзей и противников, с которыми они знают и видятся, может быть, уже десятки лет сряду.

Когда я кончил так, чтобы стало ясно, я спросил у Погодина, что же он думает о моей *исторической гипотезе*? — Он отвечал, опуская голову и пожимая плечами: «Что вам сказать! Я так подавлен обилием и разнообразием ваших мыслей, что не нахожу вдруг вам и ответа». Потом он начал говорить о том, о чем говорил еще летом, о том, чтобы сделать меня редактором славянофильского журнала, и написал тут же И. Аксакову записку, в которой рекомендовал меня, и дал мне ее прочесть. Насколько помню, в ней было сказано так: «Это человек примечательный; он мог бы, я думаю, стать редактором славянофильского журнала; но мне кажется, его необходимо *придерживать за полу*». Я посмеялся, 20 поблагодарил его и поехал к Аксакову.

Прибавлю еще вот что. Погодин говорил мне о состоянии нынешней литературы; жаловался на то, что чем дальше, тем хуже. Говорил, что цензура совсем не то преследует, что вредно и опасно для общего духа и хода дел, а то, что не нравится некоторым лицам; рассказывал, что Ив. Аксаков человек *забитый этой цензурой*, что он иногда *запирается и плачет*. А нигилистам, если только они осторожны, — житье.

Он жаловался также на *классическое* воспитание Каткова и Леонтьева, в том смысле, что древним языкам дано уже слишком много часов; что русский ум не немецкий; он может в один час сделать много, а если долго держать его над чем-нибудь, то он утомляется, а немецкий ум выдерживает дольше и т. д. 30

Молодые люди, утомляясь, бросают и *идут в нигилисты*, так что мера эта, направленная противу нигилизма, к несчастью, способствует ему.

Он прибавил еще: «Катков и Леонтьев, благодаря своим успехам, сочли себя непогрешимыми; это маленькие Папы. Но все-таки... их журнал пока остается прибежищем, и я сам печатаю иногда у них и прямо говорю им, я оттого отдаю вам, что нынче негде печатать».

Каково состояние российской словесности? И не прав ли я был, говоря, что это все пошлость *прогресса* и либеральности.

Посмотрим, что скажет Аксаков, «этот поп-стрелец»¹⁰ по прозванию Герцена. Оказалось, к несчастью, что он гораздо меньше поп, чем я...

Надо заметить, что он меня не знал, но я его знал давно. Я его знал, во-1-х, в Калуге, когда он в 40-х годах, во времена губернатора Смирнова (мужа знаменитой Россет) служил там в Уголовной Палате. Он нанимал флигель в доме родных моих Унковских и бывал у них часто. Я тогда был гимназистом, но уже интересовался литературой и смотрел на него с большим почтением, хотя ничего не прочел из его сочинений. Потом мы случайно встретились в Крыму в Тамаке, имении Иосифа Ник(олаевича) Шатилова, и провели вместе там дня три. Аксаков был ополченцем, а я военным врачом; он участвовал тогда в комиссии Васильчикова для исследований всех злоупотреблений, совершившихся во время кампании, и рассказывал много интересного. Гимназистом он меня не помнит, но наша встреча в Крыму пришла ему на память.

Я имел мало времени и хотел скорее дать прочесть кому-нибудь из Славянофилов 1-ю часть моей книги «Византизм и Славянство».

³⁰ Поэтому я приехал к Аксакову в 5 часов, во время самого обеда. Когда слуга сказал, что кушают, я велел все-таки доложить и прибавил, что мне лучше в прихожей просидеть 1/2 часа, чем 20 раз приезжать.

Аксаков вышел сам, не совсем, конечно, довольный, и вежливым жестом, в котором дрогнуло, впрочем, весьма понятное раздражение, указал мне на дверь кабинета и просил посидеть там, пока он кончит обед.

Я сел в кабинете, закурил папиросу и ждал его долго. Наконец он пришел и, не говоря ни слова, начал искать на столе сигару. Я, тоже продолжая курить, сказал ему так:

— Мне надо извинить, если я приехал не вовремя. Во-1-х, я спешу, а во-2-х, я прожил в Турции 10 л(ет), а в Москве жил лет около 20-ти тому назад; я не знаю, в какое время здесь кто обедает.

— Обыкновенно здесь обедают в 5 часов, — отвечал Аксаков. 10

— Да, в известном кругу, может быть, — сказал я; — а у меня есть дела с людьми разного рода, и еще 20 лет тому назад люди одного и того же общества обедали кто в три, кто в 4, кто в 5 час(ов).

Аксаков сел около меня на диване и довольно благосклонно и внимательно спросил, в каких городах я был консулом? Потом спросил еще: «Ведь это вы печатали повести из Восточной жизни?» Я сказал: «да, и еще я напечатал у Каткова 2 статьи о Панславизме, под именем Константинова». 20

Его как будто что-то кольнуло, он подался вперед и с живейшим участием воскликнул: «Ах! это вы Константинов!!» После этого любезность его удвоилась и приняла даже тот чуть заметный оттенок почтения или уважительности, который умеют придать, не роняя себя и возвышая собеседника своим словом и приемом, порядочные и светские люди, когда хотят доставить ему удовольствие или когда повинуются сами невольному чувству.

Я постараюсь передать в точности наш разговор для того, чтобы видели люди, кто из нас прав и кто виноват в том, что мы впоследствии не сошлись. 30

Я начал с того, что сказал ему прямо так:

— Я вышел в отставку вовсе не по разладу с начальством; напротив того; я рискнул приехать сюда, потому что нет никакой возможности печатать и издавать в России что-нибудь постоянно за глаза. Конечно, можно сказать, что я поступил нерасчетливо, но и это решит только буду-

щее. Найдутся, может быть, справедливые люди, которые поймут мое положение и поддержат меня.

Он очень заботливо расспросил меня о моих отношениях с Катковым, и я сказал ему, что по вине самой редакции я задолжал ей около 4000, что дело с ним имею поневоле; ибо другого журнала нереволуционного нет и т. д. и прибавил:

— Поймите, — зависеть от Каткова вовсе мне не по душе потому, что я его умеренному европеизму не сочувствую. Для меня мордва милее Европы.

Аксаков очень искренно и сочувственно засмеялся и сказал: «Еще бы! Я это понимаю!»

Я донес ему еще на Каткова, что еще в 69 году, когда я приезжал из Турции в отпуск, он, видимо стараясь подчинить меня больше своему направлению, сказал:

— Мне, признаюсь, претит одно это ваше Славянофильство. Славянофильство какая-то *гримаса*, больше ничего. Пусть сама жизнь выработывает эти оригинальные формы, а прежде времени учить нас, это доктринерство.

Аксаков, с пренебрежением улыбаясь, слушал этот донос мой, который я излагал всласть, ибо терпеть не могу и западный прогресс и разжиженное англо-саксонство *Вестника*, и самый характер Мих(аила) Н(икифорови)ча, его фальшивую улыбку, его сухость, раздражительность, доходящую до грубости и т. д.

Слово за словом я сказал Аксакову о книге моей «Византизм и Славянство», просил его прочесть ее в рукописи и, если можно, найти возможность напечатать ее.

Таким образом мы заговорили прямо о славянах, о Славянофильстве, о Болгарском вопросе.

— Вторая часть моей книги, — сказал я, — чисто практическая, она написана противу болгар, которые и нравственно и канонически не правы. Эту часть Катков напечатать не прочь с сокращениями. Но в книге есть другие отделения: «О психическом характере греков и юго-славян», и еще вот та система особая, о которой я не говорю потому, что вы сами прочтете и увидите.

Он стал меня расспрашивать о болгарах, и я ему сказал между прочим вот что:

— Многие у нас воображают себе болгар какими-то жертвами и только. Людьями невинными, патриархальными; но надо видеть самому вблизи этих болгарских вождей-буржуа... Какое-то противное соединение Собакевича с Гамбеттой.

Я ему рассказал, что знал об этих богатых старшинах и вождах Юго-славизма, о том, напр(имер), как иные из них, обитающие на о. Халках, ездят каждый день по делам в Константинополь и на пароходах сидят все время в 1-м классе, а в ту минуту, когда идет человек собирать плату за места, умеют почти всегда исчезать и оказываться в нижнем классе, чтобы платить дешевле, тогда как и вся плата ничтожная.

Он много смеялся этому. Я описал ему также, как болгарский архонт Топчилешта, здоровый болгарский Собакевич, идет по улице с базара и несет сам под мышкой огромную связку лука, как этот скучный рябой Бурмов, корреспондент Каткова, покупает вишни и торгуется и как грек-лавочник восклицает: «Плохи вишни! Да где ты видел такие! Сказано болгарская голова!», и блестящий корреспондент в высоком цилиндре поспешно уходит.

Я прибавил вот что: «Если бы Топчилешта был старик в восточной одежде, в шальварах и нес бы сам лук по улице, несмотря на свое богатство, то впечатление было бы совсем иное... Он внушал бы симпатию и уважение. А когда видишь эти нескладные, дурно сшитые сюртуки, когда слышишь все эти вычитанные из западных книг фразы о просвещении, о равенстве и свободе... то видишь перед собою вовсе не того почтенного славянского Патриарха, которого желал бы видеть и чтить, а так какого-то обыкновенного буржуа, только грубее и глупее европейского».

Аксаков слушал все это улыбаясь и одобрительно. Я чувствовал, что все, что я говорю, ему приятно.

Мы долго говорили. Я сказал ему искренно о моих отношениях к Каткову то же, что говорил и Погодину, то

есть, что больше негде и что иметь дело с Катковым очень тяжело, потому что надо во всем беспрестанно стесняться, когда пишешь не повести, а статьи. «Да! Я это понимаю, понимаю!» — сказал Аксаков с выражением особенно интимным и сочувственным в лице и голосе...

Я сказал ему еще кой-что о Славянофильстве; мне хотелось проверить самого себя. Я так долго жил и мыслил в уединении турецких провинций, что почти все мои мысли о славянах, Европе и Востоке создались и созрели беспомощно и независимо; в книгах даже был недостаток, а беседы и споров с настоящими, признанными авторитетами того учения, к которому я себя причислял, совсем у меня не было.

Я сказал ему вот что (именно то, что я говорю и в тех статьях моих, которые находятся теперь ненапечатанными по разным рукам и в других еще неоконченных):

— Я не раз думал и говорил друзьям и знакомым своим, что в Славянофильстве не столько *сами славяне* важны, сколько то, что в них есть особенного славянского, отделяющего нас от Запада... И что Славянофил истинный не славян во что бы то ни стало и *во всех формах* должен любить, а именно это *особое* культурно славянское... Если только оно найдется или выработается... Вот в чем задача... А что же толку в Славянстве для Славянства. Политическая сила и больше ничего... И то еще вопрос — будет ли сильно это Всеславянство, если оно не будет оригинально, если у него не будет своих, особых от Европы принципов...

— Разумеется нет! — сказал Аксаков...

Я продолжал:

— Я часто думал также, если бы Хомякова или Киреевских, или брата вашего поднять из гроба и спросить у них по совести, что лучше: слияние русских с юго-славянами и неизбежная при этом утрата последней культурной оригинальности, отделяющей нас от Запада, или союз, сближение, смещение даже с турками, тибетцами, индусами какими-нибудь, чтобы только создать что-нибудь свое

особое, органическое под их воздействием, хотя бы косвенным, то все прежние Славянофилы предпочли бы этих азиатцов — славянам. *Дело в своей культуре, а вовсе не в славянах.*

Опять выражение одобрения, опять: «ну, разумеется!», опять как бы радостное покивание головой.

Я прибавил еще: «К сожалению, я напрасно ищу чего-нибудь особенно славянского, сильно выраженного у славян. Я начинаю разочаровываться не в самом учении, а в славянской жизни, которая не хочет идти по этому пути...»

Аксаков: «Славянофилы надеются, что сближение всех славян между собою — послужит к выработке этих особенностей».

Я: «А если это сближение с юго-западными славянами приведет нас к тому, что мы еще скорее сольемся с Западной Европой, тогда что?..»

Аксаков: «Ну, тогда все пропало!»

Я обрадовался и успокоился; я увидел, что я верно понимал Славянофилов и потому могу смело рассчитывать на всякую от них помощь. Я прошу моих друзей внимательно перечесть этот разговор и сравнить потом, когда дело дойдет до практических приложений этих взглядов, мою прямоту и последовательность с лицемерием или непоследовательностью Аксакова.

Итак, на первый раз он был более чем любезен со мной; он пригласил меня бывать у него по четвергам, вечером.

После того, в течение этого октября, в который решилось для меня столько, мы виделись несколько раз. Дня через два после моего первого посещения Аксаков сам заехал ко мне, не застал меня дома и оставил карточку с надписью, что четверги его начинаются с будущей недели.

Мне хотелось, чтобы кто-нибудь из Славянофилов поскорее прочел 1-ю часть моего труда «Византизм и Славянство», ту теоретическую часть о *триедином процессе раз-*

вития, которую отверг М. Н. Катков, отзываясь, что в таких вещах можно как раз договориться до *чортиков**. Рукопись моя, черновая, как всегда, была ужасно дурно написана, ибо я трудился над нею через силу во время палящих Босфорских каникул — и только живость моего чувства и нестерпимая буря накопившихся мыслей могли через силу бороться с гнетущим жаром южного лета. Старик Погодин был нездоров, глаза его и без того утомленные постоянной работой над собственными сочинениями, воспоминаниями и т. д., отказывался решительно разбирать мои иероглифы. — Погодин, чтобы я верил ему, вынул из ящика тетрадь мою и при мне бился-бился и не разобрал почти ни одного слова.

— Вот видите, — сказал он мне, — пока доберешься до смысла другого слова, потеряешь всю нить мысли. Что делать, я стар; мне 76 лет. Сбираюсь в дальний путь... Своего труда бездна. Хочу привести все бумаги свои в порядок. Смерть может прийти невзначай. — Отдайте прочесть это кому-нибудь помоложе; Аксакову, напр(имер). Я ему напишу еще, если нужно. Ему напечатать негде; у него журнала нет; но если он не придумает для вас ничего лучшего, я напишу Бодянскому. — Он напечатает у себя в *Чтениях*, только даром и даст вам для отдельной продажи 300 экземпляров. Можете все-таки что-нибудь и деньгами приобрести. Верьте, что я с радостью все что могу сделаю для вас. Нам нужны такие люди, как вы, умные, просвещенные, мыслящие и... (он приостановился) и благородные... А мысли ваши я уже довольно хорошо понял из вашего словесного изложения в тот раз. Я сделаю все что в моих силах. Напишу еще Кошелеву, не хочет ли он дать деньги на журнал и сделать вас редактором. Если

* Эту любезность Катков сказал мне еще летом. Он в этот день был нездоров, принимал лекарство и, вдобавок, кажется, рассердился на меня за похвалы Герцену. Я сказал: «надо благодарить Герцена уже за то, что он перестал *верить* в прогресс и смеялся над ортодоксией революции».

же вы не найдете места напечатать, отдайте мне рукопись... я прочту не торопясь, приберу в свой стол, сделаю свои замечания; если в мыслях ваших есть правда, они не пропадут для людей. Найдут в моем столе по смерти моей.

Энергический старик исполнил все свои обещания и впоследствии (когда я уже был в монастыре) показывал мне ответ Кошелева, который отказался от этого плана потому, что с «нашей цензурой и т. д.». Он и так на «Беседе» потерял, говорят, около 30 000. Предложение Погодина заставило, я помню, меня задуматься. Не об редакторстве, ибо я дал себе слово не искать его и согласиться на него только при самых выгодных условиях денежных и нравственных (напр<имер>), чтобы сейчас же бы заплатили за меня братьям хоть по 1500 р. с. каждому и хоть $1/2$ моих турецких долгов, назначили бы мне 3000 годового содержания и дали бы полную свободу печатать как хочу и что хочу!); нет, я задумался о том — так ли я близок к Славянофилам, как мне казалось... или нет?.. Не ошибается ли Погодин, думая, что меня можно сблизить, напр<имер>, с Кошелевым, которого политические взгляды возмущали меня еще в Турции своей бесцветно-крикливо-либеральностью? (Напр<имер>): «Что нам нужно?» в «Беседе». Пошло донельзя!) Надо допустить что-нибудь одно: или что между известными московскими Славянофилами есть значительная личная разница, не только в характерах, как бывает всегда, но и во мнениях; или, что предметы, о которых писали Аксаков и Хомяков, были большею частью таковы, что в них меньше выражалось то, что могло меня отталкивать от них, а у Кошелева по роду статей именно разрастались те черты, которые мне вовсе не сочувственны? Оказалось последнее; и я через несколько месяцев яснее понял, что и на почве государственной, чисто политической, и даже (вот что неожиданнее!) и даже на почве Церковной я со слишком либеральными московскими Славянофилами никогда не сойдуся. Ибо я убедился и узрел очами своими, что если снять с них пестрый бархат и парчу бытовых идеалов, то окажется под этим приросшее

к телу их обыкновенное серое, буржуазное либеральничанье, ничем существенным от западного эгалитарного свободопоклонства не разнящееся.

Но пока, вначале, я это *только чуял* на мгновенье, — не сознавая наглядно; взял у Погодина рукопись мою «Византизм и Славянство» и отослал Аксакову.

В первый же четверг я пошел к Аксакову нарочно пораньше немного, чтобы застать его еще одного. Я хотел иметь время выслушать его мнение о моем сочинении.

¹⁰ Он прочел около 1/2, и оно видимо произвело на него сначала недурное впечатление.

Вот он что мне сказал:

— Ваша статья очень оригинальна и остроумна. Если бы у меня был журнал, я бы непременно ее напечатал с некоторыми замечаниями. — Ваши взгляды на славянство большею частью верны. «Славянство есть и оно очень сильно; Славизма нет». Это правда. Хотя и есть что возразить. Напр(имер), вы представляете Россию в виде какой-то индифферентной почвы, на которую действует ²⁰ (или над которой работает) Византизм... Но, однако, *есть* и у России нечто свое и на Церковной почве. Так напр(имер), у нас теперь заботятся о том, чтобы священников избирали себе сами приходы. Приход — единица, которую Византия почти не знала. Византия заботилась о крупных массах, о племенах и т. д.

Он говорил еще что-то в этом роде. Можно было бы многое возразить на это; хотя бы то, что именно племенного-то начала в Византии и не заметно; все племена без различия сливались в одной идее, в Православии. И еще, ³⁰ что в Турции давным-давно и селяне и горожане имеют большое влияние не только на избрание священников, но и Епископов. Трудно и теперь Епископу греческому удержаться долго на месте, если жители его не пожелают, и им всегда есть возможность писать в Патриархию жалобы. Патриархия редко не уступает. При мне подобным образом пало несколько Епископов (Янинский Парфений, Адрианопольский Кирилл, один Салоникский и друг(ой)). В

цветущие времена Византии, насколько мне известно, жители выбирали сами себе священников, а духовная власть утверждала их. Есть даже особая книжка Иоанна Златоуста о священстве, где он объясняет, почему он отказался от сана иерея и скрылся, когда его хотели прихожане избрать. Из нее и из многого другого видно, что избрание народом иереев дело вовсе не новое, не русское, и если уже искать у нас оригинальности (увы! с фонарем или микроскопом!), то скорее все-таки в прошедшем нашем, как оно ни было бесцветно сравнительно с прошедшим миров истинно культурных, а никак не в настоящем и не в близком будущем...¹⁰

Напр(имер), наше наследственное родовое Левитство священников, наши приходы, отдаваемые в приданое за старшими дочерьми умерших попов; наши семинарии, наши Епископы, обремененные орденами, и все-таки чрезвычайно влиятельные по-своему, твердые, часто даровитые и, несмотря на ордена, иногда и Святые по жизни (напр(имер), Филарет Московский); наши белые клобуки митрополитов с алмазами...

Все это не похоже ни на Католичество, где все духовенство безбрачно, ни на Протестантство, где вовсе нет черного духовенства (а все серое с оттенком кабинетной профессуры), ни на Византию, где не было ни наследственности, ни орденов на разноцветных лентах, ни белых клобуков, ни родовых исключительно духовных семинарий... где все в этом отношении было либеральнее, эгалитарнее, подвижнее... Увы! — говорю я — до Петра I-го мы были слишком похожи на Византию, с Александра II-го мы становимся слишком похожи на Европу (не на Францию, не на Англию или Германию, а именно на Европу), на какую-то среднепропорциональную Европу, не берусь решить — на нечто худшее, или на нечто лучшее частных Западных цивилизаций... Но, конечно, на нечто еще более нынешнего Запада опошленное и бесцветное. И мне даже кажется (и я боюсь этого), что каждая Церковная реформа у нас в духе первых веков Православия, имеющая в виду приблизить нас к 1-м векам Христианства,³⁰

вместо этого приблизит нас еще больше опять-таки к той же Европе, посредством сочетаний, которые можно даже и предвидеть. *Выборное* начало, всеобщее *голосование*, то *suffrage universel*, на которое сами Славянофилы так строго нападают, когда оно приложимо к высшей политической жизни (см. биографию *Тютчева* Ив. Аксакова. Москва, 1874), на Западе везде торжествует и, заметим, не в той форме корпоративно-феодальной, которой организация Великобритании обязана до сих пор своим величием, а в ¹⁰ *растрепанно-индивидуальном*, в каком-то *бесцветно личном* виде. У нас оно вводится также постепенно повсюду: в Земстве, в Мировых учреждениях и т. п.; у нас уничтожены почти совсем наши *сословные корпорации*, и чисто денежный и ученый ценз *fait la pluie et le beau temps* в губернских маленьких конституциях, пока не пришел период *еще октроировать* центральную законодательную Земскую Думу на основании тех же западно-буржуазных начал: *кошелька и университетского диплома* (одинаково способных быть уделом пошлости, бездарности и низости).

²⁰ В постройку Церковной администрации нашей внедряется мало-помалу со всех сторон светское начало: Семинарии желали бы вовсе уничтожить; их видоизменяют глубоко; находя, что прежнее духовенство наше имело слишком мало благотворного влияния на народ и высшее общество вследствие *замкнутости* своей, его хотят всячески сделать более *светским*, забывая, что если духовенство, воспитанное по-прежнему, не влияло особенно *благотворно* на мирян, то зато оно же и само *трудно подвергалось* *тлетворному* воздействию последних, не легло уступало ³⁰ им; просто *не понимало* — чего образованные миряне *хотят*?.. А непонимание есть часто средство несравненно более верное для предохранения людей от какого-нибудь влияния, чем то, *слишком высокое понимание*, на которое к несчастию рассчитывают нередко мыслящие и очень ученые люди, судя ошибочно по себе, *по своему уму* и знанию целые толпы и массы народа. Гораздо легче *не дойти* до того среднего понимания, которое так вредно, чем пере-

махнуть через него. — Именно это-то среднее, дурацкое, опасное понимание (или так называемый *здравый смысл*) доступно большинству.

Избрание священников по приходам, избрание самих Епископов епархией (которое даже «Русский Вестник» давно предлагает), новые духовные суды, ограничивающие власть Епископа коллегиальной властью *женатых попов*, уже потому что они женаты, более близких к общему уровню; нападки на монастыри (пока еще в печати и в разговорах, но мы уже узнали за эти 10—15 лет, до чего у нас скоро всякое слово теперь становится делом); все это те признаки *вторичного смесительного упрощения*, о котором я говорю давно; самое стремление обратить все штатные мужские монастыри в *общежития*, есть, во-1-х, соединение путей, *упрощение картины*; это раз; а во-2-х, в сущности это мысль крайне лукавая и лжебогомольная. Говорится, будто бы духовное начальство (т. е. Обер-Прокурор, фрак-граф, буржуа; «маркиз по виду ты и хам по убеждениям») заботится о благочинии иноческом, о том, чтобы монашество было более строго, чтобы аскетизм был выше; а в сущности выходит только стеснение монашеству, ограничение его; не всякому под силу жить под коммунистическим деспотизмом кинобий, а жить *хорошо* можно и в штатном. Люди знающие говорят, что в штатном Новом Иерусалиме, под Москвою, у Архимандрита Леонида живут монахи лучше, чем, напр(имер), в киновиальной Угреше, где, как слышно, сам Настоятель о. Пимен сознается, что он может устроить прекрасный *монастырь*, но не умеет создать *монахов*.

Итак, все реформы и в Церковной сфере, все течение мыслей даже у Славянофилов, *по-видимому столь церковных*, мнения ученых мирских попов, либеральные фокусы-покусы властей и т. п. при грубейшем непонимании всего этого нашей *публики*, все это доказывает одно, дух уже повеявшего на общество *вторичного смешения* и расстройств есть такой Протей, который принимает всевозможные формы и обманывает даже очень умных и дарови-

тых людей, принимая где нужно и Православный лик для разрушения прежних порядков. Все эти возвраты к давнему и более свободному прошлому своей Церкви, своего Государства, вечевые реставрации и т. п. крайне обманчивы; совершаясь вовсе не при тех условиях, при которых жила древность, они приводят вовсе не к тем результатам, к каким приводили свобода и равенство первобытные. Другое дело было избрание Епископов и священников в 4 и 5-м веке, когда придворные дамы спорили по вечерам об *исхождении Св. Духа*, или теперь, когда в избрание Епископа непременно вмешаются Лохвицкие, Максимовы, Краевские, Плевако (которых одно имя уже внушает омерзение) и т. п. люди.

Иное дело децентрализация Франции в эпоху феодальную; иное дело поздняя попытка Бриссотистов сделать провинции более свободными от Парижа; если бы Робеспьер их не казнил и если бы они успели в своем предприятии, то Франции не было бы и следа теперь. — Ее попридержала на 1/2 века в славе только одна *Централизация*.

Менять и меняться не только надо, менять и меняться неизбежно; но тот кто меняется к цветению — *расслаивает и дисциплинирует*, напр<имер>, подобно Петру; и если Православию суждено еще расти и цвести в России и в Славянстве, то не в таких пустяках, как избрание приходом священников или неизбрание их, найдет оно себе пищу и движение, а, напр<имер>, хотя бы в чрезмерном возвышении Царьградского Епископского Трона, после взятия нами Босфора, ибо тогда на этом троне не будут греки и только греки, а будут Православные разных племен. Я говорю об этом *административном, но не догматическом Папизме* во 2-й половине моей книги «Византизм и Славянство», которую я теперь должен был отделить под особым заглавием: «Еще о Болгарском вопросе».

(Как бы ахнул, я думаю, Аксаков, когда бы прочел еще и эту часть; но он ее не видал, и она сперва валялась у Каткова, а теперь валяется в редакции «Русского Ми-

ра», которого редактор Ф. Н. Берг все сильно сочувствует и сочувствует, но как-то слабо содействует и содействует.)

На вечере своем при других Аксаков был очень внимателен ко мне. Он со всеми знакомил меня, говоря: «Такой-то, бывший 10 лет консулом в Турции, тот самый, который... „Панславизм и греки“ под именем „Константинова“»... И опять... «Такой-то. „Панславизм и греки“... Консул в Турции... Константинов».

Были на этом сборище Кн. Черкасский, Самарин, не Юрий, а другой (его брат, кажется; красивый, хотя и рыжий), был некто Васильчиков, очень *distingué*, с добрым и радостным выражением лица; был еще один высокий, плотный, энергический мужчина с темной эспаньолкой; никак не могу вспомнить, кто он. Важный и самоуверенный; но по моему мнению, он говорил все вздор и так сухо и пусто, что я даже и забыл о чем именно. Была очень красивая, хотя уже не молодая женщина Графиня Баранова (сестра Черкасского, такая же брюнетка азиатская, как и он); были еще два хамоватых человека, оба как-то на одно лицо; один повыше, а другой пониже; я узнал, что один из них тот Барсов, который писал против Епископской власти и в пользу поповских судебных Конституций (еще Елагин возражал ему очень хорошо). Был, наконец, и этот жирный расхлебся, ученый и ограниченный мужлан Нил Попов, к которому наилучшим образом прилагается то, что я сказал о разных болгарских Топчилештах — *Собакевич в соединении с Гамбеттой*. Он кажется очень доволен своей судьбой, своим животом, скучной неумной ученостью и тем еще, должно быть, что у него старые его штаны все вылезают из-под жилета и что все у него оттуда видно...

Князя Черкасского я здесь в первый раз увидал; дома я его не застал и оставил у него карточку с письмом княгини Голицыной. Он был очень любезен и как-то весел со мной; на энергическом татарском лице его была постоянно вполне естественная, веселая улыбка, глаза ужасно хитрые. Расспросив кой-что об Игнатъеве и о

Княгине Голицыной, он сел против меня и очень вежливо и почти дружески тотчас приступил к строгому разбору моей статьи «Панславизм и греки», говоря, что она написана прекрасно и потому именно одно время кто-то из их круга и собирался на нее отвечать; но какие-то обстоятельства помешали.

Я защищался и оправдывался как умел. Все слушали наш диспут, очень покойный и благосклонный.

10 «Итак, славяне по-вашему для нас опасны, а греки наши естественные союзники. — С точки зрения Правительства нашего вы правы; оттого-то ваша статья и понравилась им в Петербурге...»

(Говоря это, Князь Черкасский все лукаво поглядывал на Аксакова.)

— Я потому не забочусь о славянах, что и без меня есть кому говорить много о пользе сближения с ними; что ж мне делать, если я боюсь всеславянской демагогии и если я нахожу, что и для Славизма необходимы охранительные начала.

20 Князь Черкасский заметил на это:

— Охранительные начала есть разные. Если я, напр⟨имер⟩, буду потворствовать Константинопольскому Патриарху, то еще понятно, что это может назваться поддержкой тех охранительных начал, которые нам свойственны; но охранение Папства, напр⟨имер⟩, может служить поддержкой революционных сил в России. Или если вы, напр⟨имер⟩, не сочувствуете теперешнему *statu quo*, т. е. реформам так называемым либеральным, то вы скорее революционер, чем охранитель.

30 Я отвечал на это, что не имею такой привычки, как он, к публичным прениям и потому, может быть, не сумею хорошо поддерживать против него свои мнения; что статья «Панславизм и греки» очень мала, но если мне удастся напечатать то, что я теперь привез с собой, тогда будет, я надеюсь, виднее, почему именно я вообще опасаясь западных и южных славян и в особенности болгар в Церковном вопросе...

В той статейке, о которой он говорит (прибавил я), «я не мог и развить вполне мою мысль, потому что я знал, что пишу для Каткова...»

Князь Черкасский с улыбкой пожал плечами и сказал: «А! мы этого и знать не обязаны! Мы судим только напечатанное...»

— Вы правы с вашей точки зрения, — сказал я, — но и я имею свои оправдания и, повторяю, многое, может быть, станет яснее, если я напечатая другие мои вещи... Тут есть система, верная или нет, но только совсем особая, которую я теперь объяснить не могу... — сказал я.

Все, даже и обе дамы (Аксакова и Баранова), молча слушали нас; я не хотел больше продолжать спор, который по вышеизложенным причинам был мне вовсе не выгоден, но остался очень доволен любезным и, так сказать, гостеприимным тоном, с которым препирался со мной этот энергический хитрец, один из заглазных и лично незнакомых мне любимцев моих в России. — Я его любил отчасти за деспотизм, который он обнаружил в Польше, и еще более за прекрасный ответ на Славянском съезде этому Ригеру, который вздумал было защищать поляков на обеде... («Не стоит так много говорить о нескольких Привислянских губерниях», в этом роде, если не ошибаюсь, хватил его этот русский Князь с лицом какого-то Кипчакского мурзы...)

Аксаков тут же поддержал меня, говоря:

— Теперь я читаю в рукописи чрезвычайно интересное сочинение К. Н—ча «Византизм и Славянство». Особенно любопытно читать труд человека, который, понимаете... 10 лет сидел в Турции и думал... Это сейчас видно. Видна свежесть мысли. Видно, что человек пишет совершенно вне наших здешних условий и привычек, не думает ни о цензуре, ни о других препятствиях... Между прочим г. Леонтьев говорит совершенно верно: «Славянство есть, Славизма нет». Есть Китаизм, Германизм и т. д. Такого отвлеченного Славизма, взвинченного над Славянством, как там очень удачно сказано, — он не видит.

На этом кончился разговор о моих сочинениях, который занял порядочную часть вечера и который я и сам не прочь был прекратить, ибо с меня и этого было достаточно для *успокоения* за будущее мое положение в этом, конечно, более всех других порядочном и облагороженном литературно-ученом кругу.

Я был доволен, несмотря на все возражения. Пожалуй даже и возражениями был вдвойне доволен, и потому-то ни одно из них не поколебало меня внутренне и все дали только случай, яснее проверив себя, сказать себе: Только-то? Ну, это не страшно... и еще потому, что я вовсе и не искал быть простым прихвостнем старых Славянофилов, несмотря на все мое уважение к их взглядам и трудам и идеалам; вовсе не думал о том, как бы *сжаться*, чтобы угодить им лучше. Я готов скорее *сжаться* для Каткова, ибо считал его всегда *чужим*, перед которым надо по необходимости обрезать себя, чтобы провести хоть *часть своих идей*... А на Славянофилов я надеялся как на *своих*, как на *отцов*, на *старших и благородных родственников*, долженствующих радоваться, что *младшие* развивают дальше и дальше их учение, хотя бы даже естественный ход развития и привел бы этих младших к вовсе неожиданным выводам, хотя бы вроде моего («Тот, кто хочет *культурного Славянофильства*, своеобразия или Славянообразия, — должен опасаться *политического Панславизма*, ибо он будет слишком близок по эгалитарно-республиканскому идеалу к Западу, и без того давно пожирающему нас духовно; для достижения *своей* цивилизации русским выгоднее проникаться турецкими, индийскими, китайскими началами и охранять крепко все греко-византийское, чем любезничать с Ригерами, Наперстками, Смолками, Фитами и т. д.»). Позднее я увидал, что именно от Аксакова я такой *patérnité* не увижу, а скорее от старых стариков Бодянского и Погодина. Но первым знакомством моим с редактором «Дня» и «Москвы» я был очень доволен.

Для меня при недостаточности моих денежных средств в эту зиму и вообще при затруднительном моем положе-

нии, было очень важно заметить, как со мной обращаются и поступают все эти люди, имеющие больше моего денег, известности и влияния. Понятно всякому, сколько может сделать пользы иногда в удачную и выгодную минуту одно какое-нибудь слово хорошей или дурной рекомендации... и потому именно, что это слишком понятно, я особенно об этом распространяться здесь не буду; я упомянул об этом только потому, что хотя я очень самолюбив и даже иногда до крайности тщеславен, но когда касается до моего ума и литературных способностей, то сознаюсь, в них-то я так уверен, что гордость моя уже мало и места оставляет тщеславию или жажде одобрения... Только в самые последние года, когда я впервые почувствовал глубоко, что смерть моя уже *навверное* не за горами, я стал мелочнее и насчет литературы; я стал больше прежнего дорожить моим положением, как литератора; прежде я дорожил больше мнением какого-то незримого гения чистой красоты, который парил вокруг меня в те часы, когда я думал, писал и перечитывал написанное мною; я больше чтил это незримое воплощение собственных критических вкусов моих, чем мнение того или другого писателя или редактора. Я знаю, как ошибочны и как еще чаще неискренны и расчетливы эти мнения.

Теперь, когда внутренние силы стали слабеть в неравной и долгой борьбе, когда разнородные бури души моей износили преждевременно мою от рождения несильную плоть, когда я, просыпаясь утром, каждый день говорю себе *temento mori* и благодарю Бога за то, что жив, и даже удивляюсь каждый день, что я жив, тогда как бревенчатые стены моего флигеля все увешаны портретами стольких покойников и покойниц, несравненно более крепких при жизни, чем я... Теперь, когда мне нужны деньги не для того, чтобы дарить 5-тичервонные австрийские золотые на монисто какой-нибудь янинской 16-тилетней турчанке, не для того, чтобы с целой свитой скакать по горам и покупать жене обезьян и наряды, лишь бы только

она не скучала — и не мешала мне делать что хочу... но для того, чтобы сшить себе *дешевые сапоги*, чтобы купить жене *калоши*, чтобы *голод*, наконец, не выгнал меня и близких моих отовсюду, из монастыря или из самого моего Кудинова на какую-нибудь работу не по силам и вкусу... Теперь я *смирился*, если не в самомнении, то по крайней мере в том смысле, что сила солому ломит... и что прежним *величавым удалением* среди восточных декораций, прежней независимостью я уже ничего не сделаю... Я *смирился* литературно в том смысле, что иногда... даже... (каюсь, каюсь и краснею этого чувства)... я подобно другим желал бы быть членом обществ разных, принимать участие в юбилеях, в чтениях публичных, над которыми я всю жизнь мою так смеялся и которые так презирал за то, что только у одного лишь Тургенева находил наружность приличную для публичной поэзии.

Я вижу, что разные Аверкиевы, Авсеенки и т. п., живя как все и обивая пороги редакций, составили себе хоть какое-нибудь имя и положение. Они литературные *utilités*, и, хотя согласие помириться на подобной немощи и возможность хотя бы мгновенной и преходящей зависти к подобным посредственностям я считаю в себе лишь признаком усталости, минутами малодушия и эстетической *изменой*, хотя я уважаю гораздо больше себя *прежнего*, себя *удаленного и брезгающего медленным выслуживанием в литературных кружках*, однако... сказал я, что делать! сила солому ломит. Мне нужно *жить*, наконец (т. е. *существовать*), и у меня есть обязанности... Вот что я хотел сказать, вспоминая о том, что я больше прежнего стал беспокоиться о том, как примет тот или другой из г. г. литераторов. Право! студентом даже я был на этот счет равнодушнее и спокойнее... Смолоду я даже *жалел* беспрестанно то Каткова, то Кудрявцева, то Мад/Сальяс, то, пожалуй, и самого Грановского изредка, *соболезновал*, думая, как им должно быть жалко и больно, что *они не я*, что они не красивый и холостой юноша Леонтьев, доктор

и поэт с таким необозримым будущим, с такой способностью внушать к себе любовь и дружбу и т. д.

Студентом и молодым доктором в великом признании своем я был до того уверен, что нередко и пренебрегал им, медлил, жег и рвал беспрестанно написанное, по два года сряду не брал в руки пера и нередко гордился больше ловкой ампутацией или удачным излечением какой-нибудь упорной сыпи, успехами в верховой езде или победой над женщиной, чем похвалами, которые слышал своим литературным начинаниям от Тургенева, Мад. Сальяс и других. В этом я был уверен; в практических занятиях моих, в хирургической ловкости, в эквитацции 10 моей, в красоте телесной (и в симпатии женщин) я часто сомневался... и хотел достичь бóльшего и бóльшего... Я хотел тогда быть во всем хоть сколько-нибудь доволен собою. Не напечатавши еще ничего, кроме 2-х посредственных повестей, я жил смолоду и потом до последнего времени, как будто бы пресыщенный славой человек, как Фридрих II-й, который иногда больше заботился о своих французских стихах, чем о победах. Не победить, не 20 разбить русских, австрийцев и французов он не мог... «Но... вот что важно, думал он, что-то скажет Вольтер о моих стихах?..»

Так думал Фридрих.

— Не написать замечательной вещи я не могу... — думал я смолоду. — Но что подумала Любаша (напр<имер>)), когда подо мной лошадь вчера взвилась три раза на дыбы как свечка... А я не обратил на это как будто и внимания?.. О! я напишу еще много, много успею!.. Но что ж думает доктор NN... Он думает, что он только один 30 практический человек? Что я не сумею счастливее и смелее еще его вправить этот вывих или вскрыть этот абсцесс? Я докажу ему, что он ошибается.

Позднее то же самое думалось часто и на дипломатической службе.

Конечно, если рассматривать дело только с той точки зрения, что мне нужно было обеспечить и устроить себя

чем-нибудь житейским для того, чтобы и в идеальном труде было свободнее, я, конечно, хорошо делал, что вел, и будучи врачом и будучи консулом, дела так, что меня предпочитали нередко людям так называемым *чисто практическим* (не знаю почему — надо бы сказать глупым, лукавым или сухим); я и пишу обо всем этом не столько в укор себе, сколько в укор другим литераторам и обстоятельствам. По идеалу я *тогда* был правее, чем теперь; но *неправота других* понудила меня, наконец, к уступкам и к согласию с горя влачиться, если уж нужно, и по этой битой и опошленной дороге *столичного литераторства*. Я говорил уже, что готов был взяться даже и за редакторскую деятельность, которую вовсе не уважаю и не люблю, если бы условия были бы очень выгодны. Бог спас меня.

Вот что я хотел сказать.

К следующему аксаковскому четвергу статья моя почти вся была им уже прочтена, за исключением нескольких последних страниц или последней главы, где я говорю о том, почему мы должны остерегаться юго-западных славян и в особенности болгар в их Церковном с греками вопросе.

К 1-му четвергу Аксаков прочел только все 1-ые главы о том, что нет *Славизма*, но есть обруселый *Византизм*, лучше которого и с культурной и с государственной точки зрения ничего уже не выдумаешь. Ко второму он кончил видимо все изложение моей *гипотезы* триединого культурно-органического процесса. Он был уже не тот; не только его взгляды на мой труд, и даже тон его личного обращения со мной изменились к худшему.

Рукопись моя лежала раскрытая на его столе.

— Я прочел ваш труд, — сказал он, — мне осталось дочесть очень немного. Повторяю, все это очень умно, остроумно, в высшей степени оригинально; изложено прекрасно... Но есть вещи, с которыми никакой возможности нет согласиться. Во-первых, вы относитесь к Христианству не как к вечной и несомненной истине Откровения, а

как к обыкновенному историческому явлению*. Потом вы проповедуете необходимость *юридических перегородок*, привилегий сословий, которые у нас, слава Богу, разрушены. Неравенство будет и должно быть всегда, но достаточно того, что один богат, а другой беден, один умнее, другой глупее и так далее**. Вы говорите (продолжал он все более и более разгораясь и даже краснея)... вы гово-

* Я и ему не возражал на это, и здесь не стану долго объяснять. Бог и духовники мои пусть судят, кто из нас лично более Христианин: я или Ив(ан) Сергеевич. Я знаю только то, что я не позволяю себе вносить ничего *своего* в Церковное учение и готов подчиняться всему, что велит духовенство, призванное по слову самого Христа *вязать и разрешать нас*.

До *нравственных* качеств моих духовных начальников мне почти и дела нет, когда я ищу духовного совета или подчиняюсь их распоряжениям, а Аксаков говорит, что для него Филарет не был *авторитетом*, что Герцен и *Гамбетта* для него более Христиане, чем, напр(имер), нынешний Московский Епископ Леонид. Хорошо Православие! Прибавлю еще, что если бы я видел в наше время человека мало-мальски религиозного и нуждающегося, каков был я пред очами Аксакова в Москве, так я, если бы рубашку с себя не снял бы для него, то уж конечно с жаром помог бы ему. Я это доказывал при всей нужде своей не раз. А Ив(ан) Сер(геевич) что-то и слова не промолвил о какой-нибудь материальной мне помощи. Он мог бы устроить для меня многое. Впрочем, это судить трудно, а может быть, я и грешу. Да простит мне Бог, если я ошибся.

В статье же моей, *понятно*, что я нарочно отстраняю мое личное Православие и хочу стать на такую точку, став на которую всякий бы мыслящий Буддист, китаец, турок и атеист понял бы, что такое Православие для России, славян и Европы.

Поневоле вспомнишь Павла Голохвостова. Мы с ним виделись летом, перед этой зимой, у Шатилова в тульской деревне последнего, и он, говоря со мной о статьях моих, сказал мне: «Лучше всего вам будет обратиться за помощью к старику Погодину. Черкасский человек очень хитрый... он не сообразуется с обстоятельствами... А Иван Аксаков... я не знаю как сказать... Странно было бы такого человека назвать *глупым*, — однако я не нахожу другого слова... Просто перейдя за известную черту, — он становится глуп».

** Чем же это отличается от западной *буржуазности*?

рите «наслаждение мыслящим сладострастием»... и дальше приводите римскую языческую поговорку «*quod licet Jovi non licet bovi*» (что прилично богу, то нейдет волю, или что прилично изящному и могущественному человеку, то вовсе не к лицу нынешнему буржуа*).

*Я писал это по поводу того, что нынешняя всесветная, нескладная, неинтересная, неромантическая *goture* хочет тоже не только существовать скромно, как существовали ее суровые и честные праотцы, а наслаждается жизнью и даже развратничает вовсе не к роже; я так и говорил дальше: «ибо, что еще пристало Алкивиаду, Montmorency или Потемкину Таврическому, то вовсе нейдет какому-нибудь Шульцу, Успенскому, Dubois, Labrossee, Laracaille и т. д.». Чем же я виноват, что это правда, чем виноват, что это такая же научная истина, такой же эстетический факт, как и то, что жасмин и роза пахнет лучше смазных сапог или шпанских мух! Ученый, который заявил бы как факт, что олень и лев красивее, прекраснее свиньи и вола, не возмутил бы никого; отчего же тот писатель возмутителен, который позволяет себе сказать, что Вронский в «Анне Карениной» несравненно изящнее и, говоря языком Гомера, *боговиднее* того профессора, который спорит с братом Левина?.. Не понимаю! А сколько есть ученых и не очень ученых буржуа, чиновников, адвокатов и т. д., которые даже и не так уж *худощавы* и не так тупо научны, как этот философ Льва Толстого,... и которые поэтому еще бесцветнее, еще непоразительнее его... Беда мне с этим *культом простых и честных людей*, который у нас так завелся! Моя языческая поговорка настолько же не противоречит всеобщему Христианству, насколько общие физиологические свойства животных, их дыхание, движения и т. д. не противоречат их *сравнительной эстетике*. Христианство не отвергает как факты ни аристократичности, ни телесной красоты, ни изящества, оно игнорирует их, знать их не хочет... И потому Христианин, оставаясь Христианином вполне, может рассуждать и мыслить вне Христианства, за его философскими пределами о сравнительной *красоте* явлений точно так же, как может он мыслить о сравнительном законоведении или ботанике... Я скажу больше; есть множество людей до того не изящных, до того прозаических, некрасивых, неумных, пошлых, тошных, каких-то *ни то ни сё*, что они мыслящего Христианина располагают скорее к богомыслию, чем удаляют от него; невольно думаешь: «лишь бессмертный дух, который таится в этой жалкой, бедной, кислой, *mauvais-genre* оболочке, лишь только закон его загробного существования, лишь его *незримые отношения к незри-*

Итак Аксаков:

— *Quod licet Jovi, non licet bovi!* — продолжал он с честным негодованием, краснея в лице... — Языческая поговорка; вы, однако, защищаете Православие... Это, наконец, не научно... вы требуете научного отношения к жизни, а это разве научно? Разве это не пристрастие? (хорошо пристрастие сказать, что Князь Цертелев красивее, ловчее и остроумнее, чем Перипандопуло!) Христос равно для всех сошел на землю... (выходит по Аксакову, что Христос пришел на землю для того, чтобы дельный, жирный, приземистый, пучеглазый *Amiable*, которого так уважает Хитров, взял бы себе в Париже трех любовниц на деньги, которые он заработал в мошенническом процессе какого-то тоже... *Хиана*... забыл... И чтобы таким образом *Amiable* этот имел бы равные эстетические и нравственные права с красавцем и героем юношей Дон-Жуаном! Прекрасно и научно, нечего сказать!)

— Потом, — продолжал Иван Сергеевич, — вы совершенно уничтожаете влияние *лица*, вы забываете свободную, личную деятельность человека... У вас ваш процесс развития и вторичного упрощения есть процесс фаталистический, деспотический, неизбежный... Поэтому о чем же хлопотать? Зачем писать... Вы Иеремия, плачущий над развалинами...

— А разве Иеремия не писал? — спросил я.

мому *Божеству* могут дать разгадку этим столь многочисленным и к несчастью столь реальным явлениям, как напр(имер), *Madame Белозерковец*, *Максимов* и т. д. Я не шучу нисколько. Именно *потому-то* и говорится, что перед Богом *все равны*, что здесь-то на земле разница между Байроном и *Амиаблем*, между *Бисмарком* и *Гумбухианом* еще слишком велика, вопреки всем стараниям благодетельного прогресса, пытающегося уже давно принести в жертву всех *Байронов* и *Бисмарков* *Гумбухианам* и *Амиабл'ям*, всех этих *tenore di forza* и *tenore di grazia aux hommes utiles et laboriaux*, чтобы не сказать хуже... А что перед Богом *Гумбухиан* меньше *ответит*, чем *Бисмарк*, это очень возможно и утешительно... Неужели Аксаков ничего этого не понимает?

Аксаков никак видимо не ожидал этого соображения и замолчал вдруг; он забыл, что Иеремия писал... Напомнив ему об этом, я попросил его посмотреть поскорее, пока не собрались гости, 2—3 последние страницы, где говорится о болгарах. Он согласился охотно, и я тотчас же прочел ему это место.

Вот оно:

«— Болгаре слабы, болгаре бедны, болгаре зависимы, болгаре молоды, болгаре *правы*, наконец — скажут мне.

10 Болгаре *молоды и слабы!*..

„Берегитесь, — сказал Сулла про молодого Юлия Цезаря, — в этом мальчишке *сидят десять Мариев* (демократов!)”.

Опасен не чужеземный враг, на которого мы всегда глядим пристально исподлобья; страшен не сильный и буйный соперник, бросающий нам в лицо окровавленную перчатку старой злобы...

Не немец, не француз, не поляк полубрат, полуоткрытый соперник.

20 Страшнее всех их брат близкий, брат младший и как будто бы беззащитный, если он *заражен* чем-либо таким, что при неосторожности может быть и для нас *смертоносным!*

Нечаянная, ненамеренная зараза от близкого и бессильного, которого мы согреваем на груди нашей, опаснее явной вражды отважного соперника.

Ни в истории ученого чешского возрождения, ни в движениях воинственных сербов, ни в бунтах поляков противу нас мы не встретим того западного и опасного явления, которое мы видим в мирном и лжебогомольном движении болгар. Только при Болгарском вопросе *первые с самого начала нашей истории* в русском сердце вступили в борьбу *две силы*, создавшие нашу русскую государственность, — *племенное Славянство* наше и *Византизм Церковный*...

Самая отдаленность, кажущаяся мелочность, бледность, какая-то сравнительная сухость этих греко-болгарских дел

как будто нарочно таковы, чтобы сделать наше лучшее общество невнимательным к их значению и первостепенной важности, чтобы любопытства было меньше, чтобы последствия застали нас врасплох, чтобы все самые мудрые люди наши дали бы угаснуть своим светильникам...»

— Вот видите, — воскликнул он; — положим это и правда. Да мало ли что правда. Так нельзя писать для печати... Разумеется, болгаре неправы, это бесспорно... Но ведь и греки солгали Духу Святому... 10

На этом наша беседа остановилась. Начали собираться другие гости, и мы вышли в гостиную.

Я очень мало возражал Аксакову во все время этого tête-à-tête. На этот раз говорил все он и с большим жаром. Я, помню, упомянул как-то о государственной необходимости. Он вспыхнул и сказал: «Чорт возьми это государство, если оно стесняет и мучает своих граждан! Пусть оно гибнет!» Я, говорю, почти не возражал; с первых слов его я понял, что между нами та бездна, которая бывает часто между учителем и учеником, ушедшим дальше по тому же пути. 20
Добрый ученик продолжает чтить учителя, не уступая своих новых и часто неожиданных выводов, но учитель негодует на эти выводы, может быть, именно потому, что он полусознательно улавливает логическую нить, которая ведет к этим неприятным ему результатам от его же собственных начал.

Как скоро я это заметил, я стал тотчас же равнодушен к тому, что Аксаков собственно думает о достоинстве моего труда, а все мое внимание устремилось лишь к практическому вопросу: *поможет ли он мне напечатать его или нет?*.. Пусть он ненавидит и презирает, только пусть напечатает как-нибудь. «Бей, только выслушай, или дай другим выслушать»... 30

И о том, что я сказал так длинно в скобках, то есть о(б) отношениях Церковных к Перипандопуло и Амиаблям, я ему упомянул в свое оправдание каких-нибудь два слова; и о болгарях, и вообще о власти и сословиях не

спорил; а на то, что я *смотрю* на Христианство только как на историческое явление (на Византизм), я полагаю, и отвечать вовсе не стоило.

Позднее, когда собрались гости, я занялся с неким Кар-Заруцким, который печатал статьи в «Гражданине»; он занимается теперь в особенности Старо-Католическим делом, Деллингером и т. д. Я слушал очень охотно его изложение; а Аксаков передавал целому кружку, собравшему около него, впечатления, вынесенные Юрием Самаринским из его последнего пребывания в Германии. Речь была о том, что прежняя нравственность германской жизни давно уже портится. Что народ глубоко развращен, утратил религиозность и что его зверские, разрушительные инстинкты сдерживаются теперь лишь силою и страхом. Благонравие же во многих семьях образованного класса держится *нравственным капиталом, прежде накопившимся под влиянием Христианских принципов.*

Аксакову возражал один ужасно жиденский и не авантажный юноша (кажется, какой-то Толстой). Он возражал горячо, но как-то трепетно, взволнованно и опустивши очи свои долу от стыда и сознания своей дерзости.

Он говорил, что быт образованных классов в Германии очень нравственен и это доказывает, что общество может и без религии быть нравственным. Ибо несомненно, что в Германии теперь религия слабее, чем, напр(имер), во Франции.

Аксаков на это сказал ему с вежливо отеческим оттенком: я не буду говорить теперь о безусловном достоинстве Христианства. Речь идет лишь о тех государствах и обществах, которые вышли из Христианства и устроились на нем. *Этим-то обществам грозит гибель, когда они откажутся от Христианского авторитета.*

Дряблый юноша опять начинал свою боязливо настойчивую речь. Аксаков опять говорил ему:

— Я не говорю теперь...

Я, полуслушая Кар-Заруцкого, думал: «что же это? — Я ли не понимаю чего-нибудь, или Аксаков не хочет постичь? Немцам и страшно и опасно потрясать Католические

и Протестантские авторитеты, а русским и болгарам все нипочем? „Болгаре неправы противу Патриархии, но нельзя так писать для печати?“ Хороша, по крайней мере, искренность подобной лжи, подобного лицемерия!»

В [тот] вечер были и другие случаи не лишенные интереса, но об них поговорю после.

Теперь я должен возвратиться к последним дням моим в Москве, которые начались было работой над «Складчиной» и кончились ужасной крайностью, совершенным литературным разгромом, потерями в суде, опасностью лишиться по описи последней шубы и рубашки, внезапным отъездом в монастырь и еще одним унижением, о котором мне до сих пор вспомнить больно. Я об этом после в свое время скажу.

V

Десять-двенадцать дней, которые я провел за статьей о «Складчине», были единственными сносными днями, которые я провел в Москве со дня прибытия до дня отъезда моего в монастырь.

Давно уже (с тех пор как в 70-м году я понял, что пора мне начать стареть) я ищу только одного: Церкви по праздникам, просторной и эстетически не противной комнаты, свободы писать что хочу с утра, напившись кофею не спеша, и скорого сбыта моих сочинений в печать. — Я даже готов не искать уже хорошего здоровья; к недугам я привык и мирюсь с ними, когда они не угрожают мне ранней смертью и не препятствуют умственной моей жизни.

В гостинице «Мир» номер мне достался хороший и просторный с большими окнами. — Даже обои (я терпеть не могу обои вообще; тоже вторичное упрощение) в нем были не очень противны; светло-кофейные с большими яркими,

красивыми и хорошо сделанными цветами. — Мне не было *стыдно* и *страшно* в этой комнате; в этой комнате я мог писать, не пугаясь беспрестанно от мысли, что, может быть, сейчас умру от бедности, что и я петербургский бедный фельетонист, учитель гимназии, что я Бурмов, приехавший в Москву, или какой-нибудь *вообще Успенский*... Да простит мне Бог эти *дворянские* чувства! Я до того сильно эти вещи чувствую, что из гостиницы Киттрей (в Кади-Кёе) бежал поскорее в Халки между прочим и потому, что у Киттрея ковер был какой-то подлый, а дешевая посуда вся отродясь уже в черных пятнышках. — Однажды я заболел у Губастова в квартире; Петраки, который меня знает отлично, увидавши, что я не унываю, сказал мне: «Это вы оттого не отчаяваетесь, что здесь Посольство и все персидские ковры!»

Несколько раз в течение этих хороших дней я был у милых Неклюдовых, которые всякий раз напоминали незабвенные мне гостиные и кабинеты моих цареградских друзей и приятельниц*. — Был и у Аксакова на четверге и встретил там несколько новых лиц, не лишенных занимательности. — Дома я все больше и больше свыкался с доброй Мад. Шеврие, которая держала себя со мной как родственница, и я у нее за буфетом и в комнате ее проводил иногда целые вечера. — Даже мой несносный, тупой и вечно потерянный Георгий, и тот хвалил эту набожную, тихую и добрую француженку и соглашался с тем, что мы живем скорее в семье, чем в гостинице. — По середам и по пятницам мне по-прежнему готовили постное и, занявшись все утро, я не раз заходил и в будни к вечерне то в ту, то в другую церковь, молился охотно и тепло и во всех церквях с радостью видел довольство, богатство даже, вкус; видел, что везде есть набожные люди всех сословий и возрастов, видел, что храмы украшаются и подновляются по-прежнему...

* Я ужасно виноват перед Нелидовыми, что до сих пор не благодарил их за рекомендательное письмо Неклюдовым. — Каждый день я об этом думаю!

Луч света, луч жизни начал опять слегка светить вокруг меня... Отчизна, которая показалась мне сначала так негостеприимна, чужда и даже во многих отношениях противна в этот приезд мой, — стала как будто бы оживать передо мною. — Все это оттого, что я стал писать.

В это самое время я читал три вечера сряду «Генерала Матвеева» Бергу, который был от него в восторге и говорил, что несколько поправок и произведение это будет в своем роде классическое.

Я начинал немного отдыхать и рассчитывал так: «Хотя роль постоянного сотрудника газеты или журнала, сотрудника, живущего в столице, ужасно всегда мне казалась пошла, прозаична и мелка, но что же делать... И для того, чтобы попасть в очаровательный Крит, видеть живописных турок и греков, водить с ними дружбу, прибить Дершэ, быть повышенным и написать потом „Хризо“, — нужно же было прослужить рядом... хоть бы с Извековым и Смельским в петербургском Департаменте 9 месяцев, *завистливо сокращая* чужие донесения и думая: „Есть же такие счастливицы, которые ездят с вооруженными арнаутами по горам!..“ Так и теперь (по справедливому мнению Губастова) следовало перетерпеть хоть *два года*, подновить себе связи с этой противно-растрепанной от эмансипации и прогресса Россией, составить себе прочное литературное положение и тогда вернуться на Босфор и Халки доживать остаток дней своих, деля их между отшельником Арсением, Богословами-греками и моим милым Посольством, в котором для меня соединилось все добродушие и теплота семьи со всем оживляющим блеском и умом высшего света...» (Я бы заставил хоть одного из тех, которые нападают на посольское общество, пожить хоть 1/2 года в интимности Катковых, Лохвицких и т. п., как живал я, и я уверен, что они заговорили бы другое!)

В эти так скоро прошедшие две недели я стал верить, что я могу устроиться в Москве, помогать семье своей и даже платить не торопясь мои долги в Турции. — Долги эти ужасно терзают теперь мне совесть.

Я надеялся, что мелкие статьи, очерки мои могли мне давать средним числом рублей 150 или 200 в месяц, если бы они только появлялись тотчас по окончании и в каждой книжке журнала.

Я не буду здесь распространяться подробно о содержании моей статьи; я упоминал о ней уже прежде; но все-таки и здесь хочу сказать о том же пояснее.

Я вообще могу сказать, что у меня давно уже *вкус опережал творчество*. — Вот в каком смысле. — Я ¹⁰ помню еще, когда мне было лет 25 и когда я по заключении Парижского мира в 56 и 57 годах гостил долго в прекрасном степном имении О. Н. Шатилова в Крыму, я однажды читал статью Чернышевского «Критика Гоголевского периода». — Чернышевский тогда еще не развернул вполне своего революционного отрицательного знамени; он был в то время еще *эстетик 40-х годов*; молодой, начинающий, но уже очень хороший писатель. — Большая статья эта очень мне нравилась, потому что формулировала ясно и очень подробно именно тот взгляд, который я сам ²⁰ имел на Гоголя, Белинского и других замечательных людей 40-х и первых 50-х годов.

Помню, в одном месте было у него сказано, что «при всем великом значении Гоголя, нет никакого сомнения, что у нас будут со временем писатели более гениальные, чем он»...

Я тогда, помню, положил книгу, задумался о том, — не я ли один из этих будущих писателей, и стал ходить по комнате и смотреть из окон моего флигелька на берегу речки Карасу́. — Степная тишь вокруг, туман южной зимы, который стоял над древнескифскими курганами, ³⁰ мираж степной, которым я так часто любовался во время моих одиноких мечтательных прогулок, умные, высоко развитые хозяева дома, с которыми я был дружен... Только что оставленная жизнь походных приключений и тяжелых, опасных лазаретных трудов, жизнь нужды и наслаждений... В 70-ти верстах от Шатиловых на берегу бушующего моря, в тени огромных генуэзских башен, — молодая,

страстная, простодушная любовница, к которой несколько раз в зиму возил меня сам Шатилов, говоря: «allons à Cythère». Или: «Rien qu'un petit tour à Parhos»; и когда вдали на краю степи показывались в одном месте темно-синие высоты тех гор, за которыми жила моя безграмотная, наивная и пламенная наложница, — он декламировал: «C'est la que Rose respire... C'est le pays des amours... C'est le pays des amours»...

В 40 верстах от Шатиловых был еще и другой мир — мать и дочь Кушниковы, в поместье Учкайя, исполненном унылой, степной поэзии... Матери было всего 35—36 лет, и она была еще удивительно свежа и красивее дочери. — Дочь — очень хорошо воспитанная, смуглая, хорошо одетая, рассуждала со мной о «Рудине» (который только что появился), о немецкой литературе, играла мне на фортепьяно «les cloches du Monastère»... У нее было одно будничное кашемировое платье, клетчатое, малиновое и vert-romme, и черный, длинный бархатный cache-peigne; и то, и другое я очень любил. — Любил ее легкую походку, ее сдержанность и хитрость, под которыми чуть-чуть брезжилась затаенная страстность. — У нее было до 25 000 приданого, кроме земель, и осужденный умереть один маленький брат.

У Шатиловых я жил не без дела; я был годовым доктором и лечил очень удачно его русских крестьян, татар и дворовых...

Практическая совесть моя была покойна и даже больше... Ибо в наш век ничто так не успокаивает идеалиста, как сознание того, что он делает и практическое дело и делает его даже во многих случаях лучше таких людей, которые кроме своего практического ремесла ничего не понимают, не заботятся о Гёте или Лермонтове, о Рафаэле или Бетховене, о том, наконец, чтобы самим быть хорошими и изящными по мере сил.

В России меня ждала преданная, любящая, умная, хотя и очень взыскательная мать в своей благоустроенной деревне, которая, конечно, должна была достаться мне, а не другим братьям.

Я тогда любил наше цветущее, сытое, хотя и небольшое Кудиново... старые липы его больших аллей стоят и теперь; на дворе еще цветут бедные остатки тех роз, из которых мать моя сделала перед большим домом такую красивую кайму вокруг дерновых оазисов, окруженных и узорно изрезанных песчаными дорожками... Но дома теперь нет... В одичалом саду, на липах выют гнезда скучные и шумные грачи; в аллеях трава по колено; и на узорных когда-то дорожках двора племянница моя тоже давно косит траву, и мы даже рады этому лишнему клоку сена для тех 3—4-х коров, которыми теперь богата наша дворянская нищета...

Мать моя уже не ходит поутру после кофея в свежей кисейной блузе по саду с зонтиком; простой дерновый валик в селе Велине, в 12 верстах от нас, покрыл ее тело, и у меня еще и денег не собралось до сих пор, чтобы сделать ей памятник! — У племянницы моей, в одном из наших маленьких флигелей, висит в сторонке *последний* портрет покинутой мною *старухи*... Она, которая так долго держалась, которая была так долго бодра, свежа, неутомима, горда, самовластна, хотя и всегда пряма и благородна... на этом портрете так жалка и так убита... На сморщенном лице, прежде столь открытом и надменном, в потухающих глазах, во всем видно столько уныния, столько немного отчаяния, такая мольба о пощаде, что я боюсь подходить к тому уголку, в котором висит этот ужасный для меня портрет. — Говорят, она, которая плакала не легко, плакала горько и зажимала уши, когда рубили на своз наш большой старый дом... А для чего она продавала его? — Чтобы увеличить тот небольшой капитал, который был мне нужен для уплаты другим братьям моим...

А я? — Что сделал я?..

И все ли люди должны думать то, что думаю я, когда теперь вижу себя иногда почти с отвращением в зеркало и потом смотрю пристально на акварель, на которой я представлен студентом таким юным, красивым... женоподобно-красивым, положим... но что ж за беда?..

Не думаю!..

Горчаков, Катков, Тургенев, Игнатъев, конечно, должны с другим чувством видеть портреты своей молодости и самих себя теперь, через столько лет...

Если даже им и грустно иногда в такие минуты... То что такое грусть!.. Мне не грустно, — мне и *страшно*, и *стыдно*... А винить ли мне себя или других — я не знаю...

И чтобы решить это стороннему судье, — надо *знать* всю мою жизнь, столь бескорыстно посвященную мысли и искусству, надо *понять* весь ход моего развития и моего теперешнего упадка... Те, которые знают все это лучше других: Губастов, Ф. Берг, моя племянница Маша, — винят не меня, а других...

А во мне иногда все тупеет от долгого напряжения мысли все в одном и том же обидном направлении, от одних и тех же горьких вопросов, которые как замкнутый круг возвращаются ежедневно. — И я не знаю — *кто виноват?*

Недавно я прочел по-русски книгу *Иова*. — Старые друзья Иова стараются доказать ему, что он великий грешник, что Бог по делам его наказывает его. — Иов негодует; он не может постичь и вспомнить, какие были те *большие* грехи его, за которые он несет такое ужасное наказание... Он, может быть, даже желал найти, вспомнить их, раскаяться... и не находит. — Он *старался* быть добрым отцом, господином справедливым и милостивым, он помогал вдове, сироте и страннику... Он непоколебимо верит в Бога и надеется, любит Его... «Нет! он никогда не поймет, за что его так казнит Провидение...»

Встает молодой Эллиуй и говорит ему с воодушевлением: «Да, ты, может быть, и праведен... Но где ж тебе... тебе!.. смертному, постичь цели Божии... Почему ты знаешь, зачем Он так мучит тебя... Разве ты можешь считаться с Ним?!!»

На это у Иова нет ответа...

И не успел кончить молодой и восторженный мудрец, как сам Иегова вещает с небес *то же самое*. — Мнение

Эллиуя было гласом Божиим. — «Иов прав, — заключает Господь, — но Мне угодно было испытать его».

Основная мысль этой великой религиозной поэмы — вечная истина и не для одной религии. — Есть на всех поприщах вины явные и есть вины и ошибки непостижимые самому строгому разбору, самой придирчивой совести...

И вины явные, ошибки грубые не всегда наказываются на этой земле, и правда и ловкость практическая не всегда ведут к цели... (я говорю здесь *практическая* в самом широком смысле; практичен, например, поэт, когда он живет поэтично и вдохновенно, удобно и возбуждительно для творчества. Разве Байрон был бы Байроном, если бы он остался благополучно в Англии с Miss Milbank?)

В наш век слишком много стали приписывать человеческой свободе и человеческому разуму. — Есть нечто выше нас, и мы виноваты только тогда, когда не исполняем предначертанное нами, а так ли мы предначертили все в нашей жизни, как следует, — кто решит?..

Одно из самых сочувственных мне лиц в современной истории — это Наполеон III-ий*. Его сгубило то, что я зову вторичным упрощением Франции, — сила органическая, а не он развратил и погубил эту, уже и до него глубоко опошленную равенством нацию, как говорят все эти презренные негодяи школы Jules Фавра и Гамбетты...

Я помню, когда я смолоду имел глупость тоже либеральничать (вполне искренно, и это-то и глупо!), добрый и честный Дмитрий Григорьевич Розен**, увещевая меня верить больше Богу и Церкви, говаривал: «Non, mon cher K. H—ч, croyez-moi — *il y a quelque chose!*» — Я тогда

* Не по натуре своей, а по судьбе; и еще потому, что он ужасно выигрывает от сравнения с либералами.

** У которого я прожил два года (58—59) в нижегородском имении почти так, как жил Милькеев у Новосильских в моем романе «В своем краю»!

улыбался с гнусной тонкостью, а теперь, когда я вижу у других эту тонкость, — я не бью в морду одним — только потому, что они мне кажутся гораздо сильнее меня, — а других, которые не страшны, не бью потому, что не хочу судиться у Мирового судьи... Но что я чувствую!.. Но что я чувствую... О Боже!..

Я думаю, и Наполеон, отдыхая уныло в Вильгельмсгёхе (кажется так?), говорил себе: «Il y a quelque chose! — А я-то чем же так особенно виноват... Этот народ подлый, как и всякий народ, — сам меня избирал три 10
раза...»

Так и я говорю теперь: «Да! Il y a quelque chose!.. И если есть за мной ошибки и вины эстетические или практические в моей неудавшейся литературной карьере, то я их не вижу, не понимаю и никогда не пойму, как не видал и не понимал за собой Иов крупных грехов, больших духовных ошибок. — Вся моя жизнь от 21 года и до сих пор была посвящена самому искреннему, самому рыцарскому служению мысли и искусству... Талант высшего 20
размера во мне признавали и признают почти все те, которые могут быть судьями...

Передо мной теперь целая пачка писем от разных известных лиц, которые свидетельствуют это: от Тургенева, Дудышкина, Страхова, П. М. Леонтьева, Краевского. — Нет... нет! — Il y a quelque chose! — Il y a quelque chose!»

Я прошу простить мне, что я так отвлекся... Мне очень больно и очень приятно об этом всё писать... И кто меня любит, тот мне все это, я знаю, простит...

В прошлый раз, когда я писал эти записки, я так был грустен, растроган и взволнован, что не мог удержать по- 30
тока своих мыслей, написал вовсе не о том, о чем хотел

писать. — Записки эти могут иметь значение только для того, кто интересуется хоть сколько-нибудь мною лично. — А тот, кто мне лично сочувствует, тот, конечно, простит мне это невольное отступление. — Я и сегодня не могу быть вполне спокоен; — и сегодня я не владею моими мыслями, как бывает обыкновенно, а мысли и чувства мои управляют мною. — В маленьком флигеле моем меня со всех сторон окружают такие предметы, по которым я, даже если бы и не хотел этого, то вынужден был бы ежеминутно читать свою печальную автобиографию. — Я говорю «печальную» не потому, что в прошедшей жизни моей не было бы вовсе веселости и наслаждений, — нет, а потому, что я теперь от всего этого должен отказаться и *по обету* (даже и тогда, когда не ношу иноческой одежды), и по необходимости матерьяльной... Здоровья нет, денег нет, но есть долги... А главное, главное... как говорит Гёте:

20 Если ты потерял состоянье —
Ты ровно еще ничего не утратил.—
Честь потерял?.. приобрети славу —
— И все забудется...
Но если ты утратил *бодрость духа*
(*Muth, веру в себя, в свою звезду*)... Ты
все утратил...

Я пишу это на память и не помню даже, откуда это из Гёте, из какого стихотворения.

30 В прошлый раз я хотел сказать, что в небольшой статье моей «О Складчине» я намеревался кратко изложить мой общий взгляд на всю современную русскую литературу, со времен Гоголя, и еще, что у меня *критический вкус давным-давно опередил творчество*. — Давным-давно мне уже перестала нравиться сухая объективность всех наших писателей, их ложный, отрицательный взгляд на жизнь, их противные реалистические подробности. — Самый язык их (я говорю теперь не о каком-нибудь Авсеенке и Ключникове, не о топорных произведениях Лескова или Всеволода Крестовского), я говорю о лучших художниках наших, о Льве Толстом, о

Тургеневе, о Писемском; самый язык этих лучших писателей наших так часто возмущал меня, что я давно искал случая сказать об этом свое мнение.

Я не раз говорил, что если французы любят чересчур *поднимать* жизнь (как в 40-х годах говорили, *на каблуки и ходули*), то наши уж слишком любят всячески принижать ее. — Сама жизнь лучше, чем наша литература. — Все у наших писателей более или менее грубо; — комизм, отношения к лицам; даже «Война и мир» — произведение, — которое я сам прочел три раза и считаю прекрасным, — испорчено множеством вовсе не нужных грубостей. — И в «Анне Карениной», в которой автор видимо сознательно старался более, чем в прежних своих произведениях, об изяществе, — и в выборе лиц, и в самой форме выражения попадают, однако, эти вовсе ненужные и противные выходки, от которых никто из наших писателей со времен Гоголя избавиться вполне не мог. — Я предлагаю вспомнить о том, как *цирюльник бреет* Облонского; как *раздался носовой свист* (как это пошло, гадко, и, главное, не нужно) мужа Карениной... как граф Вронский *надвигал фуражку на свою рано оплешивевшую голову*, и как он *поливал водою свою здоровую, красную шею*. — Но в «Анне Карениной» эти выходки все наперечет; их можно простить за дивную художественность и поэзию всего остального. Но чтобы вполне понять, о чем я говорю, стоит только перечесть эти прославленные «Записки Охотника» и для контраста отрывки из писателей, не испорченных Гоголем. — Хотя бы «Капитанская дочь» Пушкина; или иностранцев: «Вертера», «Manon Lescaut», «Рене» Шатобриана или *прозаический* перевод «Чайлд-Гарольда» — Амедея Pichot... Или, наконец, нечто более близкое — первые очерки и повести Марка Вовчка. — Марко Вовчок — женщина, и она как-то сумела избавиться от общего топорного пошиба нашей мужской литературы. — Талант ее был не богат, и ее слишком скоро испортили нигилисты, внушившие ей *направление*; но первые маленькие произведения ее верх совершенства. —

Вовсе не похожа на нее другая писательница — Кохановская, но у них одно то общее, что они более всех мужчин наших избавились от Гоголевщины. — У Кохановской содержание в высшей степени положительное и выражение пылкое, патетическое, восторженное (у Гоголя есть это в «Риме» и в «Тарасе Бульбе»). — У М. Вовчка содержание более протестующее, отрицательное, но выражение в высшей степени мягкое, изящное, какое-то бледно-шелковое... душистое...

- ¹⁰ Я писал о ней статью еще в «Отечественных Записках» 61-го года и прилагаю здесь эту статью. — Так давно уже сформировался мой вкус, так давно уже претит мне раздавивший нас всех мелочной реализм и ложь отрицания, которые даже и у тех писателей, которые скорее хотят быть положительными, чем отрицательными, находят, однако, себе исход хоть в языке, в некоторых пошлых оборотах речи, в постоянных претензиях на юмор и комизм, в грубой обременительности некоторых описаний, просто навороченных, а не написанных (см. описание лошади в «Ан(не) Карениной»; «Бежин луг» в «Записках Охот(ника)»).

²⁰ Вкус мой сформировался, я говорю, давно, но как творец я никак не мог долго даже и приблизиться к тому идеалу, которого жаждал. — Ему удовлетворяют до известной степени только мои *Восточные повести*. — «Хризо» я недавно, для исправления опечаток, перечел три раза и ничем не возмущился; ничто мне не напомнило в этой повести современную русскую пошлость. — Тогда как, перечитывая «Подлипки» (напечатанные мною в 61-м году, в одно время с разбором М. Вовчка)* и роман «В

* Я прилагаю здесь нарочно для друзей моих списанную с печатного статью эту о М. Вовчке; из нее они увидят, чего именно я требовал от литературы и почему я прав и относительно себя, утверждая, что «Хризо», «Паликар Костаки», «Хамид и Манол» и другие мои Восточные вещи ближе подходят к моему идеалу, чем и мои собственные другие произведения, и произведения большинства других русских писателей.

своим краю», я на каждой странице, краснея, встречаюсь с теми самыми чертами, которые мне так претят у других писателей. — «Хризо» написана в 67 году; шесть лет жизни и чужбина были нужны для перехода критического сознания к способности самому осуществить хоть приблизительно то, чего бы хотел требовать от себя и других. — «La critique est aisée, l'art est difficile»

Около того времени, когда я успокоился немного, занявшись статьей «о „Складчине“», я получил очень грубое письмо от брата своего Александра Николаевича, в котором он требовал от меня сейчас же 200 руб. сер., а в противном случае грозился ехать в Петербург и отыскать там кредиторов покойного нашего брата Владимира и взять у них доверенность на преследование за эти долги дочери его Марьи Владимировны, которая по завещанию матери моей и после смерти отца своего вступила во владение пополам со мною Кудиновым.

Письмо было наполнено дерзостями и упреками. — В упреках этих была и ложь, была отчасти и правда. — Брат мой (говорю это перед Богом! спокойно, без раздражения!) просто дурак и подлец; но и разбойник имеет своего рода *органическое* право ненавидеть судью, который его казнит. — А я присвоил себе в прежнее время право всячески карать и казнить его.

Я бы хотел не отвлекаться от главного предмета моего, от истории моих последних литературных неудач в Москве, но о моих отношениях к этому брату необходимо сказать несколько слов, как для того, чтобы яснее было, с каким множеством препятствий и горестей я должен был разом бороться и вместе с тем (похваюсь), как я все их мгновенно забывал, как только мог отдаться хоть *по утрам* вполне труду отвлеченной мысли или свободной мечте. — Давно уже я выучился не давать обстоятельствам вполне подавлять свой ум и воображение, и даже в 71 году, когда я зимой в отчаянии ехал из Солоник *умирать* на Афон, я на станциях обдумывал впервые отчетливо свою гипотезу *триединого процесса* и *вторичного*

упрощения. — Остановившись в Зографе, я две недели не выходил из комнаты и писал об этом день и ночь... даже полулежа в постели и чередуя только это занятие с самой горькой, с самой искренней и чуть не *отходной* молитвой, по монашескому указанию и по книжкам... Я по очереди раскрывал то Прудона, то Апостола Павла, то Иоанна Лествичника, то Бокля; Апостола Павла и Лествичника *для себя, для души*, для того, чтобы повиноваться им, чтобы любить их, чтобы подражать им; — тех двух буржуа *для ума, для сочинения*, которое я считал уже *посмертным*, чтобы ненавидеть их, чтобы бороться с их влиянием, чтобы уклоняться от них насколько возможно, насколько меня допустит философское убеждение.

На Афоне внутреннее состояние мое было ужасно; оно было гораздо хуже московского; я не хотел умирать и не верил, что буду еще жить; я думал, что меня все забыли, и сам искал только забыть всех; но я со скрежетом зубов, а не с истинным смирением покорялся этой мысли о забвении мира и смерти... Я не мирился с нею; я думал больше о спасении тела своего, чем о спасении души; и только чтение духовных книг и беседы Иеронима и Макария поднимали меня на те тяжкие, тернистые высоты Христианства, на которых человек становится в силах хоть на минуту говорить себе: «чем хуже здесь, тем лучше; — так угодно Богу; да будет воля Его!..»

Да! внутреннее состояние души моей на Афоне было такое ужасное, какого я еще и не испытывал в жизни. — Но зато там хоть завтрашний день был обеспечен вещественно; мне не было крайности думать об этом завтрашнем дне иначе, как с духовной точки зрения. — Вокруг была поэзия; вся внешняя обстановка жизни и весь внутренний строй ее: природа, обычаи, язык, уставы, взгляды, идеалы, одежды и постройки, самое отсутствие правильных дорог — все было не европейское, все переносило меня в мир Восточный, Византийский; почти никогда и ничто не напоминало мне там этой буржуазной, прозаической, хамской, подлой Европы. (Я говорю не про Европу Байрона и Гёте,

не Людовика XIV и хоть бы Наполеона I-го, а про Европу последнюю, нынешнюю, Европу железных дорог, банков, представительных камер, одним словом, карикатурную Европу прогрессивного самообольщения и прозаических мечтаний о всеобщем благе.) Вот что было хорошо на Афоне. — Было на чем отвести душу и зрение; — это почти то же, что и персидские ковры Губастова; только в огромных размерах. — Россия и Москва после долгого отсутствия, напротив того, бросились мне в глаза прежде всего теми своими сторонами, которые для меня так тошны и гнусны: зазнавшимися мужиками, которые от прежнего характера своего сохранили только лукавство и пьянство, но утратили ту черту смирения и покорности, которая их так красила и смягчала; разоренными или опустелыми усадьбами, теми усадьбами, из которых вышли Пушкин, Жуковский, Лермонтов и Фет; в которых и прасол Кольцов находил себе оценку и приязнь... — железными этими путями, от которых все только дорожает до нестерпимости и на которых видишь перед собой все какие-то самодовольные плоские фигуры... адвокатами, новыми судьями-демагогами; процессом несчастной Митрофании, которой злоупотребления (сознаюсь, — ничуть не краснея) гораздо меньше возмущают меня, чем одна либеральная речь Брайта или этого прохвоста Вирхова, который так испугался, когда Бисмарк вызвал его на дуэль... Москва и Россия являлись мне пыльной и тесной редакцией Каткова, полной каких-то невыносимо бесцветных и некрасивых деятелей... и дерзкими коридорными лакеями, которые (как я узнал от моего Георгия) удивлялись и смеялись тому, что я ем постное по средам и пятницам; уже до того и они просветились за это десятилетие *благодетельного прогресса!*

(Пусть прогрессист Хитров спросит себя *по совести, молча*, пусть не говорит ни слова, ибо *правды* в этих случаях он не скажет: — «не хорошо ли было бы патриархально их *выдрать на конюшне*, снявши с них европейский фрак?..»)

Итак зрелище в России и Москве было хуже, чем на Афоне... Но здоровье было лучше, состояние духа в одно и то же время и *бодрее*, смелее перед людьми и обстоятельствами, и *смирнее*, *готовее на все* перед Богом. — И вот тут видна, как и везде, правда Божия; — Он прежде *поучил* на Афоне, потом *развеселил* и *подкрепил* в Посольстве и Халках и тогда только отправил меня в скверную русско-европейскую обстановку для борьбы с препятствиями и даже врагами, которых я и не подозревал у себя и которые, однако, оказались. — Борьбу уже вовсе свыше наших сил видно Господь не посылает...

И я писал с наслаждением в серо-европейской России и среди *внешних невзгод* точно так же, как писал с наслаждением среди Афонской поэзии с ужасными язвами в сердце, источающими предсмертный ужас!..

Итак, мой брат Александр.

Когда в 69 году я был в Петербурге, мать моя, которая чувствовала себя уже очень слабой, спросила меня: «что я думаю о Кудинове». — Здесь я, как на исповеди, говорю все по совести и ничего не хочу утаивать, кроме обстоятельств к делу вовсе не относящихся. — Я очень был рад наказать его пороки и его глупость и сказал матери: «Напишите все на имя племянницы моей Маши!» — Я тогда находил, что поступаю очень умно и справедливо, действуя на ослабевшую мать в этом смысле. — Я тогда был очень доволен службою своею и начальством, здоров, писал; Катков с первого слова, когда я приезжал к нему на двое суток в Москву, дал мне 800 рублей вперед. — Я, не скрою, — и наружностью своею я был тогда доволен...
Восток обожал еще больше, чем теперь (ибо теперь я так тоскую, что не знаю — под силу ли мне было бы жить опять в турецкой провинции без своего общества и друзей)... Тогда мне и в голову не приходило, что я могу скоро выйти в отставку. — Стремоухов говорил мне, что Князь очень доволен мною; Игнатьев чрезвычайно аккуратно и любезно отвечал мне на все мои письма; — Новиков, которого я видел в Петербурге, говорил мне: «Не-

хорошо вам долго оставаться по разным этим Янинам; вам надо поприще пошире и виднее!»

Сама бедная мать моя, как ей ни больно было быть в разлуке со мной и с женой моей, которую она любила больше всех невесток своих, — радовалась на мои успехи по службе, и даже литература моя, которую она не любила и которой боялась верным материнским чувством, перестала смущать ее; сочинениям моим из русской жизни она ничуть не сочувствовала; «Хризо» ей понравилось, и Вос-¹⁰точные повести мои она с тех пор читала с тем искренним и вместе равнодушным удовольствием, с которым мы все читаем хорошие произведения чужих нам людей, именно с тем чувством, которое ищет автор в читателе... Я был тогда самоуверен и доволен собой. — Я верил в свой разум, в свой поэтический дар и в свои практические способности. — И я был прав, сравнительно с другими людьми, взявши в расчет мои обстоятельства, которые были вовсе не благоприятны сначала и из которых я так ловко тогда вышел. — Я не был прав перед Богом, перед Церковью, и только... Меня только Иеронимы могут судить²⁰ по церковному кодексу; а практических ошибок не было тогда ни одной... И если я смирился, то это никак не потому, что я в свой собственный разум стал меньше верить, а вообще в человеческий разум. — Я нахожу теперь, что самый глубокий, блестящий ум ни к чему не ведет, если нет судьбы свыше. — Ум есть только факт, как цветок на траве, как запах хороший... Я не нахожу, чтоб другие были способнее или умнее меня; я нахожу, что Богу угодно было убить меня; я не считаю Бисмарка во всем выше и годнее Наполеона III-го; я думаю только, что³⁰ первому пришел черед по воле Божьей, и больше ничего... А почему другие в лучшем положении, чем я?.. Это воля Господня... Или какие-нибудь их тайные заслуги, опять-таки перед Богом, а вовсе не умение устроиться, как говорят... Да и что такое устроиться? — Я могу, например, завидовать славе Игнатьева (богатству как-то не завидую), но желал ли бы я быть не Леонтьевым, чтобы

купить эту славу? — Желал ли бы я приобрести ее только одной политической деятельностью и *не написать ничего?* — Конечно нет! — Избави Боже!.. Не потому, чтобы я государственную деятельность презирал... Напротив, я ее чту высоко и своей ограниченной консульской деятельностью очень горжусь; не оттого, чтобы я литературу считал выше государственного дела; вовсе нет; но оттого, что я, именно я, без литературного вдохновения и без литературной славы считаю мою, *именно мою* жизнь ошибкой...

¹⁰ Где бы она ни текла, при Дворе или в деревне, в Царьграде или в Янине, в монастыре или на балах... Я оттого бы не согласился бы купить ценою отречения от моих сочинений, даже столь несовершенных, столь несообразных с моим *идеалом*, славу и положение самого Игнатьева, оттого, что для меня долго не писать, долго не печатать, долго не слышать ничего о моих сочинениях есть такое страдание, такое лютое мучение, что я смолоду даже и вообразить себе его не мог и не умел... Это вторая природа... и все остальное в моей жизни было только или

²⁰ необходимостью или средством для искусства, а не целью само по себе...

Есть *нечто* бесконечно сильнейшее нашей воли и нашего ума, и это *нечто* сокрушило мою жизнь, а не мои ошибки...

Я каюсь *в грехах* моих, в моих проступках против Церкви ежедневно и горько; я с радостью падаю в прах перед учением Церкви, даже и тогда, когда оно мне кажется не особенно разумным (*Credo quia absurdum*); но я не каюсь в *житейских* ошибках моих и не признаю ни

³⁰ одной *такой*, которая должна бы неизбежно вести за собой неудачу... таких и не бывает ни у кого...

Мне скажут, что под этим *церковным смирением* моим скрыта непомерная *житейская гордость*, такая сатанинская гордость, которую трудно было бы и ожидать от того товарищеского добродушия, уживчивости и мягкости характера, за которые меня многие любят. — А я скажу: *да!* в этих записках она даже и *не скрыта* — эта гор-

дось, и кто любит меня, пусть любит меня со всеми моими пороками... Пусть любит меня и с этой самоуверенностью! — Тем более, что я все-таки прав, и тот, кто знает мою прежнюю жизнь, должен согласиться со мной, если не во всем, то во многом. — Вот Губастов и соглашается, потому что он больше всех других меня знает.

Итак, в 69 году в Петербурге, когда мать моя заговорила со мной о своей духовной, я посоветывал ей отстранить совершенно и Александра Ник(олаевича), и меня самого, и отдать все Кудиново сполна Маше, дочери другого моего брата Владимира (той самой племяннице, которая гащивала у меня в Турции). — Я был доволен собой и самоуверен не без прав на то, и не без основания. — Исполненный греха и мерзости перед Богом, перед человеческим обществом я был хороший, способный и даже, по-своему, искусный в ведении дел человек. — Я верил в свой ум и в свое здраво- и возвышенно-хорошее сердце.

Брата же этого Александра я считал чем-то презренным, забытым, далеким таким предметом, о котором серьезно и говорить не стоит ни с кем, разве только с одной матерью; ибо она, к несчастью, и ему столько же мать, сколько и мне.

С одной стороны я, пожалуй, был и прав. — Ни на ком в жизни так, как на этом брате Александре, я не видал, до чего хорошая, добрая, симпатичная *натура* может стать гадким, низким и жалким *характером* при вредных влияниях и дурном направлении.

Он был рожден с наилучшей из всех нас душой. — Нас было семеро детей у матери, и он смолоду был общий любимец. — Мать, я думаю, до последнего часа не знала, кого из двух нас она больше любит: меня или Александра? — Младшая сестра, которая воспитывалась дома, любила его несравненно больше всех других братьев; кузина молодая, которая жила в доме лет 20—25 тому назад, боготворила его; прикащик-старик и жена его, наша няня, тоже обожали его. — И у меня он тогда был фаворитом из всех моих братьев. — Я с детства любил красоту, а он

был красивее всех братьев; он был добрее всех; его взгляд был ласков; глаза красивы; манеры ловки; рост и сложение прекрасны. — Он был со слугами тогда добр и приветлив. — Лицо у него было одно из тех милых полутатарских лиц, которых у нас так много между дворянами, но только прекрасное в своем роде. — Матери он тогда был покорен; семью любил. — Он не кончил курса в кадетском корпусе, был исключен за участие в одной шалости и служил бедным офицером в армейском пехотном полку. —

- ¹⁰ Однажды (мне тогда было лет 10-ть) он заболел тифозной горячкой во Владимирской губернии, и мать с отчаянием узнала об этом из письма другого офицера, его друга, который из сожаления к нему и к матери (верно этот, тогда еще столь любящий сын часто о ней говорил), — известил мать о его болезни. — Не помню, почему мать не могла тогда сама к нему ехать; но она была в отчаянии и тотчас же послала за ним в полк своих лошадей со старухой нянькой, которая была очень умна, распорядительна, сама его, как я уже сказал, чрезвычайно сильно ²⁰ любила, больше всех нас. — Полковой командир отпустил брата в долгий отпуск, так как няня привезла ему письмо от матери; и он приехал весной с обритой головой и еще слабый, но вне опасности. — Он не хотел подъезжать с шумом к дому и пошел по аллее, через сад... «боюсь, чтоб маменька не гневалась...» — сказал он сестре, которая случайно встретила его в этой аллее... Он до того уважал тогда мать, что считал себя неправым против нее уже тем, что *осмелился заболеть так опасно и, может быть, по какой-нибудь собственной неосторожности, причинил* ³⁰ *ей столько горя и беспокойства, и боялся — «не будет ли она гневаться»...* Но тут было не до гнева... Все, начиная с матери, увидавши его в живых, были без ума от радости: сестра, тетка, люди, я сам...

Он прогостил у нас долго... Я помню, как он, уезжая, прощался... Все мы были в нашей длинной белой зале; это было зимой (*лет 35 тому назад!!!*); тройка стояла у крыльца, люди носили вещи... грозная и благородная наша

мать ходила задумчиво по зале в бархатной мантилье; у стола плакала горбатая тетушка, сестра отца, которая всех нас нянчила и учила азбуке (только азбуке, бедная... *рцы, твердо, глаголь!*.. и с указкой... Боже! Боже! где это все!)... Брат в бедной, ваточной офицерской шинели с *крашенным собачьим воротником* стоял у притолки прихожей, утирая платком слезы; эти юношеские, чистые слезы катились ручьями по его молодому, смуглому, красивому лицу, на котором чуть-чуть только пробивались черные усики...

Я помню, что, садясь в кибитку, он велел мчаться во всю прыть, «чтобы уехать скорее от того места, где было так приятно и весело!» — Так он сказал. — Какие же были эти удивительные *веселости*, которых память причиняла ему такую боль и вызывала у него слезы? — ...Они были самые невинные и простые. — Семья, мать, мы все — вот что было ему так до боли приятно...; родная деревня, в которой он играл и рос, в которой он любил всех и где все его любили, это самое Кудиново, из которого я, *именно я*, а никто другой изгнал его теперь и к которому он до сих пор привязан, видимо, сердцем... Жить месяцы и годы с полковыми товарищами, как бы они ласковы с ним ни были; в крестьянских избах, на ничтожном, нищенском содержании армейского прапорщика; считать за счастье, если есть ваточная шинель с собачьим воротником, нуждаться часто в жуковом табаке и чае... знать, что любящая, но строгая и справедливая мать негодует на своего любимца за то, что вместо выгодной и почетной инженерной службы, он из-за пустой шалости, из вздорного кадетского молодечества должен был выйти в пехотный полк, есть пустые щи и черный хлеб... утомляться на ученьях, вставая дò света... Потом заболеть без родственного женского присмотра, быть на краю гроба, страдать жаждой и, пожалуй, голодом на каком попало солдатском ложе... Я сам все это испытал во время военной службы моей в Крыму и понимаю, каким праздником должно было казаться бедному молодому офицеру возвращение надолго в материнский дом, просторный, убранный со вкусом, опрятный до

нельзя, теплый, веселый; я понимаю, как весело было ему спать хорошо и долго, есть вкусно и обильно, не думая о завтрашнем дне; вместо гнева суровой матери увидеть ее радость... видеть любовь сестры, меньшого брата, тетки, няни...

Я говорю, что сам испытал все это... Но я готов верить, что чувства брата в то время были гораздо глубже и *непосредственнее* моих... Я в Крым поехал уже ученым и до болезненности размышляющим юношей; я был тогда «Критон, младой мудрец, рожденный в рощах Эпикура». — Я в Москве имел уже сам связи с людьми известными, влиятельными, богатыми, с учеными, с литераторами... Я по охоте бросил все это, оставил не комнату, а хорошие комнаты в доме богатых родных Охотниковых, общество молодых девушек, которые говорили по-английски, грассировали и танцевали на лучших московских вечерах. — Я бросил все это именно для того, чтобы кинуться головой вниз в жизнь более грубую, более страшную, более тяжкую для тела, но более здоровую и легкую для души и ума... Игра моего воображения внушала мне, что стыдно мне, поэту, когда другие воют и лечат воющих, просто жить все таким вялым *рекин*, студентом, который сидит с книжками... Что надо немножко зверства в жизни порядочного человека... Какая-нибудь слишком честная профессура меня вовсе не пленяла... Я хотел на казацкую лошадь, хотел видеть раненых, убитых людей, сам, может быть, согласился бы быть почти убитым (я говорю — *почти*, чтобы больше уважать себя после и чтобы иметь право больше нравиться — *кому следует*)... Я сам искал походных тягостей и, когда мне было уже очень трудно (физически, только физически!), я тотчас же вспоминал мои московские внутренние язвы, мой несносный и самопожирательный, студенческий анализ, и благословлял и дождь, который поливал меня в Крыму, и жар, который томил, и сотни мышей, которые съели у меня шинель, и степных жаб, которые ходили по мне, когда я спал в лагере на траве... И лазаретные ужасы, и укрепляющие душу встречи с чужими смелыми людьми, споры, столкнове-

ния и ссоры, нередко и опасные, как всегда бывает где много вместе молодых и самолюбивых мужчин. — Слишком тяжелый *рефлекс* сидячей жизни изгнал меня из Москвы; и его же остатки ободряли и восторгали меня в Крыму, среди внешних житейских невзгод. — Я думаю, — у брата все чувства при возврате на родину были тогда гораздо глубже и чище моих... Он был бедным офицером *просто* потому, что не мог быть ничем иным; он не искал сам, подобно мне, *освежения* и здоровья в грубой и тяжкой жизни в глуши, ибо был и без того здоров и свеж и телом и ду-¹⁰шою. — Он жил без *рефлекса* и тогда, когда был таким милым, *теплым* офицерчиком, когда был, что называется «душа», и тогда, когда лет 10—15 позднее стал элегантным самоуверенным фатом полудурного тона в Москве и Калуге, ярмарочным и трактирным львом, обольстителем, игроком и щеголем, плохим родным и сыном почти преступным... Он живет без рефлекса и теперь, когда он стал седым и гадким стариком, с какими-то рубцами сыпей на лице, с какими-то ранами на теле, всегда без места, без денег, иногда полупьяный, всюду презираемый порядочными людьми, но все²⁰ так же самоуверенным [и] нераскаянным, как и прежде...

И то, что было милой простотой и непосредственностью в прежнем добром *Саше*, стало гадкой и подлой глупостью в изношенном и необразованном холостяке!

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ О ФРАКИИ

I

Осенью, в 1864 году, меня назначили управлять Адрианопольским консульством. Консулом тогда в Адрианополе был молодой человек, Михаил Игнатьевич Золотарев. Он ехал надолго в Россию в отпуск и ждал меня с нетерпением на смену себе.

Дождливым октябрьским утром я сел на пароход, чтобы плыть чрез Силиврию в Родосто, где меня должен был ждать экипаж. В Родосто у нас был почетный консульский агент г. Каде, подведомственный Адрианопольскому консульству. Он должен был позаботиться о моем спокойствии, взять у каймакама жандармов для сопровождения меня сухим путем до Адрианополя и *бююрулду*, то есть бумагу, содержащую приказ облегчать мне все на пути и оказывать мне должное внимание. В стране были разбои.

Я терпеть не могу моря, страдаю от качки и нахожу долгое плавание на пароходах чем-то нестерпимо-скучным и рабски-мучительным. Путешествие верхом, хотя бы и самое утомительное, напротив того, очень люблю. Я был еще молод тогда и об опасностях как-то мало думал. И к тому же если уже говорить об опасностях, то нельзя не согласиться, что опасность на море как-то бессмысленнее, противнее и вместе с тем неотвратимее, чем опасность от злых людей. С разбойниками можно говорить, можно защищаться или уступить им все. С морем имеют дело только капитан и матросы; но пассажир — что такое? Какое-

то несчастное, беспомощное и запертое в клетку животное, которое не имеет ни голоса, ни власти, ни силы! Отвратительно!..

Однако... не знаю и не понимаю, по русской ли лени, чтобы в Царьграде не хлопотать самому о буюрулду, жандармах и почтовых лошадях, или по какой-то личной слабости, я внял убеждениям знакомых и приятелей, которые мне говорили, что до Родосто всего восемь часов и что я морем доеду скоро и отлично, и сел на пароход один, без провожатого, без слуги, без буюрулду, и мы отплыли часу в девятом утра.

Ветер был северный, и Мраморное море было беспокойно; но нас не слишком качало. Пароход был маленький, старый, очень плохой, один из тех, которые ходят по Босфору и только для плаванья в проливе поблизости к берегам и годятся. Он был донельзя наполнен пассажирами и сидел в воде так глубоко, что было очень неприятно смотреть с палубы на свинцовое, мрачное, открытое море, которого волны кипели так близко за бортом. Шел мелкий и частый осенний дождь и, кроме унылого, серого, взволнованного моря и темной полосы все удалявшегося берега, ничего не было видно. Палуба маленького плоского и тесного судна нашего была полна черкесами и всяким народом. Казалось, что пароход стоит на месте, так мы медленно шли. Так прошло несколько часов. Уже вечерело; мы не только не приближались к Родосто, но еще и приморского города Силиврии на полпути не было видно. Я сходил в темную и тесную каюту, опять поднимался на палубу и слушал непонятные мне, но шумные беседы оборванных черкесов, мокших на осеннем нескончаемом дожде... и снова спускался в каюту. Это становилось невыносимо! Я укорял себя строго за то, что на этот раз послушался других, тогда как уже пора мне было привыкнуть, что мои вкусы и мои потребности очень редко совпадают со вкусами и потребностями большинства. Чем же я виноват, если для меня приятнее и легче ехать по Балканам верхом, даже и в дурную погоду, чем на самом лучшем австрийском

пароходе Ллойда! Каково же мне было плестись целый день на этой утлой и погруженной по горло в бурное море турецкой черепахе!

Я решился сойти в Силиврии и ехать до Адрианополя двое или трое суток, не спеша, верхом. (Я не знал расстояния и вообще я незнаком вовсе был со внутреннею Турцией; я прослужил пред этим только семь месяцев в Крите.)

10 В каюте я обратил внимание на одного плотного мужчину средних лет с белокурою бородой, в феске и хорошем новом темно-синем европейском ваточном пальто. При нем был слуга, который приготавливал ему наргиле, и еще какие-то спутники, обращавшиеся с ним почтительно.

Я понимал уже по-гречески и из разговора в каюте узнал, что этот важный спутник мой — богатый константинопольский грек, который едет по своим делам в Силиврию.

20 Я решился обратиться к нему за советом, когда мы выйдем на берег. О расходах на уплату извозчику, присланному из Адрианополя в Родосто для меня нарочно Золотаревым, о потере половины билета, взятого до Родосто, и о других тому подобных вещах я забыл, конечно, и думать, радуясь, что избавлюсь от тоски ехать еще дальше морем.

Как только мы вышли или, лучше сказать, взобрались с большим трудом с лодочки на бревенчатую пристань печального городка Силиврии, я обратился к полному греку и сказал ему по-гречески:

30 — Я, кирие-му (господин мой), здесь ничего и никого не знаю. Хочу ехать в Адрианополь сухим путем и не имею никакого понятия, где и что мне достать и сколько заплатить... Не поможете ли вы мне вашими советами?.. Я — православный.

Грек, не вынимая рук из карманов пальто, поглядел на меня несколько надменно и заметил холодно:

— Вы, должно быть, иностранец? По вашему произношению я вижу, вы не эллин. Не валах ли вы?

— Нет, я русский, — отвечал я.

Фанариот тотчас же переменял тон и, подавая мне руку, сказал с участием:

— А! вы русский!.. Чтò же, все это легко устроить.

И, обращаясь потом к другому спутнику своему, греку же, он сказал:

— Здесь, в Силиврии, мы имеем много греков-руссофилов, которые будут очень рады оказать господину этому гостеприимство...

— Я знаю хорошо только критских греков, — сказал я на это, — но от них я видел столько дружбы к русским и столько любезности, что одно мое желание — встретить такие же чувства во Фракии.

Разговор этот происходил на пристани, где эти греки ждали кого-то. Но ждали мы очень недолго; почти сейчас же прибежал довольно красивый, усатый мужчина, лет тридцати, прекрасно и очень чисто одетый по-восточному. На нем были шальвары такого покроя и умеренной ширины, какие носят низамы и французские зуавы, куртка и жилет со множеством пуговиц. Вся одежда эта была темно-оливкового цвета и тонкого сукна; яркая феска и красный кушак очень шли к этому серьезному общему цвету платья. Я с радостью всегда встречал на Востоке всякую, даже неопрятную и очень бедную, лишь бы не европейскую одежду, и помнил еще живо тот сердечный отдых, какой почувствовал впервые на острове Сире, где в первый раз после Петербурга, Вены и скучного Триеста увидел, наконец, на улицах толпу *не западную*, а какую-то для меня новую и приятную. В первый раз я в Сире увидел, что не всегда только театр может быть похож на жизнь; но есть еще места, где жизнь может походить на оперу или очень красивый балет... Так это весело, после всей этой казенщины XIX века!

Пришедший на пристань грек в оливковом платье был родственник не того полного фанариота, к которому я обратился за помощью, а другого — его спутника, которого теперь я даже и наружность забыл. Он тоже был одет

по-европейски. Имен я их вовсе не помню. Грек, по-восточному одетый, был семейный человек; он имел в Силиврии очень хороший, просторный и чистый дом. Он всех нас к себе тотчас же и повел.

Про Силиврию я должен сказать, что это маленький, унылый и небогатый городок. Он показался мне очень печальным, особенно под этим серым небом и при мелком дожде, который все не кончался. Я помню, что мы шли осторожно через грязь и кучи сгнившего сена или навоза, по которому нахохлившись бродили мокрые куры. Помню какие-то бедные серые стены... и больше ничего.

В доме у живописного грека зато было очень хорошо: светло, просторно, чисто, просто; широкие диваны около стен, никаких из тех противных претензий, которых повсюду так много в домах средней руки, по-европейски убранных. Молодая, полная, белокурая хозяйка была приветлива и, по обычаю гречанок и болгарок, очень скромна и молчалива. Дети были красивы и здоровы. Обедом нас накормили, и, сколько помню, недурным, хотя, разумеется, местного вкуса: очень густым рисовым супом с лимоном и яичным желтком (авго-лемоно, любимый суп на Востоке), вареною курицей, вынутою из этого же супа и очень хорошою жареною бараниной. Я забыл сказать, что в одно почти время с нами пришли в этот греческий дом двое турок; они были беи или чиновники (не помню), оба средних лет, в фесках и низамских черных сюртуках; очень вежливы и разговорчивы. И они обедали с нами. Дело было в том, что фанариоты приехали из Царьграда покупать у этих турок имение под Силиврией, и все собрались в том доме, куда я случайно попал.

После обеда все они, и турки, и греки, приняли очень живое участие в моем положении, и каждый давал советы на чем и по какой дороге ехать. Прежде всего, разумеется, явился у кого-то на сцену здравый смысл в виде совета переночевать тут, вскочить на рассвете и бегом бежать опять на тот же пароходик, который сам «страха ради морского» заночевал в Силиврийской гавани. И все это,

чтобы меньше истратить! Но я всегда находил, во-первых, что вскакивать и бежать можно только в очень важных случаях (для отчизны, например, или для пользы другого), а никак не для себя, когда все можно делать не спеша и сохраняя хотя сколько-нибудь то человеческое достоинство, которое так глубоко потрясено всеми этими парами и беготней.

Я не колеблясь отверг совет здравого смысла и решился идти к каймакаму, чтобы выпросить у него буюрулду и жандарма для долгого странствования сухим путем. Оливковый и живописный усач-хозяин любезно взялся быть моим драгоманом, ибо я по-турецки знал еще очень мало, и мы с фонарем в темноте отправились по непроходимой грязи в конак. По правде сказать, меня все это — и грязь, и ночь, и фонарь, и хозяин, и каймакам — очень занимало.

Мы пришли в конак. Надо помнить, что у меня не было никаких удостоверений моей личности, кроме паспорта на французском языке, выданного мне из Константинопольского нашего консульства. Французского языка в конаке каймакама никто не знал. Двуглавый орел на паспорте мог доказывать только, что паспорт русский, но кто я сам такой: действительно ли управляющий русским консульством в Адрианополе, который без труда в счастливый час может ловким подводом даже и сместить этого самого каймакама, или просто торгующий русский подданный, или самозванец и какой-нибудь вредный и независящий от правительства агент... У меня было одно доказательство — мой арлопб. На него только была надежда. Поэтому я взошел в залу меджлиса, как правый и сильный человек. Зная слово векиль (управляющий, исправляющий должность), я подошел к каймакаму и, протягивая ему руку, сказал (вероятно, вовсе неправильно.)

— Эдирне Москов консулос векиль, эффендим!..

Каймакам встал с дивана и все присутствующие за ним. Каймакам был невзрачен, очень бледен, как восковой; черные выпуклые глаза и очень острый нос придавали лицу

его что-то недоброе, хищнически-птичье... Я, не дождав-
шись приглашения, сел на диван как можно ближе к нему
и подал ему паспорт, указывая на двуглавого орла. Кайма-
кам посмотрел и, почтительно приложив руку к сердцу и
лбу, возвратил мне паспорт. Потом спросил: «здоров ли я
и надолго ли в их городе?» и поздравил с приездом.

Тогда я попросил своего оливкового хозяина объяснить
ему все: о Родосто, о том, что меня ждет чуть не свита, о
том, что буюрулду я не взял просто по нерадению, будучи
10 уверен, что и так, в случае нужды, мне власти везде ока-
жут внимание и исполнят свой долг.

— Это наш долг, это наш долг! — повторил каймакам
выразительно и приказал тотчас же написать мне от себя
буюрулду, оговорившись, что он будет иметь вес только в
его округе, а потом где-то, не доезжая до Адрианополя,
надо будет взять от другого каймакама новый.

После этого он очень любезно и патриархально вошел
в мои денежные потери и сказал, что если он не вмешает-
ся, то с меня могут взять за почтовых лошадей вдвое. По
20 правилам, купцы и вообще не служащие люди платят
вдвое больше чиновников, как турецких, так и иностран-
ных, за почтовых лошадей.

Позвали цыгана, хозяина почты.

— Сколько ты возьмешь с господина этого за лошадь?
Ему нужно платить за трех лошадей: за свою, за твою и
за выючную, — спросил каймакам.

Цыган назначил обыкновенную не чиновничью цену.

Каймакам сказал, что он должен взять половину. Ям-
щик возразил было, что у меня нет буюрулду (кто знает,
30 что это за человек?). Но каймакам только этого и ждал,
то есть чтоб обнаружить мне свое доверие и администра-
тивную энергию.

— Молчать, осел!.. — крикнул он. — Разве это твое
дело...

Цыган смирился, и я, поблагодарив каймакама (кото-
рый просил меня с своей стороны не забывать его), вер-
нулся домой.

Итак, все устроилось прекрасно; завтра я свободен от душной каюты, от седых волн, от плохого турецкого прогресса; я поеду в Адрианополь так или почти так, как езжали в Турции еще в те времена, когда турки были грозны и страшны всей Европе, когда великий визирь на извещение французского посла о победе, одержанной его королем над австрийцами, имел еще возможность отвечать с оригинальной прямоотой: «Хорошо; я доложу султану; но, по правде сказать, нам ведь все равно: собака ли ест свинью, или свинья ест собаку!»

10

И в самом деле, все было прекрасно. Переночевали мы у гостеприимного грека хорошо. На очень чистом полу в просторной и светлой комнате с диваном вокруг, комодом и столиком, нам, всем пятерым гостям: двум туркам, двум фанариотам и мне, постелила белокурая и солидная хозяйка широкие, свежие и превеселые на вид пестрые ситцевые тюфяки, положила узенькие подушки со свежими наволочками и накрыла стегаными шерстяными и ситцевыми, тоже очень чистыми и новыми одеялами.

Мы все легли рядом, и я поутру, проснувшись позже всех, пил не спеша обожаемый кофе, курил, курил, очень долго курил, и пил, и... наконец-то, наконец около полудня тронулся в путь верхом с *сурджи* (ямщиком), жандармом и вьючную лошадью по унылым, серым и пустынным холмистым полям южной Фракии.

20

II

Не помню, сколько дней мы ехали, два или три дня. Я думаю, что три, потому что я люблю ехать на лошади скоро, но при этом не люблю долгих, без отдыха, переездов, и с привала меня поднять довольно трудно.

30

Вообще из этого путешествия у меня мало осталось в памяти любопытного и поучительного. Мы ехали через городки: Чорлу, Баба-Эски, Луле-Бургас и Хапсу. После Хапсы Адрианополь.

Все эти городки вообще очень однообразны, бедны, некрасивы и очень унылы. К ним вот можно, если уж непременно нужно, приложить те иеремиады прогресса, которые мы постоянно читаем, когда речь идет в нашей печати, не менее серой, впрочем, чем эти забытые уголки Турции. Мне через них пришлось и позднее проезжать еще раза два. И так как я решительно не в силах по-немецки или по-английски записывать, замечать, нарочно наблюдать и разыскивать, то поэтому и теперь даже, после троекратного путешествия, все эти небольшие города для меня сливаются в нечто однородное и общетурецкое очень печального оттенка. Я помню, что в Луле-Бургасе лепят из глины с золотом и без золота чрезвычайно хорошо всякого рода вещи: чашечки, пепельницы, блюдечки, не говоря уже о превосходных трубках для чубуков (оттого и название *луле*, трубка). По заказу и по образцу мастера в Луле-Бургасе способны делать иногда вещи вполне художественные. Так, например, у французского консула в Адрианополе, г. Гиза, человека образованного и не лишённого вкуса (чего нельзя было вообще сказать о наших французских коллегам на Востоке), был в доме древний глиняный из Египта, очень своеобразный и красивый сосуд. Это был небольшой графин для воды, несколько широкий и низкий, с глиняною же пробкой и двумя ручками по сторонам, изображавшими очень отчетливо и чисто утиные головы. Г. Гиз отдал этот древний сосуд мастерам в Луле-Бургасе, чтоб они по образцу его сделали другой такой же. Они сделали, и потом было очень трудно отличить новый сосуд от древнего, который прекрасно сохранился. Только глина нового казалась потемнее. Чорлу я совсем не помню. Баба-Эски, кажется, больше других по размерам, и в нем есть большая, хорошая мечеть с широким куполом. А в Хапсе есть развалины прекрасного старинного каравансера, который был построен из тесаного камня.

Я помню эти развалины Хапсов и небольшой хан против них у старой арки в полуразрушенной стене, но помню их не

в этот осенний день, когда я проехал мимо них невнимательно и занятый лишь своими думами, а в другой раз, в жгучий полдень южного июля, когда я, сидя с наргиле под навесом хана, смотрел на борьбу нагих пехлеванов, приглашенных на состязание по случаю какой-то турецкой свадьбы; смотрел на синее безоблачное небо, на множество молодых аистов, которые еще только учились летать, поднимаясь невысоко над гнездами, воздвигнутыми их родителями во множестве по стенам и остаткам каравансерая...

Это было прекрасно! Зелень в тени высокой стены пред ханом была густа и свежа... У стены этой напротив нас сидели в тени на траве турчанки и бегали дети с криками и весельем. Восточная музыка играла в одно и то же время и заунывно и пронзительно... Было что-то особым образом возбуждающее в ее нестройной и дикой поэзии... Боролись красивые, сильные борцы, босые, с нагими могучими торсами... Боролись мирно, весело, соблюдая все рыцарские правила честной игры...

Турецкая жизнь и южная природа являлись в тот раз предо мной своими прекрасными, поэтическими сторонами. Но это было год спустя; первый же раз я знакомился с фракийскими полями и фракийскую жизнью в октябре, в дурную погоду, когда в унылых городках, чрез которые я проезжал, не было ничего, кроме грязи и мертвенной тишины. Но я вовсе не каюсь, что поехал сухим путем, и все невзгоды переносил тогда очень весело. Закутавшись в бурку, я мок на мелком дожде и слушал с удовольствием песни суруджи, не понимая в них ни слова.

Мы съезжали рысью с горок, въезжали опять на горки... Все поля, и поля холмистые, необработанные. Ни одной деревни я не помню... Я помню, солнце садилось на левой стороне нашего пути... Молодой цыган все пел и пел... Встречались стада баранов и болгарские пастухи в бараньих шапках и коричневых одеждах. Не умею назвать того впечатления, которое произвели на меня эти коричневые пастухи на этих сероватых полях. Скорее всего его можно назвать скучным.

Спутником моим был один мусульманин, молодой за-
птие Билау,* из крымских татар. Билау был юноша лет
двадцати с небольшим, тихий, не красивый, но очень при-
ятный лицом; он переселился из Крыма недавно. Я тоже
был в Крыму не так давно. Я знал слов двадцать, трид-
цать турецких и татарских; он знал столько же по-русски.
Я Крым и крымских татар любил. Во все время он был
чрезвычайно ко мне внимателен, и видно было по выраже-
нию доброго лица его и по его улыбкам, что вовсе не одна
10 надежда на скромный какой-нибудь бакшиш одушевляла
его; ему было приятно встретиться с человеком, который
знает его родину, видал Карасу-базар и Бахчисарай, кото-
рый умел сказать: *якши* и *яман*, мог считать по-татарски
(или все равно по-турецки) почти до *ста*, и с которым и
он мог сказать два-три слова на языке знакомых с детства
урусов. Внимание его особенно обнаруживалось ночью на
ночлеге. Суруджи на этом перегоне попался нам широко-
плечий, тяжелый, угрюмый и очень уж старый цыган в
пестрой по красному фону, большой чалме. Он еще ездил
20 с почтой по нужде и, вероятно, по привычке, но страдал
хроническим кашлем и одышкой, и никакие обещания и
угрозы не могли заставить его ускорить шаг своей лошади.
Как ни старался я восхищаться его живописными морщи-
нами, седою бородой, пестрым турбаном и огромною спи-
ной, но все-таки мы опоздали на городской ночлег, и уже
было совсем темно, когда мы свернули с дороги в какой-то
хан, стоявший посреди поля. Взошли. В тесной комнате
было уже кроме нас человек пять-шесть проезжих или
прохожих турок простого звания. Они курили, пили кофе
30 и разговаривали громко. Лица все были суровые и одежды
бедные. Наш старик суруджи с громким кашлем и ужас-
ным хрипом потребовал себе яичницу, и хозяин (вероятно,
христианин) развел огонь в очаге. Старик все был чем-то
недоволен и бранился. Остальные улыбались. Я спросил у

* Не знаю, что значит это имя; оно больше похоже на немецкую фамилию, чем на мусульманское имя.

Билау: «За что старик сердится?» Билау отвечал мне по-русски, смеясь: «Старый человек! Порядок любит! Должно быть, хозяин что-нибудь неаккуратно по его понятию сделал». Однако дело было для меня не так просто на этом мрачном и подозрительном ночлеге, как может казаться с первого раза. Со мной, кроме моих собственных вещей, ехал на вьючной лошади ящик, в котором были казенные деньги золотом на довольно значительную сумму, сверх того новый секретный шифр, который посылала Константинопольская миссия для нашего консульства, и еще несколько богослужебных ценных предметов для болгарских церквей Фракии. Доброе юношеское лицо Билау внушало мне доверие; но он был, вероятно, еще неопытный человек, геркулесом не казался, и во всяком случае он был один. А этих неизвестных людей в чалмах или в старых платках, повязанных на фески, было много, и они держали себя очень независимо и даже надменно. У меня оружия не было. Я думал об ящике и, поглядывая на Билау, сказал ему тихо, указывая на него: «Что будем делать?» Билау тотчас же понял меня и, сделав мне знак головой, отвечал: «Ничего! Все хорошо сделаем!» Были у одной стены этой тесной и грязной комнаты какие-то не очень высокие деревянные нары; они были широкие как двуспальная кровать. Билау поместил заветный ящик в самый угол, загородил его моим сак-воляжем и чемоданчиком, и поставил надо всем этим в угол свою шашку и заряженное ружье, подмигнул мне тихонько и предложил лечь к стене; я подложил себе в голову мою еще сырую бурку и лег, не раздеваясь; а Билау свернул точно так же свой толстый солдатский бурнус и лег с краю около меня, спросив меня вежливо и тихо: «Ничего мне, если и он со мной ляжет?» Я был очень рад; он устроил все так ловко, что худому человеку невозможно было коснуться ящика, не разбудив нас и не наделав шуму и стуку. Ружье и шашка были у нас под рукой. Итак, с этой стороны я успокоился. Но громкие разговоры и смех очень долго не давали мне заснуть. Как только, утомленный путем, я на-

чинал сладко дремать, вдруг раздавались громкий возглас или хохот, или три-четыре человека разом начинали кричать и спорить, как будто дело доходило у них до ссоры. Старик суруджи курил наргиле у очага, вода журчала, и он громко хрипел и кашлял еще сильнее прежнего, так как усиление легких при курении наргиле всегда облегчает отделение мокроты у людей, страдающих атоническим, застарелым кашлем. Я не говорю уже о том, что блох было множество и что мы с Билау, оба одетые, бились с ними нестерпимо и только сообщали друг другу со вздохом: «Чок пире вар! чок пире!» Билау, видя, что я не сплю и мучаюсь, сперва распорядился привести в порядок мусульманскую публику и сказал разговаривающим:

— Перестаньте громко говорить, видите — человек спать хочет!

На это один турок ответил резко:

— Это что такое, чтоб из-за одного человека семеро молчали!

Но Билау, несмотря на свою молодость, ответил ему твердо и строго:

— Молчи! это царский человек... векиль московский... слышишь?

Эти слова подействовали прекрасно, и громкий крик заменился надолго тихим и очень сносным шопотом. Только старый цыган мой в пунцовой чалме все курил, все журчал водой, все хрипел и все кашлял... Но и при этих условиях спать было невозможно. Утомление еще не было настолько велико, чтобы не чувствовать блох.

И Билау не мог спать. Соболезнуя обо мне, он приказывал хозяину раза два-три, по собственной инициативе, подавать мне черный кофе, и всякий раз, не спрашивая даже, брал мой табак, крутил мне папиросы и без стеснения сам смачивал их языком. Мне эта простота и душевность его очень нравились, и я курил эти папиросы, думая о Крыме и о первой молодости моей, проведенной на войне в Крыму... Поздно заснули и мы, и все другие посетители хана... да и то ненадолго. Старик цыган разбудил

нас на рассвете, и мы опять тронулись в путь. На следующем привале я протился с добрым Билау. Мне дал мудир другого заптие, с которым я должен был доехать до самого Адрианополя. Больше ничего я из этого путешествия моего не помню. Разве только то, что не слишком далеко от Адрианополя мне пришлось видеть одного *разбойника и подать ему милостыню.*

III

Погода разгулялась; осеннее солнце начинало приятно греть нашу сырую от двухдневного дождя одежду; дорога быстро сохла; мы ехали к Адрианополю веселою рысью, и новый молодой суруджи, который сменил сурового, больного и огромного старика нашего, громко кричал и весело пел: Аман, аман, Багдатлы! Я с тех самых пор всем сердцем полюбил эту турецкую песню, и когда прошлого года я посетил в Калуге двух турецких офицеров, взятых в плен в Никополе, и узнал, что один из них играет на кларнете, первая просьба моя к нему была сыграть «Багдатлы!» Эту простую песенку, вероятно, все товарищи мои по службе на Востоке знают, а может быть, и военным нашим она ²⁰ теперь знакома... (Впрочем, у наших соотечественников есть большая способность ничего почти не выносить из чужой страны, в которую заносит их судьба... Особенно об этой бедной Турции, я думаю, кроме того, что *мостовые не хороши* в городах, редко можно что-нибудь услышать. Я по крайней мере редко слышал.)

Так мы ехали, говорю я, весело, и мне беспрестанно приходилось то радоваться, что я в Силиврии оставил цивилизованные средства сообщения, то негодовать на себя за то, что я сначала послушался константинопольских знакомых и поехал на этом тошном и гнусном пароходе. Около полудня подъехали мы к какому-то мостику через ров или небольшую речку, и спутники мои, заптие (не милый Билау, а новый, какой-то бесцветный) и суруджи, ³⁰

свернули с дороги на травку дать лошадям постоять немало. Заптие уехал подальше и стал на горке. У моста сидел на земле очень смуглый и худощавый мужчина, казалось, лет тридцати. Он был одет очень бедно, грязно и не по времени года легко. Старая феска его была обвязана оборванным платком, потерявшим всякий цвет; на ногах были старые башмаки на босу ногу; на теле, кроме грязной рубашки и полотняных узких шальвар до колен, не было ничего; только старый красноватый кушак вокруг гибкого стана. Человек тот сидел на сырой земле раскинувшись очень живописно и задумчиво. Когда мы отъехали на траву, на противоположную сторону дороги, незнакомец этот встал и направился к нам... Я принял его за нищего и стал доставать деньги. Но молодой суруджи мой сказал мне громко, делая отрицательный знак головой: «Не давай, эффенди, не давай ему!» и потом начал кричать на незнакомца очень сердито и громко; я мало понимал из всей его довольно многословной и, казалось, взволнованной речи, но догадывался только, что суруджи запрещал ему подходить. Смуглый оборванец остановился шагах в двадцати и отвечал ему сперва с кротким и убедительным видом; потом, внезапно размотав и бросив на землю свой старый кушак, приподнял короткую, только до перехвата стана доходившую рубашку и показал, что у него там ничего, кроме его нагого бронзового тела, нет... В эту минуту только я догадался, что это не нищий, а какой-нибудь опасный человек, который хотел доказать, что при нем нет оружия. Я подозвал его поближе движением руки и дал ему пять пиастров. Он поглядел на меня очень ласково томными прекрасными черными очами своими, поклонился почтительно и, вернувшись опять к мосту, сел на прежнее место. Когда мы тронулись в путь, отъехав от него подальше, суруджи обратился ко мне и сказал: «Фэна адам! (худой человек) *Гайдут!*» Я знал, конечно, слово гайдук, а гайдут еще не знал, но догадался, что это значило; чтоб удостовериться в справедливости моих догадок, я знаком показал, что не совсем еще понимаю; тогда суруджи пока-

зал очень выразительно сперва в сторону Балкан, приговаривая: «даг! даг!» (гора! гора!), а потом провел несколько раз по горлу, придавая лицу своему выражение ужаса и отчаяния... Этого объяснения было достаточно. Но я не пожалел ничуть моих пяти пиастров.

Я восточных разбойников, каюсь, люблю, люблю, конечно, не в том смысле, что желал бы быть пойман ими или чтоб они оставались всегда безнаказанными, а в том смысле, в каком можно волка, гиену и тем более леопарда предпочитать домашней свинье или безвредному ослу.¹⁰ Всего этого домашнего я довольно уже насмотрелся и в Петербурге, и можно было пожертвовать пять пиастров за то, чтобы видеть так близко и безопасно настоящего арнаута-разбойника.

В Турции все еще было ново для меня тогда, особенно в этой части Турции; я пред этим прожил только шесть-семь месяцев в Крите, где было все иначе, чем во Фракии: природа, климат, люди, одежда, политические интересы; да еще провел я четыре месяца в Константинополе при посольстве нашем в Буюк-Дере. Я с жадностью и радостью ловил всякий самобытный образ, всякое самородное явление... И потому все меня тогда занимало, приятно волновало, радовало невыразимо: и песни цыгана-извощика, и свежий, приветливый, гостеприимный дом черноусого руссофила, сиврийского щеголя в оливковой одежде, и красная чалма больного старика суруджи, и ночлег на жестком ложе с Билау, с заветным ящиком в изголовье, в обществе неизвестных, полудиких людей, посреди пустынного, бесконечного поля темною осеннею ночью, и бледный каймакам с острым носом, и разбойник, просящий милостыню, и мелкий дождь, мочивший меня точно на родине, и заря, которая краснелась в таинственной дали за степью, все по правую руку от нашей дороги, и болгарские пастухи в бараньих шапках, и травка зеленая, и мысль о том, как я буду управлять в первый раз делами консульства, которое считалось одним из самых деятельных и важных для нас... Мне, впрочем, было уже за тридцать лет в

то время, и, радуясь, я понимал, что, прожив всего только семь месяцев в Крите, где тогда делать было почти нечего, разве только наблюдать за действием других, я во Фракии должен буду взяться за дело серьезно и рассудительно. Не говоря уже о долге гражданском, которого благородное и высокое бремя я готов был тогда нести с любовью, ибо личные убеждения и наклонности мои в то время были в высшей степени патриотические и почти в славянофильском смысле народные; но и самое самолюбие мое было возбуждено. Меня считали литератором, *поэтом*, так сказать... Надо было доказать, что поэзия не мешает делу.

Мы приехали в Адрианополь еще засветло. С этой стороны, с константинопольской, нет ни садов шелковичных, ни виноградников; пред въездом в предместье, около дороги, белеется множество мраморных и каменных столбов, увенчанных турбанами и другими головными уборами старого времени; это большое турецкое кладбище. От въезда до нашего консульства было недалеко. Город мне очень понравился: в нем самом и в окрестностях его много садов; и хотя в то время года, когда я приехал, листья уже опали, но и множество нагих ветвей вокруг строений, их тонкие фантастические узоры, сливающиеся издали в какую-то легкую дымку, мне нравились всегда и в иные дни больше самой свежей и тенистой зелени; я заметил еще, что в городе довольно много хороших домов, расписанных разноцветными красками: розовою, темно-красною, голубою, коричневою; много высоких тополей и минаретов. Местами, конечно, Адрианополь имеет бедный и неопрятный вид, но есть в нем виды восхитительные, вроде московских; есть прелестные уголки, есть достаточно удобные и внутри очень красивые дома, хотя и непрочной постройки, как большая часть турецких построек. Народ одет пестро... Этому я тогда радовался столько же, сколько радуются живописцы; а до ужасной мостовой (сознаюсь к стыду моему) мне в то время не было никакого дела. Я едва замечал мостовую, я был рад взяться за серьезное дело; я был рад, что город оригинален, я был рад, что отдохну

сегодня, я был рад, что так мало отдыхал все эти дни, что ехал так долго и по-варварски верхом, что ночевал так ужасно в таком ужасном хане; я был рад, что видел разбойника и дал ему пять пиастров... Я был всем доволен; но особенно я обрадовался, когда увидел, что суруджи мой остановился на углу одной довольно оживленной улицы, около каких-то лавок, где толпился столь милый мне восточный народ, пред каменным крыльцом двухэтажного, темно-коричневого, очень опрятного и, казалось, нового дома. Над дверьми висел круглый герб с двуглавым орлом и надписью: «Consulat Imperial de Russie».

Дверь мне отворил с приветствием настоящий *русский Иван*, красивый, круглолицый, несколько бледный молодой человек в поддевке; глаза его были очень выразительные и немного монгольские... Это был верный слуга Золотарева, из бывших крепостных, теперь свободный и сохранивший одни лишь хорошие стороны крепостной благовоспитанности. Он тотчас же ввел меня в очень веселую гостиную с пестрыми стенами и ярким красным ковром; послал скорее за консулом, который беспрестанно бывал тогда у г. Блонта, и тотчас же, по собственной инициативе, почтительно предложил мне холодных котлет, жаркого, вина и варенья... Я на все согласился с удовольствием... Мне все нравилось, мне всего хотелось тогда...

IV

Золотарев уехал чрез три дня после моего приезда. Он ехал в Россию через Балканы сухим путем на Белград (Сербию) вместе с английским вице-консулом г. Блонтом, тем самым Блонтом, который теперь стал так известен у нас своею к нам враждой. Блонт ехал в Сербию управлять генеральным английским консульством в Белграде, на время отсутствия родственника своего г. Лонгворта (тоже одного из самых ожесточенных врагов России на Востоке.) У англичан, насколько я слышал, консулы нередко

сами предлагают себе заместителей на случай отъезда, и nepoтизм допускается у них охотнее, чем во всех остальных государствах. О г. Блонте мне придется говорить позднее еще много. О нем стоит говорить. В Адрианополе Блонт оставил *будто бы* управлять своего младшего брата, Жоржа, юношу всего лет девятнадцати или двадцати, весьма ограниченного и необразованного, но довольно доброго малого, который отлично танцевал и ездил верхом. По странному сочетанию обстоятельств (я их объясню впоследствии), этот мосьё Жорж, управляя за брата британским консульством, был в то же время у нас *вольнонаемным писцом за четыре турецкие лиры в месяц* и даже поселился в одной комнатке в нижнем этаже нашего консульства по распоряжению г. Золотарева. Всю свою квартиру, мебель и утварь Золотарев уступил по обычаю мне, как управляющему. Так делали почти всегда наши консулы на Востоке, когда уезжая надолго сдавали дела вместо себя управляющему.

Дождливым утром собрался народ пред нашим подъездом, верховые лошади, конные запяте и кавассы в красных одеждах, фургоны дорожные, известные во Фракии под названием *брошов*... Красивая белокурая мадам Блонт, несмотря на дурную погоду, села молодецки на свою вороную лошадку; муж ее, тоже лихой наездник, гарцовал суетясь около экипажей; но наш Золотарев ездил верхом нехорошо; сам он был очень красив и мужествен на вид, высок и величав, но ездить не умел, и супруги Блонты, которые жили тогда с ним душа в душу, в то время только что учили его верховой езде. Золотарев не хотел ехать верхом; он сел в повозку; верховую его лошадь повели в поводу, и караван тронулся весело в дальний и трудный путь.

Им было всем весело; а я остался один в незнакомом городе, с незнакомыми людьми, никому не доверяя, не имея еще понятия о текущих делах консульства, плохо зная по-гречески, по-болгарски почти ни слова, и по-турецки слов тридцать, как я уже сказал. Уезжая, Золотарев оста-

вил, однако, мне очень хорошую и ясную инструкцию на французском языке и послал с нее копию в Петербург и Константинополь. И на словах, и в самой инструкции официально он указал мне на драгомана консульства, адрианопольского уроженца, г. Э. С., которого знание дел и всей нашей местной политики после 1856 года внушало консулу полное доверие. Э. С. служил при трех консулах подряд, при людях весьма несхожих характеров и взглядов, и всем внушал доверие. Золотарев разрешил мне официально пользоваться вначале смело и не колеблясь его советами. 10

Консул сверх того в течение этих трех дней, которые мы провели с ним вместе, представил меня толстому, красному Сулейман-паше, турку старого стиля, не из злых, а из лукаво-простодушных, и паша очень патриархально обещал Золотареву «любить меня как сына своего!» (Он был гораздо старше меня.) С западными консулами я также в эти три дня со всеми познакомился; не только с французским, английским и греческим, которые были действительные консулы, присланные, *consuls envoyés*, но мы объехали верхом и целую толпу почетных консулов 20 (honoraires) Испании, Дании, Пруссии, Голландии, Бельгии и т. д. Все эти псевдо-консулы, не получавшие ни жалования, ни повышения, а только изредка ордена, были из местных купцов-католиков, дети давних итальянских или французских переселенцев, нечто вроде цареградских перотов с провинциальным тяжелым оттенком. Все они были родня или почти родня между собою; все из двух родов: Бадетти и Вернацца, так что я сначала не мог их почти различать и не знал, что мне делать, кого как называть и кому что говорить... 30

— А теперь куда же мы еще едем? — спрашивал я Золотарева.

— Теперь к Фредерику Вернацца, — смеясь говорил Золотарев. — Погодите, будет еще Антуан Вернацца, Франсуа Вернацца, Франсуа Бадетти.

Я терялся в этом лесу скучной, лукавой, тупой и враждебной нам западной буржуазии, которой надо было, если

не любезности говорить, то, по крайней мере, оказывать какое-нибудь внешнее внимание... Те из греческих и болгарских влиятельных в городе лиц, которые были нашей партии и более или менее расположены к нам, пришли все сами в эти первые дни познакомиться со мною.

Когда Золотарев уехал, я остался пред целым архивом предыдущих бумаг и донесений, с которыми необходимо было познакомиться, чтобы хотя сколько-нибудь наглядно представить себе страну, ее интересы, положение и страсти, группировку партий, характер тех влиятельных лиц, с которыми мне придется иметь дело и с духом деятельности моих опытных и чрезвычайно способных предместников — Ступина, Шишкина и Золотарева. Я остался один, окруженный политическими врагами, знавшими страну и дела, которые захотят, вероятно, воспользоваться отсутствием влиятельного консула, уже успевшего приобрести значительный вес и в среде единоверцев, и в Порте, и в глазах своего русского начальства. Я остался с целою грудой неоконченных тяжёбных дел русских подданных, которых, насколько помню, было здесь больше семидесяти; цифра эта вовсе не ничтожная, если взять, с одной стороны, в расчет, что все эти греки, болгары, евреи и армяне, снабженные русскими паспортами, люди торговые и оборотливые, все с расписками, что паспорта свои они всякими правдами и неправдами добыли в Кишиневе или Одессе; все охотники до тяжб и препирательств в судах, и почти всех их турки не признают в принципе русскими; а с другой стороны, если вспомнить, что консул на Востоке (консул всякой Державы, а не только русской) в одно и то же время дипломат и нотариус, революционер и консерватор, смотря по нужде, по эпохе, интересам своей Державы, по местности. Я же всю молодость мою провел с русскими помещиками, с военными в Крыму и отчасти с литераторами и учеными. Был военным врачом, жил отчасти помещичьею жизнью, отчасти военною, а потом в Петербурге. Все больше «нараспашку», по-русски, по-офицерски, по-студенчески; жил то старательным и точным

доктором, то каким-то свободным поэтом... Но ничем, кроме больничных палат, не управлял и ни над кем, кроме крепостных слуг, фельдшеров и вестовых солдат, не начальствовал... Никого не судил юридически; стесняться в выражениях идей, вкусов и взглядов не привык; никаких нотариальных заметок в книги не заносил и книг таких не видывал; казенными деньгами никогда не распоряжался, а свои очень любил тратить; статистикой никакою не занимался; с иностранцами дел не вел... А здесь нужно было сейчас, сейчас, с завтрашнего дня, быть может, предстать во всеоружии: считать хотя бы и не очень большие казенные деньги, судить, управлять, бороться с иностранцами, остерегаться всех и всего, и при этом быть все-таки смелым и твердым; подданных судить и сноситься с Портой, с представителями западных Держав, иногда защищать их с энергией, но и самих этих подданных, не всегда честных и покойных людей, держать в руках.

Консул на Востоке это в меньшем виде посол, и посол в Константинополе это в большем размере консул. Послы при европейских Дворах имеют дело только с Государем и министром. Послы при Дворах восточных (особенно в Турции) имеют дело и со двором, и с населением, и к своим подданным отношения их гораздо проще в принципе и вместе с тем многосложнее в частности, чем в Европе. В Париже, Лондоне и Вене и т. д. русский посол не мешается прямо в дела судебные; русских подданных судят судами местными по законам страны; точно так же, как французские или австрийские подданные судимы в Москве русскою судебною властью по законам русским... В Турции было иначе, и судебную деятельность наших дипломатов и консулов в Турции можно было в то время разделить на три ветви: русский собственно суд в тех случаях, когда обе тяжущиеся стороны имеют русский паспорт; когда же случались ссоры, столкновения, какие-нибудь гражданские тяжбы или торговые препирательства между подданными русскими и подданными французскими, греческими, бельгийскими и т. д., то по договорам судило то

консульство, которому подлежал не истец, а ответчик. Истец жалуется своему консулу на иностранного подданного; консул подписывает на прошении по-французски «читано» (vu) и препровождает в такое-то (чужое) консульство «roug fins, etc...» А консульство ответчика, получившее эту бумагу, или само судило, или чаще назначало смешанную судебную комиссию из почетных и известных в городе лиц, которых тяжущиеся стороны имели, однако, право отвести. Так делалось большею частию в делах гражданских и коммерческих. Уголовные мелкие дела судили довольно патриархально и просто обыкновенно сами консулы. Подданные всех Держав строго обязывались к безусловному повиновению. Крупные уголовные дела, особенно убийства, насилия и т. п., случались в Турции как-то редко между иностранными подданными, особенно между нашими. Может быть, это потому, что большая часть этих русских подданных во Фракии были всё скромные лавочники, мелкие торговцы, еврей-менялы и небольшие банкиры, учителя болгарские, греки хлебопеки и золотых дел мастера, каменьщики и тому подобные мирные и осторожные люди и более или менее буржуазно-настроенные. Впрочем, в Адрианополе было двое севастопольских героев-охотников, оба греки, и один из них хлебопек (которого имя я забыл) был человек весьма энергический и с Георгиевским крестом за храбрость. Но и он жил, как многие герои, по возвращении к пенатам своим очень скромно. У греческих консулов, я понимаю, чаще случалось судить преступников; им были подведомственны: отважные островитяне, пылкие и страстные жители Мореи и Акарнании, стран, в которых молодечество выражается, между прочим, большою охотой к разбою и всяким приключениям...

На Дунае и у нас были уголовные дела серьезнее фракийских, но в Адрианополе, как я сказал, мелких дрязг судебных и полицейских было много.

Я отвлекся этим замечанием и не сказал о главном — о судебных отношениях к турецкой власти. Судебную власть Порты над иностранными подданными Державы до

последнего времени вообще не признавали. Отвержение это, с одной стороны, основывалось на том, что в Турции все дела уголовные и гражданские, по вопросам недвижимости и наследования и т. п., судились по шариату, по Корану, муллою и кадием в белой чалме. С другой стороны, как объясняет один их европейских авторов (не помню кто именно), сама Порта находила более сообразным со своими обычаями допустить фактически для иностранцев некую фикцию «экстерриториальности», предположить, так сказать, что их тут и нет вовсе, что они не покидали 10
вовсе своей страны и остаются вполне подведомственными своему начальству, чем в принципе дозволить иностранцам жить в Турции и считать их иностранцами. Мне это объяснение кажется темным и очень натянутым. Слабость Турции, издавна уже вынужденной обстоятельствами и географическим положением своим вести дела с европейцами, не позволяла ей отстаивать свои права на равенство с христианскими Державами; вот причина и вот единственное объяснение этому факту. Коммерческий суд (тиджарет), устроенный отчасти по французскому образцу, хотя 20
и вполне турецкий по внешним формам, Державы признавали и в столице, и в провинции; туда ходили судиться и наши подданные в случае торговых тяжб с подданными турецкими (как христианами, так и мусульманами); но драгоман посольства и еще более драгоман консульства были всемогущи в тиджарете, и редко случалось, чтобы турецкий подданный, даже и мусульманин, выигрывал бы тяжбу против иностранного подданного.

Все это мне нужно было сразу понять и разом все помнить. Ни служба в Петербурге, ни полгода, проведенные мною на острове Крите, не могли «наглядно» и практически обучить всему этому. В Петербурге я читал много консульских донесений, новых и старых, образцовых и плохих, внимательно просматривал руководства международного права; но в петербургских канцеляриях (или лучше сказать в столичных канцеляриях всех стран) видишь не самую ту жизнь, с которою будешь иметь дело, а лишь 30

«отражения этой жизни», как выразился граф Л. Толстой, говоря про мужа своей героини, Анны Карениной. «Отражения же» дальнего Востока были в Петербурге особенно туманны, и в самых лучших образцовых, именно сжатых и дельных донесениях и депешах ясны были лишь общие черты наших интересов, лишь голые факты политических событий, разумеется, безо всякой врезывающейся глубоко в память «иллюстрации». Крит в то время был только очень важный пост политического наблюдения. Наших подданных там было всего одна вдова гречанка, г-жа Ставрала, с тремя красивыми дочерьми. Полгода в Крите были каким-то очаровательным медовым месяцем моей службы; там я гулял по берегу морскому, мечтал под оливками, знакомился с поэтическими жителями прелестной этой страны, ездил по горам и читал от времени до времени умные донесения моего почтенного начальника г. Дендрино, мастерски написанные превосходным французским языком. Больше ничего! Не только подданных и тяжб в Крите не было, но даже и «политического» было мало. Критская жизнь приезжему казалась тогда благоуханною эклогой, непостижимо, однако, грозящею перейти в кровавую народную драму, весенним ясным днем на заросшем цветами поле старых битв, виноградником веселым и мирным на краю утихшего на время волкана... В Адрианополе было гораздо меньше картинности, меньше души, меньше поэзии, но зато было гораздо больше дела, всякого дела, политического и неполитического... Адрианополь был понедельником в школе после сладкого воскресенья на веселой даче.

Надо было в одно и то же время и учиться, и действовать безотлагательно. Я был осторожен, но вместе с тем не сомневался, что, по крайней мере, не испорчу дела Золотарева. Житейский, уже значительный опыт и та привычка к серьезной ответственности, которую я приобрел уже с ранних лет, как врач у постели больных, что-нибудь да значит и на всяком новом поприще.

Помню, почти в первые дни моего водворения в Адрианополе я сделал одну невозможную формальную ошибку.

Один русский подданный подал мне прошение на греческого подданного. Я воспользовался читанным мною в разных *Guides Consulaires* и т. п. и сказал драгоману нашему Э. С.:

— Чтò же, надо нам смешанную судебную комиссию назначить?

Лукавый Э. С. несколько времени молча смотрел на меня и потом, радостно улыбаясь, сказал: «как прикажете!..»

— Чему же вы улыбаетесь так выразительно? — 10 спросил я, немного смущаясь в сердце.

Объяснив, что надо препроводить бумагу истца в консульство ответчика и что не мне в этом случае, а греческому консулу надо решать, Э. С. прибавил:

— Это еще раз мне доказывает, как я прав, когда, глядя на русских консулов, думаю, что Россия посылает их вовсе не для таких пустяков, как все эти тяжбы наших лавочников и судебные комиссии. Я не видал еще ни одного русского, который бы приехал сюда знакомый с торговыми и тяжёбными делами Востока; но зато ни англичане, ни французы, ни австрийцы не могут сравниться с русскими чиновниками в серьезных вопросах высшей политики... Выучиться этим мелочам недолго и ошибиться в них не беда. Но надо, чтобы слава *нашего* флага гремела, вот цель... И она гремит. У нас старые люди сравнивают Россию с черепахой. Черепаха хочет напиться в ручье и идет к нему тихо. Вдруг слышит — топчут лошади, кричат люди у ручья... Она сейчас и голову и ноги спрятала; она уже не хочет пить. Утих шум, черепаха опять приближается... И она все-таки выберет час свой и дойдет до ручья. Ручей — это, понимаете, *Босфор*. А шумят европейцы. Вот чтò нужно... и Россия таких консулов посылает, какие для этого нужны, а не для пустяков. 20 30

— Не знаю, — отвечал я, — в народе нашем есть какие-то смутные чувства чего-то подобного; но могу вас уверить, что Правительство наше не имеет видов на Константинополь.

— Конечно, — возразил Э. С., — вы обязаны так говорить. Это дипломатия, потому что у *ручья все еще шумит Европа*.

— Нет, право, — продолжал я, — говорю вам искренно. Мне-то самому, признаюсь вам, очень нравится ваша басня о *черепахе* этой. Только я совершенную правду говорю вам, что Правительство наше об этом не думает. По крайней мере, я не слыхал.

— И это дипломатия хорошая, что вы так просто и так искренне говорите... И черепаха дойдет до ручья непременно!..

Я засмеялся и больше не спорил... На Востоке невозможно, по крайней мере, было невозможно в то время ни друзей, ни врагов наших разубедить в том, что главная цель всей политики нашей есть завладение *Царьградом*. Надо помнить это; надо помнить, что как бы мы ни были бескорыстны, никто нашему бескорыстию не поверит и все будут действовать против нас, как будто бы наши только подозреваемые замыслы доказаны были, как несомненный ²⁰ факт. О мудрости и дальновидности нашей политики составилось везде такое выгодное понятие по примерам прежнего, что никто и не может верить, будто бы мы в самом деле наивны, будто бы мы слишком уж простодушно дорожим общественным мнением Запада и т. п...

V

Фракия и южная Македония — две области Европейской Турции, наиболее *Босфору и Царьграду соседние*, чрезвычайно важны для нас. Они важны не только соседством этим, но еще и тем, что обе страны эти *смешанные*; ³⁰ они не чисто болгарские, как дунайская Болгария и как северная Македония, и не чисто греческие, как Крит или Эпиро-Фессалийские округа. Каждая по-своему, эти две нации, греческая и болгарская, чрезвычайно важны для нас. По многим причинам, как историческим, так и геогра-

фическим, болгары и греки важнее для нас сербского племени. Я перечислю здесь некоторые из этих причин.

Болгары были до последнего времени самое отсталое, сиротствующее, так сказать, племя из всех христианских народов, подвластных Турции; они были *все вместе* под власть Султана: начиная от границ Сербии, от окрестностей Солуня и Св. Афонской горы, от Нижнего Дуная и до последних болгарских сел у ворот самого Царьграда. Из среды болгарского народа не выделился еще тогда никакой свободный центр национально-государственного притяжения, как выделились Афины со свободною Элладой из среды четырех, пяти миллионов греков, как выделилась Сербия с Белградом и Черногория из сербских провинций, подвластных туркам. Для самих болгар это, казалось, было хуже; но для общей славянской политики на Востоке, для общих интересов славянства, естественным вождем которого должна была, рано или поздно, явиться Россия, была в этом обстоятельстве и некоторая выгода. Эти самобытные, европеизованные центры, подобные Афинам и Белграду, гораздо легче поддавались всем *западным веяниям* и могли нередко (как мы видели это в последних событиях) уклоняться от столь естественного и для сербов, и для эллинов согласия и союза с Россией. Во время трехлетней борьбы на острове Крите, когда все почти греческие партии были за Россию и когда Россия могла свободно обнаружить свое сочувствие грекам в пределах чистого *грецизма*, со славянским элементом на этом прекрасном острове не смешанного, в это время племенных греко-русских сочувствий, сербы обманывали и греков, и русских. Обещая союз с Грецией, угрожая Турции войною в соединении даже с грозною Черногорией, сербское правительство под рукою вело в то же время переговоры об очищении крепостей, находившихся еще в то время в руках турок, на территории Сербского Княжества. Разумеется, и Англия, и Франция, и Австрия, все были тогда заодно в содействии Сербии на поприще этой двойной дипломатической игры. Турки очистили крепости,

и геройское население Крита сложило оружие на обгавленную кровью своей родную землю!..

Что, в свою очередь, делало афинское правительство, как оно долго сдерживало естественные стремления греческих населений Крита, Фессалии, Эпира и Македонии, как оно интриговало против славян и России, — это известно всем.

Надо, впрочем, помнить при этом одно: что не греки только, но и юго-славяне точно так же «льстивы до сего дня»; помнить это надо не для того, чтоб отказываться от них, избави Боже! — да это и невозможно, — а в видах собственного, весьма темного, может быть, будущего, чтобы знать истину, чтобы знать хорошо те условия, при которых мы должны постоянно и неотвратно действовать на ту среду, на которую нам приходится влиять.

Итак, я сказал, что политическая незащищенность болгар, их сплошная зависимость от турок, их отсталость во всех почти отношениях, их географическое к нам и по Черному морю, и по Нижнему Дунаю соседство, отсутствие собственной независимой или хотя бы вассальной столицы, отсутствие собственных высших школ и сравнительная малочисленность школ народных, — все это делало болгарскую народность (превосходящую притом же не только сербов, но и греков численностью) в высшей степени важным и вместе с тем при некоторых условиях весьма доступным для нас элементом. Болгары были ближе к нам всех других православных племен Востока, потому что они были политически неопределеннее в то время, потому что враждебным нам силам не за что, так сказать, было у них захватиться. Не было правительства, хотя бы вассального; не было Ристичей, Трикупи, Николичей, Делияни, облеченных правом писать ноты, заключать союзы, объявлять войну и вообще «trancher du potentat» даже с единой верной и всех их вскормившею своею кровью Россией.

Русская политика могла бы в Болгарии прямо перешагнуть от раздачи богослужебных книг и церковных облачений, от воспитания юношей-болгар в русских училищах, от

пособий народным школам, от хлопот по образованию независимой Болгарской Церкви к какой-нибудь весьма реальной, юридически определенной связи с Болгарским Княжеством или Царством. Сделать его, например, вассальным, поставить его в некоторую зависимость от своей короны для общей пользы, или придумать иную форму единения, которая послужила бы краеугольным камнем и образцом для будущего Восточно-Православного союза, которого никакие усилия западных врагов наших не отвратят, если только мы сами не погубим какую-нибудь неуместною в политике честностью и нашей собственной, и всеславянской, и всехристианской будущности!.. Ни Всеславянский союз с Россией во главе, в который вошли бы исключительно одни славяне, ни более естественный и более сильный великий Восточный союз, частями которого стали бы *volens-polens* и румыны, и греки, и армяне, вследствие племенной и политической чересполосности Востока, ни та, ни другая конфедерация немыслимы без союзной столицы в Царьграде. Это понимать обязан всякий русский; это знают государственные люди Запада, и оттого-то они противоплагают, насколько могут, свое *veto* каждому естественному движению нашему на юго-восток. «Завещание Петра, может быть, и ложно, — сказал мне однажды один европеец; — но сочинитель его был великий пророк». «Если так, — отвечал я, — то Запад ничего не сделает, и славянство выждет свою минуту». «Запад до конца должен исполнять свой долг и свое назначение», — возразил мой собеседник.

Этот враг другими словами повторял то же, что сказал друг России, Э. С., своею притчей о черепахе.

Но если это так, если при самом искреннем, например, удалении русских правительственных лиц того или другого периода от мысли завладеть Босфором, — судьба России, ее роковой рост, которому невозможно положить пределов до тех пор, пока она не исполнит своего назначения, ее религиозные предания, ее коммерческие интересы, то есть и самые идеальные, и самые, так сказать, грубые ее по-

буждения влекут эту северную нацию к завладению когда-либо Босфором, то кто же, как не болгары, являлись до сих пор самыми естественными союзниками России в этом предначертанном историей течении?

Болгары единоверные (я не говорю одноплеменные, ибо и поляк одноплеменен нам), болгары юридически не обособленные, как обособлены греки, румыны и сербы Княжества, конституциями и вздорными министерскими кризисами, еще не избалованные болгары, расселенные ¹⁰ сплошь от наших границ (то есть от Нижнего Дуная) до самых ворот Царьграда, отсталые, но с проснувшимся уже сознанием своих национальных и гражданских прав, эти болгары поставлены самою историей в положение аванпостов славянства на заветном пути его развития!..

Итак, вот огромное значение болгар для России и для всего славянства... Болгары и тогда, когда я приехал во Фракию, казались в Турции самою удобною почвой для ²⁰ нашего действия; они были самыми подручными союзниками нашими в деле нашего призвания.

Но если так, если все условия политические, религиозные и географические (особенно) соединились, чтобы сделать болгар наиболее нам родственными и доступными, то греки, в значительном количестве расселенные не только по ближайшим к морю и к Царьграду городам Фракии, но и по селам в южной части этой области, греки, надменные своим прошедшим, претендующие издавна сами завладеть Босфором и действительно имеющие на то более всех не- ³⁰ славянских и более всех западных наций право, греки должны быть самыми опасными соперниками нашими, самыми явными и непримиримыми нам врагами?..

Да, отчасти так; отчасти совсем не так. История греко-русских отношений сложилась совсем иначе, и долгое время православные (по преимуществу, так сказать, православные) греки были самыми пламенными, самыми полезными нашими союзниками в нашей политике на Востоке.

Признаюсь, мне было бы скучно и обременительно говорить в этих записках подробно о такой исторической азбуке!.. Мне хотелось бы поскорее перейти к настоящей моей задаче, к изображению той эпохи, в которую я приехал во Фракию; но, к изумлению моему, я в самой образованной части нашей публики замечал из разговоров и газетных статей такое поверхностное и легкомысленное понимание восточных дел, что нельзя не остановиться здесь и не сказать и о грехах, по крайней мере, столько же, сколько я сказал о болгарах. Из уважения к читателям моим (и отчасти, может быть, из потворства собственной моей лени), я постараюсь быть кратким настолько, чтобы не вредить ясности в изложении этого важного вопроса.

Принцип, во имя которого мы всегда вмешивались в дела Востока, был не племенной, а вероисповедный.

Православие, единоверчество наше с христианским населением Турции, давало издавна действиям нашим в этой стране такую твердую точку опоры, которой не имела ни одна Держава иноверного Запада. Все другие Державы действуют на Востоке почти исключительно одним внешним, механическим, так сказать, давлением, своею военною или коммерческою силой, различною в своей степени, смотря по нации, которая ее олицетворяет; только одна Россия поставлена вероисповедным началом совсем в иные условия: она связана преданиями с религиозною сущностью тех небольших христианских наций, которые входят в состав уже с прошлого века расстроеной и разрушающейся Оттоманской Империи. Только для русской политики на Востоке возможно было до последнего времени счастливое сочетание преданий с надеждами, религиозного охранения с эгалитарным движением вперед, национальности с верой, святыни древности с освежающим веянием современной подвижности. Русские консулы после крымской неудачи стали во многих отношениях и во многих областях Турции сильнее прежнего (это будет видно дальше из рассказов моих). Там, где этого не

было, виноваты были лица, их бездарность, их равнодушные, их, просто говоря, глупость, а не настроение населения и не те нравственные силы, которыми русский чиновник мог бы располагать. После Седана французские чиновники, дотоле столь грозные, шумные, драчливые даже больше всех других консулов,* стали вдруг едва заметны; как только уменьшилась вера в военное могущество Франции, так и политическое значение ее пало донельзя. Русские (разумеется, те из них, повторяю, которых позволено было держать на коронной службе) и после неудач оставались влиятельны, благодаря органической связи единорочества.

Итак, если Православие гораздо больше, чем племя придавало всегда столько жизни восточной политике нашей, то не важнее ли всех христианских наций, самой ли Турции или вассальных и соседних ей стран, именно та нация, в которой православные краски гуще, чем у всех других? Не в том ли народе надо преимущественно нам искать всякого рода опоры, в котором глубже накопление православных сил, этих реальных и вовсе не мечтательных сил, до сих пор еще и у нас столь могучих? Не с тою ли из христианских наций Востока нам следовало по преимуществу дружить и сблизиться, в которой наши собственные священные предания крепче и ярче выражены, чем в других?

Если болгары, как говорил я выше, были важнее для нас и румынов, и сербов, и греков, вследствие своей политической и культурной бедности и большей доступности, то греки, с другой стороны, были не менее важны для нас по совершенно противоположной причине, — по причине наибольшей выразительности у них всех тех сил, которые у болгар сравнительно слабы. Греки нас окрестили. Конечно, это было очень давно, но стоит только

* См. г. Бреше в моем «Одиссее Полихрониадесе». Это верное изображение французского консула времени Наполеона III. Таковы были приблизительно: гг. Бертран, Дерше, Шампуазо и друг.

вспомнить простую вещь, стоит вспомнить, что в руках греков святыни Иерусалима, где *говорят сами камни*, Афонская гора, где и *в наше время* можно очень скоро и с удовольствием забыть, что живешь в так называемой Европе и в так называемом XIX веке; надо вспомнить, что в руках греков суровые пустыни Синая и четыре Патриаршие Престола; надо вспомнить, что лучшие предания наших монашеских обителей по преимуществу перешли оттуда; надо вспомнить, что народ наш только *вчера узнал*, что есть на свете сербы и болгары и что если шли иные из простолюдинов сражаться в Сербию и Болгарию *для спасения души*, то это лишь потому, что эти сербы и болгары были *православные*, что в уме народа мысль об этих православных людях дальнего Востока, гнетомых и избиваемых иноверцами, тесно связана с чтением и рассказами об этих *самых Святых Местах*, об Афоне, Иерусалиме и Синае, которые все греческого духа и в греческих руках... Сам Царьград, этот ныне турецкий, торговый полуевропейский Константинополь, в глазах нашего народа есть Царьград священный, Царьград Св. Равноапостольного Царя Константина, город Св. Софии, город Вселенских Соборов, святое тоже место, лишь временно оскверненное агарянами... Да и не только простой народ, я прямо скажу, чем теснее в мыслящем русском человеке уживается *общая образованность* нашего времени с православною верой, чем искреннее «живет он сердцем и душой своею в Церкви и с Церковью», тем живее, глубже, неизменнее убеждается в следующих, конечно, не новых, но к несчастью недостаточно повторяемых правилах: 1) что никто еще до сих пор не видал ³⁰ долговечных государств, построенных не на мистическом основании, а на одних экономических или юридических условиях. Когда такое государство, как Соединенные Штаты, довольно близко подходящее к этому последнему идеалу, проживет, не разлагаясь и не изменяя вовсе форму своего правления, хотя пять веков, тогда его можно будет ставить в пример; а пока этой республике еще едва

сто лет, она в пример не годится. 2) И если бы новые какие-нибудь государства будущего и оказались способными вовсе отделять «profanum» от «sacrum», то из этого не следует, чтобы таким старым государствам, какова, например, тысячелетняя (или хотя восьмисотлетняя, если считать с крещения Владимира) Россия, подобные опыты над собою не были губительны. Франция в конце прошлого века казнила священников, закрывала монастыри и храмы, объявляла культ разума, а теперь принуждена ¹⁰ беспрерывно обращать взоры свои к Риму и, очень может быть, была бы еще в несравненно худшем положении, если бы католические чувства и католическая политика в ней совершенно были бы забыты и бессильны. На клерикалов все почти нападают, но никто еще Франции без клерикалов не видал. Была ли она без них хоть десять лет возможна? Не разрушилась ли бы она немедленно? Это вопрос: для меня даже и не вопрос... 3) Если Православие, эта могучая реальная сила русской жизни, это ²⁰ знамя, под которым мы одержали столько побед и покорили столько врагов, до сих пор у нас действительно, если это Православие нам необходимо, то надо же помнить, что политика, основанная на вероисповедном начале, невозможна без сердечных мистических верований, которыми, как оружием, эта механика политическая должна пользоваться. Надо помнить даже, что, чем искреннее мистицизм многих и многих отдельных лиц, тем удачнее и удобнее самая мудрая, спокойная, даже если хотите, самая лукавая политика целого. Без искренности Католицизма, например, большинства французов XVII века невозможна ³⁰ была бы глубокая, великая и очень хитрая политика Ришелье. Известная степень лукавства в политике, замечу, есть обязанность; ибо политика есть дело механическое; это есть не что иное, как естественная взаимная пондерация общественно-государственных сил... Старомосковские князья и бояре наши были все очень искренние православные люди и, вместе с тем, очень лукавые и очень искусные политики... 4) Если это мистическое, сердечное

Православие, к политике само по себе в своей искренности равнодушно,* но именно вследствие этой искренности своей, для успешного ведения внешней политики в тяжелое время столь необходимое, если оно для России так важно, то не должны ли мы страшиться всего, что охлаждает к нему общество и народ, всего, что нарушает мир Церкви, что затрудняет общение между отдельными национальными Церквями, входящими в состав православной семьи. Не должны ли мы дорожить невыразимо и пламенно всем тем, что усиливает влияние духовенства на народ? Монастыри, например, влияют на общество больше, чем самые лучшие представители белого духовенства, не могущие, по семейному положению своему и слишком обыкновенному, хотя и честному образу жизни, так отвлекать помыслы паствы от житейских мелочей, как может отвлечь один хороший духовник в Оптиной пустыни или на Валааме, как может действовать один афонский отшельник, удалившийся в пещеру!.. Сколько косвенной, незаметной прямо пользы делают русскому народу пять, шесть каких-нибудь нам, считающимся образованными русским, и неизвестных греков и болгар, поселившихся в ужасных расселинах или в пустынных хижинах Афонской горы. Об этих афонских пустынножителях (об отце Данииле-греке, об отце Василии-болгарине и подобных им) доходят верные слухи и описания, как печатные, так и путем частных писем и рассказов, до русских монастырей; слухи и описания эти укрепляют наших монахов; образ этих

* Что понимает в Восточном вопросе, например, набожная московская купчиха? Или какое дело до политики, собственно, нашему иерусалимскому поклоннику? И даже образованный, благовоспитанный русский помещик, если вздумает, по какому-либо сердечному томлению, посетить монастырь, не будет заботиться о международных отношениях. Но именно вследствие того, что все эти люди искренни в своих религиозных чувствах, искренни точно так же, как болгарский земледелец, критский паликар и афонский монах, и веруют в то же, во что веруют эти последние. Вследствие этого-то так глубока наша связь с греко-славянским Востоком.

нерусских святых людей, которых русские поклонники видят хоть на этом турецком Востоке, восхищает и утешает их.

Поэтому-то, когда я говорю Православие, я говорю духовенство; когда я говорю духовенство, я подразумеваю монастыри; когда я говорю монастыри, я вспоминаю о Святых Местах; когда я вспоминаю о Святых Местах, я невольно с поразительной ясностью вижу, как важна для нас роль греческого духовенства, преобладающего в этих ¹⁰ Святых Местах, владеющего ими... Я не говорю об эллинизме. Сам по себе, эллинизм не заслуживает никакого особого, выходящего из ряда внимания; эллинизм для русских должен быть важен лишь настолько, насколько он носитель восточного Православия. Отделять эти два начала возможно не только в уме, но и во многих случаях на практике; и дипломатия наша, если не всегда, то очень долго и очень успешно умела прежде это делать!

Вот что я хотел сказать здесь и сказал, конечно, очень бегло и кратко о греках. Вот их важность для нас, вот ²⁰ почему Фракия, как главный и спорный пункт между болгарами и греками, то есть между двумя христианскими нациями Турции, одинаково для нас нужными и дорогими, есть очень важная для нас область. Чуть ли не самая важная, если рассматривать вопрос с той точки зрения, с которой я рассматривал его здесь и с которой (не знаю, как теперь?) рассматривало его само Министерство. Оно постоянно и строго внушало нам умеренность и примиряющий дух.

Конечно, когда я приехал туда в первый раз, я не мог ³⁰ понимать все так ясно, как понимаю теперь, но, в общих чертах — вопрос и тогда был бы понятен для всякого русского чиновника, которому бы и не удалось, как мне, прочесть какую-нибудь сотню или более консульских донесений еще в Петербурге. Я позднее поговорю о крайностях как эллинской «великой идеи», так и болгарского племенного радикализма... Теперь, объяснив нашу главную и общую задачу во Фракии, я постараюсь рассказать, в

каком виде я застал как местное общество в Адрианополе и отношения различных сил его, состоявших в постоянной, тихой и медленной борьбе, так и положение собственно нашего консульства. Оно, словом можно выразить, было тогда блестящее.

VI

Я сказал, что положение Адрианопольского консульства было без прибавления блестящее, когда я приехал им управлять в конце 1864 года. Мне предшествовали один за другим замечательные консулы: Ступин, Шишкин и ¹⁰ Золотарев. Ступин и Золотарев уже умерли оба, а г. Шишкин теперь посланником в Соединенных Штатах.

Они все трое были очень влиятельные и способные люди, но вовсе не были похожи друг на друга ни воспитанием, ни характером, ни родом памяти, которую они оставили в стране. Гг. Шишкин и Золотарев были люди светские, молодые, с хорошими средствами, благовоспитанные, приспособленные уже для настоящей дипломатической службы при посольствах и с широкою дорогой впереди. Ступин был человек небогатый, семейный, довольно грубый, пожалуй, и даже видом своим походил гораздо менее на дипломата, чем на храброго и сурового армейского полковника. ²⁰

Бледный и сухой, но крепкий с виду, белокурый, с одними усами без бороды, взгляд строгий и покойный... Я его видел в Петербурге. Он тогда был не то чтобы в опале, а как бы под следствием; его влияние и неслыханная популярность возбудили против него целую коалицию иностранцев, и наше тогдашнее посольство, поддавшись их внушениям, удалило Ступина временно из Адрианополя. Ступин поехал в Петербург и оправдался. Это было именно в то время, когда я только что поступил на службу в Петербург. Об истории его говорили в Министерстве, но так, как обо всем говорят в Петербурге, мимоходом, пусто, легко и с шуточками. ³⁰

Иначе относились к этому делу христиане во Франции: там смотрели на Россию, на чиновников русских, на слуг Русского Царя серьезно, говорили о них скорее уже с трагическим или эпическим оттенком, чем с комическим.

Наше юмористическое балагурство, наше легкомыслие в разговорах о государственных делах и государственных деятелях там неизвестно. На Востоке совсем не тому и не над тем смеются, над чем смеются у нас. Остроумия там мало; остроты и насмешки там не забавны, не остры; это, конечно, иногда очень скучно в общественной жизни; но есть, однако, в этом недостатке и прекрасная сторона, — некоторая простота и серьезность взгляда на государственные отношения, на службу казенную и тому подобные предметы. Там, например, постичь не могли бы, как это можно так подтрунивать над чинами и орденами, как делают у нас именно те, которые ими украшены. Если кто-нибудь и окажется там в этом отношении настолько искренним приверженцем равенства, что ордена и чины ему нежелательны и неприятны, как выражения монархизма, то он будет чувствовать к ним враждебное чувство серьезного характера, но никакое шпыняние *à la Щедрин* чиновников с их знаками отличия на Востоке и в голову не придет. В этом отношении большинство восточных христиан больше сходно с нашими прежними дворянами, которые гордились своею службой, заслугами, орденами, которые готовы были, как говорили у нас насмешники, «спать в орденах», а не стыдились их и не подтрунивали над ними, как делают у нас теперь.

Прибавлю еще, что в Адрианополе в то время все самые влиятельные лица города были люди самого охранительного направления, — как болгары, так и греки, — и все более или менее русской партии. Понятное дело, каким восторженным тоном они говорили о Ступине, которого боялись не только турки, но и местные консулы из католиков, все эти богатые и бесчисленные *Бадетти* и несметные *Вернацца*, которыми кишел православно-турецкий

город (об этих *Бадетти* и *Вернацца* я поговорю после подробнее).

— *Le grand consull! O megas проксенос!* — Так звали христиане *Ступина*.

Радость была велика, когда узнали, что *Ступин* оправдался в Петербурге, что его повысили, назначили генеральным консулом в Тавризе (в Персии) и пожаловали даже ему землю в одной из отдаленных губерний наших (в аренду или собственность — не знаю). Рассказывали с гордостью, будто бы сам князь *Горчаков* по поводу обвинений, взводимых на *Ступина*, выразился так: «Я никогда не поверю, чтобы русский консул делал все то, в чем его обвиняют. Все это клевета!» При этом с тонкою таинственностью во взгляде восточные люди прибавляли одобри-¹⁰тельно: «*Не хочет дядя Горчаков верить!*»

В чем же обвиняли *Ступина враги*, и за что так любили его *доброжелатели* России во *Фракии*?

В эфирской хронике моей «*Одиссей Полихрониадес*» я кратко и мимоходом описал *Ступина* под именем *Бунина*.

Об этом *Бунине* рассказывает некто *Хаджи-Хамамджи*, фракийский купец и оратор. *Хаджи-Хамамджи* тоже лицо, без прикрасы списанное с действительности. Это точно был *фракийский* негодичант *Хаджи-Кириаджи*, родом *фессалиец* и один из самых приятных, добрых, умных и занимательных греков, известных мне в *Турции*. Он был богат и, несмотря на легкомыслие свое, доходившее иногда до ребячества, благодаря уму, начитанности своей и богатству, был очень влиятелен. И он умер недавно. «*Проходит образ мира сего*», образ этого восточного мира, знакомого нам и привычного... Посмотрим,²⁰ что будет теперь при новых обстоятельствах и новых людях!

Чтобы не повторять одного и того же по разным сочинениям, я лучше «цитую» сам себя. Когда я писал эту часть «*Полихрониадеса*», *Хаджи-Кириаджи* был еще жив, и я не мог в истории *полу-вымышленной* ни его по имени назвать, ни *Ступина*.

Вот что́ говорит про консула Бунина фракийский оратор. Он сравнивает, между прочим, род его энергии с энергией французских консулов.

«Хаджи-Хамамджи откашлянулся, расправил бакенбарды и, став величественно посреди комнаты, продолжал речь, которую видно я на миг прервал моим приходом.

— Итак, я сказал (начал он, делая томные глаза и все играя бакенбардами), я сказал, что русские бывают нескольких, и даже очень многих сортов. Прежде всего *великие русские*, потом *малые русские*, иначе называемые у нас на Дунае и хохолдес. Есть еще русские-германцы; люди неплохие, подобные Дибичу-Забалканскому, и наконец есть еще... особые русские, издалека откуда-то из Уральских гор, *уральский русский*. Таков был, например, у нас не господин Петров, который там недавно, а его предместник, господин Бунин... Я даже спрашиваю себя, зачем это Бу-нин... -нин?.. *Настоящий русский должен быть ов и ев...* Прежде всего *ов*. Этот господин Бу-нин не имел в себе того некоего тонкого и вместе с тем властительного вида, который имеют все благородные великоруссы, даже и те из них, которые не богаты. Таков был, например, предместник господина Бунина, генеральный консул мсьё Львов. При нем о господине Бунине никто не слышал у нас; он жил в глухом и безвыходном переулке, и как Львов заговорит с ним, он вот так (Хаджи-Хамамджи вытянулся и руки по швам). А как уехал Львов и назначили его... Что́ за диво! думаю я, Бунин там... Бунин здесь... Бунин наполняет шумом весь город... Бунин в высокой косматой шапке... У Бунина по положению четыре кавасса-турка, в турецких расшитых одеждах с ножами... да! А сверх положения десять охотников из греков, в русской одежде и в военных фуражках. Бунин идет к паше — пять человек направо впереди, пять человек налево... а Бунин сам в большой шапке. Мсьё Бунин здесь, говорю я, мсьё Бунин там! Сегодня он с беями друг и пирует с ними; завтра он видит, что бей слишком обидел болгарина-поселянина; он берет са-

мого бея, связывает его, сажает на телегу и со своим кавассом шлет в Порту связанного... и турки молчат! Сегодня Бунин болгарскую школу учреждает; завтра Бунин едет сам встречать нового греческого консула, которого назначили нарочно для борьбы против него, против Панславизма в тех краях, и сам prepares ему квартиру. Сегодня Бунин с пашой друг, он охотится с ним вместе; ест и пьет вместе... „Паша мой!” Завтра он мчится в уездный город сам верхом с двумя кавассами и греками-охотниками; входит внезапно в заседание меджлиса. Мудир встает. Раз, два! две пощечины мудире, и Бунин на коня и домой. И с генерал-губернатором опять: „Паша мой! паша мой!” „Что такое? что за вещь?” Вещь та, что мудир прибил одного болгарина, русского подданного; а паша слишком долго не брал никаких мер для наказания мудира. Понимаете? „Мы с пашой все-таки друзья! Зачем мне на него сердиться? Он бессилён для порядка, для строгого исполнения трактатов, обеспечивающих жизнь, собственность, честь и подсудность иностранных подданных, — так я сам буду своих защищать!..” А? что скажете вы, не Уральские это горы?..

Так, кончив рассказ свой, спросил Хаджи-Хамамджи с удовольствием, как бы сочувствуя этому уральскому духу Бунина.

Исаакидес был тоже очень доволен этим и сказал:

— Таких людей здесь надо!

Но Несториди заметил на это так:

— Что тут делать Уральским горам, добрый вы мой Хаджи-Хамамджи! У нас Бреше из Парижа такой же...

Хаджи-Хамамджи выслушал его, приклонив к нему ухо, и вдруг, топнув ногой, воскликнул:

— Не говорите мне о французах! Извольте! Скажите мне, Бреше пьет раки с беями турецкими, так что до завтрака он более византийский политик, а после завтрака более скиф?

— Нет, не пьет; он почти и не видит у себя турок, — сказал Несториди.

— Извольте! — воскликнул Хаджи-Хамамджи. — А мсьё Бунин пьет. Бунин пьет! Бреше сидит у порога простой и бедной хижины за городом, входит в семейные дела болгарского или греческого земледельца или лодочника, мирит его с женой?.. Отвечайте, я вас прошу!

— Ну, нет, конечно... — отвечали Исаакидес и Несториди.

— Извольте! А мсьё Бунин сидит у бедного греческого и у бедного болгарского порога и говорит мужу: «Ты, ¹⁰ брат, (видите *брат, брат!*) тоже скотиной быть не должен и жену напрасно не обижай, а то я тебя наставлю на путь мой, и пойдешь ты по истине моей»... Извольте! Бреше строит сам православный храм в селе подгородном? Бреше везет ли сам тачку? Роет ли землю лопатой для этого храма?.. Я за вас отвечу — нет! У Бреше дом полон ли друзей из болгар и греков?.. Я вам отвечу — нет! К Бреше просят ли в кавассы разоренные сыновья богатых беев, которых имен одних когда-то трепетали мы все?.. Проятся ли в кавассы обедневшие дети тех самых янычар, ²⁰ на которых Султан Махмуд до того был гневен, что на каменном большом мосту реки Марицы, при въезде в Адрианополь, обламывал граненые главы столбов, украшавших мост, когда он проезжал по мосту этому? Да! чтобы даже эти граненые главки не напоминали ему чалмы и колпаки янычарских могил... а к Бунину просятся!!.

Хаджи-Хамамджи кончил и сел отдохнуть на минуту. Все молчали в раздумьи».

Во всем этом рассказе нет ничего преувеличенного. Я сам слышал все это от многих людей в Адрианополе: от ³⁰ драгомана нашего, грека Эммануила Сакелларио, от его двоюродного брата Алеко; от болгарина доктора Найденовича; от Хаджи-Кириаджи, который действительно звал Ступина *уральским* русским и был еще не так восторженно доволен им, как другие, потому что предпочитал дипломатов *тонких по формам*.

Когда я приехал в Адрианополь, везде были еще видны следы Ступина; всем были памятливы и дороги рассказы и

анекдоты про его выходки, про его смелость, ум и влияние. Никогда не оскорбляя грубо греков и тем более высшее духовенство их, он поддерживал болгарские требования в разумных и умеренных пределах, поддерживал болгарские школы, хлопотал о славянском богослужении в некоторых церквах. Дружась и сближаясь с богатыми турецкими местными беями, он этим самым умел приносить и христианам иногда косвенную пользу в разных делах. Старым туркам, несмотря на весь наш исторический с ними антагонизм, русские люди *старого стиля* вообще очень нравятся... Им нравились патриархальная простота и доброта Ступина, соединенная с суровостью и энергией. Ступин был гостеприимен и ласков с ними. И туркам и христианам Фракии нравились простота обращения, доступность Ступина и вместе с тем нравилась и та несколько воинственная важность и пышность, которую он умел себе придавать всеми этими турецкими кавассами и полурусскими вооруженными охотниками *в два ряда*, с которыми он делал визиты.

Им нравилось (и основательно!) в этом человеке барское соединение внешней почти азиатской эффектности с душевною простотою... Им нравилась истинно старорусская эта черта... Это и мужику русскому очень нравится. Ненавистно и тяжело и чуждо и восточному человеку, и русскому мужику — холодное, сухое *джентльменство*, приторно-вежливое, простое только с виду.

Ступин оставил, говорю я, много следов в Адрианополе. В центре города есть *Святогробское Иерусалимское* подворье. Желая доставить больше возможности болгарам молиться в церкви по-славянски, он выхлопотал от Иерусалимского Патриарха особое разрешение, по которому Святогробское подворье делалось чем-то вроде консульской церкви, церковью для семейства русского консула. Литургия совершалась наполовину по-гречески, наполовину по-славянски; Апостол и Евангелие всякий раз читались на обоих языках, на клиросе пели болгарские и греческие мальчишки русским, а не восточным напевом. Сама супруга г. Ступина обучала их нашему пению с помощью

фортепиан. Правда, адрианопольские болгары при самом начале этого устройства не очень охотно ходили в церковь Иерусалимского подворья. Но это уж не вина Ступина; это лишь небольшая его ошибка. Надо правду сказать, многие из нас, русских, не совсем так понимали болгар при начале их церковного движения. Мы думали, что они гораздо простодушнее, гораздо искреннее в своем *чисто мистическом* желании слышать Слово Божие на родном языке (или лучше сказать на церковнославянском, все-таки более греческого им понятном.) Мы думали о них *сентиментальнее*, чем нужно было думать, нам казалось, что если только запоют в какой-нибудь церкви по-славянски, то болгары и будут счастливы.

Но движение болгарское было, разумеется, с самого начала не в руках простого народа, в самом деле довольно набожного, но в руках купцов, докторов и учителей, «мудрых яко змии», но на «голубей» не похожих, и при всей своей недоучености весьма «либеральных» в идеале своем.

Ступин, лично сам богомольный русский человек, вероятно, любил литургию православную, прежде всего для молитвы, для известного удовлетворения сердца. Он был именно из тех русских людей, которые, раз поняв хоть сколько-нибудь греческий язык, с чувством и на этом языке готовы слушать церковное богослужение, и не только слушать, но готовы даже и вспоминать беспрестанно при этом, что все или почти все в *нашем* Православии: догматы, уставы, богослужение, поучения великих Отцов взято с этого самого языка византийцев. Болгары же очень скоро стали говорить про Иерусалимское подворье: «На что́ нам это? Это не собственная, не национальная, не болгарская церковь, это церковь русская!»

Но это, повторяю, уже не вина Ступина; это только понятная ошибка; он думал, что болгары проще сердцем и в самом деле прежде всего хотят понимать слова и молиться!

Зато для тех русских консулов, которые чувствовали потребность бывать в церкви не только *для народа*, но и

для себя, Иерусалимское подворье было большим утешением, в особенности *русское пение!*

Я знаю, что другим невозможно с полной силой передать то чувство, которое волнует нас при некоторых воспоминаниях... Я думаю, что и род чувства, и сила его передаются другим удачно лишь музыкой или стихотворною речью, к которой теперь, мне кажется, люди совсем утратили способность... Что значит для другого это *Иерусалимское подворье в Адрианополе?*.. Но для меня это живой образ и живое чувство *лучших дней*... 10

Я все помню. Помню архимандрита, высокого, черного, худого, которым и я был недоволен, и все... Добрый Кирилл, митрополит Адрианопольский, звал его по-славянски «хладный человек». Потом Патриарх его сменил. Жил тут при храме старик грек, седой, низенький, иконописец и певчий, в церкви всегда стоял по-старинному в чалме, то есть в феске, обвязанной темным платком. Снимал он ее только в самые торжественные минуты литургии. Мне нравилось, что я без шапки, а он в шапке; мне все, кажется, тогда нравилось... Я очень беспокоился всегда о том, не горюет ли старик, что ему за русским пением остается мало простора для тех странных и бесконечных греческих трелей, к которым он привык, и радовался, когда он каждый раз пел по-своему в нос и так крикливо причастную молитву. Я даже нарочно, чтоб утешить его, делал ему изредка визиты и хвалил его плохие иконы... 20

Детей и отроков певчих я помню также хорошо; я лица их вижу, какая была на каком одежда, я помню. Вот из всех сил старается угодить мне громким пением маленький грек Костаки; он мне тезка: он очень мил собой, белоку- 30
рый. Изредка оглядывается на меня: «одобряет ли консул?» Вот сын того самого старого певчего в чалме, этот больше брюнет, курчавый, тихий, скромный. Вот ужасно дурнолицый мальчик; голова острая, лицо темное, узкое, глаза непонятные, странные какие-то. Это болгарин, сын знаменитого интригана Куру-Кафы, одно время вождя болгар-унитов в Адрианополе; но мы таки и отца перема-

нили на свою сторону, и сыночка перевезли к себе из унитской церкви, где он долго пел.

Я ошибся, сказав, что мне все нравилось. Нет, одно мне очень не нравилось: мне было очень противно, что все эти дети болгарских и греческих горожан были одеты европейскими пролетариями. На хорошеньком Костаки серая жакетка; у певческого сына долгополый черный сюртук, и его отроческая шея обмотана самым безобразным огромным черным галстуком; маленький страшный Куру-Кафа тоже в одежде «интеллигенции», и воротник его скверного сюртука очень сален... (Может быть, теперь он депутатом в Болгарии... Кто знает?)

Гораздо милее городских детей и чище с виду были маленькие сельские болгары, которых иногда заранее припасал откуда-то заботливый драгоман наш, чтоб они преимущественно учились здесь петь по-русски. Эти сельские дети были очень оригинальны и опрятны; в национальной одежде из несокрушимого темного сукна домашней работы, с бараньими шапочками, которые мы им приказывали в церкви снимать, они стояли так скромно и чинно, склонив до половины свои обритые головки... Но не знаю отчего, они скоро куда-то исчезли, а городские пролетарии наши оставались нам верны и пели.

В большие праздники, впрочем, и они были одеты по-лучше. При церкви были маленькие старые стихари, нарочно для них сшитые, кажется, еще при Ступине. Архимандрит иногда одевал их в эти стихари, на Пасху, например. Но из экономии это делалось редко. Я мучился, чтобы стихарики эти были светлее, складнее сшиты и красивы, и чтобы дети-певчие надевали их всегда. Я обращался тогда к нашим посольским дамам, просил старых шолоковых платьев, но не допросился... Кому, впрочем, до этого дело?.. Я сказал, что свое чувство передать другим очень трудно...

Ступин, однако, не зная меня, передал мне многие из чувств своих наглядно, своими созданиями...

Когда эти, с виду положим и изуродованные, но все-таки греческие и болгарские единоверные мне мальчики

под конец обедни так громко восклицали: «Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи, и молимтися, Боже наш!», восклицали тем самым напевом, который мы привыкли слышать в Москве, Орле или Калуге, то сердце невыразимо веселилось и в самом деле хотелось славить и благодарить Бога за то, что слышишь это радостное родное пение среди города мечетей, пестрых шальвар и шелковичных садов! Замечу, что болгарам, привыкшим к напеву греческому, этот русский напев не очень нравился. 10

Было еще одно место около Адрианополя — болгарское село Демердеш, где сохранились видимые памятники жизни и деятельности Ступина. Там есть дом, построенный им для себя вроде дачи и впоследствии перешедший во владение болгарского училища, и есть церковь, также им воздвигнутая.

Это село Демердеш до Ступина было не село, а простая болгарская деревня. До нее не более получаса скорой ходьбы от Адрианополя. Надо пройти два старых моста, чрез узкую Тунджу и широкую Марицу. Сейчас за последним 20 мостом, направо, стоит несколько больших развесистых старых тополей (не серебристых и не пирамидальных, а других каких-то); около этих прекрасных деревьев, в широкой тени которых часто отдыхали пешеходы и разводили, я помню, иногда огонь какие-то бедные люди, песчаная дорога расходится в две стороны. Правее, чрез обширные плантации шелковицы, идет широкий путь в большое село Карагач; налево пропадает за кустами другая дорога, поуже и помирнее первой... Это дорога в Демердеш.

Карагач несравненно богаче, чище и... противнее. Это 30 маленький городок, много «архонтских» белых богатых домов; это Сокольники или Петровский парк Адрианополя... Там отдыхает жарким летом после коммерческих трудов, политикует и толстеет скучная местная *плутократия* всех исповеданий (кроме мусульманского), католики, евреи, может быть, есть и армяне, но больше всего католики. Есть и православные дома. Болгарские хижины пер-

воначального селения совсем почти не видны за высокими купеческими постройками... об них забываешь... Есть даже католическое кладбище. Карагач вовсе не похож на деревню. При богатых этих домах есть, впрочем, очень хорошие сады; цветы цветут; есть красивые, свежеразкрашенные прохладные киоски с мраморными фонтанами, которые иногда заставляют бить для гостей... Когда я заехал к одному иноверному торговцу (родом англичанину, но подчинившемуся всем местным обычаям), хромая, толстая супруга его и весьма неинтересная его дочка повели меня тотчас же в киоск. У них киоск был маленький, старый, полукруглый какой-то, не такой хороший, как у красного, высокого апоплектического Бертоме Бадетти (прусского и датского *consul honoraire*), и не такой, как у бледного, низенького и очень толстого Петраки Вернацца (итальянского *consul honoraire*). Мы сели... Вдруг старый киоск задрожал, заходил, затрепетал весь над нами... Я изумился... Вижу, хозяйка спокойна... что такое?.. Пред нами взвился фонтан. А за спиною нашею все что-то ходит и ходит, все стучит и стучит... И киоск тоже так и ходит, «strapazirt», как говорят австрийские кельнеры на тех пароходах Ллойда, которые поплосе, трещат и трепещут во время непогоды и волны...

Вся эта возня и весь этот шум были затеяны хозяйкой в честь русского гостя. Вплоть за стеной киоска какая-то водовозная лошадь работала над каким-то колесом... а «жемчужный фонтан» бил предо мной совсем по-восточному!

Вот Карагач. Надо сознаться, что и наша единоверная и единоплеменная «интеллигенция», с точки зрения поэзии, в том же роде. Даже досадно на эти фонтаны и благоухающие цветы, когда видишь пред собой какого-нибудь «*épicier*» в старых панталонах, в жилете и «*en taupes de chemise!*» Это ужасно! Ламартин был проездом в Карагаче и остановился у Петраки Вернацци... Неужели он не страдал?.. он, который написал «Грациеллу» и «Озеро»!.. Нет, он страдал здесь в глубине души... и эта

душа его отдыхала, вероятно, только на чем-нибудь азиатском: или на темном болгарине, смиренно пашущем за деревней в синей чалме, или на каком-нибудь турецком всаднике, у которого шальвары светло-голубые, а куртка пунцовая, и откладные рукава летят на скаку в обе стороны... Пусть всадник тиран, а пахарь жертва... Ламартин и тогда еще, в начале сороковых годов, советовал европейским Державам приступить к разделу Турции. Он говорил (в конце своего «Путешествия на Восток»), что у турок много личных достоинств, утраченных христианами в течение вековой зависимости; но государство турецкое расстроено глубоко и должно пасть; он делил северную, европейскую часть Турции между Россией и Австрией; южные: африканскую и азиатскую части ее вручал Великобритании и Франции... Он предлагал не совсем то, что мы видим теперь, но почти то же самое. Люди с сильным воображением гораздо дальновиднее чисто практических людей; несчастье их именно в том, что они понимают все слишком рано.

Ламартин предлагал раздел Турции; но не потому ли, между прочим, заботился он об освобождении свежих народностей Востока, что ему европейская прогрессивная буржуазия опротивела донельзя и довела его даже до перехода в лагерь социалистов.

Он предлагал европейцам делать социалистические опыты на этой девственной почве Востока; опыты, по его мнению, очень опасные и трудные в старых государствах Запада... Ламартин, быть может, надеялся, что при ближайшем соприкосновении новейших западных учений с восточною мистикой и азиатскою патриархальностью произойдет нечто подобное тому, что случилось у барона Мюнгаузена с лошадыю и съевшим ее волком. Барон Мюнгаузен, как известно, приехал в Россию в санках одиночкой. Дорогой напал на него огромный волк. Когда этот волк был уже настолько близко, что ускакать от него не оставалось надежды, барон нагнулся; волк в порыве бешенства перескочил через него, впился в зад лошади и начал ее есть. Барон его долго не трогал, но, когда волк

дошел уже до головы лошади и, пожирая ее *до тла*, мало-помалу сам на ее место входил в построжки, барон вдруг ударил его кнутом. Волк испугался, рванулся вперед и... попал в лошадиный хомут... Барон Мюнгаузен продолжал стегать его, и волк прекрасно довез его до города.

Конечно, Ламартину нравилось на Востоке именно все *неевропейское*, и он, вероятно, надеялся, что если именно *крайнее*, самое передовое, еще не выяснившееся на самом Западе перенести сюда, в эти пастырские и столь живописно уснувшие страны, то произойдет нечто дивное и восхитительное... Европа (совокупность Держав) — волк; Турция (как государство) — лошадь. Европа, умертвив Турцию, попадет сама в азиатские построжки и станет опять живописна и поэтична, как она была в старину, хотя и в новой форме...

Отрицательная сторона надежд и пророчеств французского поэта-политика осуществляется на наших глазах; что же касается положительной... возникновения чего-то нового, консервативно-творческого, живописно-движущегося вперед, то до сих пор мы этого не видим.

Сама Россия во всем, начиная от общей политики и кончая бытовым влиянием своим, является на развалинах Турции до сих пор не особою, независимою и своеобразной силой, а лишь самую скромную представительницей общеевропейских идей, европейских интересов, западных обычаев и вкусов...

Но это видим теперь *мы!*.. А раньше, не только в то время, когда русские войска, союзные Султану, угрожали египетскому вице-королю и Ламартин смотрел на них задумчиво на берегах Босфора, но и позднее, в то время, когда наш Ступин господствовал в той самой Восточной Румелии, из которой нас удаляют теперь в награду за наш европеизм, тогда ему точно было обо многом можно мечтать...

И можно ручаться, что Ступин, этот простой русский человек, мечтал много о Востоке, живя и молясь в уединенном, зеленом и унылом Демердеше... Для того чтобы

мечтать, особенно о судьбах отчизны своей, вовсе не нужно быть знаменитым поэтом.

Я уверен, что и Ламартину все эти европейцы в Азии, все эти тяжелые, тупые и лукавые коммерсанты Карагача были очень противны сравнительно с его идеалом; но для Ламартина была во всех этих Бадетти и Вернацца одна черта, которая могла ему нравиться и как политику, и в иные минуты даже как поэту. Все это горячие, по-видимому, верующие католики. Это могло быть Ламартину приятно. 10

Но что мог чувствовать при встрече с этими скучными людьми русский человек? Они скучны в обществе; они враги в политике.

Когда русский человек посещал приятного соперника, занимательного пашу или умного и живого англичанина, ему было весело, и он мог забыть на время всю эту международную борьбу. Когда этот самый русский человек посещал скучные, однообразные дома по-европейски уже образованных болгар и греков, он видел на стенах их приемных портреты наших Государей, портреты Паскевичей и Дибичей, он видел преданность России, доверие к себе... И острота скуки его, истинно страдальческой, смягчалась уважением, услаждалась любовью... Он забывал, что есть иная, собственная жизнь, живая, страстная, полная ума, и сидя долго-долго в темном углу на длинной и покойной турецкой софе, при свете нагоревшей сальной свечки, он беседовал с преданным хозяином о прежнем «страхе янычарском», о надеждах на Россию и шансах неизбежной борьбы; собирал пустые и почти всегда верные сведения, принимал нередко в высшей степени полезные советы... а единовенные дамы в платочках — мать, сестра, теща, дочери — почтительно безмолвствовали, зевали и часто даже засыпали по другим более отдаленным углам... Вообще замечу, что делается гораздо легче, когда хозяйка дома, болгарка или гречанка, уйдет из комнаты и оставит вас одного с деловым и умным своим мужем. 20
30

Главные представители европейской колонии, богатые, зажиточные негоцианты — почетные консулы; они имеют флаги и мундиры для праздников. Они все консулы и вице-консулы: Дании, Бельгии, Голландии, *прежней Пруссии, прежней Италии* и т. д... Их очень много, все они родня, и различить их сначала трудно: Бертоме Бадетти, Петраки Вернацца, Франсуа Бадетти, Франсуа Вернацца, Антуан Вернацца, Фредерик Вернацца, Петраки Бадетти, Бертоме Вернацца, Жорж Бадетти, Жорж Вернацца.

¹⁰ Православные люди Адрианополя их ненавидели. В двадцатых годах, во время борьбы греков за независимость, турки убивали тех из христиан, которых они подозревали в сочувствии движению. Случалось, что на улице раздавались раздирающие крики или самих избиваемых, или, может быть, их матерей, жен и детей. Испуганные женщины и дети католических семейств бросались к окнам, но отцы Бадетти и Вернацца отзывали их, говоря равнодушно: «оставьте, *это ничего, это ромеев режут*»; по-гречески с неправильным произношением «*тiпоте!*
²⁰ *тус ромéус кóфтун!*» вместо *кóптун*. (*Ромеи* — христиане, так звали в старину всех христиан *Румелии*, не отличая болгар от греков.)

Этого *типоте* (ничего!) не могли простить им те именно православные, которые к нам, русским, особенно благоволили; они звали европейскую колонию «Мышиным гнездом», *тò понтикопéци!*

Чтò же было делать нам, русским? Чтò было делать Ступину в этом *гнезде*, в этом очаге враждебной нам пропаганды? В городе эти люди, в пестрой толпе иногo населения, не так
³⁰ бросаются в глаза; в Карагаче они на первом плане.

Ступин по этому одному уже мог предпочитать скромный и тихий Демердеш, и я согласен с его вкусом. Карагач — противное плутократическое предместье; Демердеш настоящая деревня. И при мне тут было просто, а во время ступинского господства было, вероятно, еще проще. Вокруг унылое, ровное поле; какие-то баштаны сзади; недалеко где-то в стороне бедное сельское кладбище; малень-

кие кресты, болотце какое-то зеленое-презеленое, свежее, и около болотца и кладбище. Много больших тополей с беловатыми и серыми стволами, что-то вроде наших осин, только гораздо красивее. Кустики... По свежему болотцу тихо ходят аисты, и лягушки кричат в канавках точно так же, как у нас в России. В другом месте более людном их крик не привлек бы внимания, но в этой тишине, среди ровного и унылого поля, около бедного кладбища «безыменных» людей, вблизи этих «серых» болгарских хижин, крытых старою черепицей, здесь эту песню, знакомую еще ¹⁰ с детства, слушаешь так охотно.

На правую руку от деревни, у дороги в город стоят развалины покинутой небольшой мечети. Бедный минарет, на который еще можно было в мое время всходить, двор, обнесенный грубою и полуразрушенною каменною оградой; на дворе с весны густая высокая трава.

Сколько раз, живя в Демердеше (в самом ступинском доме), уходил я сидеть на этот заросший романтический двор, и сколько я там передумал и сочинил такого, что никогда напечатано не было и не будет!.. Сколько я ²⁰ мечтал (не о себе самом только, о нет!) о славянстве, о судьбах России... Думал о наших художниках, которые тогда на Восток совсем не ездили... Воображал вот такую картину: что-нибудь вроде Демердеша; сероватое поле, с одной стороны чудные, беловатые с пятнышками, толстые, сочные стволы тополей (не пирамидальных; эти как-то сухи, искусственные точно; они хороши лишь издали, возносясь высоко над морем другой зелени...); у подножия тополей желал бы видеть болотную зелень, и чтобы она была как можно зеленее, веселее, ярче. Молодой ³⁰ болгарин задумчиво пашет плугом на волах. На голове его темно-синяя чалма; шальвары и куртка темные. По плечам из-под чалмы падают русые кудри. Он распахивает новую почву жизни, которой урожаи еще неизвестны... А сзади — эта сельская старая и покинутая по бесплодью мечеть: мусульмане вымирают, эти камни, этот двор безгласный, заросший так густо, так таинственно! Сколько

было бы души в этой простой картине, сколько исторического смысла! Я желал бы еще, если возможно, чтобы на сырой зелени болотца было несколько желтых цветов, а где-нибудь около развалин мечети цвел бы самый яркий, самый красный дикий мак...

Так я мечтал бесплодно, но невыразимо наслаждаясь этими мечтами, в этом милом Демердеше... Одно уж то было блаженством, что здесь очень редко появлялись члены какой бы то ни было «интеллигенции», враждебной или дружеской, все равно с точки зрения изящного!.. *право* все равно!..

Может быть, я ошибаюсь, но все-таки повторяю: я *верю*, что и бедный Ступин мечтал здесь в Демердеше о чем-то. Быть может, я мечтаю картиннее; но думать, что практический и пожилой человек, похожий с виду на храброго армейца, мечтать не может, было бы так же глупо, как предполагать, с другой стороны, что я, например, не мог хорошо служить и распоряжаться оттого, что в свободные часы сидел и ходил, размышляя и сочиняя один по двору покинутой мечети...

Если у делового человека видно в делах его творчество, видна изобретательность, то, конечно, у него есть и воображение... У Ступина воображение было; это видно по всему: мне говорили друзья его, что он одно время хотел все Евангелие переложить русскими стихами... Бедный, бедный Ступин! Сколько начинаний, сколько борьбы и какая ранняя смерть!..

В Демердеше он построил себе дом и церковь для болгарских селян и зажил было тут чем-то вроде властного, но способного и полезного русского помещика.

Дом этот не велик и не мал, средний, в два этажа; на дворе по-русски: ворота, ставни, крыша выкрашены были (в мое время) тем темно-, очень темно-красным или красновато-коричневым цветом, которым любят красить на Востоке иногда даже целые дома; на Афоне почти на всех лесных, особых келлиях этим цветом выкрашены двери, навесы, столбы на балконах и т. д...

Церковь тоже скромная; насколько помню, снаружи чуть ли не голубоватая; пол глиняный, иконостасик небогатый, обыкновенный, *тамошний*, просто масляными красками пестровато раскрашенный.

Эта церковь стоила Ступину много хлопот; у селян денег было мало; турок, бей какой-то чему-то мешал: деньги дали друзья России и консульство; бея Ступин угощал и уговаривал; наконец уговорил.

Тут-то он сам лопатой рыл землю и сам тачку возил.

Нам, преемникам его, было приятно бывать в этой церкви; я даже Великим Постом любил уезжать говеть сюда из города с одним только кавассом-турком в небесно-голубой одежде, глупым, худым как щепка, но добрым и преданным Али... (жив ли он, несчастный?)

Голубой и по-своему верующий Али не портил мне поэзии говенья так, как мог ее испортить и видом своим, да и взглядами секретными, скрытыми от толпы, даже блаженный друг консульства Манолаки Сакелларио, полагавший, например, что я верить в бессмертие не могу, потому что я медицине учился.

Мне было весело молиться на глиняном полу Демердешской церкви с простыми болгарами; что же должен был чувствовать иногда сам Демердешский строитель, воинственный этот Ступин?..

Я думал, ему там иногда было очень отратно, со своею семьей в своем доме, с болгарскими мужиками и в церкви, им самим воздвигнутой, в виду той распавшейся мечети, о которой я писал, вблизи от всех этих тополей и зеленых уголков, где, точно как у русского барина в родимой сажалке за садом, так громко и приветливо, так восторженно в иные дни квакали лягушки!

Конечно, и в Демердеше не во всем была одна лишь эклога, не всегда царила любовь и единение православных сердец!.. Не все только травочка зеленела, не все только лягушечки квакали... И тут злились люди и злились даже чрез этого самого легендарного Ступина. Но как злились?..

Я говорил, что у демердешских болгар не доставало денег для постройки церкви и Ступин выхлопотал им займы для этого довольно значительную сумму у богатых горожан-единоверцев. Я вспоминаю при этом с улыбкой, как наш верный драгоман-грек, все тот же Манолаки Сакелларио, при мне уже все ворчал, что демердешские болгары под разными предлогами не платят ему денег, взятых ими у него для этой церкви при посредничестве Ступина. Болгарские мужики лукавы; они понимали, что

¹⁰ Манолаки не хочет судиться с ними у турок, чтобы не унижить память Ступина этим скандалом, и не платили. Помню, сидит Манолаки бледный, бритый, с усами, хитрый, остроглазый такой, сидит в своем теплом поношенном, нескладно-европейском пальто и тихо злится; а против него тоже сидит старик демердешский болгарин (Брайко), нечто вроде солидного мироеда средней руки, в опрятной куртке и шальварах из толстой коричневой абы и в бараньей шапке, тоже хитрый, тоже с выдержкой, тоже с жесткими усами и тоже смиряется. А бедный

²⁰ Манолаки между Сциллою и Харибдой; тут деньги — деньги, которые он так любил и которые ему очень нужны, а там тень Ступина, призрак «великого консула» «великой России», которую он тоже так чтит и любит... Так и не судился, по крайней мере, при мне; идеализм побеждал корысть у этого человека, в котором хитрый купец удивительно сочетался с глубоко убежденным политиком.

Что этот главный помощник Ступина, в одно и то же время ученик и советник его, был действительно

³⁰ таков, в этом может более всего убедить один ответ о нем, данный тем г. Геровым, болгаринном, который так долго был русским вице-консулом в соседнем Филиппополе и играл такую значительную роль в борьбе болгар противу греков.

Я спросил однажды у г. Герова: можно ли доверять Манолаки? Я спросил это не потому, что я сам Манолаки не верил; мы все, консулов пять подряд, лет двадцать

ему верили; но мне хотелось знать, в силах ли самый умный болгарин отдать хоть в чем-нибудь справедливость греку, я хотел испытать самого Герова.

Он ответил очень остроумно:

— Наши простые болгаре, — сказал он, — убеждены, что у змеи есть под кожей ноги; но она выпустить их не может, потому что тотчас же издохнет. Вот Манолаки; и у него под кожей есть *греческие ноги*, но он их выпустить никогда не может, так он сроднился с русским консульством.

10

Если уж болгарин Геров отдал хотя бы и такую язвительную справедливость греку Манолаки, то мы ведь не болгаре... И если купец и грек Манолаки, злясь, вероятно, так сильно на демердешских селян за долгий неплатеж, все-таки ног никаких змеиных не выпускал из уважения к *идее*, то это наглядно доказывает, какие психические чудеса могла бы творить на Востоке Россия, если бы она всегда стояла на правильной, на *ступинской* почве и реже бы сбивалась на общеевропейский, губительный для нас стиль!

VII

20

При Ступине было учреждено русское вице-консульство в Филиппополе. Политическое значение Филиппополя чрезвычайно важно. Ступин это сейчас же понял и нашел немедленно человека, способного занимать с успехом этот пост. Человек этот был молодой болгарин, некто Найден Геров. Он обучался в России (кажется, в Одесском лицее) и, возвратившись на родину с русским паспортом, занял место учителя в болгарской школе в Филиппополе. Турецкое правительство, естественно, не могло благоприятно смотреть на подобного рода людей; очень понятно, что оно подозрительно относилось и к тем грекам-учителям, которые долго жили в свободных Афинах, и к тем юго-славянам, которые обучались в России. Следить внимательно как за духом преподавания христианских настав-

30

ников, так и за действиями и политической пропагандой их вне школы, было туркам вообще очень трудно; но когда христианин-учитель был *райя*, то турецкое начальство могло все-таки рассчитывать на страх его, на опасение какой-нибудь административной расправы. Выгнать из училища, сделать *сюргун*, как говорится в Турции, то есть изгнать из страны; заморить даже в тюрьме, все это можно было сделать с учителем, своим подданным. Пришел бы к паше русский консул, пришел бы греческий, ¹⁰ сделали б они дружественное и конфиденциальное замечание, пришел бы, может быть, и английский и посоветовал бы быть «поосторожнее»... И только. Иногда русский консул, не находя удобным почему-нибудь входить в подобное дело сам, умел кстати «натравить» француза. Француз кричал, гремел против варварства не потому, чтоб он сострадал учителю или бы желал политического преуспевания христианам; но потому, что Франция — «передовая нация, представительница великих принципов 89 года», и потому, что, с другой стороны, Турция необходима «²⁰ против России», и турки не должны «скандализовать» общественное мнение... Вот и все.

Но с учителем, имеющим паспорт эллинский, а тем более русский — что делать? Он пользуется *официальной* защитой консула; его можно только разве удалить из училища, но уже из города изгнать без согласия консула невозможно, *незаконно* по духу договоров. В случае резкого и неправильного обращения с иностранными подданными, нередко все консулы были заодно и находили, что паша этим подрывает вообще принцип консульского авторитета.

³⁰ Таким образом учителя из местных жителей, добывших себе иноземные паспорта, особенно русские и греческие, были очень туркам неприятны.

Не надо было допускать их в школы... Разумеется, турки всячески и старались соблюсти это правило. Но что прочно в государстве расстроено, где каждый губернатор окружен пятью-шестью иностранными привилегированными и влиятельными «соглядатаями-консулами»!

Какой-нибудь поворот в местной политике; какое-нибудь личное сильное впечатление... какая-нибудь дерзость француза и неловкое фанфаронство его, оскорбительное для паши; какая-нибудь тупая важность англичанина, наводящая на турка тоску... и вот большею частью любезный, веселый, вежливый или добродушный лично, хотя и «злонамеренный москов» выигрывал... *Русского* учителя допускали в школу; его оставляли в покое.

И Найден Геров был допущен в филиппопольскую школу. Но вдруг один паша взбеленился за что-то на него и не только захотел удалить его из школы, но даже *изгнал* его внезапно из города. Хотя многие меня считают *греко-филом*, но я готов предполагать, что тут была против Герова какая-нибудь греческая интрига. Филиппополь уже тогда становился мало-помалу тем, чем он стал позднее так резко, то есть главным очагом болгарского антигреческого движения, самым крупным из тех утесов, о которые суждено было разбиться воздушному кораблю эллино-византийских мечтаний.

Болгар в Филиппополе было много; они богатели, креп-²⁰ ли с каждым годом, их община была там несравненно влиятельнее, чем в Адрианополе, городе более греческом, чем болгарском, если не по крови большинства, то по духу и преданиям влиятельных кружков.

И вот в этом городе, приобретающем со дня на день все больше и больше значения среди этой возрастающей болгарской общины, является молодой болгарин; умный, обученный в России, но выросший здесь, в Турции, знакомый с бытом, хитрый и деятельный, как десять греков (вообще болгары очень деятельны и очень хитры), друг и *protégé* Ступина, всемогущего в главном городе Фракии! Изгнать его!

Изгнали. Но к чему же привела эта энергическая вы-ходка?

К тому, что в этом «опасном» Филиппополе, где до тех пор русского консульства не было, взвился русский флаг, и под этим флагом врос навсегда в землю этот

самый скромный учитель-болгарин, Найден Геров. Его сделали русским вице-консулом в этом турецком *Филибэ*, в этом греческом *Филиппополисе*... и он стал на своих донесениях и нотах подписывать: *Пловдив*, такого-то числа.

Хотя, отделяя строго эстетический мой вкус от политических дел, я и нахожу, что славянское это имя очень неблагозвучно и напоминает некстати что-то съестное вроде пилава (плов), тогда как греческое имя величаво, а турецкое *Филибе* очень изящно и нежно, но политика идет, особенно в наше время, не справляясь с законами изящного — и в тот день, когда Ступин достиг удовлетворения и вознес в русские консулы оскорбленного пашой болгарского педагога, было уже решено в книге судеб, что *Филибе* станет *Пловдивом*.

И это было дело Ступина.

Директором Азиатского Департамента был в то время Ковалевский, человек горячий, любивший поддерживать энергических консулов. Консулы, обыкновенно, посылали в Петербург копии с своих донесений посланнику, и не лишены были, конечно, и права прямо писать директору Азиатского Департамента. Сверх того, я слышал от адрианопольских старшин, близких к Ступину, что он состоял в частной переписке с Ковалевским. Может быть, этим объясняется то истинно блистательное удовлетворение (*satisfaction éclatante*), которое дала нам на этот раз, благодаря неискусной выходке филиппопольского паши, эта давно уже не блистательная Порта...

Надо заметить, так это постоянно случалось с турками. Большею частью они были до невероятия терпеливы с консулами и даже нередко с собственными подданными, которые тоже далеко не ангелы во плоти; тогда, выигрывая время, они поправляли немного свои дела; но каждый раз, как просыпалась в них гордость, быть может, горькая память их прежней грозы и могущества, каждый раз, когда, увлекаясь гневом, они хотели обнаружить старую энергию свою, дело кончалось для них поражением.

Так было и в больших, и малых делах. Не изгони во время Ступина турки с такою первобытною решимостью болгарского учителя из этого Филибе, не сделался бы именно этот *болгарин* там консулом; болгарский церковный вопрос, при влиятельном русском человеке в Филибе, без Герова пошел бы медленнее или иначе как-нибудь. Церковная распря с греками, которую так усердно и даже так искусно раздували турецкие министры, приучила дотеле неподвижный болгарский народ к движению и брожению; раскол, то есть неправильное *по форме* решение церковного вопроса, которого так желали турки, объединил болгар, придал им незнакомую им дотеле самоуверенность и гордость... Эта небывалая смелость привела в ярость мусульман... Ярость эта перешла далеко за черту разумных и общепринятых мер усмирения... Болгарские села вокруг главного очага болгарского движения обогрились потоками крови, и русские войска перешли свой вековой Рубикон — не «синий», как сказал Хомяков, а напротив того, мутный и желтый, унылый Дунай...

У меня могут спросить, однако, какова же была собственно *политическая идея* Ступина? Какая идея руководила его энергической деятельностью во Фракии?

Мне могут язвительно заметить, что расправиться с мудиром, ходить по улицам в русской шапке с десятком вооруженных людей, сидеть патриархально у порога христианской хижины, строить в Демердеше болгарскую церковь и даже наказывать дерзость филиппопольского паши внезапным превращением ничтожного болгарского учителя в русского консула, что все это не политика, а разве только *престиж* для поддержания и укрепления в стране известной политической идеи.

На это я могу ответить вот что. Строго говоря, от консула и не требуется самостоятельных политических идей, слишком большая самостоятельность политического агента, второстепенного *по рангу*, но чрезвычайно важного по независимому и бесконтрольному *одиночеству* своему, в среде всегда напряженной и впечатлительной, могла бы

быть иногда очень вредна. Везде очень мало найдется натур настолько смелых и глубоких, которые сумеют и в бесконтрольном положении уединенного поста строго проводить такие идеи начальства своего, против которых иногда протестуют личные убеждения. Для этого нужно, чтобы почти *мистическое* почтение к государственной Иерархии брало в сердце постоянно верх над личным взглядом на внешнюю политику той Державы, которой служит политический агент. Поэтому никто никогда и не требовал, чтобы консул был непременно какой-то публицист на практике. На практике, в деятельности своей местной, в образе влияния на власти, на жителей, в отношениях своих к иностранным сослуживцам консул должен являться только смышленным исполнителем общих предначертаний своего Министерства. Никто, разумеется, не запрещал ему рассуждать отчасти и о «высшей политике» в своих секретных отношениях к начальству; здесь он мог иногда давать волю даже политическим фантазиям своим. В то время, когда я служил и когда Ступин наполнял Фракию слухами о своей энергии, «идеи», изложенные на бумаге, ценились у нас; и раз оградив себя обычными фразами бюрократического смирения вроде «мое *посильное* мнение», «я осмелюсь почтительнейше заметить» или «если я не ошибаюсь», или наконец, «почтительнейше прошу извинить смелость, с которою я позволяю себе», русский консул мог, конечно, предлагать все, что ему угодно, он мог предложить и временный союз с турками, и восстание всех православных разом, если не прямо, то, по крайней мере, тонкими намеками; один консул мог возмущаться до глубины души «грязными интригами *фанариотов*», а другой восклицать с чувством: «вековая связь России с Константинопольским Вселенским Престолом, священным для нашего православного народа» (то есть с этими самыми *фанариотами*, которых интриги так ужасны). Все это допускалось и у нас, и у консулов других, конечно, наций. Многие помнят, я думаю, одно донесение г. Лонгворта (генеральный английский консул в Сербии), обнародован-

ное в «Синей книге»; в этом донесении Лонгворт советовал мусульманскому простонародью свершить именно *те избиения*, которые вызвали последнюю войну. Существовал, например, еще *проект восстания в Албании против Султана*, проект, составленный, если я не ошибаюсь, уже умершим теперь, французским консулом Геккаром. (Эта записка, по случайности, попала в наши руки и еще раз доказала, до чего была всегда притворна, запутана и пуста французская политика на Востоке.)

Я говорю, что никакое правительство не воспрещало своим агентам в Турции иметь «идеи» и даже высказывать их от поры до времени; но ни одно, конечно, и не *требовало* этого. Наше начальство требовало от нас постоянно двух вещей: 1) *знать* хорошо, что делается и даже думается в стране, и вовремя доносить об этом и 2) *держаться* в стране так, чтобы помнили, что *есть на свете Россия*, единоверная христианам. Общая же наша политика после Парижского мира была такова: поддерживать и защищать гражданские права христиан и умерять, насколько возможно, естественный пыл их политических стремлений.

Надо согласиться, что правильнее и умереннее этого нельзя было ничего придумать. С этою прямою и ясною целью и было открыто по всей Турции столько новых русских консульств после неудачной для нас Восточной войны пятидесятых годов.

Итак, вопрос: соответствовал ли Ступин тому двойственному идеалу политического агента, о котором я сейчас говорил? Многого об этом сказать не могу. Во время моей службы во Фракии, я, изучая архив консульства, читал между прочим и его донесения, но по многим причинам вынужден был обращать на них гораздо меньше внимания, чем на деятельность, на воззрение и, так сказать, на «методу» моих ближайших предместников, гг. Шишкина и Золотарева. Времени было мало: нужно было в одно и то же время и самому действовать, и учиться; нужно было судить, рядить, *влиять*, не ошибаться по возможности, нужно было скорее понять и страну вовсе

незнакомую, и людей непривычного нам, русским, духа. Многие дела, начатые Золотаревым (который вдруг уехал в отпуск, пробыв со мной в Адрианополе не более четырех дней), надо было продолжать, надо было поддерживать некоторые предприятия его, чтобы не уронить ни консульства в глазах населения, ни себя в глазах начальства; надо было знать, что такое тут случилось недавно, за год, за два, много за три до моего приезда. Мне говорил, например, какой-нибудь местный политик с таинственным видом:

— Я вчера видел диакона *такого-то*, он ученик *Пантелеймона*. У них теперь в *таком-то* предместьи — вроде маленького монастыря... Что вы об этом думаете?

«Что я думаю?» Я об этом еще ничего не думал! Я думал со страхом: «Кто это такой *Пантелеймон*? Кто это? Боже мой! Я ничего не знаю... Какое предместье?.. что за дьякон?»

Или мне докладывали:

— Дядя этой *Фатьме* опять пришел за деньгами. Он грубит, подозревает, что эти деньги задерживаются в консульстве.

— Как он смеет грубить? Позвать его.

«Но, однако, что я ему, этому дяде, скажу? Кто такое эта *Фатьме*? Зачем эта мусульманка требует денег. Какие деньги?.. Что ей до нас! Что нам до нее?»

Или еще мне рассказывают:

— Вообразите, этот негодный *архимандрит Пахомий* не удовольствовался тем, что стал унитом, он теперь *потурчился*. Как мы с Золотаревым старались уговорить, ³⁰ удержать его!.. Имели даже с ним тайное свидание. И он нас обманул! Что за ужасный человек, и что за лицо у него; какие разбойничьи глаза!..

Кто этот ужасный архимандрит? И зачем Золотарев так занимался им?.. Для чего? Когда это было? Это может быть очень важно...

Нужно было мне знать скорее, что *Пантелеймон*, *ересиарх*, простой болгарский священник, который хотел как-то

по-своему очистить Православие и возвратиться к первым векам Христианства; надо было понять, что его раскольничье учение не имело никакой связи с общеболгарским церковным движением.

Нужно было знать, что эта *Фатьме* маленькая девочка, крымская татарка, очень миленькое дитя, в желтых с узорами шароварах, сирота, которая должна получить из Крыма 800 р. наследства; надо было, с одной стороны, обуздать дядю ее, чтобы не смел дурно думать о консульстве, а с другой, требовать настойчиво от Таврического губернатора эти 800 р. Оказалось, что эти деньги давно лежали в целости в шкапах посольства, забытые секретарями.

Надо было ознакомиться покороче с приключениями архимандрита Пахомия (положим, я имя забыл), перешедшего сперва в унитство, а потом надевшего чалму турецкого улема; узнать, как действовал Золотарев в подобных неприятных случаях и почему он сам, столь искусный и счастливый в делах, на этот раз потерпел неудачу.

Мсьё Ишуа прибил хлыстом Вольницера! Ишуа и Вольницер оба евреи, но Ишуа драгоман Камерлохера, австрийского вице-консула: еврей усатый, рослый, с кривою кавалерийскою саблей, которою он в большие праздники гремит по полу и по лестницам, делая паше и консулам визиты. А бедный Вольницер не мсьё, он просто портной, наш подданный из Варшавы; добрый, честный, прекрасный еврей. Австрийский мсьё и наш простой еврей заспорили о чем-то, в чьей-то лавке. Ишуа воскликнул: «Русские все сволочь!» (что-то в этом роде). Добрый Вольницер считает себя русским; отвечает: «Австрийцы все подлецы!» Удар хлыстом. (Это было еще до отъезда Золотарева.) Международная полемика между Золотаревым и Камерлохером. Обмен горячих нот. Но оба консула, и наш, и австриец, уехали в отпуск; и теперь при мне обвиняемый драгоман сам себе судья; он управляет Австрийским консульством; он мне товарищ. Я негодную в душе, что мне, калужскому дворянину и т. д., приходится делать визиты этому Ишуа с саблей; но что́ делать!..

Сам всемогущий Золотарев, которого западные консулы очень уважали, не мог добиться никакого удовлетворения по этому делу! а я только «управляющий», векиль, халиф на час.

Утешаюсь философией. Правды на земле не было, нет, не будет и не должно быть; при человеческой правде люди забудут божественную истину! Да... Бедный Вольницер! Я не заступлюсь за тебя, несмотря на твои большие, добрые и черные глаза, несмотря на честность твою и даже на то, что ты недавно пожертвовал четыре золотые лиры на пострадавших от наводнения... Гораздо более меня, потому что я свою лепту вывел в счет чрезвычайных по консульству издержек...

Боже мой! как это все сложно! когда же мне изучать ступинские архивы?.. Старые дела не кончены; а новые дела, тяжбы и события вырастают и рождаются со всех сторон. Жизнь не хочет знать, что я еще не успел изучить страну, людей, обычаи, законы...

Подданных русских здесь немало; все они торгуют, продают, покупают, дают займы и занимают... Манолаки живмя живет в тиджарете!.. Полимён, Кевóрк, Киркóр, Новаков, Бояджиа, Москóв-Соломон... Этот благородный Вольницер... Их много! у Полимена пропал буйвол; Новаков ссорится с тещей; рубит какую-то дверь топором, а сам жалуется на «иго фанариотов».

Всех их надо удовлетворить, урезонить, рассудить, утешить, наказать...

А между тем жалобы на турок слышатся по обыкновению со всех сторон: болгарские крестьяне должны много денег русским подданным; все эти горожане Кеворки и Бояджи, Ампарцумы и Новаковы дают займы селянам деньги на уплату податей с ужасными процентами... Приходит срок; у болгар, может быть, деньги есть *зарытые в земле*, а может быть и нет... Они не платят, просят, плачут... Наши подданные предъявляют правильные расписки... Чтò делать? Кому верить?.. Кого щадить?.. Кого карать?.. У всех здешних жителей такие хитрые лица; они так значительно молчат, так подозрительно подмигивают

на кого-то и на что-то, так зло улыбаются, что становится страшно и за себя, и за Россию!..

Пропаганда католическая не дремлет; она кипит в селах около Малко-Тырнова. В городе польские священники, выписанные нарочно по совету француза-консула, отпустили себе бороды, надели черные рясы и прямые клобуки русских монахов и служат, как слышно, очень правильно православную литургию в болгарском предместьи Киречь-Хане... Известий скорых нет из деревень; дожди проливные, ужасные, нет сообщений. Франция, австрийцы... Я¹⁰ один на всю Фракию!..

Сама природа вызывает меня на борьбу! Река Марица выступает из берегов. Все низменные кварталы Адрианополя затоплены. Греческий *Ильдырим*, болгарский — *Киречь-Хане*... Вода все растет и растет... Со всех сторон слышны ружейные и пистолетные выстрелы, извещающие население об опасности... Бедные жители предместий спасаются в верхние этажи, на чердаки своих жилищ. Вода обступает их. Мороз. Люди остаются без хлеба, без свеч, без угля для мангалов. Богатые христиане кое-что посла-²⁰ли; но паша, митрополит, французский консул Гиз, греческий Менардо, австрийский жид с саблей, все бездействуют... Блонта нет; брат его Джорджаки, за него управляющий делами Британии, дитя; он служит у меня же по распоряжению Золотарева номинальным писцом за четыре лиры и только скачет очень красиво верхом...

Распорядиться!.. Беру расходы на свой страх!..

Едут лодки; едут и другие, с другой стороны. С одной стороны распоряжаются какие-то черные монахи; с другой начальствует высокий турок в пунцовой одежде.³⁰

В лодках везут хлеб, везут и уголь, и сальные свечи.

Не велено делать различия племени и веры, а велено смотреть на нужду...

— Кто же послал лодки? Кто это помогает нам в несчастии? — говорит народ.

— *Польские иезуиты и русское консульство!* Католическая проповедь и православный отпор!

Все остальное самое влиятельное в городе опомнилось поздно.

Все это, положим, очень трудно и приятно; мучительно и весело... Это не просто служба, это какой-то восхитительный водоворот добра и лжи, поэзии и сухости, строгого формализма и свободной находчивости, тончайшей интриги и офицерской лихости, европейской вежливости и татарского размаха, водоворот, за ловкое вращение в котором дают кресты и шлют благодарности...

¹⁰ Все на этой службе мне ужасно нравится...

Еще раз спрашиваю, когда же мне было по источникам изучать состояние страны при Ступине и вникать в его донесения?

Однако, помню, я что-то читал и из ступинских архивов; но что именно, теперь не могу сказать...

²⁰ Общее же впечатление у меня осталось такого рода, что в стране и при нем были те же политические элементы, какие были и при мне; все та же «почва», те же турки и христиане, те же злоупотребления и жалобы, те же греки и болгары, те же православные и католики... Все это точно так же перекрещивалось и путалось одно с другим; так же взаимно парализовалось одно другим... такая же сложная и вместе с тем какая-то нерешительная почва; ни чисто болгарская, как в Руссуке или Тырнове; ни чисто греческая, как в Крите или Янине, где наши русские задачи были так ясны и просты. Многое при Ступине (тотчас после Крымской войны и до 60—61 года) не выяснилось, не разрослось; болгарское движение против Патриархии было еще слабо; многие болгары сами еще не знали, чего им ждать, чего желать.

³⁰ Желания их были или очень скромны, или, напротив того, слишком грандиозны и мечтательны. Большинство греков в Адрианополе было тогда русской партии, как я уже сказал. С французами было у нас именно во времена Ступина дружеское соглашение, расстроившееся во время польского мятежа. Но настоящего французского консула не было в его время, был, вероятно, какой-нибудь «consul honoraire» из местных католиков.

Пропаганда была во времена Ступина несравненно слабее, чем стала позднее при нас с Золотаревым. Турки были все те же турки: только они были попроще во времена Ступина; в 1866 и 1867 годах начали в Турции учреждать вилайеты, учреждения стали поопределеннее и посложнее; с каждым годом прибывало то там, то сям по несколько более прежнего образованных пашей... Именно при Ступине, под самый конец его службы во Фракии, один за другим были назначены в Адрианополь действительные консулы: эллинский (г. Дóско), французский (г. Тиссо́);¹⁰ позднее английский вице-консул, знаменитый теперь своею враждой к России и славянам Блонт, и австрийский вице-консул, энергический оригинал Камерлохер. Справиться мне теперь из глубины Калужской губернии невозможно, но мне кажется, однако, что Блонт и Камерлохер самого Ступина уже не застали; изо всех ступинских донесений я помню только одно его замечание. Оно осталось у меня в памяти именно потому, что было неверно.

Дело шло об иноверных западных пропагандах во Фракии. Рассказав обо всех возможных недуховных средствах,²⁰ к которым прибегала уже и в то время католическая пропаганда в среде болгар, недовольных греческим церковным начальством своим, Ступин переходит к характеристике миссионеров протестантских, хвалит их добросовестность, их хорошие нравственные качества и сравнительную прямоту их приемов, и в заключение прибавляет нечто в этом роде: «но отсутствие пышности и благолепия в протестантском богослужении всегда будет непривлекательно для пылкого воображения южного человека»...

Это неверно. Пылкого воображения ни у болгар, ни у сербов нынешних, ни даже у ново-греков вовсе незаметно.³⁰ Напротив того, наблюдательного русского прежде всего поражает на христианском Востоке слабость фантазии и замечательная трезвость ума, до сухости доведенная. На это есть исторические причины; главное занятие христиан под властью турок целые века была торговля и торговля. Понятно, что это для развития фантазии не особенно благо-

приятно. И если болгары не поддавались на проповедь протестантских миссионеров, то это потому именно, что на всем христианском Востоке вовсе нет того искреннего религиозного брожения умов, того искания, той боли сердца по Боге, которое всегда было и есть у нас в России... Там все, или почти все, или неподвижные консерваторы, или скептики по европейским образцам, посещающие храм православный по национальному чувству или из политических целей. Этого рода сухая трезвость умов имеет, конечно, и хорошие, и худые стороны, но об этом нельзя говорить слегка... И потому я это здесь оставляю и вернусь к этому вопросу позднее.

Я хотел только сказать между прочим, что донесения Ступина особенно поучительны быть для меня не могли и в памяти не остались. Он писал не очень хорошо, не выразительно; и учиться этому надо было не у него, а у г. Шишкина. Г. Шишкин, его преемник, писал превосходно и по-русски и по-французски. Это был истинно образцовый политический редактор. Он этим справедливо славился. Ясно, кратко, верно, дельно и изящно.

Что касается фактов собственно, то, разумеется, факты в донесении Ступина были. К несчастью, чего не помню, того не помню.

Что касается идей, то были у него, кажется, две идеи; но я думаю, что обе эти идеи были внушены ему так называемую средой. Лучшие люди из городских греков и болгар постоянно и мне твердили об этих двух политических мыслях.

Одна мысль этих людей была следующая:

«Фракия в случае распада Турции должна стать особым Княжеством с русским (непременно с русским) князем на троне. Не надо ее давать ни болгарам, ни грекам... Эта Фракия должна войти в большой союз мелких государств, с Россией во главе: Фракия должна быть под прямым русским начальством, как преддверие Константинополя. Константинополь присоединить к России необходимо; иначе тут станет гораздо хуже, чем теперь, при тур-

ках. При турках есть надежды, без турок и без русских не будет и надежд, все расстроится и все делается добычей Запада».

Так говорили и мне лучшие люди Адрианополя. Они же говорили мне, что Ступину нравилась эта мысль примирения греков с болгарами во Фракии без затей, посредством почти прямого подчинения России. Под Фракией в этом случае разумелась вся южная Забалканская область от Чорного моря до Македонии на запад и до Эгейского и Мраморного моря на юг. Босфор и ближайшие окрестности его исключались из этого Княжества, греко-болгарского по населению, полурусского по главному управлению.

Северная Болгария должна была стать почти тем же, чем теперь. Забалканская часть (Фракия), где по селам и на севере живут исключительно болгары, а в городах, особенно приморских, и вообще на юге преобладают греки, должна более подчиниться полурусскому правлению с русским князем на престоле, а Босфор и ближайшие его окрестности должны были захвачены Россией во что бы то ни стало, хотя бы ценою самых страшных жертв. Филиппополь от Адрианополя не отделялся; он был ему подчинен. Так думали в шестидесятых годах умные и влиятельные старшины Адрианополя. Из них большинство были греки, но были и болгары (например, умерший ныне, весьма влиятельный и богатый доктор Найденович, России до фанатизма преданный).

Этим людям, и грекам, и болгарам, одинаково не нравилась и заявившая уже свою пустоту афинская демагогия, и загадочное еще в то время освобожденное болгарство. Свободную Элладу они не уважали, будущую вполне свободную Болгарию не могли ясно себе представить. Им нравился русский монархизм, их восхищала русская дисциплина, русское барство, с одной стороны, и русское покровительство и простота, с другой. Они думали даже, что и местным туркам несравненно будет приятнее и выгоднее зависеть от России, чем от них, от вчерашних рабов своих; они находили даже, что Россия в случае удачного разре-

шения Восточного вопроса найдет себе сильнейшую опору в местном Мусульманстве, что эти осиротелые без Султана турки всегда лучше поймут Белого Царя и его генералов, чем палату каких-то фрачников, смелых только на словах и ничем иным не внушительных.

Эти люди представляли себе Россию, изболтавшуюся ныне Россию, Россией серьезною и консервативною, не совсем благоприятно смотрели даже на бóльшую часть наших реформ и были в политике более русскими, чем мы сами... И нам приходилось иногда у них учиться русскому охранению, русскому политическому эгоизму, так сказать, который они считали для будущности Востока более спасительным, чем бескорыстие или излишнее доверие даже и к самим христианам. «Не надо рассчитывать на одну популярность или на благодарность в будущем. Прежде всего нужны страх и сила», говорили эти люди.

В каком смысле надо понимать возможность сближения русского консула с местными фракийскими мусульманами? Мне это объяснили преданные России адрианопольские архонты. Вот в каком:

Христианское население Фракии, за немногими исключениями, неспособно само отстаивать свою независимость оружием. Оно робко. Завоевание здесь давнее, подчинение глубокое, даже привычка к зависимости от турок велика. Страна открытая, не гористая, большею частию безлесная, неудобная для партизанской войны. Положим, русское правительство искренно не хочет ускорять разрушение Турции, и оно право в этом, ибо лучше оставлять все, как есть, чем допускать дальше известной меры вмешательство Запада. Все это так; но как сберечь государство, которое само разрушается? Христиане (вообще, не в одной Фракии) умножаются, богатеют, учатся все более и более европейскому свободолюбию и гордости: стыдятся зависимости от турок даже и тогда, когда турки сносны и снисходительны. Постепенно от большего знакомства с Европой возрастает презрение ко всему турецкому, и не только к турецкому, но к своему дедовскому, старинному,

похожему на турецкое. Чувство это не во всех областях распространено равномерно, не у всех христиан равносильно, но оно растёт, а Мусульманство слабеет. В высших слоях мусульманского общества слабеет религиозное чувство, не исполняются обряды и уставы Пророка с прежнею строгостью; в турецкой семье распадение и разврат; население турецкое в Европе вымирает. В Адрианополе и других городах закрываются мечети, — некому в них молиться; пустеют кварталы, — некому жить в них. Воинская повинность падает всею тяжестью на одних мусульман; христиан в войско по недоверию к ним не берут: боятся приучать их к оружию. Старые матери остаются без поддержки; молодые жены, которых мужья идут в солдаты, вытравливают себе детей, чтобы сохранить дольше красоту для вторичного брака или для проституции. Правительство слабо, непопулярно, денег нет... Державы гнетут его со всех сторон. Их антагонизм не спасает Турцию от медленного изнеможения. При таких условиях как же может Россия предохранить Турцию от распада, если б и желала того? Хотя бы турки были ангелы во плоти, и тогда бы христиане жаловались на них из принципа. Простой народ почти не замечает разницы между управлением паши даровитого и управлением паши неспособного; плохой, нерадивый паша часто считается у христиан наилучшим. Образованные православные положительно опасаются умных пашей и хороших беев. «Не дай Бог нам хороших беев!.. С ними Турция простоит дольше, потому что они меньше будут раздражать народ...» Турция должна пасть и пасть скоро. Надлежит это помнить.

Нельзя ли переманить на сторону христиан (или России, что всё равно в подобном случае) мусульманское население Фракии? Духовенство, беев и рабочий класс? Можно попробовать. Надо привлечь их долгими усилиями хоть настолько, чтоб они не оказывали сопротивления христианам, когда Россия силой самих обстоятельств будет вынуждена обнажить меч на защиту своих единоверцев.

Так думали те христианские политики, которых *русизм* был в некоторых отношениях сильнее нашего. Мы были почти все осторожнее, умереннее их; мы меньше как-то верили в силу нашу, чем они. Эти ли люди внушали Ступину мысль о сближении с мусульманами, или, напротив того, он сам дошел до нее и проповедывал эту идею влиятельным христианам, не могу сказать. Знаю только, что попытки были и что Ступин местным туркам нравился. Чем? Многим. Храбростью, видом суровым, гостеприимством, душевною простотою, азиатскими привычками внешнего эффекта, многолюдною стражей, меховым колпаком, умною беседой в их духе и т. д.

Разговаривая об этом с незабвенным *Меттернихом* нашим, Манолаки Сакелларио, я удивлялся смелости этой мысли и полагал, что для подобного сближения нет элементов. Но Манолаки был политик даже до поэзии, и ему хотелось верить в возможность чего-то подобного. В быту турецком ему многое было привычно и по сердцу: европейской цивилизации он не любил; Россию считал лучшею, чем она есть, предполагал ее более самобытною, более своеобразною, чем она на самом деле; мне кажется, что наш европеизм (столь искренний, столь младенчески-глупый иногда и столь гибельный) он считал лишь маскою искусно расписанною и ловко надетою до поры до времени. Он не знал России либеральной и прогрессивной, и выдумал свою Россию, по преданию и разным отрывкам... Искренний в общей идее своей, он при виде простодушия в политике пожимал плечами. Он желал, чтобы мы больше интриговали, и меньше уважал нас, когда мы ему казались равнодушными или робкими. Он хотел везде и во всем найти пищу русскому честолюбию, считая его вполне законным и уместным в этих странах.

Относительно местных мусульман он говорил мне следующее:

— Они недовольны своим правительством, недовольны реформами, помнят янычарские времена, ненавидят французов и англичан, считают их более вредными для Мусуль-

манства, чем русских. Россию как государство они уважают. В их древних преданиях Россия смешивается иногда с Византией. Простые старики и даже ходжи (священники) рассказывают охотно следующий анахронизм из первых времен Мусульманства. Магомет (Пророк) разослал всем иноверным царям письма, приглашая их принять Мусульманство. Все западные цари отнеслись грубо к этому воззванию; только один русский царь поступил почтительно. Он принял посла хорошо, читал письмо Пророка, стоя на ногах у трона своего, прочтя письмо, поцеловал его, приложил ко лбу и сказал: «Если бы мы прежде не приняли Православия, то сочли бы за счастье стать мусульманами; но теперь это невозможно!» Мусульмане опасаются России, но они ее уважают как государство. Царь для них понятнее и уважительнее всяких парламентов. Они слышали также и от пленников прежних войн, и от переселяющихся из Крыма в Турцию татар, что религия их пользуется покровительством в России, знают, что татарские моллы награждаются и поддерживаются русским правительством, что ходжи кричат на высоких минаретах точно так же, как в Турции. Они слышат, что и народ в России к мусульманам не питает того презрения, которое заметно в обращении европейцев. Есть и свежие, почти вчерашние предания. Русские в 1829 году вступили в Адрианополь врагами и победителями; французы в 1854-м вошли в него союзниками, и, несмотря на всю эту разницу, русские вели себя в городе лучше союзников. Распоряжения Дибича* оставили здесь глубокое впечатление, он требовал от солдат своих уважения к мусульманской святыне. Напротив того, французские начальники (кажется, Боскэ) позволяли подчиненным своим делать всякие бесчинства. Зуавы приходили в мечети во время молитв; турки, судя по восточной одежде их, принимали их за алжирских магометан и продолжали спокойно молиться. Зуавы сначала стояли чинно, но потом,

* В то время, когда я служил в Адрианополе, многие еще живо помнили Дибича и его внезапное появление под Адрианополем.

выждав время, когда коленопреклоненные турки падали ниц, они сзади хватали их за ноги и роняли на пол. Французские солдаты взбирались на минареты, кричали оттуда, делали на этих минаретах и еще худшие дела... они стучались в гаремы, оскорбляли мужчин, смеялись всячески над турками, презирая их. И когда турки приходили жаловаться, то генералы французские говорили: «Большая важность, что солдат позабавился! Мы за вас идем под русские пули».

¹⁰ Ни генералы русские, ни консулы, ни даже русские простолюдины этого презрения к мусульманам никогда не оказывают. Сверх всего этого, надо заметить, что турки старого духа (а их еще много) считают западных христиан народами бескнижными, *китабсиз*, то есть не имеющими настоящих священных книг. Бог людям дал только три священные книги: Ветхий Завет Муссе (Моисею), Коран Магомету и Евангелие Пророку Иссе (Иисусу). Коран новее и выше всех, но и те от Бога; поэтому книжных народов только три: мусульмане, евреи и *ромей* (православные), франки (западные христиане) исказили Евангелие; у них нет книги.

Так толковал мне Манолаки Сакелларио.

Этот невзрачный, серолицый, сероглазый, приземистый фракиец Манолаки Сакелларио, всегда так скверно одетый, в домашнем быту своем, по правде сказать, злой и лукавый, был чрезвычайно даровит, верен и тверд в делах и политике. Положение его было скромное; поприще узкое; но способности его были удивительные...

³⁰ Я расположен думать, что мысль о сближении с мусульманами принадлежала более ему, чем самому Ступину.

Мы прежде всего и, может быть, уже слишком часто и слишком доверчиво заботились о том, чтоб угодить славянам и, где возможно, то и другим христианам. Они, эти местные люди, мечтали прежде всего об укреплении русской власти на Босфоре и в его окрестностях. Мы больше их верили в силу популярности, в силу благодарности на-

родов, мы верили больше их в ту любовь, которую воспевал так изящно Тютчев; и они были не прочь от этой любви, от популярности, но, подобно Бисмарку, тверже верили в право и пользу силы.

Мне очень жаль, что я не успел узнать и запомнить побольше подробностей о тех приемах, которые Ступин употреблял для привлечения к себе мусульман. О некоторых, известных мне, я упоминал.

Надо, впрочем, заметить, что в его время все это было легче, чем стало несколько лет позднее. И местные турки изменились очень скоро. Они стали осторожнее с иностранцами; редкие шли даже на простое знакомство с консулами. Они стали бояться своего начальства, которое, вероятно, не скупилось на подобающие внушения.

Новые паши становились все ловчее и ловчее, соединяя очень умно в действиях своих европеизм с азиатством...

К тому же во времена Ступина не было в Адрианополе ни английского, ни французского настоящих консулов. Был, кажется, только австриец.

Не могу сказать в точности, до какой меры популярности достиг Ступин в среде адрианопольских турок; знаю только, что именно эта популярность, и особенно один случай, в котором она резко выразилась, возбудила против него, наконец, в высшей степени и оттоманские власти, и всемогущую тогда французскую дипломатию.

Жил в то время в Адрианополе один молодой турок. Звали его, если я не ошибаюсь, Али. Он был сын паши. Паша умер, а сын скитался без должности и пропитания. Он просился на службу; его не принимали; никто не хотел ему помочь. Назло турецкой бюрократии, он пошел к Ступину и нанялся у него в простые кавассы.

Эта горькая капля, рассказывали мне, переполнила чашу зависти и досады.

Против Ступина составила коалиция.

Я сказал уже прежде, что при начале деятельности Ступина в Адрианополе консулы других Держав в этом городе были только по имени, не имевшие надлежащего веса и значения.

Позднее стали один за другим назначаться настоящие консулы, консулы «присланные», а не местные.

Видная ли роль русского деятеля встревожила Державы, или, вернее, все другие правительства просто пожелали, подобно русскому, иметь влиятельных политических агентов в стране столь важной, как Фракия, не знаю. Только консулов присылали в Адрианополь одного за другим.

Первый, если не ошибаюсь, прибыл г. Доско, эллинский консул, родом болгарин, чрезвычайно хитрый человек, про которого его же эллинские сослуживцы говорили:

— Он совершенно неправильно и путями исключительными втерся на коронную службу Греческого королевства... Он был не автохтón* Эллады, а пришлец славянской крови... Он вошел не в дверь и даже не в окно, а разобрав крышу и потолок, спустился, куда ему желалось...

Не помню также, когда приехал г. Доско, раньше поступления турецкого бея, генеральского сына Али, в кавасы к Ступину, или позднее... Кажется, раньше, но это и не важно.

Важно было то, что единоверный Ступину и всем нам политический деятель ехал во Фракию с явною целью бороться в этой стране против Панславизма.

Ступин, желая, вероятно, показать, что он принимает г. Доско за союзника, а не за врага, сам с помощью некоторых греческих старшин приготовил для православного товарища хорошее помещение и выехал встречать его почетно за город, по восточному обычаю, для выражения своего уважения и радости.

* Не местный уроженец.

Низенький, смуглый, курчавый, сладкоречивый и чрезвычайно лукавый г. Доско отвечал любезностями на любезности, но тотчас же по приезде своем в город объявил грекам, что влияние русского консула опасно для «великой эллинской идеи» и что он, Доско, намерен противостоять ему.

Борьбу свою против России, олицетворяемой Ступиным, г. Доско начал довольно оригинально.

В адрианопольской митрополичьей церкви (по нашему говоря, в соборе), кроме архиерейского трона с навесом, есть еще три почетные седалища. Одно из них находится по правую руку от митрополита, поближе к иконостасу: оно обито красным сукном с небольшим золоченым двуглавым орлом на спинке; два другие попроще напротив. На этих двух последних изображены гербы Молдавии и Валахии, одноглавый орел и рогатая волосья или бычачья голова. Каждый герб на особом седалище. На местах этих становились и садились когда-то молдо-валашские господари-фанариоты. Назначаемые в Княжество Портой, они сухим путем с большою пышностью проезжали чрез Адрианополь и, отдыхая в городе, конечно, успевали посещать митрополию и присутствовать при литургии.

Что касается большого седалища, обитого красным сукном, по правую руку епископского трона, то подобные ему встречаются во многих больших церквях Европейской Турции. Не могу сказать утвердительно, для кого собственно они сделаны, какое именно важное лицо имели в виду христиане, когда устраивали это почетное место в своих соборах. Двуглавый небольшой орлик, робко притаившийся в тени на спинке кресла, заставляет думать, что имелся в виду Византийский или иной православный Император.

Но обыкновенно, за отсутствием царственной особы православного исповедания, на это место становились русские консулы или греческие. Однажды даже (в Янине) я видел на этой пурпуровой стасидии рядом с митрополитом черное и неприятное лицо армянина Костана-эффенди;

он был тогда дипломатическим чиновником при янинском генерал-губернаторе Ахмед-Рассиме, а потом сам стал пашой; его имя часто встречалось в газетах за последнее время; он исполнял многие важные поручения турецкого правительства в Герцеговине, Албании и других частях, кажется, западной Турции.

Русские консулы не всегда и не везде становились на это место. Из преднамеренной скромности они часто становились в менее важные стасидии, напротив митрополита, у левого ряда тех колонн, без которых нельзя вообразить себе ни греческой, ни болгарской церкви. Так большею частью делал и Ступин в Адрианополе, желая, вероятно, придать как можно больше значения в глазах народа красной стасидии с двуглавым орлом: он становился напротив, уж не могу сказать на которое, на молдавское или на валашское место; положим, хоть на молдавское... Малорослый Доско, как только узнал по приезде своем в город об этом обстоятельстве, тотчас же расчел, что Ступин гораздо выше его и что он, Доско, будет много терять в глазах народа, если, став рядом с ним в церкви на одной высоте, будет казаться гораздо ниже его. Сообразив это, Доско послал в митрополию плотников и приказал им возвысить подножие валашского седалища как раз настолько, чтобы голова его в уровень с головою Ступина возвышалась над толпой молящихся единоверцев.

Такою оригинальною и даже, если угодно, наивною выходкой ознаменовал г. Доско начало борьбы «великой эллинской идеи» против «ступинского Панславизма»!

Боже! как этот ужасный Доско, о котором мистер Блонт не мог говорить иначе, как о какой-то гремучей змее, — как этот Доско смирился потом пред нами! Как он был мил и обязателен!.. Как он с Панславизмом мирился во время нашего с Золотаревым управления!..

Я его жалел и любил даже, и теперь вспоминаю о нем, право, с большим удовольствием.

С такими-то людьми, лично любезными и вежливыми, но по службе деятельными и на все готовыми, на все

способными, даже на политическую свирепость, подобными Доско и Блонту, было чрезвычайно приятно служить!..

Знаешь, что этот человек, который с тобой так мил и прост, свое политическое и национальное дело делает неустанно... Делай и ты; он бодрствует, бодрствуй и ты! Вот в чем задача! И право, мы, русские, решали ее, эту задачу, недурно... по крайней мере, тогда. Кстати, я помню в одной петербургской газете была в шестидесятых годах статья, в которой жаловались, что английские консулы имеют гораздо больше влияния, чем наши. Это неправда, мы всегда были влиятельнее их. В статье этой было сказано, что наши консулы, может быть, очень честные люди и исполнительные чиновники, но будто они не имеют на Востоке ни малейшего веса!.. «Вот англичане — это другое дело»...

Может быть, мне изменяет память (но кажется, что нет), в этой статье было еще сказано, что великобританские консулы всё люди коммерческие, а на Востоке все покупается за деньги... и т. п. Все это не так. Во-первых, нигде нельзя всего купить за деньги... Это фраза. А во-вторых, русские консулы того времени вовсе не были похожи на то, что обыкновенно называется исполнительными чиновниками; большинство их в то время были люди смелые, предприимчивые, изобретательные, полные огня... Может быть, иногда, подобно Ступину, уж слишком пылкие и слишком предприимчивые. Английские же консулы, с другой стороны, вовсе не были коммерсантами; они были такие же чиновники, как и мы, и вовсе не деньгами приобретали влияние, а точно так же, как и мы, то давлением на мусульманские власти и соглашением с ними по тому или другому делу, то уменьем приобрести расположение христианской интеллигенции; расположение же это, обыкновенно, было лишь временное и притворное; оно основывалось на сознании общегосударственной силы Англии, которая «нам, православным грекам или болгарам, нужна теперь, временно для достижения какой-нибудь определенной местной или национальной цели», а никак не той сти-

хийной, органической связи, в которой состоит Россия со всеми христианами Востока, связи живой и реальной... Силу этой связи нередко со скрежетом зубов вынуждены признавать даже те из греков, сербов, болгар и румын, которые считались и считаются самыми лютыми врагами России. Эта органическая связь с Россией парализует все мечты наших недругов в среде восточных христиан и делает их бессильными всякий раз, как только события начинают принимать грозный и решительный характер. Все эти греческие Трикупи, болгарские Чомаковы (известный туркофил и вождь болгарский во все время долгой борьбы их против Патриарха Царьградского, кончившейся расколом), все эти офранцуженные румыны на тонких ножках и цивилизованные сербы на ногах толстых, все они принуждены волей-неволей считаться в трагические минуты народной жизни с этою досадною и неотвратимою силой всевосточного единоверчества...

Около того же времени, как г. Доско велел плотникам подвысить себе стасидию в соборе, приехал и г. Тиссо, французский консул. Я его видел мельком в Константинополе и говорил с ним; он показался мне человеком благовоспитанным и очень тонким.

Его хвалили многие; даже друзья Ступина отдавали справедливость его личной порядочности. Он явился, говорят, к Ступину с визитом, щеголем, в свежих перчатках. «А бедный мсьё Ступин (рассказывали мне с каким-то радостным смехом единоверцы) принял его в своем военном ямурлыке»... Вероятно, это было серое, обыкновенного военного покроя пальто или шинель вроде солдатской.

Ямур — значит дождь по-турецки, ямурлык — одежда от дождя. О чем говорили Тиссо и Ступин, я не знаю; но это и не важно. Дело в том, что в городе составила́сь против Ступина коалиция; союзниками были: местная турецкая власть, французский консул, все местные почетные консулы, из католических купцов Бадетти и Вернацца, о которых я уже не раз упоминал, и греческий консул Доско. Блонта, кажется, тогда еще не было.

Должно быть, в это самое время французский посол получил от г. Тиссо донесение, в котором Ступин был изображен в самом глупом виде и вместе с тем человеком вредным (конечно, для Франции, для Европы). Он будто бы, говорилось в донесении, после завтрака всегда уже пьян и в странной одежде ходит или ездит по городу и воюет... «Русское консульство больше похоже на казарму, чем на консульство»... В этом роде.

В одежде Ступина ничего не было особенно странного: в холодное время, зимой, он носил верно одну из тех боярок, которые носят у нас в России давно уже; может быть, запросто, не с официальным визитом, ходил иногда в поддевке или в том полувоенном ямурлыке, в котором он принял г. Тиссо. Почему же мы по зимним дням, когда и в Турции бывает холодно, должны носить непременно этот цилиндр, который верно был на Тиссо; почему не ходить запросто в русской поддевке?

В посольстве нашли, что это все не по-европейски, que ce n'est pas comme il faut: «Вообразите, говорили, Ступин дерется там». Кроме того, взведены были на Ступина ²⁰ обвинения в злоупотреблениях, какие он будто бы допускал.

Как бы то ни было, вскоре после всего этого прислан был в Адрианополь секретарь посольства, чтоб отстранить Ступина от должности.

Униженный так всенародно, Ступин собрал кое-какие деньги и уехал в Петербург.

Все друзья России, самые умеренные христианские старшины, множество православных людей простого звания, даже иные турки с глубоким сожалением провожали его... Многие давали ему денег взаймы на эту поездку в Петербург. ³⁰

Враги, особенно местные католические буржуа, ликовали, кричали по всему городу, будто посланник велел заковать Ступина и верного драгомана его Манолаки Сакелларио в цепи и в этом виде отправить в Петербург на суд и расправу.

В Петербурге, впрочем, Ступин был оправдан и награжден.

Ему очень хотелось вернуться с торжеством в Адрианополь; но этого утешения он не дождался и был назначен генеральным консулом в Персию. Там он умер в 1866 году внезапно от холеры.

Кто-то из семейных его поспешил сообщить эту печальную весть его верным адрианопольским друзьям и почитателям, которые тотчас же пришли ко мне с просьбой сказать, если можно, в память его какую-нибудь речь на греческом языке во время заупокойной обедни, которую они закажут за городом, в построенной им Демердешской сельской церкви...

Я согласился.

Я написал речь по-французски, а драгоман Манолаки Сакелларио перевел ее по-гречески. Конечно, я хвалил Ступина точно в том же духе, в каком хвалю и здесь. Говорил между прочим, что хотя Фракия страна и смешанная, но для русского агента нет на Востоке ни сербов, ни греков, ни валахов, ни болгар... есть только православные.

Католиков местных я, конечно, не называл прямо, а говорил о жалких врагах наших, кричащих бессильно на нас и т. д. О турецких властях отзывался я почтительно и говорил, что Ступин оттого и успевал делать столько добра местным христианам, что, снискивая расположение мусульман, он видел от них всякого рода уступки.

Заупокойную обедню служил в селе Демердеше сам Адрианопольский митрополит Кирилл (грек), но в церкви кроме болгар демердешских и избранных адрианопольских друзей Ступина (и русского консульства вообще) не было никого лишнего. Все остались довольны; один только грек, брат нашего драгомана, Костаки Сакелларио, продавец галантерейных товаров и яростный приверженец «великой эллинской идеи» распространения Греции до Балкан, остался недоволен. Он говорил, что вся моя речь направлена против эллинизма. Не мог же я в самом деле уверять хоть

бы этих самых демердешских мужиков, которые тут же молились за душу Ступина в своих шапках на полубритых головах, что они эллины!..

Через несколько дней после этого вернулся Золотарев и принял от меня консульство. У меня было тогда готово черновое донесение о панихиде по Ступине и о прекрасной памяти, которую оставила в Адрианополе его деятельность; при донесении был приложен русский перевод моей греческой речи.

Золотарев прочел и донесение, и речь. Донесение исправил по-своему, сократил, сделал его менее хвалебным, несколько охладил тон, переписал сам набело и отправил от своего имени в Константинополь. Что касается речи моей, то он возвратил мне ее, говоря: «лучше не посылать ее. Вы прекрасно сделали, что здесь сказали ее, но в посольстве многие Ступина не любят и будут вами недовольны».

Через месяц я сам был в отпуску в Царьграде, а Золотарев остался в Адрианополе пока один, без секретаря. Надо было и мне отдохнуть после двухлетних почти непрерывных трудов... Я сидел раз в канцелярии посольства и спорил с одним из влиятельных при посольстве лиц. Тот нападал на Золотарева, а я защищал своего молодого консула.

— Вот вам пример его необразованности и бестактности, — воскликнул мой собеседник, — его последнее донесение о Ступине... Хвалит какого-то Держиморду, который сокрушал всем зубы, чтобы доказать величие матушки-России!

Я засмеялся и сказал:

— Бестактный и необразованный человек этот я! Нельзя иногда не сокрушать зубы...

Я рассказал тогда всю историю донесения; сказал даже прямо, что говорил и речь в церкви и нахожу, что сделал прекрасно.

Собеседнику моему на это нечего было возразить; меня он не только глупым и необразованным не считал, но,

напротив того, как нарочно дня за два пред этим он говорил мне: «Хорошо бы, если бы все консулы у нас были такие, как вы: люди привычные к умственному труду и научно-образованные»...

И тотчас же, входя в роль чиновника посольства, заметил мне не без внушительной вежливости:

— Я, кажется, старался объяснить вам, Константин Николаевич, что, когда делают надпись в углу, внизу официальных писем, то ставятся два этцетера, а три ставятся только в случае письма к особам Царской крови.

Надо заметить, что между посольскими чиновниками и консулами постоянно замечается тот род антогонизма, какой бывает в армиях между штабными и командирами отдельных действующих частей: полков, рот и т. п. Антагонизм этот вполне естествен и есть неизбежное следствие разницы в положениях; впечатления окружающей среды совершенно иные. Консулы соприкасаются прямо с народом; секретари посольств ни с кем не имеют дела, кроме министров той Державы, при которой аккредитован их начальник; когда секретарь идет по столице, его никто не замечает и не знает; когда консул идет по улице провинциального города, часовые турецкие отдают ему честь; многое множество людей в городе его знает в лицо и здоровадается с ним; если его толкнут нарочно или оскорбят иначе как-нибудь, весь народ смотрит, тревожится и хочет знать, что он теперь сделает, смел ли он сам, или не слаба ли стала Держава, которую он представляет в городе...

Секретари трудятся при посольствах иногда очень много, нередко гораздо больше консулов; но у секретарей реже затрогиваются те живые струны патриотизма, которые связаны, по самому существу вещей, с личным самолюбием нашим; секретари индифферентнее и, надо правду сказать, часто благоразумнее консулов; консулы имеют свои пороки; и нельзя не сознаться, что положение их таково, что они слишком расположены «лезть на стену» и затруднять своими требованиями и жалобами посольство. Не раз случалось, что посольский чиновник, получив неза-

висимый пост, невольно возвышал свой тон и начинал «поклоняться тому», что он «сжигал» в столице так небрежно, насмешливо и мило. Когда же, наоборот, слишком пылкий консул получал место в Константинополе, то он невольно отрезвлялся и стыл...

И Ступина можно было бы конфиденциально попросить понизить свой тон, если в то время все эти Лавалетты и Тувенели были нам уже так нужны. Но едва ли требовалось унижать этого способного и смелого русского деятеля.

МОЯ ИСПОВЕДЬ

Декабрь; 1878.

Козельск.

Я до того теперь подавлен обстоятельствами, что у меня нет никакого почти желания. — Читать я пробовал и светское и духовное. — Не могу. — Светское возбуждает во мне гнев и зависть;— духовное не трогает меня ничуть. — О Боге я помню, взываю к Нему почти беспрестанно; но стать на правильную молитву мне наказание. —
¹⁰ Я ее почти бросил. — В Церкви я долго стоять не могу: — все меня раздражает.

Ужасно то, что нынешний год в первый раз мне начала приходить мысль, что именно с тех пор как я *обратился* (с 1871 года) все мирские дела мои пришли в упадок. — С тех пор как я стал *Православным*, я нигде себе места не найду. — С отчаянием во всем земном и с духовным восторгом я будучи Консулом в Салониках (в Солуне) поехал на Афон и умолял О. Иеронима постричь меня тотчас же. — Мне отказали не столько потому, что
²⁰ я женат, сколько потому, что я на службе. — На Афоне постригают и женатых, — но надо было выйти в отставку, чтобы быть свободным для пострижения. — Иначе О. Иероним опасался Синода и Посольства. — Видевши мое горе, он благословил мне подать в отставку. — Я чувствовал, что я буду покойнее, когда буду знать, что я волен хоть завтра пойти в монахи. — Я радовался также и тому, что отдам Богу мою обеспеченность и мое служебное честолюбие. — Я был тогда на очень хорошем

счету у Горчакова и Игнатьева, и мне было уже обещано Генеральное Консульство (так что теперь я бы получал 8000 тысяч рублей жалованья). — По благословению духовника я вышел в отставку с 600 рубл(ей) пенсии. — Почти год я прожил на Афоне, пытаюсь устроиться всячески. — Рыбная пища изнуряла меня до того, что я ходить почти не мог, и сверх того, понос и лихорадка доводили меня до отчаяния. — *Один мiрянин* сказал мне, что я здесь не поправлюсь и что мне надо ехать в Константинополь и поселиться на Принцевых островах на даче. — Что там у меня пройдет лихорадка. — Духовники ничего не помогли мне, хотя и видимо любили меня; особенно О. Макарий, который даже и денег мне давал, когда мои средства стали истощаться. — Они любили и жалели меня; но ничем не могли ни здоровья моего сделать сносным, ни печали и уныния моего утолить. — *Простой мiрянин своим советом помог мне больше их.* — Я благословился ехать в Царьград и приехавши нанял дачу на Принцевых островах. — *Стал есть мясо (кроме постов) и в два месяца так поправился,* что и ходить помногу стал пешком, и заниматься много и во всем принимать участие, и вообще «обновилась яко орля юность моя».

Полтора года я прожил в Константинополе так хорошо, как и смолоду не живал. — Все в этом городе соединилось, чтобы облегчить мне существование. — В Янине и потом в Солуне и на Афоне меня мучила 2 1/2 года лихорадка и пищеварение отказывалось вовсе. — Здесь лихорадка прошла и силы поправились. — До Афона я не знал молитвы; на Афоне я молился или по два по три часа кряду с восторгом, который после уже не возвращался; — или бросал молитву вовсе в глубоком унынии; — или ходил в Церковь с великим принуждением по требованию духовников. — Я помню, как в Великий Четверг на Страстной Отец Иероним, сам изнеможенный и больной, пришел нарочно в мою келью и почти гневно прогнал меня в Церковь только на минуту,

чтобы приложиться по Афонскому обычаю к иконе, на которой было изображено Распятие. — Я с трудом подчинился. — Я помню, какие телесные муки я вынес три ночи подряд на этой Страстной неделе; три ночи подряд О. Иероним заставлял меня ходить на бдения, которые длились по 8 и более часов. — На последнюю заутреню (под Пасху) мне сделалось уже до того дурно, что О. Макарий вышел из алтаря и велел монаху увести меня и положить в постель, и я лежал, а этот монах читал мне причастные молитвы.

Такие понуждения духовной любви превосходили, однако мои телесные силы, погубленные, по моей собственной вине, прежней греховной жизнью. — Я мучался нестерпимо на Афоне то тем, то другим, а люди со стороны, и монахи и другие здоровенные и жирные поклонники — соблазнялись, что я слишком слабо живу на Афоне. — Осуждения эти по неосторожности людей, расположенных ко мне, доходили до меня и глубоко иногда меня возмущали. — В этих случаях поддерживали меня духовники, советуя не обращать на это внимания. — Однажды до меня дошло, что какие-то богатые старообрядцы (единоверцы, вероятно) морщились увидавши, что я открыто курю в бытность мою в Андреевском Скиту. — О. Макарий, который был в Скиту в гостях, тогда сказал им, что я очень хороший Христианин и хотя курю табак, но зато, говея на Страстной, я четыре дня ничем не питался кроме хлеба и кваса. — Мне это передали, и Господь знает, сколько эта одна похвала его утешила меня. — Все слышать и думать только о грехах и немощах своих и никогда не слышать похвалы и ободрения — это надо стать почти святым; — а я далек от этого, и человеческая поддержка мне необходима.

В Константинополе, говорю я, все соединилось, чтобы сделать мне земную жизнь умеренно приятной. — Климат; поправка здоровья; — прекрасный и веселый вид. — С женой, с которой у меня было 3-хлетнее расстройство, мы в Константинополе помирились, жили честно и по воз-

возможности мирно. — От Макарий, бывший духовником жены, советовал мне взять ее с собою туда и продержать около себя подольше, чтобы беседами укрепить в ней веру. — Я послушался. — Было и общество прекрасное в Русском Посольстве; — все, начиная с семьи Игнатъева, — были там со мной очень любезны. — Для умеренной (я по житейски сужу) гордости и самолюбия была достаточная пища. — Катков присылал мне 1800 рубл(ей) серебр(ом) в год, что с пенсией моей составляло 2400 руб. Сумма очень малая для жизни в таком богатом обществе, как наше Посольское; но я устроился семейно на даче; а в Посольство жену не возил; она женщина не светская; она имела другой круг знакомых на даче, скромнее. — Меня же принимали в Посольстве по-товарищески, и я там часто гостил по неделям. — От прежних привычек блуда я воздерживался там строго, хотя искушения были; посты содержал; Богу молился; духовное читал и других считал долгом приохочивать к тому же; писал статьи Каткову в защиту Церкви и имел одобрение от духовенства (и О. Климент знал эти статьи и хвалил). — Хождение в Церковь было в Константинополе как раз по телесным силам моим. — Короткая и очень поздняя обедня в Посольстве; маленькая всенощная *один час*, — для которой я не раз оставлял с радостью (хотя и *не без борьбы*) общество молодых женщин; я мог принести без ропота эту жертву, ибо знал вперед, что короткая всенощная кроме духовной радости не доставит мне ничего. — Да и ту я наполовину высиживал иногда на стуле; ибо в Посольской Церкви были соблюдены все удобства. — Будь это Афонская 8-мичасовая или Оптинская 4-хчасовая всенощная, у меня не достало бы, может быть, страха Божия (*от страха утомления*) и я не уходил бы в Церковь из общества. — На даче, на острове Халки у меня были тоже удобства другого рода для молитвы и для того необременительного и приятного Богомыслия, которое в пору мне по моим духовным и телесным немощам. — Я жил близко от знаменитой Богословской Халкинской Ака-

демии (Греческой); был дружен с монахами-профессорами; ректором Митрополитом Анхиольским любим и раз или два-три раза, не помню, имел от него секретные поручения к Игнатьеву. — Я очень часто бывал в Академии у вечерни и обедни и потом, беседуя подолгу с Ректором и профессорами, многому у них научился и свои понятия о Церкви уяснил. — Афон показал мне примеры высокого и даже страшного аскетизма; — старцы Руссика выучили меня послушанию, посту и молитве; заставили понимать жития Святых; раскрыли мне истинный дух Церкви. — Халкинские богословы познакомили меня с Канонами Церкви, с ее администрацией и с современным состоянием Церкви на Востоке. — Меня это очень все утешало и расширяло мои познания.

Так как мне в Константинополе столь же часто приходилось спорить с болгарами, как и с греками, то я имел случай скоро убедиться, до чего болгары канонически неправы и как мы русские дурно делаем, что слишком *открыто* потворствуем их необузданности и коварству, которое превзошло на этот раз, по соглашению с турками, и греческое прославленное коварство. — Я по внутреннему твердому убеждению чувствовал, что я в этом вопросе чище и беспристрастнее Игнатьева, который искал только внешнего успеха и слишком дерзко обращался иногда с такими щекотливыми Церковными делами; — чувствуя это и пожираемый огнем усердия, опасаясь Церковного разрыва с греками, в руках которых все Святые места Востока, — я *бросил надолго свои бытовые картины и любовные повести, за которые Катков выслал мне* ³⁰ *деньги вперед и уверенный в помощи Божией начал один за другим серьезные труды.* — I-й был назван: «Византизм и Славянство» — (в защиту Патриарха и в укор болгарским свободолюбцам, которых безверие и европейские вкусы мне были коротко известны). — В этой книге я угрожал России, что она разрушится, если не будет держаться греческих преданий и той строгости взгляда на Церковное подчинение, которого держался Митрополит

Филарет в Болгарском вопросе. — 2-й мой труд назывался: «*Еще о Греко-Болгарской распре*». — Тут были собраны частности, которые не могли войти в 1-ю книгу. — Смысл этих частных был тот, что если пастыри Греческих Церквей *не совсем*, быть может, часто *нравственны*, то болгары, особенно Епископы их (люди все до одного лично честолюбивые и коварные — *это факт*, но об нем для приличия я умалчивал) *неправы и канонически, и нравственно*, ибо, кто нарушает основные уставы Церкви не по незнанию, а *умышленно*, тот не может быть и *нравственно прав*. — Так думал Филарет; так писал и Терций Ив(анович) Филиппов. — Я только живыми и наглядными частностями подтверждал их мнения и прибавлял, что для России важны и не болгаре, и не греки, а Святые места и Великие Патриаршие Троны, находящиеся в руках греков. — Если бы мы тогда додразнили греков до Церковного разрыва с нами, то правы ли они были бы или нет, а разрыв Церкви был бы ужасный по своим последствиям и для нас, и для них. — А мы были на волоске от этого, по милости наших свободолюбцев. — Я прибавлял, что хотя Православие для меня самого есть Вечная Истина, но все-таки в земном смысле оно и в России может иссякнуть. — *Истинная Церковь* будет и там, где останется *три человека*. — Церковь Вечна, но *Россия* не вечна и лишившись Православия она погибнет. — «Не сила России нужна Церкви: сила Церкви необходима для России; Церковь Истинная, *духовная* — везде. — Она может переселиться в Китай: и западные европейцы были до IX и XI века Православными, а потом изменили истинной Церкви»... — Вот что я говорил. — Третий мой труд тогда были мои «*Афонские письма*», про которые отец Иероним сказал: «Я благословляю их обеими руками!» Отцу Клименту они тоже очень нравились, и он находил, что в них *много жара новообращения*. — Начаты были эти письма на Афоне, но кончал я их в Константинополе.

Таким образом, все лето и осень 73 года, я, прервав повествовательный и безгрешный по содержанию труд —

посвятил этим Христианским сочинениям, не сомневаясь нимало, что Бог внушит Каткову с радостью принять их. — И еще, что ни я сам, ни близкие мои без скромных средств к жизни не останутся. — Духовная радость, окрылявшая меня, была так велика, что я писал очень много и охотно в очень тесной комнатке и в самые нестерпимые жары южного лета, о которых здесь и понятия нет и во время которых и тамошние привычные люди ослабляют свои занятия.

10 Что же вышло? — Катков, который поручал помощникам своим писать до тех пор мне самые лестные письма,* вдруг замолчал *на 8 месяцев*, получивши все эти статьи. — Его Православие было *серенькое*, разведенное либеральностью, он думал, что и мое такое же, а когда я развернул вполне знамя моего *белого* Православия, то он испугался *этого варварства и безумия* и по приезде моем в Россию грубо сказал мне — что я в этих статьях договорился «до чортиков». — Я возразил ему, что все это
20 сообразно с мнениями лучших монахов, а он сказал: «монахи ничего не понимают!»

Вот моя награда за ревность! — Этого мало. — Так как он (Катков) выслал мне, несмотря на долгое молчание свое, в Царьград деньги, то за 1 1/2 года накопилось за мной более 3000 рублей. — Рукописей же ему было послано тысячи на 4 (считая по 100 р. за печатный лист). — Из всего посланного он согласился принять только *роман*, ценою на 1200 рубл(ей), а все *духовное*, хотя оно было написано совершенно светским языком, отверг. — Что же
30 вышло? — Вышло то, что приятная моя жизнь в Царьграде, при которой я Бога, как видите, не забывал, но молился, постился, трудился по *благословению* О. Иеронима — не удалась. — Боясь остаться на чужбине без службы и без литературных заработков, я уехал в Россию. — Итак повторяю: — до обращения моего — я был

* *Например*: — «Мы считаем за честь иметь Вас своим сотрудником!»

обеспечен, здоров, восхваляем Начальством, и Катков писал мне, что считает за честь (да! этими словами) печатать мои вещи. — После обращения — все обрушилось на меня и я стал скиталец не по капризу, а по нужде. — Хотел остаться монахом на Афоне; болезнь изгнала меня в Царьград. — Хотел жить благочестивым мирянином в Царьграде и пером как преданный раб служить Церкви: — здоровье поправилось там: нужда, именно через духовные сочинения, выгнала оттуда в Россию. — Как же это понять?..

10

А потом что, что?

Потом: первый приезд в Кудиново; месяц в Оптинском Скиту; Москва; Угреша и подьячник и опять Кудиново; это первый год в России.

Странствия невольные продолжались. — С Афона меня согнала болезнь; из Царьграда — удалила нужда. — Из Кудиново изгнал меня в Оптину пустынь — страх. — Да! Страх и телесный и духовный; и худой и хороший.

Страх телесный был такого рода. — Я оставил Кудиново в год освобождения крестьян; еще при жизни матери. — Все было в порядке; чисто; красиво. — Был большой дом. — Я прожил в Петербурге и Турции от 62 года до 74 — то есть 12 лет. — Приехал я — дома нет, сломан и продан; — сад зарос; — мать в могиле; брат (отец Маши) — в могиле; двое других братьев стары, беднее меня и в злобе на меня, зачем мать оставила Кудиново мне.

Везде разрушение, смерть, старость, нужда, одичание вида самой усадьбы и тому подобное. — Даже Марья Влад(иміровна), которая три года перед этим была такая молодая, красивая, нарядная, — теперь была печальна, худа, больна, убита и всем тяготилась.

Сам я писать тогда не мог; с Катковым дела были в застое. — Он отверг все мои сочинения аскетического и Православного духа и, принявши один только роман ценой в 1200 рублей, объявил, что не будет давать мне ни копейки пока не покроется весь мой долг, который по последнему расчету (при свидании с ним в Москве) возрос до 4700 руб-

л(ей). — В Константинополе у меня осталась на квартире жена; — надо было подумать и о ней. — Каково же мне было? — С Марьей Влад(иміровной) у меня тотчас же по приезде вышли недоразумения и неприятности. — Она была очень виновата и впоследствии сама горько каялась...

Но это я бы все перенес, если бы не *страх внезапной смерти*, который начал вдруг преследовать меня день и ночь на родине.

¹⁰ Я не забываю, что я *тотчас же* по приезде в Кудиново впал в блудное искушение, от которого *около 3-х лет* (с 71 года) был избавлен. — Это я не забывал и *тогда* и потому немедленно, помолясь усердно, раскрыл Св. Писание, чтобы знать, от чего мое невыносимое томление. — Мне вышло из Апостола, что «пес возвращается на свою блевотину». — Я так и сам чувствовал и немедля решился ехать в Оптину Пустынь. — Это был мой первый приезд в Оптину. — Я привез с собою письма к О. Амвросию и О. Клименту от Афонских старцев и меня сейчас же поместили в Ключаревской келье.

²⁰ Здесь сошел на душу мне такой мир, какого я давно не знал. — Помещение было просторное в моем вкусе; — скит мне нравился, все монахи были ласковы и гостеприимны. — Погода осенняя превосходная. — Близость духовника и беседы О. Климента успокоивали и услаждали меня. — Я без труда забывал мир. — Отчего я не остался? — Я думал остаться, я надеялся!

Но денежные дела *противу воли* вызвали меня в Калугу. — Я в одно и то же время получил известие от Марьи Влад(иміровны), что братья мои требуют немедля ³⁰ денег по наследству, угрожая судом, и другое письмо из Константинополя, что жена моя уже прожила все деньги, которые я ей оставил и что ей ни в Россию не с чем выехать, ни в Турции нечем жить; что ей не дают уже из лавок провизию.

Каково мне было это слышать при соображении еще и о том, что жена моя живет в городе, где наше Посольство и где все эти богатые и знатные люди знают меня

и теперь осуждают меня, не вникнув в обстоятельства! — Что мне было делать? — Я стал на колена и молился. — Ободрившись молитвой я вышел в лес, чтобы обдумать свое положение, и не дошел я еще до ворот скита, как неожиданно вспомнил, что у меня в Калуге есть друг Вице-Губернатор Кн(язь) Гагарин и старый товарищ по Гимназии Сорокин, Директор Кредитного Банка.

Я сказал это От. Амвросию, и он благословил ехать в Калугу. — В Калуге все очень легко устроилось; жене было послано кажется 600 руб.; чтобы заплатила долги и ехала бы по выбору куда ей угодно: — в Крым, к матери или ко мне в Кудиново. — Брат был хотя на время успокоен частью долга. — Но в Оптину возвратиться уже было невозможно, по неимению вовсе средств к жизни. — Надо заметить, что из Турции я уехал на занятые деньги. — Так как Катков моих *Православных статей* не принял и деньги перестал мне высылать туда, то я, чтобы доехать до Москвы и чтобы обеспечить жену на лето, занял на год вперед всю мою пенсию, ее удерживали в Посольстве, мне теперь оставалось одно: ехать на зиму в Москву и искать там литературной работы, помесячной и по заказу. — Я ненавижу этот род занятий; но необходимость заставила меня согласиться и на это.

Благодушие, которым я наслаждался один месяц в Оптиной — кончилось. — Однако сначала и в Москве было ничего. — Казалось, что мы с Катковым поладим; его помощники согласились со мной, и я начал писать заказное к сроку в первый раз в жизни. — Мне это казалось большою жертвою. — В то же время я думал о московских и подмосковных монастырях. — Отец Амвросий, зная, что я не в силах еще развязаться вполне с мирской литературой, сказал мне, что в Оптиной мне было бы лучше по некоторым условиям, но что под Москвой для моих литературных дел будет удобнее.

Чем же кончилось мое пребывание в Москве? — Катков остался недоволен моей статьею; ему все хотелось

точь-в-точь заставить меня думать по-своему; я и рад бы да не могу. — У меня свои мысли. — Смирение мысли перед Церковью дело иное; высокое; — смирение моей мысли перед умом Каткова невозможно, а продавать мои убеждения я не могу, не умею...

Тут же брат опять именно в ту минуту, когда у меня кроме долга в гостинице ничего не было, подал на меня Мировому Судье иск на 500 рубл(ей). — Меня осудили и дали исполнительный лист. — В это же самое время и жена была у меня в Москве проездом в Кудиново, и я понимал, что им там с Марьей Влад(имировной) тоже будет нелегко. — Денег и у них было очень мало.

Я принял эти безвыходные обстоятельства за указание Свыше, что пора бросить все мирское, и уехал в Угрешь, где был принят и обласкан донельзя Архим(андритом) Пименом.

Через 3—4 дня на меня надели подрясник; дали мне хорошую келью и оставили надолго в покое и без «послушания».

Я не стану описывать моей жизни в Угреше. — Я ее вспоминаю с духовной радостью. — Я много вынес,* но много и радовался. — О. Пимен известен; — я и об нем много не буду говорить. — Скажу только, что телесно

* Вот что я вынес разом во время жизни моей в Угреше: —

1) Во-1-х, пища и безденежье такое, что когда Катерина Васильевна прислала мне 3 рубл(я), то я от радости прослезился; — и как дитя бывал рад куску сыра или рыбе.

2) Братья преследовали меня за Кудиново и хотели выгнать Марью Владимір(овну) и жену.

3) Марья Влад(имировна) жену мою оскорбляла, а жена со своей стороны делала всякий вздор, и все это до меня доходило!

4) Марья Влад(имировна) хотела отдать свою часть имения (полученное ею через мое влияние на мать) Людмиле и, когда я говорил ей, что этого нельзя — писала мне дерзкие письма и упрекала еще меня за недостаток смирения... И ее же мне в то время приходилось защищать от братьев, искавших судиться.

мне через 2 месяца стало невыносимо, потому что денег не было ни рубля; а к общей трапезе я никак привыкнуть не мог. — Разогретая в кельеи трапезная пища была еще хуже, чем в самой трапезе. — Бывало посмотришь, посмотришь, вздохнешь и не коснешься, а поешь одного черного хлеба с квасом. — Так и питался по неделям. —

5) Георгия возбуждали грубые Угрешские послушники, и он ужасно оскорблял меня всячески, требуя от меня денег, которых у меня не было. — Он даже грозился или себя или меня убить, а прекрасная братия Угрешская веселилась.

6) Отец Пимен звал меня дураком и посылал в сильный мороз на постройки собирать щепки; и я с больной спиной изнемогал там, и, изнемогая, радовался, однако.

7) Братия была груба и завистлива, кроме немногих. — Старались подвести и нарочно очень худо говорили об Игумене, и я защищал его и просил оставить эти разговоры.

8) Сам мыл себе платки, ибо Георгий в малодушной злобе не хотел ничего делать.

9) Ездил к Каткову умолять его чтобы он давал мне 50 рубл<ей> в месяц на содержание, ибо я просто голоден и сил не имею; — 50 рубл<ей> это очень мало по его расчетам; а я писал бы ему. — Он на это сказал: «Вы очень дурно сделали, что надели подрясник!», а потом на всю мою речь молчал и притворился, наконец, что дремлет. — Я и ушел.

10) Аксаков, который принимал меня прекрасно, пока я был мирским, стал хуже, когда я зашел к нему монахом. — А когда он и Гиляров сказали, что для них Гамбетта и Герцен больше христиане, чем Филарет и Леонид (Епископ), то я с жаром стал говорить против этого, и все от меня отшатнулись, как от шпиона или безумца! — Итак миряне гнали за то, что я монах, и за то, что не стыдись защищаю правильные взгляды на Церковь, а монахи — или давили как Угрешские (братья хуже еще, чем О. Пимен, он хоть деньги иногда давал мне, когда знал, что мне уж очень тяжело); или пребывали в равнодушии и не поддерживали.

Невольно приходит на мысль, что интригой и лукавством я бы скорее угодил духовному Начальству, вышел бы скорее в люди под монашеским покровом и Церкви бы пером и умом, Божьим даром, теперь зарытым в землю на половину, послужил бы!..

Я в Угреше — никого не имел кроме Бога, и у меня в Псалмах отмечены стихи, которые тогда одни укрепляли меня!

Ел только, чтобы прекратить боль в желудке; — а сытым быть и забыл как это бывают сыты! — Эти телесные мучения иногда меня радовали, и я бы помирился с ними, если бы не стал слишком слабеть. — Спина болела так, что я не мог стоять в Церкви столько, сколько желал.

Тут опять явился все тот же брат и пошел сам просить Архимандрита, чтобы он отпустил меня в Москву, а если необходимо будет, и в Калугу на несколько дней для дел по наследству. — Он грозился начать тяжбу и выгнать из имения Марью Владимировну и жену мою. — Он законы новые знал лучше меня и был человек без всякой совести и чести. — Мы ему еще были должны более 1000 рублей. — Архимандрит отпустил.

Дорогой от Угреши до Москвы я простудился и на другой день у меня открылось кровохарканье.

Я должен был остаться на весь Великий Пост безвыходно в номере в Москве и лечиться. — Ел рыбу. — Изнеможение мое было крайнее. — Врачи откровенно говорили, что не знают — может быть, у меня чахотка. — Господь, впрочем, в это время так подкрепил мой дух, что я был очень спокоен, хотя и был почти убежден, что скоро умру. — Близкие, которые меня видели, помнят это хорошее мое настроение; его ничто не могло нарушить.*

Так я пролечился до Фоминой и возвратился в Угрешу с намерением, не снимая подрысника, если можно, поехать умереть у себя в Кудинове летом, когда все будет зелено. — В Кудиново я поехал, впрочем, — *не самовольно*, а по *тройному благословению*.

Я был в Москве у Епископа Леонида и долго говорил с ним; он сказал мне: «Благословитесь у О. Пимена».

* А было чем тревожиться; братья были оба в Москве и ежедневно ходили ко мне уговаривать, чтобы я сдал им в аренду Кудиново и удалил бы оттуда Марью Владимировну. — Все хотели меня обмануть. — Но я, молясь, не поддавался. — Были и другие горести!

Я отвечал, что без благословения О. Пимена не поеду, но прошу и его сказать мне свое пастырское мнение, тем более, что именно он рекомендовал меня в Угрешу.

Преосвящ(енный) Леонид, подумавши, сказал так:

— Что ж, можно и так рассудить: вы были смущены и расстроены; пожили в монастыре, — понесли некоторые монашеские трудности; это вас успокоило; отчего же вам и не поехать на отдых в деревню.

Отцу Пимену я не сказал, что спрашивался у Епископа, а прямо обратился к нему, говоря, что хотя очень ослабел, но не желаю ехать к себе в деревню, если на то не будет его искреннего соизволения. — О. Пимен, кажется, жалел, что я хочу ехать; но позволил сохранить на себе подрясник, советуя лишь остерегаться светского начальства. — Я спросил у него: «примет ли он меня снова, когда я, поправившись в здоровье, вернусь опять к нему?»

Он отвечал: «Вас во всякий монастырь примут. — Но надо побольше смирения». — Я не придавал этому слову его особого значения, ибо свидетельство совести моей во все время моей жизни в Угрешах говорило мне, что я смирялся сколько мог — на первое время; по моей духовной неопытности.

Я забыл сказать, что сверх Архиерейского и Игуменского благословения, я имел еще прежде письмо от О. Макария Афонского, которое совершенно меня успокаивало.

Еще раньше, чувствуя, что телесные силы мои очень слабеют от долгого голода, который я переносил в Монастыре, не имея тогда вовсе денег на покупку своей провизии, и вместе с тем, опасаясь черес(чур) уже непонятного и гневного характера Отца Пимена, я писал О.о. Иерониму и Макарию, прося их совета о том, как поступить мне в моем сомнении? — Я сознавался им, что хотя Оптина Пустынь мне очень дорога духовно, но я боюсь остаться там, потому что далеко от столицы и душно, и спрашивал что мне делать? — Решаться ли снять подрясник или нет. — О. Макарий в ответе своем гораздо строже судил

О. Пимена, нежели я, и остановился на мысли, что я могу делить мое время между Кудиновым и Оптиной. — Вот что еще более утвердило меня в решении оставить Угрешь. — Я уехал и по безденежью от мая до августа в Оптину не мог собраться и был все это время предоставлен самому себе. — Впрочем, я до того изнемогал тогда после болезни, что больше всего был рад тому телесному покою, который я нашел в своей деревне.

¹⁰ Покой этот после перенесенных мною телесных стеснений в монастыре был так глубок, я ему был так рад, что не обращал даже почти никакого внимания на женские распри Марьи Влад(имировны) с женою моею, которые в другой раз очень бы меня огорчили. — В августе я был в Оптиной, но ничего особенного из этого моего приезда не помню.

²⁰ К осени я значительно укрепился в здравьи и много писал. — Этой осенью (75-го года) появились в первый раз в петербургских газетах обо мне статьи (то есть о моих сочинениях, именно о тех самых повестях, которые я почти совсем желал оставить для серьезных статей о Церковных и политических вопросах). — Повести мои в газетах очень хвалили и говорили, что «общество русское очень грубо, что не понимает какой у меня большой талант». — Писали это люди, лично мне неизвестные и поэтому совершенно беспристрастные.

Я, впрочем, не был особенно этому рад; а принял эти похвалы равнодушно, как слишком поздно заплаченный долг со стороны критиков.

³⁰ К тому же и радоваться было нечему особенно. — Газеты, которые хвалили меня («Русский Мир» и позднее «Гражданин»), газеты охранительного направления, а так как даже в любовных повестях моих проглядывало везде уважение к религии, любовь к старине и народным верованиям, то большинству органов петербургской литературы, почти сплошь революционной, мои повести нравиться не могли, и они предпочитали молчать об них, чтобы покрыть их презрением.

Гораздо полезнее для моих вещественных дел было то, что Катков под влиянием этих петербургских похвал образумился и письменно предложил мне продолжить тот роман («Одиссей Полихрониа́дес»), которого начало было ему привезено из Турции. — С тем вместе он предлагал *половину цены* выплачивать мне наличными деньгами, а *половину только* удерживать для погашения старого долга.

Эта, хотя и незначительная, но все-таки сносная поправка моих литературных дел дала мне с тех пор (с 75 года, осени) возможность жить на литературные заработки ¹⁰ часть года в Кудинове, а часть в Москве или Петербурге на короткое время и возможность приезжать несколько раз в год и в Оптину.

С тех пор все так идет, как говорится «ни шатко, ни валко»; а так, что и до отчаяния не доходишь, но и *покоем* никогда быть не можешь,* даже и тем несовершенным *покоем души*, который на земле бывает доступен и который я и сам в жизни испытал. — И веры не оставляешь, да и успехов больших в вере не делаешь. — Во всем *какая-то унылая, гнусная, унижительная середка*. — Сла- ²⁰ бый монах, без рясы; — помещик без дохода и ценза; — политик, понимающий много, но без власти и влияния; — семьянин без семьи настоящей; писатель без славы и веса; старик прежде времени; — работник без здоровья; светский человек без общества... Что я такое стал и на что и кому я нужен?... А жить хочу...

Принуждать мне себя в чем бы то ни было трудно; а принуждать надо себя беспрестанно. — Была отрада —

* Я чувствую, например, что и в литературе мог бы гораздо больше сделать, если бы не терял время на постоянные размышления о *сроках* Катковских, банковых и других долгов. — Я никогда вот уже 4 года больше двух месяцев подряд в год всеми силами ума своего не владею, а трачу время на необходимую деловую переписку и на разные мелкие заботы. — А какое множество разного дела я в силах сделать, когда здоровье мое хоть сносно и когда я хоть сколько-нибудь обеспечен! — Этому доказательства были.

любовь моя к Л... И ту *вера* принудила оставить. — Скука и пустота непомерная! — Постоянная.

Куда мне деться! — Мне даже *стыдно* так жить; гордость моя уж слишком унижена, и с тех пор как я убедился, что мне не под силу стать монахом, *смирение* перестало утешать меня.

В Угреши, в подряснике, было какое-то сердечное смирение перед Начальником, перед братией, но с другой стороны перед мирскими я немного утешался и чуть-чуть гордился, что я *монах*. — Я и до сих пор нахожу, что и в светском отношении приличнее быть монахом, чем каким-то плохим баринном, без денег и без влияния...

И зачем же мне даны были такие способности, такой ум?

Зачем, наконец, *именно с тех пор* — как я стал *веровать* — эти способности ни на что, даже на служение Церкви Божией не годятся. — Отчего я не встречу умного Епископа или Игумена, который придумал бы, как устроить меня около себя, чтобы обратить мои еще не совсем упавшие силы на пользу Церкви и отечеству? — Правда, я еще два-три раза, после выхода из Угреши был у отца Пимена; он всякий раз очень ласкал меня; называл меня: «дорогой мой!», целовал и настойчиво звал к себе, обещая мне всевозможные удобства и льготы; — гораздо даже больше, чем мне нужно; но я ему *не верю*, ни как старцу, ни как человеку! — Его деспотизм *не-духовный*,* а причудливый бессмысленный, иногда даже низкий. — Я не чувствую [в] себе ни той высоты христианской, которая

* Вот два-три примера:

1) Был в Угреши пожилой монах из купцов. — Брат его построил церковь при больнице, а сестра построила монаху келью. — Пока эти *благодетели* были живы, — монах был в почете; но они умерли, и отец Пимен выгнал его из *его кельи* в худшую. — Монах в отчаянии бегал по двору, громко ругая Архимандрита. — А другие смеялись и говорили: — Погоди — еще в богадельню со вшивыми стариками он тебя посадит!

все с радостью о Христе понесет; ни той низости, которая ничем не будет смущаться из-за денег и честолюбия. — Не судьба ли это — что я попал к Пимену, а не к Леониду Кавелину, например, которого я знал еще в Турции хорошо? — Леонид крут, но честен и в сердце монах, — а Пимена вере я даже (прости меня, Господи!) плохо верю!.. Леонид учен; Леонид Оптинский воспитанник; — Леонид понял бы меня... — Он вероятно точно так же, как Афонский Иероним, говорил бы мне: «Вам нужно телесную свободу наибольшую, и наибольшее духовное подчинение». — Так действует со мной и О. Амвросий.¹⁰

А Пимен из тщеславия своего готов бы всячески развратить дух мой,* а из каприза тело мое не щадил, доводя меня до отчаяния.

Что мне делать! — Куда мне деться! Тоска, скука, уныние мое без живой деятельности, без общества, без сношений — ужасны...

Мирился я (хотя и с болью) все эти три года на такой жизни: — *Кудиново, Оптина, Столица.* — *Природа, молитва, общество.* — *Телесный отдых;* — *посильные подвиги;* — *развлечение.* — *Любимая своя деревня;* — *дорогой душе монастырь;* — *хорошее общество...*²⁰

2) Примерные, лучшие монахи у него (напр<имер>, О. Досифей, создавший ему школу) в загоне и презрении, а Ризничий Валентин, первое лицо, ест котлеты, держит на гостиннице любовницу и всех смиренных теснит, а злым уступает.

И это любимец О. Пимена!

* Он мне недавно смеясь говорил: «Бог поможет — от жены как-нибудь отделаемся; тогда можно и вперед пойти, и с вашей образованностью Вас Архиереем сделают!»

Я отвечал: «Я такого честолюбия не имею и без Оптинского старца ни на что не решусь впредь... Даже и в монахи пойду, когда он велит! А сам не могу».

И еще: прихожу раз, еще будучи в Угрешах и говорю: «Батюшка, помогите — мой грек Георгий в великом искушении!» А он: «Вот пустяками Вы занимаетесь! Мы здесь этих Георгиев всех в одну кучу валим!»

Конечно, это не монашество, но при внимательности можно жить хорошим Православным міряннином и, унывая от поры до времени, все-таки не доходить до отчаяния и животного равнодушия.

И что же?

За Кудиново внести пустую сумму 4500 не могу; боюсь и его потерять. — Боюсь остаться умирающий и бесполезный без крова и друзей...

Монах, прослуживший каким-нибудь трудом хоть два года в хорошем монастыре, знает, что его не бросят как собаку... А в міру без денег...

Это ужасно!..

И вот я ищу, ищу выхода...

Я ищу места; делаю долги, чтобы ехать в Петербург. — Все как будто в мою пользу. — Сам Горчаков хвалит. — Места все нет?.. — Катков неожиданно предлагает ехать в Царьград.

Еду. — Нападает страх и тоска по родине, безумная, нестерпимая...

Тень умершего Климента всю дорогу преследует меня.

И он, он умер, так *некстати!* — Что же я!.. Он спасся. — А я?..

Ни здесь отрады! — Ни там спасенья! — Возвращаюсь не доехав до любимого Царьграда...

Возвращаюсь потому, что *духовник благословил* внимать внутреннему чувству... Если бы он велел *не* внимать, я бы доехал. — И так, опять *вера и послушание* помешали еще больше страха; — ибо страх и тоска были *не от меня*; а *послушание* было в *моей воле*; — ехать *насильно*, вопреки чувству, было бы в *моей воле*. — Но такого приказа не было, и опять, из *послушания и веры*, потерял много. — И солдат иной боится идти в битву; но идет из *послушания*; так и я мог бы сделать, если бы велели.

Что же это? — Отовсюду меня гонит? — С Афона *болезнь*; из Царьграда *нужда*; — из Оптиной (в 74 году) *дела*; из Москвы — *опять нужда и горе*; — из Угре-

ши — изнеможение от голода и боязнь коварного Настоятельского сердца... Из Кудинова скоро прогонит аукцион. — (Через два года, а может быть и ранее!) — В скит не пускает изнеможение от пищи; в Козельске гнетет однообразие, пустота общества, ограниченность средств... На гостинице Оптинской дорого, шумно и грязно... Главное дорого. — В Турецкой провинции лихорадка и скука; в Царьград никак не попаду. — В Москве дорого при моих средствах...

В Козельске отвратительно; но я несу и готов долго нести это, ибо считаю это послушанием...¹⁰

Но дальше что?.. Страшно... Есть нечего будет завтра, да, завтра!

Ни здесь, ни там!..

В обществе я унижен; почитатели ума моего далёко и высоко и в разных местах... Подвигов не свершаю; телом все старею; в доме своем и невинного увеселения не вижу... Нет молодых, нет детей...

Утром еще ничего; а каждый вечер лезет на меня как медведь... Племянницы сами горькие. — Они не могут, и²⁰ любя, веселить меня...

Нет, я знал другую жизнь... И мне было легче и меня уважали больше, когда я был неверующим!..

Что же я такое?

Подвижник? — Мученик за эту веру? — Тогда я буду радоваться...

А если я только маловерный грешник и все наказан, и все наказан?..

Не должен ли я скорее все бросить и все нести в монастыре?³⁰

Что значит нести?

Нести без ропота? — Я ропщу теперь больше, чем в Угреши, хотя я теперь сыт и свободен.

Не убежать? Я ни за что не убежал бы из Угреши, если бы даже О. Пимен, — который не по-старчески вел себя с паствой, даже если бы и он сказал бы мне строго: «не надо уезжать!» или: «Надо скоро вернуться!»

Умереть скоро от изнурения и плохой монастырской пищи? Что ж за беда? — И так можешь скоро умереть?

Тосковать? Я и так тоскую ежедневно.

Я не понимаю слова понести в этом случае! — Прошу истолкования!

Отчего же я не сделаю решительного шага?

Оттого — что я, который был до обращения своего решителен и смел, — утратил решимость и смелость от постоянной мысли, что рука Божияотяготела на мне и что я уже не в силах ничего сам по себе сотворить.

Что же это такое?

Да и как иметь решимость, когда все в течение пяти-шести лет, все, все разом не удастся. — Семейные и сердечные дела, литературные предприятия, поправка и выкуп имения, издание сочинений, расхваленных в газетах, и то не раскупается. — А раскупись оно — то дало бы 3000 рубл(ей). — Вот и Кудиново было бы почти выкуплено. — Поездка в Петербург разрешается жестокой болезнью и долгами новыми. — Игнатъев хочет устроить меня Губернатором в Болгарии, но через два дня после свидания со мною, его отправляет Государь в Вену, и неудача его переговоров отстраняет тотчас же от дел именно того человека, который знал меня ближе, ценил меня лучше, пожалел меня больше других!..

Решаюсь ехать в Царьград и возвращаюсь позорно, на смех и сожаление людям. — Катков не хочет более верить, что я способен деятельно служить ему...

Обе мои решительные попытки монашества: Афон и Угрешь — кончились ничем; — срамом! Виноват ли я?

Решительное мне советуют монахи, но какие? О. Пимен, такие, которым я не верю. — О. же Амвросий решительного мне не находит видно еще время говорить.

В Москве в Богоявленском монастыре есть О. Пантелеймон. — Я у него исповедовался в Москве. — Он советовал мне поступить в Оптину; решиться и прожить

хоть два года в Оптиной безвыездно и без сношений с миром. — И что будет — будет!

— Мне оптинские духовники этого никогда прямо так не говорили; — сказал я.

— Они никогда этого не скажут; им неловко; вы сами должны просить; — отвечал он.

— Нет! сам я не могу. — Я считаю это самочинием и боюсь, чтобы не вышло опять хуже.

Это я сказал тогда, скажу и теперь. — Решимости у меня так мало, что мне жутко даже теперь в *скит* переехать, хотя жизнь моя в Козельске до того суха и пуста, что *почти минуты нет*, чтобы мне хоть что-нибудь нравилось. — Переехать в скит?.. Жутко! Переехать из дома Иноземцова в дом Зотова, который гораздо лучше — жутко. — Боюсь расходов, боюсь неожиданных неудобств, боюсь расстройств занятий. — Переменить *комнату* — и то мне страшно.

Где же взять решимости, когда она убита и Богом и людьми!..

Сам виноват? Эпитимья?.. Хорошо если это так! Искушение!

А если это убийственное равнодушие, если эта подлая скука с одной надеждой впереди — с надеждой на голод, разорение, на бессилие, на паралич, на то, что колеблясь теперь, *позднее* уже нигде не найдешь пристанища... Если все это одно искушение и новый грех...

Когда я был неверующим — я не понимал самоубийства. — В жизни столько хорошего, думал я.

С нынешней весны я стал *понимать* самоубийство. — Я знаю, что я *по страху Божию* никогда не решусь на него. — Но только по страху Божию... А сама *жизнь*, с нынешней весны особенно, стала так бессмысленна и пуста, что ее бы самое, такую подлую и *без смирения униженную жизнь* — что бы ее жалеть? — Так, какая-то скотская привычка!

Любил чисто отца Климента. — Нет его. — Любил греховно, но сладко Людмилу; нет ее. — Любил и жалел

жену. — Ушла, и деньгами мало могу помочь ей. — Люблю хорошее общество высшего круга и сам любим в этом кругу. — Нет его.

Люблю свое родное Кудиново хоть на полгода в году. — Но — долго жить в нем нельзя, а скоро, если Господь чем особым не поможет, его и совсем продадут с аукциона. — Люблю Царьград — не могу попасть в него. — Люблю Церковь (земную, русскую Церковь); — не знаю чем служить ей: не найду, и она сама во мне не нуждается, не ищет меня, не зовет...

Люблю литературу. — Она теперь вся почти у нас в руках нигилистов. — Охранитель у нас один Катков: — и тот с грехом пополам. — Глядишь он умрет. — Он стар. — Литература в упадке у нас. — Даже мелочи; — люблю изящное, хотя бы и простое убранство дома, опрятность и порядок. — В Кудинове летом я это имею. — Там по нашему; — но зимой там нельзя жить.* — Здесь в доме все старо, грязно, безвкусно; стыдно даже; нет охоты и за чистотой смотреть.

Люблю вид хороший. — Здесь из окон видна мерзость.

Люблю вот даже эту девочку Варвару, которая у нас (по совести отеческим чувством); и она преданна, честна, добра... Но стыдлива и безгласна до глупости. — Пошутить как с дочерью невозможно... Молчит. — Робка. — Развлечь, заставить забыть тоску не умеет, как другие дети.** — Нет — так не было всегда...

Я с утра, как встану — только и думаю обо всем этом... и до ночи. — Если бы еще не было обязательных

* Имею долги; желал бы хоть часть уплатить. — Просто — невозможно! Недавно в Турции умер в бедности один человек, у которого я занял, будучи Консулом, 1050 рубл<ей>; — Консулом же уплатил около 500, а остальные выйдя в отставку (из рвения к монашеству) заплатить не могу. — Пишут, что в бедности умер и наследники просят. — Каково это слышать!..

** 1880. Теперь она стала лучше и смелее. — Николай ее развил с этой стороны. Спаси его Господи!

забот «о хлебе насущном» для себя и для близких, то я был бы покойнее в сердце и мог бы иметь побольше времени и духовным чтением заняться, которое бы подкрепляло меня. — А то знаешь, что нужно *все* силы ума, чтобы не впасть еще в худшее положение...

Вот отчего я хотел ехать к Розенам. — Я этого боялся. — Там целый округ достаточных помещиков зовет меня вот уже три года. — Там я *хоть на год* забыл бы гнетущую нужду, и было бы не скучно, и писал бы не спеша и не боясь испортить свой роман. — Правда, это не монастырь; но люди добрые, искренние, кормили бы на убой, веселили бы, ласкали, предлагали позднюю обедню устроить для меня в особой церкви; — Саров 40 верст. — Общество умное, хорошее, дружное. — Уж и то приятно; — знаешь, что не за деньги тебя уважают и любят там, как Отец Феоктист на гостинице, которому дай 40 рубл(ей) в месяц за то, что он тебя голодом морит и грязью донимает...

Но духовник не благословил; он благословил в Козельск, и я сам теперь из Козельска *никуда проситься не буду*.* — Я верю, что это приведет к какому-нибудь облегчению существенному... Может быть, к «спасению души».

Но, Боже! Боже!.. До чего тяжела эта пустота, это равнодушие, это однообразие, эта позорная сухость моей теперешней жизни!..

* И не желал бы уехать дальше Оптиной. — Хоть и скучно, но я готов из послушания нести скуку эту. — Мне приятно вспоминать, что я несу это по указанию старца; так как самое отвратительное постное кушанье все-таки постом предпочитаешь не по плоти, а по духу.

Все это так, но если не будет *ни гроша завтра?* Духовник не может, не обязан содержать меня. — И вдруг *опять бежать!* Опять *скитаться!* Итак — не основательно ли я говорил, что не только грехи (видимые), но и *добрые дела* (послушание) не избавляют меня от этих бесконечных скитаний...

Мне даже *стыдно* так жить... Какая-то всеми отвергнутая и забытая тварь...

Отчего у меня нет сил смириться и радоваться этому отвержению...

Опять я виноват, опять *все я же грешен*... Люди правы; я виноват один...*

Хочу сказать себе это и *не могу*. — Не утешают меня такие мысли!..

* Правы ли *люди*? Бог прав, а люди неправы.

Множество справедливых Господних наказаний совершается посредством самых возмутительных несправедливостей человеческих! Это сказал один Католический писатель, но я полагаю, что и Православная Церковь согласна с этим? — А впрочем — не знаю!

ОТЕЦ КЛИМЕНТ ЗЕДЕРГОЛЬМ, ИЕРОМОНАХ ОПТИНОЙ ПУСТЫНИ

I

Весной 1878 года, в апреле, скончался от воспаления легких в Оптиной пустыни иеромонах Климент, в міру Константин Карлович Зедергольм. Ему еще не было пятидесяти лет от роду.

Отец Климент не был ни красноречивым проповедником, ни поражающим воображение, внешним, так сказать телесным, подвижником; он не был и одним из тех знаменитых духовников или старцев, которых руководства и советов ищут не одни монахи, но и многие міряне всех состояний и возрастов. Административную должность он не успел занять; его только прочили в настоятели одного из монастырей Калужской губернии, когда неожиданная и ранняя смерть пресекла его дни.

Отец Климент писал и печатал, но нельзя также сказать, чтоб его произведения были многочисленны или особенно влиятельны, или чтоб они имели в себе что-либо резкое, лично-характерное и вовсе выходящее из ряда.

И несмотря на весь этот ряд отрицаний, отец Климент был замечательный человек и еще более замечательный инок.

Его заслуги, его история, его роль совершенно особые, и оставить их в забвении было бы величайшею несправедливостью.

Вот краткая история его прежней жизни в міру. Вместо сухого и последовательного перечня событий, вместо обычного формулярного списка некрологов, я передам на па-

мять то, что он в двух-трех беседах сам рассказал мне о первой своей молодости.

Отец Константина Карловича Зедергольма был реформатским супер-интендентом в Москве. У него было еще несколько братьев; один из них был в последней компании генералом в Закавказской армии и скончался немного ранее отца Климента. Вот что он мне сам говорил: «Семья наша была хорошая и почтенная, но, знаете, сухая, немецкая семья. Протестантство ничем не отталкивало меня, но ничем особенно и не привлекало. Церковная служба наша мне не нравилась. Я испытывал совершенно другое чувство, когда мне случалось бывать в православной церкви. Религиозные потребности мои были сильны, но все, что говорили наши пасторы, мне было не совсем по сердцу; все это не удовлетворяло меня. Пасторов в Москве я знал несколько, и у каждого из них был личный оттенок. Отец мой был очень серьезный человек, с немного рациональным, скептическим оттенком. Это мне очень не нравилось; другой пастор разыгрывал из себя светского человека; третий был сухой фанатик. А вы не можете себе вообразить, как фанатизм на этой холодной протестантской почве не привлекателен... Я еще не был знаком ни с учением, ни с историей Православной Церкви, когда уже меня начинало влечь к ней и когда формы ее уже начинали мне сильно нравиться... Тут явились и побочные влияния, национальные, вовсе не духовные, но и они, по смотрению Божию, косвенно помогли мне приблизиться к истине. Было обстоятельство, которое укрепило во мне желание стать русским. В университете* у меня были два друга, два товарища: покойный поэт Б. Н. Алмазов и Третий Иванович Филиппов, которые вам, и не вам только, а многим известны. С ними мне было очень весело и приятно. Алмазов был юноша очень привлекательного характера, любил острить и очень смешил. Т. И. Филиппов был тогда белокурый красавец в русском вкусе; он превосходно пел

* Зедергольм был в Московском Университете, на филологическом факультете.

русские песни. Они оба много говорили мне о русском духе, о русской народности, о русской поэзии... Однажды я сказал: «Тертий Иванович, сделай меня русским». — «Для этого прежде всего надо стать православным», — отвечал он. Вот это желание обрусеть косвенно тоже помогло моему обращению. Желание обрусения, симпатия к русским национальным формам славянофильского даже рода, с одной стороны, а с другой — неудовлетворенные протестантством сердечные религиозные потребности, — вот пути, которыми меня привел Господь сперва в Церковь, а потом и сюда, в скит».

Сверх того, отец Климент говорил мне, что философия Шеллинга также много способствовала утверждению его как в христианском чувстве вообще, так и в переходе ко Вселенскому Православию. Он находил, что никто прекраснее Шеллинга не объяснил мировой важности Христианства как исторического момента.

Зедергольм был одним из лучших студентов историко-филологического факультета, и (если я не ошибаюсь) его прочили в профессора.

Покойный П. М. Леонтьев знал хорошо и уважал молодого Зедергольма, и советовал ему посвятить свои способности и свое трудолюбие университетской науке.

«Но я тогда уже мечтал о монастыре, — рассказывал мне отец Климент. — Я был вечером у Павла Михайловича; он сидел за лампой, так что я не видал выражения его лица. Не знаю что он думал, когда я, возражая на эти советы его отдаться светской науке, начал ему говорить об Оптиной пустыни, о преданиях старчества, об оптинских знаменитых духовниках, о Паисии Величковском... Я говорил долго, с жаром. Павел Михайлович ничего мне не возразил».

Присоединился Зедергольм к Православной Церкви в 1853 году, в августе месяце, в Оптинском скиту. В краткой летописи скита описано, как было совершено над молодым человеком таинство миропомазания, каким утешением было это зрелище для всей скитской братии...

Почему Зедергольм не миропомазался в Москве или в Петербурге, а приехал нарочно для этого в Оптиную пустынь? В вышеозначенной летописи сказано, что И. В. Киреевский привлек его к Оптиной. Он говорил молодому человеку так: «Если вы хотите узнать основательно дух Христианства, то необходимо познакомиться с монашеством; а в этом отношении лучше Оптиной пустыни трудно найти». Имение Киреевского было в Лихвинском уезде, не очень далеко от Оптиной пустыни, и из биографии его известно, что в последние годы своей жизни Киреевский часто ездил в этот монастырь для беседы с духовниками. Он и похоронен в Оптиной, рядом с братом своим Петром. Зедергольм еще юношей, в Москве, был знаком, по-видимому, со многими знаменитостями литературы и науки русской. У Киреевского он был несколько времени домашним учителем. Уже будучи монахом он часто вспоминал об Иване Васильевиче и говорил мне, что хотя все славянофилы того времени были люди, конечно, православные по убеждениям, но ни у одного из них он не находил столько сердечной теплоты, столько искренности и глубины чувств, как у Киреевского. «Хомяков, — говорил мне Зедергольм, — был холоднее; он, разумеется был человек тоже искренне-православный, но его диалектика, его страсть к словопрениям увлекала его до того, что он вступал в споры и с людьми православными иногда о самых существенных вопросах, противоречил и впадал в некоторые уклонения. Разговаривал он с безбожником или с иноверцем, он был вполне православный; но начинал он беседовать с православным, и, как только тот сказал ему раза два: „да, да“, Хомякову уже становилось скучно и ему хотелось сказать: „нет, нет, не совсем так!“ Киреевский же был весь душа и любовь».

Надо заметить, что помимо всех собственно духовных сокровищ Оптиной, самый вид этой пустыни привлекателен и действует на воображение людей даже и вовсе не особенно набожных.

Монастырь построен на опушке огромного бора; пред обителью река Жиздра вьется по лугам; в стороне (верстах

в двух) видны колокольни, сады и домики Козельска. Вид со всех сторон чрезвычайно красив и как-то успокоителен, величав. Сзади эта бесконечная синева векового бора, теряющаяся вдаль. Вблизи эти исполинские сосны и ели, перемешанные с чернолесьем; спереди обширные луга, река, рощицы вдаль, этот городок в стороне, как-то кстати напоминающий и о «мірской жизни»... Все это в самом деле прекрасно.

Скит построен в самом лесу, очень близко, впрочем, от монастыря, всего минутах в десяти ходьбы. К нему идет убитая щебнем дорожка в тени великолепных деревьев. Главная дорожка случайно или по верному художественному чувству распорядителей идет не совсем прямо, а чуть заметно уклоняясь в сторону; от этого скит долго не виден, но потом вдруг из чащи предстают вам скитские ворота. Они имеют вид как бы небольшого храма, розового цвета, с одною белою главой наверху. Самый выбор этих цветов чрезвычайно удачен. Это так тепло и красиво, и летом в густой зелени леса, и зимой в снегу, из которого поднимаются суровые ели и сосны с их огромными, снизу грубо-чешуйчатыми, а наверху нежно-планшевыми мачтовыми стволами...

По обеим сторонам дверей, под этими воротами, на стене изображены почти все главные подвижники и учителя монашества: Антоний Великий, Нил Сорский, Исаак Сирий и другие. Все с развернутыми свитками, на которых славянские надписи, изречения их. Если кто-нибудь захочет тут остановиться и внимательно подумать, при чтении этих свитков, он найдет уже в них всю основную, так сказать, азбуку монашеской жизни. Внутри, со стороны скита, на этих розовых, как бы мирно-радостных и приветливых воротах изображена икона Знаменія Божией Матери. Под иконою есть подпись: «Все упование мое на Тебя возлагаю, Матерь Божия! Сохрани меня под кровом Твоим»... Кто войдя в ворота скита обернется, тот непременно прочтет эту подпись, и она на многих действует с особенною силой. Отец Климент говорил мне сам, что как только

увидал он эти ворота, как вошел в этот просторный, тихий и цветущий скит и посмотрел на все вокруг себя, так и сказал себе в сердце своем: «здесь тебе кончить жизнь»...

Может быть, это было и в первый приезд его, но во всяком случае между приездом его (в 1853 году) и поступлением в обитель (в 1862—1863 году) прошло около десяти лет мирской христианской жизни.

Не знаю, советы ли оптинских старцев испытать себя и не спешить, или собственные соображения и склонности ¹⁰ удержали его надолго в миру, только он по окончании курса поступил на службу в Святейший Синод и вскоре был сделан чиновником по особым поручениям при Обер-Прокуроре. Обер-Прокурором в то время был граф Александр Петрович Толстой (умерший в 1872 или 1873 году в Швейцарии). Мне кажется, что этот выбор светской службы был внушен Зедергольму желанием быть «ближе к Церкви». Одновременно с поступлением на службу по духовному ведомству Зедергольм получил степень магистра. Он защищал в Москве диссертацию: «О жизни и ²⁰ сочинениях Катона Старшего», которая была около того же времени напечатана в «Русском Вестнике» и, насколько мне помнится, вызвала какие-то замечания, что не совсем полезно низводить с пьедестала великих людей. Перечитывая теперь эту ученую и очень хорошим языком написанную статью, я никак не мог понять, что нашли в ней враждебного Катону или унижающего его. Если и можно видеть в этой статье отсутствие особенного поклонения, то эта едва заметная сразу черта зависит, кажется, от того, что диссертация о великом язычнике совпала у ³⁰ Зедергольма, вероятно, с молодым рвением христианского прозелита, и он, осуждая Катона, удовлетворял своей потребности осудить весь языческий Рим.

При Синоде прослужил он с 1858 года до 1862; посылался в разные командировки и, между прочим, в 1860 году ездил по поручению Синода на Восток вместе с г. Соломоном (теперь сенатором, а тогда тоже служившим в Синоде) для собрания точных сведений о халкин-

ских и афинских богословских курсах и о состоянии Православных Церквей и монастырей на Востоке. Некоторые из заметок и впечатлений его, вынесенные из этой поездки в Турцию и Грецию, были напечатаны в духовном журнале «Душеполезное Чтение».

Довольно любопытно просмотреть оставшуюся после отца Климента тетрадь, в которой он на скорую руку записывал свои путевые впечатления во время этой поездки. Особенно интересна та часть (очень значительная), которая осталась в рукописи. В ней-то ясно видишь, в какой мере православные чувства и православное мирозерцание были и тогда уже основой его внутренней жизни. Этот московский студент 50-х годов, сын ученого реформатского пастора, этот магистр древнеэллинической словесности, филолог и автор диссертации о Катоне Старшем, этот молодой петербургский бюрократ ничего почти не видит и не слышит на Востоке кроме Православия, монашества, афонских старцев, кроме церковной истории и церковных древностей. На быт (особливо на быт мусульманский, столь своеобразный и до сих пор всем иностранцам столь мало доступный и мало понятный) он не обращает почти никакого внимания и если замечает что-нибудь мимоходом, то не иначе как с отвращением; на древности в Афинах едва смотрит, хотя, конечно, понимать их может лучше многих по роду университетской подготовки своей и по врожденному вкусу. Споры православного новогреческого консерватора Икономоса с афинскими либералами занимали его гораздо больше всяких древностей. Святая Афонская гора с ее современными чудесами подвижничества была для него гораздо интереснее всех красот невозродимого к действительной жизни Акрополя. Афонской горе у него посвящено в тетради семьдесят и более страниц; Афинам — с чем-то двадцать...

В нашем посольстве в Константинополе он слышал разговоры, что Россия бессильна, ибо у нее нет денег, а «как не будет денег, другие Державы станут только смеяться

над нашими угрозами». Зедергольм записал в свою путевую книжку, что не безденежье, а безверие губит Россию, но не высказал дипломату своих возражений.

С кем бы ни говорил он, — с доктором Зографом, с г. Каратеодори, с поэтом-профессором Танталидесом и другими замечательными фанариотами, он везде один и тот же человек, все старающийся свести на мистически-православную точку зрения. При свидании со знаменитым старцем Патриархом Григорием VI в нем *все дрожит...*

10 «Когда патриарх говорил, *все во мне дрожало*: так сильно на меня действовала мысль, что я вижу патриарха Григория — и вид, и самый голос его, в котором какая-то особенная глубина, сдержанность. Доктор Зограф после говорил мне, что слова патриарха тронули его до слез, а он человек, кажется, не очень чувствительный. Потом патриарх сказал, что теперь, когда мы увидим вблизи положение дел, мы убедимся, что оно во многом не такое, каким представлялось нам издали. Касательно нашего поручения

20 в Халки заметил, что нужна осторожность, чтобы присылка русских воспитанников не повредила заведению и здешним христианам вообще. В течение разговора С. упомянул о новом переводе Св. Писания на русский язык. Патриарх заметил, что в России, православной стране, охраняемой правительством, подобное предприятие возможно, а что здесь им бы воспользовалась пропаганда протестантская и что оно поэтому было бы опасно. Затем сделал еще несколько замечаний, смысл которых был, что для народа

30 потребнее не перевод Св. Писания на народный язык, а частая проповедь Евангелия. Зашла речь о нынешней цивилизации. Патриарх сказал, что нет ничего гибельнее цивилизации, основанной не на Законе Божиим, что подобная цивилизация не цивилизация, не образование, а разрушение. Потом патриарх сделал несколько общих замечаний о нашем времени. Прежде, сказал он, греки не имели такого *сообщения* с другими народами, не было такой легкости в сближении с ними; они меньше знали иностранные языки, но в них больше держались христиан-

ские добродетели, страх Божий, вера нелицемерная, любовь; теперь греки стали образованнее и [имеют] гораздо более удобств для сообщения с другими народами, но христианские добродетели в них ослабели: смесишася во языцех и навыкоша делом их. Далее патриарх указал, каким средством враг старается ослабить веру в человеке: прежде всего колеблет в нем уважение к пастырям церковным, и когда овца удалится от пастыря, тогда она легче становится добычею волка. Затем С. предложил несколько вопросов; при разрешении их патриарх повторял, что в России, стране православной, возможно многое, что здесь было бы опасно. Спросили о причинах успеха римской пропаганды. Патриарх отвечал, что причина заключается в том, что пропаганда разрешает на все, а Церковь многое запрещает. Затем патриарх упомянул о широком пути, ведущем в погибель, и узком, ведущем в Царствие Небесное. Я спросил, отчего в православном духовенстве замечается как будто менее усердия к обращению в Православие, чем в латинском. Патриарх отвечал, что латины только о том и думают, чтоб увеличить число своих, а мы из обращенных желаем делать истинных христиан. После того, сказав еще раз о том, как хорошо, что Россия посылает осведомляться о положении христиан на Востоке, патриарх с любовью отпустил нас».

Что же такого особенного было в словах Патриарха Григория? Собственно в речах его не было ничего нового, красноречивого, глубокого или тонкого. Все самые общеизвестные и общедоступные вещи и в самом практически-церковном консервативном духе... Но тут действовали сильно не столько смысл и содержание речей Патриарха, сколько сознание, «что это все говорит он, тот, кого я духовно и нравственно так высоко чту...» Эта ученическая вера в лицо старца и святителя, в силу высокой души, в святость высокой жизни... это чувство похоже не на умиление от красноречивой и умной проповеди, оно скорее похоже на радость при принятии в себя даров таинства.

Но вот отец Климент знакомится с богословом, греком, преосвященным Типальдосом, ректором Халкинской Академии и Митрополитом Ставропольским. Здесь Зедергольм говорит, и говорит с жаром, говорит духовнее, православнее Митрополита-ректора; и ректор, который пробо-вал «поставить вопрос на более реальную почву», спешит согласиться с нашим немцем... Разговор шел о том: необходимо или нет пользоваться протестантскими и латинскими сочинениями по некоторым хорошо обработанным на Западе отраслям богословских наук. Зедергольм сожалел об этой необходимости. Преосвященный Типальдос говорил, что можно пользоваться от Запада лишь методом, а не духом, и что людей, даже и молодых, но уже утвержденных в вере, стеснять в чтении даже и философском не надо. Зедергольм, не отвергая этой свободы, жаловался на «бедность руководств и на недостаток полноты в изложении полной православной системы, которые могли бы обнять все науки (он здесь разумел только одни богословские науки, конечно) и избавили бы нас от необходимости обращаться к западным писателям».

Типальдос одобрил его и прибавил, что решения этой задачи ожидают от России, где есть и средства, и люди.

«Что касается меня, продолжал я (пишет в дневнике своем Зедергольм), то я знаю, что всеобъемлющая полнота познания недоступна на сей земле и будет достигнута нами в другой жизни (Типальдос заметил, что это справедливо, но что это другой вопрос); что бедность и немощь составляют непрменный удел истинной Церкви и что именно в этой бедности и немощи совершается преизобильная сила Божия; что Православие живет среди всяческого неустройства и скудости именно для того, чтобы было видно, что оно держится не человеческими силами и порядками, а могуществом Божиим, и что я поэтому не соблазняюсь скудости нашей, как в других отношениях, так и в отношении к руководствам и изданиям (Типальдос несколько раз прерывал меня одобрениями). Оберегаясь подобными мыслями от соблазна, я, однако, чувствую в

себе недостаточно сил, чтоб убедить тех, которые иначе думают, и прошу вас сказать, как следует отвечать тем, которые соблазняются скудостью Восточной Церкви в сравнении с Западною и заключают от сего о преимуществах последней пред первую.

Типальдос посоветовал указать им на разговор Минуция Феликса „Октавий”. Язычник там хвалится пред христианином театрами, цирками и т. д. Христианин отвечает, что это предметы посторонние, когда дело идет о познании Бога истинного, и что этим человек не спасается. ¹⁰

„И турки, — сказал Типальдос, — если хотят совратить христианина, указывают на униженное состояние христиан. А мы им хвалимся”.

„Мы в скудельных сосудах сохраним сокровище, — заметил поэт Танталидес, который при этом присутствовал, — а у них, турок, один сосуд золотой...”

„В котором нет сокровища”, — прервал я и пожалел, может быть, Танталидес хотел сказать: „исполненный мерзости”. — Мы знаем только Бога, — продолжал я, — а из остального много не знаем, а они все знают, ²⁰ а Бога не знают».

Можно себе представить после всего этого, как подействовал на Зедергольма Афон. Его удивительная природная красота, его нагие, страшные скалы, его густые леса, его ручьи, на берегах которых растут такой исполинской ширины платаны... Обширные и древние обитатели, похожие больше на феодальные замки, чем на наши однообразные, обведенные зубчатою стеной, «все белые, все с зелеными куполами и крышами монастыри»... Я знал неверующих людей или полуверующих, которые в восторге от «поэзии» Афона, от его своеобразного устройства, от самих монахов, и греческих, и болгарских, и русских... Даже туркам Афон нравится. ³⁰

При мне самом один турецкий жандарм, увидав Афон, воскликнул с чувством: «Аллах! Это вакуф!* Я здесь готов работать даром!» Знаю также одного немаловажного

* Церковная собственность.

чиновника петербургского, протестанта по записанному исповеданию (но, мне кажется, ни во что не верующего, кроме разных ученых, статистических, географических и тому подобных обществ)... Этот ученый бюрократ (вдобавок, несмотря на весь свой ум, Петербург за что-то обожающий) прожил довольно долго на Святой Горе, оставил там по себе очень приятную память и сам без ума от вида Афона, от его храмов и монахов, и от всех святогорских красот и достоинств...

¹⁰ Мне кажется, что посещение Афона окончательно решило дальнейшую судьбу Зедергольма. Беседы с духовниками святогорскими, с пустынниками и замечательными настоятелями афонских обителей должны были оставить в уме и сердце верующего молодого человека неизгладимый след. Вот что он сам записал в книге посетителей монастыря Руссика:

«С 23-го июня по 16 июля провел я на Святой Афонской горе и утешался духом, что ее святые обители представляют неисчерпаемую сокровищницу церковной древности и святости и образцы такой строгой монашеской жизни, которая считается невозможной в других местах, что на жребии Матери Божией люди разных племен и народов работают во славу Божию и что один из величайших современных подвижников афонских принадлежит, в поучение всем, народу малочисленному и не громкому в истории гражданской.* Благодарю Господа и Матерь Божию, что я сподобился здесь наслаждаться лицезрением и беседами подвижников, подобных тем, о которых повествуется в Четиих-Минеях, и блаженных очевидцев и родных новых мучеников, пострадавших за веру в наше маловерное время. Благодарю святую Пантелеймонову обитель за оказанное мне в ней радушное гостеприимство и христианскую любовь и прошу всех святых отцов афонских помолиться, чтобы все виденное и слы-

²⁰

³⁰

* Отец Климент подразумевает здесь грузина, отца Илариона отшельника, о котором он говорит дальше.

шанное мною здесь послужило на пользу грешной душе моей».

Мне иногда думается, что отец Климент даже ко мне с первого раза лично расположился за то именно, что я тоже восхищался Афоном и его обителями. Мы познакомились летом. В семи верстах от Оптиной, в лесной глуши, есть дача, на которую ездит иногда отдыхать от многолюдства давно уже изнемогающий оптинский старец, отец Амвросий. Там на небольшой зеленой лужайке построена простая, чистая и просторная изба; в ней по несколько дней проводит от времени до времени отец Амвросий. Люди, однако, и там находят его. Когда я посетил в первый раз Оптину, я должен был ехать на эту дачу, чтобы передать духовнику письма, которые у меня были к нему с Афона. Вокруг избы на лугу уже было довольно много народа: монахи, крестьяне, крестьянки, монахини, дамы. Длинные жерди на столбиках были заложены со всех сторон, чтобы все разом не теснились к старцу и не мешали ему беседовать тихо с тем, кого он уже позвал.

Все терпеливо ждали: иные сидели на траве, другие стояли, облокотившись на жерди, в надежде, что старец, проходя мимо, благословит их или скажет хоть два какие-нибудь слова. Многие, имея какое-нибудь дело, желали только одного, чтобы при начале этого дела старец молча перекрестил их. Больше ничего. Для этого многие приходят издалека.

Было очень жарко. Болезненный старец в это время ходил тихонько по лугу под большим полотняным зонтиком и разговаривал с каким-то мужиком. Они беседовали долго. Когда очередь дошла до меня, то старец, уже утомленный ходьбой, позвал меня в комнату, и там я увидел пред собою монаха небольшого роста, белокурого и с чрезвычайно приятным и веселым лицом. Это был Зедергольм; я об нем слышал еще на Святой Горе; мы познакомились и пошли вместе ходить в тени деревьев. Тут я говорил ему много об Афоне, о Турции, о греко-болгарской распри. Отец Климент слушал меня, прерывая, спрашивая, со-

глашаясь, и на лице его, я помню, блистала такая радость, что я никогда этого светлого выражения не забуду. Я, кажется, всеми этими рассказами и мнениями подкупил его в мою пользу, и мы стали почти сразу друзьями. Я помню, он не раз говорил мне потом с выражением сильного чувства: «Да! вы были тогда как бы обвеяны Святыми Местами!»

Вот ему что нравилось! Не я сам, может быть, ему нравился, а тот мысленный воздух, который я принес с собою, возвратившись из Турции.

Я не стану выписывать сюда из краткого дневника отца Климента, где именно он был на Афоне, в каких обителях, каким святыням поклонялся; не стану перечислять всех лиц, с которыми он виделся или с которыми говорил. Дневник его очень краток; это скорее конспект для памяти, по которому сам хозяин его мог бы составить позднее хороший отчет о своем путешествии; обо всем почти сказано кратко, только для себя; но материал сам по себе так обилен, что и эти сухие выписки заняли бы здесь слишком много места.

Подробнее всего записаны у него беседы: с грузином, восьмидесятилетним старцем Иларионом, знаменитым подвижником; с другим Иларионом, греком, иеродиаконом Руссика, и с отцом Анфимом, болгаринном, игуменом Зографского болгарского монастыря. С грузином Зедергольм беседует о высших вопросах: о монашестве, о подвигах, советуется с ним. С греком он говорит о состоянии Великой Церкви, о преобразованиях, которые тогда имели в виду в Царьграде. С болгаринном он рассуждает о греко-болгарском вопросе. Все трое — люди высокой жизни. Отец Иларион (грузин) пустынный и подвижник, не уступающий отшельникам времен Великого Антония и Онуфрия; отец Анфим (болгарин) примерный, превосходный игумен; иеродиакон Иларион, грек, преданный России, добрый, прямой, правдивый, оставшийся верным своим высоко-христианским убеждениям даже и во время печальных национальных распрей последних годов на Афоне.

Зедергольм всех их видимо чтит, всех их внимательно слушает и тщательно записывает их речи в свой дневник, но пустынноiku Илариону он ничего не возражает, он только благоговеет пред ним, в беседах же с болгаринoм и греком он точно так же, как и в разговорах своих с разными лицами в Константинополе, является нередко «plus royaliste que le roi».

В разговоре с зографским игуменом, отцом Анфимом о греко-болгарской распри Зедергольм является защитником греков или, вернее сказать, Цареградской Патриархии.¹⁰ Для него важно вековое учреждение, для него дорог Престол Вселенский, тот Престол, от которого и мы, русские, получили крещение и первоначальное руководство в вере. Ему мало дела до того, что этот Престол, что эта Патриархия находятся в руках греческой нации и что эта греческая нация соперничает с нами на политическом поприще. Греки, правда, и сами по себе нравились Зедергольму, он любил их язык, соединение живости и серьезности в их характере, но мне кажется, что и это расположение к нации было в нем, главным образом, основано на любви к²⁰ Православию, которого греки суть самые лучшие и сильные представители в среде восточных христиан. Ему дороги были все эти древние и великие Патриархаты, воздвигнутые на Святых Местах; для него драгоценны были учреждения, а к порокам людей он основательно и дальновидно умел быть снисходительным...

Зедергольм, я готов согласиться, заходил уж слишком далеко в своей поддержке Патриархии; он уже слишком за Вселенский Престол боялся. Ему хотелось всячески утвердить и укрепить его. Ему больно было слышать о злоупотреблениях греков и быть свидетелем раздражения болгарского духовенства.³⁰ Зографский игумен отец Анфим жаловался на греков; сам отец Анфим был человек примерной монашеской жизни, один из лучших игуменов на Афоне, умный, способный человек. Он сравнительно беспристрастен; он, например, строго осуждает другого болгарского монаха, столетнего отца Виктора, за его национальный фа-

натизм. Отец Виктор заходил так далеко в своей племенной вражде, что выражался так: «Если греки будут в раю, то я не желаю там быть!» Отец Анфим, приводя эти неразумные речи ненависти в доказательство того, что и его соотчичи очень пристрастны и нередко несправедливы, настаивает, однако, на том, что греческое духовенство не исполняет своих обязанностей по отношению к болгарской своей пастве. «Греки не дают хода духовным лицам болгарского происхождения; они уверяют, что в среде болгарских священников нет достаточно образованных людей, достойных быть Епископами, тогда как и греческие иерархи особою ученостью вообще не отличаются. Греки берут с болгар много денег, но не тратят из них ничего на местные нужды паствы, на училища и т. п., а все отсылают в Царьград. Греческие Епископы не дают себе даже труда выучиться по-болгарски; как же они могут наставлять паству?»*

Отец Анфим не одобрял явных нападок болгарских старшин и публицистов на греческую Иерархию; но в частной беседе признавал, что некоторая часть обвинений основательна.

Зедергольм не берется опровергать частные факты, но спешит и в этой беседе обобщить вопрос и перенести его на более широкое поприще *основных интересов всей Церкви*. «Не будет ли вредно для Церкви вообще отделение болгар от греков? — спрашивает он отца Анфима. — Это отделение не ослабит ли Великую Церковь (Константинопольскую)?» Потом он спрашивает отца Анфима: «Какой исход греко-болгарской борьбы он находит наиболее благоприятным?» Ответ отца Анфима показывает, что этот афонский монах требовал для соотчичей своих еще не многого:

* Разумеется, с тех пор очень многое изменялось; в эти двадцать два года. — Сила перешла на сторону болгар, явно нарушивших церковные правила.

— Пусть греки дадут нам своего независимого Митрополита (экзарха), который ставил бы архиереев в Болгарии и мог бы по временам приезжать в Константинополь. Пусть болгарские епископы имеют доступ и в Синод Великой Церкви, и к Патриаршеству.

На Афоне Зедергольм беседовал еще с греком Иларионом (иеродиаконом) об изменениях, которые тогда вносились в административное устройство Великой Церкви. Порта, желая всячески ослабить влияние Православия, стремилась ограничить и стеснить власть Патриарха посредством усиления светского элемента в окружающем Патриарха Синоде и удалить из него так называемых геронтов. Геронтами (старцами, старейшими) называются шестеро Митрополитов: Ефесский, Дерконский, Халкидонский, Ираклийский, Никомидийский и Кизический. Паства этих иерархов находилась собственно за пределами Константинопольской епархии, но жили эти митрополиты в Константинополе, как бы на подворьях среди чужой паствы и, объезжая, с одной стороны, свои епархии, с другой, участвовали в общем управлении Патриархии и представляли собою важную опору Царьградскому центральному Престолу. Порта стремилась удалить от общих дел Церкви этих геронтов и заменить их влияние влиянием светских фанариотов, разумеется, более покорных духу времени, чем епископы. Мирские фанариоты, с своей стороны, по чувству естественному всякому классу людей, были, конечно, не прочь приобрести побольше влияния на дела Церкви, имеющей на Востоке кроме духовного еще и народно-политическое значение, признанное правительством. Многие из этих фанариотов, люди европейского образования, вероятно, находили самих себя даже более достойными вести церковно-национальные дела, чем эти «отсталые, застывшие в вековой неподвижности епископы старого духа». Русское посольство того времени почему-то также скорее склонялось на сторону греческих мирян, чем на сторону Патриарха. Но Патриарха и геронтов отстаивали Митрополит Московский Филарет и Обер-

Прокурор граф А. П. Толстой. Я имею под рукой литографированную конфиденциальную записку, составленную в то время в Синоде в духе благоприятном Патриархии и геронтам. Записка эта, данная мне на прочтение Зедергольмом и оставшаяся у меня, по всем вероятностям, составлена им самим. Несмотря, однако, на все эти возражения, геронты были удалены на второй план и только позднее, при восшествии на Патриарший Престол Патриарха Григория VI, они снова были, по его настоятельному требованию, восстановлены в своих правах.* Об этих-то вопросах, об этих реформах, об этих геронтах разговаривал на Афоне грек-иеродиакон с синодальным нашим чиновником.

Вот что об этом сказано в дневнике Зедергольма:

«О современных церковных делах я имел подробные разговоры со старцем отцом Иларионом. Его мысль состоит в том, что удаление геронтов, хотя отчасти оно может иметь следствия невыгодные, оправдано непомерными злоупотреблениями геронтов. Также старец игумен Герасим и иеродиакон Иларион не одобряют того, что в Болгарию архиереями посылаются не природные болгары и даже люди, не знающие славянского языка. „Как же могут они поучать свою паству?“ В этом они видят главную причину неудовольствия болгар, хотя и не отвергают возбудительных действий римской пропаганды».

С болгариним Анфимом и с греком Иларионом Зедергольм говорил об общих церковных вопросах; внутренний же его мир, наиболее личный мир его души, раскрывается пред нами яснее, когда он в дневнике своем пишет о другом Иларионе, знаменитом старце и отшельнике.

Здесь он весь, как я уже упоминал, благоговение и любовь. Он записывал в дневнике свои мнения и возраже-

* Об этом восстановлении я не имею под рукой верных справок, но говорю это со слов покойного отца Климента; вообще Зедергольм, как человек очень строгий в Православии, всегда, до конца жизни крепко стоял за авторитет Великой Цареградской Церкви.

ния, когда касалось до других лиц; об Иларионе он только повествует и только записывает тщательно почти каждое его слово, забывая о *своих* мыслях при воспоминании о великом пустыннике, — Зедергольм именно в эти-то минуты является более нежели когда-либо *самим собою*, то есть человеком, желающим достичь, по мере сил, того *высшего самоуничужения во Христе, которое зовется духовным просветлением*.

Не могу удержаться, чтобы не рассказать здесь о старце. Вот выписки из дневника Зедергольма. 10

«*Скит Святой Анны*. Первое свидание с иеросхимонахом старцем Иларионом.

Отец Иларион родом из грузинских дворян. Четырех лет от роду его взял к себе на воспитание дядя его, иеродиакон, живший в пустыне безлюдной. По воскресеньям дядя уходил в город говорить проповеди, и малютка оставался один. Случалось, что подходил к келье медведь и наводил на него страх и ужас. Двадцать лет рос Иларион в глубоком уединении, а потом родные его взяли ко двору Грузинских царей. Многие в придворной жизни изумляло 20 благочестивого юношу-пустынника. „Как же это? — говорил он себе. — Ведь они христиане. Так как же они постоянно обманывают друг друга, злословят, проводят жизнь в неге и совершают другие дела, совсем не свойственные христианам?“ Наконец Иларион возымел твердое намерение бросить мир и принять монашество. Но вскоре посветили его в иеромонахи и сделали придворным духовником. Отец Иларион оказал важные политические услуги своему отечеству.

Впоследствии он сопровождал Грузинскую царевну в 30 С.-Петербург. Суета столичная глубоко не нравилась ему, тем более, что он замечал, что духовная дочь его стала увлекаться общим примером, нарушала посты и т. д. Наконец он решился тайно уйти и удалился в 1818 году на Афон.

Здесь он отправился сначала в Ивер, но жизнь там не понравилась ему, и он вступил в строгий общежительный

монастырь Дионисиат, но скрыл здесь свое происхождение и то, что он иеромонах. Несколько времени он провёл в поварне, но после узнал его на Карее приехавший из Грузии архимандрит, и по Святой Горе разгласилось, что в Дионисиате скрывается, под видом простеца, иеромонах и царский духовник. Огорчился дионисиатский игумен и стал выговаривать Илариону. Тот, испросив прощения у игумена, возвратился было в поварню, но там его не приняли. После этого он жил в строгом уединении сначала в пирге*
10 монастырском, потом в совершенном затворе и теперь редко кого видит. Келия его от скита в расстоянии двухчасовом, на холме столь уединенном, что там не слышать ни кузнециков, ни других насекомых.**

Отцу Илариону теперь восемьдесят один год. Роста он среднего, довольно плотного сложения. Черты лица тонкие и правильные. Прежде у отца Илариона были волосы густые, длинные. Он лишился их вдруг, живя в пещере. Брови темные, густые. Борода окладистая, седая. В лице
20 выражается совершенное спокойствие духовного человека, победившего страсти. В разговоре и обращении необыкновенная простота. Отличительные свойства его — смирение, трогательное в почтенном старце, к которому все питают невольное благоговейное уважение, и ревность о славе Божией. Речь его одушевленная, сильная.

Кроме грузинского языка отец Иларион знает только турецкий и немного греческий. Ученик его, иеромонах Савва, переводит то, что говорит старец, с турецкого на греческий, а отец Иероним*** или другие, с греческого на русский.

30 Отец Иларион согласился для собеседования с нами отправиться в Руссик.

* Башня, обыкновенно на берегу моря, отдельная от монастыря.

** Вероятно, по отсутствию всякой растительности.

*** Главный духовник русского Пантелеймоновского монастыря на Афоне.

Отец Иероним об отце Иларионе рассказал еще следующее: в 1821 году, во время восстания греческого народа, паша был прислан смирить Афон и потребовал к себе игуменов всех монастырей. Вместо дионисиатского игумена, который побоялся идти, отправился отец Иларион. Паша, бывший родом из Грузии, вступил с ним в разговор, выразил удивление, что он пошел в монахи, потом стал хулить Христианство и предложил принять Ислам. Отец Иларион начал было сильно возражать, но афонские отцы остановили его и силою заставили его отойти и оставаться в задних рядах. Возвратившись в монастырь, отец Иларион рассказал все случившееся игумену, сказал, что совесть ему не дает покоя, что он остался в долгу у паши ответом на его хулы и наконец взял благословение отправиться в Солунь, где находился паша, чтоб исповедать пред ним Христианство. Пришедши туда накануне Байрама, он застал много гостей у паши, который очень обрадовался его приходу, полагая, что он пришел принять Ислам. Но отец Иларион пред всеми гостями стал доказывать паше истину Христианства и порицать Ислам. Поднялся ужасный крик, и паша был принужден приказать, чтоб отца Илариона сейчас же казнили.* Его повели на площадь, и множество народа следовало за ним. Но вдруг какие-то два офицера, в богатой одежде, выхватили его, повлекли за город и, когда народ, следовавший за ними, отстал, сказали по-грузински ему, чтоб он скорее бежал без оглядки. Это были его земляки, любимцы паши, которые сказали ему, что казнь грузина-монаха будет стыд для грузинского народа и для них и что они оставят пашу, если он не помилует его. Паша предоставил им распорядиться, как они знают. Впоследствии отец Иларион с сожалением говорил о том, что он по недостойнству своему не сподобился принять мученический венец.

* В то время, о котором здесь идет речь, паши имели право казнить. Впоследствии это право было у них отнято, по крайней мере на мирном положении.

Еще рассказал сам отец Иларион при мне следующее (в день нашего отъезда с Афона). Когда его выслали из Дионисиатского монастыря, он сел под кусточком и сказал своему ученику, попу Савве: „коли хочешь, иди куда тебе угодно, а коли хочешь остаться у меня, будем дожидаться, пошлет ли нам Бог хлеба или нужно нам умереть”. Ученик не оставил своего старца. Вскоре принесли им хлеба. Потом монахи Аннинского скита, знавшие старца, отправились в Лавру, без ведома купили для него келью в Малой

¹⁰ Анне, взяли старца под руки, повели его в его келью и положили ему в руки контракт (так называемая *омология*), заключенный ими за него с Лаврою. Возблагодарил старец Господа. Сидит он в келье, а хлеба нет. Наконец приходит монах из Руссика, отец Софроний, и говорит, что привез ему пшеницы десять мешков. С тех пор постоянно из Руссика доставляют старцу хлеб, и больше ему ничего не надо. Он и ученик его постоянно питаются хлебом и водою. В понедельник 11 июля отец Макарий* пригласил отца Илариона пообедать с нами. Старец отказался, говоря, что день постный. Отец Макарий сказал, что если старец не будет обедать с нами, то и он не сядет. Старец согласился, и ученик его сел с нами. Старец кушал и рыбу, а отцу Савве подали без масла. После узнали мы, что за то, что он покушал рыбы в понедельник, старец целый день не ел и не пил ничего и в следующий день лишил себя причастия. К себе отец Иларион строг, а к другим полон снисходительности и любви. 12 числа за обедом отец Иларион спросил: зачем нам не дают мяса? 14 числа, когда я говорил ему, что С. сильно тоскует, старец сказал, что это

²⁰ происходит от того, что П. И. изнемог от продолжительного поста, и что если бы был тут баран, он готов сам изжарить его для П. И. Мирскому человеку есть мясо не грех, — сказал он. — Только в пост надо потерпеть. Во

³⁰ вторник, двенадцатого июля, говорил я о себе отцу Илари-

* Нынешний игумен Пателеймоновского монастыря, а в то время второй духовник русской братии.

ону. Старец сказал, что познать истину Православия — великое дело. Я сказал, что дела должны быть сообразны с верою. „Какие дела христианина? — отвечал отец Иларион. — Он не должен иметь двух жен и исполнять другие заповеди, а совершать такие дела, как Антоний Великий, не каждому дано”.

Еще в Аннинском скиту, когда отец Иларион видел меня в первый раз, он обратился ко мне с вопросом, улыбаясь: отчего я отпустил бороду? Не хочу ли идти в монахи? Когда я впоследствии объяснил о своих намерениях, старец одобрил их и стал говорить о трудностях жизни семьянина и мирянина. „Одно дитя глухое, другое кривое, третье хромоте, четвертое хорошее, да скоро умирает. А жена — не знаю, какие теперь бывают жены. У мирянина — жена, дети, друзья, враги; а монах ничего этого не знает. В мире надо также постоянно лгать, а диавол это любит”.

Когда я сказал о распространении у нас итальянской иконописи и итальянского церковного пения, о разрешении на рыбу в среду и пятницу, о предпочтении еврейского текста переводу 70 толковников, о погребении иноверцев православным духовенством, о принятии латин и лютеран посредством одного миропомзания и других различиях наших от Греческой Церкви (по мнению отца Илариона, диакон может служить не причащаясь), отец Иларион сказал, что необходимо надобно все это исправить, чтобы еретики не могли попрекнуть нас, и, исправив у себя, исправлять что следует и в Константинопольской Церкви. Если к этим исправлениям и другим полезным мерам можно даже понудить наших преосвященных посредством Царской власти, то и это считает отец Иларион полезным для Церкви. Пусть восторжествует всегда истина, на чьей бы стороне она ни находилась. Удалив недостойного архиерея, мирская власть не унижает Церковь, а охраняет ее. Всякое послабление вредно, если дело касается пользы Церкви. Господь любит ревнующих о славе имени Его. Обо всем, что требуется для блага Церкви, нужно свидетельствовать дерзновенно хоть бы и мирянину пред архие-

реем и по силам заботиться неослабно. Если же мы сделаем все, что зависит от нас, а усилия наши не увенчаются успехом, то мы можем скорбеть, как скорбел Иеремия, но не чрезмерно, зная, что дела наши записаны на небесах, и предоставляя судьбы мира Промыслу Божию. В Персии, где Апостолы насадили Христианство, не осталось ни одного христианина. Как голубица Ноева принесла ветку, означающую милость Божию, так и мы должны полагать пред архиереями и пред кем следует полезное предложение. Если примут — хорошо. Если не примут — они узрят, мы сделали свое дело. О разрыве с греками отец Иларион полагает, что его страшатся греки больше нас. Когда мы сказали о распространении в России книг кощунственных и т. д., старец сказал, что и этому надо противиться по силам; потом присовокупил, что, слыша это, жалеет, что ушел из России. „Мог бы я жить близь Киева, питаться хлебом и водою и не знать ничего, что делается там, а слышать это теперь — для меня тяжкий канон”. Старец видимо огорчился глубоко.

20 Старец редко выходит из своей кельи; для нас он решился посетить Русик, так как беседа наша касалась исключительно дел церковных. Он оказывал нам благоволение».

Прибавлять ко всему этому, кажется, нечего. По всем вероятностям, ничто так не утвердило Зедергольма в желании стать монахом, как поездка на Афон и беседы с отцом Иларионом.

Чрез два года по возвращении из этой командировки Зедергольм вышел в отставку и поступил в послушники Оптиной пустыни.

30

II

Раз почувствовав влечение к Православию, Зедергольм предался своей избранной идее со всею твердостью и выдержкой германского характера, со всею ясностью и последовательностью философски воспитанного ума... Ему мало показалось быть православным мирянином; он захотел

стать монахом. Это было вполне последовательно. Конечно, не все, а только очень незначительная часть христиан могут посвящать себя иноческой жизни, и в самое благоприятное для монашества время монахов бывало немного сравнительно с мирянами. Но последовательность здесь, как известно, та, которая выражена Спасителем в ответе богатому юноше, желавшему спастись: *Если же хочешь совершен быти, то раздай имение свое нищим и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи и следуй за Мною* (Евангелие от Матф. 19, 21). 10

«Заповеди (Христовы), — говорит авва Дорофей, объясняя значение монашества, — даны всем христианам, и всякий христианин обязан исполнять их; они, так сказать, дань, должная царю. И кто отрекающийся давать дани царю избег бы наказания? Но есть в мире великие и знатные люди, которые не только дают дани царю, но приносят ему и дары; таковые сподобляются великой чести, великих наград и достоинств. Так и Отцы: они не только сохранили заповеди, но и принесли Богу дары. Дары же сии суть: девство и нестяжание. Это не заповеди, 20 но дары; ибо нигде не сказано в Писании: не бери жены, не имей детей. Также и Христос, говоря: *продаждь имения твоя* (Матф. 19, 21), не дал этим заповеди; но когда приступил к нему законник и сказал: *учителю благий, что сотворив живот вечный наследую*, (Христос) отвечал: ты знаешь заповеди: не убий, не прелюбодействуй, не укради, не лжесвидетельствуй на ближнего своего и проч. Когда же тот сказал: *сия вся сохраних от юности моя*, (Господь) присовокупил: *аще хочещи совершен быти, продаждь имения твоя, и даждь нищим* и проч. (Матф. 19, 30 21). Он не сказал: *продай имение твое, как бы повелевая, но советуя, ибо слова: аще хочещи* не суть слова повелевающего, но советующего» (Поучение первое аввы Дорофея об отвержении от мира).

Христианство далеко от нынешнего учения земных удобств и земного благоденствия. В основании своем оно есть безустанное понуждение о Христе; и все наши добрые

качества, облегчающие нам от времени до времени эту борьбу духа и плоти, суть не что иное, как дары Божии. Заслуга только в вере, в понуждении, в покаянии и в смирении, если не можешь понудить себя; все невольно хорошее в нас, все естественно доброе есть дар благодати для облегчения борьбы. Когда, вопреки сухости сердца и равнодушию ума, идет христианин в церковь или дома становится на принудительную молитву, это выше, с точки зрения личной заслуги, чем молитва легкая, радостная, умиленная, горячая... Такая приятная молитва есть дар, награда, милость. Это не наше, это Божие. Наши только вера и смирение, то есть презрение к себе и благодарение Богу за все, даже и за нестерпимые муки в здешней жизни.

Один добрый принудительный поступок человека жестокого или холодного (по данной ему, без вины его, натуре) ценнее в глазах Церкви, чем многие милости и многие щедроты по природе добродушного и щедрого человека. Симпатичнее нам, людям, будет, конечно, этот последний; мы можем только признать, что ему по благодати отпущен такой высокий дар благодати; но один хлеб, брошенный нищему скупцом Петром-мытарем, ценится, по учению Церкви, более, чем самая привлекательная (в житейском смысле) щедрость расточительного по нраву человека. Возьмем другой пример. Мария Египетская была страстная по природе женщина; она не искала даже мзды за те грешные удовольствия, которые доставляла людям ее красота. Она не по природному темпераменту стала чиста и строга, а по страху Божию. Если б она была женщина с природною благодатью чистоты или некоторой холодности, то ей бы не нужно было скрываться в пустыне. Тогда ей нужна была бы борьба не против чувственности, а против чего-нибудь другого; например: против внутренней гордости, жестокости, лжесмирения, лукавства, как бывает часто с людьми хладнокровными или более чистыми и по природе строгими в нравах.

«Нудящие себя только восхищают Царство Небесное...» Вот почему монашество стало развиваться и расп-

ространяться на Востоке и Западе именно с тех пор, как прекратилось внешнее гонение. Мученичество, внешние гонения были сначала средством получить «небесные венцы». Только после мирского торжества Христианства явилась потребность иного мученичества, добровольного, свободного отречения от соблазнов, от роскоши, даже от самых невинных, допущенных законом, радостей семейной жизни. Если кто думает, что это легко, пусть попробует. Он увидит, что и в наше время быть добросовестным монахом есть великий труд (я говорю — добросовестным); и если есть у этих добровольных мучеников утешения и отрады, то они или детски просты (например: отдохнуть лишний час, съесть что-нибудь получше, чего давно уже не ел и не видал даже), или самого высокого, самого идеального, мистически-сердечного, так сказать, характера.

Хорошее монашество есть высокий цвет Христианства; те, кто думают, что Церковь может жить без монашества (хотя бы и весьма несовершенного и слабого), ошибаются. Указывать на то, что первые века Церковь жила без монахов, значит впадать в заблуждение людей, не знающих дела. В первые века Церковь жила и без правильной церковной службы, без определенной литургии, без окончательно утвержденного учения о таинствах, без ясно разработанного догмата. Если так, если все дело и весь пример в первых двух-трех веках, то отчего же не оставить бы и ясный догматизм, и литургию, и все церковные обряды, предоставить каждому выводить что ему угодно из Евангелия и апостольских посланий? Однако многие из нерадящих о монашестве и презирающих его испугались бы подобной дерзости...

Монашество, сказал я, есть цвет Христианства; слишком молодое деревцо еще не цветет и плодов не приносит; и слишком старое, близкое к гибели дерево также перестает цвести. Монашество было не нужно в первые века гонений, простоты и сравнительной малочисленности христиан; оно стало потом естественным результатом развития, и гибель монашества была бы верным предвестником гибели

самого православного церковного учения, то есть в том народе, который оставил бы иночество.

Вот почему, говорю я, мог человек с таким твердым и философски-последовательным умом, каков был Зедергольм, шаг за шагом дойти до монашества.

Мы были с ним очень близки; я просил его однажды сказать мне, были ли в его жизни, в молодых годах, какие-нибудь сильные сердечные потрясения, какие-нибудь романтические перевороты или нестерпимые бури, которые заставили его удалиться от мира, где он был для своих лет очень выгодно и хорошо поставлен.

Отец Климент улыбнулся своею милою и веселою улыбкой и отвечал мне, пристально поглядев на меня: «видите, я не могу и не стану исповедываться вам; но скажу вам вообще, что таких потрясений, о каких вы, вероятно, думаете, не было. Я шаг за шагом, мыслью дошел до необходимости стать монахом... Я хотел поступить сюда еще раньше, чем пришлось. Но случилось так, что в Петербурге я кой с кем перессорился; покойный оптинский старец, отец Макарий, узнав об этом, сказал мне: „Нет, поезжай, еще послужи, помирись со всеми и тогда приезжай“. Когда я вернулся и вошел к отцу Макарию, я увидал у него в келье видного молодцоватого мужчину с окладистою бородой в новом подряснике. Это был Богородицкий предводитель Ключарев, богатый человек, поступивший тоже в послушники Оптинского скита. Я был с ним знаком, но так как он прежде брился и носил обыкновенное штатское платье, то я его и не узнал. В подряснике и с бородой он стал гораздо красивее. Отец Макарий немного погодя сказал: „что ж, не пора ли и тебе надеть подрясник? Вот посмотри, Федор Захарыч Ключарев каким у нас молодцом стал!“ Я отвечал, что очень рад, и так стал монахом...»

В Оптиной он прожил около пятнадцати лет, был иеродиакonom, потом иеромонахом, но никакой начальнической должности не занимал, ни духовником или старцем не был.

Что такое старчество — я постараюсь сейчас объяснить. Вообще из людей долго зажившихся в міру, как бы искренни и добросовестны они ни были, очень редко выходят замечательные духовники и старцы-руководители. Большинство знаменитых старцев очень рано оставляло мір и посвящало себя иноческой жизни.

Почему ж Зедергольм выбрал именно Оптину? Я сказал, что Ив. В. Киреевский сблизил его с этою обителью. Но было же какое-нибудь у Киреевского серьезное основание особенно рекомендовать новообращенному протестанту именно этот монастырь для руководства в христианской жизни? Основание то, что в Оптиной с 20—30-х годов начало процветать старчество. Что такое «старчество», люди, не посещающие монастыри и не знакомые ни с историей Церкви, ни с духом истинного Православия, вовсе не знают.

Рискуя привести в ужас некоторых из моих просвещенных читателей, я прямо скажу, что старец у нас есть именно то, что у католиков называется «*directeur de conscience*». Не понравится подобное приравнение может с двух совершенно притивоположных точек зрения. Слышать, что православный старец есть то же самое, что «*directeur de conscience*», может быть неприятно и очень православному человеку, и человеку равнодушному в делах веры; первому потому, что он смотрит на Папство как на заблуждение, а второму потому, что «иезуиты де очень лукавы и слишком много стараются приобретать влияния. И, наконец, разве у всякого нет свидетельства своей собственной совести?»

Но этого рода рассуждения происходят лишь оттого, повторяю, что у нас слишком мало знакомы с историей Христианства, с его основами, оттого, что настоящий его смысл «не от міра сего» забыт, и образованный человек считает себя вправе брать из Христианства то, что ему вздумается, и отвергать то, что ему кажется отсталым и бесполезным.

Недавно, случайно перелистывая одно издание шестидесятых годов, я нашел там следующее место в статье одного из мыслящих соотечественников наших.

Дело идет о поэте Гейне. Вот что говорит между прочим автор (Н. Н. Страхов):

«При этом идею Христианства Гейне толкует совершенно на католический лад; главное ее содержание он видит в презрении к плоти, в преувеличенном спиритуализме, в признании за зло всей природы, всех естественных влечений и радостей, в аскетическом отречении от мира» (Ж. «Заря» 1870. Статья «О литературной деятельности Герцена»).

¹⁰ Таким образом, ученый автор считает особенностью Католицизма именно то, что у него есть общего с православным учением.

Не аскетическим взглядом на жизнь, на страх Божий, на смирение, на глубокую прирожденную греховность нашей природы, не отрицанием всемогущества разума человеческого, не отрицанием возможности какого бы то ни было счастья на этой земле, не советами безусловно, по мере сил, покоряться учению Церкви и советам ее представителей в нашей личной жизни — отличается Католичество от Восточного Православия, а позднейшим искажением тех основных догматов, которые были признаны первоначальной Церковью, и введением новых, подобно догмату единоличной непогрешимости Папы (вместо непогрешимости Вселенских Соборов), о незапятнанном первородным Адамовым грехом зачатии Божией Матери или об исхождении Св. Духа и от Сына, и другими.*
²⁰ Вообще надо заметить, что Папство мало существенного убавило и отвергло из учения единой и всеобщей первоначальной Церкви, но, напротив того, прибавило много
³⁰ лишнего. Поэтому в нем и не могло не остаться многого из первоначального апостольского и святоотеческого учения.

* Кроме основных изменений, введенных Католичеством, есть еще много второстепенных уклонений, которые очень хорошо объяснены и изложены в книге отца Владимира, бывшего аббата Гетте: «Изложение православного восточного исповедания».

Зедергольм, читая не совсем правильные нападки на Западную Церковь в наших светских, а иногда и духовных журналах, говорил мне: «В Католичестве истина до того глубоко спутана с самыми опасными для души заблуждениями, что надо обращаться с ним очень осторожно: и хвалить трудно Западную Церковь, и опрометчиво, не попад порицать ее опасно пред публикой. Воображая, по неведению, что порицаешь только одно Папство, можно очень легко и некоторым сторонам наших верований вредить!»

10

Сверх этого, надо заметить еще вот что: хотя вся историческая судьба России тесным образом связана с Православием и даже в современной нам великой борьбе за свободу восточных христиан Православие является знаменем, под сению которого наше войско совершало свои блистательные подвиги; однако надо, в некоторых случаях, как можно внимательнее отличать наши национальные свойства от свойств, принадлежащих самой Православной Церкви. Учение Церкви одно, но приложение этого учения к жизни, история практических отношений Церкви к народу может быть разная в разные времена и у различных наций, исповедающих ту же веру. Различать это чрезвычайно важно уже для того одного, чтобы национальные недостатки или исторические несчастья наши не переносить ошибочно на характер самой Церкви. Хомяков в своих письмах к Пальмеру говорит: «Сомневаться в истине Православия нельзя только потому, что проповедь его идет не так успешно, как проповедь Католицизма. Это может зависеть от национальных недостатков тех народов, которые в настоящее время служат главными представителями восточного Православия. Русские и греки виноваты в этом, а не учение Церкви».* Хомяков говорит это относительно внешней проповеди; то же самое можно сказать и относительно внутреннего руководства совестей. Не учение Церкви Православной противно духу старчества (то есть

20

30

* Я пишу это на память, не имея здесь сочинений Хомякова.

духовному руководству совести), а наши исторические условия, наши национальные недостатки тому виною, что старчество (несомненно сильно развитое у нас в удельный и московский периоды наши) заглохло в последние века не только по отношению к верующим мирянам, но и в стенах монастырей. Подчиняясь в общих чертах уставам Церкви, высшее и более образованное сословие наше уже давно привыкло полагаться только на собственный ум и собственную совесть даже и в важных вопросах, и к духовнику обращалось лишь как к совершителю треб, который нравственных наставлений не мог преподавать. И к несчастью, в большинстве случаев наше образованное сословие было право. В монастыри не всякий имел время, средства и охоту далеко ездить; а белое наше, и сельское, и городское, духовенство было издавна, за немногими исключениями, поставлено в такое жалкое положение, что кроме боязни, простительной корысти и человекоугодия, оно не могло ничего обнаруживать пред людьми образованных классов. Какое же тут могло быть старчество?

20 Определяя точнее смысл старчества, надо сказать так: разум наш недостаточен; есть минуты в жизни, когда он нам неотступно твердит: «я знаю только то, что я ничего не знаю!» Нужна положительная вера; у меня эта вера есть. Я знаю, положим, в общих чертах учение Церкви. Читал *Жития*. Там я беспрестанно вижу примеры, как цари, полководцы, ученые и вообще миряне прибегали за советами к людям высокой духовной жизни, к людям, освободившимся, по возможности, по мере сил человеческих, от страстей и пристрастий. Отпущения грехов на исповеди

30 мне недостаточно; меня это не успокаивает; я не доверяю вполне и постоянно по долгу христианского смирения свидетельству одной моей совести, ибо это свидетельство прежде всего основано на гордости личного разума; поэтому в трудных случаях моей жизни, где я беспрестанно поставлен между грехом и скорбью, я хочу обращаться с верой к человеку беспристрастному и по возможности удаленному от наших мирских волнений, хотя и понимающему их пре-

красно. Я верю не в то, чтобы духовник или старец этот был безгрешен (безгрешен только Бог; и святые падали), ни даже что он судом своим непогрешим (это тоже невозможно). Нет! я с теплою верой в Бога и в Церковь и, конечно, с личным доверием к этому человеку за его хорошую жизнь, прихожу к нему, и что бы он мне ни ответил на откровение моих тайных даже помыслов, я приму покорно и постараюсь исполнить. А при этом я, верующий мирянин, могу быть лично и очень умен, и чрезвычайно развит, и в житейских делах гораздо даже опытнее этого старца. Но стоит мне только вспомнить историю человечества или взглянуть беспристрастно на окружающую жизнь, чтобы понять, до чего даже гений бывает иногда неразумен и до чего самый хороший человек иногда срывается и в отдельных случаях поступает хуже худого. И Священное Писание, и история Церкви к тому же совпадают вполне в этом отношении с практической жизнью. Иуда был апостол; а разбойник разбойничал. И так различно они кончили свою жизнь! Арий был человек лично прекрасной жизни, но он сделал Церкви и человечеству более вреда своею умственной гордостью, чем многие убийцы и развратные люди.

Вот смысл отношений ученика и духовного сына к старцу.

Думать, что подобное отношение к духовнику есть исключительно католическая черта и Православию совершенно чуждая, значило бы то же, что считать — что бы такое?.. ну, например, что плохая обработка русских полей есть отличительная черта славянских воззрений на агрономию, а не случайный и временный результат исторических и географических условий нашей национальной жизни.

Как же может учение Православной Церкви не требовать, чтобы духовенство было как можно влиятельнее на нашу личную жизнь, когда оно так высоко ставит и сан священства, и монашеский образ?

Наша распушенность, общая и мирянам, и духовенству; наше равнодушие, наш «поздний ум, богатый с колыбели

ошибками отцов», — вот в чем причина сравнительной слабости у нас духовного руководства, а не в какой-либо существенной черте церковного учения.

Монах, в сущности, все тот же православный христианин, как и не монах, только поставленный в особые благоприятные для строгой жизни условия; и мирянин верующий, в сущности, все тот же аскет, только с большею свободой. Если взять и в наше время целый ряд убежденных христиан, начиная от строжайшего афонского пустынножителя до какого-либо человека богатого или высокопоставленного в обществе, то как бы ни велика была разница во внешнем образе жизни всех этих людей, поставленных между двумя крайностями — между сырою пещерой афонского схимника и барскими палатами русского государственного деятеля, все же идеал сердечный у них один, философия жизни одна, нравственный критерий один, догматы одни, усилия направлены к одной и той же цели, к поддержанию в себе, во время земной жизни, близости ко Христу и к Его учению. Быть может, иногда мирянину, занятому гражданскими и другими личными обязанностями, окруженному соблазнами роскоши и живущему во многолюдном городе, труднее принудить себя каждый день заходить только поутру в часовню (как делал, например, погибший столь трагическою смертью генерал Мезенцев), чем монаху выстоять большую службу; уже по тому одному труднее, что мирянина ничто к тому не понуждает, кроме собственной веры; а монаха, живущего в общине, понуждает быть в церкви так называемая среда, тогда как его одолевают лень и рассеянность. Не для Бога, так для братии он пойдет в церковь.

Итак, говорю я, разница между самоограничивающим и понуждающим себя о Христе мирянином и монахом только количественная, а не качественная, не существенная. У хорошего монаха те же краски гуще, черты выразительнее, та же сущность, но более освобожденная от всех мирских украшений и тягостей. Иначе, какое же бы могло иметь значение монашество, если б оно не исходило, как высший

плод, из того же христианского общества и если бы, с другой стороны, посредством своих молитв, своего примера и своего руководящего влияния, оно на этот внешний христианский мир не влияло?

В этом смысле, говоря о пользе и даже необходимости старчества для монахов, надо подразумевать и то, что оно и для мирян может быть чрезвычайно полезно.

Я даже спрашиваю себя, не полезнее ли оно иногда для мирян, чем для самих монахов? Монах, если он мало-мальски добросовестен, сдерживается начальством, общиной; он беспрестанно в церкви слышит поучения, имеет всю возможность читать беспрестанно Св. Писание и Святых отцов, а мирянину *нашего времени* когда самому подумать внимательно о Боге и своей душе?

Чтоб указать, до какой степени духовенство и старчество были у нас в забвении, лучше всего выписать историю возобновления в Оптиной пустыни этого древнего христианского обычая из жизнеописания оптинского старца иеросхимонаха Леонида (жизнеописание составлено тем самым отцом Климентом, о котором здесь идет речь).

«В Оптину пустынь отец Леонид прибыл в апреле 1829 года с шестью учениками. Переход отца Леонида в Оптину пустынь весьма замечателен тем, что им введено и упрочено в этой обители так называемое старчество. Этот основанный на евангельском, апостольском и святоотеческом учении образ монашеского жития в наше время пришел в такое забвение, что считаем не лишним сказать здесь о нем несколько слов.

Старчество состоит в искреннем духовном отношении духовных детей ко своему духовному отцу, или старцу.

„Не всех же должно вопрошати, но единого, ему же вверено есть и других окормление и житием блистающа, убога убо суща, многа же богатяща по Писанию (послание Апостола Павла к Коринфянам 2-ое, гл. 6, ст. 10). Мнози бо не искусни, мнози несмысленных повредиша, их же суд имут по смерти. Не всех бо есть наставити и инех, но им же дадеся божественное рассуждение, — по Апостолу,

рассуждение духов (1 Кор. 12, 10), отлучающее горшее от лучшего мечем слова. Кийждо бо свой разум и рассуждение естественно или деятельно или художественно имать, а не вси духовное”.

Духовное же отношение требует от руководимых, кроме обычной исповеди пред причащением Св. Таин, и частого по потребности исповедания старцу и духовному отцу не только дел и поступков, но и всех страстных помышлений, и движений, и тайн сердечных.

¹⁰ Путь старческого окормления во все века Христианства признан всеми великими пустынножителями, отцами и учителями Церкви самым надежным и удобнейшим из всех, какие были известны во Христовой Церкви. Старчество процветало в древних египетских и палестинских киновиях, впоследствии насаждено на Афоне, а с Востока перенесено в Россию. Но в последние века, при всеобщем упадке веры и подвижничества, оно понемногу стало приходить в забвение, так что многие начали отвергать его. Уже во времена Нила Сорского старческий путь многим ²⁰ был ненавистен, а в конце прошедшего столетия и почти совсем стал неизвестен. К восстановлению в России этого основанного на учении Св. отцов образа монашеского жития много содействовал знаменитый и великий старец архимандрит молдавских монастырей Паисий Величковский. Он с великим трудом собрал на Афоне и перевел с греческого языка на славянский творения аскетических писателей, в которых содержится учение о монашеском житии вообще и в особенности о духовном отношении к старцам. Вместе с тем в Нямецком и других подчиненных ему молдавских монастырях он показал и применение этого учения ³⁰ к делу. Одним из учеников архимандрита Паисия, схимонахом Феодором, жившим в Молдавии около 20-ти лет, этот порядок иноческой жизни передан иеросхимонаху Леониду, а им и учеником его старцем иеросхимонахом Макарием насажден в Оптиной пустыни.

Тогдашний оптинский настоятель отец Моисей и брат его, скитоначальник отец Антоний, положившие основание

своего иночества в Брянских лесах, в духе древних великих пустынножителей, давно желали ввести старчество в Оптиной пустыни, но сами не могли выполнить этого дела, потому что были озабочены многотрудными и многосложными занятиями по устройству и управлению обители и потому что вообще соединение в одном лице двух этих обязанностей, настоятельства и старчества, хотя в прежние времена при простоте нравов и было, но в наше время весьма неудобно и даже невозможно. Когда же в Оптиной пустыни поселился отец Леонид, тогда отец Моисей воспользовался этим и, зная его опытность в духовной жизни, поручил его руководству всех братий, жительствовавших в Оптиной пустыни, и всех приходивших на жительство в монастырь. ¹⁰

С того времени весь внутренний строй монастырской жизни изменился в Оптиной пустыни. Без совета и благословения старца ничего важного не делалось в обители. В его келье ежедневно, особенно в вечерние часы, стекались братия с душевными своими потребностями, каждый спешил покаяться пред старцем, в чем согрешил в продолжение дня делом, словом или помышлением, просить его совета и разрешения во встретившихся недоумениях, утешения в постигшей скорби, помощи и подкрепления во внутренней борьбе со страстями и с невидимыми врагами нашего спасения. Старец всех принимал с отеческою любовью и всем преподавал слово опытного назидания и утешения. Вот как описывает келью отца Леонида очевидец иеромонах Антоний: ²⁰

„Келия старца, от раннего утра до поздней ночи наполненная приходившими к нему за духовную помощь, представляла картину, достойную кисти художника. Старец в белой одежде, в короткой мантии, был виден из-за круга учеников своих, которые стояли пред ним на коленях,* и лица их были одушевлены разными выражениями ³⁰

* Исповедание помыслов на коленях, в знак смирения — древний христианский обычай (смотри «Лествицу». Сл. 4, гл. 62, 34).

чувств. Иной приносил покаяние в таком грехе, о котором и не помыслил бы не проходивший послушания; другой со слезами и страхом признавался в неумышленном оскорблении брата. На одном лице горел стыд, что не может одолеть помыслов, от которых желал бы идти на конец света; на другом выражалась хладнокровная улыбка неверия ко всему видимому: он пришел, наряду с другими, явиться только к старцу и уйти неисцеленным; но и он, страшась пронизательного его взгляда и обличительного слова, потуплял очи и смягчал голос, как бы желая смягчить своего судию ложным смирением. Здесь видно было истинное послушание, готовность лобызать ноги старца, там немощный, отринутый всем миром, болезненный юноша не отходил от колен отца Леонида, как от доилицы ее питомец”.

Благодетельно стали отражаться богомудрые наставления на Оптином братстве, которое понемногу начало совершенствоваться в нравственном отношении. Мудрость старца, свидетельствуемая любовью и почтением к нему настоятеля и братии, скоро сделала отца Леонида известным и вне обители. Ради духовных советов начали приходить к дверям его кельи из городов и селений разного рода люди: дворяне, купцы, мещане и простой народ обоего пола. Все были принимаемы старцем с сердобольным, отеческим расположением и любовью, и никто из приходящих не выходил из его кельи, не быв утешен им духовно. С каждым годом стечение народа в Оптиной пустыни значительно умножалось, чрез что она видимо процветала. Понимавшие хорошо духовную жизнь мужи, но подвизавшиеся в затворе или безмолвии, со всех сторон России стали присылать под руководство отца Леонида в Оптину пустынь, для обучения в монашеской жизни, людей всякого сословия, искавших для сего более надежного пристанища».

На отца Леонида и на Оптину пустынь в сороковых годах за это кажущееся нововведение было поднято гонение. По зависти и невежеству, это было сочтено каким-то расколом, ересью. Преосвященный Николай Калужский

имел слабость поддаться этим наущениям и несколько раз запрещал отцу Леониду принимать мирян, которые рвались в его двери толпою. Отец Леонид и настоятель Оптиной пустыни архимандрит Моисей, подчиняясь повелению владыки, из послушания переставали допускать народ; но люди, привыкшие к беседе старца и его наставлениям, помещики, купцы, военные, простолюдины городские и сельские, множество женщин, монахини из многих обителей требовали его духовного слова и невыносимо страдали без него. Однажды случилось вот что. Сострадая своей духовной пастве, отец Леонид решился наконец, вопреки запрещению архиерея, допустить к себе огорченных мирян. (Надо понимать, какое ужасное отчаяние может чувствовать человек, который утратил веру и в себя, и в свой разум, и в близких, и вообще в силу помощи человеческой, и который кроме горя и греха в себе и вокруг себя ничего не видит, если у него отнимают единственную опору его — спокойного и бесстрастного духовного утешителя... Это ужасно!) Преосвященный Николай Калужский вскоре после этого приехал в Оптину. Владыка шел в церковь по монастырскому двору, полному народа. Вдруг вышел из кельи своей отец Леонид, чтоб идти в ту же церковь. Мгновенно толпа отхлынула от архиерея и бросилась к старцу, окружила его, теснясь и требуя благословения.

Отец Леонид старался со своей стороны протесниться ко владыке, чтобы поклониться ему.

Когда он приблизился, архиерей сказал ему укорительно: «А ты все еще с народом возишься?»

— Пою Богу моему дондеже есмь! — отвечал твердо и спокойно отец Леонид.

Этот ответ так понравился архиерею, что он с тех пор перестал тревожить отца Леонида, и старчество укрепилось в Оптиной и процветает в ней до настоящего времени.

Отцу Леониду наследовал знаменитый духовник и друг его отец Макарий (из калужских дворян); потом отец

Иларион и нынешний главный духовник отец Амвросий (они оба были прежде келейниками отца Макария). Наконец сам основатель Оптинского скита архимандрит Моисей и младший брат его отец Антоний были в высшей степени замечательные люди и старцы удивительной жизни. Они оба начали свои подвиги, как сказано было выше, почти одни-одинешеньки в невообразимо глухом месте Брянских лесов; их отыскиали там и поручили им (в 1821 году) устроить Оптину пустынь. Они создали скит и восстановили бедную и во всех отношениях павшую обитель.

Отец Моисей, кроме своих высоких управительских способностей, кроме лично святой жизни, имел тоже духовный дар старчества, и хотя по особому рода смирению уклонялся большею частью от него, ограничиваясь хозяйством и управлением, но не отвергал тех мирян, которые любили обращаться к нему за советом и руководством.

Что касается до отца Антония, младшего брата архимандрита Моисея, то это был такой добрый, такой «любовный», кроткий человек, что покорял своим обращением самых строптивых людей. Я знал коротко одного петербургского литератора, человека по характеру гордого, закоснелого атеиста, ненавистника религии и Церкви, который, уважая и любя отца Антония лично, только у него одного из всех встречавшихся ему духовных лиц целовал с любовью и почтением руку. И делал он это сознательно, говоря, что этот Антоний «единственный поп, которого он чтит и любит!» Отец Антоний был довольно долго настоятелем Малоярославецкого монастыря; но не имея ни малейших административных склонностей и постоянно больной, он считал свое настоятельство мукой и мечтал лишь об одном, чтобы поскорее от игуменства избавиться и окончить жизнь на покое в Оптиной, под крылом старшего брата-архимандрита, которого он чтил как отца.

При поступлении в монастырь у Зедергольма не было никаких определенных средств к жизни. Особую келью в скиту ему не на что было построить. Граф А. П. Толстой построил ему на свой счет красивый и просторный русский бревенчатый домик с крылечком в сельском вкусе, зеленою железною крышей и теплыми сенями. Внутренность этого жилища не поражала ничем особенным, ни чрезмерною суровостью, ни каким-нибудь исключительным, для инока неприличным, изяществом. Обыкновенный старинного фасона жолтый диван с деревянною спинкой; небольшая спальня за перегородкой; в углу много образов; портреты старцев и мирских друзей; множество книг и бумаг; большая чистота и примерный порядок... Кафельные голландские печи, которые зимой топились иногда так весело, услаждали светом и треском своим наши с ним долгие беседы...

В этом милом домике, устроенном рукой друга и покровителя, отец Климент прожил около пятнадцати лет, подвизаясь духом и трудясь письменно на пользу обители и Церкви.

Очень скоро по водворении своем он стал помогать болезненному старцу отцу Амвросию в обширной переписке его с духовными детьми и принял самое деятельное участие в духовных изданиях Оптиной пустыни. Его превосходное знание древних и новых языков, его образцовая, «истинно-московская» литературная подготовка, его привычка к кабинетному труду, делали его незаменимым для подобной цели.

Вот перечень оптинских изданий, в которых участвовал отец Климент:

1) *Авва Дорофей*, переведено с греческого; 2) *Симеон Новый Богослов*; 3) *Феодор Студит*, переведены с греческого в сотрудничестве с другими оптинскими монахами; 4) *Иоанн Лествичник*, вновь переведено и проверено с греческим; [5)] «*Царский Путь Креста Господня*» (Ставрофила).

Я останавлиюсь здесь только на двух книгах: на книге *Св. Иоанна Лествичника* и на *Ставрофиле* («Царский Путь Креста Господня»).

Сначала о «Лествице».

Я по опыту знаю, до чего велика разница в степени действия старославянских переводов этой книги и новейшего перевода оптинского, в котором участвовал отец Климент. Хотя я понимаю церковнославянский язык порядочно, но все-таки, читая в первый раз *Иоанна Лествичника* в новом переводе, я почувствовал, что прежде от меня ускользало множество замечательных тонкостей и самых верных и глубоких психологических оттенков в этих поучениях. Самая византийская риторика вступления и заключения *Св. Иоанна* передана так хорошо, что она в литературном даже смысле нравится и поражает...

Оговорюсь, впрочем, мимоходом и насчет церковнославянского языка.

Я ничуть не отвергаю его высокого достоинства и особенной силы; я указываю только на бóльшую доступность простого русского языка. Одно не только не мешает другому, а, напротив того, влияние русского языка и действие церковного часто удивительно дополняют друг друга. Лучшим примером подобного дополнения могут служить псалмы. В славянских псалмах для большинства много непонятного и даже сбивчивого, если начать вникать в смысл каждого слова. Но молитва на этом полутаинственном и величавом языке гораздо отраднее, чем молитва на русском. Поэтому хорошо читать иногда псалмы по-русски и потом слушать их в церкви и молитвенно прочитывать дома на церковнославянском.

То же самое можно сказать и о святоотеческих писаниях. Отец Климент, который переводил с греческого на русский и исправлял другие аскетические сочинения, справедливо восхищался оптинским изданием *Исаака Сирина* (изданием, в котором он сам вовсе и не участвовал). Оптинские издатели оставили своеобразный язык великого *Паисия* (Величковского), впервые передавшего этот перл

аскетической литературы по-славянски. Они снабдили книгу только беспрестанными русскими заметками и объяснениями внизу страниц.

Почему же я хвалю и то, и другое? и то, что так просто и понятно перевели *Авву Дорофея* и «Лествицу», и то, что оставили странный и поразительный язык Паисия Величковского неприкосновенным. Вот почему: Исаак Сирин выше, глубже других, сходных с ним по направлению, аскетических писателей. В нем есть какая-то особая мистическая музыка; при чтении его задумчивых поучений ощущается нечто особое, пробуждается у верующего человека особое чувство, духовность и сила которого доходит до физического томления. Это драгоценное действие почему-то слабеет в русском переводе. Почему — не знаю. Потому ли, что не нашлось еще человека, который бы сумел вполне художественно передать по-русски дух славянского перевода или греческого подлинника,* или по чему-либо другому — не берусь решить.

Практический же смысл есть в той разнице, которую сделали оптинские старцы между Исааком Сириным и другими аскетическими писателями. *Авва Дорофей* и даже *Иоанн Лествичник* попроще, подоступнее; они полезнее неопытным и менее ученым людям. Надо было поэтому довести их доступность до наибольшей степени. Исаак Сирин глубже («гуще», как говорил, улыбаясь, покойный Климент), и его предлагают старцы не всякому, а лишь тому, кто или духовно опытнее, или по-мирски образованнее, кому мыслить легче на этой почве.

На таких людей, когда они приступают к чтению с правильным и добрым чувством, отрывки из книги Святого Исаака Сирина действуют чрезвычайно сильно, наподобие молитвы, пения или громкого чтения прекрасных стихов...

* Это бывает и в литературе светской. Никто и нигде до сих пор не мог передать «Фауста» так, как переданы, например, некоторые произведения Шиллера Жуковским, то есть так, что он в русском переводе не хуже и не слабее подлинника.

Понятно, как это должно укреплять не только монаха, но и мирянина среди житейских «бурь и битв».

Теперь о *Ставрофиле*, или о книге, озаглавленной: «Царский Путь Креста Господня».

Книга эта католического происхождения. Она была в первый раз издана в 1709 году Черниговским архиепископом Иоанном Максимовичем. В католическом сочинении с девицей Ставрофилой беседует сам Спаситель. Это по учению нашей Церкви непозволительно. Каждое слово самого Спасителя имеет высочайший догматический авторитет. Поэтому никакой духовный писатель не имеет права говорить от лица Спасителя. Он может только приводить тексты из Евангелия в подтверждение своих слов и больше ничего. Но книга эта показалась нашему духовенству полезною по живости и простоте изложения, и ее переделали. Христос заменен у нас ангелом... Были и другие второстепенной важности западные оттенки, которые устранены. Вся книга состоит из наставлений ангела юной Ставрофиле (крестоноснице, любительнице Креста). Она колеблется, ²⁰ унывает, спрашивает; ангел поучает и утешает ее. Она хочет привлечь на свой путь двух сестер своих, Иларию (веселую, смеющуюся) и Гонорию (гордую). Но обе отвергают Крест: одна, боясь скуки, другая — не желая унижения.

Нравственное учение этой книги правильно; это обыкновенное учение христианского отречения и терпения в этой жизни для спасения души за гробом. Но само сочинение ничем не замечательно. В нем есть что-то начальное, почти детское, поверхностное; но именно поэтому-то она и ³⁰ полезна для людей попроще. Им она доступнее, может быть, всякой другой аскетической книги, по истинно-западной легкости изложения и по самой диалогической форме своей. Разговорная форма увлекает многих читателей. Есть, правда, в этой Ставрофиле что-то слащавое, женоподобное, приторное, свойственное многим католическим писателям, в том числе и автору знаменитого «Подражания Христу»; но этот оттенок неприятен только не-

многим очень строгим читателям и судьям... Большинству же монахов и набожных мирян эта книга очень нравится. В этом-то смысле я и нахожу ее весьма полезною. Духовная пища должна быть разная: кому «млеко», а кому густая пища, твердая; кому *Ставрофила*, а кому — Исаак Сирин.

Если не ошибаюсь, исправлением издания *Ставрофилы* Оптиная пустынь была обязана исключительно отцу Клименту. Он задумал и исполнил этот труд под руководством старца и при помощи другого почтенного монаха, которого не назову, щадя его высокую скромность. ¹⁰

Кроме этих общеоптинских изданий, переводов, переделок, исправлений и т. п., в которых так деятельно и влиятельно участвовал отец Климент, он в течение своей монашеской жизни (и еще прежде немного) напечатал по разным духовным журналам довольно много небольших статей. Я перечту их. В «Душеполезном Чтении» 1865, 1868, 1871, 1875, 1877 годов статьи: «Иеродиакон Палладий»; «О Лютеровом переводе Библии»; «Описание богословских училищ на Востоке»; «Поездка за границу». Переводы: «Увещательное послание к сербам»; «Слово Иоанна Дамаскина о восьми греховных помыслах». ²⁰

В «Чтениях Общества Любителей Духовного Просвещения»: «Заметка о книге Пихлера: „История разделения Церквей”».

Отдельные брошюры: «О жизни и трудах Никодима Святогорца»; «Из воспоминаний о поездке на Восток в 1860 году».

Отцом Климентом были составлены также жизнеописания оптинских старцев: отца Леонида (в схиме Льва), первого учредителя старчества в обители, и отца Антония, младшего брата знаменитого архимандрита Моисея, восстановившего Оптину из того запущения, в котором она была в первых годах этого столетия. ³⁰

Незадолго до кончины своей отец Климент начал собирать материалы и для биографии самого архимандрита Мо-

исея, но не успел кончить этот последний труд. Он передан теперь другому лицу, по уму и образованию своему также стоящему вполне в уровень этой задачи*. Жизнеописания отца Леонида и отца Антония составлены очень хорошо. Отец Климент сумел придать своему рассказу ту жизненность, которой, к сожалению, очень часто лишены подобного рода книги. Подвиги и подвиги, смирение, вера, прозорливость и т. д. — вот что мы обыкновенно находим в сочинениях преданных учеников и последователей, когда они решаются говорить о святой жизни духовных наставников, чтимых ими по личной ли близости или по свежему преданию. Редко можно найти в таких жизнеописаниях хотя бы намек на натуру человека, на те душевные и вообще личные особенности его, которыми он и как человек, и как христианский делатель резко отличался от других лиц, сходных с ним по направлению мыслей и жизни. А между тем в действительности как ни стараются подобного рода люди убить в себе все земное, все страсти, все привычки, все личные оттенки характера, эти личные оттенки остаются при них до конца жизни, и то, что называется собственно святостью, возможно при всех характерах и при всех натурах: при мягком и жестоком сердце, при веселом и при печальном нраве, при гениальном уме и при простоте, доходящей до ограниченности, при смелом и при робком характере. В этом легко можно удостовериться, просматривая жития святых в Четьи-Минеи Дмитрия Ростовского. Жития эти, правда, написаны вовсе не одинаково; есть такие, в которых виден только святой подвижник или мученик, а человек вовсе не понятен, и есть другие жизнеописания, где личные особенности святого изображены прекрасно. Я не достаточно учен и сведущ по этой отрасли, чтобы рассуждать здесь о различии источников

* Архим. Ювеналию (Половцеву). Сочинение это теперь уже вышло в свет. Оно озаглавлено так: «Жизнеописание настоятеля Козельской Введенской Оптиной пустыни архимандрита Моисея». Москва, 1882.

или авторов этих византийских биографий, но лишь по догадке позволю себе сказать, что это разительное несходство зависело, вероятно, от составителей. Различная степень развития умственного или не одинаковая степень наблюдательности у составителей отразилась, может быть и невольно, на изображении святого. Так, например: жития Св. Иоанна Дамаскина, Св. Симеона Юродивого, Моисея Мурина, Феодора епископа Едесского, мученика Бонифатия и преподобной Аглаиды, преподобной Евпраксии особенно наглядны и хороши, в них видны в одно и то же время и святые, и люди; во многих других житиях не встречаем человека, а видим только мученика, чудотворца, подвижника.

Это, впрочем, случается и на других поприщах. И в светской литературе есть много биографий, некрологов, воспоминаний, биографических заметок и т. п., в которых видишь лишь воина, ученого, художника, но человека, натуры, из которой выработался этот деятель или мыслитель, не встречаешь. Генералы все распорядительны и храбры, ученые все «честные труженики» («мир праху твоему, честный деятель науки!»), художники все преданы искусству...

Таких полных жизнеописаний *людей*, какие подарил миру Плутарх, и в наше время тонкой наблюдательности — все-таки мало.

Иногда эта бледность некрологов и биографий происходит и от доброго чувства, от уважения к памяти покойного; нашлось бы что сказать, но друзья, родные, почитатели остерегаются предать любимое лицо на растерзание насмешливым и беспощадным людям.

Если такое чувство понятно в близких людях по отношению к воину, поэту, ученому и политику: то в монахе, пишущем о человеке святой жизни, оно должно быть еще сильнее. Здесь уже является и страх греха...

Вот почему я очень ценю жизнеописание двух оптинских старцев, составленные отцом Климентом. Жизнеописания эти достаточно изобразительны и живы. Читая их,

тотчас же видишь, что по натуре своей отец Леонид был жестче и тверже, а малоярославецкий игумен Антоний симпатичнее, но зато и послабее. Они были сходны между собой по высокому устроению духа, по глубокой искренности аскетического призвания: но читателю ясно, что отец Леонид, полный независимости, инициативы и энергии, верой утвердил в себе любовь и снисхождение; отец же Антоний, не только донельзя добрый и ласковый, но, быть может, и слабый сердцем, посредством той же веры выработал в себе то мужество и ту твердость, которые, вероятно, были бы у него слабее, если б он с ранних лет не отрекся от мира и не убежал бы от родителей к старшему брату, жившему сначала в такой лесной глуши, что очень немногие и дорогу к нему знали. Отец Леонид учил смело и вдохновенно; смиряясь пред епископом, он все-таки, как мы видим, неизменно и бодро отстаивал свое призвание старца. Отец Леонид, при всей своей серьезности, позволял себе иногда несколько юродствовать, смешить, представляться чудачком, притворяться гневным для наставления; выгонял, например, из своей кельи любимых им учеников-дворян, и т. д. Отец Антоний думал лишь об одном... о безмолвии и молитве; о том, чтобы его оставили в покое. Все малоярославецкое настоятельство его было долгою мукою и тяжелым послушанием, на котором он изнемогал и постоянно жаловался то епископу, то митрополиту Филарету, то брату и наставнику своему, архимандриту оптинскому Моисею, которого он боялся и слушался по любви и уважению больше, чем какое бы то ни было начальство. Все это очень ясно и хорошо изображено в обеих биографиях. Знать эти живые оттенки очень полезно и для монаха, и для мирян. Больше веришь в святость, больше понимаешь героизм аскетический, когда видишь в святом такого же сложного, многострастного человека, как и мы...

Кроме ученых и литературных занятий, кроме постоянного участия в обширной корреспонденции отца Амвросия с его духовною паствой, отец Климент нес и другие

обязанности. Он вскоре был сделан иеродиаконом, потом иеромонахом, и должен был принимать иногда участие в богослужении, входить в сношение с разными лицами, приезжавшими в монастырь; не имея в скиту никакой определенной начальнической должности, он, по собственному рвению, вмешивался часто в дела и поведение младшей братии, делал замечания послушникам и новоначальным монахам. Он не мог выносить беспорядка, забывчивости, ветрености и т. п. и, находясь в самых тесных и дружеских отношениях к отцу Анатолию, скитоначальнику, заменял его, там где случалось, в деле присмотра и дисциплины. К сожалению, при вспыльчивости своей и немецкой порядливости, он нередко переходил даже чрез меру и наскучал младшей братии. Для русского человека порядок и правильность труднее всего.

Словом, вся пятнадцатилетняя жизнь Зедергольма в скиту была трудом, борьбой и неустанным подвигом. Он старался все исполнить, везде поспеть, все делать, и только в последние годы жизни, когда здоровье начало ему изменять, он стал, по-видимому, посписходительнее к своей плоти. Я говорю: по-видимому, ибо мера усилия и терпения чисто субъективна, и только сам человек по совести чувствует, когда ему больше и что ему труднее: молодому ли и здоровому сделать больше, или больному и стареющему сделать втрое меньше. Иногда последнее гораздо тяжелее. Конечно, старец, без позволения которого отец Климент даже и в лесу прогуляться не смел никогда и, я думаю, даже лишнюю молитву не позволял себе самочинно прочесть, благословлял его в последние годы его жизни на некоторые послабления изнемогающей плоти. И подвиги телесные не всегда полезны для души. Полезна каждому его особая, личная мера на все, чтобы не увлекаться восторгами или гордостью и чтобы не впасть в уныние и отчаяние от бессилия духа и тела в несоразмерной с личными условиями борьбе. Доверие к старцам и послушание устанавливают эту меру, умиротворяя угрызения совести и тревогу ума.

Если бы после всего сказанного мною об Оптиной пустыни, о монашестве вообще и о серьезном аскетическом направлении Зедергольма еще в міру, если бы, говорю я, кто-нибудь вообразил себе отца Климента в образе какого-то мрачного, худого, угрюмого нелюдима, в котором соединились два формализма и два педантизма, немецкий и монашеский, тот бы сильно ошибся. Отец Климент, напротив того, производил приятное, даже веселое впечатление.

¹⁰ Лицом он был бел и, несмотря на болезненность свою, иногда даже немного румян, скорее полон, чем худ; борода у него была широкая, густая, русая. Взгляд серых глаз оживленный, острый, иногда очень милый и веселый; улыбка чрезвычайно добрая и приятная. Известный историк наш К. Н. Бестужев-Рюмин, который был с ним вместе студентом, говорил мне, что у Зедергольма, когда он был юношей, было чрезвычайно свежее и веселое лицо; г. Бестужеву всегда было «весело смотреть» на этого товарища. По поводу внутренней аскетической серьезности и

²⁰ внешнего монашеского педантизма я хочу вспомнить здесь слова одного из знаменитых афонских духовников. Я в то время, как и большинство членов «современной русской интеллигенции», ничего не понимал в Христианстве и тем более в монашестве. Случилось мне тогда говорить с одним неважным иноком, который ездил в Россию с Афона помощником старшего иеромонаха за сбором. Встретившись со мною, этот монах с веселым видом начал рассказывать мне, как они были у такой-то графини или у такого-то генерала, как им давали деньги и как уважали...

³⁰ Мне показались речи этого монаха пустыми, легкомысленными и даже человекоугоднически-низкими. Я похулил его духовнику. Старец усмехнулся и сказал мне на это:

— Он у нас очень хороший монах, труженик, постник, простой сердцем. И как же ему не радоваться, что эти графы и генералы благодетельствуют той обители, которой он сын, и что они уважают духовенство... Вы сами желаете

блага Церкви; как же вы не сочувствуете ему и не сорадуетесь, что не мужик один ее чтит, но и люди высшего класса?..

Это было так ясно, так просто, так грубо-умно, наконец, что мне осталось только вздохнуть, опустив долу «интеллигентные» очи мои.

Духовник продолжал:

— А что он говорит с вами весело и даже как будто легкомысленно, то и тут вы не так понимаете. Истинно хорошего монаха вы сразу, пожалуй, и не узнаете; он и будет нарочно иногда так себя с вами держать, как будто и легкомысленно даже... Наше дело трудное с мирянами: если будешь все серьезен — обвинят в лицемерии; будешь весел с вами, осудите за легкомыслие. Нам-то это осуждение ваше, положим, и полезно для души; но мирянам-то вредно; их не надо отталкивать... Вот и ищи средину!..

Эту «средину», этот «царский путь» в обращении с нами, мирянами, отец Климент умел найти и хранить превосходно. Он был серьезен и весел в одно и то же время, приветлив и сдержан, осторожен и любезен. Я говорю не о себе одном; меня он лично любил. Он был вообще, говорю я, таким с мирянами. С отцом Климентом можно было говорить обо всем... или почти обо всем. Я оговорился: почти. Разумеется, он и с глазу на глаз не допустил бы каких-нибудь даже и серьезных, но вольного оттенка разговоров. Ему можно было, например, вскользь упомянуть, если того требовал смысл беседы, о «женщинах», о «любви», но только вскользь. Ни стихов, ни повестей в духе эротическом он не позволял себе читать; он старался, кажется, всячески забыть и то, что он помнил в подобном роде из прежней, мирской своей жизни. У меня есть сборник новогреческих народных песен, составленный Пассовом. Отец Климент любил и ценил поэзию этих прекрасных, наивных песен, но, став монахом, он боялся увлекаться этим приятным чтением и подарил мне сборник, отыскав его на чердаке. Он не находил себя еще дошедшим до высшего бесстрастия и без ложного стыда, без той

монашеской гордости, в которую так впадают иные, без всякой претензии на безусловную чистоту ума, отвергал всякое, даже самое дружеское, искреннее откровение помыслов известного рода. Он останавливал собеседника, говоря: «прошу вас, оставьте это. Я сам человек очень немощный». Драгоценнее всего ему было очищение его внутреннего мира от всякой страсти, от всякой греховности. Он боялся донельзя и гнева своего, и самолюбия, и воображения, и лени. Он трепетал своих грехов, и при всем видном спокойствии его в обыкновенное время, при всей веселой простоте его обращения, очень часто проглядывала в нем эта внутренняя его тревога за свою душу и за свою совесть. Я помню, однажды он прибег со мной, хотя и не совсем удачно, к одной очень умной и древними отцами рекомендуемой уловке. Я долго гостил в Оптиной; жил от его кельи очень близко, и мы часто видались. Мы разговаривали обо всем, о самых высших вопросах богословия, о Католицизме, о Славянофильстве, о русской литературе, о Восточном вопросе, о греко-болгарской распре, о духе
20 времени. Он рассказывал мне кой-что о своей молодости и обращении, рассказывал разные монашеские предания и анекдоты, зимою в его уютной и приветливой келье, весною — в лесу, гуляя или сидя на пнях... Я видел, что не мне одному, но и ему со мной легко и не скучно; я стал ходить к нему все чаще и чаще. Для меня становилось нестерпимо скучно прожить один день без него. Я подозревал, что и ему не всегда приятно проходить к себе откуда-нибудь мимо моего жилища, не заходя ко мне; может быть, я ошибаюсь, но мне казалось, что он как-то
30 особенно угрюмо и озабоченно проходил по несколько раз в день (по обязанностям своим) мимо моих окон, не обращившись нарочно на них и все глядя в другую сторону. Может быть, он подозревал (и справедливо), что я вижу его с дружеским вожелением из окна. Весьма вероятно, он начал находить, что я слишком живо напоминаю ему его собственную светскую жизнь... Я все крепился, крепился и не вытерпел-таки, чтобы дня чрез два не прийти к нему.

Он принял меня ласково, но тотчас же предложил мне помолиться вместе с ним, прослушать «девятый час». По правде сказать, каюсь, мне было бы в эту минуту гораздо приятнее выпить с ним чаю и поговорить о чем-нибудь... Может быть, я бы отказался и ушел бы недовольный, если бы сам не знал, что эта уловка для испытания развлекающего посетителя предлагается Св. Исааком Сирином. («Когда придут к тебе некоторые люди, говорит Исаак Сирин, любящие праздность, и посидят немного, покажи вид, что ты хочешь восстать на молитву, и скажи с поклоном: 10 брат, пойдем, помолимся, ибо пришло время моего правила и я не могу оставить его. И не оставь его до тех пор, пока он не помолится с тобой. Если же он скажет: помолись ты, а я пойду; сотвори ему поклон и скажи: любви ради хоть одну молитву сотвори со мною, чтобы мне польза была от твоей молитвы. И когда восстанете на молитву, продолжи молитву твою сверх обыкновенного. И когда ты поступишь так с этими проходящими, то они, понявши, что ты не любишь праздности, не приблизятся даже к тому месту, где они услышат что ты находишься».) 20

Я тотчас же спохватился, понудил себя и отвечал ему, что очень рад. Мы помолились; отец Климент успокоился, и мы после «девятого часа» все-таки очень приятно побеседовали за чаем. Я думаю, что он хотел испытать меня и, увидев, что я стал на молитву так охотно, решил в сердце своем, что мои посещения и беседы не слишком вредны.

Я говорю, что везде, во всем, в образе жизни его, в отношении к мирянам, к начальству и к братии, в разговорах как духовных, так и светских, у отца Климента светились два прекрасные христианские свойства: искреннее смирение 30 духа и ревность, иногда даже, может быть, и слишком пылкая. Я уже сказал, что даже в самые веселые и спокойные минуты дружеской беседы и среди обыкновенных будничных забот, от которых вполне и монах освободиться не может, виден был у него нередко до тревоги доходивший страх греха... Этот страх, недоверие к себе и есть именно то, что называется обыкновенно смирением. Он думал о себе

как о подвижнике и монахе в сердце своем очень низко и потому боялся сам себя, своих немощей, — боялся впасть в гордость, в самонадеянность, в гнев, в тщеславие, боялся своего воображения, опасался рассеянных мыслей... Словом, он был монах, положим, во многом еще страстный по природе и первоначальному воспитанию, но он добросовестно понимал это, видимо преувеличивал свои немощи и был, что называется в монастырях, *внимателен* к себе. Хорошее мирское воспитание, ученость, светское и тонкое образование ума, по отношению к монашеству, имеют и хорошие, и дурные последствия. Конечно, образованный ум и тонкая подготовка сердца жизнью и художественно-научным воспитанием могут, с одной стороны, значительно облегчить тот внимательный анализ собственных побуждений и помыслов, который почти ежечасно необходим хорошему монаху; но с другой, эти условия первоначальной жизни в высших общественных и умственных слоях во многом, не только телесно, но и душевно, так сказать, балуют человека, и аскетическая борьба, по вступлении в монашество, против закоренелых умственных и сердечных привычек становится подчас невыразимо трудна и болезненна. Личные привычки иногда сильнее общечеловеческих страстей. Отец Климент, конечно, помнил это. Кто знает, не винил ли он сам себя часто и за то, что не стал монахом гораздо раньше. И можно вообразить себе, какую незримую ни для кого, кроме его старца духовника, бурю неизвестной борьбы против самого себя он выносил в этом тихом с виду, столь мирном, разубранном разноцветными и душистыми цветами и со всех сторон огражденном высоким и густым лесом Оптином скиту...

30 Не скрою, он был вспыльчив, очень вспыльчив. И вспыльчив он был и за себя лично, и еще более за идеи. Каково было сознавать это такому добросовестному человеку и такому требовательному к себе монаху! Это должно было быть для него иногда нестерпимо.

У отца Климента был, например, очень преданный ему келейник; как первоначальные, столь трудно искоренимые привычки, привычки столичного чиновника и кабинетного

ученого, так и самый род его занятий и обязанностей в монастыре, не позволяли ему самому заниматься уборкою комнат, топкою печей и т. п. Правда, в монастырях заставляют иногда образованных людей делать подобного рода работу; конечно, больше для их собственной пользы, для испытания их покорности, их ума и смирения; но долго какое же разумное начальство будет настаивать на этом?.. Труды отца Климента и в скиту были большею частию кабинетные. Понятное дело, до какой степени ему необходимы были досуг, тишина, порядок... Келейник его (и теперь здравствующий) прекрасный, умный, серьезный, пожилой человек, из фабричных рабочих. Отец Климент мне сам говорил, что с тех пор как от. Т. поступил к нему, ему стало несравненно покойнее. Он сердечно любил и уважал своего помощника; беседовал с ним дружески, обращался с ним братски; брал его всюду с собой и на железных дорогах, например, сажал его в тот же класс, в котором ездил сам по делам монастырских изданий, и готов был с ним всем поделиться. Но он был вспыльчив и требователен. Он часто говорил неприятности келейнику за какие-нибудь ошибки и нарушения порядка. Однажды он так его оскорбил, что от. Т. молча ушел к себе и лег в отчаянии на постель, не зная, что ему делать и как угодить отцу Клименту. Но не успел он, лежа, протосковать и нескольких минут, как Климент вошел в его комнату и, став на колени, начал плакать и просить прощения. «И кроме того, — говорил от. Т., — и другие раза, если он скажет что-нибудь неприятное, тотчас старается со мной помириться, подходит ко мне, улыбается... Так что уж я привык и был покоен»...

От. Т. рассказывал еще следующее:

«Если разбить или сломать у него вещь и ценную, он и внимания никакого не обратит, ни слова не скажет... Тут бы сам себя, кажется, страсть как разбил за это; а он ничего. А вот попробуй зашуметь, когда он пишет или читает, или какую-нибудь книгу или другую вещь не так положить, он весь так и вспыхнет... Я замечал у него еще

вот что. По утрам мы часто пили вместе чай и беседовали; только вижу я, что он слушает меня сначала, а потом начнет по комнате ходить, что-нибудь делать, или книжку возьмет, или не глядит на меня... Я сперва думал, что ему скучна простота моих речей; однако скоро понял, что это не то... Пока я говорил вещи безвредные, средние что называется, он беседовал со мной, а у меня, каюсь, есть привычка тоже судить и осуждать людей... И сам не замечаю, как слово за словом, а начну осуждения... Вот что ему не нравилось... Я и стал осторожнее».

Отец Климент, полный страха Божия и внимательности к настроению собственного ума, боялся даже слушать речи своего келейника, когда тот по некоторой рассеянности впадал, не замечая сам того, в грех осуждения. Он помнил правило духовников: человек, осуждающий ближнего (или с удовольствием участвующий в подобном осуждении), легко может быть наказан тем, что сам впадет в тот самый грех или в ту немощь, которую так строго казнил.

Мне скажут: «все это мелочи, недостойные серьезного внимания». Конечно, это все тонкие психологические черты и вместе с тем в высшей степени будничные подробности. Но ни к кому поговорка: «день мой — век мой» не приложима так, как к монаху. Идеал монаха, это прежде всего «без греха в этот день сохраниться». Это даже высший идеал всякого христианина... И в церкви мы слышим молитву: «сподоби Господи в сей день без греха сохраниться нам»...

И чем серьезнее вникает и в учение Церкви, и в свою душу христианин, тем более начинает он заботиться о тех поступках, чувствах и мыслях своих, которые он прежде считал мелочами. Один опытный монах говорил мне: «пока человек беспрепятственно нарушает заповеди, впадает в блуд, в злобу, зависть и тому подобное, он более тонких падений своих и не замечает, и они его не тревожат; а потом, когда он освободится от грубых прегрешений своих, он начинает замечать всю мелочную свою нечистоту и несовершенство. Все равно как при постройках; лежат на полу щепки круп-

ные и всякий сор; за щепками и разными обломками пыли и мелкого сора не видно, а когда все крупное вынесли — становится виден на полу этот мелкий сор».

К тому же разве этот ход ежедневных мыслей, эта нить тонких привычек чувства не обуславливает ли впоследствии, как невидимая со стороны непрерывная цепь психического развития, наши явные поступки, наши крупные дела?

По моему мнению, одно из главных художественных достоинств последнего произведения графа Льва Толстого, это именно то, что в романе «Анна Каренина» для читателя внимательного заметна вся та психическая нить, которая сознательно проведена автором под блестящею картиной его внешней драмы. Одно слово, сказанное тем или другим лицом в одной из первых частей, отзывается действием в последующей; одно сильное ощущение, для других лиц романа вовсе незаметное, изображенное автором в каком-нибудь месте, одна мысль, блеснувшая в уме того или другого героя, влекут за собой неизбежные последствия в будущем. Это отступление «в мир» и даже в «свет» мне было нужно, чтобы напомнить читателям живым, вовсе не монашеским примером, до чего тонкие мысли и чувства наши могут отзываться на самых резких поступках наших и влечь за собою иногда гораздо позднее самые серьезные и преступные последствия...

Понятно после этого, до чего монах должен быть ежедневно внимателен к тому, что он обязан по христианскому учению считать «пылью и мелким сором» души своей, и как важен для него один день, без слишком явного греха проведенный. Полагается молиться даже и о тех грехах, которых мы не видим и вовсе не успеваем замечать.

И духовные писатели указывают весьма убедительно на эти мелочи и тонкости. Например, Авва Дорофей:

«Один великий старец, — говорил он, — прохаживался с учениками своими на некотором месте, где были различные кипарисы, большие и малые. Старец сказал одному из учеников своих: вырви этот кипарис. Кипарис же тот

был мал, и брат тотчас одной рукой вырвал его. Потом старец показал ему на другой, больший первого, и сказал: вырви и этот; брат раскачал его обеими руками и выдернул. Опять показал ему старец другой еще больший; он с великим трудом вырвал и тот. Потом указал ему на иной еще больший; брат же с величайшим трудом сперва много раскачивал его, трудился и потел и наконец вырвал и сей. Потом показал ему старец и еще больший, но брат, хотя и много трудился и потел, над ним, однако не мог его вырвать.¹⁰ Когда же старец увидел, что он не в силах сделать этого, то велел другому брату встать и помочь ему; и так они оба вместе едва успели вырвать его. Тогда старец сказал братьям: „вот так и страсти, братия: пока они малы, то, если мы пожелаем, легко можем исторгнуть их; если же вознерадим о них как о малых, то они укрепляются, и чем более укрепляются, тем большего требуют от нас труда; а когда очень укрепятся в нас, тогда даже и с трудом мы не можем одни исторгнуть их из себя, ежели же получим помощи от некоторых святых, помогающих нам по Боге”».

Усердие отца Климента, его христианская ревность выражались не только в постоянной, со стороны даже видимой, борьбе с самим собою, с характером своим, со слабым здоровьем, с привычками мирского «комфорта», против которого он восставал в принципе, но которому он невольно и часто подчинялся;* нет, эта ревность находила себе исход и в действии на других. Не говоря уже о том полезном влиянии, которое он мог иметь и на знакомых ему

* По этому поводу я вспоминаю два случая, два суждения его о двух отшельниках. Один из них был оптинский; он никогда, несмотря на предложение игумена, не хотел постричься и так и умер простым послушником, живя постоянно один в лесу, в самой убогой обстановке. Он говорил: «На что мне пострижение? Я и так все с одним Богом

православных мiрян и в некоторых отношениях на младших и новоначальных братьев скита, отец Климент пользовался всяким случаем для обращения иноверцев в Православие. Он привлек к нему одного из братьев своих; обратил и присоединил, после долгой борьбы с отцом-пастором, пре-

здесь!» Отец Климент с восторгом говорил об этом человеке: рассказывал мне с чувством, до чего он сжился с природой, как дикие птички по одному зову его садились на его руки, плечи и голову... Отец Климент видимо завидовал этому отшельнику; завидовал не в худом, а в хорошем смысле этого слова, т. е. желал бы сам быть ему подобен, но не мог. В этого рода рассказах и суждениях выражалось презрение отца Климента к комфорту и к собственным привычкам более утонченного быта. Другой инок (в суждениях о котором видно было у отца Климента, напротив того, невольное желание простора и удобств) жил не здесь, а в ином, дальнем монастыре. Он был дворянин, образован, богат; но, удалившись в обитель вследствие семейных огочений, построил себе чрезвычайно тесную, очень темную и низкую келью и жил в ней, окруженный большою библиотекой, в которой вместе с духовными книгами находилось и множество светских сочинений. Отец Климент, познакомившись с этим монахом, очень жалел о том, что он, не имея около себя хорошего наставника, впал относительно обстановки своей в большую ошибку. «Келью, жилище, говорил отец Климент, надо бы ему было построить себе более сообразное с его прежними привычками; эта теснота и этот мрак ужасны. Но Байрона и французские романы можно было бы и не привозить с собою в монастырь... Такое чтение вредит неутвержденному монаху, а пересиливать сразу свои телесные привычки и непомерно стеснять свое жилище тоже неосторожно... Это наводит уныние, а за унынием следует много худого. В великопостной молитве «Господи и Владыко живота моего» у греков следует: «дух праздности, *любопытства* и т. д.». В славянском же переводе: «дух праздности, *уныния* и т. д.». У греков указывается на источник; у нас предпочли указать на результат. Если мы в праздности нашей увлекаемся ненужным любопытством, например, начинаем читать вовсе до нас не касающиеся книги, то это ведет непременно к унынию... Изменение, внесенное в эту молитву переводившими, чрезвычайно глубокомысленно. И все эти мысли пришли мне в голову, при виде мрачной, тесной кельи отца Д. и при взгляде на любовные поэмы, которые стояли у него на полках. Мне стало его очень жаль!»

старелую мать свою. Третий брат его, генерал Зедергольм, принимавший участие в последней кампании и незадолго до смерти отца Климента скончавшийся на Кавказе, в последние годы тоже начинал, под влиянием брата-монаха, думать о миропомазании и присоединении к Православию. Отец Климент жалел, что брат умер в таких еще сравнительно ранних годах, и еще больше сокрушался о том, что брат умер протестантом, а не православным, что его колебания и промедления разрешились неожиданною кончиной.

¹⁰ Зная характер отца Климента, я подозреваю и почти уверен в том, что он и в этом случае находил какой-нибудь повод винить самого себя... Какое-нибудь нерадение, недостаток ревности и заботы о спасении братниной души, недуховность собственная, неумение и т. п...

Мать, как я сказал, он обратил под конец ее жизни, после долгой борьбы с отцом. Отец сначала отговаривал жену свою, а потом просто не позволял ей присоединиться к Православию. Отец Климент победил его наконец его же собственным оружием, главным оружием протестантской теологии. Он начал настаивать на принципе свободного личного толкования Св. Писания. «Если мать моя разумно и свободно убедилась, что Православие правильнее: зачем же вы хотите стеснять ее свободу?» Отец на основании этого довода уступил.

У Зедергольма-отца была с сыном долгая борьба, долгая полемика. И она кончилась тем, что отец сознался, «что только один непобедимый стыд удерживает его самого от присоединения к Восточной Церкви; потому что он сам пастор!» Один стыд, а не разум; разум сдался.

³⁰ У Климента была по поводу вопросов веры переписка с отцом на немецком языке. Отцовских писем я не видал; но собственные свои письма Климент сохранил в копии, и начальство скита доверило их мне. По ответам Климента легко можно понять, что писал ему отец. Последовательная переписка по вопросам веры начинается летом в 63 году и прекращается зимой 64 года. В то время Зедергольм был уже монахом. Но есть еще одно особое письмо

его к отцу же, от 59 года, из Петербурга. Оно довольно любопытно и доказывает, что старому пастору очень не нравилось настроение сына. Несмотря на то, что в это время (в 59 году) уже прошло шесть лет со дня присоединения и миропомазания Константина Карловича, отец, должно быть, продолжал питать надежду на какие-то более философские, чем собственно евангелические рассуждения. Так видно по крайней мере из сыновнего ответа. Но молодой Зедергольм, хорошо знакомый с философскими системами еще на студенческой скамье, вероятно, был в то время в первом жару православного прозелитизма и искал лишь одного: как укрепить в себе простоту веры. Может быть, он тогда или желал забыть все противоречивые основы и разнообразные выводы германской и эллинской метафизики, желал, по выражению акафиста, «растерзать афинейские плетения», или хотел лишь воспользоваться тою силой диалектической выработки, которую дает уму философская образованность, употребляя эту силу на утверждение в сердце своем отвлеченных понятий православного богословия. Как бы то ни было, письмо, о котором я говорю, хотя и почтительное с виду, весьма раздражительно и даже несколько колко: ¹⁰

«С.-Петербург, 20 июля, 1859.

На твой вопрос, способен ли я еще чему-нибудь сердечно радоваться, по чистой совести могу ответить тебе: „да“. Слава Богу! чувство внутреннего довольства и радости мне неизвестно. Но в настоящей жизни невозможно, чтобы все, а следовательно и настроение человека, было всегда в одинаковом положении. Характер мой, как ты знаешь, с самого детства более склонен к серьезности. ³⁰

Я не могу быть равнодушным к тому, что мы в наших воззрениях и в беседах никогда не можем понять друг друга. Тебе известно, как я в продолжение многих лет старался достигнуть этого согласия. Чем больше я делал

усилий и чем больше желал соединиться с тобою в воззрениях наших, тем прискорбнее было мое разочарование. Впрочем, вижу теперь, что я оставлял без внимания многое, о чем раньше следовало бы мне подумать.

Ты стоишь на высокой точке спекулятивного мышления. Это мышление философское не может признать с собою равноправным никакое другое мышление: оно может передаваться другому, но не может принять возражений мышления обыкновенного именно потому, что сознает себя стоящим на высшей точке. Напротив того, я скорее обыкновенный мыслитель. Не сочти это за скромность, но это действительно так: я не совсем понимаю твои философские доводы. Несмотря на самое искреннее желание и долготерпение усилия (с 1846 года, а, может быть, еще и раньше) я не понимаю тебя и пришел к тому убеждению, что понимать тебя не могу. Чтобы достигнуть спекулятивного мышления, мне недостает многого; может быть, и времени; попросить тебя сойти с твоей высоты было бы, может быть, неблагоприятно, тем более, что уже одна попытка такого рода, на которую я сильно рассчитывал, совершенно не удалась.

Что же нам теперь остается?

Несмотря на все это продолжать делиться нашими философскими и религиозными воззрениями? Это значило бы без надежды когда-нибудь понять друг друга, возобновлять воспоминание о разногласиях, господствующих между нами, без пользы растравлять раны. В последнем письме твоём ты сообщаешь мне, как ты счастлив тем, что принадлежишь к Евангелической Церкви. Что же я могу сказать тебе на это?!

Все это привело меня к следующему заключению, которое я в продолжение нескольких месяцев зрело обдумал. Я считаю, что все философские и религиозные прения, сообщения и даже легкие намеки между нами совершенно бесцельны, а в некотором отношении даже вредны; потому что они могут только возобновлять скорбные чувства.

Будем, любезный батюшка, говорить обо всем другом, только не о философии и религии. Иначе будет повторяться все то же — что ты будешь мною недоволен, а я не буду тебя понимать.

Уж лучше разом с этим покончить.

Это не может и не должно портить взаимные наши отношения, напротив, это будет их укреплять. Ты не говоришь про философские предметы ни с одним из братьев моих, а это не уничтожает взаимной между вами любви. Пусть будет также и со мною. Мне только жаль, что ты отличал меня до сих пор от братьев и считал меня способным к мышлению.

То, что пишу тебе, то я зрело обдумал, и пишу в полной уверенности, что ты поймешь мои чувства. Одна любовь к тебе ставит меня в необходимость решиться на этот шаг.

С нетерпением ожидаю твоего ответа. Прошу тебя сообщить содержание сего письма моего матушке.

Константин».

Из этого первого письма уже достаточно явствует, что убеждения пастора Зедергольма отличались некоторым личным философским оттенком, который он естественно хотел навязать сыну, далеко и совсем в другую сторону уклонившемуся. Письмо это, признаюсь, мне не совсем даже нравится. Оно слишком колко, и верно монахом, позднее, Константин Карлович не написал бы его отцу (который, заметим, любил его видимо больше других сыновей). Позднее, в течение целого года (1863—1864 годов) продолжалась у пастора с сыном-монахом та непрерывная переписка по вопросам веры, о которой мимоходом было уже сказано. Здесь мы ею займемся подробнее. Я не думаю, чтобы Зедергольм-отец имел и в это время какую-нибудь надежду повлиять на сына в своем духе. Если человек ученый и образованный обращается в Православие, если он переходит в него из иного ли исповедания, или

из деизма, или из безбожия, то его уже поколебать сызнова невозможно. Он всякое недоумение свое, всякое охлаждение, всякую шаткость мысли сочтет грехом «искушением», то есть испытанием.

Старик Зедергольм видимо не тверд в основах своих. Он, не желая признавать ничего кроме Евангелия, предлагает сыну спорить только на этом одном основании. Он даже дарит ему книжку — *Евангелие* с немецкою надписью: «Nur auf diesem einigen Grunde».

¹⁰ Сын согласен. Но как же быть? Евангелие признает чудеса. Пастору чудес признать не хочется, потому что он их сам не видал. Сын зовет отца рационалистом; пастор с негодованием отвергает это имя; он — евангелик. Сын опять отвечает текстами из Евангелия. Отец говорит, что он не рационалист, а евангелик; но в то же время старается все свое учение основывать больше на разуме, чем на вере. Он даже пишет какое-то богословское сочинение, в котором хочет разумом доказать возможность воскресения Христова. Сын радуется:

«30-го мая, 1863.

²⁰ Желаю тебе, дражайший батюшка, полного успеха в труде твоём „о Воскресении Господа“. Хорошо было бы, если бы ты мог убедить нынешних саддукеев. Я не знаю, что сказать о том, что бóльшая часть ученого человечества отвергает главные догматы христианского учения, как например: догмат Пресвятой Троицы или догмат Воскресения; после того уже почти ничего не остается от Христианства. Только я не постигаю, как ты посредством учености и умозаключений хочешь доказать то, что выше человеческого разума и всех наук, как, например, Воскресение Господа

³⁰ нашего Иисуса Христа. Для этого прежде всего нужна живая вера, которую нельзя передать учеными доводами, так же как нельзя ими передать и чувство изящного.

Константин».

Еще в одном письме отец Климент писал старику Зедергольму так:

«В области веры я полагаю, что умозаключениями можно только опровергать возражения разума; то есть можно доказать, что доводы разума, противопоставляемые вероучению, не имеют глубокого основания; но главные вопросы верования (как например: учение о Воскресении, о Вознесении Иисуса Христа) нельзя доказать и постигнуть разумом; заблуждающимся мы должны только делать намеки, так сказать, потому что вера выше и тоньше разума. Вера не тонет на воде, не сгорает в огне; разум не может с нею сравняться; он даже и постигает ее не совсем точно; стоит пред фактом веры, но не в силах объяснить его».

Пастор возражал на это письмо, говоря: «а я не могу согласиться с тем, что вера выше разума». Ответ на это Климента я выпишу здесь почти весь:

«В письме твоем от 14-го мая ты пишешь, что не можешь согласиться с тем, что вера выше разума и что то и другое от Бога. Без сомнения, и разум от Бога; но как в вере, так и в разуме есть известные степени. Во-первых, есть плотский (ὕλικός) разум (Римл. 8, 5), который заботится о материальной жизни и направлен только к усовершенствованию ее; он делает разные открытия, изобретает, например, железные дороги и проч. Далее он не идет. Во-вторых, есть разум душевного человека (ψυχικός) (Коринф. 2, 14), который заботится о благочестивой, нравственной жизни и усиливается приобретать добродетели. Эта степень разума ведет к вере, то есть кто благоразумен, тот понимает, что обязан верить и без сомнений принимать Евангелие Христово. От веры в Бога переходим мы, как ты правильно заметил, к жизни по Богу, и это есть истинное христианское верование, когда мы с твердостью и без отдыха стремимся к христианской жизни. Итак, кто верует и живет по учению Христову, тот по многом старании достигает духовного человека (πνευματικός). Тогда как душевный человек заботится о себе и не пренебрегает ма-

териальной жизнью с ее заботами и выгодами, духовный человек живет только в вере и по вере, не заботится о теле своем, возлагает всю печаль свою на Господа, без страха останавливается среди пустыни, не боится диких зверей, потому что знает, что и они — творения общего Создателя, на аспида и василиска наступит и попрет льва и змия (Псал. 90, 13), и аще что смертное испиет, не вредит ему (Марк. 16, 18). Духовный разум, то есть разум духовного человека, освещаемый чрез веру, чрез исполнение заповедей Христовых и чрез особенную благодать и откровения Господа, понимает и обнимает многое, чего не только плотский, но и душевный человек понять и обнять не может; и так как всякого человека с обыкновенным его человеческим разумом многие могут постигнуть, то тем более духовный человек смотрит на все верно, судит и все постигает, но его самого никто не может судить и постигнуть (1 Коринф. 2, 15). Итак, если разум в средней своей степени, то есть когда он заботится о душе, ведет нас только к вере, а в высшей степени своего развития только чрез веру получает всю свою силу и свет, как же можно ставить разум выше веры? Это было бы все то же, если бы народную школу поставить выше гимназии или даже университета. „Желание (говоришь ты) отдать себе ответ как? что и почему? — наверно от Господа”. Конечно, так. Но безошибочный путь к этому лежит чрез веру и чрез жизнь, сообразную заповедям Христовым. Кто же ищет другого пути и преждевременно хочет узнать это: как и почему? тот похож на человека, который не быв в гимназии, не учившись, хочет постигнуть математику или метафизику со всеми их тонкостями. Такой никогда ничему не выучится и никогда ничего не постигнет; точно также не достигнет своей цели и тот, кто обыкновенным своим разумом хочет постигнуть все то, что постигается верой и не одною только верой, но и исполнением заповедей Христовых и благодатию Божиею. Без сомнения, вера тоньше и пронзительнее разума и дает человеку высшее и тончайшее понимание. Разум возбуждает сомнение и страх, вера

дает надежду. В христианской Церкви были примеры, что люди чрез веру не сгорали в огне и не тонули в воде. С одним своим разумом человек не может этого сделать. Господь сказал, что: уверовавших будут сопровождать знамения (Марк. 16, 17)».

Конечно, борьба была не равна, и пастор, раздражаясь по-видимому, начинал не раз даже язвить монашество. Например, ему захотелось кольнуть сына за то, что он ставит кресты над каждым письмом своим... Сын отвечает на это так: 10

«Ты спрашивал меня, любезнейший батюшка, что́ означает крестик в начале моих писем? Он означает то же самое, что и крест, изображенный рукою при благословении, или когда крестятся при входе в дом и т. д. Здесь прилагаю из сочинений Кирилла Иерусалимского место, относящееся до этого предмета. Ты спрашивал: „не есть ли это нечто официальное, твоим начальством предписанное?“ Извини, любезный батюшка, если я скажу тебе, что наша жизнь издали кажется тебе совершенно иначе, чем она есть. Наша жизнь несколько не официальная или форменная, но скорее патриархальная. Если что-нибудь внешнее и обыкновенное кажется тебе так странно, то сколько труднее показался бы переворот внутренней жизни? Что имя Иисуса Христа Распятого, произнесенное с верою движением губ, то же самое есть и изображение креста, когда оно с верою изображается рукою или каким-нибудь другим образом. Кирилл Иерусалимский пишет: „Не будем стыдиться исповедывать Распятого; смело да изображаем знамение креста на челе и на всем, на хлебе, который едим, на сосуде, из которого пьем; да изображаем его при входе и при выходе, когда ложимся спать и встаем, когда мы на пути или когда отдыхаем. Он есть великое предохранение, данное бедным в дар и слабым без труда. Он есть великая милость Божия: знак для верующих и страх для злых духов”».

Есть еще одно письмо отца Климента к пастору, не знаю в какое время посланное. Старик Зедергольм еще в

38 году (как сообщали мне лица, заслуживающие доверие и знавшие его еще в то время лично) по должности супер-интендента объезжал, кажется, тогда смежные с Москвой губернии для посещения рассеянной по ним протестантской паствы. Он заехал между прочим и в Оптиную пустынь. Архимандрит Моисей ему очень понравился; понравился и строй обители, и цветники, и почти все. Свои благоприятные для Оптиной впечатления супер-интендент записал очень неразборчивым почерком на маленьком листке бумаги. Заметив, что роз тогда в Оптиной не было, он почему-то спешит заключить, что монахи считают этот цветок греховным (sündliche). Не доволен старик Зедергольм только одним, именно тем, что оптинские столь серьезные монахи — «эгоисты», не заботятся о народной пользе и не устраивают школ. Много лет спустя пастор разыскал в своих бумагах этот листик и в добрую минуту прислал его сыну, желая ему доставить удовольствие своими похвалами. Отец Климент и тут нашел возможность в своем ответе соединить приветливость с полемикою.

«Сердечно благодарю тебя за описание посещения твоего нашего монастыря в 1838 году. Я читал его с большим интересом и другим давал читать. Но заключение твое не согласуется не только с благоприятным твоим описанием нашего братства, как оно было за двадцать пять лет тому назад, но и противоречит дружелюбным впечатлениям твоего сердца. Ты полагаешь, что монахи для средства забывают цель. Например, что они должны бы были устроить у себя школу для детей, для того чтобы жизнь и деяния их не были бы только эгоистичны. Но не достаточно ли того, что самый монастырь есть школа для трехсот братьев, которые в нем духовно образуются и воспитываются, и твои же хорошие отзывы о наших монахах лучше всего говорят о плодах этого нравственного воспитания. Приведу еще следующий пример: не достаточно ли, что студенты учатся в университете; было ли бы целесообразно требовать от них, чтобы они в то же время были еще учителями

в народных школах? В Петербурге, в Италии и в других местах уже пробовали это, но кончилось тем, что студентам не оставалось времени и самим учиться.

Что же касается до содействия общенародному благу, то в этом отношении монастыри не бесполезны, только в них обучаются не дети, а взрослые. Ты видел сам, какое большое стечение народа всех сословий бывает у нас, и кто приходит с верою, тот непременно получает пользу».

Кроме успешной катехизации родных своих, отец Климент обратил и несколько посторонних иноверцев. 10

В Оптинском скиту записаны имена лиц иноверного исповедания, которые в течение последних лет были обращены в Православие при большем или меньшем участии оптинских монахов. В обращении некоторых из них отец Климент принимал деятельное участие. Последним предсмертным делом его было присоединение одного немца (орловского кондитера, кажется), женатого на русской. Может быть, этот немец начал с того, что хотел доставить удовольствие жене («путей у Бога много», говорит Церковь); но этого чувства ему, вероятно, было мало; ему нужны были доводы, и отец Климент убедил его. Присоединение этого лютеранина произошло дня за два до смерти Зедергольма. Он был уж очень слаб, все лежал и просил келейника не пускать к себе никого. Но когда он узнал, что этот прозелит желает взглянуть на него, — он встал, принял его, долго говорил с ним и даже, стоя на ногах, восклицал: «вот теперь я здоров! Вот теперь я могу все делать... Теперь мне хорошо!» 20

У отца Климента было много почитателей и друзей между монахами, особенно между теми, которые умели 30 понимать его, но в изнеможении сил своих он не искал никого из них видеть; чувство личной приязни было в глазах его, конечно, невинное и даже хорошее чувство, но не оно было идеалом его... Связь душ о Христе, любовь в Боге, ищущая взаимного спасения за гробом, вот что считал он наивысшим. У него это не было фразой или обязательным чувством; долгим духовным старанием оно дошло

до естественного, невольного, сердечного порыва; вошло ему «в плоть и кровь», как любят выражаться нынче... Вот почему вид этого новообращенного и вовсе постороннего немца был ему в предсмертные часы приятнее всякой более земной, более пристрастной дружбы.

VI

Отец Климент был тем, что называется катехизатор, но он, как еще в начале я говорил, не мог быть старцем.

Катехизатор убеждает, старец руководит. Катехизатор ¹⁰ передает с успехом общие основы учения; он не берет на себя нравственную ответственность за частные дела, он не влияет на подробности жизни; старец соглашается давать прямые советы, какой путь избрать в каждом отдельном случае, он решается иногда даже повелевать тем, кто с верою и покорностью обращается к нему, старец осмеливается в пределах, допущенных учением, разнообразить свои требования и разрешения донельзя, смотря по личным условиям и по мере сил ученика и духовного сына своего... Старцы нередко решают одним словом своим: «да» или ²⁰ «нет» самые важные семейные дела, вопросы о браках, о разлуках и примирениях, о наследствах и т. п. Вот в чем разница.

Отец Климент мог превосходно действовать доводами; его значительные светские познания, авторитет его учености, его обширная и основательная духовная начитанность, логическая ясность его речи и в особенности его умение говорить именно тем языком, каким мы все говорим (умение, которому, к сожалению, так чужды многие из лучших монахов), вот что придавало особый, исключительный вес ³⁰ его словам в глазах образованных людей такого рода, которые не в состоянии стать прямо на духовную точку зрения. В подобных случаях он был иногда незаменим. Глядя на него и слушая его, я часто с сокрушением думал о том: какую бы исполинскою силою могло обладать духовенство

наше, если бы в среде его было больше людей, подобных Клименту, светски образованных и по-мирски ученых, но по воле и убеждению склонившихся пред строгим императивом церковного учения...

Многие светские люди будут почтительно слушать речи хорошего монаха, не по-светски воспитанного; они будут уважать его личный характер, будут подходить под его благословение; но умственные доводы такого монаха иногда уже потому долго не будут иметь полного веса в их глазах, что этот примерный и добрый монах не тем языком говорит, каким говорят в светском обществе, не тому учился, не то, совсем не то, может быть, чувствовал, что чувствовали в жизни они... И даже аскетические подвиги самого высшего порядка, совершаемые людьми иного воспитания, иной образованности, иных привычек, могут легко таким, не на духовной (мистической) точке зрения стоящим, людям казаться как будто легкими для тех, для иных, для чуждых им по первоначальному воспитанию людей. Средний и даже небольшой телесный подвиг человека в начале жизни своей светского и более или менее благовоспитанного, человека избалованного хотя бы тем умеренным комфортом и тою полною свободой, которые доступны в наше время образованным людям среднего положения, больше трогает нас, чем самые непостижимые уму самоистязания человека простого и вообще иначе, не по-светски воспитанного. Я объяснюсь нагляднее.

Видит светский человек на Афоне болгарина или грека, живущего в сырой, почти недоступной пещере или слышит рассказы о нем. Пустынный этот питается давно, в течение многих уже лет лишь сухарями и водой и ночи проводит на молитве; советы его уважаются самыми влиятельными лицами Святой Горы. Его ставят в пример младенчества о Христе; умом он муж духовного совета; но сердцем он незлобивый младенец... Отшельничество его сурово до непостижимости; один почитатель его просит его убедительно позволить у себя хоть раз переночевать. Пустынный находит это не по силам тому, но уступает... Все тело

посетителя покрывается за одну ночь какою-то сыпью с пузырями, от простуды, до того пещера сыра.

— Это любопытно! Это удивительно! — говорит светский человек; но тотчас же его же мысль возражает ему:

— Да! Но как живут в міру эти простые греки и болгары? Не живут ли они часто без потолка, на земляном полу? В домах у них нет печек, а только очаг вроде костра, который и в пещере можно развести... Чтò едят в міру эти люди юга? Перец, маслины, хлеб и самый грубый сыр...
10 Достичь, стало быть, такому греку или болгарину этого легче, чем даже русскому крестьянину, который привык хоть к теплу зимой в избе...

И хотя такое рассуждение светского христианина не совсем правильно; хотя истинный христианский разум ответит на это возражение совсем иначе, ибо и между монахами из пастухов и дровосеков такого рода люди выходят очень редко; но я говорю не о правильности, а только о естественности подобного возражения; о том, что для иных людей знакомство с монахами, подобными Клименту, ко-
20 торый жил в хорошеньком домике, очень любил тепло топить у себя и спал на хорошей кровати, может быть весьма полезным предварительным средством, чтобы понять и афонского пустытника. По внешним, видимым подвигам последний, конечно, выше; по внутренней борьбе — неизвестно кто. Несомненно одно — что Клименты вообще таких греков и болгар, у которых переночевать безнаказанно нельзя, чтут неизмеримо выше себя, и этого одного довольно. Ибо, владея нашими формами, они могли бы
30 лучше всякого другого объяснить нам сущность Христианства (так, как понимает его Церковь, а не как хотят понимать теперь его многие исключительно в смысле школ и благотворительных заведений).

Когда кто-нибудь из нас, мірян известного рода, видел этого бывшего московского студента даже и в его светлой и чистой иноческой келье и пил с ним не только обыкновенный чай или кофе, но и какао (которое он любил между прочим за то, что оно отнимает аппетит и таким образом

облегчает немного строгость поста), то на него, с одной стороны, это действовало примиряющим образом, заставляло больше верить, так сказать, в физическую возможность монашества для всякого, кто бы только искренно пожелал его; а с другой стороны, внимая убеждениям Климента и слушая его рассказы о прежних и нынешних оптинских старцах, глядя на его честное, одушевленное и приятное лицо, каждый из нас начинал все больше и больше постигать ту истину, что сущность христианского самоограничения (аскетизма) не столько в достижении явном, сколько в ежеминутной, часто никому неведомой борьбе, имеющей свои и невинные, простые, и чрезвычайно высокие, неопытному даже и непонятные утешения.

Однажды, когда Климент говорил мне долго и прекрасно о душе, о понуждении себя, о Промысле, я спросил у него:

— Хорошо все это; но я прошу вас, скажите мне откровенно: тут-то, на земле, есть ли хоть столько приятного у монаха, сколько бывает у мирянина, при обыкновенной смене печалей и радостей жизни?

У Климента глаза заблестали:

— Есть, есть и гораздо больше! Надо только иметь полное доверие к старцам. А без старчества и внутреннего послушания трудно и понять, как могут жить на свете иные монахи. Когда я по нужде бываю в миру, я не дождусь вернуться сюда. Мне скучно, если я не в Оптиной.

Какие же могут быть радости и утешения в жизни добросовестного инока, который дал клятву отречения «от мира»? Ведь этот «мир» везде; он не оставляет человека и в самом строгом общежитии, он преследует его в безлюдной пустыне. «Мир» — это не столько совокупность внешних предметов, возбуждающих наши чувства и страсти, сколько те внутренние задатки возбуждений, которые мы носим в себе. Внешние предметы — это руки, ударяющие по струнам, но струны эти находятся в сердце нашем. Страсти мы носим в себе, и, давая клятву отречения,

монах дает обещание бороться ежечасно против своего внутреннего «мира». Но куда от него скрыться? Я сказал, что этот «мир», носимый нами в недрах души нашей, преследует даже отшельников в самых безлюдных пустынях. Великие учителя иноческой жизни очень немногим советуют, например, совершенно разобщаться с людьми.

Непомерное самолюбие, неутолимый гнев на людей, ужасное уныние и сладострастные мечты терзают в одиночестве и безмолвии такого пустычника, который удалился от людей без предварительной и долгой подготовки. Способность к раннему «безмолвию» есть особенный дар благодати.

Большая часть отшельников предварительно испытывают и готовят себя в многолюдных общежитиях. Так делается и теперь на Афоне. В общежитиях вырабатываются уступчивость, отречение воли; в общежитии человек отвывает от своевольных желаний... Столкновения, частые оскорбления от братьев (даже и от хороших людей) неизбежны и душеспасительны. Оскорбитель виноват, по-
20 жим, но оскорбленному это на пользу... Идеал в том, чтобы всякий находил сам себя вечно неправым и ежеминутно грешным...

Это ужасно! Какие же тут возможны утешения? Какие радости?..

Да! внутренний подвиг серьезного монаха очень труден, но подвиг этот влечет за собой особого рода вознаграждения и здесь, на земле.

Упрощаются требования, вырабатывается в человеке больше прежнего способность благодарить Бога за то, что
30 по крайней мере не хуже. Все ничтожные, будничные, так сказать, отправления жизни озаряются высшим идеальным смыслом. Плохая, грубая пища радует иногда монаха больше, чем могут веселить тонкие блюда человека, ими избалованного. Прогулка какая-нибудь в хорошую погоду, отдых после долгих служб и тяжелых послушаний, свидание с близкими людьми, к которым и монахам не запрещается иметь умеренные и разумные чувства. Все эти обще-

человеческие права не отняты и у монаха. Внимательный к себе человек и за них сумеет поблагодарить Бога... И отца Климента я часто видал очень веселым, разговорчивым, шутливым даже, за чашкой чаю, в прекрасном лесу и на дружеской прогулке, за чтением книги какой-нибудь в келье... А великолепные церковные службы, столь глубоко осмысленные, которые он знал и постигал так хорошо, так ясно!..

Я видал его служащим. Я думал всегда, что в эти торжественные минуты он был особенно счастлив. И как он мне казался хорош собой тогда!.. Он ростом был невелик, плешив и без клобука много терял. Но я не раз видал его служащим в клобуке и мантии. Тогда он был красив. Черный клобук, флер, который ниспадал сзади на золотое облачение, увеличивал его рост. Из-под пышной ризы иерея так осмысленно влачилась по земле черная мантия личного смирения... Он ходил тихо, произносил прекрасно: в голосе и в интонации его не было и тени той грубости, которая так нередко нас поражает в возгласах и речах многих других священников и монахов, менее Климента благовоспитанных, и так неприятно действует на иных мирян, справедливо взыскательных с этой точки зрения.

Что отец Климент был счастлив, служа в церкви, в этом нет сомнения. Я случайно раз услышал, как он обрадовался, когда, будучи один из младших иеромонахов в скиту, при мне он получил от игумена приглашение всегда участвовать в соборных службах монастыря...

— Я очень рад! я очень рад! — повторял он, и лицо его стало такое веселое.

И мало ли еще какие другие земные утешения предстоят тому, кто решился избрать иноческий путь!.. Неожиданное умиление на принудительной и наскучившей молитве; какая-нибудь удача в занятиях; любопытное чтение, одно какое-нибудь ласковое слово и ободрение старца, иногда даже шутка его... Самые оскорбления и неудачи могут служить источником особенного рода отрад.

Без оскорблений, без неудач и без собственных проступков жить нельзя. Но впечатление от обиды зависит от нашей точки зрения; и оскорбленному монаху предстоит большая духовная радость, если он весело и кротко перенесет какую-нибудь несправедливость и глупость ближнего. Неудача объясняется милосердием Божиим... для нашего исправления.

— Бог *взыскал* меня, Бог *посетил* меня... Наказывая, Он ищет исправиться меня...

¹⁰ За проступком и грехом, за гневом, за движением зависти, за мечтами о женщинах, за честолюбивыми порывами следует нередко несказанная сладость покаяния и даже слез...

Люди близкие к отцу Клименту заставляли его не раз плачущим в келье пред образом.

Слезы не всегда бывают тяжелы и горестны, в них иногда величайшая отрада...

²⁰ Относительно скорбей вообще, у монахов существуют такие суровые утешения, от которых человек, не привыкший к монашескому мировоззрению, легко может прийти в ужас. Но и эти, страшные в земном смысле, утешения могут быть очень действительны при известного рода напряжении ума.

Вот что говорит блаженный Иоанн Карпафийский в Слове постническом и утешительном (извлечено из книги «Добротолюбие»).

³⁰ «Никогда не подумай превозносить выше инока — мирянина, имеющего жену и детей, который утешается тем, что делает многим добро и обильно подает милостыню и при этом ничуть от злых духов не искушается, и не считай себя ниже такого мирянина в благоугождении Богу. И не презирай себя как погибающего. Я не говорю уже это о том случае, если ты живешь непорочно, терпя монашеские скорби, но даже если ты при этом и очень грешен. Скорбь твоей души и твои страдания выше пред Богом, чем житейские добродетели; сильная печаль твоя и жалобы, и вздохи, и сетования, и слезы, и мучения совести, и недо-

умение помысла, и самоосуждение, и рыдание, и плач ума, и вопли сердца, и сокрушение, и смущение, и презрение к себе, и бессилие, и уничтожение, — все это и подобное этому случающееся с иноками, ввергаемыми в железную печь искушений, почетнее и приятнее пред Богом, чем благоугождение мирянина».

Разумеется, добросовестному монаху легче, чем нам, свыкнуться с подобными мыслями, ибо в течение долгих лет он слышит и читает их и в церкви, и в келейном одиночестве, и в беседах с духовным наставником своим, и за трапезой, и в пении, и в проповеди, и в житиях, и в богословских книгах... Прибавлю еще и то, что всякий род жизни и всякое занятие имеют свои горести и свои особые радости. Объясните толковому торговому человеку или «хозяину» какому-нибудь, как страдает и чему радуется художник. Он даром не возьмет этих радостей, покупаемых такою дорогою ценой. Уверьте человека, привыкшего к покойной жизни и к безопасности благоустроенных городов, что моряку на море и воину в бою бывает иногда очень весело. Он поверит, быть может, на слово... Но не скажет ли он: «Да идет мимо меня сия чаша!» Пусть так, но не приятно ли видеть, когда практический человек понимает и любит поэта, благодарит его, так сказать, за те страдания, которые он решился избрать? Не приятно ли видеть, когда мирный и, быть может, по личным привычкам робкий гражданин восхищается подвигами воина и преклоняется пред ними?..

Пусть же христианин, неспособный сам стать монахом (это не есть необходимость), умеет чтить и понимать хорошего инока, хотя бы «в теории», так, как нередко умеет понимать умный делец страдания художника; пусть он чувствует его, как чувствуют храбрых солдат и генералов люди, неспособные сами даже взять оружие в руки.

Это будет гораздо справедливее и умнее, чем отрицать важность и заслугу того, к чему мы сами не чувствуем себя способными.

Я не стану распространяться здесь о пользе, которую я сам во многих отношениях извлек из бесед моего высокообразованного и верующего друга. Эта идеальная польза есть приобретение моего внутреннего мира, о котором было бы неуместно сообщать в печати. Здесь речь идет не обо мне самом; себя я должен коснуться лишь там, где это мне кажется необходимым для лучшего объяснения характера отца Климента.

¹⁰ Например, по вопросу о Католицизме. Здесь, чтоб указать на катехизаторские наклонности покойного и обрисовать живым примером его ревность, я вынужден сознаться, что к Католичеству у меня есть некоторое пристрастие, не в смысле догматическом, конечно, не в смысле чисто религиозном, но, так сказать, в культурно-политическом. Этими вкусами моими я очень много тревожил отца Климента; по этому поводу у нас с ним было много горячих споров; он сам заводил об этом предмете речь; увещевал меня, стыдил, преследовал за это на словах и ²⁰ даже в письмах; зимой — в моей или его келье, летом — в лесу на прогулках спор этот не раз возобновлялся; в Москве, в Петербурге, везде я от времени до времени получал от него письма, в которых он касался этого предмета, по его мнению очень щекотливого, по-моему очень простого и ясного. Сначала я думал, что он не понимает меня, что он смешивает во мне совершенно независимые друг от друга чувства и понятия; но потом я убедился, что не он меня, а я его не понимал. Наконец ³⁰ он решился договориться до конца. И тогда я его понял; и хотя все-таки остался при своем взгляде, но увидал, что разница между нами большая. Я никак не могу забыть ту исполинскую культурную борьбу ясного и выработанного старого с неопределенным и неясным новым, которая ведется теперь по всему земному шару; он ни на минуту не хотел вполне оставить заботу о спасении души, не только своей собственной, но и ближнего. Я, защищая некоторые

стороны Папства, думал о судьбах Европы, столь сильно, к несчастью, влияющей и на Россию, он, тревожно и настойчиво возражая мне, думал о моей душе. Он боялся даже этой искры сочувствия Папизму; он опасался, чтобы политическое сочувствие, ясно отделяемое мною от личных религиозных верований, не перешло незаметно во что-то иное. Однажды, слушая мою апологию Католичеству, он повторил несколько раз, с укоризною качая головой:

— Смотрите! Берегитесь.

— Что такое? — сказал я, смеясь; — не бойтесь, я католиком не сделаюсь; но мне жаль только, что большинство нашего духовенства не имеет той ревности, которую имеет католическая Иерархия, и сверх того мы, к несчастью, так глубоко связаны с Западом, что всякое вредное движение там, позднее, вы знаете, отзывается и у нас. Наша Церковь еще не пережила тех открытых гонений, которые вот уже скоро век терпит Папство от западных либералов, а между тем и у нас Церковь если не потрясена, то уже подкопана со многих сторон.

— Послушайте, — воскликнул Зедергольм горячо. — Вы долго не были настоящим христианином; вы обратились поздно. Я понимаю, что это очень полезно для начала — уважать всякую веру, даже и Буддизм, и предпочитать всякое исповедание пустоте мнимого прогресса. Да, для начала обращения... Но останавливаться на этом нельзя... Надо идти дальше и чувствовать духовное омерзение ко всему, что не Православие.

— Зачем я буду чувствовать это омерзение? — воскликнул я. — Нет! для меня это невозможно. Я Коран читаю с удовольствием...

— Коран — мерзость! — сказал Климент, отвращаясь.

— Что делать! А для меня это прекрасная лирическая поэма. И я на вашу точку зрения не стану никогда. Я не понимаю этой односторонности, и вы напрасно за меня опасаетесь. Я Православию подчиняюсь, вы видите сами, вполне. Я признаю не только то, что в нем убедительно

для моего разума и сердца, но и то, что мне претит...
Credo quia absurdum...

— В учении Церкви не может быть абсурда, — горячо возразил Климент.

— Вы придираетесь к словам. Я выражусь иначе: я верую и тому, что по немощи человеческой вообще и моего разума в особенности, что по старым и неизгладимым привычкам европейского, *либерального* воспитания, кажется мне абсурдом. Оно не абсурд, положим, само по себе, но для меня как будто абсурд... Однако я верую и слушаюсь. Позволю себе похвастаться и впасть на минуту даже в духовную гордость и скажу вам, что это лучший, может быть, род веры... Совет, который нам кажется разумным, мы можем принять от всякого умного мужика, например. Чужая мысль поразила наш ум своей истиной. Что же за диво принять ее? Ей подчиняешься невольно и только удивляешься, как она самому не пришла на ум раньше. Но, веруя в духовный авторитет, подчиняться ему против своего разума и против вкусов, воспитанных 20 долгими годами иной жизни, подчинять себя произвольно и насильственно, вопреки целой буре внутренних протестов, мне кажется, это есть настоящая вера. Конечно, то, что я говорю, не слишком смиренно. Это — гордость смирения. Знаю, знаю все это, но, простите, я хочу, чтобы вы поняли, что во мне происходит. Поэтому будьте покойны. Я к иезуитам не пойду; хотя даже и иезуит мне нравится больше равнодушного попа, которому хоть трава не расти и который не перекрестится, пока гром не грянет.

30 — Это национальный недостаток, — сказал Климент. — Это к учению Церкви не относится, это — исторические условия... Впрочем, и у нас были ревнители. Я теперь собираю материалы для составления книги об этих русских ревнителях последних веков.

Тут нас, я помню, прервали; но Климент не успокоился и на другой же день возобновил разговор.

Я сказал ему так:

— Вы видите, я подчиняюсь всему. Ум мой упростить я не могу. Я даю ему волю наслаждаться мыслями; это может, конечно, отнимать время, но колебаний в основах веры не причиняет никаких. Я скажу вам один пример. У меня дома есть «Философский Лексикон» Вольтера. Однажды я прочел там статью о пророке Давиде. Вольтер доказывает, что в теперешнее время его признали бы достойным галер и больше ничего... в этом роде что-то... Я очень смеялся... Я люблю силу ума; но я не верю в безошибочность разума... И потому у меня одно не мешает другому. Я точно также через полчаса после чтения этой статьи Вольтера, как и прежде, мог искренно молиться по Псалтырю Давида. Мы все многого не понимаем. *Лучше я буду подчиняться всему чему угодно по вере, чем подчиняться хотя бы Вольтеру, Боклю или Дарвину по разуму. Мой разум для меня дороже и милее всякого другого разума.* Я ведь и крещусь, и в церковь хожу, и все стараюсь исполнять так же, как любая из этих нищих старух, которые собираются из Козельска у ваших скитских ворот. Поэтому предоставьте мне бояться за все Христианство и за весь мир, когда я вижу, как глубокого потрясен Католицизм, самый могучий, самый выразительный из охранительных оплотов общественного здания. Дайте мне свободу жалеть обо всех этих разнообразных монахах с капюшонами и в широких шляпах, о пышных процессиях, о красных кардиналах. Высшая поэзия и высшая политика связаны глубже между собой, чем обыкновенно думают. Отходит поэзия, отходит и государственная сила, отходит даже и глубина мысли. Не вы ли сами недавно с завистью говорили мне, что у западных народов все было глубоко и выразительно. *«Все трещины с углублением».*

(Чтобы понять последние слова, необходимо здесь передать один анекдот про русского купца и немца полкового командира. Купец этот когда-то приезжал в Оптину пустынь и жаловался, между прочим, на убытки, и рассказал, что более всего убытку причинил ему один полковой командир, немец. Купец ставил ему телеги. Полковой коман-

дир забраковал бóльшую часть за то, что на дереве были трещины. Купец воскликнул: «помилуйте, ваше высокоблагородие, разве можно без трещин?» Но немец возразил: «нет, бывайт просто трещина, бывайт трещина с углублением», и отказался от телег. Отец Климент сам рассказывал мне этот анекдот именно по поводу того, что, как он сам сознавал, у романо-германцев все выразительнее, чем у славян. Он говорил об этом тогда с сокрушением сердца, так как себя считал совсем славянином по духу.)

¹⁰ Увидав, что я пользуюсь его же оружием и привожу его же слова, отец Климент разгорячился, начал говорить горячо, заикался даже, как это с ним нередко случалось, когда он был в сильном волнении, и едва-едва успокоившись, продолжал так:

— Это правда. Я говорил это по поводу книги «Pneumatologie» Мирвиля. Да, я привел эти слова командира: трещина с углублением. Но слушайте, я прошу вас, внимательно, что я вам скажу: эта страстность, эта энергия, эта изобретательность и смелость ума, которыми отличаются ²⁰ люди Запада, очень хороши и полезны в мирских делах; в государственном деле, в науке, в литературе. Но эта самая энергия и страстность были пагубны для Европейца в религиозном отношении. Слушайте: со времени грехопадения первого человека дьявол тщится всячески совратить человечество с истинного пути. За первоначальным монотеизмом последовал ряд уклонений в многобожие, явились одна за другой все эти политеистические религии Востока. Еврейский народ один боролся с ними во все время своего существования. После воплощения Сына Божия политеизм ³⁰ стал невозможен; но злой дух с самого начала поспешил вселить в Церковь раздоры и ереси: арианство и так далее; вы это знаете. Гибла одна ересь при помощи Божией; являлась другая. Против этих ересей и расколов боролась Церковь одинаково и на Востоке, и на Западе. В Испании арианство одно время очень усилилось. Западное духовенство ревностно боролось противу него; оно было право; но по чрезмерной страстности и энергии своей за-

падные народы не умели ни в чем найти должную меру; они все переливали через край. Нужно было возвысить второе Лицо Св. Троицы, так как ариане уничтожали Христа и отрицали Его божественность. Западные люди не удовлетворились утверждением восточного догмата; они прибавили в пылу борьбы, что даже Дух Святой исходит «и от Сына», чтобы всячески Сына прославить. И еще: все христиане чтили как следует Божию Матерь; но Восточная Церковь никогда не признавала, что на ней не было, как на других людях, скверны первородного греха; безгрешен только Бог; все святые грешили. Западные народы не могли остановиться на этом; они изобрели догмат беспорочного зачатия; они опять перелили через край. Они стали увлекаться этим поклонением Богородице до того, что чтут Ее нередко выше самого Христа. Еще пример: никто не отрицает, что нужно чтить глубоко епископский сан, чтить святость сана даже и тогда, когда человек, носящий этот сан, лично недостоин и очень грешен... Это азбука Христианства, без которой христианином нельзя быть. Никто не отвергал даже, что Римский епископ первый между равными, старший в среде других епископов. Его первенство готова признать и теперь Православная Церковь, если бы Рим отрекся от своих догматических заблуждений. Но западные народы и здесь перешли границы. Они выдумали, что Римский епископ не епископ, а нечто особое, Папа, наследник Петра Апостола; что он непогрешим...

— Позвольте (перебил я его), позвольте... Я понимаю, что это неправильно, но я хочу проверить себя. Ведь и у нас есть непогрешимость; непогрешимость Вселенских Соборов в общих делах веры и непогрешимость местных Соборов и даже постоянных Синодов в делах местных. Мы должны верить, что Дух Святой правит нашими Соборами и Синодами и внушает им решения, независимо от того, каковы лично все или некоторые из влиятельных членов этих Соборов, несмотря даже на кажущуюся нам несправедливость или мнимое несовершенство их решений. Богу

известно, почему Он Собору внушил такое, а не иное решение... иначе без этой непогрешимости, без этого рода веры могла ли бы Церковь держаться?..

Отец Климент едва удерживался, слушая меня... Я не давал ему прервать себя; но едва я кончил, он воскликнул с жаром и краснея даже в лице.

— Эта разница между соборною и единоличною непогрешимостью очень важная, очень важная... вы должны понимать это... вы, я говорю (продолжал он, почти с гневом наступая на меня)... вы обязаны все понимать; если бы вы были дама какая-нибудь или... один из тех прогрессистов, которых мнения вы справедливо презираете... тогда можно бы это простить... Но вы должны понимать, что разница в догмате важнее всего для нашей души... без правильного догмата нет спасения; положим, наши великие старцы оптинские, отец Макарий, отец Антоний, говорили всегда «что, быть может, Господь искренно верующих и правильно живущих католиков и протестантов будет судить снисходительно, потому что они не ведали истины»;²⁰ но оправданы быть они не могут вполне. Это выдумка — будто Православная Церковь допускает спасение вне своего учения. Такого рода терпимость невозможна... Вне Православия нет истинного спасения... Вы должны, вы обязаны знать и помнить это... Вы говорите о простых этих козельских мещанках, которые побираются у нас, и что вы верите просто, как они... Мы должны стремиться к простоте и незлобию сердца, а не ума. Козельской нищей простительна простота ума, а вы должны идти вперед в богопознании. Вы должны понуждать себя. Прекрасно³⁰ восхищаться разными религиями и понимать ту долю истины, которая в них заключена; конечно, это нередко очень полезный первый шаг к обращению... Но нельзя на нем останавливаться, чтобы не стать добычей дьявола... Враг пользуется всеми нашими наклонностями, всеми слабостями... и вот ваша любовь к поэзии, которой, конечно, много и в неправильных религиях, даже в язычестве... она вредит вам в этом случае... Дьявол знает, чем каждого из нас

взять... Вы заметьте, — продолжал еще Климент, — что правильная нравственность не может даже процветать на неправильном догмате... Духовенство католическое слишком лукаво... И обвинения мирян в этом отношении основательны...

— Увы! — возразил я, — все это так; но и наши духовные лица не чужды лукавства, когда дело идет о том, чтобы нажить побольше денег или для монастыря собрать, или карьеру сделать. А честные, добросовестные, понимающие истинный дух Христианства, лучшие наши представители Православия, каких я встречал больше между монахами, чем между белым духовенством, обремененным грубыми семейными и хозяйственными заботами, — уж слишком мягки, слишком честны, так сказать, слишком думают только о спасении души своей и разве о спасении знакомых им людей, но не ищут влиять на общество, не ведут упорной, горячей пропаганды в среде русского общества. А умная, деятельная пропаганда в высших слоях русского общества нужнее была бы, чем проповедь алеутам и борьба со староверами, представляющими для России очень полезный тормоз... Уничтожая староверство, мы, так сказать, передвигаем хоть немного центр общей тяжести нашей справа налево.

Опять беспокойство для Климента, опять тревога за мое индивидуальное устройство... Опять возгласы:

— Берегитесь... берегитесь... Не хорошо... Надо чувствовать омерзение ко всем ересям и расколам...

Он не исправил меня, сознаюсь; я все тот же; я не умею упростить себя так, как он упростил себя умственно; может быть, мы оба правы... Он был монах, — я мирянин; он был иерей, священник; я духовного сана не имею; он, постригаясь в мантию, давал страшные обеты отречения и был связан ими, — я связан с миром, я имею дурную привычку писать, имею великое несчастье быть русским литератором... Это, конечно, большая разница. Другие обязанности, другая ответственность; иные впечатления, иная борьба... Он не изменил моих взглядов: не уничто-

жил, не убил ни одного из пристрастий, вскормленных размышлениями над судьбами нашей общей отчизны и человечества. Трудно и было ему уничтожить что-нибудь в этих моих взглядах; он не мог по собственным убеждениям не чувствовать, что я говорю правду и о косвенной пользе раскола, как тормоза, без которого мы ушли бы еще дальше, и о том, что православная проповедь в высшем обществе и ученом русском кругу была бы полезнейшим из миссионерств, и о том, что Католичество западное есть корень западного охранения.

Климент не мог заставить меня думать иначе; ибо видимо он соглашался со мной во всем этом с исторической точки зрения и вместе со мной готов был это все оплакивать...

Он тревожился чисто монашескою мыслью; он заботился о своей душе во всем этом хаосе медленного современного разложения и еще о душе ближнего, о моей душе... С этою целью он и в Москву и в Петербург писал мне письма, убеждая помнить, что все ереси и расколы от дьявола...

Неужели он думал, что я перейду в другую веру? Разумеется, считать перемену веры низостью могут только неверующие или очень ограниченные люди. Кто понимает, что такое вера, тот, конечно, не сочтет низостью или изменой отечеству искренний переход человека по убеждению (или по заблуждению, все равно) в другое исповедание... Но он сочтет это великим несчастьем, с которым никакое другое несчастье сравниться не может. И Климент, я уверен, не мог бояться, что со мной случится подобное бедствие. Нет, он не думал, что я изменю Православию. Он только хотел привлечь мое внимание на некоторую безбоязненность моего ума, который не опасался даже и Мусульманство хвалить, и Коран читать с удовольствием. Ему хотелось поднять меня все выше и выше на лестнице христианского одухотворения; ему хотелось, чтоб я боялся всего подобного, чтоб я боялся даже и невинных сочувствий еретическому, как боятся легких порывов злости,

гнева, сладострастия, чтоб из легких они не стали тяжкими или даже, чтоб и легкие эти движения чувств и мыслей не сквернили души его друга, имеющего скоро, быть может, предстать пред суд Божий... Он сам был так духовен по образу мышления своего, что, мне кажется, умственной ереси он должен был трепетать гораздо больше, чем всех возможных нравственных падений и даже глубоких пороков, ибо все исправимее ложных и вместе с тем искренних убеждений.

Вот, чтобы характеризовать полнее Климента, я невольно должен был упомянуть тут и о себе. Подобными беседами он заставлял меня нередко рассматривать предметы веры и жизни с новых сторон и привлек мое внимание на то, на что оно еще ни разу не обращалось... Этим он сделал мне много добра.

Не мне одному старался отец Климент сделать добро.

Я помню также, между прочим, сколько душевной пользы он сделал и сколько утешений доставил одному молодому греку, простому слуге по званию, но очень способному, развитому умом и до крайности впечатлительному. Этот молодой человек верующий, простодушный (вопреки несторовской фразе: «все греки льстивы до сего дня»), умный, но в то же время практически бестолковый, малодушный и изменчивый до невероятия, впадал беспрестанно в уныние, отчаяние, почти что в безверие от большого самолюбия и бедности своей. Нужно было видеть, как отец Климент заботился о нем, когда он приезжал со мной гостить в Оптину пустынь. Отец Климент говорил прекрасно по-новогречески; он приходил сам ко мне нарочно для этого грека, смеясь и шутя заговаривал с ним по-гречески; то подкреплял его дух самыми отвлеченными богословскими беседами (слуга этот понимал отвлеченные вещи), то ободрял его шутками на «эллинском божественном языке», смеялся сам, острил, говорил ему даже что-то стихами, восхищал его своими познаниями и своим грекофильством. Никогда никого не исповедуя и страшась даже быть духовником по искренности своего духовного смирения,

отец Климент решился для этого иностранца сделать исключение: он сам попросил позволения у своего старца исповедывать этого грека на греческом языке (хотя тот мог почти все объяснить кой-как по-русски). Отец Климент знал, до чего это утешит расстроенного юношу. И надо же было видеть, как повеселел и как надолго ободрился молодой человек после этой исповеди! Я говорил, что грек этот, хотя самоучка и простой крестьянин из Эпирских гор, был способен к отвлеченному мышлению и богословие понимал.

¹⁰ В один из приездов своих в Оптину пустынь он впал в нестерпимую тоску и раздражение... Я, зная его характер, посоветовал ему читать что-нибудь духовное. На этот раз и это не подействовало. К нравственным тревогам прибавились, как нарочно, и теологические сомнения. Для того чтобы почерпать практические правила и пригодные для наших личных и частных чувств и обстоятельств утешения из духовных книг, нужно непоколебимо верить во все главные основы учения. Какую же личную отраду может извлечь человек из аскетических наставлений, когда он, как нарочно, вдруг тут же, при чтении, начинает сомневаться в догматах, в чудесах и т. п.? С бедным единоверцем нашим случилось именно такое несчастье. Философские искушения усугубили его сердечную тоску. Он заговаривал об этом со мною.

Сколько я ни старался его успокоить, я видел, что речи мои, духовным авторитетом в его глазах не согретые, действуют слабо, и я повел его с собой к отцу Клименту. Отец Климент был чем-то занят и озабочен; мы, кажется, ему помешали; так показалось мне по недовольному выражению его лица в первую минуту. Но едва только я ска-
³⁰ зал, в чем дело, нужно было видеть, как встрепенулся он, как забегал, как обрадовался случаю принести человеку духовную пользу, как изменилось и просветлело его приветливое лицо! Он кинулся искать «книги», он не хотел говорить «свое»; отыскал не помню какой греческий фолиант; разложил его с торжествующим до наивности видом, отыскал, по бывшей уже заметке, одно место и прочел его

греку. Затем указал на Иоанна Дамаскина. Действие его речей было совсем иное, чем действие моих. Угрюмое и горькое настроение молодого человека мгновенно исчезло... Оно исчезло еще прежде, чем начал говорить отец Климент... Только что он еще улыбнулся, произнеся первое слово, грек начал уже почти хохотать от радости как ребенок, озираясь на меня, чтобы видеть, разделяю ли я его восторг... Я разделял его. После этого грек стал читать спокойно творения Св. отцов, говел и утих надолго.

Я, припоминая этот незначительный случай, всегда вижу перед собой доброе, честное, умное, немецкое и белокурое лицо этого человека. Я улыбаюсь, вспоминая, как он именно кинулся искать фолианты. Эту готовность, эту заботливость, эту ревность, видную в мелочах, отец Климент обнаруживал часто, иногда, быть может, даже и слишком. Примеров много я видел сам.

Мне могут возразить, что этот рассказ о сношениях отца Климента с молодым греком несколько противоречит тому, что я сказал прежде о неспособности Зедергольма быть старцем-руководителем. В этом случае он, конечно, не только убеждал, объяснял или проповедывал, он утешал и руководил, действовал на сердце, волю, а не на один ум. Конечно, это так; но этот случай исключение. Старец прежде всего должен быть спокоен сам, по крайней мере с виду. Пусть и у старца совершается в душе общечеловеческая борьба; и у него бывает, как у других людей, духовник (иногда несравненно низший его по уму и жизни), пред которым он может изливать свои тайные скорби; но для духовных чад своих старец должен являться невозмутимым. Он должен быть подобен терпеливому и проникнутому любовью к науке своей врачу, который, сам страдая какую-нибудь несносною болезнью и сознавая ее серьезность, принимает все-таки больных ласково и внимательно. Отец Климент был слишком горяч, слишком требователен и вспыльчив для этого. Мне кажется, что и преклонные года не изменили бы его в этом отношении. Года ослабляют другого рода страсти. Но раздражитель-

ность и беспокойный нрав не только мало уступают влиянию лет и недугов, но, напротив того, нередко усиливаются под конец жизни.

Нет! этот усердный слуга Церкви, этот ревностный учитель, этот благородный страдалец о Христе руководить и поддержать других спокойно не умел. Расскажу еще один случай из его жизни. Я познакомился в Оптиной с одним помещиком; мы там гащивали с ним не раз. Подобно мне, этот помещик был в восторге от Зедергольма. Он тоже окончил курс в университете; был сверх того человек начитанный, но к половине жизни своей, отстранив всякое «лжемудрие», сказал себе: «блажен муж, иже не иде на совет нечестивых». Ему до невероятия приятно было встретить в оптинском монахе человека своего общества, своих понятий, своего воспитания... человека, который, точно так же как и мы все, читал смолоду Гоголя, Пушкина, Шиллера и Гете, переживал то, что и мы переживали, который (как замечал довольно удачно этот помещик) «улыбается даже именно там где нужно, там, где мы улыбаемся!..» Подобно мне, этот оптинский гость любил подолгу беседовать с Климентом и требовал, чтобы тот сам непременно руководил его. Напрасно Климент уговаривал его почаще в скорбях и сомнениях обращаться к настоящим оптинским духовникам, напрасно уверял его, что они скорее его утешат и успокоят. Помещик, при всей своей набожности, все-таки был более душевный, чем духовный человек. Ему все казалось, что настоящие-то духовники именно и не поймут всех оттенков его сомнений и страданий, тогда как московский магистр все это разберет и рассудит. Он ходил и к духовникам, прибегал к ним изредка, когда ему становилось уж слишком тяжело или когда Климент почти насильно гнал его к ним; но был все чем-то недоволен, тяготился и страдал. Горестей домашних у него было много, прошедшее его было бурно; настоящее печально; он не мог долго быть без Оптиной; но, с другой стороны, готов был всякий раз с радостью бежать из нее... Я его видел очень часто больным, смущенным и взволнованным.

Недавно мы встретились еще раз. Климент был уже в могиле. Это было Великим Постом. Я заметил, что при Клименте этот помещик бывал в церкви правильнее и чаще. Теперь же он то по целым неделям не ходил в церковь, то являлся туда по два раза в день и более, выстаивал много и продолжал так поступать по нескольку дней подряд. При этом он был заметно веселее и покойнее. Мы шли однажды вместе по скитской дорожке. Могила отца Климента, занесенная снегом, была видна на лево.

10

Помещик остановился и сказал мне:

— А знаете ли вы, что без него мне стало легче в Оптиной?.. Как он, бедный, был прав, когда посылал меня к старцам. Он не умел обращаться со мной, он требовал от меня слишком многого. Он доводил меня почти до слез... Сердился на меня... Однажды он меня назвал «неблагодарным» за то, что я, изнемогая от болезни и уныния, ушел прежде времени из церкви. По внутреннему моему чувству мне пробыть в церкви и один час казалось в этот день подвигом, мучительным распятием плоти; а он на другой день сделал мне за это сцену... Правда, я тогда счел себя неправым и попросил прощения, и он смутился и тоже как будто покаялся предо мной. Но я тогда его поклон принял за обязательный формализм, за «смирение» это... знаете... Но только теперь, нынешний год я понял ясно, что вина моя была в том, что я не слушался Климента и не шел к тем, к кому он меня посылал. Он был искренний человек и видел сам, что не умеет быть старцем... Он мучил меня и мучился сам... А я упорствовал... Правду говорят монахи, что монашество есть «наука из наук». Тут есть такие оттенки, которые нам и в голову не придут. Вот, например, на первой неделе поста, в понедельник, я отстоял часы охотно, но к длинной вечерне мне ужасно не хотелось идти, мне хотелось лучше дома, одному почитать что-нибудь духовное... Однако, помня Климента, я пошел. Не отстоял я и часу, как скука и усталость мои дошли почти до злости. Я не мог молиться. Уйти мне

20

30

было стыдно; оставаться несносно. Наконец я решился по-
дойти к скитона начальнику (к тому именно духовнику, к
которому меня так часто *знал* Климент) и потихоньку ска-
зал ему всю правду. Он тотчас же с ласковым видом
благословил мне идти домой, и сказал: «Бог желает добро-
хотного дателя. Лучше идите домой с миром и будьте
покойны духом. Господь видит ваши немощи и знает ваше
усердие! И вперед всю первую неделю поста ходите в
церковь только раз в день, или к часам, или к вечерне.
10 Тогда не будете озлобляться». Я так обрадовался этому
спокойному и ласковому слову скитона начальника, что остал-
ся еще уже охотно, кажется, целый час, а потом утешен-
ный и веселый отправился домой. Уходя, я должен был
зайти в маленькую келию монаха, живущего при церкви,
чтобы взять там свою шубу. Вошел и вспомнил тотчас, как
два года тому назад случилось со мной то же самое. Я
изнемогал и в тоске и в унынии вышел сюда и сел. Вдруг
предо мной явился отец Климент. Он пожалел, понял, что
я страдаю, и пришел меня утешить и ободрить. Доброты в
20 этом было много; вы сами знаете, он был строгий форма-
лист и ему выйти прежде срока из церкви было нелегко.
Это была жертва дружбе. И что же? Вместо утешения, он
слово за словом увлекся, разгорячился и чуть-чуть было не
наговорил мне неприятностей... Я осмелился не то чтобы
проптать... о! нет... я еще и не начал роптать, а он уж
вообразил, что вот-вот я сейчас заропщу, вспыхнул в лице,
начал заикаться и поскорее ушел от меня... А я отправился
к себе. Вот что значит беспокойный характер! Такому че-
ловеку не дана сила старчества. Вообразите себе еще, что
30 на другой день он пришел ко мне и сказал, снимая предо
мною клобук и по-мирски кланяясь: «Будьте так добры,
если для своей души не хотите поусердствовать, то сдела-
йте это для меня, из дружбы. Сегодня вечером приходите
на бдение из первых и выйдите последним из церкви.
Пробудьте все четыре часа в церкви; сидите, дремлите,
если хотите, только не оставляйте храма Божия до конца...
Я прошу вас, сделайте это для меня. Я тоже немощный

человек; мне стыдно пред монахами. Они скажут: „Вот Климент все няньчится с ***; а тот все его не слушается”.
Прошу вас!» — И опять поклон. Я, скрепя сердце, согласился, обещал и исполнил; пришел прежде многих монахов, половину бдения сидел и ушел последним. Климент служил в этот вечер сам. Он кадил мне серьезно, и прочесть невозможно было на лице его в эту минуту ничего. Но на другой день он смеялся, ликовал. — «Напрасно вы хвалите меня, — сказал я ему полушутя, полусердито. — Я сделал это не столько из ревности по Боге, сколько в угоду монахам... Бог милостив, а монахи жестокосерды...» Отец Климент воскликнул: «Ну что ж, и это хорошо! Пойдите, я вам дам рахат-лукума за то, что вы умеете ладить с монахами». — Вообще он до того усердно заботился обо мне, — прибавил помещик, — что я в иные недели трудных служб просто боялся его... И уверяю вас, что мне без беседы его скучнее в Оптиной, а без вмешательства его в мое поведение легче...

— Послушайте, однако, — возразил я. — Простите, но это в самом деле неблагодарность...

Собеседник мой наклонил голову и ответил:

— Что делать! Это невольное чувство... Я сам был виноват, что не слушался его тогда же, не ходил чаще к другим и доверялся более университетскому воспитанию и светскому образованию, чем действительному опыту и духовному разуму.

К хорошему, искусному начальствованию отец Климент тоже обнаруживал мало способностей. Положим, что эти свойства внешней распорядительности он мог бы со временем легче приобрести, чем силу внутреннего руководящего; начальником он мог стать добросовестным, твердым в долге своем; но едва ли бы он стал когда бы то ни было начальником популярным. Для этого нужно иметь больше спокойствия и той искусственной, пожалуй, скажем даже, иногда притворной самоуверенности, которой он бы никогда, вероятно, не достиг. Хороший начальник может помучиться сомнением в пользе своих распоряжений; но надо,

чтобы подчиненные как можно меньше видели эту муку. Пусть начальник смиряется и мучается пред Богом — это его обязанность. Но пусть подчиненные верят, по возможности, в его правоту, видя его спокойным, кстати кротким и ласковым и кстати гневным и строгим. Отец же Климент был в вечном волнении. По усердию своему, по душевной любви к «младшей скитской братии», он вмешивался в дела скита, не имея к тому прямой должностной обязанности, был чем-то вроде благочинного по призванию; но все замечания и выговоры его были резки, слишком горячи; взволновавшись сам донельзя, он поднимал целую бурю и, отягощая молодежь или оскорбляя новоначальных, цели достигал редко. Его боялись, конечно; слушались до известной степени, но нередко тяготились и, надо правду сказать, не очень его любили. Любили его крепко только те, которые его *понимали*. А такого понимания характера сложного, ума весьма развитого, души страдальческой и бурной, вечно ищущей спокойствия во Христе, вечно собою недовольной, вечно усердствующей и вечно болезненно кающейся, такого понимания как ждать от тех простых русских людей, из которых большею частью набираются монастырские послушники и новоначальные монахи? Один из них юноша, сынок купца уездного; другой тоже юноша, крестьянин, едва знающий грамоту; третий, тоже молодой, сын бедного чиновника, читавший в миру только «Битву русских с кабардинцами» и «Гуак, или непреоборимая верность». Четвертый, старый отставной дьячек, который в миру никакого характера, кроме характера своей дьячихи, не изучал. Всё люди русские, беспорядочные по природе, неопрятные по привычке, рассеянные, не очень исполнительные, хотя и добрые, верующие, честные. Они жаловались, например, что отец Климент не умел быть ласков с ними, никогда даже не шутил. А на это была простая причина. Климент был очень добр, очень чувствителен, очень жалостлив даже; он их всех от души любил уже за одно то, что они *все оптинские*; дети и слуги той обители, за которую он готов был отдать жизнь свою; но, не созна-

вая в себе настоящей административной ловкости, не чувствуя себя в должной мере самоуверенным внутренне, он боялся фамильярности. Где же было понять эти тонкости его характера доброму и бедному отставному дьячку, который сердился на отца Климента за то, что тот не позволял ему много сидеть в церкви на бдениях, или неопытному юноше, читателю *Гуака*, тоже не раз испытавшему на себе, что значит пыл Климентовых увещаний.

Замечу еще здесь кстати, что чрезмерная прямота и горячность отца Климента создавали ему нередко недоброжелателей и в миру, и в среде духовенства. ¹⁰

При всем своем искании смирения и покорности, он и с равными, и с высшими не всегда стеснялся и часто высказывал правду. Умолчать в иных случаях было для него страданием.

VIII

Смерть отца Климента была почти внезапная, никем неожиданная.

В Св. Синоде его давно уже имели в виду для какой-нибудь высшей должности. Он сам о монашеской карьере ²⁰нисколько не заботился. Он был самолюбив; но добросовестность, прямота и тот страх греха, о котором я говорил прежде, были в нем сильнее всяких еще не угасших вполне страстей. Страсти и всякие чувства могли волновать его, но при помощи любимого старца и духовника, при постоянной усердной молитве борьба всегда кончалась победой честного инока над плотским еще человеком...

Для карьеры он шагу для себя сам не позволил бы никогда сделать, не только по страху Божию, но еще по той сильной привязанности, которую он имел к старцу ³⁰своему, известному отцу Амвросию. Всякая начальническая должность на стороне разлучила бы их, а Климент даже погулять по лесу или прокатиться в тележке не дерзал без благословения старца. Говорят, что он считал сам себя до того «непотребным и слабым» монахом, что посто-

янно молил Бога не оставлять его одного на земле без отца Амвросия. Годы его были еще не велики, и он больше всего боялся пережить своего, давно уже недужного и стареющего руководителя. Как же мог такой человек искать карьеры? Но прошлую весной, незадолго до болезни его, пришло ему предложение принять должность игумена в одном из второстепенных монастырей Калужской губернии.

10 При этой вести началась у отца Климента мучительная борьба. Как расстаться с духовным воспитателем своим, оставить этот милый его сердцу скит, где он желал всегда жить и умереть; этот домик, эту келью, построенную дорогим его памяти графом А. П. Толстым; эту братию, этих товарищей поста, безмолвия, молитвы; эти ели темные, эти дорожки скита, цветы, разведенные самим великим старцем Макарием, которого он еще сподобился застать в живых.

20 Но с другой стороны, чувство особого рода смирения шептало ему: «Уверен ли ты, что ты уже настолько высок и бесплотен устроением своим, что не пожалеешь после, зачем отказался от власти, от более широкой деятельности на пользу Церкви? Желание скромной и безмолвной жизни *навсегда* не есть ли высшая степень самоуверенности? Не опаснее ли гордость духовная этого рода, чем простое и смиренное сознание: „да! я еще тщеславен, и мне, может быть, власть и значение будут приятны, особенно когда я не искал их сам?“»

30 Такими мыслями терзался отец Климент по поводу предстоящего назначения своего, и даже старец любимый не мог вдруг утишить и уничтожить эту скорбь и эту бурю. Но то, чего не мог разрешить на этот раз даже и сам старец, разрешил сам Бог.

Климент весной внезапно заболел какою-то острою болезнью и умер.

Болезнь его сначала не была понята, хотя лечил его врач, считавшийся весьма хорошим. В Оптиной пустыни есть свой собственный врач, пожилой монах из настоящих

и опытных медиков, человек, кончивший в свое время курс в Московском Университете. Этот медик-монах с самого начала говорил, что у отца Климента воспаление легких; но посторонний врач был с ним не согласен и покался в своей ошибке только за день, кажется, до кончины пациента.

Всегда очень требовательный, как мы уже знаем (потому что сам был аккуратен и во всем толков), отец Климент во все время последней болезни стал удивительно терпелив и кроток.

После свидания с новообращенным немцем, который его так развеселил и ободрил на минуту своим посещением, отец Климент опять лег и утих...

Уже заранее исполнив все требования веры, соборовавшись и причастившись еще прежде, он почти уснул без страданий, припав ко груди любимого и преданного келейника.

Я в это время был в Москве и ничего не знал. Недели чрез две-три, в самом начале мая, я приехал в Оптину. Всю дорогу я думал об отце Клименте и собирался даже прочесть ему знаменитое стихотворение Альфреда де Мюссе «L'Espoir en Dieu». Мне хотелось знать, что он скажет об этом превосходном произведении, где все нападки на безверие, на практическую бесплодность философии так правдивы и так блистательны...

Было так приятно ехать в Оптину пустынь в это прекрасное время года! Зеленая и ровная, влажная и широкая Россия наша в этот весенний месяц так хороша! Я приехал, вошел в гостиницу; мальчик мел номер, и, когда я спросил его об отце Клименте, он с детским равнодушием и даже с веселою улыбкой отвечал: «отец Климент умер!»

Ни в чем неповинный мальчик этот в эту минуту показался мне неприятным.

Я пошел в скит.

В скиту есть одна боковая дорожка. При начале ее стоит широкая, очень развесистая липа. Подальше виден большой деревянный крест с выпуклым, довольно грубо

сделанным Распятием; это не могила; это Распятие обозначает место маленького скитского кладбища. Около Распятия целый ряд дерновых валиков и чугунных плит. Это все в разное время умершие иноки и послушники скита. Здесь могила монаха из помещиков (Огиевского); тут памятник над иноком, поступившим в Оптину еще во времена Наполеона I; там купец; дальше диакон и еще купец; вот несколько крестьян... Под липой погребен отец Александр Лихарев, в миру — гвардеец, когда-то предводитель дворянский и вивер, окончивший жизнь свою тоже монахом. Все эти могилы были не новые и коротко знакомые мне; дерн на них оброс давно густою травой. Но по другую сторону креста я увидел могилу новую. На ней прежняя трава была суха и низка, а свежая еще не выросла; все эти края правильно срезанного дерна, эти могильные швы так выразительно зияли... Это была могила моего бедного друга! Я не мог ни плакать, ни сокрушаться. Сердце мое было так же сухо, как эти жесткие края сухого дерна, еще не обросшего новою травой. Каюсь, я был скорее в негодовании, чем в истинной скорби...

Напрасно я даже вспоминал прекрасное слово протоиерея Сергиевского у гроба тоже почти внезапно умершего П. М. Леонтьева... «Смерть есть таинство; если бы человек умирал всегда в глубокой старости, при постепенном истощении сил, тогда смерть можно было бы понять как простое явление физической природы... Но это смерть человека, исполненного еще сил и деятельности!..»

Все это так, но моему сердцу не было легче и стало легче много позднее...

Я хотел бы насильно подчиниться взгляду монахов, из которых столь многие жалели о том, что не видят больше Климента, но прибавляли всегда: «видно для него-то так лучше. Господь, видя усердие его, призвал его. Быть может, дальнейшая жизнь и начальствование не были бы ему для его души полезны!..»

Я хотел по разуму и не мог по сердцу очень долго подчиниться этому суждению. Наконец и я стал понемногу

соглашаться с этим. Желание написать биографию отца Климента заставило меня больше и больше расспрашивать о нем; и все, восхваляя его усердие, его веру, его ум, его искреннюю и горячую доброту, указывали, однако, на ту непомерную впечатлительность его и вспыльчивость, о которой я уже столько говорил; она терзала гораздо больше его, чем тех, на кого он сердился. Обдумывая все эти вещи, слыша все эти рассказы о нем, с других сторон столь похвальные, я стал думать: «как мог стать покойным начальником монах столь строгий ко своему внутреннему миру и вместе с тем такой тревожный в сношениях с людьми?»

Так думают в Оптиной, когда речь идет о душевной пользе покойника; но совершенно иначе относятся те же люди, когда говорят об утрате, понесенной монастырем и, может быть, Церковью вообще.

Утрата эта очень велика.

Мне часто приходится теперь зимою, когда я приезжаю в Оптину пустынь, проходить мимо той дорожки, которая ведет к большому деревянному Распятию маленького скитского кладбища. Дорожка расчищена, но могилы занесены снегом. Вечером на Распятии горит лампадка в красном фонаре, и откуда бы я ни возвращался в поздний час, я издали вижу этот свет в темноте и знаю *что такое там, около этого пунцового, сияющего пятна...* Иногда оно кажется кротким, но зато иногда нестерпимо страшным во мраке среди снегов!.. Страшно за себя, страшно за близких, страшно особенно за родину, когда вспомнишь, как мало в ней таких людей и как рано они умирают, не свершив и половины возможного...

10

20

30

ВОСПОМИНАНИЕ О Ф. И. ИНОЗЕМЦОВЕ И ДРУГИХ МОСКОВСКИХ ДОКТОРАХ 50-х ГОДОВ

I

Когда я (в 49-м году) был студентом первого курса, я уже много слышал об Иноземцове, но ни разу еще не видал его.

10 О нем отзывались прекрасно; почти все говорили, что он человек симпатичный и благородный. Иные, впрочем, сравнивая его с Овером, утверждали, что Овер — врач, ума более практического, а Иноземцов — теоретик и увлекается системами. Я помню спор двух московских дам: одна была за Овера, другая за Иноземцова. «Нет, мой друг, — воскликнула наконец защитница Овера (как врача), — если бы от меня зависел выбор, я бы любила Иноземцова, а лечилась бы у Овера... Федора Ивановича можно обожать, но он все бы меня „питал млеком“, а я этому не верю».

20 Вообще дамы московские находили обоих знаменитых врачей очень привлекательными; оба они у женщин пользовались успехом. Молодая тетка моя А. П. Коробанова выражалась о наружности Федора Ивановича очень своеобразно; она говорила:

— *Il a l'air d'un singe couronné d'un diadème* («обезьяна, увенчанная короной»).

Это могло казаться очень странным, и я не понимал впечатления этой остроумной женщины до тех пор, пока сам не увидал Иноземцова.

30 В этом странном определении, или в этом фантастическом образе «коронованной обезьяны» была какая-то ху-

дожественная истина, которую я оценил с первого взгляда на Иноземцова.

Иноземцов, пожалуй, был скорее дурен собой, чем хорош, но его относительная некрасивость была лучше иной «писаной» красоты.

Он был очень смугл; волосы у него были черные, очень густые и всегда коротко, под гребенку, остриженные. Лицо его было совершенно особенное, оригинальное. Оно было длинно, узко, смугло, как я сказал, нос длинен, но неправилен и не совсем прям. Глаза у него были очень ¹⁰ темные, немного томные, как будто задумчивые и даже печальные; но в них светилась чрезвычайная доброта. Усы он брил, но носил небольшие короткие бакенбарды вокруг всего лица. Я видал его почти всегда в синем вицмундире Министерства народного просвещения и всегда почти застегнутым доверху.

Росту Иноземцов был довольно высокого и до позднего возраста прям, строен и ловок в движениях.

Это лицо темное, неправильное, задумчивое; эти короткие черные волосы, которые немного сами приподнимались ²⁰ стоймя надо лбом, — было во всем этом что-то и крайне милое, и, пожалуй, приятно-некрасивое, и мыслящее, и полное тихого достоинства...

«Приятно-некрасивое и полное тихого достоинства» — вот что, вероятно, заставило молодую и остроумную почитательницу Иноземцова выразиться так странно: «обезьяна, увенчанная диадемой»... Диадема его славы, быть может, его таланта... Не знаю, как объяснить, но мне очень нравится этот женский отзыв.

С другой стороны, признаюсь, я, пожалуй, согласен с ³⁰ теми людьми, которые говорили, что Иноземцов, как врач, — теоретик и увлекается идеями, или системами, а Овер идет всегда прямее к практической цели лечения. Я думаю, что дама, которая сказала «любить Иноземцова, лечиться у Овера», была тоже отчасти права.

По-моему, Овер был очень неприятен, чтобы не сказать более. Красота его была даже, я нахожу, несколько

противная — французская, холодная, сухая, непривлекательная красота. Александр Иванович Овер недавно был описан г. Маркевичем, в его прекрасном романе «Четверть века назад», где он приезжает в подмосковное имение князей Шастуновых, чтобы определить болезнь идеальной княжны Офелии и спасти ее, если возможно.

По моему мнению, Овер производит в романе не совсем то впечатление, которое он производил в действительности: Мне бы хотелось изобразить его пояснее.

¹⁰ Вот какой был вид у Овера. Росту он был хорошего, плечист и складен; точно так же, как и Иноземцов, он был брюнет. Черты его были очень правильны, нос с умеренной и красивой горбинкой, лоб очень открытый, высокий и выразительный. Но над этим прекрасным, возвышенным челом был довольно противный, резко заметный парик (парик, особенно на человеке пожилom, — всегда несколько противная претензия). Говорят, будто бы из скупости он имел даже два парика, — один будничный, а другой для праздников, разного цвета: я его видал только по будням, и потому не знаю, правда ли это. Цвет лица у Овера ²⁰ был так же, как и у Иноземцова, смугловатый, но у Федора Ивановича было нечто «теплое», приятное в этом цвете, а правильное лицо Овера как-то все лоснилось и блестело, как желтая медь. Живые выпуклые глаза его не имели в себе ни малейшей симпатичности; они сверкали сухой энергией и больше ничего.

Он приезжал в нашу приготовительную клинику всегда в одном и том же, неформенном коричневом фраке и высоком галстуке. Проходил быстро в свой кабинет и читал ³⁰ нам лекции очень редко.

Часто вслед за ним спешил другой врач — помоложе, низенький, неприятно полный, белый, с бакенбардами и уже давно плешивый, нередко в какой-то клетчатой жакетке, наружности весьма буржуазной и пошлой. Говорят, он был Оверу сродни; я не помню, как его фамилия, и он ничего для нас, студентов, не значил, и я обращал на него так мало внимания, что даже не помню, как его звали.

Крикливый, бранчивый, звонкий голос А. И. Овера, его несколько наглые манеры, его равнодушие к студентам, его обращение с ближайшими подчиненными, нередко очень грубое, — все это было таким контрастом с милой мрачностью и приятным органом Иноземцова, с его любовью и добротой к ученикам, с его мягкой и серьезной порядочностью!

Овер в своем модном коричневом фраке и при всей великосветскости своей был все-таки менее джентльмен, менее «distingué», чем Иноземцов в своем чиновничьем, доверху застегнутом синем вицмундире. ¹⁰

Овер был похож на храброго, распорядительного и злого зуавского полковника, на крикливого и смелого француза-рагвену. Иноземцов казался или добрым и вместе с тем энергическим русским барином, с удачной примесью азиатской крови и азиатской серьезности, — или даже каким-то великодушным, задумчивым и благородным поэтом с берегов Инда или Евфрата, поступившим, по обстоятельствам, на коронную службу к Белому Царю.

Я надеюсь, что всякий человек со вкусом и понятием, если бы он был даже сам парижанин, согласится, что последнее лучше... «C'est de meilleur gout...» Это изящнее. ²⁰

Нравственные свойства этих двух профессоров, мне казалось, соответствовали их наружности.

В молодых моих годах я ко внешности человеческой присматривался очень внимательно. Сначала я был очень заинтересован френологией Галля, Шпурцгейма, Комба и т. д. Позднее, разочаровавшись в научном достоинстве старой френологии, я внимательно читал книгу глубоко-мысленного Каруса: «Символика человеческого образа», ³⁰ был без ума от большой и толстой, с хорошими гравюрами, книги иенского профессора Гучке: «Мозг, череп и душа». Позднее выписывал даже из Германии нарочно брошюры Энгеля о развитии костей черепа и лица, большое и прекрасное сочинение «О лицевом угле» Вирхова (того самого либерала Вирхова, который не хотел стреляться с Бисмарком и который так скучен своими частными беседами «о

закупке женой на зиму картофеля, выросшего на человеческом удобрении»)... Изучая все эти книги, я мечтал тогда найти в *физиогномике* или в какой-то *Физиологической психологии* исходную точку для великого обновления человечества, для лучшего и более сообразного с «натурой» людей распределения занятий и труда. Впоследствии я отказался и от мечтательных надежд моих, и от самого этого рода чтения; но обращать большое внимание на лицо человека, на его приемы, на форму его головы, на его речь и голос, т. е. на внешность, — это осталось у меня в привычке и до того вкоренилось во мне, что я до сих пор могу невольно больше любить врага, который мне общим видом своим приятен, чем доброжелателя, которого наружность мне почему-либо не по вкусу.

Овер просто мне не нравился; лично я не мог против него ничего иметь. У меня не было вовсе никаких с ним личных дел и сношений. Он совсем не знал меня, как не знал и большую часть студентов, которых он изредка только удостоивал чести прослушать его красноречивую лекцию на плохо им понятном латинском языке. Овер, говорю я, меня не знал; я его тоже, можно сказать, «игнорировал». Для меня, как вероятно и для всех моих товарищей, несравненно большее значение имел его помощник Млодзеевский, и как наставник, и как экзаменатор. Он читал нам в Приготовительной клинике *семиотику*, т. е. науку о признаках болезней и об их распознавании, и потом показывал нам те же самые явления и признаки на действительных больных, лечившихся в клинике под его руководством. Он учил нас самому нужному в жизни, — практическому врачебному эмпиризму; приучал нас подступать к больному, учил сразу и *диагностике*, и частной *терапии* (лечению)... Млодзеевский казался мне очень почтенным человеком, и я нахожу, что в малой клинике он был полезнее всех, полезнее даже самого Иноземцова.

Он говорил всё такие ясные, осязательные вещи; у постели больных он обращал наше внимание на такие частности, которые раз навсегда оставались в памяти.

У меня до сих пор хранится маленькая переплетенная тетрадка, в которую я записывал одно время то, что он нам говорил о признаках: «о рвоте, пульсе, эвакуациях, о сердцебиении, о боли, жаре и ознобе, о кашле и бреде». Просто и так хорошо. Мне кажется, что если бы собрать от разных студентов все то, что Млодзеевский говорил хотя бы, положим, за пять лет, и составить из этого маленькую книжку, то, право, можно бы приготовить по ней очень хорошего фельдшера или очень полезного деревенского эмпирика. Но я хочу сказать два слова о том «личном впечатлении», которое оставил во мне этот столь полезный профессор. Я по отношению к нему буду придерживаться того почти *физиологического* рода изображения, которое меня так сильно занимало именно в то время, когда я слушал лекции всех этих известных в Москве людей. Слушая иногда очень внимательно (а иногда и нет) их *клинические* речи, я как-то успевал в то же время думать и о *своем*; поучаясь у них, внимая их словам, я следил за их телодвижениями, наблюдал их походку, взгляды глаз, интонацию голоса, изучал их лица и присматривался к форме их черепов. ¹⁰

Френологи прежде уверяли, что у людей осторожных с боков, повыше ушей, голова всегда широка: этот *орган*, эта *шишка* у них называется: № 12 «осмотрительность». Кажется, это соответствует самому выпуклому месту *oss. parietalium*. Млодзеевский подтверждал собою это мнение френологов. Он казался очень осторожным, сдержанным, щепетильным, аккуратным человеком, и голова его была в надлежащем месте широка. Иноземцов, напротив того, казался человеком не слишком осторожным, быстрым, и голова его была узка (даже очень узка, как мне помнится). ²⁰

Я пишу теперь все это, разумеется, без всяких научных претензий, а думаю только, что все это сказать не мешает. *Объяснения* фактов у Галля и учеников его могут быть ошибочны, но *сами факты* при этом могут оставаться верными. Иное дело претензия найти на поверхности мозга возвышения, соответственные определенным душевным ³⁰

наклонностям; и совсем иное дело — *психическое значение как наружной краниоскопии*, так и вообще всей архитектуры человеческого тела.

Млодзеевский был не только осторожен и очень сдержан, но он производил на меня даже какое-то унылое впечатление. Из всех четырех клинических руководителей наших (Овер, Млодзеевский, Иноземцов и помощник последнего — Матюшенков) Млодзеевский был самый кабинетный из кабинетных людей.

- 10 Медици́нские занятия, изучение физиологии и анатомии сами по себе уже располагают мыслящего молодого человека любить здоровье, силу, красоту и досадовать нередко очень сильно на печальные физические явления столичной цивилизации. В одаренном воображении молодом враче совмещаются два совершенно противоположных научных чувства. Их можно назвать: одно — чувством удовольствия *клинического*, прямой любознательности патолога, который, забывая в данную минуту и сострадание к человеку, и эстетические требования, и самую брезгливость, —
- 20 веселится умственно разнообразием болезней, любопытными и тонкими оттенками припадков, самым видом внутренностей каких-нибудь, вынутых из трупа и обезображенных болезненным процессом. Другое, если хотите, тоже своего рода научное чувство, или лучше назвать его *естественно-эстетическим чувством*, поддержанным и укрепленным рациональным идеалом науки. Представление здорового, бодрого, сильного, красивого и ловкого человека вообще чрезвычайно приятно воображению физиолога... Я говорю, что эти два умственные чувства очень любопытно
- 30 совмещаются в одном и том же молодом наблюдателе и одинаково могут занимать его.

Очень верно подмечена подобная двойственность медицинских чувств Эмилем Зола в его романе «Проступок аббата Мурэ».

Доктор, дядя молодого аббата, видимо любит и уважает своего идеального и нервического племянника; он, как психиатр, чрезвычайно интересуется, сверх того, его психиче-

ской болезнью, его непостижимой для материалиста «религиозной монomanией»; он *по-своему* заботится о нем, стараясь приблизить его к природе, к пантеистической любви; но восхищается он не им, а сестрой его, набитой молодой дурой, свежей и здоровой скотницей, и, целуя ее как дядя, говорит: «о! добрая скотина! как бы хорошо было, если б люди были больше всё такие, как ты!» (что-то в этом роде).

Млодзеевский, больше всех удовлетворявший, как я сказал, моим ученическим потребностям, тому чувству клинической любознательности, которая начала, особенно с третьего курса, сильно проявляться во мне, с другой стороны, производил на меня... как бы это сказать вернее? положим, так, как на эстетика-физиолога, чрезвычайно жалкое и досадное даже впечатление.

Овер и Иноземцов, — оба были молодцы, мужчины, «кавалеры», если можно так выразиться, люди *жизни*, как любят говорить в наше время (не совсем ясно); Млодзеевский был ученый и больше ничего.

Низенький ростом, худой, во всем теле мелкий какой-то, *кроме одной головы*, которая была не то чтобы красива, о, нет! а только очень выразительна. Голова эта была велика, несоразмерна с телом; цвет лица свинцовый, серый; в экспрессии что-то печальное, труженическое, тонкое и вместе с тем покорное и сдержанное. Плешивый, очень высокий и с резкими выпуклостями лоб. Черты лица резкие и довольно правильные, если брать их отдельно, но очень некрасивые вместе... Эта большая голова, это умное, но свинцовое, мертвенное лицо, врезывались сразу в память... Кстати вспоминаю, один мой приятель, тоже врач и ученик Московского университета, находил, что лицо Млодзеевского, его высокое чело, его нос с горбинкой, какие-то резкие впадины и черты щек напоминали портрет Гете *в старости*. Пожалуй, было что-то «en laid», но это во всяком случае не комплимент: чрезвычайно старообразный, серый Млодзеевский, сам будучи в цвете лет, напоминал великого красавца лишь в его преклонных годах...

Вот как я его видел в первый раз. Он стоял перед столом; на столе был лоток с кишками только что выпотрошенного тифозного покойника. Млодзеевский показывал язвы слизистой оболочки и перебирал эти кишки своими маленькими, некрасивыми пальцами.

Около него стоял какой-то помощник (я его часто видел сначала, позднее он куда-то исчез, или я сам перестал вовсе его замечать); этот человек, или человек науки, был уже до того сам жалок и патологичен с виду, что Млодзеевский казался перед ним исполином и лихим молодцом. Крошечный, худой донельзя, кожа и кости, со впадинами изнурения вокруг глаз, не знаю, кто он был и зачем он тут мешался; это был, вероятно, какой-нибудь темный труженик-анатом, который вскрыл умершего и принес на лоточке эти тифозные кишки.

Я, конечно, был доволен, что увидал в первый раз характеристические язвы брюшного тифа. Надо же было учиться... Я даже знал, кому они принадлежали. Тифозный больной, которого я дня два-три тому назад видел, был с обритой головой, ужасно худ и что-то тихо шептал, перебирая пальцами. Это был бедный, неважный чиновник, насколько помнится, из студентов, потому что Млодзеевский именно упомянул, читая над умирающим лекцию, о том, что «прогностика в высшей степени неблагоприятна, так как больной, принадлежа к сословию ученому, изнурен еще прежде умственным кабинетным трудом». Конечно, Млодзеевский все это говорил по-латыни, но если бы он говорил и по-русски, то этот человек не мог бы уже ничего слышать и понять. У него уже был тот отвратительный предсмертно-тифозный вид, который был еще Гиппократом описан до того хорошо, что так и назван был позднее: *facies hyppocratica*.

Я был доволен, говорю, что увидал эти тифозные язвы кишок, о которых до тех пор только слышал на лекциях частной патологии у профессора Топорова. Чувство клинической любознательности было во мне удовлетворено, но зато другое умственное чувство, то, которое я, может

быть, немножко и затсйливо назвал — *эстетико-физиологическим*, оно-то как страдало при виде всех этих *серых*, свинцовых лиц — умирающего «из студентов» и двух живых — то есть и бедного добросовестного Млодзеевского, и еще более его крошечного помощника, столь невинно стоявшего у стола с кишками!

Мне кажется, что такие именно зрелища в старом университете и клинике имели большое влияние на всю мою жизнь и судьбу. В минуты подобных чувств зрело мое отвращение к большим европейским городам, к «прогрессу» и ко всему тому, что связано с этими городами и с таким прогрессом... В иные минуты, даже и к самой науке, или, вернее сказать, к *тому образу жизни*, который слагается почти неизбежно при постоянных и правильных занятиях кабинетной наукой.

— Нет! — думал я тогда, — Бог с ними и с познаниями, и даже со славой *ученого*, если и у меня должно сделаться *такое* лицо... Избави меня Боже производить на кого-нибудь другого то впечатление, которое производят на меня теперь и сам Млодзеевский, и этот несчастный «честный труженик», который около него стоит у стола...

Все это так. Но, несмотря на все личные претензии моей юности, я как-то *почтительно* жалел Млодзеевского; я уважал его, и мне очень не нравилось, когда я замечал или слышал, что Овер обращается с ним грубо.

Я помню раз, один из товарищей наших Л—ский подходит ко мне и говорит:

— Что это за свинство, право, со стороны Овера так оскорблять Млодзеевского при нас!..

— Что такое?

— Сходит вниз, а сторож ошибкой подал ему шубу Млодзеевского. «Ах, извините, ваше превосходительство! это Корнилия Яковлевича!» А Овер ему: «Дурак, еще вшей на меня напускаешь!»

Меня тоже возмущало, когда я слышал иной раз громкий и сердитый крик Овера где-то, и мне товарищи сказывали, что это он на *Корнилия Яковлевича* кричит.

Жалел я почтенного и скромного наставника нашего, но тут же, помню, утешался особой *научной* радостью! «*Физиогномика права! У Овера лицо неприятное и характер скверный*».

Я мог по этому поводу сказать, как сумасшедший Гоголя: «что меня за все вознаградило сегодняшнее открытие. Я узнал, что у всякого петуха под перьями есть Испания!!» Я действительно тогда был почти сумасшедшим.

¹⁰ Я тогда все думал, что со временем укажу людям возможность «устроить общество» на прочных *физиогномических* основаниях, справедливых, неизбежных и «приятных». Главное — *приятных!* Тогда мне было с небольшим 20 лет; теперь мне гораздо больше, и я пришел к убеждению, что никогда люди «справедливо и приятно» устроиться не могут, на каких бы то ни было основаниях. Да и не *должны*; ибо в случае успеха они забыли бы *Бога и вечность...*

²⁰ Как бы то ни было, физиогномика и меня, теоретически пытавшегося ее изучить, и других людей, просто наблюдательных, в данном случае, я думаю, не обманывала: Овер казался характера неприятного, и красота его была неприятна; Иноземцов был прекраснейший человек, и лицо его, и вся особа его были в высшей степени привлекательны...

Контраст был такой, что его нарочно трудно было бы выдумать.

РАССКАЗ СМОЛЕНСКОГО ДЬЯКОНА О НАШЕСТВИИ 1812 ГОДА

В Смоленской губернии, недалеко от Вязьмы, есть село Спасское-Телепнево. Оно принадлежало, вместе с несколькими другими прекрасными господскими имениями, подряд расположенными почти до самой Вязьмы, дяде моему, генерал-майору Владимиру Петровичу Коробанову. После смерти его все это богатство наследовал сын его от первой жены (урожденной Тургеневой) Федор Владимирович. Этот ничтожный, ни на что не способный молодой человек в короткое время запутал, прожил, промотал бесследно все наследство свое и кончил жизнь в *лечебнице душевно-больных*, где его, кажется, из милости содержали какие-то родные, и доведен он был до того, что ему дарили добрые люди по двугривенному на папиросы.

Теперь, как я слышал, красивое, живописное Спасское принадлежит одному из тех людей, которые вексельями, взятыми вовремя, и т. п. «легальными» приемами умеют так хорошо пользоваться пустотой и бессмысленной необузданностью молодых русских дворян, подобных покойному двоюродному брату моему. Но в то время, о котором я хочу вспомнить, Спасское еще было в порядке. Это было в 51 или 52 году. Я был тогда студентом-медиком.

Есть на Пречистенке очень большой, длинный, трехэтажный дом, против церкви Троицы в Зубове. Теперь в нем гимназия Поливанова; а тогда он принадлежал бо-

гатай, пожилой и почтенной женщине Наталье Васильевне Охотниковой; молодая дочь Натальи Васильевны, Анна Павловна, была второй женой дяде моему, Владимиру Петровичу Коробанову, мачехой промотавшему все Федору Владимировичу. Муж, умирая (еще в начале 40-х годов), завещал Спасское в пожизненное пользование молодой вдове своей.

При Анне Павловне в Спасском было очень хорошо и все сохранялось в таком же виде, как было при дяде.

¹⁰ Усадьба Спасского-Телепнева была своеобразна. Дом, сад и все службы были расположены на плоской и ровной горе; под горой по большому оврагу протекает речка; а по ту сторону, на более низком берегу, прямо против дома, улица крестьянских изб.

Дом (позднее сгоревший дотла у Федора Владимировича в распоряжении) был вроде городского, кирпичный, белый, штукатуренный, с мезонином. Этот городской стиль наружной архитектуры был мне не совсем по вкусу; но внутри дом был хорош: поместительный, звонкий, ²⁰ летом прохладный, с паркетными полами; потолки были очень ярко и заново раскрашены; изображенные на них girлянды, фрукты, пестрые букеты, синие с золотом вазы или длинные кувшинчики и райские птицы доставляли мне множество наслаждений не только в детстве моем, но и тогда уже, когда я, под руководством Севрука и Соколова, занимался трупоразъятиями в московском анатомическом театре и в то же время в «часы досуга» с ужасной, острой болью юношеского разочарования чуть не плакал над «Тройкой» Некрасова и над стихами Огарева.

³⁰ В Спасском было много поэзии; в доме было столько простора и достатка, пестроты и безмолвия; окрестности зеленые, живописные и лесистые; сад — задумчив и даже мрачен. Этот сад или, вернее, парк, с прямыми туда и сюда аллеями, был весь еловый, что делало эту усадьбу особенно оригинальной. Я нигде этого кроме Спасского не видал. Сосновый парк не был бы так суров и темен. В еловой чаще всегда стоит какая-то особая таинственная

мгла от множества тонких и высохших нижних ветвей; а зелень ели так темна, монументальна и строга!

Вообще, в Спасском почти все мне нравилось, кроме одного, как я уже сказал, кроме наружного вида дома, слишком городского. Остальное все было хорошо.

Хозяйка, молодая вдова моего дяди, была очень дружна и с матерью моей, и со мною. Собою она была красива, вроде смуглой цыганки, весела, ласкова, образована, остроумна.

Я очень любил гостить в Спасском, и так как оно отстоит от нашего Кудинова всего только верст на девяносто, то мы почти каждое лето на своих ездили туда и проводили там одну-две-три недели.

Кроме желания тихо повеселиться и помечтать в прекрасном имении у милой хозяйки, была еще и другая причина, которая привлекала меня в эту местность. Смоленская губерния представлялась мне тогда несравненно многозначительнее нашей Калужской. Она была в глазах моих озарена сиянием исторической славы. Я слышал от матери моей, которая родилась и выросла под этой самой Вязьмой, столько рассказов о 12-м годе, так много с ранних лет читал о нашествии французов; я так любил и читал самого Наполеона и вместе с тем так гордился его поражением в России; я так много знал по свежему преданию даже о домашней жизни моего деда и близких ему лиц. Большие портреты, которые висели на темно-синих обоях с золотыми звездочками в нашей кудиновской гостиной, с детства приучили меня видеть перед собой владетелей Спасского как живых людей «во плоти».

Посещения Спасского всякий раз еще более оживляли во мне все эти представления, эти образы и события прошедшего. Все эти люди жили, боролись, веселились и страдали — здесь, в самом Спасском или неподалеку отсюда.

Эти люди, это время, казалось, были от меня и современников моих так уже далеко; их вкусы, их привычки, их идеалы были во многих отношениях с моими тогдашними

так несходны (я всегда опережал как-то окружающую «среду», и мои *тогдашние* идеалы и вкусы были ближе, увы! к *либерально-современным*, чем к *нынешним* моим же); но вместе с тем, вопреки моим *новым* тогда идеям и вкусам, я ощущал непостижимую внутреннюю связь сердца с *этой* эпохой и с этими отшедшими в вечность людьми.

10 Наконец, я был близок или встречался со столькими лицами, которые знали то время не со слов других или по книгам и картинам, как я, а сами *жили тогда*; — видели Кутузова, Императора Александра Павловича, *говорили* с Марией Феодоровной, *видели* французских пленных, французские трупы, полузасыпанные *нашим* снегом, сгоревшую Москву, опустелые деревни там, где теперь опять цвели господские усадьбы и где все казалось снова столь прочным, достаточным, до пресыщения незыблемым...

20 В самом Спасском на стенах осталось от дяди много хороших гравюр, снимков с картин Ораса Вернета и других французских батальных живописцев. Раненый усатый гренадер, одиноко и печально сидящий на срубленном дереве среди снежного поля; взятие русского редута французскими гренадерами в знаменитых меховых шапках. Не так далеко, в другом своем имении, дед сам обучал на дворе целую роту лихих ополченцев, обмундированных и вооруженных им на собственные средства, и в порыве патриотического гнева приказал псарям своим гнать с этого двора арапниками гостя (кажется, помещика Ковалева) за то, что тот осмелился сказать: «Охота тебе жертвовать такими молодцами! А я поставил, брат, все мужиков пло-

30 хих, таких, от которых мне проку мало в работе».

Там, еще подальше, ближе к Вязьме, есть лес. В этом лесу убили казаки французскую *генеральшу*. Вот как это было. Выехал из Вязьмы генерал французский в карете. Место казалось безопасным, посреди французских войск, и конвоя они не взяли. Однако в лесу их неожиданно встретили казаки. Генерал хотел сдаться беспрекословно, но жена его выстрелила из пистолета и убила одного мо-

лодого казака. Тогда отец и брат убитого вытащили ее из кареты и, несмотря на мольбы мужа, оставленного ими в живых, изрубили при нем отважную и неразумную французенку.

Все это было так близко, так еще живо в памяти у многих, что, при всей глупой и грубой «реальности» моего мировоззрения, как *медицинского студента*, при всем тоскливом *субъективизме* моей тогдашней умственной жизни, я освежался всякий раз при этом соприкосновении со святыней общенародной славы, и мысль моя, объективируясь, невольно становилась проще, тверже, здоровее...

В один из приездов моих в Спасское я познакомился с тамошним дьяконом, наружность которого я помню хорошо, но имя забыл. Быть может, он и теперь еще жив. Замечая, что я интересуюсь преданиями отечественной войны, Анна Павловна мне в угоду пригласила отца дьякона на вечерний чай. Он был еще не стар; лет около сорока, не больше.

После чая мы остались одни, и я стал его расспрашивать. Дьякон очень охотно рассказал мне несколько эпизодов из времени нашествия, и я нахожу, что эти эпизоды, взятые в совокупности своей, довольно характерны. Эпоха с ее доблестями и темными сторонами отражается в них ярко, «как солнце в малой капле вод».

Вот что говорил мне дьякон.

«Многие из здешних крестьян во время нашествия вели себя необузданно, как разбойники. Мне было тогда лет 8—9. Батюшка мой был здесь священником, при дедушке вашем, Петре Матвеевиче. Дедушка, как вы знаете, жил не здесь, в Спасском, а в Соколове. Однако и здесь была господская усадьба. Как только, перед вступлением неприятеля, Петр Матвеевич уехал служить в ополчение, а бабушка ваша в костромское свое имение, сейчас же и здесь, и в Соколове начали мужики шалить: то тащут, то берут, другое ломают. Батюшка покойный сокрушался и негодовал, но и сам опасался крестьян. Один раз идет он и

видит, стоит барская карета наружи, из сарая вывезена, и около нее мужик с топором.

— Ты что это с топором? — спросил батюшка.

— Вот хочу порубить карету, дерево на растопку годится, и еще кой-что повыберу из нее.

А лес близко. Нет, уж ему и до лесу дойти не хочется. Барская карета ближе!

Стало батюшке жаль господской кареты, он и говорит мужику:

10 — Образумься! Бессовестный ты человек! Тут неприятель подходит, а ты, христианин православный, грабительством занимаешься. А если вернется благополучно Петр Матвеевич и узнает, что тебе тогда будет?

А мужик ничуть не испугался, погрозился на батюшку топором и говорит:

— Ну, ты смотри, я тебя на месте уложу тут. Я и Петра Матвеевича теперь не боюсь; пусть он покажется, я и ему *брюхо балахоном распушу!*..

Вот какая дерзость!

20 Батюшка ужаснулся и ушел от него.

Итак, разорение от своих продолжалось. Входили в дом крестьяне и делали что хотели. Была, например, в Соколове у дедушки вашего одна комната; кабинет что ли, не знаю; обита вся по стенам и потолку клеенкой на зиму для тепла. Клеенка эта была прибита цельными полосами от пола вверх через потолок и на другую сторону вниз опять до самого пола... Кругом около потолка небольшим карнизом было обведено. Так вот это я сам своими глазами видел. Знаете, детство, любопытствуешь, везде бегали с
30 братьями. Обломали мужики верхний карниз; подрежут снизу клеенку, да так возьмут руками за один конец и отдерут все до другого конца безжалостно. И чего только они не делали! Наконец посягнули на жизнь и батюшки моего, но Господь его спас.

Вот как это было. Сидели мы все дети с батюшкой и с матушкой поздно вечером и собирались уже спать, как вдруг слышим, стучатся в ворота.

— Отопри, хуже убьем!

Матушка перепугалась, и мы все как бы обезумели от страха, а мужики ломятся. Уж не помню я, вломились ли они, или сам батюшка им решился отпереть, только помню, как вошел народ с топорами и ножами, и всех нас мигом перевязали, матушку на печке оставили, нас по лавкам, а батюшку взяли за ноги, да об перекладину, что потолок поддерживает, головой бьют. Изба наша, конечно, была низенькая, простая. Вот они бьют отца моего головой об бревно и приговаривают: „А где у тебя, батька, деньги спрятаны? давай деньги!”¹⁰

— Какие деньги! Была самая малость.

Они все бьют его головой с расчетом, чтоб сразу не убить, а узнать, где деньги. Постучат, постучат головой и дадут ему отдохнуть; видят, что он в памяти, опять колотить.

Мы видим все это и плачем... Однако Господь спас нас!.. Жила у нас девочка крестьянская, сиротка лет десяти.

Девочка умная, смелая. Никто и не заметил, как она выскочила из избы. Она выскочила в ту самую минуту, как мужики вломились, и побежала к одной соседке-помещице. Эта помещица была дама небогатая, только пресмелая, и дворовые люди ей были преданы. Она решилась никуда от французов не ехать,* а осталась в своем имении, очень близко от нас. Но так как грабежа и грубостей от своего народа опасалась она больше, чем от самого неприятеля, то и сама всегда ходила вооруженная и сформировала из слуг своих небольшой отряд телохранителей, молодец к молодцу! Сиротка наша прямо к ней и объясняет, что батюшку мужики убить хотят. Мигом помещица снарядилась, приехала с вооруженными людьми...³⁰ Взошли, накрыли разбойников, одолели их как раз; барыня сама командовала: „перевязать их таких, сяких!” И к ближайшему начальству отвели.

* Мне очень жаль, что я тогда не записал имя и фамилию этой смелой женщины.

Так Бог спас нам батюшку. К счастью, барыня так поспешила, что большого вреда разбойники не успели ему сделать. Недолго поболел он и решился покинуть после этого свое жилище, и всей семьей собрались мы ехать в Калужскую губернию, в Медынский уезд. Там у нас были родные. Французов еще мы не видали, хотя по слухам они были уже близко.

10 Поехали мы не одни. Хороших людей собрался целый обоз. Не все крестьяне были одного духа; были между ними и очень хорошие люди. Многие из бунтовщиков продолжали повторять: „пусть Петр Матвеевич вернется — мы ему брюхо балахоном распустим!” Но другие дворовые и крестьяне удалялись от подобной дерзости и не желали даже и оставаться в Смоленской губернии при виде таких беспорядков и в ожидании неприятеля. Таким образом, тронулись мы большим обозом в путь к Медынскому уезду.

Пришлось нам вскоре встретиться и с французами.

20 Сколько мы ехали — не помню; только остановились под вечер на лужочке, у рощи какой-то, лошадей покормить и сами поужинать. Слышно было, что неприятель близко. У людей наших у всех были топоры и ножи, а кой у кого даже и ружья; хоть и плохие, а ружья.

Ехал с нами наш кузнец, тоже крепостной Петра Матвеевича, охотник, стрелок довольно хороший; ружье у него было старое; кой-как сам его вычинил, зарядил и пороху на полку насыпал.

Поставили мы телеги в кучу; лошадей пустили на траву, а сами ужин варить.

30 Ну, варят ужин. А мы, дети, играть.

Вдруг как выскочит из рощи всадник на сером в яблоках коне... Красивый белокурый мужчина, молодец в мундире. Остановился, лошадь (картина просто!) так под ним и играет! А на груди у самого, я помню, золото блестит... Так прекрасно!

Выехал офицер этот из рощи, а за ним человек десять-двадцать пеших солдат выбежали.

Видим, одежда совсем не наша. Все поняли, что это французы. Они остановились, глядят; а наши не знают, что́ делать.

Только подходит кузнец наш к батюшке моему за возами и говорит: „Батюшка, благословите на брань за Веру и Отечество”.

Батюшка говорит: „имеешь благословение!” и благословил кузнеца и оружие его во имя Отца и Сына и Святаго Духа.

Кузнец тотчас же из-за воза как прицелится в офицера¹⁰ и выстрелил. Мы глядим, офицер вот так закатился и оземь с коня; конь ускакал, а солдаты французские тоже уходят врассыпную в рошу. Тогда наши ободрились и погнались их поодиночке ловить. Переловили и перебили человек шесть-семь, если не больше. Убитых принесли, всех их (и офицера) раздели донага. Вещи попрятали подальше на возах под другой поклажей, а нагие трупы все вместе свалили в кустах в большом овраге, поблизости. Потом стали ужинать.

После ужина, как стемнело, мне опять захотелось поглядеть на убитых; я с товарищами, с другими ребятами и пробрался в овраг; говорю им: „давай, еще посмотрим убитых!”²⁰

Отыскали мы их; лежат все вместе голые и в крови. И офицера красивого мы сейчас узнали. Смотрим, а он еще дышит. Глаза закрыты, грудь такая мужественная, высокая и дышит тяжело так. Мы сейчас побежали назад и сказали об этом; пошли люди и прикололи его ихним же, кажется, штыком.

Так мы спаслись и от неприятеля, и с помощью Божией³⁰ даже победили его. Только, опасаясь оставаться дольше в этом месте, ночью же тронулись в путь и благополучно прибыли в Медынский уезд и там пробыли до самого изгнания неприятеля из России и до водворения порядка.

Тогда и тем мужикам, которые во время нашествия бунтовали и грабили, пришлось отвечать за эти дела. Петр

Матвеевич вернулся из ополчения и узнал обо всем от бабушки и от других людей.

Собрали крестьян перед крыльцом.

Петр Матвеевич вышел *в мундире* и спросил:

— А кто из вас хотел мне брюхо балахоном распустить? Выдавайте виновных, а не то всем хуже будет.

Долго не выдавали мужики виновных. Наконец выдали.

Петр Матвеевич тут же перед крыльцом велел их наказывать. И секли их так сильно, что уже идти они сами не могли, и домой их отнесли на рогожах».

Так кончил отец дьякон свой рассказ.

— Жестоко! — заметил я ему в заключение; но и тогда, несмотря на всю молодость мою и на искреннее человеколюбие, я замечание это сделал задумчиво и нерешительно. Вопреки всем «обязательным» принципам либерального московского студента 50-х годов, я чувствовал, что грозная расправа деда моего была все-таки гораздо лучше, чем безнаказанная рубка чужих карет, чем пытка почтенного священника и даже чем угрозы «распустить балахоном брюхо» дворянину, который очень многим пожертвовал для войны, снарядив на свой счет и даже несколько сверх средств своих отличный отряд ополченцев; сам, несмотря на поздний возраст свой, пошел на войну и даже отдал немедленно в военную службу 16-летнего *единственного* сына и наследника своего, которого он желал бы хранить как зеницу ока.

Тогдашняя «интеллигенция» России была сурова до крайности к подвластным и подчиненным своим; но она и себя не жалела, когда дело касалось государства.

ПАСХА НА АФОНСКОЙ ГОРЕ

I

Непостижимый для непривычного, хотя бы даже и верующего человека, аскетизм большинства греческих и русских обитателей на Святой Горе в течение Великого поста доходит до того, что становится в иные минуты страшно о нем и подумать!

Церковные службы, и в обыкновенное время, по нашему мирскому суду, слишком долгие и слишком частые, во время поста наполняют почти весь день и всю ночь; ограничение в пище доводится до самого крайнего предела. В 10
иные дни, на первой неделе, например, и на Страстной (по-гречески на *Великой неделе*), только певчим дается по ломтю хлеба, не помню, раз или два в день, чтобы они были в силах петь.

«Травки и травки» монашеской трапезы, которые так ужасали г. Благовещенского (написавшего, несмотря на всю реалистическую нищету своего мировоззрения, об Афоне много *невольной* правды, весьма лестной для его обитателей), — эти «травки», истинно ужасные «травки», 20
вступают в течение тяжких семи недель в полные права свои.

В это время все на Афоне становятся, волей и неволей, высокими подвижниками духовными и телесными. Тот, кому это полегче, не должен гордиться, а должен смиряться перед высшею «благодатью» подобного облегчения; тот, кому это очень трудно, больно и скучно,

должен помнить, что эта боль и эта скука, это состояние почти ежеминутного несносного *понуждения*, оно-то и есть *настоящее монашество*, т. е. добровольное хроническое мученичество во славу Божию. Облегчение же долгой и постепенной телесной привычки и внезапные восторги душевного умиления — это не *от нас*. Это награда свыше за подвиг или поддержка слабому и унылому за *доброе изволение понудить себя и покориться*. Все приятное и утешительное не от нас, а от Бога; от нас все принудительное, самоограничивающее, т. е. скучное... даже и на молитве. Такова философия истинного аскетизма.

И мирянин, живущий долго на Афоне, может пережить хотя и не вполне, а лишь отрывками, все те разнообразные минуты скорби и отрады, которых глубокое и необычайно тонкое сплетение составляет науку монашеской жизни, «науку из наук», как говорят учителя-аскеты.

Греки при начале Великого поста нередко приветствуют друг друга так: «Желаю тебе благополучно преплыть Четырнадцатницы *великое море!*...»

Истинно великое море! Море голода и уныния, море усталости и насильственной молитвы, от которой, однако, сама совесть, сама личная воля не позволит отказаться без крайнего изнеможения! И сколько невидимых «камней» духовного преткновения! Над церковью в Руссике есть хоры; за хорами этими две небольших кельи; в келиях этих нет ничего, кроме аналая с крестом и Евангелием и одного кресла для отдыха духовнику. Кельи эти дверями выходят в коридор, а на хоры окнами, *заклеенными тонкой и темной материей*, сквозь которую слышно все богослужение бесконечного, истинно *всенощного* бдения (оно продолжается иногда *13—14 часов!*). Посмотрите, как теснятся в коридоре у дверей этих келий скорбящие монахи всех возрастов и всяких степеней духовного опыта! Они ждут не дождутся очереди излить души свои перед старцами! Они пришли сюда признаваться в самых тонких «искушениях», открывать самые затаенные «помыслы»;

или выразить свое отчаяние, если телесный подвиг поста тому или другому из них не по силам; быть может, даже сознаться в минутном раскаянии, что стал монахом, в преходящем, но мучительном порицании монашества и сурового устава святогорских киновий. Или еще в худшем — в гневе и ропоте на самого этого старца за его требования. Именно на это-то и ответят им с любовью великого опыта, и посмеются немного, и расскажут что-нибудь подобное или из своей прошлой жизни, или из преданий.

10

Но вот близится к концу своему плавание по «великому и бурному морю» глубокой, разнообразной и таинственной борьбы могучего духа с бессильной и многострастной плотью.

Настает «Великая неделя» *страданий*.

И в честь Христа, во славу Божию человеческие усилия становятся еще более жестокими... Службы церковные еще длиннее и непрерывнее, пища еще ограниченнее, время сна и роздыха еще короче. Нравственные требования аскетически настроенной совести еще неумолимы! И тут-то с особенной ясностью и случается видеть, как может действовать сильная вера и аскетическая выработка на изможденную плоть!

20

Нас, мирян-поклонников, на Святой Горе было тогда (в 71-м году) довольно много; были крестьяне, купцы, были священники из России; было двое-трое дворян, было двое юношей издалека: молдаван с Дуная и грек из Эпира; соседних болгар, работавших по разным обителям, собиралось много в Руссик на большие службы Страстной недели. И все эти миряне охотно, но, конечно, болезненно несли великопостные тяготы.

30

В Великую пятницу в соборном всенощном служении участвовал и старший русский духовник, о. Иероним. Я жил уже давно на Афоне и ни разу не видал его служащим. Он и тогда уже был очень слаб, страдал опасными и тяжкими недугами, не раз к ужасу всей братии приближавшими его к могиле; ел очень мало и целые дни и ночи

был занят выслушиванием «откровений»,* хозяйством монастыря, чтением духовных и даже светских серьезных книг, чтобы быть на уровне современных понятий, и сверх всего этого бремени, он не мог, как влиятельный человек и духовный начальник в единственном русском монастыре, имеющем представителя в Святогорском Протате (Синоде), устранить вполне и от некоторого невольного участия в международных вопросах и движениях, отражающихся на Святой Горе неизбежно, вследствие общей запутанности дел Турецкой Империи. Волей-неволей, нередко вследствие внешних давлений, о. Иерониму приходилось не быть ничему чуждым, ибо он был незаменим, и в глазах всей русской братии, начиная с Архимандрита — покорного ему постриженника и сына, и в глазах поклонников, и во мнении посольства нашего, консулов и даже многих единоверцев наших на Афоне: греков, болгар и румын. Когда же ему оставалось время для богослужения и где же было взять для этого в обыкновенные дни телесных сил?

20 Но в эти великие дни искупительных страданий мощный дух великого старца побеждал изнемогающую плоть. В Великую пятницу мы видели о. Иеронима служащим.

Мы все удивились; мы восхищались внезапно проявившеюся в нем бодростью телесной; он вдруг помолодел, как будто вырос: на красивом, поразительно строгом, необычайно выразительном и твердом лице *несказанно-чтимого* и любимого нами пастыря светилось нечто особое — торжественное, тихое, серьезное.

30 Как он твердо теперь ходил по храму! Как он внимательно и не спеша кадил каждой кучке бедных болгарских рабочих, и зато с какой благодарной почтительностью они

* «Откровением» называется искреннее сообщение даже тончайших помыслов своих старцу без разрешительных действий таинства покаяния. Это простая, но полнейшая откровенность послушника с духовным руководителем своим, старцем. Поэтому-то старцем может быть и монах, не имеющий иерейского сана.

склонялись перед ним! Один из поклонников, отставной воин, родом литвин, заметил, что при всей телесной слабости своей о. Иероним еще гораздо внимательнее других иеромонахов кадил этим смиренным людям с бритыми головами в старых куртках и шальварах.

Чтоб не находить все это «очень простым» и «очень легким», как готовы найти очень многие, я советую только вспомнить, как иной раз тяготят нас *телесно* условия самого краткого и самого «льготного», так сказать, городского «говения» нашего: постная пища в течение одной недели, 10 слушание так называемого *правила*, теснота в церкви, голод и усталость в утро причащения. Я советую вспомнить этот пример нашего ничтожного светского воздержания: эту легкую дань, которую мы не всегда без душевной борьбы и без «искушений» ропота платим раз или много два в год «умерщвлению плоти», так или иначе *немошной*, то есть *немошной* по недугам и возрасту, или *еще более в христианском смысле немошной* — по нетерпению юности, по многострастности крепкого здоровья. Советую при этом же вспомнить и радость свою, когда все эти мелкие душевные и телесные препоны благополучно пройдены, когда «жертва» уже принесена, когда мы можем *весело* отдохнуть, разговеться и возвратиться к привычному образу жизни нашей. Если мы это в городах так сильно чувствуем, то что же может человек ощущать в день Пасхи на Афоне, где все относится к Богу — и скорбь, и радость, и пост, и разрешительный праздник! В это время на Святой Горе уже давно весна; наверху, на гребне горы, в лесах уже давно стаял снег, и те кусты и деревья, которые и на юге зимой теряют листья, начинают одеваться и зеленеть. 20 Расцветают давно уже иные весенние цветы. 30

Место, где стоит старый Руссик у моря, не из красивых мест на Афоне. Окрестности многих других обителей гораздо живописнее и привлекательнее. Обширный монастырь (весь белый, с зеленым куполом и крышами), неправильно, туда и сюда, вниз и вверх, не в одно время и не сразу построенный, живописен этой самой неправильно-

стью; но архитектурных достоинств имеет гораздо меньше, чем некоторые греческие монастыри и особенно чем превосходный болгарский Зограф.

10 Перед монастырем море, нередко очень унылое и загражденное на горизонте длинной, однообразно синей полосой полуострова Кассандры. За монастырем, почти вплоть у окон задних корпусов, большая гора, сплошь покрытая не лесом густым и красивым, а кустарником низким и частым, который летом наводит уныние однообразием и неподвижностью своей темной зелени, неприятно блестящей под лучами постоянно палящего солнца.

Но именно Великим постом и перед Пасхой эта гора мало-помалу начинает *пестреть* и становится веселой и прекрасной, как богатый, расписной ковер.

20 Сплошной и низменный кустарник ее на короткое время весь убирается цветами белыми, розовыми, желтыми. Между этими красивыми, яркими пятнами видны другие оттенки, зеленые и красно-бурые; это новый лист на иных кустах, еще не позеленевший. В этих пестрых кустах весело бродят монастырские мулы, мирно бряцая колокольчиками. Воздух еще не слишком жарок и как-то особенно душист. Птицы в лесу поют громко по утрам. Сама природа точно готовится пышно и весело встретить «праздник из праздников и торжество из торжеств»!

Настает *последний вечер*. Все безмолвно, монашеские кельи заперты; длинные коридоры тихи; храмы пусты; лес, гора и берег моря — все безлюдно.

30 И вот в самую полночь — громкий удар молотом в доску. За ним другой, чаще, чаще! Внезапно вслед затем раздается торжественный и сильный звон колоколов. Все оживает мгновенно. Двери скрипят и стучат, слышны голоса, огни мелькают всюду. Сияют перед нами отпертые храмы сотнями свечей.

Все пробуждается радостно и бодро!.. У самого усталого является непонятная сила возбуждения!

Конец «великому морю» телесного истязания и нестерпимой в иные дни душевной борьбы, уныния и туги!

Мы у берега, — у берега веселого, цветущего! Мы отдохнем теперь. Мы достойны отдыха!

«Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ...»

II

Заутреня под Светлый праздник на Афоне длится всю ночь до раннего утра. Потом все расходятся на короткое время и опять возвращаются в церковь к ранней обедне. Я не знаю, как назвать этот короткий перерыв богослужения: часом отдыха или новым испытанием? Быть может, для иных, например для служащих и поющих, это необходимо; но для нас, поклонников, было бы, кажется, легче не уходить и не ложиться... Снова собираться к обедне очень трудно! Опять понуждение, опять подвиг после истинно «всенощного» бдения! Однако, я помню, во время самой обедни, не особенно для Св. Горы продолжительной, мне было так же весело и радостно, как и при начале заутрени, когда мы в первый раз услышали пасхальное пение и не могли вдоволь наслушаться этих ни с чем не сравнимых слов, столь часто, однако, повторяемых: *Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ...* Но настоящее утешение — после пищи, после долгого и покойного сна, уже без всякого принуждения и болезненности — еще ждало нас впереди: это — *Вечерня воскресная*, которую на Востоке зовут «Второе воскресение» (по-гречески *Девтѣра а́на́стасис*).

У нас, в России, эта вечерня первого дня Пасхи проходит для большинства едва замеченной; на Востоке, напротив того, на нее собирается столько же народа, сколько и на самую заутреню, иногда еще и более, потому что за этой службой, не слишком продолжительной и совершающейся в очень удобное время дня, происходит нечто крайне любопытное, нечто такое, что может привлечь из одного любопытства и вовсе не богомольного человека: это — чтение *Евангелия на разных языках*.

Известно, что на эту вечерню положено читать то Евангелие от Иоанна, в котором повествуется о *втором явлении* воскресшего Спасителя всем собравшимся ученикам, за исключением апостола Фомы, который, возвратясь потом, впал в сомнение и сказал, что он не поверит этому до тех пор, пока не вложит пальцев своих в раны Христа. (Первое явление было Марии Магдалине.)

Вот почему на Востоке вошло в народный обычай называть эту службу *Второе воскресение* (т. е. Второе явление). На каких языках должно читать Евангелие, конечно, не определено и не должно быть определяемо. Читать можно на всех — и на знакомых большинству, и на незнакомых. И то и другое производит сильное впечатление. На языке понятном приятно следить за мыслью уже хорошо знакомой по родному языку; наречие непонятное поражает иначе — как нечто полутаинственное и странное. Читают на тех языках, на которых в данной местности есть возможность читать: на греческом, конечно, прежде всего, на славянском, на турецком, армянском, албанском, иногда и на арабском или латинском. На французском или итальянском очень редко. Оба эти языка очень распространены в торговом классе, преобладающем в светской среде христиан; но между духовными лицами мало можно встретить людей, хорошо говорящих или читающих правильно на этих «живых» языках Запада. У меня есть греческая маленькая книжка, изданная в 1870 году в Константинополе. В ней помещены субботняя служба у Плащаницы, последование часов Великой субботы и двенадцать *Евангелий на разных языках* для той Пасхальной вечерни, о которой я пишу. Первым, разумеется, в греческом издании поставлено обыкновенное Евангелие на греческом языке. Потом следует то же место (о *втором явлении* собранным ученикам) в *эллинских стихах* (*героическим гекзаметром*, как сказано в книжке); третьим идет *ямбическое* греческое переложение того же; дальше — по-«славянорусски» («славороссисті»), потом на новоболгарском языке, дальше по-албански, по-латыни,

по-итальянски, по-французски, по-арабски, по-турецки и по-армянски.

В разных городах случалось мне слышать и разные языки; это зависит от того, на каких языках могут читать люди местного духовенства, находящиеся в этот день налицо. Я был на этой вечерне в Янине, в Адрианополе, в Константинополе (в Халкинской богословской семинарии) и на Афоне.

Хорошо было везде; но на острове Халки было лучше, чем в провинциальных соборах; а на Святой Горе, в греко-русском монастыре Св. Пантелеймона, было лучше всего.

Заутреню и раннюю обедню мы слушали в бывшей домово́й Покровской церкви, которая устроена русской братией в верхней по местоположению (в восточной) части обширной обители, расположенной, как я уже сказал, на склоне горы к морю.

Вечерню воскресную служили вместе с греками внизу в главной церкви, или в соборе, воздвигнутом, как и все Афонские соборы, посредине мощеного плитами двора.

Это уже одно много значило.

В домово́й русской церкви Покрова Пресвятыя Богородицы, кроме иконостаса и утвари, изящной и богатой, ничего нет замечательного. Эта церковь обширна, зимой тепла, удобна, ход в нее прямой из теплого коридора гостиницы — и только. Это очень большая зала с белыми штукатурными стенами, с длинным рядом обыкновенных (четыреугольных) больших окон, из которых вид на нижнюю (греческую) половину монастыря, на море и всегда темную полосу полуострова Кассандры — несколько уныл, но не лишен величия. Кругом стен «стасидии» с ручками и откидным «сиденьем», для стояния и отдыха монахам и богомольцам.

Несколько таких же мест, но более почетных, для гостей большого чина или звания — посреди пустой залы у штукатуренных колонн. Удобно, чисто, просторно, бело; но красоты или величия искать тут не надо. Один иконостас, говорю я, очень хорош. Я готов сказать даже и больше

этого: я готов назвать его прекрасным. Он очень своеобразен; он как-то *изящно-тяжел*, в меру пестр и в меру одноцветен.

Он не высок, весь сплошной золоченый; размеры его несколько тяжелы, орнаменты несложны, не кудреваты, строги. Царские врата тоже низки и очень просторны, большие местные иконы только в один ряд, и лики в естественную величину человеческого образа. Если мне не изменяет память, этих икон всего четыре: Спаситель, Божия Матерь, «патрон» монастыря Св. Пантелеймон, которого глава хранится внизу у греков, и *русский* святитель Митрофаний, принесенный нашими на Афон. Все эти иконы превосходной *троице-сергиевской чеканной* работы. На тонко-узорном золотом поле выделяются в высшей степени изящно вполне *человеческие* по цвету лица, но по выражению — *иконописно*, таинственно покойные образы Учителя-Бога, Девы с Младенцем Христом, прекрасного юноши-мученика и седого, преподобного старца. Одежды Спасителя — голубая и розовая, и Св. Пантелеймона — малиновая с зеленым — прелестны своей яркостью посреди сплошной, одноцветной позолоты. Что касается до лика самого Христа, то я ни прежде, ни после не видал ничего лучшего. Это — *икона* высокого стиля, а не картина. Нечто прекрасное и мужественное, и молодое, немного бледное, идеальное, тихое, покойное, и вместе с тем что-то тонко-национальное, семитическое, как бы для большей исторической наглядности, для *реальности хорошей*, счастливой в смысле возбуждения *положительной* веры.

Может быть, у меня вкус нехорош, или технику искусства я не достаточно понимаю, но таково было мое впечатление, и я им делюсь с читателями откровенно.

Прекрасный иконостас этот пожертвован теперь уже скончавшимся игумном Антонием Бочковым (из купцов), который провел последние годы свои на покое под Москвою, в Николо-Угрешском монастыре.

Кроме этого иконостаса в пустой и обширной белой зале Покровской русской церкви ничто не может произ-

вести особенно праздничного или торжественного впечатления. (Конечно, я не говорю здесь о самом богослужении, — его порядок у русских на Афоне образцовый, такого я не видал ни в московских соборах, ни в Оптиной пустыни, ни тем более у греков и болгар, служащих всегда несколько «дерзновеннее», небрежнее наших.)

Совсем не то в главном соборе. Этот собор предоставлен был в то время грекам, живущим в нижней половине монастыря, у моря, как старейшим в обители. Стиль этого храма — общеафонский стиль, вроде наших древних московских соборов. Высокий храм — величавый, обремененный убранством, на вид суровый, темный, но сияющий золотом; бесконечно-высокий иконостас; над серединой круглый купол, не широкий и отлогий, как в Св. Софии Цареградской, а покоящийся на круглой башне, как в Исаакиевском соборе.

В Афонских соборах эта срединная башня, этот исполинский цилиндр, уходящий к небесам над головой богомольца, не пуст, как бывает у нас... Он весь наполнен сиянием. Кроме массивного и драгоценного центрального паникадила, есть еще ближе к стенам обширный хорус (хор, хоровод, круг). Это серебряное огромное разубранное кольцо с рядом свечей, которые образуют в праздники широкий венец других огней вокруг пирамидой возносящихся огней центральной люстры. Между огнями люстры и огнями кольца ниспадает над головою вашей еще множество отдельных зажженных лампад и свечей и *страусовые яйца* на серебряных привесках. Хорус тоже снизу украшен бахромой из этих больших белых яиц.

Восточные единоверцы наши имеют сверх того по большим праздникам обычай длинным каким-нибудь орудием приводить в кругообразное движение и паникадило, и хорус, и все, что висит над людьми под куполом. Все эти огни свечей и лампад, это серебро и золото, эти большие и твердые как камень яйца, — все это белеет, сияет, светится, искрится, двигается над вами, все это словно без-

молвно ликует вместе с людьми в тихой, но непрерывной и торжественной пляске...

Мы не привыкли, правда, к восточному пению; оно с непривычки нам кажется неприятным и диким. Но когда хор певчих хорош, как было в то время у греков в Руссике, то нельзя отказать и этому пению в силе и в странной особого рода эффектности... Конечно, богослужение этой вечерни достигло бы совершенства, если бы к несколько мрачной и величавой красоте тяжелого собора, к разноцветной роскоши ярких облачений, к чтению Слова Божия на разных языках, к этой простодушно-таинственной пляске огней в глубоком мраке купола — прибавить еще пение хотя бы и на том же прекрасном эллинском языке, но при избранной русской музыке...

Но совершенства нет ни в чем на земле... и в самых высших проявлениях прекрасного. Впрочем «глас», на который поют греки и болгары «Христос воскресе», с нашим не схожий, довольно приятен... Напев этот менее скор и боек, чем наш: он медлительнее и даже как бы меланхоличнее; но, поживши на Востоке, и к нему привыкаешь скоро, как к чему-то почти родному...

Но вот раздается возглас диакона:

«И о сподобитися нам слышания Святаго Евангелия Господа Бога молим!»

И дальше:

— От Иоанна Святаго Евангелия чтение!

— Вонмем! (*Прόσχομεν!*) — отвечает ему по-гречески русский архимандрит Макарий.

Это первое Евангелие *по-гречески* читает, сидя по немощи у царских дверей, сам столетилетний игумен Герасим (бывший священником, 40-летним мужем еще во времена Екатерины Великой).

«Усис опсиас, ти имэра экини ти миá тон Саввáтон»... и т. д. «Ильфэн о Иисус кэ эсти ис то мэсон, кэ лэги автис: *Эρίни имін!* (мир вам!)»

И дальше о возвращении неверующего апостола Фомы.

Едва только кончил древний старец чтение, как внезапно раздался громкий, потрясающий звон колоколов, и в то же мгновение на дворе началась веселая пальба из ружей. Палят во славу Божию монастырские стражники в фустанеллах. Потом на минуту все стихает; — ни звона, ни пальбы, ни возгласов, ни пения... Все молчит мгновенно... И среди этого внезапного замирания всех звуков раздается в самой церкви, где-то в глубине ее, какой-то странный, нигде мною не слыханный и чрезвычайно приятный, особенно переливающийся звон... Что-то металлическое и вместе с тем что-то подобное музыкально падающим очень крупным каплям... Это греки ударяют ритмически какими-то шариками на длинных ручках по медным кругам.

И опять тишина и ожидание.

И опять возглас по-славянски...

— И о сподобится нам... От Иоанна Св. Евангелия чтение!

— Вонмем...

Архимандрит Макарий читает по-славянски.

«Суцу же позде в день той, во едину от суббот, и дверем затворенным, идеже бяху ученицы его собрани, страха ради иудейска, прииде Иисус и ста посреде, и глагола им: „мир вам!“»

О. Макарий кончил... Ап. Фома сказал, что «не будет верить пока не вложит руки в ребра Его».

Воскликнули певчие: «Дóкса си, о Фео́с имо́н, дóкса си...» (Слава тебе, Боже наш, слава тебе!)

И снова торжественный звон, и опять пальба... И опять тишина на мгновение, и снова переливы металлических капель, ниспадающих на металл...

— Теперь что́ будет?

— Вонмем!

— Какие это звуки?

«Юрта́ гюнлерини́ бир инда́ акшам вактинти́ ве сайдлер». И дальше: «ве анлерé дэти́»: «Селáм сизé» (мир вам)!

Это турецкое Евангелие.

Восточные христиане его слушают с удовольствием. Они привыкли к турецкому языку; они, по правде говоря, даже любят его. В Малой Азии есть до сих пор много греков, не знающих по-гречески. В их церквах вся служба совершается по-турецки.

После нового звона, новой пальбы, новых ударов милого шарика и новых возгласов, из другой стороны храма послышалось нечто очень знакомое, но с непривычки для нас гораздо более странное, чем Евангельская речь на языке пашей, языке и наивном, и суровом. Повеяло Римом.

— In illo tempore quum sero esset die illo, una Sabbatum, et fores essent clausae, ubi erant discipuli...

Затем, опять — после шумной, «поющей, вопиющей», звонящей, играющей и палящей перемены — слышу я непонятную мне речь...

— Какая это?..

Это речь народа без словесности, без грамматики, — речь народа, имеющего только горные эпические песни... Греческие монахи опять улыбаются, как чему-то очень знакомому и даже немного смешному.

— *Даги Прэма у эр áте дите те стуне...*

Это речь албанская, речь знаменитых арнаутов, которых так любил лорд Байрон, которых и я, признаюсь, крепко люблю; речь безграмотных героев, жестоких разбойников и верных до самопожертвования слуг: в Христианстве — дававших самую лучшую военную стихию прежним греческим восстаниям, в Мусульманстве — свершающих под турецкими бунчуками самые страшные зверства. Станный народ!.. Полный поэзии и бескорыстного рыцарства, продажности и злобы, простодушия почти смешного и самой коварной хитрости. Народ — сирота, даже и в прошедшем этнографического родства своего до сих пор не нашедший с точностью.*

* Греки уверяли меня, что этот отрывок из Евангелия пишут по-албански греческими буквами на особом листке и, вложивши в какую-нибудь церковную книгу, читают в церкви.

Вечерня кончилась. Звон и пальба прекратились. На мощеном дворе и в длинных коридорах келий опять воцарилось глубокое безмолвие отдыха.

Из открытого окна моего, сидя, долго смотрел я на розовые, золотые, желтые, бурые и белые кусты как бы ликующей вместе с нами горы, обыкновенно столь мрачной и скучной. Я слушал тихое бряцание колокольчиков на шеях пасущихся мулов; но другие образы и звуки неотступно и восхитительно владели душой моей во весь этот вечер. 10

Эти возгласы и звон, это чтение Слова Божия... Эти разнородные, несхожие звуки: «мир вам!» «*Э́рни имѣн! Рах vobis! Селám сизé!..*» Суровый храм, суровые лики икон, сияние серебра и золота повсюду; — пальба, безмолвие, перезвоны, опять безмолвие; опять молитвенный возглас, опять пальба, и звон, и пение... И тишина, и чтение прекрасное среди благоговейного внимания, едва-едва нарушаемого какой-нибудь улыбкой сочувствия или легкого удивления...

И над всем этим — круговая тихо-радостная, непре-²⁰стающая пляска бесчисленных огней в темной высоте...

— Нет, это в самом деле «праздник из праздников и торжество из торжеств»!..

КНЯЗЬ АЛЕКСЕЙ ЦЕРЕТЕЛЕВ

Недавно (16 мая) умер в своем имении этот молодой человек, которого имя связано так тесно с нашими воспоминаниями о последней войне на Балканском полуострове.

Ровно десять лет тому назад в Константинополе, когда еще никто не знал его, кроме самых близких людей и товарищей по службе, — я сказал ему так:

— Вы до того способны, Князь, до того даровиты, что вам среднего в жизни ничего даже и не может предстоять. — Вы или будете знаменитым человеком... или...

Он угадал мою мысль и досказал ее:

— Или меня убьют?.. Не так ли?..

— Да, что-нибудь в этом роде, — продолжал я; — умрете рано; или на поединке вас застрелят за некоторые ваши выходки...

Он поклонился мне с шутливой почтительностью и переменял разговор.

Я тогда уже старел, болел постоянно; думал только о том, как предстать на суд Божий; — и еще о том, как мне, подобно состарившемуся зверю, свернуться где-нибудь в углу и умереть безболезненно и мирно; — я он был тогда так молод и так красив; так остроумен и весел, здоров и силен, хитер и ловок (ловок иногда и до цинизма!), любезен до неотразимости, и по-печорински зол и язвительен.

И вот теперь он умер — этот молодой герой и красавец; — он умер и его уже в землю зарыли; — а я живу,

на майскую зелень люблюсь у окна подмосковной дачи, благодарю и славословлю Бога — ко мне столь милосердного, и вспоминаю с горестью и удовольствием об этом человеке, которого, быть может, никто *именно так* высоко не ценил и так беспощадно не понимал, как я.

Я с самого начала нашего знакомства с ним видел в нем не просто умного и способного юношу, служившего при Русском Посольстве в Турции, а именно *героя*... Героя очень веселого, счастливого и в высшей степени *практического*;... человека редко (я думаю даже никогда) *себя не забывавшего*;... героя, вовсе, вероятно, *не идеального* в смысле какой-нибудь внутренней и добросовестной задачи... О! Нет! Алексей Цертелев был не таков. — Не такое, по крайней мере, он на меня производил впечатление.

Он был герой и в самом тесном значении этого слова, т. е. в смысле военного мужества; он был, что называется, просто очень храбр; и вместе с тем он был героем и в другом самом широком значении этого слова, т. е. человек очень сложный, изящный, занимательный, многосторонний, который бы годился в одно из главных действующих лиц прекрасного, большого и вовсе, разумеется, не отрицательного романа.

В романе он вышел бы даже гораздо лучше и сходнее, чем в таком кратком очерке, который я теперь пишу. — В большом романе, особенно теперь, когда его уже нет на свете, можно было бы, изменяя только имена и некоторые второстепенные и внешние черты действительности — остаться вернее этой самой действительности по внутреннему ее существу, — чем при так называемом правдивом и точном, простом биографическом воспоминании.

Такие точные, *soi-disant* правдивые воспоминания очень стеснительны. — Никого почти нельзя назвать; — одного назвать совестно; другого неприлично; третьего жалко; четвертого даже страшно и т. д...

А в большом романе Цертелев вышел бы больше самим собою; — и впечатление на читателя могло бы ближе

подойти к тому, которое он производил в жизни на тех, кто хотел и умел судить его беспристрастно. — Прав ли я, или нет, но я воображаю, что принадлежу к числу этих (очень немногих, впрочем) беспристрастных судей.

От других я большею частию слышал или почти безусловные похвалы, или резкие порицания. — Родные его очень любят и хвалят его сердце и родственные чувства. — Многие из товарищей его и почти все те люди, которым приходилось иметь с ним сношения по делам и в обществе — напротив того — не любят и не хвалят его характера. — Это и понятно: — Церетелев *средних* чувств возбуждать не мог... Его можно было, как Печорина, или сильно любить, или ненавидеть... Что касается до меня, то я признаюсь откровенно, что при начале знакомства нашего в Константинополе в сердце моем по отношению к нему происходило то именно, о чем Лермонтов так хорошо сказал:

...то сердце, где кипела кровь,
Где так всечасно, так напрасно
С враждой боролася любовь...

Да! При первых же встречах я почти влюбился в него; — его юношеская красота, мужественная и тонкая в одно и то же время, его веселость и неутомимая энергия, его отважный патриотизм, его оригинальные шутки и серьезно-образованный ум, равно способный и к теоретической мысли, и к самым быстрым и основательно-практическим соображениям; его настойчивость и даже злость его языка и некоторых его действий, — пленили меня... Я сказал уже, что я тогда все болел и ужасно тосковал и собирался все в тот дальний и страшный путь, из которого нет более возврата; — при этом мне казалось, что я овладел некоторыми истинами, которых развитие и распространение было бы в высшей степени полезно. — Что успел, то написал и напечатал; что не успел — хотел передать другим; мне тогда было сорок с лишком лет; — Церетелеву едва ли было в то время двадцать пять. — Я считал себя «непризнанным», «непонятым», не успевшим высказать и сотой доли

того, до чего додумался в полной независимости жизни и ума, и возмечтал сделать из него приверженца моих идей, моей системы, ученика моих взглядов на наши отношения к славянам, грекам и Востоку. — Я возмечтал быть чем-то вроде его Предтечи и готов был счесть себя недостойным «развязать ремень его обуви»; я соглашался остаться «гласом вопиющего в пустыне» — с тем, чтобы он был тем по отношению ко мне, чем бывает прекрасный цвет и сочный плод к листьям, опадающим как будто бы бесследно... 10

Церетелев *тотчас же* понял эту мечту, или эти мои претензии (хотя я прямо и не говорил ему ни разу: «будьте учеником моим»), и начал делать мне всякого рода маленькие *шиканы* и неприятности; отчасти — по какому-то печоринскому капризу, отчасти по другим соображениям, с точки зрения лично-романтической, может быть, и весьма мелким, и *вовсе не мелким, но очень важным* с точки зрения практических требований жизни...

Знакомые и приятели наши говорили обо мне прямо:

— Не браните при нем Церетелева... *il a des entrailles de père pour lui...* 20

Вероятно, этого одного или чего-нибудь подобного достаточно было для этого юноши, блестящего и гениального, но все-таки «хищного» (как говорил Аполлон Григорьев), чтобы он почувствовал непреодолимую жажду той небольшой тирании, которой подобного рода характеры любят подвергать расположенных к ним людей... Я тоже очень скоро понял это, не давал ему спуску насколько умел и, наконец, не перестав «объективно», так сказать, восхищаться им, переменил обращение и отдалился от него. — 30
Это Печоринство.

Но кроме этого демонизма (очень все-таки любимого мною в таких молодцах) было тут нечто и другое, более практическое, как я уже сказал выше.

Я к тому времени стал и на словах, и в печати приверженцем *не греков* (это было бы глупо), а *Патриарха Вселенского и вообще духовенства Восточного* и защищал

их противу либерального посягательства болгарских демагогов, захвативших тогда Церковные дела в свои хамовато-европейские руки...

Лица несравненно более меня влиятельные и сильные были иного взгляда, громили греков и не хотели осадить болгар. — Теперь главная опасность этого вопроса миновала; — разрыва у Русской Церкви с Греко-Восточной Церковью не будет... Тогда было другое время; время очень горячее и для всего Православия до того опасное, что до сих пор на понимающего эти события само воспоминание об них наводит ужас... и заставляет изумляться, с одной стороны, затмению человеческих умов, а с другой, милосердому «смотрению» Божию, пощадившему Православную паству свою и русское достояние свое и на этот раз!..

Это было в 73-м году.

Я, проживши около года на Афоне, — обвеянный его святыней, его поражающими строгостями, впервые понял тогда сущность вопроса с настоящей духовной точки зрения; т. е. что это просто великий грех нарушать так сознательно, лукаво и преднамеренно Уставы Церкви, как нарушали их болгарские либеральные вожди по соглашению с турками, обманывая и свой простой народ, и нашу дурацкую интеллигенцию...

Я трепетал за единство Церкви, у которой есть только две могучие опоры: Русский Государь и русский народ, с одной стороны, и греческое духовенство, с другой... Я верил заодно с Св. Царем Константином, что и с политической точки зрения чистота и строгость Православного учения важнее нескольких провинций...

Князю Церетелеву ни до чего этого дела не было; для России он видимо желал только немедленного успеха, силы и влияния; для себя?.. Для себя — тоже немедленного успеха, силы и влияния...

Я — не мог ему этого доставить; иные из тех многих, которые были за болгар и которые были со мной не согласны, — могли...

На что же я ему годился?

Ему нужны были движение, борьба, карьера... а не отеческая дружба человека вовсе не влиятельного и не властного...

Вот если бы я был облечен властью — тогда было бы, вероятно, иное!..

Итак, понявши очень скоро, с одной стороны, мои на него виды; — с другой — мое невыгодное в то время положение относительно высокопоставленных лиц, — по Болгарскому вопросу со мной не согласных, — Церетелев стал нарочно затевать со мною в обществе споры, чтобы раздражать и сердить меня и, вероятно, чтобы доставить этим некоторое удовольствие тем, кому было нужно. — Спорил он недобросовестно, не так, как спорят простодушные и вместе с тем искренние и смелые приверженцы какой-нибудь драгоценной им идеи; — он спорил не с целью убедить, или убедиться, а лишь с желанием под видом веселого, полушуточного, полуобидного товарищеского глумления производить выгодное для себя впечатление...

Я тогда только что впервые «прозрел» в делах Церкви; ²⁰ я думал, что и все умные люди должны будут точно так же прозреть вслед за мною, когда я им скажу, что и я года два-три назад ошибался точно так, как ошибаются они теперь, полагая, что *чисто-племенной вопрос с эмансипационным оттенком во что бы то ни стало* гораздо более важен, чем вопрос Церковной дисциплины, и даже есть такие сочетания, при которых либералы-болгары и сербы могут для нас стать (именно близостью и политической дружбой своей) опаснее всяких польских шляхтичей и повстанцев. — Поляки, правда, спирт легко воспламеняемый; но мы знаем, что они спирт, и всегда более или менее готовы тушить его; а религиозный индифферентизм юго-славянской буржуазии — это мутная и загнивающая вода, вливаемая сначала понемногу и осторожно, а потом и крайне нагло и безбожно в старое, могучее и драгоценное вино Греко-Российского Православия... Что с нею делать, с этой зловонной водой демократического европеизма? ³⁰

Мне все кажется, что Церетелев *очень хорошо* и скорее всякого другого понимал все, что я тогда говорил; — но он понимал также, что ему, начинающему свою карьеру, *не рука* соглашаться с моими истинами...

Что я не ошибаюсь — на это есть доказательства... Особенно, припоминаю, например, по-видимому, не важных три случая.

Во-1-х, я замечу, — он до того был даровит (и быть может, даже гениален), что при всей огненной, можно сказать, практической находчивости своей, — овладевал почти мгновенно и теоретической основой вопроса, и находил для выражения этой теоретической основы именно те слова, которые были нужны.

Так, например, — однажды у меня с одним из весьма умных русских людей на Востоке был спор о супружеской верности. — Противник мой, считая себя вполне Православным, говорил и о *чести*. — Я возразил, что понятие о *чести* в этом деле не есть понятие Христианское; а скорее — европейское, и вообще условное... Церетелев вмешался в спор и стал на мою сторону. — (Здесь он мог дать волю своему беспристрастию, ибо и противник мой, хотя и высокопоставл(енный) по службе, в то время не был еще в таком властном положении, чтобы Церетелеву он был бы очень нужен, и самый вопрос *текущей* политики не касался.) Противник наш был один из умнейших и образованнейших русских людей нашего времени; — и убедить или даже переспорить такого человека было не легко. — Я, который целый год перед этим прожил с Афонскими монахами и только и думал в то время о том, что «грех» и что «не грех» по учению Церкви (ибо для меня то время было каким-то возрождением сердечным и умственным, как бы *вторым крещением...*), — я сознаюсь, — нашел лучшим замолчать и предоставить Церетелеву защищать мою же тему. — Не отвергая ничуть понятия о чести и не чуждаясь его — он говорил только, что Православию до этой стороны вопроса нет и дела; что бесчестие даже может быть полезно для смирения, и т. д...

А дело в том, что «Dieu le veut»; Бог дал заповедь верности — и кончено. — Я помню — он прибавил: «Я сам, положим, ни во что это не верю; — но когда рассуждаешь о Христианстве, — то надо же становиться на точку зрения Церкви и не забывать существенных принципов учения...»

Слов его на этот раз я с точностью не помню и понимаю, что и я сам мог бы сказать то же самое; — но я зато помню очень хорошо мои побочные мысли во время этого спора. — Я молчал, слушая его, и думал про себя: Как он способен — этот юноша! — Сколько ясности и твердости в уме его, сколько энергии в темпераменте!.. Настоящие Православные идеи у нас так забыты и засыпаны так давно всяким утилитарным, гуманистическим и другим западным хламом!.. Мне в сорок лет нужно было снова уверовать, прожить год на Афоне, чтобы уметь говорить то, что этот двадцатипятилетний молодой человек говорит и без веры, и без помощи духовного чтения или духовнических бесед...

В этом споре он случайно был на моей стороне; — но случился и другой еще спор, в котором он сначала не принимал участия, и внезапно прекратил его, вмешавшись видимо противу меня, но вместе с тем так, что и противнику моему показал косвенно, как бы нужно было «ставить вопрос». — Речь шла о тогдашних распрях на Афоне между греческими и русскими монахами за права на Афонский Св. Пантелеймона монастырь, обыкновенно называемый «Руссик». — Я, — всем сердцем преданный духовникам Руссика о.о. Иерониму и Макарию, обязанный им донельзя; почти влюбленный в них духовно, как влюбляются женщины в своих «directeurs de conscience», — не мог ни на минуту забыть, что и для пользы Церкви, и для будущего России — нам в Церковных делах на Востоке надо быть прежде всего в тесном союзе с греками и что греко-русский союз на почве (преимущественно, если не исключительно) Церковной есть самая несокрушимая в мире сила, ибо последствия такого Церковного единения

неисчислимы, и ветви от этих вековых корней часто незаметной, но необъятной и несокрушимой сетью покрывают всю историческую жизнь Христианского Востока от Новой Земли и Камчатки до берегов Нила, Вислы и Дуная...

Я доказывал, что, в случае крайности, во имя Церковного «домостроительства» и во имя политической дальновидности надо пожертвовать даже и самыми справедливыми требованиями русских монахов и, вознаграждая их стоицей иначе, — уступить грекам, не как грекам, а как афонцам, ибо Афон, в некоторой степени, важнее для нас, чем самый Иерусалим. — В Иерусалиме, конечно, почти каждый камень — святыня, — но только камень; — а на Афоне мы и теперь, во времена Лессепсов и Нечаевых (не знаю, кто хуже, я дум(аю), Лессепс!), можем видеть жизнь почти такую же святую, какую видели современники Иоаннов Златоустов, Симеонов Столпников и Пахомиев Великих.

Так я думал и тогда, но не ручаюсь, что я тогда так ясно говорил нашим дипломатам, как говорю теперь. — Я ручаюсь за одно, что мне возражали совсем не то, что нужно. — Мне говорили (и вовсе не шутя, хоть и всё с улыбкой), что греки «подлецы», что они «льстивы до сего дня», что даже и хорошие монахи греки на Афоне теперь (в 72—73 годах) так раздражены и сбиты с толку пугалами Панславизма и Болгарской схизмы, что они Бог знает, что делают; «удивляюсь, как это вы, такой друг духовников Руссика, хотите даже их принести в жертву...» и т. д... Признаюсь, на такие соображения, которые прилично слышать лишь от молодой «дамы», — я не знал, что и сказать нашим дипломатам... Мне было стыдно за них...

Алексей Цертелев сразу повернул дело на настоящий путь.

Он обратился ко мне и сказал:

— Надо прежде всего спросить себя — что мы, русские, должны предпочитать: *отвлеченные ли принципы*

учения Православного, или вещь непосредственно-доступную — *интересы русских подданных на Востоке?* — Пантелеймоновские монахи на Афоне — прежде всего русские подданные и владеют русскими деньгами. — Если мы предпочитаем отвлеченные принципы, то можем потворствовать и грекам даже и в несправедливостях; а иначе — не следует. — Я, с моей стороны, того мнения, что этого не следует делать и что обязан(ность) наша защищ(ать) русских подданных — самое ближнее и ясное.

И я, и тот, который противоречил мне, — оба мы должны были сознаться, что дело объяснено сразу лучше нашего. — Мне осталось только согласиться с этим и прибавить: «Конечно, это так, но только если мы не будем всеми силами поддерживать то, что Вы зовете *отвлеченными* принципами, а я *живой силой*, то Православных-то скоро и русских подданных ни единого не останется...»

— Что же — не китайцы ли уничтожат нас? — спросил насмешливо Князь...

— Хотя бы и китайцы, — отвечал я.

— Гоги и Магоги, — тотчас же нашелся Князь, и все рассмеялись.

Но я нахожу, что и в этой ничтожной полу-шутке о китайцах была бездна ума; она доказывала, что он, вероятно, и сам о такой возможности думал...

Думал он обо всем, быть может, но действовал и говорил лишь о том и в пользу того, чего требовала политическая «злоба дня» — и его личные интересы.

Н. П. ИГНАТЬЕВ

Я всегда говорил про этого человека, что его легче описать, чем определить. В первый раз я услышал его имя от Полковника Писаревского, к(ото)рый издавал в 61—62 году газету «Современ(ное) Слово». — Я жил тогда в Петербурге и решительно не знал тогда наших государств(енных) и политич(еских) деятелей, и вовсе об них не думал. — Не знаю, почему эти слова Писаревского, к(ото)рые я выслушал без всякого участия и к(ото)рые ни малейшего значения не могли для меня иметь, ни лично, ни в каком-ниб(удь) отвлеченном смысле, — так сильно врезались мне в память....

Слова эти были очень просты: Игнатьева назначили директором Азиат(ского) Депар(тамента). Я даже и о том, что такое Азиат(ский) Депар(тамент), ясного понятия не имел, и до Восточного Вопроса мне тогда не было никакого дела. — Вообще я в то время и о внутрен(ней), и о внеш(ней) политике очень мало думал. — Женщины; любовь; поэзия, естественные науки и какая-то эстетическая философия — вот что меня занимало тогда. Я помню даже, что Писаревский в эту минуту стоял, и выражение лица его очень хорошо помню; не знаю, почему это я так помню; точно в этом была какая-то судьба.

Не надо, однако, думать, что я совсем не имел понятия о фактах нашей внешней политики; я, еще живя перед этим у бар(она) Розена в Арзамасском уезде, с большим удо-

вольствием и вниманием читал тогдашние политичес(ские) обозрения «Рус(ского) вестника». — Они, как известно, были в своем роде превосходны, хотя и весьма либерального направления; очень может быть, что чтение этих обозрений и друг(их) статей «Рус(ского) В(естника)» меня подготовило к позднему пониманию государствен(ных) и политичес(еских) вопросов, но не более того, как может подготовить человека к позднему религиозному пониманию Катихизиса и Свящ(енная) Ист(ория) в училище; все-таки остается в памяти множество фактов, имен, какие-то общие «веяния», какие-то смутные, но неизгладимые впечатления, к(ото)рые, позднее, когда человек сам захочет все это припомнить, и без вторичного чтения приносят плоды... Вот так, должно быть, действовали не меня и политичес(еские) статьи «Рус(ского) В(естника)», хотя, когда я их читал, мне было уже под тридцать лет. — Впрочем, мож(ет) б(ыть), я и клеветую на себя; м(ожет) б(ыть), я и тогда не хуже понимал их, чем всякий неглупый читатель; но мне кажется, что я все это не так понимал, как начал понимать, когда сам стал политическим деятелем. Верно только то, что если у меня и были какие-нибудь полит(ические) мысли, то не было ни политичес(еских) убеждений, ни тех политических пристрастий, к(ото)рые необходимы для этих убеждений. — Так, напр(имер), из «Рус(ского)» же «Вестника» я помнил, что этот же самый Игнатъев был послан в Китай и много там для нас выиграл во время англо-французской войны с Китаем; — но в памяти моей не осталось никаких размышлений по этому поводу и чувств.

Судьбе угодно было, чтобы вскоре после этого я принужден бы был обратиться к этому самому человеку с просьбой принять меня на службу и после этого прослужить десять лет под его начальством.

Поступил я на консульскую службу тоже гораздо более по эстетическому, чем по политическому побуждению; не знаю — каяться ли мне в этом, или гордиться? — Предпочитаю гордиться; потому что правильная и глубокая эс-

тетика всегда, хотя бы незримо и бессознательно, содержит в себе государственное или политическое чувство. — Обстоятельства вынудили меня тогда жить совершенно несоответственно всем моим вкусам, идеалам и привычкам; я с юношеских лет, например, терпеть не мог столичный литературный и ученый круг, и из других отрывков моих воспоминаний можно видеть, что я общество донских казаков в степи, под Керчью и компанию феодосийских греков-мещан предпочитал не только обществу моих товарищей-студентов московских, но даже и таким домам, в к^оторых я мог встречать Кудрявцева и Грановского. — И вот обстоятельства сложились так, что мне около 2-х лет в П^етербурге пришлось возвращаться в обществе второстепенных редакторов, плохих и озлобленных фельетонистов, вовсе не знаменитых докторов и т. п.; к тому же, несмотря на то, что полит^{ические} убеждения мои тогда еще не выработались так ясно, как, я сказал, они выработались позднее, — все эти люди принадлежали более или менее к тому демократическому направлению, к^оторое я прежде, в юности, так любил и от к^оторого именно тут, в П^етербурге, стал все более и более отступаться, как скоро *вдруг как-то* понял, что идеал его не просто гражданское равенство, а полнейшее однообразие общественного положения, воспитания и характера; меня ужаснула эта серая скука далекого даже будущего, и я в течение 2-х зим до того переродился, что мне стало все то нравиться, что мне было прежде почти чуждо, и дорожить я стал многим из того, что прежде я готов был охотно пожертвовать, так сказать, отчасти для гуманности, отчасти для поэзии либерального движения. — Мне стали дороги: монархии, чины, привилегии, знатность, война и самый вид войск; пестрота различных положительных вероучений и т. д. — Личное положение мое тогда было невыносимо тяжело, но об этом я здесь распространяться не буду; газетным тружеником я быть ни за что не хотел; высшая литература мне не могла тогда дать средств к жизни. — Медициной заниматься опять, хотя и недавно оставленной, мне тоже

не хотелось; она слишком много отнимала времени у литературы. — Я бы желал найти такого рода практическое занятие, к(ото)рое было бы благоприятно и для того, что я считал своим призванием. Пока я был либералом, я считал позволительным служить нашему, тогда еще не либеральному государству или врачом, потому что это гуманно и необходимо при всяком строе общества, или военным во время войны потому, что это жестоко и опасно. — Я помню, что я в 58 или 59 году очень стеснялся тем, что меня произвели в Коллежские ассессоры даже по Министерству внутрен(них) дел, и баронесса Розен очень над этим смеялась, и очень был доволен тем, что после двухлетней кампании в Крыму не имел никакого знака отличия; но (как подробно развивает Миль(н) Эдвордс в своей «Сравнительной физиологии») животное высшее только временно переживает то, при чем животное низшее остается навеки; я был животное высшее и не мог остаться навсегда при либерализме, раз его понявши. Все, кто знает меня хорошо, поверят мне, если я скажу, что я не оттого переменял убеждения, что поступил на службу, а оттого готов был принять всякую гражданскую службу, что, встретившись с петербургским демократизмом, переменял убеждения. 10

Итак, по настроению моему — я был подготовлен... Нужен был так называемый случай, или судьба; таких случаев было разом два — один за другим: неожиданная встреча с М. А. Хитрово, к(ото)рый ехал консулом в Македонию, и так же мало ожидаемый приезд Дмит(рия) Григ(орьевича) Розена из Нижегород(ской) губ(ернии) в Петербург. — Первый дал мне именно такое понятие о должности консула в Турции, которое было нужно, чтобы меня привлечь; а бар(он) Розен познакомил меня с граф(ом) Ник(олаем) Ник(олаевичем) Зубовым, к(ото)рый рекомендовал меня Игнатьеву. 30

Раз брат мой Влад(имир) Ник(олаевич), у к(ото)рого я жил, вернувшись домой, сказал мне, что встретил на улице «Мишу Хитрово» (мы знали его с детства в Ка-

луге) и что он очень желал бы меня видеть, но скоро уезжает. — Часов в 10-ть вечера, или еще позднее, я пошел в Hôtel Napoléon на Иса(а)киевской площади, но Хитрова не застал. Слуга сказал мне, что он вернется непременно, но очень поздно ночью, и завтра уедет в Турцию. — *Не знаю, почему именно, я остался его ждать до 2-х часов ночи; не до такой же степени мне его хотелось видеть, и общего у нас, кажется, в то время не было ничего; — но по какому-то капризу или фаталистическому движению я велел себе подать холодного жаркого, вина, и прождал его долго; часа в 2 ночи он приехал, показал вид, что очень мне рад, и стал спрашивать, чем я тут занимаюсь. — Это было в котором-то из зимних месяцев 61-го года, перед Манифестом Об освобождении крестьян, или тотчас после него — не помню; но в то время я еще вовсе так расстроен не был, как на следующую зиму, и положение мое, как человека никому не знакомого в Петербурге, было еще тогда не дурно. — Товарищество общественной Пользы, в к(ото)ром членами состояли Струговщиков, Водов, Пахитонов, Кавос и Писаревский, платили мне весьма недурные деньги за переводы статей по естествоведению из немецких журналов «Gegenwart» и «Wissenschaft» и из французских также, не помню из каких; и, сверх того, давали по 60 р(ублей) сер(ебром) в месяц только за группировку подобных переводных статей (моих и чужих) — в книжке предполагаемого издания — «Музей». — Я возлагал на это большие надежды; может б(ыть), я и ошибаюсь, но, мне кажется, я воображал тогда, что правильное понимание ботаники, зоологии, черепословия и даже социологии, как естественной науки, разовьет в обществе то эстетическое мирозерцание, к(ото)рым я сам дышал, и заставит большинство стать умнее, великодушнее, энергичнее и даже красивее наружностью. — Здесь не хотелось бы мне отвлекаться и рассказывать о тех оригинальных статьях и книгах, к(ото)рые я тогда уже задумывал именно в этом направлении; но к(ото)рым не суждено*

было даже и видеть света Божьего, ибо одни из них не были написаны, а другие сожжены.

Итак, хотя я еще не спешил приступить в начале 61-го года к тем воображаемым великим творениям моим, к(о)тор^{ые} должны были произвести революцию сначала в России, а потом во всем человечестве, но, все-таки, «на всякое время и на всякий час» был преисполнен этого изящного пантеизма и готов был проповедывать его всякому, кого только считал способным что-нибудь понять.

Поэтому на вопрос Хитрова, чем я теперь занимаюсь, — я и начал ему это проповедывать. — Выслушав меня, Хитров отвечал: — «Конечно, естественные науки — это очень важно и хорошо, но есть и другая сторона, к(ото)рая не менее важна; например, — защищать в Болгарии Православие и бороться против Католицизма; болгары — славяне и единоверцы наши, и мы должны там поддерживать наше влияние. — Я назначен Консулом в Битолию и завтра еду туда».

Сказавши это, он встал и показал мне очень красивый крест и небольшое Евангелие, переплетенное в пунцовый бархат и украшенное серебром и золотом, к(ото)рые посылала В(еликая) К(нягиня) Елена Павловна для какой-то македонской церкви. — До этой минуты мое знакомство с болгарами было довольно поверхностное; все оно ограничивалось двумя впечатлениями, или двумя воспоминаниями. — Одно из них было следующее. — Служа во время Восточной войны в Крыму военным врачом, я увидал раз где-то, что идет через какой-то сад какой-то человек в одежде, вроде татарской, только потемнее, не так яркой, и спросил у кого-то — не помню: Что это за человек? — Мне сказали: Это болгарин; тут есть болгарские села. — Другое же воспоминание о болгарях оставила еще с детства в уме моем картинка тогдашнего издания «Живописный Карамзин».

РАЗБОЙНИК СОТИРИ

(ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ КОНСУЛА)

I

Я встретил Сотири в первый раз около Афонской горы. Мне нужно было ехать сухим путем в Каваллу и Серрес, и я велел нанять себе верховых лошадей для вьюков и прислуги в деревне Ериссо и привести их на Ватопедский Пирг, в котором я ночевал.

¹⁰ Ватопедский Пирг — это древняя башня, принадлежащая Ватопедскому монастырю. Он стоит на низменном берегу у моря, почти у самой «черты», отделяющей Афон от «мира». Эта черта — кусты и небольшой ручей, впадающий в море... За эти кусты и за этот ручей не ходят женщины. На Ватопедский Пирг их допускают, но и то в случае какой-нибудь крайности.

²⁰ Лошади и провожатые были уже готовы; вьюки навьючены; погода зимняя была превосходна: ясное, прохладное утро, как у нас в сентябре. Я уже собирался садиться на лошадь, когда ко мне подошел Петраки, молодой молдаванин, который всегда сопровождал меня, служил мне истинно незаменимым помощником и агентом по множеству мелких, но весьма существенных дел, и пользовался моим полным доверием. Петраки говорил по-русски не чисто, но свободно.

Он подошел ко мне и таинственно сказал:

— Здесь есть один молодец, беглый из свободной Греции, без паспорта. Он умоляет, чтоб вы его взяли к себе служить без жалованья, только из-за куска хлеба и для безопасности. Он недавно перебежал границу, скитается,

голодает и боится, чтобы турки не выдали его греческому правительству...

— Что же он сделал там? — спросил я.

— Не знаю, — отвечал Петраки. — Я думаю, не из шайки ли он Тако Арванитаки.

Это мне показалось правдоподобным.

Всего около года тому назад, а может быть и менее, в свободной Греции случилось известное дело марафонских убийств. Секретари английского и итальянского посольств, задумав осмотреть поле *Марафонской битвы*, были захвачены греческими разбойниками под предводительством Тако Арванитаки и убиты атаманом благодаря тому, что греческое правительство захотело непременно разыграть роль правительства правильного и послало войско, вместо выкупа, которого требовали разбойники. Несчастных секретарей за это убили; сам Тако успел потом бежать с несколькими из товарищей, но других поймали и казнили на площади.

Шайка, таким образом, была рассеяна, и очень возможно, что и этот молодец, который просился ко мне, был из числа бежавших... Проскитавшись долго там и сям по горам и лесам, замученный нуждой и опасностью, он, вероятно, попытался добраться до Афона и здесь встретил меня по счастливой случайности.

Я велел позвать таинственного бродягу. Он подошел... Я увидел высокого, плечистого молодого человека в ужасно грязной юбке (фустанелле) и оборванной куртке. На голове его вместо фески была какая-то темная шапочка неопределенного фасона, и тоже сальная и поношенная. Оружия на нем не было. — Он был совсем блондин, как немец из самых белокурых, и не имел еще ни усов, ни бороды; но, несмотря на все это, в лице его не было ничего юношеского. Он молча и почтительно поклонился мне.

— Ты хочешь у нас служить и пользоваться моей защитой? — спросил я.

— Да, эффенди; не оставьте меня. Я куском хлеба буду доволен.

В тоне этой просьбы не было ни робости, ни подобострастия; она была выражена с величайшей простотой, достоинством и твердостью...

Мне это очень понравилось, и так как я знал, что греческий клефт ничуть не похож на злодея и мошенника европейских стран, что у клефта есть «принципы» и своего рода рыцарство в благодарности и верности слову, — то я без малейшего колебания и с радостью решил взять его к себе в телохранители и выхлопотать ему в Салониках у паши *тескерé* на право ношения оружия.

Но прежде всего нужно было хоть сколько-нибудь испытать — может ли он пригодиться на что-нибудь иное, кроме тех ужасных и таинственных преступлений, в которых мы его подозревали.

Путешествие мое по Южной Македонии, — по местам диким, пустынным и мне совершенно еще неизвестным, — было как нельзя кстати для подобной цели. В дороге такому молодцу предстояла возможность показать свой ум, свою смелость и преданность и заслужить мое доверие. И в самом медленном пути на конях, по горам, полям и лесам, и на долгих ночлегах он будет по целым суткам у меня на глазах...

По возвращении из этого странствия я успею выправить ему у турок *тескере* на ношение оружия; а пока пусть он его носит и без разрешения. При мне никакая турецкая власть не позволит себе и спросить даже об этом разрешении.

Так я решил и сказал Сотири, чтоб он собрался идти со мной и что проездом через Ериссо я найму и для него верховую лошадь.

Ждать мне молодца не пришлось... Мы тронулись в путь; впереди всех ехал на хорошей рыжей лошади турецкий конный жандарм, высланный мне соседним каймаком, а вслед за ним, как правый человек и полноправный гражданин, шел пешком Сотири в сальной шапочке и почерневшей от грязи юбке, — ружье на плече, пистолеты и ятаган за поясом... Он шел гордо и развязно по камням

неровной дороги той легкой и красивой поступью, которая свойственна природным детям скалистых гор...

В скучном и безлесном Ериссо мы пробыли недолго и выехали оттуда уже все верхом.

Я был тогда болен, очень печален, погружен с утра до ночи в одни и те же неотвязные и нестерпимо мрачные мысли и потому не только не спрашивал Сотири об его прошлом и ни о чем другом, но и вообще ни с кем дорогой, кроме доброго моего Петраки, не говорил. Петраки знал близко мою личную жизнь, а в эти дни тяжелых душевных испытаний все остальное, — все не относившееся к внутренней жизни моего сердца, — было для меня как призрак, как полусон на яву...

Я все видел, хотя ни на что почти внимательно не смотрел; я все замечал, по природной наблюдательности моей, но намеренно наблюдать или изучать что-нибудь, как делают другие путешественники, не имел ни малейшей охоты... Я ни о чем, кроме своих личных дел, в то время не хотел думать, но делал все по прежним мыслям и правилам, укоренившимся во мне долгим опытом в более спокойные годы. — О чем мне было тогда спрашивать Сотири?.. Теперь я спросил бы его подробно; тогда не мог... И на что мне было знать все это? О греческих и албанских паликарах и клефтах я имел понятие уже в отрочестве моем... Еще на родине, в кудиновской «диванной», в которой были тогда пунцовые, гладкие и блестящие такие обои, с черными арабесками наверху, среди калужских снегов, сидя у вечерней лампы, я знал, что есть такие герои в фустанеллах, которых боятся турки и которые одной с нами веры... Там, у соседей, я видел перед пылающим камином вышитый экран: вороной конь бешено взвивается на дыбы, а около него молодой грек, в этой самой национальной одежде, которую носил Сотири, попирает победною ногой мусульманские знамена...

В другом доме я еще ребенком был поражен и растроган до глубины души известной картиной: «молодой грек защищает раненого отца». Прекрасная картина, на кото-

рую я и теперь посмотрел бы с чувством искреннего удовольствия!

Даже в альбоме сестры моей была одна очень хорошая акварель. Ее рисовал один наш знакомый артиллерист, у которого был большой самородный талант к рисованию. У него было столько ума и вкуса в выборе сюжета; рисунок так правилен, и краски такие свежие, яркие, веселые... И он, между прочими «картинками», в альбом моей сестре нарисовал такую: на каменной террасе, под тенью винограда, который вьется по перекладинам, сидит молодая гречанка в пестрой одежде, на пестром ковре, сидит поджав ноги по-турецки, заплетает косу и улыбается; а красивый грек с черными усами, в белой юбке, присел на балюстраде террасы и глядит на нее с любовью. Он опирается на такое же точно длинное и фигурное ружье, каким вооружен мой таинственный Сотири...

И стихи о клефтах я читал, и «Корсаром» лорда Байрона восхищался еще тогда, когда мне было десять всего лет...

Все это я помнил; все это я знал... На Восток я приехал человеком уже опытным; увидел и сулиотов, и клефтов, и арнаутов — и ничуть не разочаровался в них, потому что я уже с ранней молодости привык требовать от людей больше оригинальности национальной, а если можно, и личной характеристики, изящества, выразительности и силы, чем нравственной безупречности или какой-нибудь невозможной на земле неизменности добрых качеств...

Что Сотири своими руками убил, быть может, кого-то из иностранцев, — положим, хоть секретаря Италии, — что мне до этого?.. За душу Сотири и за его прежние грехи мне перед Богом не отвечать... Мне в пору о моих собственных грехах думать...

Все это для меня было так просто и так ясно, что я гораздо больше теперь употребляю времени для того, чтобы написать все это, чем тогда, чтобы решить участь Сотири. Зачем же мне торопиться и пугать его расспросами о том, каково именно его прошлое, — бежал ли он только

из шайки Тако, когда постиг их разгром, или в самом деле и его *руки обагрились европейской кровью...*

Я не духовник ему; это дело касается до Бога, до его собственной совести и еще до афинского правительства, в котором преобладали в то время эллины, вовсе и нам, русским, и Православию не дружественные. Мне-то что ж до этих афинских министров и эллинских газетчиков, которые до того глупы, что даже и меня (*меня-то?*) считали врагом греков и печатно звали се *fongueux Panslawiste...* Но это все *тайные* помыслы мои, которых никто не имеет права исследовать. Формально я тоже был прав: христианин в бедствии, без хлеба и крова, умоляет прокормить и спасти его... Проступки его мне неизвестны. Он молчит об них, и я не спрашиваю... На что мне все это знать?.. Когда-нибудь, пожалуй, после, на досуге... Когда-нибудь все расскажет... Теперь для меня гораздо важнее, чтобы он выучился толочь в ступке миндаль для моего утреннего кофе... Вот что важно... А итальянский секретарь — это что!..

Почему же для меня так важен был тогда миндаль, толченый в медной ступке, которая ездил за мной везде в сумке на вьючной лошади? Миндаль был необходим мне потому, что я тогда был измучен и расслаблен двухлетней лихорадкой... Пищеварение мое было совсем расстроено, и от одной ложки сливок в кофе, от самой незаметной простуды, от небольшой прогулки по месту низменному или сырому, у меня возвращались пароксизмы и доводили меня, наконец, до отчаяния...

Когда я поутру пил крепкий кофе с густым и хорошо приготовленным миндальным молоком, то мог при этом есть хлеб, ободрялся надолго и становился на несколько часов способным на труд, на мысль и на всякую борьбу не хуже других... Это медленное, безмолвное и почти торжественное вкушение кофе по утрам стало для меня, за это время страданий телесных и нравственных, такою непобедимую физическою потребностью, что позднее все мои попытки освободиться от этого рабства привычке не привели

ни к чему, кроме вреда, и я навсегда остался в этом рабстве... Теперь понятно, я надеюсь, почему кофе и толченый миндаль были для меня гораздо важнее не только итальянского секретаря в Афинах, но и всей Западной Европы, вместе взятой.

Будет ли мой ужасный герой хорошо варить кофе и толочь миндаль, когда я с полупути должен буду расстаться с моим милым и всезнающим Петраки, которого я, из желания сделать ему добро, уступил в то время в писцы консулу Якубовскому, управлявшему за меня в Салониках? Якубовский назначил Петраки казенное жалованье в шесть или семь золотых, и мне нельзя было его больше таскать за собою. — Я недолго смущался этим вопросом. Плечистый мой клефт ничуть не побрезгал скромным занятием этим и через два-три дня выучился готовить мне мой спасительный напиток не хуже других. — Я с раннего утра, просыпаясь на ночлегах, слышал, как он старательно толчет и звонит ступкой, и стоило мне только крикнуть лежа на ковре в углу «хана» (т. е. постоянного двора), как Сотири являлся в дверях с подносом... Головой он доставал почти до потолка, плечами, на которых была часто накинута тяжелая и широкая серая бурка, он едва проходил в дверь, и старший, плохо сколоченный пол так и трясся под его полновесными стопами... Мне, лежащему на полу, он снизу казался еще огромнее, и болезненность моя тогда была так велика, что я малодушно раздражался и говорил ему угрюмо: «Поставь-ка и не подходи близко; мне все кажется, что ты наступишь на меня!»

Правду говорил Петраки еще в первый день нашего знакомства: «Хочу я устроить при вас этого паликара, но боюсь, как он это будет без меня вам служить... Комнаты всё маленькие тут, а он *наполняет* всю комнату... Каково вам будет выносить во время болезни такого слугу?!»

И серьезно бедный юноша сокрушался о том, что Сотири «наполняет всю комнату!»

Отчасти Петраки был прав: я *чувствовал то*, о чем он говорил, невольным чувством расстроенных донельзя не-

рвов, но охотно мирился с этим чувством и старался подавить его...

Милый Николай Федорович Якубовский, консул наш в Битолии, был тоже прав, освещая дело с другой стороны... У него был в услужении Николай, греческий молодой мужик, тоже в фустанелле, неопытный, грубый и очень плутоватый; усердствуя, он вымыл ему однажды рояль горячей водой с мылом и совсем было испортил его; другой раз, стирая пыль с письменного стола, навалился животом на красивую резную решетку и сломал ее вдребезги... Взял в руки любимого чижика консульского, чтобы почистить клетку, и так стиснул его, что чижик издох.

Якубовский страстно любил птиц и, увидев чижика в руках Николая, с ужасом спросил: «Что случилось с птицей?»

— Издохла! — с глупой улыбкой отвечал Николай.

— Дикий человек... Дурак, осел!.. — закричал Якубовский в первую минуту отчаяния, но потом, обратясь при мне к приближенным своим, сказал с комически-серьезным видом: «Вот разразить бы эдакого скота... Все уничтожает в доме... Но нельзя... Никак нельзя!.. Константин Николаевич (это я) не велит... Фустанелла, шальвары, чалма, баранья шапка болгарская, либо вышитая восточными цветами рубашка македонская... Нельзя!.. Не велит... Вот кабы фрак или панталоны, — ну, так я бы его навек несчастным сделал... А фустанелла или шальвары — никак нельзя... Пусть ломает».

Все засмеялись, и я тоже смеялся, но сказал: «Ну, что ж, это правда, что у меня есть такое предубеждение... Но я думаю, вся история наша русская пошла бы иначе и лучше, если бы в России больше было людей с такими крайними вкусами, как мои...»

Это правда, что Сотири наполнял всю комнату и служил тяжело и неповоротливо, но он не похож был на казенного европейца, и этим он настолько же возбуждал и подкреплял мои нервы, насколько неразвязностью своею утомлял их...

К тому же Петраки сначала делал за него половину дела в дороге и этим старался смягчить первые впечатления нашего сожительства и знакомства. На третий же или четвертый день странствия для Сотири вышел случай обнаружить на деле свою благодарность, свою приверженность и расторопность. И он обнаружил их с первого раза вполне!

II

Я говорю, что я тогда был очень болен, очень изнурен и никак даже и не ожидал, что проживу после этого еще ¹⁰ целых одиннадцать лет, очень деятельных и наполненных. А «существовать» даже и самым тихим и скучным существованием мне еще хотелось. На четвертый день ночью мне сделалось очень дурно. Случилось это вот как. Сначала от села Ериссо до села Варвары и дальше мы всё ехали по местам высоким и живописным, которые я помню очень смутно, все потому, что я ничего не хотел тогда наблюдать... Потом спустились к местам низменным и ехали ²⁰ долго по каким-то унылым кустарникам. Лошади устали, да и нам захотелось отдохнуть. Я опасался садиться в таком месте на земле, чтобы опять не вернулась моя мучительная лихорадка, и сказал, что попробую пить чай сидя на лошади. Развели костер; мигом вскипятили воду; чай был готов; но лошадь моя не стояла спокойно, и пить его на седле было невозможно. Я пересел на плохого вьючного мула, надеясь, что на нем будет покойнее. Но и он шевелился не меньше лошади. Измученный жаждою, я решил- ³⁰ ся, наконец, сесть под кустами на ковер и напился чаю досыта и спокойно. После этого мы опять сели на лошадей и поехали. Час был уже не ранний, и до хана, в котором мы должны были ночевать, было еще далеко. С половины пути я с ужасом почувствовал, что слабею, что у меня начинается лом в костях и озноб... Я ударил лошадь хлыстом, сказал передовому турецкому жандарму, что надо ехать скорей, и мы поскакали.

У меня и у жандарма лошади были свои, хорошие; а у Сотири, Петраки и других спутников наших нанятые и плохие лошади. Но и они старались не отставать. Озноб перешел в сильный жар; я был возбужден, старался поддерживать в себе энергию, и мы мчались все быстрее и быстрее, давая только изредка небольшой роздых бедным коням. Вскоре показался берег моря, песчаный, низменный, пустой... Виден был на голом берегу большой и старый хан... Ветер с моря дул сильный и холодный прямо в грудь и в горячее от пароксизма лицо и пронизывал меня насквозь; я понимал, что это очень дурно и что быстрой ездой я только усиливал этот вред; но желание поскорей лечь под крышей и дать отдохнуть ноющим костям было сильнее всяких других соображений. Уже стемнело, когда мы подскакали к хану... Народу в нем почему-то было множество. Какие-то вьюки, мулы, лошади, пестрые цыганские чалы, усатые оборванные люди, крик, шум, хохот... Турок и Петраки хотели усмирить и уgomонить все это... Искали для меня сносную комнату и не нашли. Очага не было; ветер дул во все щели... Кто-то сказал, что лучше отъехать с дороги в сторону в одну греческую деревню (кажется, Гациста). Там будет тише и покойнее... Но и до нее было около часа езды (т. е. не нашей скачки, а тихой езды шагом; значит верст пять).

Я сделал над собой усилие, вскочил на лошадь, сказал: ай-да! — и мы опять понеслись по камням куда-то в гору и в сторону. Турок-заптие впереди, а я за ним... Все остальные от нас скоро отстали.

Было совсем темно, когда мы приехали в эту бедную, унылую и разоренную деревню. Камни и низенькие каменные хатки, каменные хатки и камни — больше ничего... Собаки залаяли. Турок позвал людей; греки сбежались и почти на руках сняли меня с лошади... Последние усилия, последняя победа энергии над изнемогающей плотью совсем домучили меня... Я едва вошел в низенькую комнату, в которой ничего не было, кроме убогой рогожи на глиняном полу и старого очага... Вошел и лег около очага на

пол. Лег в огромных сапогах, не раздеваясь, и до того обрадовался пристанищу, что мне показалось, в первые минуты, будто ничего большего уж мне и не нужно...

Я забыл на мгновение, что для русского путешественника во всякой православной деревне на Востоке предстит еще особого рода пытка: почтительные визиты старшин, священника, учителя... Несносные расспросы о здоровье; привычные и надоевшие жалобы на местную власть; по-ползновения узнать что-нибудь о высшей политике, о том, что намерена теперь делать Россия, с кем она в союзе и что замышляет «анафемская» Англия или *этот Папа Римский*... Если это скучно в минуту обыкновенной дорожной усталости, каково же было это вынести в моем тогдашнем положении?

Оскорбить я не хотел этих людей — простых, положим, но все-таки по-своему самолюбивых и желавших обнаружить все свое уважение к России и русским... Я отвечал плохо и страдальчески на их несносные вопросы, но все-таки отвечал.

К счастью моему явились, наконец, Петраки и Сотир... Под Сотир лошадь изнемогла и упала не доезжая деревни; он оставил ее на дороге и шел пешком... Оттого они и опоздали. Новая забота, новое горе... Жаль было бедного хозяина лошади: если бы лошадь эта пала благодаря моей скачке, я ни за что не захотел бы стать с ним на чисто юридическую почву найма и уговора (которую я в подобных случаях с ранних лет ненавидел и ненавижу и теперь), и мне пришлось бы по совести заплатить за эту загнанную клячу... Но эта самая неприятная случайность и спасла меня от моих посетителей. Мой милый и догадливый молдаванин сейчас же обратился к рассевшимся вокруг меня на рогожах старшинам с рассказом о несчастной лошади, которая лежит на дороге близ их села, и выразил надежду, что ее еще можно спасти... Греки приняли в этом деле живое участие и тотчас же все ушли туда, взяв с собой Сотир и хозяина лошади; Петраки тотчас же развел около меня огонь; раздел меня, уложил покойно на

ковры; припер дверь и стал молча и внимательно варить на очаге турецкий кофе.

Мне показалось, что я блаженствую, несмотря на то, что я продолжал весь гореть как в огне... Лошадь в самом деле как-то спасли, привели и вылечили... И скоро все успокоилось и замолкло вокруг меня... Мои молодые люди ушли в другую комнату вместе с погонщиками, а я старался заснуть у догорающего очага...

Напрасная надежда!.. В старой рогожке было такое множество блох, и они были до того голодны и злы, что это и вообразить трудно... Началась новая мука, а прежняя тоска от жара, жажды и волнения сама по себе не проходила... Да и не могла пройти, так как сон в этих случаях самое лучшее средство для сильной испарины и для окончания пароксизма, а блохи спать не давали. Так продолжалось до рассвета, и когда занялась заря, то мне сделалось до того дурно, что я должен был кликнуть Петраки. Заметив, что я почти брежу и путаюсь в мыслях, он тотчас же взял в расчет все обстоятельства: денежные наши средства, расстояние от села Гацисты до приморского города Каваллы, где нас уже ожидал со дня на день к себе в гости русский почетный вице-консул Фосколо, — и предложил послать туда за доктором Сотири на моей лошади; я согласился и кое-как сам написал Фосколо два слова... Сотири помчался, а я впал в какое-то забытье...

К полудню мне стало лучше, а когда к следующему вечеру доктор и Сотири явились на взмыленных лошадях, я у же кроме слабости не чувствовал ничего.

Доктор, присланный вице-консулом, был молодой итальянец, лет под тридцать, не глупый, очень вежливый, любезный и, в хорошем смысле слова, простой... Собою плотный, а с лица румяный и веселый.

Мы вместе поели, попили вина и кофе; разговорились оба охотно и отлично провели время в этой бедной хатке до полуночи. Почти с первых же слов доктор воскликнул:

— Однако, какой верный и преданный слуга ваш этот молодой албанец, который за мной приезжал... Давно ли он у вас служит?

— Четвертый день, — отвечал я, улыбаясь.

Итальянец изумился.

— Четвертый день?.. Какая преданность, какая любовь!..

— В чем же выразилась эта любовь? — спросил я, в свою очередь, с любопытством и удивлением.

10 Тогда доктор рассказал мне следующее...

Вице-консул Фосколо, получив мою записку из Гацисты, тотчас же уговорил доктора ехать. Но как ни торопились они, все-таки час дня был уже не ранний, когда Сотир с итальянцем тронулись в путь. — Пути этого было впереди двенадцать часов (то есть шестьдесят верст, если ехать шагом, если же гнать лошадей, то можно было доехать в восемь-девять часов). Тронулись в путь. Итальянец был человек сильный и вовсе не робкий; но он в Турции был недавно, по-турецки и по-албански вовсе не знал, по-гречески очень мало; Сотир знал только по-албански и по-гречески. — Оружия доктор с собой не взял; с местностью вовсе не был знаком; в дальнюю дорогу верхом ехал в Турции в первый раз; о разбойниках слышал достаточно... Проехали около часу; начало темнеть; въехали в каменистое и пустынное ущелье... Доктору стало жутко... Он начал что-то говорить Сотир; Сотир что-то отвечал. Они не понимали друг друга... Доктору вдруг представилось, что самая записка моя подложная, что никакого больного русского в Гацисте нет, что вся эта история — смелая выдумка греческих разбойников с целью захватить его (так как он уже имел порядочные средства) и взять за него выкуп или убить его. Чувства и мысли эти были как нельзя более понятны при таких условиях, и смеяться над доктором или строго судить его за них я нахожу несправедливым; тем более несправедливым, что он вовсе не потерялся и не пустился зря скакать назад в город, а взвесил все обстоятельства и, взявши в расчет,

20
30

что Фосколо должен знать мой почерк, решил не спасаться от Сотири, как сделал бы потерявшийся человек, а возвратиться с ним в город и взять с собой оттуда турецкого жандарма, которым он прежде не позаботился запастись. — Он остановился и начал говорить Сотири, что надо назад... Сотири видимо ужаснулся; начал что-то говорить ему по-гречески, с умоляющим видом показывая на небо, и когда увидал, что доктор сердится и поворачивает лошадь назад, то он соскочил с своей, схватил его лошадь под устцы и остановил ее. 10

— В эту минуту, — рассказывал доктор с улыбкой, — я, признаюсь, еще больше испугался; я думал, что он хочет уже прибегнуть к насилью надо мной. В отчаянии я замахнулся на него хлыстом и хотел бороться что есть сил; но он бросил повод, обхватил руками мою ногу и начал целовать мой сапог, приговаривая: «во имя Божие, доктор, — эффенди мой очень болен»... Я сказал ему: «Заптие, Кавалла, заптие... После поедем»... Мы тогда вернулись; но он был все время ужасно расстроен и успокоился только тогда, когда явился заптие от кайма-кама и мы опять пустились в путь... 20

Таков был рассказ итальянца. Он прибавил еще:

— Я никогда не забуду тех униженных просьб, с которыми обращался ко мне этот молодой человек... И как он почти с плачем целовал мои сапоги...

После этого случая я понял, что я в моей «грязной фустанелле» не ошибся и что Сотири именно из тех албаногреческих клефтов, на которых благодетель или друг может положиться как на каменную стену, которых враг или обидчик должен трепетать, а равнодушный или вовсе посторонний человек не без основания остерегаться... 30

В этом юноше я предугадал именно те черты характера, ту особую смесь хищничества и рыцарства, которая всем нам нравится в черкесах, черногорцах и кочующих бедуинах.

На этот раз, впрочем, он не долго мне послужил; обстоятельства путевые сложились так, что мне пришлось разделить мою свиту; я уехал с доктором, с жандармом и

одним из слуг моих в Каваллу — гостить недели на две, на три к Фосколо. А Петраки должен был возвратиться к Якубовскому в Салоники, чтобы служить младшим переводчиком при консульстве; он был иногда очень полезен для мелких и некоторых секретных дел, особенно среди простолюдинов, и так как он не был грек, а обруселый, почти русский молдаванин, безупречно верен и очень умен, то иные простые болгары предпочитали действовать через него, несмотря на его молодость и невысокое звание... По-
10 этому я не считал себя вправе дольше задерживать его при себе... Сотири я решил отправить с ним по нескольким причинам: во-первых, чтобы у Петраки был вооруженный и смелый провожатый, — заятие для молодого мальчика, записанного простым писцом при консульстве, было неудобно брать; потом нужно было сократить мои дорожные расходы, а лошади и вьючные мулы были и без того доро-
20 ги; нужно было добыть для Сотири у паши в Салониках «тескере» на ношение оружия, которое он эти четыре-пять дней носил *de facto*, но не *de jure*; и, наконец, я забыл сказать прежде, что я, с первого же дня нашего с ним знакомства, задумал (если он окажется надежным) приставить его стражем и телохранителем к одной русской даме, которая заехала с молодой родственницей случайно в эти страны: отправилась молиться чудотворной иконе Божией Матери в селе Ровяниках, между Салониками и Афоном, и потом осталась жить по обстоятельствам месяца на два в пятнадцати верстах от Афона, в греческом селе Ериссо, через которое я проезжал дорогой в Каваллу.

30 Так как я еще сам не знал и не решил — поеду ли я из Каваллы в Царьград на австрийском пароходе, или вернусь опять сухим путем на Святую Гору, через Серрес и Салоники, то мне самому пока Сотири был не нужен ни на Афоне, ни в Царьграде, и я испытывал его в течение этих дней первого пути только на всякий случай и больше для него, чем для себя... Больше для того, чтобы найти ему дело и причину получать содержание, чем для того непременно, чтобы самому пользоваться его услугами.

Итак, не доезжая Каваллы, я расстался с Сотири и Петраки, оставил их в русском монастыре, построенном здесь недавно афонскими русскими монахами Андреевского скита, а сам с доктором поехал к г. Фосколо.

Расстались мы, однако, не надолго; в Константинополь я раздумал ехать и пришлось мне еще несколько месяцев пожить на Афоне и постранствовать по греческим селам, рассеянным по лесистому и прекрасному полуострову за чертою Св. Горы... И в течение этого времени любопытный характер Сотири выразился во всей своей полноте.¹⁰ Он оказался и неисправимым разбойником, и, в то же время, самым верным, честным и преданным до самоотвержения человеком.

III

В Кавалле, в гостеприимном доме Фосколо, я прожил недели две-три; в Константинополь не поехал и возвратился опять сухим путем на Святую Гору по новой, еще незнакомой мне и дальней дороге, через красивый город²⁰ Серрес и Салоники. Про это путешествие я мог бы написать довольно много любопытного, если бы дело шло о самом путешествии, но я спешу досказать историю Сотири и больше ничего.

Сотири за это время устроился около русской дамы в селе Ериссо очень покойно, легально и привольно, благодаря моему заочному покровительству. Тескере на оружие ему выдали, конечно, без всякого труда. Консул Якубовский служил в Турции лет, кажется, уже около тридцати; он знал еще лучше моего, какие прекрасные телохранители³⁰ и верные слуги выходят из этих восточных разбойников; вдобавок он сам очень любил всякое удалство и, не входя даже ни в какие расспросы, откуда я взял этого паликара и зачем записал его третьим кавассом консульства, вытребовал ему из Порты свидетельство на ношение оружия и выдал ему от себя, по обычаю и праву, как русскому кавассу, «Permis de résidence» на французском языке, для

прожития около меня на Афоне или в Ериссо около русской подданной г-жи *такой-то*, по моему усмотрению, так как *действительным* консулом на все Салоникское генерал-губернаторство был я, а Якубовский был консулом в Битолии и только управлял в Салониках временно, пока я, по болезни, считался в отпуску.

Когда я, возвращаясь на Афон, проезжал через Ериссо, у Сотири, вместо одной грязной фустанеллы, было уже две чистых; на голове вместо сальной, непонятного фасона, шапочки была длинная, эллинская, красная-прекрасная феска, загнутая набок, с большой синей кистью, живописно раскидывающейся то по спине, то по плечу, и на этой феске уже был вышит золотом двуглавый орел в ознаменование того, что он состоит на службе у русских, а не у кого-нибудь иного.

Русская хозяйка, зажившаяся случайно в Ериссо, при которой я его приютил, была женщина веселая, самая добрая, простосердечная и не гордая; она родилась и выросла в Крыму, знала по-гречески и по-турецки; водила охотно компанию и дружбу с греческими крестьянками и никем не пренебрегала, кроме каких-нибудь очень скучных людей, которые ей чем-нибудь надоедали. При ней была родственница, молодая девушка лет восемнадцати; положим, эта родственница была нестерпимо глупа, невежественна, нескладна, груба и бестолкова донельзя, но какое было дело до этого Сотири? С ним обращались хорошо; кормили, поили кофеем и чаем, дарили, и вместо одного «хлеба», за который он хотел верой и правдой мне (или кому я велю) служить, он получал золотую лиру в месяц (около семи рублей). Работы от него не требовали почти никакой, а это для самолюбия и лени воинственного албанца очень важно... Курить, пить кофе за воротами, провожать русскую «кокону» (госпожу) на прогулку в поле, за село; идти пешком впереди, легкой, красивой поступью по камням, с ружьем на плече, если она вздумает ехать куда-нибудь верхом на наемных лошадях, — в Салоники, например, или хоть помолиться Божией Матери в Ровяниках, вот

его обязанности!.. И знать при этом, что если бы даже эллинское правительство и вздумало его разыскивать, то во-первых, турецкие власти вовсе не расположены либеральной и вечно враждебной им Греции «потрафлять»; а во-вторых, что *теперь*, когда у него на феске двуглавый орел, эти власти не позволят себе ни в каком случае арестовать его, не обратившись предварительно по порядку ко мне или к Якубовскому. Кавасс консульства, пока он кавасс, хотя бы он был и турецкий подданный, пользуется равной с русскими подданными неприкосновенностью. Правила договоров и обычаи таковы, что в случае самой настоятельной необходимости можно схватить его, например, на месте какого-нибудь преступления, но тотчас же представить консулу, а не запереть прямо в местную тюрьму.

Вероятно, Сотири сначала блаженствовал в Ериссо... У него откуда-то вдруг взялся тут и младший брат Аргири (Серебрянный), здоровый мальчик лет четырнадцати, белокурый, бледный и худощавый, как и старший брат и как большинство албанцев. Сотири, как будто и основательный человек, стал посылать его в сельскую школу в Ериссо; Аргири ходил в школу, читал там, писал, учился Закону Божию и арифметике на грифельной дощечке; а потом остальное время дня ленился и болтался не хуже брата; выучился играть в дураки с русскими путешественницами и, лежа где-нибудь на полу, в углу на старой хозяйской рогоже, — кричал хозяйке дома, которой было уже за сорок лет, как какой-нибудь настоящий албанский бей: «Эй, морé, Нáшина, подай мне воды!» (Морé собственно значит глупая; но это в Турции вовсе не брань, а все равно что у нас сказать просто: «Эй, ты!» А Нáшина значит: жена Нáшо, — славянская форма, принятая сельскими греками... Так звали хозяйку дома в Ериссо.)... И пожилая Нашина, женщина вообще очень самолюбивая и сердитая, которая мужа своего, простака грека Нашо, держала в страхе, находила очень естественным, что албанский мальчик, что-то вроде будущего воина, лежа велит ей подать воды, и подавала ему.

Откуда взялся этот младший брат у Сотири, я, повторяю, не спрашивал и до сих пор не могу понять; и я, признаюсь, даже не справлялся ни разу: из какой провинции Греции или Турции родом оба эти брата, турецкие ли они были подданные первоначально, или эллинские. Для того-то я и был в отпуску, чтобы нести меньше забот и принуждения.

Когда, проездом через Ериссо, я увидел эту патриархальную и мирную картину, — эти воинственные «фустанеллы» на покое, играющие в русские дурачки, — мне все это очень понравилось... Но как?.. Когда перед умирающим или жестоко больным человеком ставят друзья неожиданно на стол букет любимых им цветов или прочитывают ему из книги какие-нибудь отрывки в его вкусе, — он, конечно, рад и улыбается, и не забудет этого никогда; но если страдания его велики или уныние его глубоко, то он отвернется опять к стене и не станет, конечно, спрашивать ничего подробно — ни о цветах этих, ни об книжке...

И я так-то проехал через Ериссо; мне было лучше тогда; одно видел сам, о другом слышал; порадовался, посмеялся немного и, вздохнув, опять уехал к суровым и гостеприимным друзьям своим — русским инокам на Афоне...

Вскоре, однако, Сотири опять отличился, и гораздо серьезнее, и совсем иначе, чем в первый раз, когда он обливал слезами сапоги доктора, умоляя его не оставлять меня в глухой деревне без помощи.

IV

Чтобы изобразить, как еще отличился Сотири, — и на этот раз уже не в тесном кругу домашней жизни, а на поприще политическом, — мне необходимо рассказать о пустынной церкви Божией Матери в Ровяниках и об русской монахине, матери Магдалине.

Между Салониками и Афоном есть греческое село Ровяники. — Почти вслед за ним, ближе к Афону, начинается

большой каштановый лес, и в этом лесу есть небольшая, одинокая церковь Ровяникской Божией Матери, только недавно прославленной чудесами. Церковь построена на склоне горы, которая вся поросла огромными каштановыми деревьями. Таких широковетвистых, могучих деревьев я мало видал и особняком растущих, а здесь их целый лес. Пovyше церкви есть другая постройка, очень плохая, нечто вроде приюта для путников и поклонников. В ней несколько комнат; все они холодные и почти пустые, кроме одной, в которой есть голландская печка с лежанкой по-русски. Эта комната тесна, но тепла, опрятна и уютна, как келья монахини. И точно, в ней жила тогда русская женщина Евпраксия (или Евлампия), постриженная в инокини ближайшим греческим епископом. Евпраксия эта — пожилая, плотная, широкоплечая, простая и грубоватая баба, с виду хитрая и вовсе не симпатичная — поселилась в этом убежище еще задолго до того времени, о котором я пишу: она говорила мне в 71 году, что живет тут уже около девяти лет. Откуда она пришла, что заставило ее избрать такой истинно «безмолвный» и строгий путь — не знаю; она избегала рассказывать о своем прошлом на родине, и я, конечно, не настаивал. Одна русская молодая путешественница, сопровождавшая меня до Ровяников во время первой моей поездки на Святую Гору, любила воображать, что Евпраксия или мужа своего в России убила и скрылась сюда на такое строгое покаяние, или вообще свершила что-то необычно грешное. Быть может — да, быть может — нет... Бывают такие «призвания» без всяких особых потрясающих событий и приключений, без «преступлений и утрат». Как бы то ни было, старая эта Евпраксия устроилась здесь по-монашески очень хорошо; с ровяникскими греками — мужиками весьма расчетливыми, от которых зависела эта церковь, она как-то поладила; имела, должно быть, свои средства, и ее никто не беспокоил в ее долгом пустынножительстве. При самой церкви, в особой келейке, жила другая женщина, тоже постриженная монахиня, одинокая гречанка, которая и была главным действующим лицом при постройке этого храма и

при обретении чудотворной иконы. Не помню, какие у нее были «скорби и нужды», — быть может, болезнь или нищета, одиночество и беспомощность, — только она все молилась и увидала во сне Божию Матерь, которая сказала ей, что в лесу, в таком-то месте, есть иссохший колодезь, что в этом колодезе скрыта Ее икона и надо эту икону найти, и тогда многим будет от нее помощь и утешение. Эта женщина долго и напрасно убеждала крестьян села Ровяники пойти на поиски иконы; наконец они решились обратить внимание на ее слова и просьбы: нашли указанное место, обрели в пустом колодезе старую икону, взяли ее, и тотчас же начались удивительные исцеления. Даже некоторые больные турки и турчанки, обратившиеся к «Пророчице Мариам», выздоровели. Собрали деньги, построили храм, построили пристанище для поклонников и путников; женщине этой дали право жить при самой церкви и необходимое содержание. Я забыл имя этой доброй и в высшей степени простосердечной гречанки, но впечатление она произвела самое приятное; ничего нельзя было вообразить себе искреннее и простодушнее этого невинного и верующего существа. Эти две старухи были давними и постоянными обитательницами уединенного храма и принадлежащей к нему постройки. Жила там недолго в мое время еще одна русская, тоже немолодая монахиня, мать Маргарита, ничем особенным — ни хорошим, ни худым — себя не заявившая; но она скоро исчезла куда-то, и больше мы ее не видали.

Теперь о молодой малороссиянке, матери Магдалине. Если об ней упомянуть слишком кратко, то не будет понятно ни поведение моего героя Сотири, ни мое живое участие во всей той истории, которую я хочу рассказать.*

* Почти все это (кажется, впрочем, покороче) было уже рассказано в I-м томе, в статье «Панславизм на Афоне». — Здесь поневоле приходится все повторить: там — мне было жалко лишать политическую статью наглядного примера; здесь — исключить важное событие из биографии самого Сотири оказалось уже решительно невозможным. — Авт. 1885 г.

Матери Магдалине было не больше двадцати трех, двадцати пяти лет, когда она поселилась тут в холодной и пустой горенке странноприимной постройки. Она пришла сюда вослед за отцом, бедным и набожным человеком, который поселился на Афоне, постригся, построил себе хижину в лесу, на земле одного из греческих монастырей, и жил в ней один, питаясь чем Бог послал. От Афона до Ровяников будет верст, я думаю, шестьдесят, а может быть, и больше. Отец с дочерью, поэтому, видались очень редко. Дочь не могла посещать его, так как женщины на Афон не допускаются и дальше Ватопедской башни ходить не имеют права, да и сами никогда себе этого не позволяют; а бедный старик, во все время моего там пребывания, только раз собрался посетить дочь. Магдалина пострижена была уже прежде, где-то на Дунае; жила уж в монастырях; знала недурно, кажется, церковную службу; была грамотна, пела приятным и сильным контральто и собой была бы очень недурна, если бы была не так бледна и желта от постоянной лихорадки и беспрестанной нужды, которую она здесь, в одиночестве, терпела. У нее были тонкие черты лица и черные, очень выразительные глаза... Что она была весьма набожна, терпелива и к Церкви усердна, в этом нет сомнения...

Я не стану описывать, сколько бедная молодая девушка перенесла нужды и обид в этом чужом месте, лишенная всякой близкой опоры и помощи; были дни, в которые она, голодная, становилась в пустой церкви на колени перед иконой Богородицы и просила хоть хлеба ей послать немного. И Бог посылал. Раз, например, она еще стояла на коленях и плакала, когда у церкви раздалось бряцание бубенчиков, которые обыкновенно навязывают верховым мулам, и кто-то остановился у храма: это был один пожилой греческий иеромонах с Афона, в сопровождении своего келейника. Увидав Магдалину, он воскликнул: «А, это ты, бедная!.. Поди сюда, поди, дочь моя! Верно уж нуждаешься, несчастная... Вот я тебя утешу немножко чем могу!»... И приказал келейнику достать из сумки несколь-

ко свежих белых хлебов и дал ей. Так она перебивалась кое-как в голоде и холоде. Старая, добрая гречанка делилась с ней чем могла; отец выпрашивал что-нибудь где-нибудь. От суровой соотечественницы своей, Евпраксии, Магдалина помощи не видала, и не видала ее почти вовсе от сухих сердцем ровяникских сельчан. Очень редко давали они ей что-нибудь; однажды она обошла всю деревню и не добыла даже и куска хлеба.

При мне стало ей полегче. Мне она очень понравилась; я жалел ее и не раз и сам давал ей по золотому, и других уговаривал ей помогать.

Были неподалеку люди сильные, которые все про нее знали и могли ее поддержать; но, как я узнал позднее, преднамеренно воздерживались от слишком щедрых пособий, и по весьма основательной причине, которую я, как новый человек, не мог с первого раза взять в расчет. Эти люди были главные духовники русского Пантелеймоновского монастыря на Афоне. Отцу ее они помогали деньгами не раз; но ей самой протезировать не хотели, потому что вообще опасались, чтобы в окрестностях Афона как-нибудь *не разрослась бы женская монашеская община*. Монахи и монастыри в наше время подвергаются и без того стольким нареканиям, на них так охотно клеветают и злобятся, что духовные пастыри их *обязаны* действовать как можно осторожнее и внимательнее, чтобы на их собственной совести не лежала ответственность за лишний повод к злословию и напраслине. «Напраслину душеспасительно выносить терпеливо, но не должно на нее напрашиваться». Я понял скоро, что русские духовники, не только с духовной и нравственной, но и с политической стороны, в этом деле были совершенно правы; я согласился, что в их положении они поступают прекрасно, не потворствуя постепенному образованию русской женской общины в Ровяниках, и что, помогая Магдалине редко, только в самой крайности, да и то не прямо, а через пособие отцу ее, они идут тем средним путем, который так хорош в случаях сложных и запутанных... Все это так; но мне присутствие

этой красивой и набожной русской девушки в таком диком, оригинальном и *не русском* месте, в этом лесу исполинских и шумных каштанов, чрезвычайно нравилось; и так как от двух монахинь: от молодой и бедствующей Магдалины, и старой и успокоенной в теплой келье с денежками Евпраксии — до целой женской общины было еще далеко, то я и старался всячески облегчать положение Магдалины. И со времени моего первого проезда через Ровяники на Афон ей стало, конечно, полегче. Узнали ее и те русские дамы, к которым поступил Сотири; они ее брали с собой гостить в Ериссо и на Ватопедский Пирг, угощали и утешали ее. Но в то же самое время на нее воздвиглось гонение политическое со стороны греков. То, что я теперь буду описывать, происходило в 72-м году, летом, то есть во время самого сильного ожесточения греко-болгарской борьбы. Болгары в то время взяли верх; они уже выхлопотали себе у турок известный, не совсем канонический, фирман; отслужили уже свою *особливую* обедню в Константинополе с объявлением независимости. Греки были в наступлении, особенно *либеральные* греки (афинского, а не цареградского духа); им казалось, что «поток Панславизма», как они выражаются, грозит совершенным потоплением их национальности. Поведение русских возмущало их донельзя, и они в самых простых и непреднамеренных поступках наших видели интригу и дальновидный макиавелизм. Волнение умов проникло до самых отдаленных и глухих мест болгарских и греческих провинций; несколько позднее оно отозвалось очень сильно даже на аскетическом и чуждом национальных принципов Афоне. Случайно, сама не подозревая, конечно, что и она лицо политическое, пострадала при этом и наша, в простоте веры своей совершенно искренняя, хохлушка. Давно уже (как потом оказалось) косились на нее, под давлением разных полу-интеллигентных влияний, ровяникские греки-мужики. Пока жила при церкви в лесу одна старая, безобразная и, главное, безграмотная Евпраксия, они были покойны и не обращали на нее внимания. Но вот явилась откуда-то молодая мать

Магдалина; она пела *по-русски*, читала хорошо в церкви по-славянски для проезжих русских и доставляла им этим великое утешение. Греки были, вероятно, недовольны, но молчали; известно, что земледельцы во всех странах тяжелы на подъем и осторожны. К тому же предания о благодеяниях России и престиж нашего влияния были слишком еще сильны в греческом народе, чтобы ровяникским сельчанам легко было решиться на какие-нибудь открытые противу русских людей действия. (Мимоходом скажу, что политическая преданность греческих простолюдинов к России была еще недавно столь велика, что поколебать ее, и то не до основания, могла только несчастная совокупность обстоятельств и увлечений с разных сторон.) Было и еще одно дело, которое смущало ровяникских греков: случайно они были должны большую сумму денег одному из драгоманов русского консульства в Салониках, тоже греку, но России и консульству очень преданному. Он брал с них проценты, но не теснил их, не желая ставить консульство в тяжкую необходимость сажать в турецкую

20 тюрьму православных людей за долги...

Таковы были обстоятельства, когда летом 72 года явился в этих местах из свободной Греции некто Панайотаки; купец в европейском платье; конечно, демагог и национал-либерал, как почти все эллины, надевшие, вместо красивой фустанеллы, гадкий пиджак. Человек он был со средствами; купил у кого-то тут часть леса на срубку и наблюдал сам за ходом этого дела.

Вот этот-то Панайотаки и обратил особенное внимание ровяникских старшин на *Панславизм*, которого опасной

30 представительницей явилась здесь голодающая Магдалина. — Вы смотрите, — проповедывал он, — видите, началось в вашей греческой церкви уже русское чтение и пение; за этими двумя-тремя женщинами придут еще другие... Это все не просто... Русское консульство в Салониках по одной постепенно собирает их здесь; и русские монахи на Афоне, конечно, всячески поддерживают в этом деле консульство... Соберется много этих монахинь, и Рос-

сия завладеет не только этой церковью в лесу, но и всей землей вашей... Боритесь теперь, пока еще не ушло время... Надо выгнать эту негодную... Вы ослы, варвары; у вас нет патриотизма; вы не эллины, вы не потомки великих эллинов!!... и т. д.

Как нарочно, в это самое время один афонский богомолец, русский плотник, вздумал сходить и в Ровяники — поклониться чудотворной иконе. Познакомился, конечно, с русскими женщинами, узнал о жалком положении Магдалины и о том, что ей зимой очень холодно жить в келье без печки, и решил сам построить ей маленькую, но удобную хижинку. На матерьял у нее деньги нашлись тогда, — незадолго перед этим проезжал из Салоник на Афон Якубовский и дал ей денег; плотник начал работать, и хатка была уже почти готова, когда внезапно прибежали из Ровяник старшины, под предводительством «европейца» Панайотаки: они разнесли русскую постройку в щепки; отыскиали самое Магдалину в церкви, выгнали ее оттуда, побили; побили и старую гречанку, которая вздумала было защищать свою «сестру о Христе». Панайотаки разыскал славянские богослужебные книги; рвал их, выбросил все из церкви и, говорят, даже некоторые иконы русского письма не пощадил, тоже вынул их...

Свершив этот антиславянский поход, афинский негодник торжествовал и радовался; но не долго... Суровый мститель был близко... Сотери случайно пошел по своим делам в богатое село Ларигово; дорогой его стала томить лихорадка, он захотел отдохнуть и зашел в кофейню. Народу было много; были, между прочим, двое турецких заптие. Панайотаки сидел тут же, хвастался и кричал:

— Вот мы как эту негодную русскую девку, эту анафемскую лицемерку выгнали... Если бы не я, — эти здешние варвары, слепые люди, дали бы Панславизму воцариться... И само турецкое начальство должно быть мне признательно за это; нельзя русским позволить господствовать здесь...

В этом роде Панайотаки ораторствовал долго и кончил тем, что стал поносить русских и Россию самыми грубыми и ругательными словами.

Сотири сначала молчал в своем углу; его все ломала лихорадка, и он пил кофе, закутавшись в бурку. Наконец, не в силах будучи выносить ругательства эти, которые он принимал почти за личное оскорбление, с тех пор как находился под нашей защитой, он возвысил голос и сказал так европейскому негоцианту:

10 — Что ты хвалишься, несчастный, тем, что вас, несколько мужчин, обидели одну бедную бабу... И русских перестань ругать!..

— Кто ты такой? — надменно спросил купец. — Буду ли я еще говорить с тобой?.. Бродяга, мальчишка какой-то! Я свободный эллин!

У Сотири, правда, как я уже и прежде сказал, не было еще усов и бороды, несмотря на то, что ему было наверное уже около двадцати пяти лет. Поэтому он с усмешкой ответил особого рода местной, вызывающей остротой:

20 — Ну, *сними свои большие усы поскорее...* А то я их боюсь...

— Да как ты смеешь ко мне привязываться!.. Я тебя и не знаю...

— А я тебе скажу, чтоб ты не смел при мне поносить Россию и русских, потому что я ем русский хлеб и ношу, видишь, вот это...

С этими словами Сотири указал на двуглавого орла, который был вышит на его эллинской феске.

30 — Чорт поberi и тебя, и Россию, и консулов ваших, и всех турецких подданных! Никого знать не хочу!.. — воскликнул свободный эллин и прибавил еще другие, непристойные слова...

Сотири сбросил бурку, выхватил кремневый старый пистолет свой из-за пояса и хотел в упор, наповал, убить оскорбителя... К счастью (к его счастью) пистолет осекся... Сотири выхватил ятаган. Панайотаки обомлел... Турецкие жандармы вскочили и бросились дружески угова-

ривать Сотири, чтобы он вложил нож в ножны... Сотири имел благоразумие их послушаться, вложил нож в ножны, но тотчас же, схватив одной рукой табуретку, а другой за шиворот самого «элина», начал его бить этой табуреткой не на живот, а на смерть.

Никто не вступился. Турецкие заптие, успокоившись, что смертоубийства не будет, сели и любовались, как один гяур хорошо бьет другого... Это не могло им не нравиться... тем более, что турки, по природе своей, почитатели государственного порядка и властей, и они, вероятно, находили весьма естественным, что Сотири защищал так строго честь того флага, под сенью которого он служил и «ел хлеб».

Исколотив элинского патриота табуреткой, Сотири вытолкал его из дверей кофейни во «тьму кромешную» и закричал ему вслед: «Ты смотри, подлец, не пойдешь жаловаться в Салоники паше... Я тебя везде найду, несчастный; своей головы не пожалею, а уж ты жив не будешь, если пожалуешься...»

Негоциант не жаловался; но вскоре в одной из царградских газет появилась корреспонденция из Салоник, в которой описывались русские интриги для завладения церковью в селе Ровяники и прославлялись патриотические действия и триумф греческого подданного господина Панайотаки... Корреспонденция кончалась приблизительно следующим описанием «стычки», происшедшей «около русских, разрушенных патриотами, построек»... «Ларигово, такого-то числа, около Ровяник... и т. д. — Русские, желающие завладеть издавна церковью Панагии, начали воздвигать себе жилища... и т. д... Жители села Ровяник, под руководством г. Панайотаки, негоцианта и т. п. Во время этого спора кавасс русского консула, Сотири, выстрелил из пистолета в г. Панайотаки; но русские, благодаря дружным усилиям, принуждены были, наконец, отступить... Воздадим должную честь и т. д...»

Я жил в это время на Святой Горе, в монастыре Св. Пантелеймона, и ничего об этом не знал. Узнал я все

подробности через несколько дней от Петраки, который соскучился без меня в Салониках и отпросился у Якубовского на несколько дней на Афон, для свидания со мною.

Петраки рассказал мне о подвиге Сотири с восторгом; не бывавши никогда в России, этот удивительно умный и благородный юноша любил и понимал Россию и все истинно русское так, как дай Бог многим из кровных русских понимать и любить. Европеизированных единоверцев наших, либеральных греков, болгар, сербов и своих единокровных румын подобного духа, он ненавидел.

Как я ни был печален и болен, как я ни был погружен тогда в мир совершенно иных интересов, чисто «душевных», сердечных и духовных, но его рассказ пробудил во мне мгновенно и все русские, и все эстетические чувства мои... В лице Сотири Православие, Россия, *прежняя* Греция, Греция «Корсара» и Марко Боцариса торжествовали над Элладой новой, фрачной, либеральной, глупой, изболтавшейся; торжествовала поэзия Востока над прозой западного прогресса... Я сам восхитился и через Петраки (который через два дня должен был возвратиться в Салоники) приказал, чтобы Сотири немедля явился ко мне.

Сотири пришел. Я дал ему два золотых и сказал ему:

— Молодец Сотири! Ты умеешь платить добром за добро. Продолжай так: защищай нашу честь — и мы о тебе позаботимся. Только будь осторожен, не берись зря за оружие. Ты хорошо сделал, что послушался турецких жандармов и не вынул ятагана; старайся ладить с турками — они гораздо менее вредны и вам, грекам, и нам, чем эти ваши патриоты, вроде Панайотаки... Жалко было бы не столько мерзавца этого, если бы ты его убил или бы тяжело ранил, — сколько тебя: ты без вида скитаешься в Турции, о прошедшем твоём я не справляюсь, но в случае чего-нибудь подобного поднялось бы такое дело, в котором нам защитить тебя было бы не то чтобы невозможно, — невозможного, с Божией помощью, для русского консула в Турции нет, ну, а трудно все-таки... У тебя

довольно силы и молодечества, чтобы и без оружия громить врагов наших.

Сотири слушал мою речь; он улыбался, и серые, вовсе не красивые, но обыкновенно спокойные и твердые глаза его блистали от радости.

На прощанье я хотел пожать ему даже руку в виде особенного внимания, но он поцеловал мою прежде, чем я успел ее отнять.

Из высокого окна гостиницы я видел, как он, закинув живописно на плечо свое старинное арнаутское ружье, прошел важной поступью по монастырскому двору к воротам и отправился опять в Ериссо служить русским путешественникам и «защищать нашу честь».

Вскоре после этого он защитил ее вовсе невпопад, и совсем по другому случаю.

V

Я сказал, что при доброй русской госпоже в Ериссо жила молодая родственница, лет восемнадцать. Я говорил также о некоторых дурных ее качествах; но все это недостаточно живописует ее. Она просто была неуловима или неопределима в своей глупости и бестолковости, грубости и распушенности. Лицо ее было свежо, и черты лица, отдельно взятые, даже недурны; но все вместе выходило как-то мясисто и топорно: ростом низенькая, прожорливая, сильная, она грамоте не знала, работать почти ничего не умела и не хотела; была очень весела, но веселость ее была вовсе не забавна; обижалась почти постоянно невпопад; на действительно оскорбительные слова не обращала никакого внимания и смеялась, а начинала вдруг горько плакать не из-за чего; воспиталась она в Крыму в бедности и почти на улице и при этом воображала себя настоящей барышней. Говорила она большею частью нестерпимый вздор; вместо «присяжный поверенный» — «присяжной» поверенный; и когда ее

упрекали за что-нибудь непозволительное в манерах, она отвечала басистой скороговоркой:

— Что такое? Что такое? Я знаю одну генеральскую дочку в Одессе, которая так делает!

Иногда восклицала, хватаясь с восхищением за голову: «Ах, какая я умная, какая я умная, вы вообразить не можете!.. Я даже все понимаю!» Или еще: «Ах, вы не знаете, какая я наивная девушка; я ужасно наивная!»

Замечательнее же всего было то, что хотя со стороны так называемого «поведения», в тесном смысле, она была еще безупречна, но при этом непостижимо неприлична в обращении. Она была вовсе не зла, но и доброты в ней не было никакой заметно; чувство долга ей тоже не было известно; религиозности я в ней никакой не замечал; на нее мог действовать только страх. К счастью, я еще внушал ей этот страх до известной степени, да и то она часто меня боялась невпопад: до того была бестолкова. По особенностям положения моего, я вынужден был несколько раз делать ей строгие замечания, потому что мне на нее жаловались даже домочадцы мои, которым приходилось нередко бывать в Ериссо. Сотири, человек вообще целомудренный и, по-видимому, довольно равнодушный к женщинам и к тому же привычный к сдержанности и нравственному формализму местных христианок, говорил про нее так:

— Эта девушка не имеет в себе ничего женского. Удивляюсь!

А Петраки — тот чуть не с отчаянием восклицал:

— Это просто ужасная, ужасная девушка! Вы знаете, как я жалостлив, а вот ее никак не могу жалеть.

Хотя я сказал, что поведение ее с «известной» стороны было фактически безупречно, но направление ее мыслей и чувств было вовсе не моральное. Она заискивала то у Петраки, то у другого встречного молодого человека, то у третьего; и все они с насмешкой и пренебрежением отстранялись от нее. Наконец она нашла себе в Ериссо одного ничтожного гречонка Василяки, в жакеточке и феске, полуинтеллигентного пролетария, который состоял

в родстве с одним из тамошних крестьян. По соседству жила с родителями девушка по имени Мария. Наша приезжая подружилась с нею, и они доверяли друг другу свои сердечные тайны. Мария устроила для крымской подруги своей свидание с Василяки в своем доме в отсутствие родителей. Другие сельские девушки и паликары случайно подсмотрели, что этот Василяки прошел украдкой в дом, и увидев Марию на крыльце, догадались в чем дело. Собралась перед крыльцом целая толпа и начали смеяться и дразнить Марию. Кто-то со злорадством известил об этом Сотири. Защитник нашей чести немедленно вооружился и пошел туда; он при всех распек Марию, силой вошел в дом, обратил Василяки в бегство, вывел торжественно за собою нашу соотечественницу и разогнал толпу, сделав девице предварительно при всех несколько строгих замечаний за то, что она бесчестит русское имя.

При народе девица смолчала, но как только они остались с Сотири на улице одни, то она сказала ему такую неслыханную фразу, которую не только от молодой девушки, но и от пожилой женщины трудно было ожидать. Серьезный и целомудренный разбойник был так этим озадачен и сконфужен, что не ответил ей ни слова, и потом с удивлением передавал этот ответ и Петраки, и мне самому. Все это очень скоро дошло до меня (Ериссо от Афона недалеко), и я был вынужден опять в это дело хоть сколько-нибудь да вмешаться. Сам Сотири пришел мне жаловаться на эту «барышню».

Хотя это столкновение героя эпической поэмы с какой-то из самых плохих и комических героинь Островского, причем окончательная победа осталась за последней, было более и забавно и оригинально, чем серьезно и печально; однако, взявши в расчет, с одной стороны, здешние нравы, то действительно строгие, то лицемерные, а с другой — наши привычки, откровенные и легкие (при соблюдении некоторых внешних приличий), я сделал Сотири небольшой выговор в таком роде:

— Ты поступил очень глупо; вперед этого не делай. Ты сделал гораздо больше сраму, чем пользы. Доказать никто не мог, для чего именно она пошла в этот дом. Может быть, она бы вышла за него замуж; по нашему русскому обычаю девушка имеет право сама себе выбирать женихов, и тебе никакого до этого не было дела. Ты бы должен был показать, что ты ничего не знаешь и не хочешь знать об этом. Она, конечно, дура; но и тебе подделом, в другой раз в семейные дела не мешайся.

10 — Я хотел защитить честь русского имени, — сказал с достоинством Сотири.

— И только больше унизил эту честь, сделавши публичный скандал. Мало ли дур в России?

Сотири ушел на этот раз не ободренный.

Немного погодя, мне опять пришлось посетить на несколько часов Ериссо, и я нашел нужным, конечно, предостеречь и самое девицу. Я объяснил ей, что здесь понятия и нравы совершенно не крымские и не наши русские, и что если она будет держать себя в греческой деревне, да еще по соседству с Афоном, со слишком явной необузданностью, то я насильно отправлю ее в Салоники; а оттуда Якубовский посадит ее на австрийский пароход и возвратит к матери в Крым. Старшая родственница ее, которая была очень к ней слаба, плакала и просила этого не делать. Мне стало жалко ее, и я сказал ей, что из Салоник Якубовский как знает; но отсюда, т. е. из греческой деревни, где всё на виду, да еще поблизости Афона, я непременно ее отправлю в город при первом же подобном случае. Мне обещали быть приличнее и, действительно, после этого ничего особенного в этом роде не случилось.

30 Осенью 1872 года я оставил Святую Гору и решился, наконец, ехать сухим путем в Константинополь. Ехали мы на долгих, в фургоне четверней, от Салоник до Босфора *тридцать три дня*; ехали через Балканы, на Филиппополь и Адрианополь; сделали огромный крюк; сначала направлялись все на север, а потом все на юг, потому что прямой колесной дороги нет вдоль берега Архипелага и

Мраморного моря от Салоник до Царьграда; а на пароходе не только день или два, но и несколько часов я не хотел быть, особенно на иностранном, не русском.

Таким образом, потворствуя своему этому якобы психозному состоянию, я нанял в Салониках вплоть до Адрианополя большой и покойный фургон, или, как в Турции называют, брошов — четверней. Ямщик был молодой адрианопольский турок лет двадцати пяти, широкоплечий, высокий, стройный, один из лучших пехлеванов (борцов) в Адрианополе; усы у него были большие, густые и широкие, а лицо очень моложавое, приятное, доброе, и серые глаза младенчески светлы и задумчивы. Петраки и Сотири опять сопровождали меня. — Петраки сидел со мной в экипаже; Сотири ехал верхом на моей доброй лошади; брошов был просторен и не трясок. Октябрьская погода прохладна и нередко приятно-пасмурна; места до Филиппополя всё новые; сначала, в Македонии, города и села мне вовсе неизвестные; а потом, во Фракии, около Адрианополя, напротив того, слишком знакомые по воспоминаниям прежней моей службы...

О самом путешествии и о том, что я видел, я не стану здесь писать; о себе и обо всем побочном я хочу говорить здесь настолько, насколько это необходимо для объяснения моих отношений к Сотири — и больше ничего. К тому же, как это ни странно может быть, но это долгое, тридцатидневное путешествие оставило несравненно менее следа в уме моем, чем трех- или четырехдневный путь от Каваллы до Салоник. Я в эти три-четыре дня видел гораздо более интересного, чем в целый месяц медленного странствия по южной части Болгарии. Все эти дни и все эти новые места, все эти болгарские города и села слились в памяти моей (которая вовсе, кажется, не слаба) во что-то однообразное и крайне бесцветное сравнительно с тем, что я видел, встречал и слышал в Эпире, Крите, на Афоне, на Дунае и в иных частях Македонии; страна эта монотонна, невыразительна и скучна, как само болгарское население. Что разница этих впечатлений зависела не от

меня, не от разницы в моем настроении, это ясно для меня из того, что я тогда, когда скакал верхом из Каваллы в Салоники и отдыхал в Серресе, был все так же душевно расстроен, так же телесно болен, как и тогда, когда влачился по Балканам с пехлеван-агою, и еще из того, что две действительно любопытные вещи, которые я видел в этот раз, сохранились очень живо в моей памяти до сих пор, и я мог бы их сейчас же описать, если бы не дал себе слова сдерживаться. Один из этих случаев — это был торжественный въезд болгарского епископа в Филиппополь после объявления схизмы и церковной болгарской независимости.

В этом путешествии бедный Сотири последний раз мне служил.

Опять пришлось моему герою тридцать три дня подряд варить кофе и толочь миндаль, чистить калоши и сапоги; опять нужно было с опаской ходить по дрожащему и худому полу ханов, чтобы не тревожить и не раздражать меня...

И он делал все это с таким усердием и смирением, что когда, года через полтора спустя, я проезжал снова через Адрианополь, то девочка, служившая у нашего там консула Ив. Ал. Иванова, спросила у моего нового слуги: «А где же тот высокий молодец, который был прежде у вашего эффенди и все хлопотал с жестянками и ступками... Тука-тука-тук! — Тука-тука-тук!!»

Я был очень доволен им; но в разговоры по-прежнему с ним не вступал и ничего об нем нового и особенного не знал до самого Константинополя. Здесь мы должны были расстаться.

Мы пробывали вместе в гостинице несколько дней, и после этого они вместе с Петраки уехали в Салоники на пароходе. — Так как я надеялся пробить в Константинополе долго и, вместе с тем, решительно не знал, в каком я сам буду положении, то Сотири здесь мне был бы бесполезен; и для него, мне казалось, выгоднее пристроить его окончательно при русском консульстве в Салониках. Я на-

писал об нем письмо Якубовскому и, сверх того, надеялся на то, что ловкость Петраки и его расположение к Сотири усилят действие этого письма. Я не сомневался в успехе моей настойчивой рекомендации; в Македонии не так легко, как в Эпире или Крите, найти лихого кавасса из христиан; и хотя двое мусульман, служившие при Салоникском консульстве, были люди верные; но один из них довольно вял, а другой молодцоватее, но зато пьяница. Братъ же кавассов из прежних разбойников считалось, вообще, делом не только весьма обыкновенным, но даже и выгодным, ибо, раз оставив прежний род своей жизни, они служили верой и правдой; а уж что касается до отваги и ловкости, то разве без этих качеств можно попасть в разбойники? Формальных трудностей не могло никаких предстоять потому, что Сотири и без того был уже записан в кавассы; все дело было в нескольких казенных червонцах, которыми Якубовский мог распорядиться по своему усмотрению.

При всем своем мужестве Сотири видимо был расстроен, прощаясь со мной. Дорогой он говорил Петраки, что в жизни своей он никого так не боялся и не любил, как меня; что он меня боялся, то это понятно, так как его пропитание и безопасность зависели вполне от меня; и, сверх того, как говорится, что в жизни «на всякого мудреца довольно простоты», то точно также и на самого бесстрашного человека всегда найдется какой-нибудь страх. — Это понятно; но почему я, такой больной тогда и мелочно-требовательный (не шуми, не входи и т. п.), мог нравиться этому молодому герою, не знавшему никаких телесных немощей, — не понимаю... Разве то, что я на службе с собой шутить не позволяя; был вообще довольно властен в обращении и, вместе с тем, умел при случае ободрить и приласкать; да недурно ездил верхом... А может быть, и просто искренняя признательность. — Один французский зоолог (кажется, Флуранс) говорит, что хищные животные умеют сильнее любить, чем травоядные, которые вообще грубы.

Однако надежды мои на покойного Якубовского оказались напрасны. Он его к себе на службу не принял и отпустил на все четыре стороны. — Якубовский, несмотря на свои шестьдесят с лишком лет, был самый милый, занимательный, благородный и даже юный товарищ. Он и умер-то шестидесяти трех лет от простуды, после бала у английского консула, где танцевал до рассвета. Но консул он был до невероятия легкомысленный и равнодушный до тех пор, пока уж слишком глубоко не затрогивался его ¹⁰ русский патриотизм. Энергия его была неистощима, но она была какого-то личного, а не государственного характера; прослужив больше тридцати лет на Востоке, он хвастался, что пишет политические донесения очень редко и, большею частью, берется за перо только три раза в год, когда нужно подавать счет чрезвычайных по консульству издержек. При таком недостатке, так сказать, *будничного* рвення, Якубовский, понятно, не захотел просто подумать и позаботиться лишний раз о человеке, который ему самому не служил. — К тому же я подозреваю, что, при всей своей ²⁰ редкой доброте и довольно хорошем ко мне расположении, у покойника была против меня небольшая досада за кое-какие мелочи. В глаза он мне уступал, а видимо находил удовольствие делать мне что-нибудь наперекор. Может быть, это и повредило Сотири.

Через несколько месяцев Петраки приехал в Константинополь, чтоб жить опять при мне. Тут он рассказал мне про Сотири некоторые секреты, которые открыл ему про себя на прощанье, по дружбе, этот отчаянный человек. Он признался ему, что во время службы своей в Ериссо у ³⁰ русских путешественниц он продолжал понемножку разбойничать, при случае и мимоходом, в больших окрестных лесах. — Однажды, например, он отпросился у своей хозяйки сходить из Ериссо в богатое и большое село Ларигово, недалеко от Ровяников; он сочинил, что ему там кто-то должен двадцать пять турецких лир. — Его отпустили и попросили только принести оттуда несколько белых хлебов, потому что белый хлеб в Ларигове был лучше, чем

в Ериссо. — Сотири отправился и засел где-то в лесной чаще. На его счастье на дороге скоро показался на добром осле богатый лариговский грек, один из тех солидных мѳроедов, которых довольно в греческих и славянских селах Турции. У Сотири был свисток; он свиснул, и греческий чорбаджи в ужасе остановился. Увидав перед собой вооруженного албанца, он стал просить о пощаде; Сотири успокоил его, говоря, что убивать его он вовсе не намерен, а «деньги подавай какие есть». — Чорбаджи развязал кожаный пояс и вынул тридцать шесть турецких лир. — Сотири был так вежлив, что, распросивши его, куда он едет и по какому делу, и сколько ему нужно на путевые издержки, отдал ему шесть или семь лир назад, а остальные взял, конечно, себе и, отпуская старика, сказал ему так:

— Ты, смотри, дядя, молчи: а не то убью, найду тебя.

Тот обещался не жаловаться и сдержал свое слово. Дня через два они опять встретились в лариговской кофейне. — Сотири пил кофе и важно курил наргиле, когда ограбленный грек явился туда. Сотири радушно и почти-²⁰ тельно приветствовал его и закричал тотчас же хозяину. «Поддай такому-то раки и чашку кофею на мой счет». Тот, с своей стороны, любезно принял угощение, приговаривая: «Благодарю тебя, сын мой, благодарю тебя!»

Тем дело и кончилось.

Сотири накупил разных вещей для себя и для брата, принес своей русской госпоже не только белого хлеба, которого она просила, но еще много апельсинов и дешевых конфет, а всем девушкам в Ериссо подарил по печатному платку покрывать голову. ³⁰

Когда Петраки мне это рассказал, я задумался и заметил ему так:

— Вот видишь, может быть, и хорошо, что Якубовский нас не послушался; может быть, и служа при консульстве как следует кавассом, он бы продолжал делать такие штуки. Положим, что Николай Федорович ничего об этом не знал, так же как и мы, и не по недоверию его

не взял, а так, «здорово живешь»... Да я не про распоряжение Якубовского говорю, а про судьбу.

— Нет, я с этим не согласен, — отвечал Петраки, — я, если бы был русским консулом, и зная это взял бы его. В Ериссо ему было очень скучно без всякого случая для его паликарства. Я думаю, что он бы отвык и бросил бы это, как бросили другие.

Я думаю и теперь, что Петраки был правее меня и что из Сотири вышел бы отличный кавасс, подобно многим ¹⁰покаявшимся разбойникам. Разумеется, не нужно забывать и того, что Сотири не мог чувствовать себя обеспеченным в своем положении: в Салониках управлял не я, а другой, я же беспрестанно то совсем умирал, то поправлялся; и, сверх того, он, вероятно, знал, что я думаю много об отставке и об отъезде в Россию.

Долго после этого, живя в Царьграде, мы не имели о Сотири никаких вестей. Наконец приехали из Салоник люди и рассказали про него удивительные вещи.

²⁰Отчаявшись в Якубовском и в русской протекции, Сотири исчез из города надолго. Никто не знал, где он. Но в то же время начали в окрестностях усиливаться разбои. Мой бывший протеже, увидавши, что «суетно спасение человеческое», возложил надежды только на самого себя и возвратился к своей опасной, но занимательной специальности. Он набрал шайку, как уверяли эти приезжие из Салоник люди, не только из греков, но и из молодых турок, по разным горным и лесным солдатским караулкам. Сначала бесчинства были не очень важны и мелки... Наконец наш атаман отличился и привлек на себя уже серьезное внимание ³⁰Измаил-паши, человека весьма деятельного и способного. Сотири потребовал значительную сумму денег с какого-то большого села; ему отказали, тогда он незначай явился с своими молодцами и сжег половину села. Измаил-паша вострепнулся и сделал на него облаву.

Понявши, что дело его плохо, Сотири поскорей протиснулся со своими товарищами и посоветывал им спастись кто куда может, а сам решился на чрезвычайно смелый

поступок, который его и спас. Он отправился прямо в Салоники.

В Салониках жил тогда некто Дж. Аб.—, очень богатый собственник английского происхождения, но православный по вере, рожденный в Македонии и выросший в привычках и понятиях местной греко-болгарской и еврейской интеллигенции. У него был в городе большой каменный белый дом с красивым палисадником, с дорожками, выложенными камешками трех цветов: серыми, черными и белыми, со стриженными миртами и даже, сколько помнится, с мраморными статуями.¹⁰ Средства его были, как слышно, очень велики, и, благодаря этим средствам, он мог иметь большое влияние в Порте, где всегда в деньгах нуждаются. Сотири поздним вечером благополучно пробрался в город, пришел к нему и, поклонившись, сказал, что он вот такой-то и такой-то и что в его руках теперь его жизнь и вся будущность. Капиталисту это видно понравилось... Я видел этого богача только раза два или три и слышал об нем больше худого, чем хорошего; но, вспоминая теперь его краснолицую, широкоплечую, здоровенную, энергическую фигуру, понимаю, что Сотири верно расчел свое дело. Д. Аб.— решил спасти его;²⁰ он поехал в Порту и все откровенно рассказал паше, утверждая, что Сотири намерен решительно исправиться. Измаил-паша хотя и провел смолоду несколько лет в Париже и принадлежал вообще к числу турок европейского воспитания, но видно понимал восточных людей лучше, чем наш милый и ветреный орловский дворянин Якубовский. Он оказался одного мнения с моим Петраки и не только помиловал Сотири, но и предложил ему взять под свое начальство отряд войска для розыска и усмирения других разбойников, черкесов, развоевавшихся тоже в это время в окрестностях Олимпа и македонского села Катерины. Мне рассказывали, что Сотири оправдал доверие пашы и в течение каких-нибудь двух месяцев переловил и усмирил разбойников надолго.³⁰

Вскоре после этого я уехал в Россию и ничего об нем больше не слышал и не знаю.

МОЙ ПРИЕЗД В ТУЛЬЧУ

I

Я приехал в Тульчу раннею осенью. Погода была прекрасная; город оживленный и веселый. Смотреть на него с дунайского парохода было мне очень приятно; не потому, чтобы здания его были красивы или характерны; ничуть. С этой стороны Тульча очень ничтожна; она похожа на многие города Бессарабии, Молдавии и Новороссийского края...
10 Всё белые, штукатуренные, невысокие дома и широкие улицы; широкие улицы и белые дома. Одно и то же везде, и в этом однообразии нет ни стиля, ни красоты, ни какой бы то ни было архитектурной или живописной идеи.

Мне особенно этого рода ничтожество дунайских городов могло быть понятно после того, как я прожил два года в Адрианополе. После пестрой и живописной столицы прежних Султанов, после таких монументальных храмов, как мечеть Селима, с четырьмя стройными и чрезвычайно высокими минаретами, или мечеть Уч-Шерифэлли, где низ минарета раскрашен красными и белыми шахматами;
20 прочных каменных мостов над Тунджею и Марицею; обширных и древних кладбищ и мраморных фонтанов с арабскими письменами; после старых садов, где деревья так велики и тенисты; после жилищ, окрашенных в разнообразные цвета, нередко обширных и удобных и всегда оригинальных, — увидеть после всего этого большую, белую и бесцветную новороссийскую деревню на турецкой стороне Дуная было все то же, что смотреть или читать какую-

нибудь нынешнюю гладко и бойко написанную комедию после шекспировского «Короля Лира» или «Горациев» Корнеля.

Да это так: бесцветный, бесхарактерный, белый городок, построенный амфитеатром на полугоре, у берега низменного, унылого, безлесного.

Однако, глядеть на него в светлый и теплый, солнечный осенний день мне было приятно. Что-то плохое, положим, ничтожный вид... но что-то знакомое, свое.

Я тотчас же почувствовал, что это нечто близкое мне и, вместе с тем, странное и любопытное; уголок России под турецким владычеством. 10

На пристани, сходя с австрийского парохода, я увидел пестрые сарафаны дунайских староверок и синие рубашки их отцов, братьев и мужей. Я уже пять лет перед тем безвыездно прожил в Турции, и до чего я обрадовался этим сарафанам и синим рубашкам навывпуск — я и выразить теперь не могу.

Квартира моего предместника, консула К., была у самого берега Дуная; пристань австрийских пароходов прямо против окон и балкона. К—в встретил сам меня на пристани и привел к себе. 20

Он пробыл вместе со мною всего дня три, сдал мне дела и уехал в Боснию, а я остался один с прислугою в этом большом двухэтажном доме, которого хозяин был тоже русский, богатый старовер — Филипп Наумов. Я ходил по просторным и безлюдным комнатам и радовался особою, новою для меня радостью. Радость эта была вот такая: «Не выезжая из Турции — я дома! Не теряя ни одной из выгод положения русского агента на Востоке, — я опять как будто у себя на родине... Уж не в Калуге ли я моей милой? Вот опять розовый сарафан и пестрый фартук под окном моим; вот серая поддевка. Вот песня точно такая же горькая и прекрасная, какие я слышал в Кудинове нашем, за садом, в поле или в роще, в которой я помню даже, где какая трава растет!» 30

Веселая, яркая одежда и печальная песня родного края!

В доме у меня служат две женщины русские, настоящие русские: Акулина и Аксинья. Акулина очень лихая вдова, пожилая кокетка, даже пьяница... Аксинья, напротив того, скромная, добродетельная, замужняя и тоже немолодая женщина; Акулина служила у предместника моего чем-то вроде горничной; Аксинья готовила кушанье. И они обе повязываются по-русски, говорят и держат себя так, как говорили бы в Орле или Мещовске...

Я был рад и ленивым щам, и пирожкам русским, и квасу, и даже водке русской, которую я вовсе не особенно люблю, но все-таки больше, чем азиатскую *раки*.

Вот звонят колокола в какой-то близкой церкви.

Старые турки в *настоящей* Турции восклицают с негодованием, когда слышат христианский звон.

— *Турция ли это?*

И я готов воскликнуть тоже: «Турция ли это?»

Да, это Турция. Вот веет на белом здании пунцовый флаг с большим полумесяцем; вот идет отряд низамов в синих шальварах и фесках... А колокола звонят все громче и громче на *серой, деревянной* церкви, в двух шагах от консульства; это староверческий храм. Это звонят не красовцы, — потомки тех казаков-староверов, которые, под начальством Игната Некрасова, ушли когда-то из России служить Султану. «Игнат-казак», сначала звали их в Турции; звали их так, пока помнили самого атамана Игната, а потом стали звать «*Ина́т-казак*», — *упрямый казак, упрямый в вере* своей казак, непоколебимый!..

Служил Инат-казак Султану верно за ту свободу строить церкви и громко звонить, которую им дала турецкая власть, и турецкое начальство всегда любило своих русских подданных больше других христиан. И оно было право: русские под властью турок — не *политики*, подобно юго-славянам и грекам, им нужно только одно: свобода веры, и потому-то турки и дали им охотно эту свободу громко *звонить*, которую они другим христианам, более политикующим, без настоящего вмешательства русской дипломатии, никогда не давали.

Вот и кабак... недалеко от моего дома. Не прошло еще и недели после моего водворения, — иду я один, без кавасса, в праздничный день, в сумерки, по улице откуда-то домой.

Слышу нашу брань и крики... Смотрю — на улице, у дверей питейного домика, небольшая толпа «мужиков», настоящих мужиков великорусских, с бородами и рубашками наружу... Подхожу и вижу: у одного на груди рубашка разорвана; у другого кровь на лице. Лица бледные, злые... Другие кричат что-то громко, тоже бранятся; иные молча смотрят; двое в стороне сидят спокойно, на лавочке, у ворот соседнего дома. На мне была круглая форменная фуражка с кокардою и, по обычаю моему, довольно толстая трость.

Хотя все эти соотчичи мои были турецкие подданные, и я ни малейшей власти над ними не имел, — я решился, однако, вмешаться в их дело, и, остановясь перед ними, сказал им так:

— Перестаньте, пьяницы, драться и буянить. Срам!.. Что вы, дураки, так бесчинствуете тут! Мне нет дела, что я вам не начальник... Я русский и вы русские — вот что... Пятый год живу в Турции и ни одного народа не видал, чтобы так скверно и часто напивался, как вы... добры слишком к вам турки, слабо вас держат... Бесстыдники... Разойдитесь сейчас и не драться больше... Молчать...

Противники утихли немедленно, и один из них сказал:

— Правда, батюшка, правда, что срам... Истинная правда, что срам один...

Окружавшие тоже согласились, что срам.

Драка прекратилась; крики и брань внезапно утихли; толпа начала расходиться, и я, довольный, пошел домой...

А вслед мне один из сидевших до тех пор безмолвно на лавочке у соседнего дома *турецких подданных* вдруг закричал с восторгом:

— Ура! Александр II-й! Ура!

— Турция ли это?.. — повторил я...

Мечети даже я не вижу вблизи... Есть одна... но какая... Простой белый дом какой-то, с обыкновенною крышею; около дома белый минарет, вроде фабричной трубы — и только... У нас в Крыму, в иных деревнях мечети монументальнее и красивее, чем эти... Там больше Турция, чем здесь... Однако — нет. Вот любезный мой и хитрый Сулейман-паша, мутесариф Тульчинский, едет ко мне с визитом... На кого он больше похож, на цыгана или на очень смуглого еврея — не знаю, только не на кровного османлиса... Худой и ростом небольшой; черный-пречорный, черноглазый, с широкою черною бородою; в движениях, по природе, живой, хотя и старается придать себе спокойный вид; хитрый, искательный, иногда даже как будто подобоострастный и несколько робкий... но очень умный и приветливый. Он прослужил довольно долго в Вене секретарем при турецком посольстве и по-французски говорил легко и свободно. Мы сразу сошлись хорошо. Ему я сделал визит еще вместе с моим предместником К. Он простился; я представился. К консулам европейским я не хотел особенно спешить. Я находил всегда, что лучше быть поближе к местной власти, чем держаться за европейских агентов... Т. е. держаться их надо было, но коварнее, «в душе» презрительнее, чем относительно местной власти и местного населения. Быть подружнее с пашою, если возможно, — если он подается; и быть хоть сколько-нибудь популярным среди населения города и края, — вот идеал, который я находил всегда наилучшим для русского консула на Востоке и к которому стремился...

Сулейман-паша, посетивши меня после отъезда К. (с которым он был тоже в весьма хороших отношениях), сделал мне вдруг очень оригинальное предложение; он предложил мне сделать визиты всем трем консулам: австрийскому, французскому и эллинскому, в его коляске и вместе с ним. Это было вовсе не в обычае; я никогда ничего подобного не слышал и не видал, но тотчас же согласился с величайшею готовностью... Эта фантазия Сулеймана ничего и не могла иного означать, кроме особой личной лю-

безности, да, пожалуй, еще какого-нибудь смутного желания показать многолюдному на Нижнем Дунае русскому (или вообще христианскому) населению, до чего теперь Турция с Россиею ладят, несмотря на некоторое разномыслие по делам критского восстания, еще пылавшего тогда на далеком и прекрасном острове... Что же за беда! Если ему приятна такого рода демонстрация, я ничего против нее не имею.

И мы собрались делать вместе визиты европейским консулам. Я пришел к паше с своим кавассом, красавцем, ¹⁰ бронзовым негром Юсуфом. Хорошенький фаэтон уже был готов у крыльца; лошади отличные, вороные. Вокруг стояло несколько конных жандармов; в ожидании губернатора, они спешили и держали своих коней под устцы. Паша оказал мне еще одно, очень тонкое внимание: он расхвалил красоту моего Юсуфа и предложил посадить его на козлы с кучером, вместо своего чубукчи; это значило как бы то, что он желал сохранить при мне и кавасса моего, как признак моего звания. Зная, что турок может ²⁰ быть до тончайших оттенков любезен, если он захочет, я был очень тронут этою милою предусмотрительностью, и мы пошли садиться.

Но тут, при отъезде, вышло для меня неожиданное затруднение, по вопросу тоже весьма тонкому и вместе с тем существенному. Как было сесть в коляску? Это оказалось не просто. Коляска была обращена *правою стороною* к подъезду. Паша вошел в нее первый; сел с этой правой стороны и вытянул ноги. Мы обменялись быстрыми взглядами. Сулейман смотрел так мило! Черные большие глаза его были приветливы и томны, как у девушки, которая с ³⁰ любовью глядит на мужчину... Что мне было делать? Перешагнуть через его вытянутые ноги и сесть на левую сторону. Эта мысль мелькнула у меня на мгновение, но я решился уступить; обошел вокруг перед дышлом, и мы помчались в гости к австрийскому консулу Висковичу, который был старшим по времени назначения в Тульчу. У его ворот повторилось то же самое. Я еще раз, скрепя

сердце, обошел вокруг, и мы поехали к французскому консулу Лангле. Дорогою я думал, правильно ли я поступил? Мне было очень неприятно обходить перед дышлом, но что же было бы хорошего, если бы я грубо перешагнул через его вытянутые ноги? Сулейману не хотелось, вероятно, при пятерых-шестерых мусульманах (единственных, заметим, свидетелях этого случая), ни уступить правой стороны в экипаже иностранцу, который и чином был ниже его, ни пускать этого иностранца садиться прежде себя, хотя бы и на левую сторону. Я сообразил, что не только его собственным жандармам и кучеру, но и моему Юсуфу это должно было казаться весьма естественным. «Сулейман-паша — местный губернатор, мутесариф, генерал, а „русский“ только вице-консул». Так и следует: «они, значит, оба умные люди и хотят водить дружбу! *Пек эи! Пек гюзель!*» (Очень хорошо! очень прекрасно!)

Да! однако... все-таки я содрогался, когда представлял себе, что придется еще два раза обойти вокруг дышла, и особенно у греческого консула, на более людной улице, где нас могут видеть и христиане. Во мне уже начала рости и утверждаться решимость перешагнуть через вытянутые ноги хитрого турка. Он мне что-то очень любезно рассказывал; я ему улыбался и как будто слушал; но в сердце моем было иное... «Перешагну!»

Но к счастью и к радости моей — и у мосьё Лангле, и у греческого консула Николаидеса коляске пришлось стоять к подъезду левою стороною, и все тогда разрешилось просто и легко... Мутесариф входил в экипаж первый (это так и следовало); он сел на правую сторону; но русский вице-консул сел прямо вслед за ним; он уже не обходил смиренно вокруг дышла.

Досадно даже и теперь, через столько лет, вспоминать об этом! Но я хорошо сделал, что уступил в этом неприятном и мелком обстоятельстве: Сулейман, конечно, понимал, что я мог безнаказанно сделать ему грубость, попросить принять ноги или перешагнуть через них. Что же бы вышло? Тогда бы он принужден был уступить; все это

так, конечно... Но я знал уже по прежнему опыту, что турецкие начальники за некоторые уступки им во внешних формах почета и почтения готовы сделать множество других, гораздо более существенных, одолжений по службе нашей.

И я не ошибся в расчете, когда, содрогаясь внутренно, обошел два раза около дышла; Сулейман, в течение полторагодовой моей службы в Тульче, почти ни разу ни в чем серьезном не противоречил мне, и даже не раз потворствовал моим действиям.

10

Мои два обхода вокруг дышла видели пять-шесть мусульман: мои позднейшие удачные дела, в которых паша или поддерживал меня, или, по крайней мере, мало мешал мне, видел весь город с его разнородным, жадным до политики и впечатлительным населением.

Могу сказать, что и при предместнике моем К., и при мне, русское консульство в Тульче больше всех остальных консульств имело то, что зовется «престижем»!..

Весело мне было тогда!

II

20

Отчего же мне было так весело в Тульче?

Все было хорошо тогда; все весело!.. Я был тогда здоров и жаждал жизни, движения, дела; искал и поэзии, и практической борьбы... И все это было; все — и поэзия, и практическая борьба!.. О жизни сердца моего я здесь молчу... И оно жило тогда; жило так, как любит жить человеческое сердце: и смело, и томительно, и бодро, и задумчиво, и тихо, и мечтательно... И впереди, впереди казалось столько долгих лет, столько успехов, столько силы, столько наслаждения...

Увы! я скажу теперь, как сказал немецкий физиолог и мыслитель Карус в предисловии к одной из своих прекрасных книг. В известные годы, — сказал он, — «man wird sich selbst historisch!» Только он, счастливец, «sich selbst historisch» стал к годам осьмидесяти, кажется, а я в пять-

30

десять с небольшим, вспоминая себя самого в Тульче — и дивлюсь, и говорю себе стихами Кольцова:

Ты проснись, оглянись,
Что ты был и что стал...

Теперь, когда я вижу свой тогдашний портрет, немного фатоватый, пожалуй, с выбритым и довольно резким подбородком, с усиками, как у Наполеона III; когда я вспоминаю мою тогдашнюю приятную, спокойную и, вместе с тем, порывистую самоуверенность, мои надежды, мои идеалы, и патриотические, и личные, — я улыбаюсь и не верю... Я ли это?

Стыжусь сознаться... Нет! Зачем? Кого стыдиться?.. Вот еще! Мне даже легкая эта «фатоватость» нравится в этом человеке, настолько близком мне, что я до тонкости все помню и понимаю, что он чувствовал тогда, и настолько уже чуждом мне теперь, что я могу его судить беспристрастно, и готов его и осудить, и похвалить где можно, без малейшего смущения; так он стал уже далек от меня!..

Впрочем, зачем осуждать и зачем хвалить; я буду рассказывать правду, и если стоит того, осудят и похвалят меня другие...

Конечно, мне было весело тогда... Это был мой первый самостоятельный пост на Востоке, до тех пор я только «управлял» не раз. Я чувствовал здесь то, что чувствует военный капитан или майор, который впервые получил полк под команду и перед которым поприще вдруг расширилось настолько, что от него самого зависит теперь показать при случае, на что он способен.

Это был мой первый независимый пост... Местность не глухая — Дунай; между Веною, Белградом, Пештом, Одессою, Царьградом, беспрестанное движение...

Дом покойный, теплый, просторный; на самой реке; корабли идут почти под окнами моими, красиво надувая паруса. Пароходы сменяют друг друга у пристани; австрийский, русский, «Messageries». Дел и встреч занимательных

множество; если рассказывать — не знаешь, с которой начать!

О ком и о чем начинать? О польской ли здешней эмиграции, за которую я был обязан следить; о действиях ли турецкой власти и о разнообразии ее отношений к разнообразным «реальным силам» местной жизни? О староверах? Об их вожде, рыжем и веселом старике Гончарове, который ходил в поддевке, ездил к Герцену, обманул Тувенеля, а теперь водил со мною теснейшую дружбу? О русских ли молоканах и о том, как я ходил на их богослужение? О скопцах и о Василие Кельсиеве? Или о том, как бунтовали переселенцы-черкесы против турок... Или еще, как мы с греческим консулом вздумали отпраздновать свадьбу Короля Георга и Ее Высочества Великой Княжны Ольги Константиновны? И отпраздновали ее так хорошо, что и сами не ожидали... Или о том, как я ловил ужасного, жестокого убийцу, староверческого священника Масляева, гиганта ростом, силою и отвагою.

Как я ловил его и как поймал удачно... И что говорили тогда и делали староверы... 20

Было много тут дел, и политических, и религиозных, и полицейских, и личных... Скучать было невозможно; тогда, при турках, по крайней мере... Быть может, теперь, при румынах, стало хуже, потому что пошлее румын я не знаю народа, а я народов много, очень много разных видел и знал...

В то время, в мое, и в самом главном городе, и во всей Добрудже, вокруг Тульчи, население было очень разнообразно: турки, татары крымские, черкесы, молдаваны, болгары, греки, немцы-колонисты, русские нескольких родов: великоруссы-староверы (некрасовцы или липоване), велико- 30
руссы-православные, молоканы (также всё великоруссы; их зовут там иногда немояками), малороссы (их называют на Дунае обыкновенно русскими, а великоруссов чаще обозначают именем той секты, к которой они принадлежат).

Я и тогда еще, размышляя об этом живом этнографическом музее, который меня окружал, часто говорил себе вот что:

— Вот куда бы приехать русскому ученому, серьезно-му, беспристрастному, чуждому всякого духа партий, умному, с широким воображением и с привычкою к неизбежному мелкому труду, и без всякой либеральной тенденции изучить образ жизни этих вероисповедных, национальных и племенных образчиков или обломков, приютившихся здесь, близ устьев великой реки, под одним и тем же небом, в одном и том же климате, на одной и той же почве (почти одной и той же), под одною и тою же турецкою властью.

Да! под одною и тою же властью — вот что особенно важно в наши дни разрушительных и сентиментальных тенденций. Это я, слава Богу, понимал не хуже теперешнего и тогда, когда восхищался пестрыми и розовыми сарафанами староверок, как Лермонтов «резными ставнями» мужицкого окна!

Небо одно над всеми этими людьми, земля почти все та же под ногами их; над всеми одна власть, один Султан, один паша, один и тот же заптие.

Почему же трудолюбивее и зажиточнее всех болгарин? Почему русский всех пламеннее в вере своей? Почему татарин крымский деятельнее своего единоверца и соседа, деревенского турка? Отчего православные хохлы как-то злее и неприятнее великорусских раскольников?.. Отчего эти великоруссы пьянее всех, а девушки и женщины их всех разгульнее?.. Почему молдаваны ни то, ни се?.. Что-то послабее болгар, что-то побесцветнее малороссов, и совершенно ничтожны, бледны и невыразительны, если сравнить их с русскими староверами, в которых и хорошего, и худого всегда найдешь бездну, которые везде заметны, везде слышны и везде занимательны?

Не любопытен ли был бы такой этюд, научный и живописный в одно и то же время, глубокий по задаче и полезный по неизвестным еще выводам?

И власть, и все, почти независящие от субъективного расположения людей, условия — одни; но видимые плоды: психологическое настроение, результаты экономические,

нравственные, религиозные, политические, умственные, крайне различны у всех этих этнографических групп...

Сам я не мог этим заняться, мне нужно было служить; мне нужно было писать совсем другое тогда; мне хотелось жить, наконец; жить, говорю я...

Но я невольно думал обо всем этом и чувствовал ежеминутно на себе дыхание той поэзии, которою веяло от разнообразной жизни окружающей меня страны, — жизни, там — застывшей в упорном охранении, здесь — куда-то рвущейся вдаль... Эти тихие, претихие, как бы забытые деревни, живущие своими дорогими преданиями, и этот кипучий, торговый, международный, почти европейский Дунай!..

Ведь и мыслить независимо, как я мыслил тогда, между делом и весельем, разве не приятно? Разве это не наслаждение особого рода, ничем другим не заменимое!..

Да, все казалось веселым тогда; все... или почти все мне нравилось тогда в Тульче, а что и не нравилось, с тем я или справлялся скоро, или мирился иначе как-нибудь!..

Больше всего меня оживляло все-таки то, что я, оставаясь в Турции, был как будто дома, у себя, на родине...

И в прекрасном, живописном греческом Крите, почти райском по климату, по красоте и места, и самих жителей, и в более суровом, но характерном и крайне выразительном, вполне турецком Адрианополе, было больше стили, больше однородной значительности, чем здесь, в этой живой и слишком смешанной стране. Но что же мне делать — там я не был дома, а здесь — я из окон своих видел даже... что бы вы думали?.. Избушки русские, на том берегу, на плоском острове Дуная, отошедшем от нас к туркам обратно, по окончании Крымской войны.

Эти избушки были сторожками казацкими, русскими до Крымской войны. Остров отняли у нас, а хатки остались все те же, в 1868 году, и в них тогда жила турецкая стража. Я чувствовал, что я почти дома; я знал даже, что в Измаиле (до которого и часу нет езды на пароходе по Дунаю), что в этом Измаиле целы около бульвара русские

полосатые, казенные столбы под фонарями и что я могу там взять на русской почте такую же точно подорожную, какую я брал в Калуге, в Москве и в Нижнем.

Через несколько дней после отъезда К—ва в Боснию, когда я уже был один в доме, я вошел в полуденное время в ту комнату, где я устроил себе кабинет. Вошел; перед окном стоял красивый письменный стол, уступленный мне К—м; где-то по соседству, у служанки, должно быть, в кухне, громко пела канарейка; на окне, за письменным ¹⁰столом, вился густой плющ, и в нескольких местах он пробивался сквозь отверстия ажурных занавесок... Налево, у стены, стоял хороший рояль, на котором еще всего дня три тому назад молодые супруги К—вы играли в четыре руки такие знакомые мне вещи... Нагие, белые штукатуренные стены и штукатуренный, гладкий, обыкновенный потолок.

На одной из стен часы с маятником... По двору идет Аксинья, в скверном, каком-то рыжем «шушуне», от которого вечно на всю комнату пахнет щами и ржаным хлебом... И я этого терпеть не могу и гоню ее вон за это, и ²⁰хочу даже совсем отпустить... И голых белых штукатуренных стен и потолка не люблю... и занавесок этих ажурных тоже не люблю... Все это ужасно пошло... И даже этот плющ в горшках! Так нехорошо!

В Адрианополе деревянные, резные потолки были так разнообразно раскрашены, и разноцветные, узорные стены с турецкими шкапчиками так красивы, розовые с белым и светло-серым, пунцовые, синие, голубые, темно-розовые с ³⁰светло-розовым. А здесь — белая штукатурка и белая штукатурка. Я всегда готов был ненавидеть русский ум и русский вкус за недостаток творчества и стиля.

Ни дерзкой, гениальной выдумки, ни могучего, упрямого охранения. Но как ни старался я быть «объективным», как ни мечтал я уже и тогда о независимой, оригинальной, богатой даже и внешними формами, великорусской культуре, «память сердца», непобедимая сила прошлого, чувства юности и детства здесь овладели мною внезапно, вопреки потребностям ума!..

Уму этому, томившемуся по своеобразию, силе и картинности, удовлетворять могли здесь только раскольники, с их оригинальными формами, с их независимым духом, с их видом, вовсе не западным, не буржуазным, уже почти до отчаяния и в Петербурге мне наскучившим.

Все остальное в этой полурусской Тульче было так обыкновенно и так плоско.

Но зато все было так оживлено движением, и так где-то прежде видано, и сердцу, этому глупому человеческому сердцу, так знакомо и так близко!.. 10

И противная белая штукатурка домов на улице, и потолков и стен внутри; и плоская местность у реки, и жалкие ракиты, и кабак, и звон «вечерний», и Аксинья с своими щами и чорным хлебом, и ажурные занавески, сквозь которые так приветно и так наивно-мило пробился бедный комнатный плющ... И рояль...

Все это я где-то давно, на родине знал. Одно — в Крыму, «где я любил, где счастье видел», другое где — не знаю. В Москве ли, в Юхнове или на волжских берегах, не помню!.. И не все ли равно? Везде была радость, 20
везде было горе, и везде была родина!..

И мне казалось, что я на эту родину вернулся, когда сел за письменный стол и задумался, глядя на рояль, и на плющ, и на солнечный свет, который праздничным сиянием озарял всю комнату. Я сознаюсь в моем безумии. Мне показалось и солнце это иным, не тем, каким оно было в Адрианополе и Крите, а именно таким, какое сияло в моем тенистом родном Кудинове, в нашей длинной зале, по которой ходила еще тогда живая, любимая и покинутая мать.

Я сел в этой комнате, забылся так сладко и так радостно, и сказал себе: 30

— Я дома, дома и никуда больше отсюда не хочу.

ПОЛЬСКАЯ ЭМИГРАЦИЯ НА НИЖНЕМ ДУНАЕ

I

В отошедшей от нас, по трактату 1856 года, прибрежной части Бессарабии, в городе Измаиле, было довольно скоро после Крымской войны учреждено русское консульство. Оно названо только было не консульством, но «агентством» Министерства иностранных дел. В Тульче вице-консульство учредили несколько позднее.

¹⁰ Измаил, еще при Суворове столь обильно политый и турецкою, и русскою кровью, и теперь, как и следовало ожидать, снова возвращенный России, — нам невозможно было оставить без внимания. Этот унылый город не менее Тульчи поразил меня своею великороссийскою физиономиею. У пристани австрийского речного парохода (на котором я из Тульчи приехал нарочно, чтобы сделать визит моему милому соседу и сослуживцу, Павлу Степановичу Романенко, Императорскому агенту в Измаиле), — у этой австрийской пристани на молдавском берегу ²⁰ меня встретили русские извозчики: в кучерских кафтанах и круглых шляпах, на пролетках, с дугами и пристяжками! На улице, как и в Тульче, попадались мне яркие сарафаны и серые поддевки; собор напомнил мне наш калужский собор и столько других храмов наших, построенных по «казенному» образцу недавней старины, той плохой и безвкусной старины, от которой мы стали постепенно освобождаться только разве с половины царствования Государя Николая Павловича. Высокая, круглая, обыкновенная

колокольня со шпилем; купол над церковью... Точь-в-точь — Мещовск, Калуга, Юхнов. Бульвар, слишком уже правильный, прямые дорожки, а около этого бульвара — фонари, на полосатых деревянных столбах; улицы прямее тульчинских, *по плану*; невысокие дома, гостиный двор, в лавках *кумач* на рубашки, которого я уже давно не видал. В соборе служба пополам — на нашем церковном языке и на языке румын, столь карикатурно напоминающем язык Данта и Петрарки! Звон в соборе совсем не такой, как у староверов в Тульче, — этаким прекрасным, величавым, ¹⁰ тот самый звон, которому каждый из нас привык внимать с детства с благоговением и вздохом любви даже и тогда, когда ослабела случайно та вера, которая научила нас любить эти многозначительные звуки...

Я помню один мой приезд в Измаил (не первый). Это было в начале зимы, в сумерки; становилось уже холодно; шел густой снег; но падая, он скоро таял; Дунай еще не замерзал, и пароходы ходили. Мы причалили. Я сел на пролетку парою и, осыпаемый снегом, ехал медленно по грязи и смотрел с невыразимым чувством, с любовью, ²⁰ которой я объяснения не в силах дать, на темные, почти безлюдные улицы и светящиеся окна этого тихого «казенного» русского города!.. В соборе ударили ко всенощной!..

Через несколько минут я сидел в гостиной у Павла Степановича... Самовар на столе; печка топится так жарко и приветно... О, родина, родина моя!..

Вообразите — в гостиной по углам, как у нас, две выгнутые полукругом печки, и штукатурка даже на стенах полосатая, — желтая полоса и белая!.. Я верить не хотел, ³⁰ что я не у соседа-помещика в гостях, а у консула на чужбине!..

После хорошего ужина и доброй, веселой беседы, я лег на прекрасную, свежую постель, на голландское белье, и, накрывшись шолковым хозяйским одеялом, спать не стал и не мог... Отчего? Я в первый раз в этот вечер (я его никогда не забуду) раскрыл «Войну и мир».

Раскрыл — и до утра уже заснуть не мог!

И в Тульче я был как будто дома, а в Измаиле еще больше. В турецкой Тульче я видел Русь мужицкую, свободную какую-то; Русь пьяную, очень пьяную, положим, но независимо бытовую, самое себя без всякой внешней помощи охраняющую. В молдавском Измаиле я видел и чувствовал, и слышал другую Россию: Россию дворянскую, правильно православную, чиновничью, если хотите. Но я не знаю, которую из них я больше любил!.. Тульчинская, *бытовая* Русь, свободно и с мужицкою небрежностью разбросавшая свои хатки туда и сюда по горе, над рекою, была новее для меня, любопытнее; разлинованная по общегубернскому плану, Россия Измаила была ближе мне, знакомее той...

В этой отошедшей тогда (и возвращенной теперь) юго-восточной Бессарабии оставалось много русских людей под румынской властью; большинство их, вероятно, считало свое политическое положение временным; даже многие из молдаван были того же мнения. Кроме того, под румынскую власть перешло довольно много болгарских колоний в Бессарабии, и румыны поспешили лишить их тех особых прав и местных учреждений, которыми одарила их издавна Россия. Болгарские колонисты подчинились весьма неохотно новым, «конституционным» и насильственно с оружием в руках навязанным им молдаво-валашским порядкам, и в мое время всё вздыхали о русских властях.

Понятно, что еще «полосатые» столбы у бульвара румынские чиновники не успели перекрасить по-своему, как уже широкоплечий мой друг, Романенко, под названием агента Министерства иностранных дел, разъезжал величаво по улицам Измаила, в очень хорошей коляске на паре лихих коней, и редкий встречный человек не снимал фуражки, шляпы или бараньей шапки своей при встрече с ним.

На Измаил мы имели прямые претензии; на Тульчу не имели их, и потому в Тульче долго, может быть, не было бы нашего консульского флага, если бы польские эмигран-

ты не вздумали создать в этом городе особого рода революционный очаг.

Помог и Александр Иванович Герцен. Да простит это ему Бог! А я ему все эти неудачные и преступные попытки его прощаю искренно уже за то одно, что он первый сказал печатно: «В России никогда конституции не будет, и средний, умеренный либерализм в ней никогда не пустит корней. Это для России слишком мелко». Последние годы нашей политической жизни доказали, до чего был с этой стороны прозорлив этот человек, во многом другом столь кровно виновный перед нами.

Герцен на помощь польским замыслам послал на Нижний Дунай Василия Кельсиева и нескольких других беглых из России молодых людей. Около этого же времени и Министерство иностранных дел подняло в Тульче русский консульский флаг. Мой предместник К—в открыл в Измаиле консульство, и года, кажется, три или четыре действовал там не без успеха. Его подготовка облегчила много и мне первые шаги мои.

II

20

Я видел польскую эмиграцию в Адрианополе, когда служил там секретарем и три раза управлял за консула, и встретил ее опять здесь на Дунае.

Но иные были поляки в Адрианополе, и иные в Тульче.

В Адрианополе были львы и тигры эмиграции; здесь были гиены и шакалы ее. Там было барство военное, «хорошие» польские дворяне на турецкой службе, лихие офицеры Садык-паши, в красных фесках с кистями, — шпоры, кривые сабли, красивые лица, красные мундиры, манеры хорошие, положение в обществе видное. Здесь, на Дунае, жалкий пролетариат эмиграции, разночинцы какие-то, голодная шляхта, старые сюртуки без пуговиц, оборванные тулупы, худые сапоги, худые лица, неприличный вид. К моему приезду, впрочем, и этого рода поляков осталось в городе немного. Из немногих же лиц бывшей

здесь русской эмиграции в то время никого уже в Тульче не было. Василий Кельсиев, главный деятель ее, покался, уехал в Россию, был прощен Государем и печатал уже тогда свои интересные статьи в «Русском Вестнике»; его младший брат, — юноша весьма интересный и собою красивый, судя по рассказам и фотографии, умер от тифа; третий русский эмигрант, бездарный и несчастный Краснопевцев, повесился с тоски за городом, на крыле староверческой мельницы, перетянув шею ремнем, который для этой самой цели накануне дал ему, сняв с своей талии, Василий Кельсиев, во всем оригинальный и решительный.

И лучший так сказать цвет польской шляхты на Нижнем Дунае тоже рассеялся и исчез после неудачной попытки прорваться через Румынию в наши южные области, чтобы поднять и там восстание на помощь главным действиям «ржонда».

Я хочу рассказать здесь, что знаю об этой интересной экспедиции со слов других. Предание было в то время свежо... Я не берусь быть точным, многих имен по времени не помню; рассказывал мне не один человек, а несколько, один об одном, другой об другом. В петербургском архиве иностранных дел, конечно, есть подробные и верные сведения об этом событии, и если бы я жил теперь в Петербурге, то мне, вероятно, не отказали бы в просьбе просмотреть консульские донесения с этою целью. Все это отошло уже в «историю», и скрывать нам, русским, нечего в подобного рода случаях. Мы действовали хорошо и правильно. Вот как мне рассказывали обо всем этом. Собралось в Тульче смелой шляхты человек полтора или двести. Собрались они и ночью переехали на румынский берег на французском пароходе «Messageries». Из Галаца они должны были идти, как следует уже вооруженные, к русской границе.

Начальник же этой банды Мильковский почему-то взял билет на русском пароходе «Таврида» и тоже поехал в Галац. На палубе «Тавриды» есть то, что зовется (довольно противно по-моему) «салон».

В этом «салоне» было пианино. Предводитель шайки сел за это пианино и заиграл с чувством и силою что-то повстанческое: «Еще Польша не сгинела», или другое нечто в том же роде. Все русские пассажиры были поражены этою дерзостью. Командир парохода подошел тогда к нему и напомнил, до какой степени подобная выходка неуместна и невежлива. Мильковский тотчас же извинился, по-видимому очень искренно, и встал из-за пианино.

Конечно, наши бодрствовали.

Телеграф начал действовать... Дешепши летели одна за другою из Галаца в Букарешт, из Букарешта в Петербург, и опять в Галац...¹⁰

Поляки, между тем, шли вооруженною толпою через поля нейтральной, единоверной и «дружественной» нам Румынии князя Кузы.

Должно быть, последняя депеша из Петербурга в Букарешт была строга...

Румынское правительство выслало отряд войска, чтобы преградить путь искателям приключений и обезоружить их.²⁰

Вот тут-то я боюсь быть неточным... Дело до такой степени смешно и позорно для наших недавних сподвижников под Плевною, что я сомневаюсь, верить ли мне или нет собственной памяти, которая, впрочем, очень недурна.

Выслали румыны отряд значительный — батальон ли, или даже целый полк, это — все равно, — и батальона правильного войска слишком много для двух сотен инсургентов в открытом поле.

Вынужденные русскими требованиями действовать решительно, румыны преградили путь полякам. Но поляки³⁰ знали, с кем они имеют дело. Они остановились и смело открыли огонь... Румыны бежали. Повстанцы, говорят, будто бы, смеясь, продолжали стрелять им в тыл, довольно многих ранили и продолжали свой путь... Тогда уже, в свою очередь, раздраженный позорною неудачею, князь Куза приказал во что бы то ни стало догнать и обезоружить храбрецов. Послали еще больше войска, иные уверя-

ют — два полка, под начальством полковника более порядительного и смелого. Поляки были, наконец, окружены и сдались. Что с ними случилось, куда они скрылись, по каким убежищам рассеялась эта толпа несчастных политических мечтателей — не слышал и не расспрашивал.

Некоторые эпизоды этой истории мне довольно смутно памятливы. Все это происходило, если не ошибаюсь, в 1863 году, года за четыре до моего назначения в Тульчу, а на Нижнем Дунае и в 1867 году нашлось столько разнообразного и нового дела, что мне было некогда тотчас же по приезде изучать прошедшее, прямо с текущими делами не связанное.

В тульчинских бумагах не могло и быть никаких подробностей о том, что происходило по ту сторону Дуная, за Измаилом и Галацом. Чтобы знать всю последовательность этих событий, нужно было бы читать бумаги или в Букареште, или, как я сказал, в самом Петербурге...

Но «рассказчиков» у меня было довольно, в том числе некто Николай Осипович Глизян, теперь уже умерший вольнонаемный секретарь моего консульства.

Он был малоросс, сын священника одной из бессарабских болгарских колоний, отошедших к Румынии по Парижскому трактату; был умен от природы, наблюдателен и тонок, вырос и воспитался среди молдаван и валахов; знал их привычки и дух и никогда не мог относиться серьезно к их государственным и общественным делам. Когда он говорил о турках, о греках, о наших раскольниках, даже о болгарях земледельческого класса, видно было по тону его рассказов и рассуждений, что он считается с какою-то силою...

О румынских же «делах», румынском войске, о «конституции», полиции — Глизян говорил не иначе как со смехом или улыбкою. Он уверял, между прочим, будто молдавское общество до того не привычно было тогда видеть и слышать, как это так его офицеры и солдаты в самом деле воюют, стреляют или даже бывают только под выстрелами неприятеля, что раненым в этой стычке воинам

сделали торжественный обед в Измаиле и дамы венчали их венками героизма и славы.

Ранены же они, по уверению Глизяна, все были вообще в тыл.

Правда ли это или вымысел, на правду похожий, предоставляю совести покойного.

Итак, ко времени моего приезда, гнездо польской эмиграции в Тульче было почти совершенно разрушено... Оставалось здесь только несколько бедных, оборванных молодых людей без пристанища и без имени; кое-какими простыми работами они приобретали себе насущный хлеб. Кроме этих молодых пролетариев низшего разряда, было в Тульче еще двое пожилых поляков: фамилия одного была Воронич; другой... другого я пока не назову... Воронич был человек, как видно, значительного ума и высшего образования; он был не столько стар, сколько дряхл и разбит; почти не ходил даже и по комнате своей и страдал, кажется, тою болезнью, которая зовется спинною сухоткою... Он служил драгоманом при французском консульстве; и хотя в то время, вероятно, уже и работать ничего почти не мог, но советы его французскими консулами уважались, и влияние его на дела, как французские здесь, так и польские, несомненно было большое.

У нас, русских консулов на Востоке, было принято за правило с подобного рода французскими чиновниками или «employés» из поляков не сноситься и даже компанию из осторожности с ними не водить. Французские консулы во многих местах и при разных случаях протестовали против этой сдержанности нашей или против подобного пренебрежения; навязывали нам этих секретарей и драгоманов своих, но наши консулы никогда не уступали по этому пункту и нередко даже заранее предупреждали своих французских «коллег», что такого-то Подхайского, например, ездившего на Кавказ бунтовать черкесов, ни с официальным визитом, ни даже по тяжebному делу не примут... Французы гневались, но тщетно... Наши не уступали. Разумеется, и я вообще держался этого пра-

вила; особенно в Адрианополе, где я три раза управляя подолгу, но все-таки сам главою и вполне независимым и твердым на ногах деятелем еще не считал себя. В Тульче я стоял уже на своих ногах и знал, что пользуюсь достаточным доверием выше меня стоящих по службе лиц. Поэтому я позволил себе один раз сделать исключение из этого весьма разумного правила; я воспользовался отсутствием французского консула, г. Лангле, который уезжал тогда в отпуск, и на какой-то праздник (на Пасху или на Новый год — не помню), сделал визит Вороничу, на том будто бы основании (совершенно недостаточном), что он теперь управляет консульством вместо г. Лангле. Я сам сочинил себе такого рода дипломатическую фикцию; я игнорирую, что он поляк, — я теперь вижу в нем только управляющего консульством Франции. Но это, конечно, все было вздором одним, а мною руководило одно любопытство. Не был бы я у него — не беда, и был — тоже не беда; оскорбить в моем лице он русского флага не мог (не заплатив, например, по ненависти визита), потому что он едва двигался и никуда ни ходить, ни ездить и без того не мог; в сношения личные и постоянные он тоже войти со мною не мог, по той же самой причине.

Итак, я решился взглянуть на этого непримиримого врага. Я люблю политических врагов России, точно так же, как Печорин любил своих личных врагов. — «Я люблю врагов (говорит Лермонтов-Печорин), хотя не похристиански: они меня забавляют, волнуют мне кровь... Быть всегда на страже, ловить каждый взгляд, значение каждого слова, угадывать намерение, разрушать заговоры, притворяться обманутым и вдруг одним толчком опрокинуть все огромное и многотрудное здание их хитрости и замыслов — вот, что я называю жизнью!»

Лермонтов говорит о личных врагах, — я говорю о политических. В делах личных поэзия подобной борьбы, к несчастью, почти всегда (как и «герой того времени» не забыл) противоречит христианским чувствам и прави-

лам, — в вопросах государственных и международных, в большинстве случаев, нет этого раздвоения, и русский деятель может смело позволить себе любить врагов России именно так, как любил их Печорин... Русская сила зиждется на Православии; и, защищая Россию со рвением, с любовью к борьбе, защищаешь христианскую Православную Церковь. А если любить подобную борьбу, то понятно, что противники способные, даровитые, замечательные должны нравиться мыслящему живому и бодрому человеку, они должны занимать его, без них ему скучно. Я нахожу даже, что отъявленные политические враги наши нередко гораздо полезнее нам и во всяком случае безвреднее, чем многие «невинные» и исполненные щедринской «благоглупости» соотечичи наши. Когда я думаю о государственных интересах России и об ее исторической судьбе, я часто припоминаю старое-престарое, умное-преумное, не знаю кому принадлежащее восклицание: «Боже! Спаси нас от друзей наших; а с врагами мы как-нибудь справимся сами».

Воронич был, судя по рассказам и по всем признакам, враг закоснелый, непримиримый, кровный, даровитый, давний и влиятельный.

Мне все сдается, что он организовал банду Мильковского. К тому же, он в 1867 году был врагом уже побежденным, разочарованным, бессильным. Бессильным не в смысле болезненности своей, а в том смысле, что все замыслы ниже-дунайской эмиграции, среди которой он, конечно, играл немаловажную роль, уже к тому времени разбились в прах о нашу бдительность и энергию. Все это я взял в расчет и заехал к нему посмотреть. Он занимал очень маленькую и бедную комнату на дворе французского консульства. Меня провели к нему.

На старом диване, в широком и длинном пальто, сидел, согнувшись, человек пожилой, седой, худой, серовато-бледный; усы у него по-старинному были сбриты. Это был почти труп, но труп крайне выразительный... Дрожа, он силился привстать и протянул мне бледную,

холодную руку. Серые большие глаза его сверкали... Чем?.. Досадою и гневом, что я, москаль, русский чиновник, проник в его печальное предсмертное убежище, или, напротив того, самолюбивым удовольствием, что вот — его, заживо погребенного в этом углу, посетил русский консул, — не могу решить; думаю, впрочем, что они, эти глаза, блистали скорее от злобы, чем от тщеславия. Воронич, мне кажется, был слишком умен, чтобы не подозревать, что я приехал только из «праздного», как говорится, любопытства, и слишком крупный человек, чтобы мелочно обрадоваться такому странному, необъяснимому и подозрительному визиту, каков был мой. Я пробыл у него с полчаса: мы оба держали себя просто и разговаривали свободно, как все... он был вежлив, я придавал своему обращению легкий оттенок почтительности во внимание к его сединам и недугу... Говорили мы о болезни его, о тульчинском климате и даже немного, в самых общих и осторожных фразах, о высшей политике, о критском восстании, которое тогда было в самом разгаре.

²⁰ Мне понравился этот враг, этот человек, еще не умерший духом в полумертвом теле; — я пожал ему руку; мы простились, и никогда с тех пор я уже не видал его.

Несчастный человек!.. Кончатъ жизнь в таком мрачном одиночестве, на чужбине, в жалком углу, на французских хлебах! — Из-за чего же? — Из-за идеи ложной, из-за мечтания гибельного, прежде всего для той самой польской нации, которую подобные люди хотят воскресить!..

III

³⁰ Я говорил, что ко времени моего приезда в Тульчу в этом городке из польских эмигрантов, более выгодно поставленных в обществе, осталось только двое: мрачный Воронич и другой, которого я задумался сразу назвать, потому что не знаю наверное — жив ли он или умер. Кажется, умер... Фамилия его была Жуковский.

Он был полнейшим контрастом Вороничу. Воронич был трагедиею тульчинской эмиграции; Жуковский — ее идиллией, эклогою. Оба были стары, но Воронич был болен и разбит вдребезги жизнью, а Жуковский был женат, здоров, плечист и весел. Лицо у него было крупное, старчески-свежее и патриархально-красивое; борода большая, белая, густая. Выражение лица исполнено самой приятной и ласковой хитрости. Он тоже, как и Воронич, официально служил Франции: был агентом французского пароходства «Messageries Impériales»; но ничуть и нас, русских, не чуждался; был знаком и дружен со многими староверами, в консульстве нашем был принят запросто и не прочь был при случае даже оказывать русским всякие услуги. Женат он был на пожилой вдове, очень почтенного вида, весьма бодрой, разговорчивой и гостеприимной. Она была, кажется, даже и не полячка, а православная хохлушка, и мне помнится, словно как у нее воспитывался в Одессе сын от первого мужа.

В доме у этих седых, крепких и видимо между собою дружных и согласных супругов было чисто, сыто и приветливо... Цветы на окнах, шторы расписные, сквозь которые светило дунайское солнышко на скромную и опрятную мебель...

Бойкая старуха рассказывала о своем недавнем путешествии в Одессу к любимому сыну, с опасностью жизни, ночью, по страшным зимним волнам Чорного моря... Как эти волны заливали палубу «Тавриды», как было страшно, и какой молодец капитан Сухомлин. Сам Жуковский говорил с чувством о покойном Великом Князе Константине Павловиче, при котором он, в конце 20-х годов, служил офицером, и хотя, по собственному уверению, был из числа наиболее преданных Его Высочеству поляков, но по отбытии Великого Князя, конечно, увлекся общим движением восстания 1831 года и принужден был потом бежать за границу.

Я не знаю, конечно, что в самом деле думал и что в самом деле чувствовал этот хитрый, спокойный и добро-

душный старец, но никто из нас, русских, не только не видал от него ненависти или явного вреда, но, напротив того, как я уже сказал, видал и услуги. Конечно, я уверен, что он своим «помогать» не отказывался тоже «при случае»... Но... не будем строги в суждениях наших. Будем строги в политике; будем, пожалуй, жестоки и беспощадны в «государственных» действиях; но в «личных» суждениях наших не будем исключительны. Суровость политических действий есть могущество и сила национальной воли; узкая строгость личных суждений есть слабость ума и бедность жизненной фантазии.

Быть может — нет! Быть даже *не может*, чтобы приятный и лукавый патриарх Жуковский не служил немного «и нашим, и вашим»... Господь с ним! С ним было весело и легко... Такой здоровенный и вечно светлый поляк, так много видел, так много помнил, к жизни относился, несмотря на седины свои, так просто и бодро... Говорил по-русски так свободно и с этим польским акцентом, который или очень мил, или ненавистен, смотря по человеку: — «фран'ьцуз», «на кон'ьцу», вместо «на конце»... И возможно ли ему было и не быть иногда несколько двуличным? Что бы сделали с ним страстные соотчичи его, если бы он совершенно устранился от них? Служил он этим столь глупым, столь платоническим в политике французам, у которых все давно уже стало навыворот: одна разрушительная демократия и национальная анти-церковность; во внешней политике, в России и Турции, — потворство аристократической и шляхетской Польше, раздражающей русских, и католическая пропаганда, раздражающая не только греков, но и многих юго-славян...

Французская политика на Востоке, по моему мнению, была в это время просто смешна, несмотря на свою эффективность.

Но как бы то ни было, Жуковский был агентом «Messageries» и, вероятно, даже был очень занят и деятелен в ту ночь, когда французы в Тульче тайно снаряжали экспедицию Мильковского!..

Что же делать!.. Нужна квартира теплая, нужно новое платье для почтенной и любимой супруги, нравятся сторы зеленые росписные на окнах, украшенных скромными цветами...

— К кон'цу жизни эти фран'цузы дают хлеб и покой...

Не будем строги, говорю я, в суждениях; будем лучше до жестокости суровы в наших политических действиях...

Я довольно часто видался с Жуковским и с большим удовольствием слушал его рассказы. 10

О старине; о Вел. Кн. Константине Павловиче; о том, как польские офицеры целым кавалерийским отрядом провожали его для охраны до границы, когда началось восстание; о дунайских староверах, об их привычках и нравах. Он видимо свыкся тут с ними и непритворно их любил...

Я слушал его с большим удовольствием; в этой тульчинской среде русских раскольников, турецких чиновников и греко-болгарских торгашей я чувствовал в Жуковском — что-то особым образом давно знакомое и даже родственное мне по воспоминаниям юности на родине и в Крыму на войне, что-то военное, помещичье. Старый военный доктор-поляк в Карасу-Базаре или Симферополе говорил со мною с таким же акцентом...

И я — военный доктор, только молодой; мы сослуживцы и хлеб едим где-то вместе... Или молодцоватый пехотный юнкер-поляк в русском мундире, в милом нашем Юхнове, танцует так лихо мазурку с хорошенькою и довольно свободно дочерью нашего «непременного члена»... Летает он ловко и топает громко, и барышня в белой кисее, с каштановыми кудрями, так хорошо и неслышно порхает у него на отлете, и розовые ленты пояса веют за нею... А я, еще ребенок, сижу завитой в пуклях и лиловой шолковой блузе, около величавой и красивой матери моей; сижу и люблюсь, и ничего в «политике» еще не понимаю, и до смерти даже люблю, когда сестра моя заиграет будто повстанческую мазурку врага нашего, Хлопицкого... И юнкер-поляк, такой приятный с виду мальчик, подходит к 30

моей матери... Хозяин, городничий, представляет его, мать зовет его к нам, в Кудиново. Она зовет его, а он кланяется и отвечает, смутясь, очень глупо:

— Если вам не противно, то мне очень приятно...

И еще гусары Веймарского полка, приятели и собутыльники юности в Крыму, политом нашею кровью...

И мало ли их с этим «акцентом», которых я знал еще тогда, когда и в голову мне не приходило, что они враги нам!..

20 Все это так... Не нахожу нужным скрывать, что многие поляки продолжали мне нравиться даже и тогда, когда я узнал и убедился, что мне необходимо на жизнь и на смерть бороться с ними; не скрываю этого потому, что зрелый человек, претендующий на развитие вкуса и ума, обязан различать в себе эстетическое чувство от политического... я не скажу — долга, этого мало, а даже — от глубокого, искреннего чувства своего. И я, к счастью моему, различал эти две психические сферы очень ясно и твердо, и давно.

20 Я очень любил, когда полурусский Жуковский беседовал со мною по-русски, на турецком диване моего кабинета, у окна, перед которым так близко наш общеславянский Дунай... Я улыбался ему, он — мне; я очень охотно пользовался иногда его услугами; но ни на мгновение ока я не мог забыть, что он агент «Messageries», что он на службе у этой столь глупой в политике Франции и что ему нужны какие-нибудь «зразы» или «капустняк» (т. е. щи), нужны сторы, нужна наконец шляпка на седые волосы его широколицей и доброй хозяйки.

30 Должно быть, его уж нет на свете теперь... (Не посылать же мне для этой справки нарочную телеграмму в Тульчу!)... Он и тогда, в 1868 году, был стар, хотя очень крепок; у него и тогда были, по его же уверению, камни в почках...

Я не скажу «мир праху твоему, хитрый и приятный агент», потому что это восклицание, во-первых, совсем не христианское: не праху нужен мир, а душе спасение... а

во-вторых, не скажу «мир праху» потому, что этот бессмысленный возглас наскучил до смерти, я думаю, даже и самим тем, которые не могут без него обойтись ни в одном некрологе...

Я скажу лучше так: «Добрая память моя тебе, мой дунайский собеседник!.. Ты был для меня „светлым и веселым лучом” в среде печальных Вороничей и оборванных, раздраженных польских пролетариев, которые пытались мне грубить и которых я сажал за это в турецкую тюрьму!..»

10

Надо рассказать и о них.

IV

Однажды я был дома и чем-то занимался, когда мне доложили, что какой-то молодой человек, по-видимому, очень бедный, желает со мною секретно переговорить.

Грек — писец мой, который мне это докладывал, прибавил, что он никак не поймет, какой национальности этот человек.

— Или русский, или поляк; только, кажется, не здешний, — сказал он.

20

Не желая тратить понапрасну времени на пустяки, я потребовал, чтобы таинственный незнакомец назвался бы предварительно по имени.

Его отвели в канцелярию, и оттуда он прислал мне в кабинет небольшую записку на очень правильном русском языке:

«Я — бывший студент Киевского университета Домбровский. Имею, г. консул, сообщить вам нечто очень важное».

— Посмотрим, что это такое? — сказал я себе и велел впустить его.

30

Домбровский, правда, имел вид «бедного» человека. На нем был нагольный, старый и грязный полушубок, сапоги самые простые и в заплатках; рубашка русская навывпуск и

тоже грязная. Про лицо его что сказать — не знаю? Бледное, как будто незначительное, не красивое и не особенно дурное. Бородка русая, маленькая. Таких лиц много. Лет ему казалось с виду не больше двадцати пяти.

Он остановился у дверей как будто бы почтительно, но робости я в нем не заметил. Глаза только «бегали». С ним вместе вошел в кабинет и мой молодой грек, Яни Никифоридис, подстрекаемый любопытством.

— Что вам угодно?

10 — Господин консул! — начал Домбровский торжественно и без всякого «акцента». — Я прежде всего попрошу вас удалить посторонних людей, так как то, что я сообщу вам, для меня очень важно.

Не желая лишать Яни Никифоридиса дарового зрелища и плохо веря «важности» сообщения, я сказал Домбровскому, что Яни — лицо не постороннее, служит при консульстве и т. д.

— И что такое особенно важное вы можете сообщить мне?

20 — Господин консул! Дело идет о моей жизни и смерти! Дело, вместе с тем, с некоторой стороны, касается и до ваших политических обязанностей! — воскликнул киевский студент еще многозначительнее и даже гордо взглянул на меня, сверкнув глазами.

Я, признаюсь, подумал в эту минуту: «Не вообразил бы этот сорванец, что я боюсь с ним остаться с глазу на глаз; этого бы я не желал!» И, подумавши это, сказал:

— Яни, выйди вон; если будет нужно, я позову тебя.

30 Яни был очень недоволен этим распоряжением и уходя сказал вполголоса по-гречески:

— Он выпивши, разве вы не замечаете?

Я ответил ему:

— Ничего, иди.

У меня в то время в кабинете был всегда заряженный двухствольный пистолет, и я очень хорошо это помнил.

— Какая же это такая тайна ваша? — спросил я Домбровского, когда мы остались одни.

Опять значительный взгляд и возглас:

— Г. консул! Я сражался в бандах против русского правительства, осужден на смерть через повешение и теперь желаю возвратиться в Россию. Прошу вас выдать мне паспорт.

— Вы считаетесь теперь турецким подданным, вероятно; как же я могу выдать русский паспорт турецкому подданному? К тому же, вы, разумеется, из тех людей, которым запрещен въезд в Россию... У нас во всяком консульстве есть книги, где по алфавиту записаны все имена таких эмигрантов; и ваше имя и фамилия верно тоже там. Домбровских между поляками очень много, и я помню, что эту фамилию у нас в книге чуть не целая страница полна... Как же я могу вам дать паспорт? Я и на турецком паспорте вам своей «визы» не поставлю... Чего же вы от меня хотите?

— Я хочу, г. Леонтьев, чтобы вы исполнили ваш долг! Он начинал интересоваться меня, и его театральная ко мне строгость мне нравилась. Мне очень было трудно не улыбаться; но я не улыбался, не желая без нужды оскорбить несчастного с виду человека.

— Мой долг, — отвечал я на это, — не давать вам паспорт и даже не входить с вами ни в какие сношения.

— Но это странно! Я должен быть повешен, или по крайней мере сослан в Сибирь; — я согласен на это, а вы мне препятствуете... Это очень странно!..

Другой, на моем месте, просто бы велел кавассу выгнать его, но я торопиться вовсе не хотел, и ждал, что будет дальше.

— Послушайте, г. Домбровский, — сказал я ему увещательно, — извините меня, я не верю, чтобы роль ваша в восстании была так значительна, чтобы вас приговорили к смерти. Вешали немногих; Сибирь, быть может, — не знаю. И то едва ли. Во всяком случае, я вашего желания исполнить не могу. У нас есть случаи, я не спорю, если человек, политически компрометированный, встретившись с русским консулом за границую, в течение долгого време-

ни обнаруживает искреннее раскаяние и представляет несомненные доказательства тому, что его убеждения изменились к лучшему, — тогда еще консул может писать посланнику и в Петербург, и ходатайствовать за него... А вас я вижу в первый раз и ничего даже сказать не могу в вашу пользу моему начальству...

Он как будто смягчился, задумался и, помолчавши, сказал грустно:

— Что же мне делать, — я желаю в Россию... Я здесь ¹⁰ не хочу больше жить...

Мне стало как будто жалко его, и я посоветовал ему в таком случае поступить по примеру Василия Кельсиева, который без всякого паспорта, но с искреннею тоскою по России и в надежде на одну царскую милость, перешел молдавскую границу, отдался в руки полиции нашей и был прощен. И теперь живет в Петербурге, как все, на свободе.

— Кто же может помешать и вам поступить точно так же? Это ваша воля рискнуть... Больше ничего я не могу вам посоветовать...

²⁰ Домбровский снова сверкнул очами и, надменно окинув меня взором с головы до ног, произнес настойчиво и резко:

— Г. консул! Не способствуя моему возвращению в Россию, вы нарушаете ваш долг!!

Ну, это уж было слишком!.. Я позвонил. Яни Никифоридис и вооруженный кавасс в одно мгновение явились в кабинет. (Я тут только понял, что Яни позвал кавасса и что они оба стояли все время за дверями; потому что «незнакомец» был поляк и к тому же «выпивши».)

³⁰ Домбровский, впрочем, не показал при виде моих «охранителей» никакого особого смущения и довольно спокойно и, казалось, равнодушно выслушал мои последние слова:

— Потрудитесь уйти, и если вам угодно просить меня о чем-нибудь, то возвратитесь тогда, когда у вас рассудок будет в лучшем порядке...

Он выслушал эти слова мои и, покачав головою, заметил в заключение:

— Если вы, г. консул, думаете, что у меня когда-нибудь будет больше рассудка, чем теперь, то вы очень ошибаетесь...

И с этим нелестным для себя заключением, он ушел. Несколько дней о нем не было слуха, и я думал, что все между нами кончено. Однако пришлось нам видеться еще не раз, и совсем при других условиях.

Шел я как-то в гости поздним и очень темным вечером, по улице отдаленной, широкой и безлюдной. Кавасса я с собою не взял, а провожал меня с ручным фонарем случайно чужой слуга, крымский татарин, мальчишка лет не более двенадцати. Дороги я не знал, а без фонаря ходить ночью по турецким городам и запрещено, и неудобно, а для консула в особенности и крайне неприлично. Это было зимою, и на мне была меховая шубка русского покроя (как дубленка или как поддевка со сборками сзади). Она была покрыта светло-синим, почти голубым сукном, и весь город, я думаю, ее знал, а через нее и меня, потому, разумеется, что ни у кого, кроме меня, такой одежды не было. В холодную погоду я и днем в ней ходил очень часто, и так как при этом еще я нередко надевал круглую форменную фуражку с кокардою, то не узнать, что я русский консул, было бы даже и трудно.

Вот, я иду в темноте, в этой шубке и фуражке; мальчик впереди светит под ноги; в руке у меня толстая трость с крепким круглым набалдашником... Иду и о чем-то думаю... Все тихо и безмолвно... Вдруг из мрака пустынной улицы как будто дальний голос: «Эй, липован». Ну, что же такое?.. Липован — значит старовер; кто-то и где-то зовет какого-то старовера... Даже мой отрок Осман не оглянулся...

Но немного погодя раздался голос погромче...

— Эй, липован! липован! свинья!.. подлец!.. липован!

Осман оглянулся уже с небольшим испугом...

Все опять примолкло... Мы шли своею дорогою вперед...

Я уже понял, что это неспроста и что бранные возгласы эти относятся прямо ко мне... В этих странах воздух на-

электризован политическими страстями, и мало ли кто в городе может меня ненавидеть только за то, что я русский консул, и еще такой, который «руссизм» свой любит, назло всем, выставляя напоказ даже и в одежде. Раздражает же меня один вид французского буржуазно-демократического кепи (даже и на нашем реформенном солдате)... Палка моя очень крепка, и верность ее еще недавно, среди белого дня, на торговой улице, была испытана на одном огромном малороссе, который тоже вздумал было меня оскорбить ни с того, ни с сего публично!..

Конечно, это какой-нибудь пьяный ненавистник!..

— Не беда!.. Я люблю приключения!.. И нельзя, и не следует русскому консулу быть всегда только сдержанным дипломатом, каким-то тонким и казенно-европейским сверчком в черном фраке... Терпеть этого не могу!.. Да здравствует международное раздражение!.. *Sursum corde*: палка крепка!..

Однако голос приближался... Замечая, вероятно, при свете моего фонаря, что я даже не оглядываюсь, мой оскорбитель попробовал переменить название.

— Немоляка, а немоляка! — закричал он уже очень близко. — Слушай, немоляка... Свинья русская!..

Немоляками зовут на Дунае русских молокан.

Татарин мой опять с испугом оглянулся; но я сказал ему вполголоса, но сердито:

— Не озирайся! не смей!..

Невдалеке перед нами ярко светилась какая-то стеклянная дверь... Перед этою дверью и улица была освещена... Это был большой кабак... Мы подходили. Вдруг мимо нас, сзади из темноты кинулась к двери этой какая-то тень с громким криком:

— Ты свинья! Ты не русский консул, — ты подлец, подлец...

Это был Домбровский. Он вбежал в освещенную дверь и захлопнул ее за собою со звоном.

Что мне было делать?.. Оставить так? я не хотел. Писать на другой день паше французскую «ноту»...

Le fanatisme national et l'outréissance des émigrés polonais, soumis à la juridiction de vôtre Excellence, dépassent (ну, какие-то там границы)... Ma patience est à bout... Un certain Dombrowscy»...

— Нет, скучно все это; зайду лучше в кабак, — это короче...

Не долго думая, я отворил стеклянную дверь и переступил порог. Домбровский стоял посреди комнаты, и мы вдруг очутились лицом к лицу. Народу в кабаке было много, и шум был порядочный... Но удивление и любопытство внезапно заградило всем уста... Иные встали...

— Г. Домбровский, — сказал я, как только мог спокойнее и строже, — я с вами разочтусь за это... Завтра паша все будет знать...

И сказавши это, я вышел...

Домбровский сконфузился и начал оправдываться мне вослед: «Г. консул, — я ничего вам не говорил... Я не хотел оскорбить вас...» и т. п.

На следующее утро я пошел к Сулейман-паше и рассказал ему, смеясь, всю эту ночную и неожиданную историю. О первом нашем свидании с Домбровским, в консульстве, я не сказал ничего; я все-таки жалел немного этого «интеллигентного» пролетария; думал, что турки будут подозревать его в каких-нибудь с нами «тайных» сношениях, если узнают, что он недоволен жизнью в Тульче и просится к «нам», чуть не прямо в Сибирь.

Я не хотел без крайности «доносить» об этом и предпочитал приберечь этот ресурс на случай, если бы «l'outréissance» Домбровского действительно перешла бы границы моего терпения. Пока все это скорее еще веселило, чем раздражало меня. Я тогда очень любил борьбу, даже и с некоторым оттенком опасности и насилия.

Сулейман-паша пришел в негодование. Он тотчас же велел позвать старшего полицейского офицера и сказал ему:

— Разыскать сейчас этого негодяя, «ляха»...

Офицер сделал мне несколько вопросов о «личности» Домбровского и, сообразив что-то, взялся скоро найти его.

Паша пригласил меня подождать и побеседовать, мы ждали недолго... Занавеска на дверях поднялась, и бедный киевский повстанец явился перед нами в своем изорванном тулупе, между двух заптиев.

10 — Как ты смел оскорбить, *кюпек-оглу*, вчера ночью, на улице, — московского консула! — крикнул на него турецкий обыкновенно столь вежливый и тонкий Сулейман.

— Паша-эффенди мой, я г. консула не оскорблял ничем, — смело и тоже на турецком языке отвечал обвиняемый...

— Осел! (*эшек!*) — крикнул губернатор еще сердитее. — Неужели я тебе, ослу и пьянице, больше буду верить, чем г. консулу?..

20 К этому я прибавил по-русски, чтобы турки нас не поняли:

— Как же вам не стыдно, г. Домбровский, отрекаться от ваших слов и действий? Уж лучше бы было ответить прямо: «Да, я это сделал, потому что я русских чиновников ненавижу»... Политическому эмигранту такое ребячество нейдет...

Домбровский застыдился и смолчал.

Паша велел отвести его в тюрьму и сказал ему в заключение так:

30 — Ты будешь в тюрьме и месяц, и два, и больше... Будешь сидеть в этой тюрьме до тех пор, пока сам г. консул простит тебе и пожелает освободить тебя. Иди, негодяй!..

Большого удовлетворения нельзя было и требовать; поставить в зависимость от моей воли даже срок заключения, это было даже слишком много; это было особое внимание, исключительное желание угодить мне, возвысить меня в глазах населения сравнительно с другими консулами; потому что я не слышал и не видал, чтобы Сулейман-паша

оказывал такие «жестокосердные» любезности ни австрийцу Висковичу, ни г. Лангле, французскому представителю в Тульче.

Я понял, что «мои обходы вокруг дышла» не забыты и что тогдашняя рассудительная уступчивость моя начинает приносить прекрасные плоды... Видал я в других местах, как «медлительно спешат» турецкие власти в случаях и более серьезных оскорблений. Если им не хочется удовлетворить консула, они, эти власти, и высшие, и подчиненные даже, и «человека никак не отыщут». И сожалеют об этом, и ноты французские начнут писать. Ноту за нотой! А здесь все на словах кончилось; и в полчаса всего паша дал мне «une satisfaction éclatante», как выражаются дипломаты в бумагах, касающихся подобного рода дел. Хорошо я сделал, что не перешагнул тогда через ноги Сулейман-паши! Не раз и потом приходилось мне хвалить себя за это уметь понимать турок.

Домбровского, впрочем, я продержал в тюрьме не более недели.

Оказалось, что он в Тульче был многим нужен, потому что был очень хороший маляр. Я и не знал, что он этим занимается, и даже удивился, что студент оказался на такое простое дело способным.

Прежде всего пришел ко мне один очень почтенный пожилой молокан в розовой рубашке и начал просить:

— Ваше высокородие, уж простите этого Домбровского. У меня хата недокрашенная стоит...

Я не согласился.

Потом пришел протестантский миссионер на Дунае, одесский уроженец, Феодор Иванович Флокен, и он начал тоже:

— Уж простите Домбровского для меня... У меня тоже стена с переулка не кончена.

Потом опять пришел старик молокан в розовой рубашке. Потом еще кто-то.

Я решился уступить «общественному мнению» и послал сказать паше, что я Домбровского прощаю, с тем угово-

ром, чтобы он извинился у меня в канцелярии при всех служащих в консульстве людях и при турецких жандармах.

Домбровский согласился охотно, и двое вооруженных турок привели его в мою канцелярию, и он, при них, при секретаре моем, при драгомане и кавассе, сказал мне так:

— Г. консул, я пришел просить у вас прощения и прошу вас, как человека, простить мне, потому что я в самом деле поступил очень глупо...

Тон его был очень искренний; я сказал ему:

10 — Ну, идите с Богом! Я и не сердился на вас; ну, а спускать вам я даже и права, вы понимаете, не имею.

Он ушел, и после этого мы никогда уже не видались.

Да, поляки довольно разнообразны, и наблюдать, так сказать, невольно разные оттенки их характеров мне приходилось нередко, живя на Востоке, и я находил это не всегда безопасным, но весьма занимательным.

V

Вскоре после моего приключения с Домбровским, случилась у меня другая история в том же роде с другим 20 молодым эмигрантом. Эта вторая история началась гораздо серьезнее первой, потому что она в самом деле уже сильно раздражила, оскорбила, даже огорчила меня сердечно, а кончилась не только примирением, но даже чуть не подобием какой-то любви (если не с моей, то по крайней мере со стороны доброго «повстанца»).

Еще до начала Крымской войны, когда я был студентом медицинского факультета в Москве, молодая, красивая и богатая тетка моя Анна Павловна Коробанова, у которой в доме я жил несколько лет подряд и которой многим был 30 обязан, подарила моей матери очень изящную и оригинальную маленькую вешалку для карманных часов. Основание ее круглое, из розового дерева; два витых столбика, очень тонкой работы из слоновой кости, соединены наверху какою-то фигуркою, тоже из розового дерева, и на этой

фигурке крючок для часов. Куплена была эта вешалка у Дарзанса. Когда молодая тетка, с которою я был очень дружен, умерла в 1859-м году, мать отдала эту вещицу мне, и она благополучно странствовала со мною по разным странам и при самых разнородных условиях и до сих пор мне служит. Но теперь, после жизни в Тульче, к воспоминанию о матери и о молодой и милой родственнице, всякий раз при взгляде на эту штучку, прибавляется невольно и воспоминание об одном рослом, широкоплечем молодом эмигранте, об его светло-русой небольшой бородке, старом коричневом пальто и т. д., и т. д.

Один из костяных столбиков моих расшатался что-то. Я послал вешалку с нашим юношей Яни Никифоридисом к одному австрийскому столяру, чтобы он починил ее. Яни возвратился испуганный, бледный и со слезами на глазах; в руках у него моя фамильная драгоценность, изломанная вдребезги, исковерканная...

Я пришел в отчаяние и бешенство.

— Что такое! Как это?.. Где? Кто?

Яни рассказал жалобным голосом:

— Прихожу к столяру; говорю с ним... Вдруг какой-то паликар, в пальто... «Это чья вещь»? — спрашивает... Столяр говорит: «русского консула». «А! (говорит тот) русского консула!» Выхватил у меня и... раз-два... Сломал в куски...

— И ты ему ничего?! — воскликнул я...

— Ничего... — отвечал мой робкий критянин, опуская глаза...

Я чуть-чуть было не проклял его, как Галуб Тазита:

Пойди ты прочь...

Ты не критянин, ты старуха!

Ты трус, ты раб, ты армянин.

Будь проклят! Чтоб о робком слуха

Никто ко мне не доводил...

Но предпочел поскорее послать его за драгоманом.

— Идите сейчас к паше и расскажите ему все как было, — сказал я этому драгоману с величайшим волне-

нием. — Скажите Сулейман-паше, что я начну действовать наконец самоуправно... Я заплачу деньги греческим матросам или пьяным староверам, и они за несколько золотых искалечат этого мерзавца!.. Я только что имел глупость выпустить Домбровского!.. Идите скорее!..

Турецкие губернаторы хороши тем, что их как-то всегда почти можно найти дома. Они целый день заняты и целый день принимают; целый день, сидя на кресле или на диване, судят и правят, как царь Соломон или Санхо-¹⁰ Пансо на своем острове.

Сулейман-паша вышел из себя не меньше меня самого. И драгоман едва успел вернуться ко мне, как поляк был уже схвачен и заперт...

Но меня это ничуть не удовлетворило!

Моя милая вещица от Дарзанса, изъездившая со мною столько и на которую я каждый вечер, ложась спать, в течение стольких лет, привык вешать золотые, старинные материнские часы... Эта вещица лежала изломанною на столе... Вещь иногда для сердца нашего дороже человека,²⁰ потому что она напоминает нам близких наших почти всегда в их лучшие минуты.

Сознаюсь и каюсь, что я очень серьезно обдумывал тогда, что бы мне сделать с этим поляком, и гнев мой (конечно, в основаниях своих справедливый) дошел уже до степени спокойного обсуждения всех шансов и средств жестокого наказания и отщечения. И в самом деле, подкупить через каких-нибудь посредников сорванцов, которые моего оскорбителя избили бы и изувечили, было бы в среде дунайского города очень не трудно. Одни отчаянные греки-кефалониты чего стоят! И русскому, к тому же из православно-политического чувства, они послужить готовы с охотою. Примеры были: в Измаиле одного русского шестеро вооруженных кефалонитов прибежали спасать (бесплатно) от огромной толпы разъяренных жидов и в миг всю толпу ужаснули и разогнали.³⁰

Я все это знал; и, сдерживая свое волнение, ходил по комнате и *рассчитывал*... Я думал только о приличиях

службы, об удаче и т. п., — о «человеколюбии», не нахожу нужным лгать, в ту минуту я не думал.

Вдруг мне докладывают: «Мать этого поляка пришла к вам, — она очень плачет»...

— Как мать? Ведь он беглый из Польши... Разве у него мать здесь?

— Да, здесь... Она живет даже на одном дворе с нами: она служит кухаркою у агента австрийского «Ллойда», у г. Метакса.

— Что делать!.. Позовите... Что она может мне сказать, не знаю... 10

Вошла эта мать; полная женщина, неопрятно и бедно одетая, в таком же рыжем «шушуне», как вот наша Аксинья (только у нашей шушун был гораздо чище и новее). Вошла и, горько плача и утирая слезы с некрасивого лица своего грязным передником, начала, конечно, умолять меня о прощении...

Мать!..

Я привык это слово чтить...

Досадно!.. 20

— Я вашего сына простить не могу, — сказал я...

Она продолжала горько плакать...

Эта бедная толстая и грязная женщина ничуть мне не нравилась; но я понимал, что именно поэтому-то надо бы пожалеть ее...

— Простите его, он был пьян...

— Это не оправдание, — отвечал я. — И вещи испорченной он мне не возвратит...

На это старая полька возразила мне неожиданно приятною вестью: 30

— Вы простите ему только дерзость, г. консул, — сказала она, — а вещь он поправит. Он хороший токарь и костяные столбики эти сделает точь-в-точь как прежние.

Я не хотел ей верить, так мне было приятно это слышать.

Но поверить было нужно старухе: я отдал ей сломанную вешалку и сказал:

— Вот вы мать, и плачете, а знаете ли, что у меня тоже есть мать, и она мне эту штучку подарила на память... Я велю выпустить вашего сына из тюрьмы на одни сутки; и если колонки через сутки не будут готовы, то никакой от меня ему больше пощады не ждите.

Кухарка ушла, а на следующее утро возвратилась вместе с сыном, который принес мою драгоценность прекрасно и точь-в-точь действительно реставрированную, и непременно хотел сам меня видеть и «лично» передо мною покаяться. Я, так и быть, велел ему войти.

Радость при виде «костяных колонок», до неузнаваемости схожих с прежними, смягчила мне сердце.

Этот «пролетарий» был гораздо красивее Домбровского, виднее его, приятнее, и в выражении его лица было в одно и то же время и больше веселости, и больше энергии, и больше доброты. Он мне понравился.

Извинился он проще Домбровского, без фраз «интеллигентного» стиля, и я отпустил его с миром, сказавши, впрочем, что это мое последнее снисхождение.

Мать почти в ноги упала мне и хотела поцеловать мою руку.

Все это происходило в 1868 году. В 1869 меня назначили консулом в Янину, а в 1871, весной, перевели в Салоники. Я проехал верхом из Эпира через всю плодородную Фессалию и через южную часть приморской Македонии, и в апреле месяце подъезжал к Салоникам, с небольшою свитой и вьюками, по шоссе с северной стороны. Шоссе идет между дачами, небольшими садами и какими-то домиками.

Мы ехали шагом. Турецкие жандармы впереди и за нами. Гляжу налево, — у одной ограды все столики и стулья; за оградой домик белый, палисадник, вывеска... по всему прелестная кофейня. У одного из столов стоит белокурый мужчина, высокого роста, по-европейски одетый. Стоит и глядит внимательно на наш верховой отряд.

Это был тот тульчинский токарь... Он узнал меня, лицо его вдруг изобразило радость, он начал махать шляпою и кричать по-русски:

— Здравствуйте, здравствуйте, г. Леонтьев... Здравствуйте!..

И потом кинулся со всех ног бежать по шоссе к городским воротам впереди нас. Я не мог понять, зачем это он бежит и куда; но это скоро объяснилось.

Немного погодя, мы увидели всадника на вороной лошади, в круглой бараньей шапке; всадник мчался к нам навстречу, и когда он, вдруг осадивши лошадь, стал передо мною «как лист перед травой», я узнал, что это был болгарин Нушо, курьер нашего консульства в Салониках. Мы проехали еще немного, все приближаясь к воротам крепостной стены, и увидели, что навстречу нам идет пешком бородатый мужчина, средних лет, с тростью и в форменной фуражке. Это был одесский уроженец г. Дершво, драгоман консульства.

Всех их поднял на ноги мой тульчинский эмигрант. Он прибежал в консульство и кричал с восторгом:

— Едет консул! Наш консул, наш тульчинский!..

Взял он на себя весь этот труд бескорыстно и ни за каким награждением или пособием никогда ко мне с тех пор не являлся. Мы даже никогда и не встречались с ним после этого.

Фамилию этого молодого поляка я забыл, но красивая вешалка от Дарзанса и теперь мне служит, и все для тех же материнских часов. И вот какая судьба: когда мне случается, при взгляде на эту *тридцать лет тому назад* купленную вещь вспомнить или мою суровую и любимую мать, или молодую, богатую и смазливую тетку (которую я чаще всего люблю представлять себе на балу дворянского собрания, в белом шелковом платье, с пунцовым бархатным убором на черных волосах)... Когда мне, говорю я, случается вспомнить об этих двух столь близких мне женщинах, я, против воли, всегда вспоминаю и о нем, о тульчинском «токаре», об этом *сыне плачущей, бедной и неопрятной полячки!*..

И вспоминаю я о нем всегда с каким-то добрым чувством.

КОНСУЛЬСКИЕ РАССКАЗЫ

I

Я рассказывал о моих личных отношениях к разным представителям Речи Посполитой, нашедшим в то время приют на берегах Дуная, о ненужном и даже не совсем приличном моем визите полумертвому Вороничу, о приятной компании хитрого Жуковского, о детских бравадах и поспешном покаянии пьяных и полупьяных молодых людей. О тогдашних политических делах «полонизма» в Тульче я не сказал еще ни слова, потому что их вовсе не было, этих политических дел. После неудачной и безумной попытки Мильковского все надолго притихло. Но чтобы рассказ мой был оконченнее и полнее, я припомню только одну историю, которая грозила принять серьезные размеры политического дела, но кончилась ничем и очень скоро.

Я получил неожиданно, из источника весьма серьезного, крайне важное и в высшей степени секретное сообщение о том, что один галицийский революционер едет ко мне, в Тульчу, волновать наших русских раскольников и надеется, выдав себя за воскресшего снова Императора Петра III, через их посредство поднять в самой России ужасную пугачевщину.

Настоящая фамилия этого опасного врага была обозначена в секретном письме; но теперь я ее не помню: Каминский, Каменский, Карицкий — забыл; будем его звать Каминским. Другую фамилию, ложную, под которой он должен был действовать в придунайских городах, я пом-

ню хорошо: Гольденберг. В секретном письме было еще одно крайне важное сведение о главном политическом представителе некрасовцев, знаменитом старике Гончарове. Сообщалось, что Гончаров заодно с Гольденбергом и что даже существует собственноручное письмо его к кому-то из поляков, безусловно обличающее это преступное участие старого и давно уже дружившего в то время с нами раскольника.

Не шутка! Извещение или предостережение это, повторяю, шло из весьма надежного источника, и я обязан был обратить все силы моего внимания на подобный слух.

Что делать? С кем поделиться столь важным секретом? Ведь слово «секрет» не значит же в подобном случае, что надо сосредоточиться над ним в тиши кабинета и молчать...

Я начал, разумеется, с самого простого: обратился к Николаю Осиповичу Глизяну, вольнонаемному секретарю нашего консульства, и, не говоря ему, откуда у меня это сведение, велел ему следить за неким Гольденбергом — не явится ли такой человек в городе нашем. Глизяну заняться этим было легче, нежели кому-нибудь; он был человек молодой, холостой, на месте давний, всех знал; в городе был любим за веселость, несколько циническую, но иногда очень остроумную, и все свободные часы свои проводил по кофейням и тому подобным публичным местам, которых в Тульче очень много. Любил и выпить, как настоящий русский человек, но и пьяный был тверд и надежен.

Поручивши ему следить за первым появлением заговорщика, я решился немедленно на другой шаг: я послал за стариком Гончаровым и, запершись с ним в кабинете, прямо спросил его: знает ли он поляка Каминского (положим?).

Осип Семеныч задумался.

— Каминский?.. Каминский? Нет, такого не знаю...

— Не знаете... Ну, так я вам, Осип Семеныч, вот что скажу: вы уверяете нас в преданности вашей; вы первый подписались на адресе дунайских староверов Го-

сударю; обманули тогда и поляков, и русских бунтовщиков Герцена и Кельсиева; ходите к нам, и не только нами, консулами, но и генералом Игнатьевым приняты хорошо. Смотрите, теперь есть случай вам послужить России. Этот Каминский замышляет какой-то вздор — бунтовать раскольников ваших против России. Конечно, это смешно, и что он может сделать... Но, все-таки, он хочет представиться Петром III и попытаться счастья.

Гончаров улыбнулся и покачал головою..

10 — Что же Петр III для наших староверов! Это для них ничего не значит. Их этим не поднимешь. Вот для скопцов — другое дело; да ведь их мало. Да и какая же теперь в России может быть пугачевщина; после того как мужикам волю дали — совсем другое дело стало. И мы здесь видим разницу. Прежде народ сюда из России валом валил; потому — у турка — воля. А теперь совсем и нейдут сюда... Это поляки глупости одни затевают...

20 — И я думаю то же самое, — отвечал я. — Конечно, они ничего теперь сделать не могут; но вы знаете, что моя обязанность за всем подобным здесь следить. А вам — это прекрасный случай доказать, что некрасовцы в самом деле стали опять настоящими русскими людьми и даже тени злоумышления против Государя и против России не допустят...

— Будьте покойны, К. Н—ч; уж положитесь на старого Гончара... Я уж все вам отрапортую вовремя...

30 После разговора с Гончаровым я увидался и с Жуковским; и у него попробовал, между прочим, спросить — не знает ли он галицийского уроженца Каминского... («Гольденбергом» я его не назвал, чтобы Жуковский не знал, что я Гольденберга ожидаю в Тульчу.) Жуковский начал раздумывать не хуже Гончарова и сказал потом решительно: «Нет, Каминского не помню; кажется, не знал»...

Ему я не поверил; мне хотелось только испытать его.

Несколько дней еще спустя опять пришел Гончаров и сказал мне так:

— Вот вы спрашивали о том поляке; я теперь вот что вспомнил. Сидели мы недавно с Жуковским у нашего (т. е. староверческого) попа Григория. Я стал об Василие Кельсиеве вспоминать и говорю: хоть и безбожник он был, и детей своих не крестил, и пьяница, а уж что за умнейший человек-то... Вот голова!.. И говорю Жуковскому: у вас, небось, таких нет. А он говорит: «И у нас тоже есть не хуже Кельсиева и по учености, и по всему; вот хоть бы Каминский».

Таким образом подтвердилось мое подозрение насчет того, что Жуковский лжет, будто он этого революционера не знает. 10

На первый раз мне больше ничего не было нужно; я мог ждать «Гольденберга», как ждет опытный охотник медведя, которого уж выследили ему соседние мужики...

Долго не было о нем никакого слуха. Глизян был хорошо знаком и дружен с одним греком, турецким чиновником; он попросил его известить нас о приезде одного «Гольденберга», просил как о деле частном, не подавая греку никакого вида, что этот человек имеет политическое 20
значение. Грек обещал.

«Милости просим, г. Каминский! Я очень рад», — думал я.

Проходит день, проходит два, проходит, может быть, целая неделя. Ничего особенного не слышно. Никто ничего как будто и не знает... Конечно, срок этот слишком короток... Какой политический замысел можно не то чтобы осуществить, но даже и начать только в одну или две недели, и тем более в новой среде?..

Подождем! 30

Мне очень хотелось, чтобы Гольденберг обнаружил свое присутствие в Добрудже какими-нибудь действиями, стоящими серьезного внимания... Приятно мне было бы сказать ему: «Nec plus ultra!»... и противопоставить его смелым интригам Геркулесовы столбы моего официального значения... ну... и разумеется... моей личной сообразительности...

Охотнику становилось немного уж скучно; зачем галицийский медведь так долго не подходит к русскому стаду.

В это же самое время, как снег на голову, свалился вдруг откуда-то другой таинственный полячок, низшего звания. Лицо у него было какое-то солдатское, широкое, сухое, скуластое; усы щетинистые, движения резкие; глаза злые, смелые, лукавые...

Он явился ко мне в сумерки; объявил, что имеет сообщить нечто важное, и представил мне «permis de résidence», подписанный одним из наших дунайских консулов. Обозначен он был на этом виде «варшавский выходец такой-то» (какой именно — забыл).

Паспорт был просрочен. Что такое: «варшавский выходец»? Просто значит — беглый или эмигрант... Справиться тотчас же у того консула, который выдал ему такой особенный вид, я не мог; не мог немедленно узнать, зачем мой придунайский сослуживец (человек очень опытный и к службе в высшей степени внимательный) выдал этому подозрительному человеку такой «уклончивый» паспорт. Или он был и есть просто «русский подданный», или он именно из тех «варшавских выходцев», которым въезд в Россию запрещен за участие в восстании. Если он из последних, — в какие же именно подданные он записан: в турецкие, в австрийские, в румынские? Зачем же ему, под чужою властью и в чужой стране, русский или полурусский вид, когда он в Россию въезжать не должен?..

Я взял этот странный вид и спросил у таинственного незнакомца, что такое имеет он мне сообщить? Он принял вид грозный и трагический и воскликнул с очень грубым акцентом:

— Я хочу ехать к генералу Коцебе (Коцебу), в Одессу, для приготовления войска... Потому что из Галиции будет скоро атака... Кавалерия во столько-то тысяч... (Не помню, сколько он сказал.)

— Вы хотите, чтобы я вам дал денег для поездки в Одессу к генерал-губернатору?..

— Да, конечно, деньги нужны, — отвечал он.

Я сказал ему:

— Денег я вам немного дам, если вам нужно, а в Одессу ездить подождите; я не верю этому слуху о нападении из Галиции; но если в самом деле будет что-нибудь нужное, — я и сам могу письменно известить генерала Коцебу. А вы, если желаете, то можете сообщать нам сведения всегда, когда угодно. Вы мне и здесь пригодитесь. Паспорт ваш просрочен; я его возьму, а вам, если хотите, выдам новый, когда понадобится...

Это еще что за человек?.. Вид у него смелый. Он в своем роде может быть и опасен, и полезен нам, смотря по обстоятельствам. Мне хотелось взять его на всякий случай покрепче в руки. И я, подумав, решил даже выдать ему новый паспорт, просто как «русскому подданному», сохраняя в столе моем на всякий случай, как оправдательный документ, просроченный «*permis de résidence*», выданный консулом, который слыл скорее осторожным, чем слишком решительным. Я решил поступить не совсем правильно «по форме», вот на каких основаниях. В странах этих — в Турции, в Элладе, в дунайских небольших государствах, всегда было много людей с неопределенным подданством; разные «*protégés*», полу-подданные; люди имевшие по два вида, один по одной причине, другой — по другой...

Даже англичане, и те изредка выдавали какие-то сомнительные документы чужим подданным, ввиду каких-нибудь особых целей. Я говорю: даже англичане, потому что стать действительным гражданином Великобритании гораздо труднее, по существующим в Англии обычаям (или законам — не знаю), чем стать подданным австрийским, русским, турецким, греческим, французским и т. д.

«Политическая» цель даже и у английских чиновников нередко оправдывала на Востоке неважные по последствиям наружные нарушения формального порядка и законности.

Я для того назвал моего скуластого пройдоху в новом паспорте на французском языке «русским подданным», чтобы при случае нам было бы легче его вдруг схватить и

распорядиться с ним как угодно. При виде такого паспорта и турки, и румыны могли меньше мешать нам в подобном случае; да и раз, если нужно, схвативши его, я готов был бы на бумаге препираться с иностранными властями сколько угодно, до тех пор, например, пока мое собственное начальство не приказало бы мне освободить его.

Я дал ему немного «злата» и отпустил его пока на все четыре стороны.

Со староверами у меня в то же время отношения все ¹⁰улучшались не по моим только стараниям, но и сами собою — что гораздо лучше. Счастливые побочные случайности скрепляли эти узы, и мне оставалось только жалеть, что «медведь» не ревет, не показывается и не поднимается грозно и страшно на задние лапы...

Увы! он так и не заревел и не поднялся, а показаться — показался, положим, он мне, и совершенно неожиданно, но очень невинно, любезно и мило... Увы!

II

Я не могу не отвлечься...

²⁰ Я сказал, что с дунайскими староверами сношения мои сами собою (хотя, разумеется, и не без некоторых стараний с моей стороны) все улучшались и становились дружественнее и теснее около того именно времени, когда дошел до меня слух об *исполинских* замыслах «Гольденберга».

³⁰ Епископ Славский Аркадий был у меня с визитом, просидел очень долго и беседовал со мною очень душевно. Тульчинский староверческий священник о. Григорий посещал меня нередко и запросто, говоря, что всем я хорош, только одним плох: «бородку бреете; этим вы хуже прежнего консула К—ва; тот не брился, и за это мы его очень любили»... Про Гончарова и говорить нечего: он просиживал у меня по целым часам, и общество его было одно из самых приятных в мире. Беспоповцы тульчинские

несколько больше чуждались нас, чем все эти названные мною представители белокрыницкой (имеющей священников) паствы.

Я не думаю, чтоб это происходило от политической враждебности — ничуть, прежняя ненависть давно угасла, и вместо нее было и у беспоповцев заметно доброе к нам, «государственным никонианцам», расположение; я думаю, что беспоповцы гораздо реже показывались в консульство по двум причинам: во-первых, просто потому, что они были грубее, *серее* людей белокрыницкого толка и не имели у себя представителей, ловких и опытных в обращении с людьми всякого рода и звания, а во-вторых, по причине разных мелких религиозных неудобств и препятствий; например, хозяин дома, в котором я жил на берегу Дуная, богач-беспоповец Филипп Наумов, вынужденный обширными торговыми оборотами своими водить дружескую компанию с разными иноверцами, по кофейням и тому подобным местам ходил охотно, *но всегда носил с собою в кармане свой собственный стакан, чтобы, угощая других, пить чай все-таки из своей посуды.* Гончаров и другие «поповцы» были с этой стороны свободнее, и это, конечно, облегчало им с нами сношения.

Но при случайных встречах и делах со мною и беспоповцы были очень благосклонны и уважительны...

Тульчу и консульство мое посещали от времени до времени и староверы румынского берега.

У них был свой вождь и представитель, которого никогда почему-то по фамилии не звали, а все только Семен Васильевич. Это был пожилой, умный, солидный, себе на уме, но все-таки честный и добрый русский мужик, наружности весьма приятной и почтенной. И Василий Кельсиев о нем говорит в своих статьях с добрым чувством. Семен Васильевич был с Гончаровым почти во всем заодно и русской политике охотно служил еще задолго до моего приезда. Но к тому времени, когда я ждал с нетерпением своего галицийского противника, совершенно побочный семейный случай, как-то особенно кстати и очень сердечно,

сблизил нас с этим румынским политиком староверчества. Молодому сыну Семена Васильевича, парню ражему, здоровенному, рыжеватому, но довольно приятному собою, очень понравилась одна тульчинская «беспоповская» девушка. Где он, живший с отцом в Молдавии, по ту сторону Дуная, виделся с нею, как он с нею сблизился — не знаю; вероятно, ездая по делам каким-нибудь в Тульчу — только кончилось все это тем, что девушка эта в него влюбилась и решила тайно от своего отца обвенчаться с ним.

Молодой человек открылся своему отцу. Семен Васильевич охотно согласился и взялся сам помогать сыну. Они приехали с этой целью в Тульчу. Выбрали такой час, когда отец невесты уходит из дома по каким-то делам; от Григорий поспешил приготовить в церкви все, что нужно для венчания. Невесте дали знать; она нарядилась и, никем в доме не замеченная, бегом убежала в церковь. Семен Васильевич с сыном уже ждали ее. Венчание началось; народ соседний узнал, и скоро церковь наполнилась любопытными... Отец

был где-то далеко и ничего не подозревал. Наконец кто-то из близких ему людей отыскал его и сказал:

— Что ты тут делаешь?.. Твою дочь уж в церкви без тебя венчают.

Отец прибежал в церковь, но таинство уже было совершено, и обряд приближался к концу. Семен Васильевич подошел к беспоповцу и дружески сказал ему:

— Ну, что брат делать, прости ты нам! Видно на это Божья воля. Теперь уж не ищи ты их разлучить.

— Ну, что делать! Пусть будет по-вашему, — отвечал беспоповец и помирился.

Семен Васильевич на другое утро был у меня развеселый, сам всю эту историю мне рассказал и просил позволения вечером привести ко мне молодых «на поклон». Я с радостью согласился.

Как нарочно, с поздним австрийским пароходом в этот день приехал ко мне еще гость из Галаца, Митрович, агент нашего русского пароходства.

Когда стемнело, новобрачные пришли ко мне с добрым отцом своим пить чай.

Молодая, лет не более семнадцати, была в шолковом темноватом сарафане, в большом кисейном фартуке и в белой заячьей шубке, крытой зеленою шерстяною материею. На голове яркий малиновый шолковый платочек. Она была сложения нежного и очень бледна, черты лица у нее были тонкие и красивые, а глаза хотя и не большие, но черные, смелые и блестящие.

Мужу на вид казалось не больше 20 лет; он был в новой расшитой на груди дубленке, и так в ней и остался на все время посещения.

Оба они как взошли, так поклонились мне в ноги и, вставши, поцеловались со мною, а потом поклонились Митровичу и с ним поцеловались. Митровичу, которому приходилось чаще всего жить или в *нерусской* Одессе, или в Австрии, Румынии и Германии — до того понравилась эта патриархальная оригинальность, что он и не стал скрывать своего удовольствия, громко и душевно восхищался стариною и тотчас же послал моего слугу в лавку купить молодой в подарок хороший шолковый платочек, внимательно заботясь о том, чтобы он был не похож цветом на тот, которым была покрыта ее голова. И меня тоже очень тронуло это строгое и серьезное соблюдение древнего обычая, без малейшего оттенка подобиострастия или лести...

И какая могла быть тут лесть? Про Митровича и говорить нечего; они его видели в первый раз и не знали даже, кто он такой, а про себя... про русского консула в Тульче... надо сказать правду: «среда» нередко нужнее всякому политическому русскому деятелю в таком разлагающемся и сложном государстве, каково турецкое, чем этот деятель «среде»...

Мы провели этот вечер очень приятно.

Молодых я посадил на почетное место, на диван, за столом, а мы, старшие, сели кругом стола на стульях и пили чай. В угоду молодой мы с Митровичем оба отказались даже от папирос и пили чай не куря, чего я, по

крайней мере, ни для кого, насколько мне помнится — по охоте не делал, ибо хотя я очень люблю хорошие светские гостиные, но ничто вас так не раздражает, как эта какая-то нерусская претензия многих наших знатных дам не позволять у себя курить.

Обыкновенно, я в таких случаях отказывался и от чая, но иное дело европейские претензии какого-то полурационалистического характера, и совсем простодушные предубеждения своеобразного отечественного и милого сердцу моему «обскурантизма»!

Семен Васильевич для себя и не требовал подобного воздержания; он привык иметь дела с курящими людьми, но наше внимание к его похищенной по любви невестке видимо сильно его тронуло.

На другой день они оба вместе с Осипом Семеновичем Гончаровым обедали у меня и за обедом держали себя так хорошо, ели так ловко и прилично своими огромными рыбацкими руками, что дай Бог всякому. Они даже, не задумавшись, стали есть не хуже всех нас и пирожки с супом; ели именно так, как надо; тогда как многие европейцы не знают, что делать с этими пирожками, и я видел сам, как одна богатая венская немка, обедая в первом классе на русском пароходе «Таврида», положила, беспокойно озираясь, такой пирожок в суп!..

А наши старoverы в поддевках и рубашках на выпуск даже и не озирались!..

После этого дружеского обеда, мы втроем вдоволь побеседовали о текущих делах и вообще о политике, уверяя, что Гольденбергу нечего тут будет взять, если он приедет.

Случайное присутствие Семена Васильевича на турецком берегу имело для меня особое значение. Гончаров был человек характера очень живого, ума изобретательного и смелости редкой; все со смехом и шутками да прибаутками (иногда и весьма неприличными, но всегда почти забавными) он совершал самые важные и разнообразные дела... Я, веря его основному, так сказать, расположению к России и к русской политике того времени, считал его в то же

время способным на всякую выдумку и почти на всякий рискованный шаг, ввиду какой-нибудь ближайшей, очередной, по его мнению, цели. Я знал о его прежних сношениях с Кельсиевым, с поляками, с Герценом, с французским министром; знал, как он их всех обманул и как он их всех, так сказать, нам выдал и предал, добившись прежде с их помощью от Турции и Румынии нужных для староверов льгот... Я глядел на его длинную рыжую с проседью бороду, на это вечно веселое лицо старого русского балагура, на его серые, беглые и смеющиеся глаза, и думал. 10

— Ты, пожалуй, напишешь и три письма в пользу поляков и Петра III-го, когда тебе что-нибудь сейчас нужно для твоих общенекрасовских, а может быть, даже и личных целей!.. Напишешь и опять обманешь поляков и вывернешься, и отречешься как-нибудь искусно и от них, и от писем, потому что и по душе более все-таки ты нам сочувствуешь, да и по острому разуму твоему понимаешь, что настоящее и ближайшее будущее за нас, а не за них. Я не верю что-то, хитрый и милый рыжий мой, разгульный и набожный, истинно великорусский старик, на этот именно раз, я что-то не верю тому, что ты написал письмо в пользу Гольденберга. Не то время!.. Ты так умен, лукав и опытен... И так как ты пишешь по-детски, самыми грубыми и крупными печатными палочками, то всякий поляк, знающий по-русски, может, не рискуя быть сразу уличенным, подделаться под твой, почти безличный почерк, — с какою целью?.. Мало ли их, этих целей! Бывают у пройдох и личные цели — подслужиться, сведение важное сообщить. Сочинил же тот скуластый незнакомец, что из Галиции идет на нас «атака» чуть не бесчисленной кавалерии?.. Сочинили это письмо за тебя другие, мне все сдается, бедный мой Осип Семенович, а ты тут ешь мои пирожки и остришь, и про Герцена мне рассказываешь (атеизму в таком умном человеке все удивляешься), а моих секретных сведений про тебя и не знаешь! Не верю что-то я им, этим сведениям, Осип Семенович, не верю!.. Но знаешь, «береженого Бог бе- 20

режет»... Попробую пока на всякий случай подозревать тебя...

Так я размышлял, глядя на Гончарова; но тихий, основательный, сдержанный и осторожный Семен Васильевич производил на меня другое впечатление. Он был также очень влиятелен в своей среде, и раз он несогласен был с Гончаровым, раз он замешан не был в эти «письма» — половина дела была сделана...

10 Я больше верил в его личный характер, чем в характер Гончарова, и это неожиданное свидание с ним и долгая беседа утвердили меня окончательно в мысли, что это все вздор... Хотя, разумеется, вздор такого рода, которым пренебрегать заранее мы никакого не имеем права.

III

Итак, мы поговорили, простились друзьями, и Семен Васильевич уехал в Измаил с своими возлюбленными детьми. Гончаров отправился в одну из некрасовских деревень, а я остался на своем месте... Остался и ждал. Гольденберг все не показывался, и слухов о нем не было никаких. Я стал уже и забывать о нем за другими заботами и впечатлениями... 20

Однажды, под вечер, мне вздумалось зайти в одну кофейню. Кофейня эта находилась в месте вовсе не торговом, в дальней улице, на углу тихого переулочка, и отличалась приятным, как бы семейным характером. Хозяин ее, полурусский, полупольский еврей, предпочитал избранное общество многолюдству... У него были две взрослые дочери, которые, как «барышни», играли на рояли, пели и занимали разговором гостей. Рассказывают, будто бы они не дочери ему, а 30 прижиты были где-то в России женою его, еще до брака с ним, от какого-то дворянина, который и доставил им возможность получить небольшое образование.

В эту кофейню ходили иногда консулы австрийский, греческий, французский, турецкие офицеры и чиновники,

которые вообще держат себя в обществе очень скромно и хорошо, и торговые люди всех наций и самого высшего по состоянию слоя. В ней, в этой кофейне, никогда не бывало ни шума, ни крика, ни буйства, и даже случалось очень редко, чтобы разом в ней собиралось больше трех, четырех посетителей. Для карьеры молодых девушек это было довольно выгодно. К ним приходили точно в гости, слушать их музыку и беседовать с ними о том, о сем. Старшая — Софья, вскоре после моего приезда вышла замуж, по любви, за грека, служившего чиновником Порты; он был довольно хорошо принят в греческих домах торгового сословия. В кофейне оставалась тогда одна младшая, Розалия; она была во всех отношениях гораздо лучше и даровитее сестры, и одна продолжала привлекать посетителей.

В те сумерки, о которых я хочу рассказать, я зашел туда случайно. Пошел гулять, иду мимо; улица такая тихая; в окнах кофейни огонь и слышно, что Розалия что-то играет... Спinoй к окну сидит мужчина... Я очень давно не заходил... Подумал и зашел...

Поздоровался с Розалиею и, обернувшись, увидел того мужчину, который сидел у окна.

Розалия, «по-семейному», тотчас же рекомендовала нас друг другу: «русский консул, г. Леонтьев; г. Гольденберг», — сказала она, как ни в чем не бывало.

Мы поздоровались; Гольденберг раскланялся, как нельзя уважительнее, avec empressement. Так вот он, мой страшный Петр Федорович, еще раз восставший из мертвых!.. Не ожидал!

Мы сели и начался веселый, общий, неважный разговор. Я смотрел на своего противника внимательно.

Он показался мне роста среднего; был бледен, как-то сер, низок, очень длиннолиц, долгоног, и носил длинные и широкие книзу польские усы. Одет он был в какое-то форменное австрийское платье, военное или нет, не знаю. Может быть, я теперь уже и сбился в чем-нибудь, только мне словно помнится, что Розалия говорила, будто он военный доктор австрийской службы.

Прекрасно! Мы сидели с Петром III за одним столом, курили и пили кофе. Розалия слегка поддерживала общий разговор. Я похвалил ее игру, спросил: зачем она ее прервала с моим приходом, и просил возобновить.

— Что же вам сыграть теперь, не знаю, — сказала она.

— Что-нибудь наше, русское.

— Русское! А, ну хорошо! — воскликнула она и вдруг, плутовски и весело оглянувшись на меня, заиграла и запела:

Еще Польшка не сгинела
Покель мы...

Гольденберг «деликатно» чуть-чуть улыбнулся и быстро взглянул на меня... Розалия вдруг остановилась, захохотала, и, краснея, обернулась ко мне с видом почти умоляющим, точно говоря: «Не сердитесь, простите мое дурачество».

— Продолжайте, продолжайте, — сказал я ей с полной искренностью, — музыка эта мне ужасно всегда нравилась... Она такая лихая; так приятно возбуждает мне нервы... Играйте, играйте, — повторял я.

Но она не захотела продолжать; она не верила, видимо, искренности моего желания и боялась потерять выгодного для кофейни посетителя.

Я вздумал обратиться тогда к Гольденбергу и сказал ему так:

— М-лле Розалия напрасно не верит мне... А я в самом деле очень люблю все политические польские вещи. Чем они нам вредят?.. У нас, в России, например, славится опера Глинки «Жизнь за Царя»... Там поляки веселятся и пируют на радостях, что задумали убить русского Царя... Они пляшут мазурку, и пляска эта, и музыка, и костюмы польские до того хороши, что мы всегда с восторгом слушаем и заставляем повторять... Мы ведь очень хорошо знаем, что из этого геройства и молодечества ничего все-таки не выйдет... И победа окончательно всегда на нашей

стороне... Я нахожу даже, что поляки своими движениями скорее полезны, чем вредны нам... Ведь вы, если я не ошибаюсь, немец, и потому я говорю с вами так прямо... Не правда ли?

Гольденберг уже не улыбался, но, пока я говорил, он стал серьезен и сидел неподвижно, вытянув длинные и тонкие ноги свои; но когда я кончил и спросил у него, так «искательно» и невинно: «не правда ли?» — он вдруг взволновался, как бы с изысканною учтивостью что-то прошептал, вроде: «О... конечно»... или... «Oui, oui, sans doute»... И ни слова более.

Закончил и я; собираясь уйти, заплатил за кофе, простился с Розалиею; подал и *ему* руку. Он вскочил поспешно, расшаркался почтительно и пожал мне руку как нельзя сердечнее...

В тот же вечер г. Глизян принес мне известие об его приезде.

— Опоздали вы, — сказал я ему и рассказал о неожиданной нашей встрече.

Тем все и кончилось. Гольденберг скоро уехал, и я больше никогда уже о нем не слыхал.

«Синица собралась море зажечь» и не зажгла.

Да и собиралась ли она зажигать его в самом деле?..

Может быть, весь этот слух был не хуже сообщения моего грубого «варшавского выходца», который хотел ехать к Коцебу, «потому что скоро произойдет атака!»

Атака на карман — сперва консульский, а потом и на генерал-губернаторский.

Синица моря не зажгла: «медведь галицийский» ни одного даже бычка в раскольничьем стаде не тронул, а доставил лишь мне несколько приятных дней умственного и патриотического возбуждения.

И вера моя в балагура Гончарова оказалась верою правую, потому что он вскоре после всего этого решился на шаг, весьма для себя тяжелый и даже опасный — предал мне в руки одного староверческого священника, беглого из России и обвиняемого в убийстве, человека влиятельного и

характером, и физической силою без прибавления ужасного.

Итак, все выходило тогда в Тульче «по-нашему», и нам, русским, на выгоду. Как же мне не вспомнить об этом времени с радостью?

Гольденберг исчез; «скуластого солдафона» моего тоже долго не было видно; раз как-то встретил я его на улице, с синим шерстяным шарфом на шее. Он поклонился мне и больше ничего. В Одессу не ехал и денег еще что-то не просил. Но потом он вдруг о себе напомнил, да еще и как!..

Приносят мне раз русскую записку от человека не русского, но хорошего, надежного, довольно мне коротко знакомого, да и вообще в тех краях весьма известного.

«Поспешите распорядиться... Долгом христианским считаю предотвратить большое несчастье... Такой-то (мой солдафон, мой выходец) отправляется сухим путем в Руссук, для предания некоторых болгар турецкому начальству. Обещается открыть заговор... Я боюсь новых казней... Сообщено мне человеком знающим. Сами угадаете кем».

Записка была даже не подписана; видимо, что, жалея болгар, автор ее и себя хотел по возможности в этом случае оградить хотя сколько-нибудь. Я сказал, что он был не русский, хотя по-русски знал порядочно; скажу еще, что он был и не православный, не грек, не болгарин, не румын, не серб, не турецкий подданный, а человек западный и по крови, и по вероисповеданию...

Другой, знающий, о котором он упоминал, тоже был иноверец, но прекраснейший человек, и деловой, и благородный.

Друзья политические находились у нас везде, когда мы мало-мальски умели вести себя.

Какова, однако, шельма, бестия, мой скуластый выходец!..

Ну, постой теперь!.. ты ведь у меня «русский подданный»! Я сам тебя произвел... Хорошо!..

Полетела весть достодожным способом в Галац: «Известите в Руцуке Сученкова (генерального тогда консула) то-то и то-то. Можно схватить самим такого-то... Имеет от меня русский вид».

Из Галаца не замедлили ни минуты...

Время тогда было не шуточное. Вся Турция была в глухом брожении. Я напомнил уже раз или два в записках моих, что в Крите еще кипело тогда восстание. Еще недавно болгарские небольшие банды (*вопреки нашим советам*) врывались из Валахии в Турцию через Дунай и были уничтожены; еще очень недавно Мидхат-паша вешал болгар в Руцуке; он в одно даже время со мною ехал из Варны к Дунаю с этою целью. Недавно и австрийский консул в Руцуке, г. Мартирт, сам лично пришел на австрийский пароход с турецкими солдатами арестовывать двух новых «Инсаровых» — болгарина и серба, и их тут же, в каютах первого класса, убили, потому что они не хотели сдаваться и стали в турок стрелять... Окровавленные трупы их кинули на берег; перепуганные пассажиры, заранее спущенные на пристань, возвратились на места свои, и пароход пошел далее.

Как же было тут не спешить, и как было возможно тогда церемониться с людьми, подобными моему «псевдо-подданному»?

Схватить его и стереть с лица земли!..

Правда, мы болгар настойчиво воздерживали от неразумных по силам их движений; но другое дело «возбуждать», и другое — спасти погибающих...

Надо было «братушек» спасти...

И слава Богу — все обошлось и на этот раз благополучно.

Извещены ли были подозреваемые болгары вовремя и приняли свои меры предосторожности, или новый руцукский заговор был точно таким же вымыслом корыстного усердия, каким я считаю и всю эту историю новой пугачевщины под руководством Гольденберга, или Каминского, во всяком случае мы, служившие на Нижнем Дунае, очень

скоро получили от Сученкова из Рущука успокоительное уведомление; он извещал между прочим, что не нашел повода арестовать моего «выходца». Негодяй этот, вероятно, кидался туда и сюда с разными преступными политическими выдумками, чтобы перехватить что-нибудь то от нас, то от турок, то, может быть, и от кого-нибудь еще.

10 Ко мне он более не показывался; но, видно, достал наконец где-нибудь денег на рискованную поездку в Одессу, к генералу Коцебу. Что он еще сочинял — не знаю, но только я месяца через два-три после нашего с ним свидания получил бумагу от Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора с кратким вопросом: «На каких основаниях выдан *такому-то* *permis de résidence*, как *русскому* подданному?..»

Вопрос совершенно основательный.

Я отвечал на него приблизительно так:

20 «Чсть имею почтительнейше сообщить вашему высокопревосходительству, что новый *permis de résidence* я NN-скому выдавал на основании представленного им по прибытии из Галаца в Тульчу просроченного прежнего подобного же вида, выданного ему консулом нашим в Галаце. Разница та, что в прежнем виде он был обозначен „варшавский выходец“, я же нашел нужным (конечно, не совсем правильно) пометить его на новом русском подданным, ввиду важных и особенных политических целей. Действительных же прав русского подданного он, насколько мне известно, не имеет...

Чсть имею и т. д.»

30 В этом роде был мой ответ, и этим объяснением все дело кончилось.

Вредного человека этого или просто выслали из Одессы обратно или отправили еще куда-нибудь, куда и была ему, по всем признакам, давно дорога!

В течение полуторагодовой жизни моей в этой веселой, деятельной и пестрой Тульче у меня было много и других интересных дел и поучительных встреч, только не с поляками, а с людьми других национальностей и религий. О

поляках же тульчинских я сказал здесь все, что только можно было мне о них сказать. Я предупредил, впрочем, при самом начале моего рассказа, что к моему приезду в этот край анти-русская эмиграция, мнившая что-то серьезное здесь создать, уже почти вся растаяла, рассеялась и погибла.

Я увидел одни только жалкие подонки ее.

МАЙНОССКИЕ СТАРОВЕРЫ (ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ РУССКОГО КОНСУЛА)

Это было в 1872 году. Я был тогда консулом в Салониках и гостил на Святой Горе, которая входила в округ моего ведомства. Жил я попеременно то в Руссике, внизу у моря, на западном берегу Афонского полуострова, то в Андреевском скиту, на стороне восточной, высоко над морем, почти у вершины гребня. У стен Руссика цвели уже давно тогда на воздухе цветы; в сосновом лесу над скитом¹⁰ еще недавно только расстаял снег. Я ходил в церковь, по вечерам беседовал с монахами, катался верхом и очень много читал.

С дунайскими нашими «раскольниками» я довольно коротко познакомился уже прежде, когда служил в Тульче. О некоторых делах и сношениях моих с ними (хотя еще не обо всех) я печатал недавно в «С.-Петербур⟨ургских⟩ Вед⟨омостях⟩». О майноских же староверах я имел некоторое понятие только по очень хорошей статье Василия Кельсиева в «Русском Вестнике» 60 годов. Воспоминание²⁰ мое об этой статье в общем было ясное; подробностей хорошо не помню... Помню — местность дикая, поэтически-забытая; соседи — сельские турки в чалмах, по древнему... Какой-то турак едет верхом. Старовер его хвалит; опрятные хаты; жизнь тихая, простая и верная «преданию» отцов. Что-то, я помню, Кельсиев говорит о хороших русских полотенцах, о старинных узорах их... Больше ничего... Помню еще одно, пожалуй нечто политическое —

именно то, что майносские старoverы были очень расположены к туркам в то время, когда этот беспокойный, даровитый и несчастный искатель приключений, Василий Кельсиев, посетил Майнос.

И вот где, на православном Афоне, пришлось мне встретить этих оригинальных представителей старой России; пришлось беседовать с ними не раз и расстаться подружески. Не знаю, помнят ли меня «добром» эти два казака, а я о них с большим удовольствием вспоминаю.

В первый раз я увидел их в церкви. Они оба стояли сбоку, в «стасидиях», у стены; мое (консульское) место было спереди, у колонны, перед самым иконостасом. Я только прошел мимо них по церкви, и так как они остались далеко позади меня, то я и не мог видеть, молились ли они «по-своему» в «нашем» храме, или нет; но я слышал от монахов, что ходят они на богослужение часто и очень внимательны. Впрочем, не только таким горячим поклонникам благолепной обрядности, каковы вообще русские старoverы, но и всякому человеку, не лишенному чувства прекрасного, русская служба на Святой Горе не может не нравиться, так она стройна, внимательна, строга; так она искренна; облачения и вся утварь так красивы, так чисты, в иные празднества так роскошны; пение так просто и так хорошо...

Я уверен, что на присоединение майносцев ко Вселенской Патриархии больше всего повлияло это пребывание их в Руссике в 1872 году. Они, впрочем, и приехали, как я уже сказал, к русским святогорцам именно с целью просить у них совета, как войти в соглашение с Патриархом. Старцы Руссика обратили, конечно, на это дело должное внимание. Они подолгу беседовали и спорили с казаками; обращались с ними внимательно и ласково; приставили к ним особо одного весьма умного, доброго и духовно-начитанного монаха-москвича, который сам был прежде старообрядцем и присоединился к господствующей Церкви по искреннему убеждению. Этот человек, разумеется, лучше всякого другого мог найти ответ на все сомнения и вопро-

сы этих еще колеблющихся людей, так как сам лично пережил все тягости и опасения подобной борьбы. Мне самому еще прежде приходилось не раз беседовать с этим почтенным и приятным человеком, и я до сих пор с большим удовольствием вспоминаю о нем. Я помню, между прочим, одно его замечание о староверчестве в России, которое меня поразило глубиною своею и остроумием.

— Конечно, — говорил мне отец М., — я присоединился по искреннему убеждению к господствующей Церкви, и несомненно, что раскол староверчества произошел только от невежества и непонимания существа дела; но, с другой стороны, признаюсь, что я до сих пор вижу в этом историческом явлении — великое и благое смотрение Божие... Староверчество было и еще до сих пор остается могущественным тормозом для России. Бог знает, куда бы зашли без этого народного тормоза наши образованные миряне и даже наше ученое духовенство... Есть-таки много расположения к чему-то почти протестантскому со времени Петра Великого...

20 Меня как светом озарили эти слова. Может быть, для людей, хорошо знакомых с этим вопросом, в них нет ничего нового; но для меня эти отрывки и очерки, которые я теперь там и сям печатаю, суть не что иное, как главы из моей собственной автобиографии или отрывки из моих «мемуаров», и потому я и пишу о том, что для меня тогда было ново и поразительно.

Вот этого столь умного и симпатичного отца М. старцы Руссика хотели послать с казаками в Малую Азию, как «катехизатора» или проповедника. Лучшего выбора нельзя было и сделать.

30 Но отец М. не был священником, иеромонахом; он был просто мантийный монах; поэтому, кроме его, катехизатора, для майносцев необходим был, в случае их присоединения к Патриархии, и совершитель таинств и треб.

Старцы Руссика называли казакам по имени нескольких из своих иеромонахов и сказали, что предоставляют им самим выбрать того из этих иеромонахов, который им

больше понравится, и войти с ним в свободное соглашение. А принуждать ехать к ним они своих иеромонахов не станут.

Сверх всего этого, духовники, сообразно желанию самого Патриарха, занялись в то же время составлением большой записки «об единоверии в России». Патриарх желал подробно ознакомиться с теми основаниями и правилами, на которых допущено у нас «единоверческое» общение староверов с господствующею Церковью.

Так деятельно и настойчиво взялись за это дело, и христианское, и национальное, духовники монастыря Св. Пантелеймона. Вопрос этот, или это движение, чисто религиозное по целям и существу своему и со стороны майноских казаков, и со стороны членов греко-российского духовенства, косвенно в то время было и для церковного «домостроительства», и даже для государственной политики нашей, в высшей степени полезно.

Надо помнить, что за время было в 1872 году. Никогда Греко-Российская Православная Церковь не была потрясена так опасно и глубоко на основаниях своих, как в эти годы лукавых и дерзких болгарских претензий, греческого гнева, турецких интриг и русского... как бы это сказать?... положим, русского либерального простосердечия. У многих русских политиков и публицистов в то время не оказывалось ни действительно православного оттенка в страхе Божиим, ни глубокого, пронизательного, истинно-государственного макиавеллизма. Страх Божий, боязнь согрешить перед Церковью во имя революционного и совершенно бессодержательного славизма склонил бы невольно сердце наше в пользу высшего авторитета Восточной Церкви, в пользу того Патриаршего Престола, от которого мы приняли когда-то веру нашу и с которым пребывали столько веков в благодетельном и необходимом общении, а верующее, богобоязненное сердце научило бы нас, как направить политическую мысль.

Что касается до макиавеллизма, до мудрости, то она могла бы стать истинно змеиною именно при условии

голубиной кротости против Патриархии (или вернее — против защищаемых ею уставов и великих преданий)! Объясняюсь повразумительнее. Эллинство, или эллинская национальность, хотя и очень важна для нас на Востоке с чисто политической точки зрения — по передовому географическому своему положению, по силе торговых и мореходных способностей своих, по чрезвычайно оригинальному и многозначительному соединению в среде своей крайней первобытности, дикости и наивности с большим
10 разлитием грамотности и даже сравнительной учености; но все эти важные черты новогреческой национальности становятся второстепенными и даже ничтожными, когда мы сравним их с тем значением, которое имеют греки для православной России как представители и носители церковной идеи на Востоке, как исторические (т. е. не принципиальные, а временные) местоблюстители четырех великих Патриарших Престолов, как самые верные, опытные, способные и твердые охранители самых древних и,
20 так сказать, «из первых рук» полученных преданий и уставов Вселенского Православия.

Говоря иначе и еще яснее: не греки должны быть важны для нас сами по себе, как греки, а важны Восточные Церкви, по исторической случайности оставшиеся в руках греков. Если бы в Тибете или в Бутане господствовало бы среди каких-нибудь монголов древнее Православие, если бы далай-лама был православный Патриарх самой чистой монгольской крови, то такие монголы и такой далай-лама должны бы быть нам неизмеримо дороже всей массы славянского эгалитарно-либерального
30 многолюдства, начиная от Ригера и Короля Милана и кончая моими хорошими знакомыми, Бурмовым и Балабановым.

Нам прежде всего нужен Вселенский Престол на Босфоре для дальнейшего церковного домостроительства, какой бы крови человек ни восседал на этом Престоле. Престол этот вскоре должен или совершенно пасть, или стать Вселенским не по имени одному, а по действительному

значению. Никакие каноны не обязывают Православную Церковь держать на нем грека во что бы то ни стало, и недалеко то время, когда сами греки вынуждены будут если не понять, то допустить это.

Но пока этот великий, центральный и спасительный по своей будущности Престол в руках греков, нельзя раздражать их какими-то «славянскими» бравадами, в которых нет ни ума, ни дальновидной политики, ни христианского смирения со стороны сильного (т. е. России) перед слабым, но правым духовно (т. е. перед Патриархом)... 10

С своей стороны и со своими политическими оттенками, афинские либеральные политики так и рвались тогда к разрыву с Россиею под влиянием западных внушений и собственных демагогических инстинктов; они всячески склоняли к этому разрыву и цареградских греков... Но эти самые «фанариоты», на которых и до сих пор у нас, — одни по наивности и незнанию, а другие по истинно глубокому и неисчерпаемому коварству, — продолжают нападать, — эти фанариоты своею мудростью и воздержностью спасли почти погибающий корабль Православия... Раздражению, легкомыслию, западничеству со всех сторон: с афинской, с петербургской, с московской, с болгарской, даже и с турецкой, был дан тогда полный простор... 20

И вот, в такое-то время являются из забытой, дикой «Анатолии» на Святую Гору, в греко-русский монастырь, два русских простых мужика старомосковской веры, широкоплечие, рубашки навывпуск, едва грамотные, ни в какой разрушительный (т. е. либеральный) племенной спор не замешанные, ничего этого даже и не знающие, но верные лишь глубоким и могучим преданиям своим, — являются они — для чего же?.. Для того, чтобы, видя беспомощность и нестроение своей осиротелой Церкви, искать совета у духовных старцев и помощи для приближения к самому источнику древней веры, к босфорскому средоточию; для того, чтобы припасть к ступеням именно того великого Престола, иерархи которого окрестили и Ольгу, и Влади- 30

мира, и всю киевскую и новгородскую Русь, и которого основания в то время ваши деловые и умственные руководители потрясли...

Мужики эти пришли на Афон и спросили:

— Научите нас, настоящих русских (т. е. не переживших «восхитительной» петровской и петербургской цивилизации), — научите нас, русские старцы, как воссоединиться нам с Православною Церковью...

— Чего же лучше, — отвечают русские старцы, — воссоединитесь с Вселенскою (греческою) Патриархией... От нее зависеть во многих отношениях гораздо лучше, чем от какой-либо другой.

— Да мы так и думаем, так и желаем, — говорят казаки, мужики умные, простые и верующие...

Вот что было важно: это внезапное напоминание о том, что не в болгарях, а в греках сущность нашего дела на православном Востоке...

Майносыцы прожили в Руссике довольно долго; ходили в церковь, ходили в другие монастыри, беседовали с духовниками и спорили с ними; готовые присоединиться, согласные в основаниях, староверы беспокоились, по-видимому, только о частностях, о некоторых практических условиях примирения. Иные из этих условий были очень странны; например, я слышал, будто бы они хотели, чтобы русский православный иеромонах, которого они, по благословению Вселенского Патриарха, возьмут с собою в Малую Азию, проклял бы русскую господствующую Церковь (и если не ошибаюсь, вместе с нею и все восточные), только не при всем народе, а келейно, при пяти-шести стариках, которых никак не уломаешь.

Они желали, чтобы этот иеромонах, представитель примирения и воссоединения, предавал бы притворно анафеме именно ту Иерархию, которой они желали подчиниться и через посредство которой надеялись получить благодать!

С такими-то оригинальными претензиями майносцев приходилось считаться опытным и даровитым русским духовником на Святой Горе.

Вскоре после своего приезда майносы захотели и со мною познакомиться. Монахи передали мне это, и я с радостью согласился провести с ними целый вечер в моей келье в гостинице.

Они пришли не одни; с ними были двое знакомых мне монахов и один какой-то новый и невзрачный, приехавший тоже недавно из России; этого я видел в первый раз, и он тоже изъявил желание познакомиться и побеседовать со мною.

Надо заметить, что я более двух лет одевался по-русски¹⁰ везде, где только это позволяли стеснительные (и с этой стороны, только с этой, даже несчастные в моих глазах) приличия моей казенной службы.

Петр I-й, с своим безвкусным европеизмом, держал меня в железных руках своих и в 72-м году XIX века, на дальнем юго-востоке!.. К европейским консулам, например, я вынужден был ходить в «немецком» платье, чтобы свое собственное начальство не сочло бы меня за сумасшедшего и не лишило бы меня должности, которою я во всех отношениях дорожил. До мнения же самих западных²⁰ иностранцев мне не было никакого дела, или вернее сказать — их осуждения и недоброжелательство были мне в высшей степени приятны, и я старался только об одном, чтобы по внешности никогда не ссориться с ними без нужды; я, так сказать, желал всегда жить с ними в дипломатическом мире, но в то же время в глубочайшем бытовом или «культурном» отчуждении; я не понимаю, почему я буду читать и сам даже писать статьи в таком духе, а в жизни сам не буду делать того, что проповедую и о чем печатаю...³⁰

Прошу простить мне это отступление. Оно не так бесполезно, как может казаться с первого взгляда.

Не говоря уже о том, что считать одежду не важным и чисто внешним делом есть одно из самых больших заблуждений наших, ибо ничего внешнего без внутренних, духовных побудительных причин у человека не бывает, — я потому еще упомянул о том, как я тогда постоянно одевал-

ся и на Афоне, и даже в городах, чтобы, с одной стороны, не скрыть, как это на казаков подействовало, а с другой — не возбудить в читателе напрасное подозрение, что я оделся по-русски только в этот день, для приобретения «популярности». Нет, я носил бархатную поддевку, высокие сапоги и шелковые рубашки разного цвета «навывпуск» для себя, потому что нахожу это более красивым и благородным; но для популярности, я не скрою, сделал нечто другое, гораздо более трудное.

10 Я решил целый вечер не курить при казаках и заблаговременно приказал вынести из комнаты не только папиросы и табак, но даже и пепельницы, чтобы им ничто не напоминало о ненавистной им траве, «выращенной самим адом на могиле блудницы».

Майносы пришли ко мне в назначенный час в сопровождении отца М. и того приезжего из России монаха, о котором я уже упоминал.

20 Один из казаков был атаман. На вид казалось ему около пятидесяти лет, а может быть, было и менее. Росту он был хорошего, хорошо и плотно сложен, черноволосый с проседью; черты лица красивые, правильные; лицо смугловатое, а глаза большие, черные, томные, необыкновенно приятные и добрые... Глаза эти были до того томны и приятны, что им бы, кажется, принадлежать нужно молодой, мечтательной и страстной девушке, а не седеющему казацкому атаману!.. Одет он был в казацкий «мундир», 30 данный казакам еще тем самым Петром Первым, от которого они бежали. Мундир этот был нечто вроде поддевки или кафтана, с округленным, открытым воротом, без стоячего воротника; сукно было темно-зеленое, «казенного» русского цвета; и даже не того очень темного, почти черного цвета, который мы видим теперь на наших мундирах, отливающего в зеленое только на сильном освещении... Нет, поддевка эта была гораздо зеленее и напоминала цветом или кафтаны самого Петра на портретах, или ближе к нам, французские картины и раскрашенные гравюры времен борьбы Александра I с Наполеоном... На них сукно

русских мундиров почти всегда очень зелено и очень резко отличается от синего цвета «великой армии». Ворот, обшлага и полы этого форменного кафтана были кругом обшиты красным сукном. Рубашка русская, навывпуск, белая полотняная, и сапоги по-русски, высокие.

Товарищ атамана был разговорчивее и, видимо, несравненно способнее и смелее его. Складом он был еще пошире, поплечистее атамана; белокурый, широколицый, рябоватый; глаза у него были острые, хитрые, сердитые. Одет он был тоже по-русски; но рубашка его была цветная ситцевая и поддевка обыкновенная, не мундир.

Пришли они; я подал им руку, пригласил сесть, и разговор очень легко у нас завязался. Предметов для беседы у нас было много.

Сначала я говорил с ними об их родине, о Малой Азии, расспрашивал кое-что об их обычаях, одеждах, об их соседях, малоазийских турках, жалел, что не могу поехать к ним посмотреть на все это; говорили мы и о дунайских староверах, с которыми я уже был недурно знаком, после службы моей в Тульче, об Осипе Гончарове, которого они, конечно, знали (кто его только не знал), упоминали и о Кельсиеве. По поводу всего этого я услышал от казаков много любопытного и поучительного. О Кельсиеве они отозвались небрежно. Выражений самых не помню и не хочу принимать на свою ответственность того, о чем верно не помню. Смысл их мнения, впрочем, был вроде того, что Василий Кельсиев «пустой человек». Я, помню, немного за него заступился; похвалил его способности и сказал только, что он брался не за свое дело.

— Если уж решаешься на преступное действие «бунтовать» народ, так надо браться умеючи, — сказал я, — надо знать, что именно народ раздражает, что в особенности ему не нравится, или чего он для себя больше всего желает, а не переделывать сразу мысли народа. Вот, — сказал я, — греческие попы и монахи в 21 году бунтовали греческий народ против турок, за поправленную будто бы веру. Вере православной турки ничуть не вредят; скорее полезны...

Майносы перебили меня искренним одобрением.

— Что турки!.. Турки в это не мешаются!.. От турка какой вере вред!

— Однако, — продолжал я, — греческий народ охотно восстал будто бы под знаменами Православия, потому что другими стеснениями был недоволен. Оно, конечно, всякое восстание против законного, даже иноверного, Государя — грех. Христиане первых веков не восставали против римских Кесарей, хотя Кесари хотели бы вовсе вытравить Христианство, а давали себя охотно мучить и терзать... Ну, разумеется, и восстание против Султана — дело не так чтобы настоящее христианское; и вот наш покойный Государь Николай Павлович терпеть не мог, чтобы здесь христиане бунтовали; он находил, что русский Царь может сам их облегчить или и совсем освободить, когда ему будет это угодно. И грекам в 29 году он помогал по крайности, чтобы без участия России здесь бы дело не кончилось... А все-таки народ греческий в такие тонкости не входил; сказали «вера поправа», греки и восстали. А Василий Кельсиев и подобные ему молодые люди приходят к народу и говорят прямо свой вздор: «К чему это вера, к чему этот Бог, через них только стеснения»... Вот в Галаце, или в Тульче, не помню, он и вздумал православным малороссам это самое говорить. Пришел в кабак, выпил с ними и говорит: «Люди вы не глупые, а в Бога верите; ну, какой там Бог!» Так хохлы его так крепко и жестоко побили, что он недели две в постели лежал и лечился. Мне это в Тульче рассказывал доктор Эпштейн, еврей, который сам его и лечил. А я Кельсиева еще считаю гораздо умнее других наших бунтовщиков; он и покался скоро.

Казаки и монахи весело и сочувственно засмеялись. Казаки спросили о том, что теперь Кельсиев делает. Я рассказал, как он перешел границу, как его посадили в третье отделение, как он описал откровенно все свои «прежние» мысли, и слышно, будто бы эти признания представил самому Государю. Государь прочел, увидел его искрен-

ность, простил ему все и не только дал за эту прямоту и раскаяние полную свободу, но даже разрешил поступить на какую-угодно царскую службу.

Кзаки видимо были тронуты, сочувственно одобряли и спросили с любопытством:

— И что же, дали ему должность? Служит он?

— Нет, — сказал я, — не стал он служить. Пишет теперь и печатает книги против поляков и наших бунтовщиков; и об вас, о староверах, очень хорошо отзывается.

Рябой старовер сам начал говорить о нечаевской истории, о которой (не помню) сам ли он только что читал в газетах, или кто-нибудь из монахов ему подробно рассказывал.

— Вот тоже вздумали в России сделать «распублику», — сказал он сурово. — Да это весь народ за Царя поднимется. Хоть бы и мы — вот и в Турции живем, а и то, кажется, растерзали бы их за это!

Я охотно согласился, что их жалеть не следует потому, что они нашей святыни не жалеют.

Тут в первый раз вмешался в наш разговор тот невзрачный православный монах, который просил позволения провести у меня вечер вместе с майносскими казаками. Он повторил тот вздор о досаде господ на Царя за эмансипацию, который так долго и с таким упорством держался, и, быть может, держится еще и теперь, местами, в народе нашем.

— Удивительно вот что, — заметил он, — положим, что дворянские «дети» сердятся на Государя за то, что он освободил крестьян, а зачем с этими бунтовщиками попались и мещане какие-то — это истинно удивительно!..

Прежде чем я успел ответить на это невзрачному монаху, отец М. довольно сурово оборвал его следующими словами:

— Дворяне тут не причем! Это безбожники и безумцы из всех сословий, которые стремятся все ниспровергнуть и ускорить господство безверия...

Я очень был рад, что отец М. поторопился оборвать демократические рассуждения этого неизвестного мне и

весьма непривлекательного инока; в подобных случаях я всегда, скрепя сердце, вынужден был отделяться такими общими местами, которых по личному складу моему я терпеть не могу. А другого исхода мне не было, потому что русское дворянство как дворянство я крепко люблю, даже иногда и с пороками его; но русскую «интеллигенцию», как интеллигенцию слишком западную, либерально-демократическую по духу и слишком буржуазную по формам и привычкам, ненавижу донельзя. Хотя эти два социальные

¹⁰ круга: «интеллигенция» и «дворянство», конечно, не покрывают друг друга вполне, но все же у них, к несчастью, есть такая обширная общая площадь пересечения, что иногда очень трудно решить, не только в практической жизни, но и в принципе, где кончается настоящее дворянство — родовое, властное, привычное и умеющее владеть, рядить и судить, и готовое само нести ответственность и бремя государственного долга, и где начинается обыкновенная и презренная буржуазия XIX века?.. Нередко в наше время в одном и том же человеке видишь разом и то,

²⁰ и другое; одно, которое хотелось бы укрепить и упрочить; другое, которое с радостью стер бы с лица родной русской земли. Поэтому, нанося удар словом или каким-либо действием «интеллигенции», легко нечаянно нанести удар и тому дворянству, которое любишь и чтить; и наоборот, восхваляя дворянство или как бы то ни было потворствуя ему в наши дни бессмысленного и всеразрушительного смешения, можно легко и ненароком послужить и отвратительной нашей общеевропейской буржуазии, носящей только русские и православные «имена».

³⁰ Вот почему я был так рад, что умный отец М. избавил меня от необходимости кое-как, и во всяком случае не полно и не ясно, ответить этому монаху, приехавшему из России с такими глупыми заблуждениями.

Чтобы переменить предмет разговора, я стал расспрашивать майносецев об их быте, о соседних им по Малой Азии нациях и племенах, о русском старинном шитье, о полотенцах, которые хвалил Кельсиев, о рубашках, выши-

тых шелками, о которых я слышал. Они обрадовались, что я хвалил эту старину, и обещались мне непременно выслать из Майноса одну вышитую шелками рубашку и несколько самых хороших полотенец, а потом стали говорить о разных соседних Майносу племенах и народах. Лучше всех, по мнению казаков, турки; хуже всех болгары. Про малоазийских турок они говорили с восхищением: «Они гостеприимны, добры, ласковы. Во всякой большой деревне у них найдется построенный „для Бога” каким-нибудь богатым человеком особый дом для путников. Там накормят даром и всячески успокоят».

Про болгар же наш старовер сказал коротко и ясно, с большим отвращением в тоне: «Это самый противный народ».

Я не расположен сегодня к длинным рассуждениям и потому не стану распространяться на эту тему, на которую можно бы сказать еще много очень любопытного и поучительного. Я даже не прибавлю ни слова к сказанному; я ручаюсь только за историческую точность факта, и больше ничего. Так действительно выразился старовер коротко и резко и не сказал о болгарях больше ничего. Разговор как-то сам собою опять переменялся, и я больше казаков ни о болгарях, ни о турках не расспрашивал.

Гости мои ушли от меня довольно поздно; я остался ими очень доволен; все, что они говорили, мне очень нравилось; я со всем почти был согласен; а на другой день духовник сказал мне, что я, с своей стороны, тоже очень им понравился.

— Чем же? — интересно знать их старорусское мнение...

— Ну, консул! Вот это консул так консул! — говорили они духовнику. — Русское платье носит, бородку не бреет, табаку не курит!

Духовник, улыбаясь, сознался мне при этом, что в одном отношении он разочаровал их:

— Платье-то он русское, это правда, что очень любит; любит всегда его носить, кроме необходимости по служ-

бе, — сказал он казакам, — ну а насчет табаку другое дело; целый день курит, это он только для вас весь вечер терпел без папиросы и велел все это из своей кельи вынести.

Однако, по свидетельству духовника, майноscopy, и узнав правду, все-таки остались мною очень довольны, за то, что я им такое «уважение» сделал, и называли меня за это «умным человеком».

10 Вскоре после этой вечерней беседы нашей староверы из Руссика исчезли куда-то, я долго их не видал и, занятый другими, более мне близкими делами и мыслями, даже и не расспрашивал о них. Они, кажется, пошли осматривать другие афонские обители, греческие и болгарские. Наконец мы увидались случайно еще один раз, и то минут на десять, не более, в лесу; эти десять минут, впрочем, стоили десяти дней по оригинальности разговора нашего; этот краткий и веселый разговор показался бы всякому очень дорог для того, что зовется изучением «духа» и нравов.

20 Я ехал верхом из Руссика в Андреевский скит, через гору, по густому лесу. До верхушки, за которою уже начинается спуск на восточную сторону Афонского хребта, оставалось немного; привычная лошадь взбиралась сама по камням, не спеша и не спотыкаясь; я курил, задумчиво опустив поводья. Вдруг — смотрю, навстречу мне, с горы, идут пешком мои староверы. Я издали узнал зеленый кафтан с красною оторочкою безмолвного атамана и дикенский ситец русской рубашки его рябого спутника, оратора и политика.

30 Мы поравнялись. У рябого умника в руке была бутылка, заткнутая бумажкою. Я думал, в ней вода ключевая для жажды в пути, но в ней оказалась «очищенная» хорошего завода. Казаки мне обрадовались.

Рябой закричал: «А! „капитане” наш! Вот он! Здравствуйте, здравствуйте, как здоровье?..»

Седой атаман, опять все молча, улыбался мне, протягивая руку, и глядел на меня любезно своими большими и томными очами.

Не сходя с коня, я поговорил с ними. Началось с того, что рябой подмигнул мне на свою бутылку и спросил: «Не выпить ли?» Я сказал, что курил папиросу в минуту встречи, и она была еще в руке моей, когда мы здоровались. Казак подмигнул на свою водку, а я в ответ показал ему эту папиросу и сказал:

— Как же можно моим «табачным» и «никонианским» устам прикасаться к староверческой бутылке? Ведь я до русской водки не большой охотник; оскверню вам только бутылку, и пропадет ваша водка напрасно; вы ведь ее выльете после...¹⁰

— Ну, вот еще! — с досадою возразил рябой, протягивая мне бутылку, — пожалуйте, кушайте... Это даже обидно то, что вы нам говорите. Мы сами с вами вместе из нее выпьем.

Даже и атаман вдруг заговорил.

— Что вы, что вы! Кушайте на здоровье! Мы вас просим!..

Рябой вынул бутылку, вытер ладонью пыль и подал мне бутылку; я прямо из горлышка выпил порядочный глоток и возвратил бутылку; тогда мой казак, уже не вытирая после меня ладонью, тотчас же вслед за мною приложил бутылку к губам своим и выпил. Атаман последовал его примеру. Больше мы не пили, и никому видимо не хотелось.²⁰

Все это было лишь одною дружескою «демонстрациею» национального и даже, пожалуй, что и религиозного общения. Оставлены прежние предубеждения. Пьем с тобою даже из одного сосуда и не видим в этом греха, и не брезгаем!..

Мы еще постояли. Они рассказывали кое-что об Андреевском ските и о других святогорских обителях, которые они посетили; я вспомнил опять о вышитых рубашках и полотенцах и стал просить, чтобы они непременно выслали их мне за цену не слишком дорогую. Атаман тогда сказал:³⁰

— Мы тебе даром вышлем. Нам денег твоих не нужно. Да ты бы лучше сам к нам в Майнос приехал.

— И то, и то, К. Н—ч, приезжай-ка к нам! — воскликнул рябой политик.

Вот тут-то и случилось очень забавное недоразумение.

Я хотел ответить казакам совсем не то и не так, как ответил, и они поняли мои слова совсем не в том смысле, который я им придавал.

Надо объясниться.

Я вообще терпеть не могу ездить морем... Мне тошно и в самую тихую погоду; один запах каюты приводит меня в отчаяние; к тому же, я ненавижу до болезненного чувства всякие табль-д'оты; не могу видеть, что рядом со мною и против меня сидят какие-то неизвестные мне личности. Сидят, глядят, едят, и все так спокойно и «равноправно», и я ничего не могу им за это сделать!.. Но из-за табль-д'ота я могу уйти, могу запереться в номере и заплатить дорожке за обед, который мне принесет в номер «гарсон» или «кельнер», положим, тоже нередко ужасный для меня в своей «*dignité de l'homme*», но все-таки зависящий по крайней мере от меня через то, что я могу ему дать «на чай». А куда денешься с парохода?.. И это все «люди», и с ними вместе мне даже и тонуть, если что случится.

Теперь, я полагаю, стало довольно ясно, о чем я думал, сидя верхом перед казаками в ту минуту, когда они предложили мне ехать к ним в Майнос через Мраморное море. Хотя бы и восемь часов — и того много, без крайности.

Я думал о пассажирских пароходах, я вспомнил с тоскою бессилия о запахе этих ужасных кают, о своих физических страданиях на море, и обо всех этих бородатых и самодовольных «европейских» лицах.

Я не мог и не был ничуть расположен развивать казакам этого склада «культурные» мысли и этого рода личные вкусы мои, хотя я уверен, что они азиатским инстинктом и старообрядческим «отчуждением» своим гораздо скорее поняли бы меня, чем даже многие из знакомых мне русских консерваторов образованного класса.

Все это так, но мне начать говорить прямо об этом что-то не хотелось, и я ответил на любезное приглашение

казаков, как оказалось потом, вовсе неудачно, и ввел их в глубокое заблуждение.

Я ответил так:

— Легко сказать: приезжайте в Майнос!.. Вы меня не знаете. Я человек ужасно избалованный...

К чему у меня сорвалось именно это неискреннее слово, не знаю. Я никакой избалованности в моем непобедимом отвращении к пассажирским пароходам не вижу. Однако я так сказал: избалованный... Каковы же были мое удивление и моя досада, когда эти патриархальные широкоплечие «древние» ревнителы веры и церковного благочестия (хотя бы и по своему понятию) переглянулись плутовски, засмеялись, и рябой весело воскликнул:

— Э! капитане ты наш!.. Насчет «баловства»-то этого у нас вольно... Девушки у нас веселые, хорошие!.. Это и я тебя сам познакомлю!..

Я был просто сражен в первую минуту!.. Мои мысли, тогда столь печальные, унылые, строгие, смертельно мрачные, были до того далеки от всего подобного, что я содрогнулся от ужаса и отвращения, услышавши такие «блудные» речи от набожных людей.

И где же?.. В священной и безмолвной тени святогорского леса!

Опомнившись, я сказал им так:

— Нет, вы не так мои слова поняли. Я человек больной, чуть живой, и мне даже страшно слышать то, что вы говорите. Не в этом «баловство» мое, а в том, что там, где у другого выйдет четыре золотых турецких на дорогу, потому что он морем поедет, у меня выйдет 40 этих золотых, потому что я морем ездить терпеть не могу и поеду через горы и поля 20 дней вместо нескольких часов, с пятью-шестью человеками прислуги и провожатых. А это не наготовишься денег. Поняли?.. Я вот какой на это сумасшедший: если бы я разбился о камни в горах или какой-нибудь разбойник подстрелил бы меня, то хотя это мне и не желательно, а все как словно мне-то это и не грех, и не стыдно; а вот если бы закричал кто-нибудь

на пароходе вдруг: «тонем! гибнем!» — то первая моя мысль была бы: «О, Боже! зачем я на такую гадость, по малодушию, решился!» Со всеми этими немецкими и французскими фигурами в пиджачках и сюртучках — это мне тонуть! Вот ведь глупость какая! В Майнос ехать сухим путем мне было бы очень приятно, но для этого с Афона надо через Салоники ехать, сперва через всю Македонию на южную Болгарию, на север, до Адрианополя на долгих; это целый месяц; а потом к югу опять в ¹⁰ Царьград по железной дороге, и потом уж с азиатского берега в Царьград верхом еще сколько к вам. Какие же это траты, посудите?.. А через Мраморное море я не поеду. Вот оно какое «баловство», а до ваших «веселых девушек», господа, мне и дела нет!.. И прошу вас даже, Христа ради, обо мне и не думать этого!..

Сказал я все это не без волнения. Майносцы слушали почтительно и серьезно и показывали по крайней мере вид, что поняли меня. Я протянул им руку, они оба крепко пожали ее, еще раз обещали вышитую рубашку и полотенце, и мы расстались... навсегда, вероятно. Я больше их не видал нигде. ²⁰

Однако, вскоре после этой встречи в лесу, мне случилось вспомнить о них, беседуя как-то с одним из самых опытных и способных иноков Руссика. Кстати я рассказал ему об их приглашении в Майнос и о том их мнении, что «побаловаться» там можно. Я заметил при этом вот что:

— Наши русские простолюдины во многом очень загадочны; или они очень сложны, или, напротив того, как-то недокончены, не знаю... Только ведь не меня одного это поражало. Многие в России уже и писали об этом. Вот ³⁰ вы, батюшка, сами мне говорили, что смолоду читывали романы г-жи Радклифф. Теперь у нас в России есть весьма известный романист Тургенев; он очень хорошо сказал в одной своей повести так: «Русский мужик это тот таинственный незнакомец, про которого писала г-жа Радклифф». Посмотрите на простых болгар, например, как они ясны и просты, на греков, даже деревенских, на чер-

ногорцев, и с другой стороны — на наших... Какая разница! Я нахожу, что искренней и пламенной религиозности у русских в тысячу раз больше, а нравственности, так называемой, в тесном смысле... «прикладной» к жизни, если можно так выразиться, семейной, например, меньше, чем у здешних единоверцев наших. Выходит очень странно, что славянин северо-восточный, с этой точки зрения, ближе к какому-нибудь весьма набожному, но увлекающемуся страстями неаполитанцу, а юго-восточный славянин похож более на швейцарского или немецкого гражданина, основательного и очень правильно живущего, но к делу веры довольно равнодушного и холодного. Русских мужиков не сбили бы учителя и купцы в какой-нибудь чисто политический по цели раскол, как сбили эти здешние сюртучники своих болгар. Русский мужик скорее какую-нибудь свою знакомую бабу согласится счесть даже за Божью Матерь, как это бывает у хлыстов, чем поверить учителям или докторам, как поверил мужик болгарский. А насчет разных «любовных» этих падений, куда как болгарин к себе строже! Все это очень поучительно и достойно серьезного внимания. ¹⁰

Монах согласился, что в подобных замечаниях много правды, и по поводу оригинального моего разговора с майносцами в лесу рассказал мне про них нечто в том же роде, но еще более крайнее и поразительное.

Я сказал уже прежде, что духовники Пантелеймоновского монастыря, желая, с своей стороны, всячески способствовать присоединению майносцев к Великой Константинопольской Церкви, составляли в то время для Патриарха подробную записку о том, на каких основаниях ³⁰ допущено в России так называемое «единоверие», подолгу беседовали с обоими представителями Майноса и обещали прислать к ним в Малую Азию, если позволит Патриарх, катехизатором для проповеди и для заведения правильных порядков того отца М., о котором я упоминал, а для богослужения и для исполнения треб одного из младших иеромонахов, на выбор.

Староверы полюбили одного священника, еще довольно молодого, очень доброго и с виду скромного. Я его лицо помню, а имя забыл.

Они стали ходить к нему в келью и уговаривать его не отказываться, если Патриарх благословит и если все сладится.

Иеромонах колебался; ему казалось несколько страшным ехать в какое-то неизвестное ему и дикое место и жить там на воле, а не здесь, под крылом у любимых духовных отцов. Староверы настаивали, представляя ему все выгоды и удовольствия жизни у них, в Малой Азии.

Наконец, чтобы окончательно увлечь его, они сказали ему то же, что и мне:

— А уж насчет девок какое житье тебе у нас будет! Смотри, не отказывайся!..

Каково было это слышать добросовестному и полному страха Божию афонскому монаху?! Он пришел к старцам и, упавши им в ноги, чуть не со слезами умолял не отправлять его туда.

Инок, который передавал мне это, был один из самых умных и опытных на Святой Горе, и потому он рассказывал об этой черте казацкого и раскольникового быта без ужаса и негодования, а с улыбкою снисхождения к такой «простоте».

И в самом деле, можно ли было майносцев строго судить за это, когда они так долго были без пастырей, хоть сколько-нибудь понимающих свой долг!?

Но как бы то ни было, эти своеобразные и сильные русские люди оставили в сердце моем прекрасную о себе память. Ни на кого не похожи, ни на болгар, ни на греков, ни на турок, и тем более на западных европейцев.

А для меня это дороже всего! И надеюсь, что это не пустая оригинальность личного вкуса, а именно тот идеал культурной и бытовой независимости, к которому должны стремиться все русские просвещенные люди.

ПОЕДИНОК

Случилось это в 1868-м году.

Один из противников был молдаван, — офицер румынской армии; другой — француз, — командир пассажирского парохода «Messageries». — Румынского офицера я никогда не видал... француза — встречал. Обыкновенное какое-то, «общеевропейское» лицо... Еще молодой, белокурый, незначительное выражение, маленькие бакенбарды, круглая фуражка с золотым околышем. Не без каких-то, конечно, претензий на что-то... 10

Я говорю, это было в 68 году, то есть еще прежде чем молодцы Фридрихи-Карлы, фон-Штейнмецы и фон-Мантейфели проучили надолго (Бог даст навсегда) на полях Вейссенбурга, Вёрта и Седана *передовую* нацию Запада. Еще не топал тогда ногою в «le sol sacré de la France», дабы вышли из нее (из этой будто бы «священной почвы») новые легионы... еще не топал, — говорю я — напрасно кривой Гамбетта... (Dans le royaume des aveugles les borgnes sont rois!)... Еще творец «Парижской Богоматери» не возглашал, обращаясь к осажденной в Париже «la sainte canaille»: «Peuple! Te voila dans l'antre!», то есть «Сосредоточься, скрепись в своей берлоге, великий народ — и зверем кинься оттуда в лицо врагу, и уничтожь, и растерзай его в клочья!..» 20

Но «святая парижская каналья» никого уже не могла растерзать и сдалась...

До всех этих событий, утешительных для человека с политическим смыслом и с хорошим вкусом, — оставалось еще 2—3 года...

Французы на Востоке были тогда еще дерзки, невежливы, надменны и раздражительны. Очень немногие из них в то время были приятны или хотя бы сносны в обращении. Нужно было вести себя с ними очень осторожно, и тот, кто сам был самолюбив или впечатлителен — должен был удаляться от их общества, чтобы избежать почти 10 верной ссоры... Это испытывали на себе люди всех наций и всех исповеданий; все так чувствительно испытывали это на себе, что я сам был свидетелем тому, как не могли удержаться от личной радости при известиях о поражении французских войск даже и те люди, которые опасались для нации своей или государства невыгодных последствий... Вот до каких непривлекательных свойств довел один век «демократического воспитания» эту французскую нацию, когда-то столь изящную и любезную.

Итак — дуэль...

20 Пришел в Галац очередной пароход «Messageries» и стал у своей пристани. Еще не все пассажиры сошли на берег, как взошел на палубу по какому-то делу или для свидания с кем-то румынский пожилой офицер, — чином, кажется, не более капитана. Взошел и обратился с вопросами к кому-то...

В эту минуту подходит к нему командир парохода и восклицает строго:

— Как, monsieur, вы, военный, позволяете себе входить на палубу Императорского парохода, не отдавая чести 30 французскому флагу?!

Румынский капитан с удивлением спросил, как же нужно отдавать эту честь? Он не знает. Столько людей входит и уходит, и им не говорят ничего...

— Вы не знаете ваших обязанностей!.. Вот, как надо отдавать честь!..

И с этими словами француз сбил рукой кепи с головы румынского офицера.

Свидетелей было достаточно. Все были поражены этой наглой выходкой.

Бедный румын молча ушел с парохода и тотчас же обратился к своим соотечественникам и товарищам по оружию, находившимся в Галаце.

Понятно, в какое негодование пришли румынские офицеры!! Весь Галац, конечно, уже знал об оскорблении, нанесенном французом ни с того, ни с сего румынскому мундиру; а на другой день, благодаря беспрестанному движению пароходов, узнали обо всем этом люди разных вер и наций во всех соседних придунайских городах: в Измаиле, Тульче, Рени, Исакче и Кюстенджи... Позор был нестерпимый; надо было отомстить.

Пароход «Messageries» со своим хозяином-оскорбителем между тем ушел дальше, вверх по Дунаю — он должен был возвратиться только через несколько дней и стать опять на якорь в Галаце. Вот к этому-то дню и готовились румынские офицеры. Они сообща решили, что самого оскорбленного надо вовсе отстранить от дела, потому что он уже в летах, оружием владеет плохо, и огнестрельным, и холодным; беден и необходим для пропитания своему семейству; младшие и более его свободные и независимые офицеры должны были взять на себя, во имя общей поправленной чести, бремя расправы и мести... Офицеры эти очень основательно сообразили, что не следует никому из них просто и прямо вызывать французского командира на поединок, потому что он может в таком случае объявить, что ни с кем стреляться или драться на шпагах не обязан, кроме *того именно пожилого и скромного* капитана, которого он оскорбил.

И сверх того румыны находили, совершенно основательно, что это будет с их стороны уже слишком великодушно и деликатно; что этот командир «Messageries» и не стоит такого рыцарства.

И потому они решились сперва отплатить ему тою же монетой «физического насилия», а потом уже ему самому, представителю известной всем воинской «славы», действовать по своему усмотрению. Один из молодых офицеров

пожелал взять всю ответственность на себя, и после долгой борьбы великодушия товарищи уступили ему...

Всех этих совещаний и подробностей, мы, люди посторонние и жившие не в самом Галаце, узнать, конечно, тотчас же не могли, и в течение нескольких дней, пока французский пароход ходил в Руцук и обратно, думали, что это все *так* и кончится...

«Обидно и печально!» — думал я про себя; потому что дерзкий тон и нестерпимые претензии *тогдашних* французов, при самых притом сквернейших изломанных манерах, выводили меня постоянно из себя... Да и, как я сказал уже, — не меня одного.

Наконец пароход возвратился и стал у своей пристани в Галаце. Он должен был ночевать там. Молодой румынский мститель следил, видно, внимательно.

В Галаце в то время был один небольшой публичный сад, частный. Садик ничтожный, довольно тесный, весь наполненный столиками и столами, на которых пили пиво, лимонад, кофей и т. п. Иногда играла кой-какая музыка и пели плохие арфистки. В этом садике было очень скверно и скучно; но он всегда почти был полон народа. Командир «Messageries» имел обыкновение развлекаться в этом садике, когда пароход его оставался на ночь в Галаце.

И на этот раз он преспокойно, в сознании своей неприкосновенности, отправился туда с какими-то знакомыми и сел за столик.

Посетителей много; сидит — беседует; ничего...

Вдруг подходит к его столу незнакомый ему румынский офицер; а за ним еще двое.

— Вы капитан такой-то, командир парохода NN?..

— Да, это я — что вам угодно?

— Вот что! — восклицает румын ожесточенно и с этим словом с одной стороны — раз! с другой — два! Хотел и еще; но его удержали.

Француз вскочил, схватился руками за лицо, потому что удары были очень сильны, и до того потерялся, что произнес только:

— Ah!.. Voyons! Voyons! C'est bien sérieux-ça!

И удалился из сада...

Теперь бы следовало ожидать на другой же день дуэли; но встретились непредвиденные препятствия, и она произошла гораздо позднее, — через неделю или более.

Какие же могли быть препятствия?

Такие, что румын шутить этим делом не хотел и шел на прямую опасность; он хотел стреляться. Француз, зная, вероятно, как часто пуля и неискусного стрелка сама «находит виноватого», боялся пистолетов и требовал поединка на шпагах. — Румынские офицеры того времени, вероятно, так же плохо фехтовали, как большинство наших соотечественников, и подобно русским предпочитали фатализм пистолета — рациональным ухищрениям шпаги. Ясное дело, что румын обнаруживал этим самым выбором своим больше истинного мужества, чем француз. Пистолет равнял противников и, предлагая его, румын и своей жизнью рисковал точно так же, как и жизнью другого; отстаивая шпагу, француз, хорошо ею владевший, был заранее уверен в победе и вообще в том, что противник будет, так сказать, в его распоряжении, что при таком неравенстве сил от него одного будет зависеть выбор между великодушием и жестокостью.

Товарищи румына основательно не хотели уступать французам, и кто-то предложил наконец устроить «суд чести». В Галаце стояли тогда по договору *станции*, военные небольшие суда великих держав: Австрии, России, Англии, Франции. — Пригласили военных командиров, пригласили еще каких-то посторонних лиц, компетентных в подобного рода делах, и составили нечто вроде комиссии *ad hoc*.

Приглашали, разумеется, принять участие в «суде чести» и наших русских командиров: одного военного начальника «станции» в Галаце и другого командира компанейского, пассажирского парохода, человека, тоже носившего военный мундир.

Настоящий военный моряк был офицер тихий, скромный и твердый, прослуживший долго на Малаховом курга-

не в 55 году; худой, собою невзрачный, он очень напоминал тех «простых и честных» русских героев, которых особенно любил изображать в своих военных очерках гр. Лев Толстой и которыми так уж неимоверно стала восхищаться наша литература, пока, наконец, и наша тенденциозная критика, и читатели, и даже, по-видимому, сам гр. Толстой не поняли, что с одними этими только тихими, только твердыми в скромном долге людьми далеко все-таки не уйдешь! А нужны для великих дел сверх таких людей еще и люди инициативы, люди сильного воображения, люди *престижа* и даже люди «хищные».

Другой русский моряк, капитан пассажирского парохода, был, напротив того, собою мужчина видный, речистый, бойкий, веселый товарищ, вспыльчивый, горячий.

Когда их обоих приглашали принять участие в «суде чести», они оба отказались, и отказ каждого из них имел оттенок личного характера.

Первый, служащий правительству, ответил вежливо и сухо:

20 — Нет, — нам никак нельзя входить в это дело. У нас дуэль запрещена Сводом Законов, я же человек, состоящий на государственной службе.

Второй, служивший компании, вспыхнул и воскликнул так:

— Я не знаю никаких судов чести, не признаю и не понимаю их. И не нахожу их нужным. А если меня кто-нибудь оскорбит жестоко, так я знаю, что буду делать... И что будет — будет!.. Вот мой суд!

30 Ответы, положим, были недурны и довольно оригинальны, каждый в своем роде; но была тут и непохвальная сторона... Совершенно в *русском духе* — непохвальная. «Моя хата с краю, я ничего не знаю и знать не хочу!»

Молдаван лишился двух сильных голосов, которые, конечно, были бы в его пользу, и «суд чести» решил, что поединок должен произойти на шпагах.

Весь Галац интересовался этим делом. Само румынское начальство, видимо, желало, чтобы дуэль состоялась, и не

намерено было даже и вида показывать, что стремится «предотвратить» и т. п.

Противники и секунданты их поехали за город по Дунаю, на лодках; за ними тотчас же кинулось, тоже на лодках, множество любопытных.

Дуэль таким образом произошла всенародно.

Румын защищался, по свидетельству всех, гораздо лучше, чем можно было ожидать от его неопытности в фехтовальном деле; он брал смелостью и был от природы видимо ловок; однако все-таки искусство взяло верх и он был сильно ранен в руку выше локтя.

При первом появлении крови секунданты прекратили дуэль. Тем все и кончилось.

Поучительно, по-моему, во всем этом происшествии то, что *местные люди* разного племени и разных вер — все без исключения сочувствовали молдавану... Даже и турки. До того французы всем наскучили своей дерзкой и бестактной манерой.

АРЕСТОВАННЫЙ

(ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ КОНСУЛА)

Летом 1868 года все мы, нижнедунайские консулы в Галаце, Измаиле и Тульче, получили через Министерство иностранных дел по экземпляру литографированной записки судебного следователя одной из восточных губерний о бегстве из этой губернии старовера Александра Иванова Масляева, находившегося там под присмотром местной полиции, и об убийстве им с целью ограбления одной почти совсем слепой старухи, которая, по выражению записки следователя, была убийце благодетельницей.

10
20
Подробности этого, изложенные в записке, представляли Масляева в непривлекательном виде. Как попал Масляев в Россию: за сбором у староверов или по каким другим делам — я припомнить не могу, и, кажется, в самой записке об этом не было упомянуто. Почему именно и по какому поводу он состоял там под надзором — тоже сказать не могу; за личные ли какие-нибудь проступки, или вследствие требований церковной политики — не знаю.

Слепая старушка-староверка, жившая в том самом городе, где был Масляев, очень любила его и много ему помогала. В Молдавии, в Галаце, у Масляева был собственный дом и семья, он задумал бежать из России и уговорил уехать с собою тайно не только свою слепую благодетельницу, но еще и другую женщину и какого-то казака. Темною зимнею ночью сели они все на троечные сани и уехали, никем не замеченные. У слепой была с собою до-

вольно значительная сумма денег. Много ли, мало ли проехали они, только Масляев вдруг остановил сани среди глухого поля и с угрозами потребовал, чтобы казак и другая женщина подержали старушку и помогли ему задушить ее. Казак и женщина хотели сопротивляться этому, но Масляев — человек огромного роста и атлетической силы, был к тому же вооружен — так сумел запугать их обоих, что они волей-неволей сделались участниками убийства. Труп обранной старушки сбросили с саней и поехали дальше.

Но немного погодя, Масляев неожиданно обратился к казaku, ловко столкнул его с саней и, ударив по коням, ускакал от него. Отъехав еще подальше, он точно так же поступил и с последнею своею спутницею и умчался один, с деньгами и поклажей.

Казак и женщина вернулись домой пешком и чистосердечно тотчас же все показали начальству.

По всему было видно, что убийца бежал в нашу сторону — в Галац, к жене своей, или в Добруджу — в Турцию. И там и тут, и в Измаиле — везде старообрядцев было довольно много.

Надо было искать и ловить...

Гончарова, главного вожака липован, в городе не было. Я через сына его, который чем-то торговал в Тульче, дал ему знать, что мне очень нужно видеться с ним, и старик сейчас же приехал.

Я очень хорошо понимал, что в этом приеме моем есть риск: если Гончаров, по каким-нибудь соображениям, Масляеву благоприятствует, то, конечно, открывая ему, что мы ищем обвиняемого, я даю этим самым как бы предостережение, чтоб его скрывали и берегли. Но что же было делать? Своих полицейских нет, а на полицию турецкую можно было положиться только при довольно редкой в Турции уверенности, что Порта не найдет в деле ничего политического и взглянет на него с чисто юридической стороны.

Я знал, что у староверов заграничных много раздоров и партий, и хотя я не мог, по моему положению и по недав-

нему сроку прибытия моего в Тульчу, знать хорошо, «куда» принадлежит этот Масляев и «куда» Гончаров, но другого исхода мне не было, как попытаться счастья этим способом.

Пока я так соображал все это про себя, решаясь пригласить к себе Гончарова, — проездом в Измаил мимо Тульчи из Галаца заехал ко мне в гости консул Романенко и сказал мне, что Масляев теперь в Галаце и что брат его непременно «накроет» преступника с помощью румынской полиции. «Вам беспокоиться не придется!..» — сказал мне Романенко. Но я все-таки «беспокоился». Это был первый случай. Меня поэтому очень занимало это дело.

Осип Семеныч Гончаров очень скоро приехал в Тульчу по моему зову и пришел ко мне. Я заперся с ним и хотел дать ему самому прочесть литографированную записку судебного следователя, — самому для того, чтоб он увидел сам, что тут и тени нет какого-нибудь церковно-политического гонения или притеснения. Но Гончаров, хотя и грамотный и сам даже кое-что писавший, однако к тому роду почерка, которым написана была записка, вероятно, непривычный, предложил мне прочесть ее громко.

Выслушав внимательно до конца, он задумался и печально покачал своею рыжею головой.

— Да, вот ведь дела какие! — сказал он. — Злодей!.. А ведь и здесь ходили такие слухи.

— Вот видите! — сказал я ему. — И вашей староверческой общине здешней будет честь, что вы преступных членов не укрываете. И в России все скажут, что вы люди в вашей вере непреклонные, но честные, которые не желают быть сообщниками грабителей? Слепая старуха эта, сама, вероятно, староверка, была ему благодетельницей... Надо его нам выдать.

— Да уж надо, надо!.. — сказал Гончаров, все в серьезном раздумьи. — Пусть только в Добруджу придет, а пока он в Молдавии — нам этого сделать нельзя. Я уж подумаю об этом деле, будьте покойны... Только

уж Николаю Павловичу (генералу Игнатьеву) напишите. Я желаю, чтобы Николай Павлович был доволен мной.

— Это моя обязанность, — отвечал я, — как же не написать.

Переговоривши так, мы расстались с Гончаровым, и на несколько времени дело это затихло. Пока мне и нечего было больше делать.

Гончаров после свидания со мной уехал в село Славу, и несколько времени не было слуха ни о нем, ни о Масляеве. Через несколько дней пришло известие из Галаца, что обвиняемый уже схвачен румынской полицией по настоянию нашего консула. Узнав, что Масляев схвачен в Галаце, я сказал секретарю своему все откровенно.

— А не мы этого Масляева поймали. У нас такого дела не было.

— Погодите, еще пожалуй будет у нас... Консул — человек опытный, он-то распорядился, да румыны-то как вы — надо знать: за ничтожную взятку всякого отпустят!

Наш тульчинский вольнонаемный секретарь не напрасно родился и вырос по ту сторону Дуная: он хорошо знал молдо-валахов.

Масляев бежал тотчас же после своего ареста в Галаце. Рассказывали, что полицейский офицер несколько времени разговаривал с ним с глазу на глаз в какой-то комнате, выходящей окнами в огороды; а потом будто бы оставил его одного и вышел куда-то «закурить папиросу». Масляев тотчас же выскочил в окно и... кто-то будто видел, как он бежал без оглядки по огородам. После этого известия я стал опять ожидать его к себе в Добруджу, и не ошибся. Через несколько дней, в довольно жаркое послеобеденное время, ко мне в консульство явился один пожилой старовер и потребовал свидания со мной по важному и безотлагательному делу. Я, почти догадавшись, какое это дело, велел поскорее позвать его. С виду этот старовер был очень приятный и почтительный старик: ростом он был мал и худощав, но свеж и бодр; борода у него была совсем маленькая и белая, одет он был очень опрятно и

даже щеголевато, по-русски, в новой чуйке хорошего сукна. Он был человек не из последних у липован.

Он шопотом и с испуганным видом сказал мне, что, по уговору с Осипом Семеновичем (Гончаровым), привез сюда Масляева, чтобы передать его нам, и что Масляев находится теперь в келье, в двух шагах от консульства.

— Он только что разделся и лег отдохнуть с дороги.

Лицо у почтенного старца было расстроенное, руки тряслись и голос дрожал все время, пока он говорил со мною.

— Вы расстроены... Успокойтесь, присядьте, я сейчас распоряжусь.

— Как не расстроиться, — отвечал старик, — поми-луйте! Вы бы только посмотрели на него, какой это человек. Сила какая и смелость! Я ведь всю дорогу чуть жив с ним вдвоем из села сюда ехал. А ну, думаю, как он догадывается, зачем это я его в Тульчу везу и зачем его уговорили сюда ехать... Умирать ведь всякому страшно! А он бы меня в поле сразу бы покончил... Вот и теперь дрожу...

Я отпустил его и тотчас же послал за драгоманом своим. Он был человек усердный, весьма неглупый и не робкий.

— Идите скорее к Сулейман-паше, попросите у него несколько вооруженных солдат, с офицером, если нужно, и арестуйте сами русского подданного старовера, Александра Масляева. Он теперь один, спит запершись в келье, около староверческой церкви. Возьмите с собой эту записку судебного следователя. Пусть паша после даст ее кому-нибудь прочесть, кто у него знает по-русски. Они уверя-
ся, что тут ничего политического нет. Только постарайтесь убедить пашу, чтобы он помог мне сейчас же арестовать его, а все эти справки после... Ведь у нас своей тюрьмы нет, цепей тоже; все равно он будет в турецкой же тюрьме до отправки в Одессу. Придется ему пробывать в руках самого паши несколько дней до парохода, и потому у турецкого начальства будет вся возможность узнать основа-

тельно — и чей он подданный, и какого рода преступник. Если я не прав, они его после выпустят; надо только теперь скорее схватить его и держать крепко. Предупредите, что он, как слышно, человек опасный по дерзости и телесной силе... Скажите, наконец, паше, чтоб он мне верил как всегда; и прошу его не мешкать... А потом увидим и столкнемся. Да и сами возьмите-ка на всякий случай в карман этот мой двустольный пистолет. Берегитесь, — кто его знает!.. И если что — не стесняйтесь и вы в таком случае... Поняли?

10

— Понял, понял! — воскликнул он и, положив в один карман пистолет, а в другой записку следователя, поспешил в конак.

Я еще закричал ему вслед:

— *Сейчас, сейчас!* скажите, — пока он спит... Да записку чтоб они сдуру не стали прежде читать... Оставьте ее у них.

Паша, выслушав моего драгомана, сказал ему:

— Извольте, я дам хоть двадцать солдат с офицером; с таким человеком нужна осторожность, — надо окружить дом, чтобы не убежал. Я верю, но не могу ручаться за все обстоятельства, не зная их. Я узнаю только после, точно ли он русский подданный, и этого с меня будет, вероятно, достаточно, чтобы не защищать его.

20

Солдаты явились и окружили келью. Мой драгоман, с пистолетом в руках, и турецкий офицер начали стучаться в дверь.

Дверь отворил сам Масляев, раздетый, спросонья.

Увидав перед собой пистолет, офицера турецкого и штыки, он сказал только:

30

— Ну, что ж, видно так Богу угодно... Позвольте только одеться.

Но драгоман, сообразив что у него в одежде, вероятно, есть документы, прежде всего подскочил и выбрал из карманов все бумаги, какие были. В числе их нашелся и паспорт румынского начальства на французском языке; он был выдан на имя русского подданного Александра Ива-

нова («Sujet russe Alexandre Iwanoff»), а не Александра Иванова (или *Ивановича*) *Масляева*. Слова «Масляев» не было в этом паспорте. Другие бумаги были частные и никакого особого значения не имели ни по вопросу о подданстве, ни по отношению к преступлению, в котором он обвинялся.

Все это кончилось очень скоро и успешно; драгоман возвратился ко мне не больше как через час со всеми этими бумагами, с незаряженным пистолетом и торжествующим лицом.

— Кончено: Масляев в тюрьме! — воскликнул он.

Я, впрочем, и без него только что узнал от одного из слуг, «что все кончено». Этот слуга видел сам случайно, как по улице за консульством провели Масляева к коняку между двумя рядами солдат. Он был почти на целую голову выше солдат, и его высокая и широкая шляпа чернела над красными фесками сквозь штыки, должно быть, как-то особенно выразительно, потому что многие на улице обратили на эту шляпу внимание и упоминали о ней, восклицая: «Какой мужчина, какой рост! Эта шляпа выше голов низамов!..» и тому подобное.

И мой драгоман твердил:

— Что за человек! Это исполин, атлет!

Первый и главный шаг был сделан; но обязанность свою я мог считать оконченной только тогда, когда сдам арестованного на русский пароход «Тавриду», который ходил из Одессы в Галац мимо Тульчи и обратно только по разу в неделю. Оставалось до прихода «Тавриды» еще дня три-четыре, кажется.

«Сумеют ли удержать и сохранить его турки в своей тюрьме?» — это один вопрос.

«И еще как я сам справлюсь с ним здесь, в консульстве, в последние ночные часы? Ведь „Таврида“ проходит обратно из Галаца мимо Тульчи позднею ночью, к пристани не подходит и останавливается на минуту посреди реки, чтобы только принять и спустить несколько пассажиров с лодок и в лодки. Как отнесутся ко всему этому делу и как

будут вести себя против меня тульчинские староверы? Их в городе много. Посмотрим. А пока Масляев схвачен и сидит в кандалах у турок».

Со дня ареста Масляева до дня его отсылки из Тульчи в Одессу на пароходе «Таврида» не встретилось никаких особенных затруднений. Пашу я видел, и он сказал мне тотчас же, чтобы я был спокоен, что судя и по паспорту (*Sujet russe Alexandre Iwanoff*), выданному ему румынами, и по записке следователя, сообщенной мною в Порту, и по всем справкам, местная власть никаких претензий против моих действий иметь не будет и окажет мне всевозможное содействие.

— Какой, однако, это должен быть человек! — заметил паша.

Но на этот раз, в деле Масляева, румынские власти, упустившие его из своего Галаца, захотели вдруг в Тульче, на турецкой территории, заявить свои *государственные* права на протекцию обвиняемому.

Жил в Тульче некто Стоянович, румынский подданный; невзрачный, незначительный; чем-то торговал, но считался румынским вице-консулом. Другие консулы *настоящие*, австрийский, французский и другие, никогда об нем даже и не говорили и не обязаны были говорить. Визитов ему не делали, на совещания не приглашали и т. д. И надо ему отдать справедливость, — он держал себя очень скромно и ни на что подобное, по-видимому, не претендовал. И вдруг этот скромный агент вассального княжества явился ко мне дня через два после ареста Масляева *в сопровождении чиновника Порты*; начал словесно протестовать против моих действий и слегка пытался доказать мне, что «этого Масляева надо освободить и возвратить румынским властям; потому, во-первых, что паспорт ему выдан румынами, а во-вторых, потому, что на этом паспорте он назван *Александр Иванов*, а я искал Александра Масляева. Может быть, это вовсе другое лицо!» Возражение мое было очень просто:

— Вы, верно, живя на Дунае, знаете, — сказал я, — что у нас, русских, в обычае называть человека тремя

именами: имя, отчество и фамилия. А здесь в Турции, ну и в Румынии также, очень часто ограничиваются одним отчеством, когда дело идет о русских, и фамилию опускают или забывают.

Румынский представитель успокоился, ушел — и больше не тревожил меня... Я думаю, он пришел ко мне только наудачу, только для успокоения совести. Просьбы ли какие-нибудь или даже «обещания» родных и близких Масляеву побудили его к этой слабой попытке — не знаю; ¹⁰ только об нем и помину больше не было.

Наконец — настало для меня самое трудное: надо было взять Масляева к себе в консульство. Надо было хорошо кончить удачно начатое.

Я получил известие из Одессы, что в следующий рейс свой из Одессы в Галац командир пассажирского нашего парохода «Таврида» возьмет, по приказанию начальства, на военном русском судне, стоящем в Галаце, двух вооруженных матросов для конвоирования арестанта до Одессы.

«Таврида», я уже говорил, из Галаца мимо нашей Тульчи ²⁰ проходила большею частью ночью и к пристани никогда не приставала. Нужно было бы для этого заворачивать назад. Поэтому я с половины дня уже принужден был перевести Масляева к себе, чтобы иметь возможность доставить его как можно поспешнее с берега на пароход в маленькой консульской лодке.

Условия для содержания под стражей такого человека, как Масляев, были в консульстве весьма недостаточны. Тюрьмы настоящей не было. Поместить его можно было только на дворе, в маленькой комнате в нижнем этаже, с ³⁰ решетчатым окном на двор и с очень плохой и тонкой дверью.

Довольно обширный двор консульства с задней стороны и с боков был обнесен обыкновенным русским досчатым забором; за этим забором было пустое место с оврагом, а за оврагом — много *староверческих хат*. Я все-таки не мог знать наверное, что думают и что чувствуют тульчинские староверы. Был у меня, правда, за это время

их приходский священник, спрашивал про Масляева; спрашивал, в чем его обвиняют, вздыхал, качал головою... Но мнения ни своего собственного и никакого не высказал. О том, как это Масляев так скоро попался в руки, тоже не спросил.

Мало ли что могут до ночи придумать эти люди! Они хитры! Надо ни на шаг не оставлять арестанта и за всем следить. Стража у меня: всего один кавасс, мусульманин, араб, юноша смелый, сметливый, но ветреный.

Кроме него в доме было двое слуг: мальчик-молдаван лет 18-ти и повар, — пожилой, угрюмый малоросс, из беглых крепостных.

Двое юношей, двое мальчишек, ветреный араб и неопытный молдаван, и этот скрытный, как-то исподлобья глядящий повар... Кто их знает?

Но делать нечего!

Ребята уверяли, что будут бодрствовать неусыпно, и араб в одушевлении поклялся даже страшными клятвами, что никуда сегодня не пойдет и убьет на месте «этого Масляева», если он осмелится только вид какой показывать...

Повар слушал все это, потупя голову и сверкая глазами; не сказал ни слова и ушел в кухню, как ни в чем не бывало.

— Пусть ведут сюда турки Масляева!

Привели его человек пять низамов и ушли, оставивши у дверей нашей плохой импровизированной тюрьмы одного товарища, самого молодого, самого слабого, самого смиренного; он был изнурен и замучен долгой лихорадкой, худ, уныл, и цвет лица его был специфический лихорадочный — грязно-желтый.

Бедный молодой человек стал как вкопанный с ружьем у дверей на дворе и словно уснул — такое равнодушие было на больном лице его.

«Ну, стража!» — подумал я.

Это я думал, глядя на Масляева *в первый раз*. До тех пор я только слышал о нем, а сам его не видал.

«Экой богатырь в самом деле! И какое приятное лицо! Вот что удивительно...»

Видели вы когда-нибудь — купцов старинных, очень высоких, сильных и почтенных? Или, быть может, вы воображали себе таких могучих русских бояр времен Иоаннов? Сила, спокойствие, с неистощимым запасом страшной энергии и даже... даже... прекрасная, мужественная доброта!.. Вот какое впечатление произвел на меня Масляев, когда я в первый раз увидел его в бедной маленькой комнате кавасса.

10 Мы поклонились друг другу.

Двор был полон городскими староверами; их собралось больше двадцати человек. Они сбежались *смотреть* один за одним. Впереди всех стоял мой приятель — тульчинский священник. Дверь и окно с решеткой были еще открыты. У дверей караулили болезненный часовой и мой араб с ятаганом. Староверы все были очень тихи и вели себя серьезно и почтительно. Я не только не спешил удалить их, но, напротив, находил полезным, чтобы они видели, как мы вежливо (хотя и строго) обращаемся с их

20 обвиняемым, но еще не осужденным единоверцем.

Староверы безмолвно и печально глядели в открытую дверь и в окно. Сам Масляев, помолчав немного, спросил у меня весьма кротко и уважительно:

— А позвольте узнать, ваше высокоблагородие, в чем же меня обвиняют?

Я не спускал с него глаз и громко, чтобы слышали единоверцы его, повторил кратко рассказ судебного следователя об его побеге из города зимней ночью на тройке, о том, как он душил свою почти слепую и старую благодетельницу и как потом сбросил с саней испуганных участ-
30 ников своего злодеяния.

Масляев стоял передо мной, опершись локтем на комод, и пока я говорил, у него на лице не выразилось никакой перемены, не было ни малейшего содрогания или смущения...

Он только раза два-три вздохнул, поднял глаза к небу, и когда я кончил, произнес печально, но с мужественным спокойствием:

— Боже, Боже! В чем обвиняют! Какая клевета!

Я не верил ему; но все-таки вид его был такой почтенный, приемы и тон так достойны, что отвращения он во мне никакого не возбуждал.

Любопытно, очень любопытно мне было бы знать, что в самом деле думали про себя эти собравшиеся на моем дворе русские люди?

Но они молчали.

«Таврида» в этот раз опоздала, и нам нужно было бодрствовать за полночь. Я не хотел ни на кого положить-¹⁰ся, все время не отлучался от дома и не ложился спать.

До самого позднего вечера ко мне беспрестанно обращались то с тем, то с другим, то с вопросом, то с просьбой.

Приехала жена Масляева из Галаца, проститься с ним.

— Позвольте ей к нему?

— Пустить, только удвоить надзор...

— Принесли для Масляева большой хлеб...

— Разрезать его; — нет ли в нем чего-нибудь... маленькой пилы или еще чего-нибудь?

— Жена привезла ему какую-то шапочку на дорогу.²⁰

— Надо осмотреть и шапочку.

Шапочку при мне мнут, выворачивают.

— Масляев нестерпимо страдает от колодок. У него руки очень велики и толсты, а колодки, которые надели на него турки, слишком тесны.

— Послать в Порту; просить у паши самые большие колодки и принести ко мне.

Приносят. Иду сам с ключом. Масляев протягивает мне руки с видом смирения и покорности... Я отпираю сам тесные колодки, надеваю ему большие, опять запираю и³⁰ кладу ключ в карман.

Человек десять староверов опять глядят на нас в решетчатое окно маленькой комнаты...

Помню — во все это время, пока я отпирал, снимал, надевал, запираю, я думал про себя:

«Вот теперь, что ему с его силой стоит ударить меня по голове железной колодкой этой?.. Староверы могли бы в

один миг обезоружить больного и полусонного мальчишкунурка, прежде чем он успел бы взвести курок... и... все кончено! Дунай в десяти шагах...»

Конечно, если бы в них, в старообрядцах, было возбуждено какое-нибудь сильное чувство, или ненависть к нам, или симпатия и глубокое сострадание к нему, — материальных средств защититься от внезапного нападения у нас почти не было.

Однако и Масляев был кроток как агнец, и староверы оставались лишь задумчивыми и серьезными зрителями...

Это все, впрочем, ничего... Но затрудняла очень жена Масляева.

К вечеру она стала просить позволения остаться при нем и ночью до самого прихода «Тавриды».

Нельзя было разрешить этого. Как ручаться, что успел предусмотреть все возможности побега или те ухищрения, к которым может прибегнуть такой изобретательный и отважный человек, каким мне самому казался обвиняемый и каким он являлся и в записке следователя, и по словам предавших его единоверцев.

Жена его была тут уже давно; она долго сидела у него в комнате. Они могли успеть уже уговориться и сообразить целый план таких действий, которые мне и на ум не приходили.

Однако все близкие мои, все окружающие меня, все домочадцы мои стояли в этом случае за пленника и жену его. Драгоман говорил мне робко:

— Я думаю, что можно ей позволить это!

Молодые ребята, молдаван и араб, — оба глядели жалостливо и говорили, что он «бедный» и от этих новых наручников, от больших, все-таки страдает...

Сидел у меня в это время наш доктор, Эпштейн, один из самых добрых и благородных людей, каких я только в жизни встречал...

У него даже слезы были на глазах...

Под влиянием всего этого я вышел сам поговорить с рыдающей попадьей. Женщина она была совсем простая;

полная, средних лет, не хороша и не дурна. Одета была она совсем по-русски. Передник под мышками, сарафан, ситцевый платочек... На дворе дул сильный ветер; пыль поднималась столбом ей в лицо, и длинный передник ее, эта калужская «занавеска», столь родная на дальней чужбине, развевалась туда и сюда.

Все это меня несколько смущало...

Но надо было скорее положить всему этому конец, и я сказал ей: «Нет, нельзя, матушка, вам здесь на дворе больше оставаться... Идите сейчас со двора»... А кавассу крикнул: 10

— Запри за ней ворота и калитку и больше никого уже без спроса на двор не пускать!

Несчастливая женщина пошла покорно к воротам, утирая глаза передником; за ней ушли и два-три старовера, которые еще были на дворе; засовы на воротах загремели — и Масляев остался один под нашей стражей.

Совсем стемнело.

Никто у нас не ложился спать.

Из староверов также долго никто не являлся.

Только часу в одиннадцатом ночи постучался отец Григорий; он пришел просить у меня позволения отпустить с Масляевым на дорогу припасы и какие-то вещи незначительные. Его сопровождали двое мирян, хорошо мне известных; один из них был столяр и часто работал у меня в консульстве. 20

Я вынужден был тотчас же написать об этом обстоятельстве еще одно небольшое отношение к одесскому начальнику; все вещи я велел связать и запечатать.

Я объявил при этом староверам, что иначе поступить не могу; моя обязанность доставить Масляева в Одессу верно и сохранно; что я *готов им верить всей душой*, но все-таки не могу *знать ничего наверное*... Во всяком случае одесское начальство больше моего знакомо со всеми порядками и правилами внутреннего управления, там они или распечатают и отдадут ему, или нет. 30

Староверы согласились со мной; они, казалось, не были недовольны моими распоряжениями, а священник даже и выразил это:

— Мы даже очень довольны вами, — сказал он; — на вашем месте и нам бы пришлось так же поступить.

Наконец зашумела в темноте на Дунае перед окнами консульства запоздавшая «Таврида» и раздались свистки. Явился тотчас же драгоман и поспешно взял бумаги и вещи Масляева. Из окон наших ночь казалась очень темною. Масляева довольно скоро провели по берегу к консульской маленькой лодочке. Я видел из окна моего кабинета только фонарь и какие-то тени.

10 «Таврида» все шумела и все держалась на месте, ожидая...

Наконец — я услышал — она тронулась... Раз, раз, раз... потом тише, тише, дальше...

Драгоман вернулся довольный и возвратил мне мой, слава Богу, неразряженный револьвер.

— Все благополучно, — сказал он. — Сдал его капитану под охрану двух военных матросов. Только, Боже мой! — какое любопытство он возбудил на пароходе... пассажиры первого класса вышли на палубу... Дамы...

20 — Ну, слава Богу, — сказал я. — Вот мы с вами и дело кончили!

Через неделю возвратилась опять «Таврида» из Одессы; я поехал на ней в Галац и узнал про Масляева еще новости.

Появление Масляева возбудило всеобщее любопытство на палубе парохода. Дамы и пассажиры всех классов окружили арестованного, расспрашивали, сострадали ему, утешали... Вид его рук, замкнутых в железные турецкие колодки, особенно возбуждал жалость женщин. Масляев
30 уверил всех, что он гоним, оклеветан, что он страдает напрасно.

Вид его, я уже говорил, был весьма почтенный и даже приятный.

Дамы стали просить капитана, чтобы он, по крайней мере, снял бы с него эти ужасные колодки.

Капитан признавался мне, что он и сам был, наконец, растроган и желал избавить Масляева от боли и тяжести в

руках, но второпях забыли отдать ему ключ от этих колодок.

Была минута, когда думали о том, как бы их без ключа сбить и снять.

Но капитан воздержался от этого, не считая себя вправе этого сделать...

— Ну и сказал же я спасибо потом вашему драгоману за то, что он забыл отдать мне ключ!

— А что?

— Да если бы был ключ, я, вероятно, не устоял бы¹⁰ и пожалуй отпер бы; а он бросился бы в воду и уплыл бы; Дунай тут узок. Он оказался отчаянным человеком, и хорошо вы сделали, что так старательно и строго его держали.

В заключение рассказали мне, что когда приехали в Одессу и Масляев понял, что надежд ему нет уже никаких, то увидавши *пятерых* жандармов на пристани, вдруг переменял тон и при всех своих прежних защитниках и защитницах воскликнул громко:

— Э! вас только пятеро тут! Ну, счастье ваше, что у меня на руках колодки... а то я бы показал вам, кто я такой.²⁰

Все, конечно, были поражены этой каторжной «выходкой».

Был ли обвинен Масляев судом — не знаю. Может быть, он и оправдан...

РАССКАЗ МОЕЙ МАТЕРИ ОБ ИМПЕРАТРИЦЕ МАРИИ ФЕОДОРОВНЕ

I

Это было уже давно... Я просил покойную мать мою записать для меня свои воспоминания о жизни в Екатерининском институте и о позднейших сношениях своих с Императрицей Марией Феодоровной, которая до самой кончины своей не забывала ее, как одну из лучших своих воспитанниц.

Многое в рассказах матери казалось мне интересным, ибо уже и тогда, в 50-х годах, когда я стал совсем «большим», даже студентом, в жизни нашей были уже такие оттенки или, говоря по-нынешнему, «веяния», которые с иных сторон делали эту жизнь 50-х годов более похожей на нынешнюю, чем на жизнь первой четверти нашего века. *Строй* был в 50-х годах тот же, что и в 12 году или в 20-м; *идеалы* значительно изменились; вслед за Европой мы уже пережили и 30-й год, и 48-й. Под незаметным почти сразу влиянием этих идеалов, *строй* векового созидания пошатнулся впервые в 61 году.

И я — тогда (т. е. в 50-х годах) 20-тилетний студент медицины, читавший в часы досуга Белинского, Герцена, Жорж-Санда, — уже чувствовал себя в силах относиться почти исторически, полу-сочувственно, полу-снисходительно, полу-надменно не только к тем, мне казалось, уже далеким преданиям времен, когда мать моя отроковицей ходила по коридорам закрытого училища, на берегу Фонтанки, но даже ко многознаменательному пятилетию, от

26 года до 31-го, от кончины Императора Александра I в Таганроге до Адрианопольского мира и до первого усмирения Польши.

Мать моя исполнила мою просьбу давно, еще при жизни своей, и часть ее записок была напечатана в «Русском Вестнике» («Праздник в селе Покровском; 1811—1812 гг.», и т. д.). Было у нее написано и еще много любопытного, но все это, к сожалению, пропало вместе с отрезанным чемоданом между Калугой и Москвою, в конце 60-х годов. У меня изо всего этого сохранилось очень мало и, между прочим, рассказы о том, как двое старших братьев моих были приняты без всяких на то прямых прав в Пажеский корпус, по особой милости и по особому вниманию Императрицы Марии Феодоровны. Отец наш не только не имел генеральского ранга, но даже за участие в каком-то буйстве был удален из гвардии в начале этого века и вышел в отставку в чине прапорщика.

Жена отставного прапорщика, вдобавок удаленного из гвардии за буйство, — владельница небольшого имения в Калужской губернии, — какие права имела моя мать на помещение двух первых сыновей своих в Пажеский корпус? — Конечно, никаких.

Но она еще девочкой, еще институткой, обратила на себя внимание Императрицы-Матери, и Государыня *через пятнадцать лет* после ее выхода из училища не забыла ее и исполнила ее желание в год восшествия на престол Николая Павловича.

В нашем милом Кудинове, в нашем просторном и веселом доме, которого теперь нет и следов, была комната окнами на запад, в тихий, густой и обширный сад. Везде у нас было щеголевато и чисто, но эта комната казалась мне лучше всех; в ней было нечто таинственное и мало доступное и для прислуги, и для посторонних, и даже для своей семьи. Это был кабинет моей матери... Проходить в него нужно было длинным коридором, через уборную ее и спальню, и вся эта половина дома очень часто была заперта на ключ. Мать любила уединение, тишину, чтение и

строгий порядок в распределении времени и занятий. Когда я был ребенком, когда еще «мне были новы все впечатления бытия...», я находил этот кабинет прелестным.

И в самом деле, он был очень оригинален и мил. В то время еще не привыкли у нас обивать мебель пестрыми ситцами, и даже хорошего полосатого тика ярких цветов я в то время не помню, хотя с раннего детства я не раз ездил с матерью в столицы и очень многое внимательно замечал; но у матери моей было сильное воображение и очень тонкий вкус; ей хотелось устроить себе эту комнату в виде цветной палатки, и она велела сшить широкими полосками какую-то бумажную материю: темно-зеленую, ярко-розовую и белую, и декорировала ею стены и потолок; потолок был собран посередине сборками в большую розетку, в середине которой была вставлена такая круглая бронзовая фигурка, какие употребляются для закидывания занавесок около окон. Пол зимой был обит большим ковром, белым с бархатными темно-зелеными узорами, и это было очень кстати и очень хорошо. Мать сумела извлечь пользу из какого-то темного чулана; над этим чуланом была лестница на антресоли: мать его уничтожила, отодвинув стену дальше в коридор; поставила там деревянные колонки, обила их полотном; велела выкрасить полотно белой масляной краской и обвила их и оклеила спирально поверх полотна таким цветным бордюром, каким оклеивают наверху обои, так что, вместо темного чулана для дров в коридоре, образовалась за колонками в кабинете какая-то ниша, чрезвычайно уютная и красивая. Она была не широка и вся занята вплоть до колонн одним турецким диваном; и стены этой ниши, и занавес, который можно было задергивать, и самый диван, и турецкие подушки его во всю стену — все было из той же материи, как и отделка стен, и все тех же трех цветов: темно-зеленого, розового и белого.

Все это было очень дешево (потому что моя мать была скорее бедна, чем богата); но все весело, опрятно и душисто. Летом были почти всюду цветы в вазах, сирень, розы, ландыши, дикий жасмин; зимой — всегда слегка пахло

хорошими духами. Был у нее, я помню, особый графинчик, граненый и красивый, наполненный духами, с какою-то машинкой, которой устройство я не понимал тогда, не объясню и теперь... Была какая-то проволока витая и был фитилек, и что-то зажигалось; проволока накаливалась докрасна, и комнаты наполнялись благоуханием легким и тонким, постоянно, ровно и надолго.

Мебели в этой комнате было немного; она сама была невелика. У окна ясеневый просторный письменный стол, с полками для книг; перед ним старинное кресло с полукруглой спинкой, украшенной двумя точеными бараньими головками; около стола с другой стороны тоже ясеневое большое глубокое *вольтеровское* кресло, и в другом углу у окна еще кресло и складной столик; но комната вовсе не казалась пустой, благодаря трехцветной драпировке и дивану за колонками в таинственной нише.

Картин по стенам не было, большие фамильные портреты висели в гостиной; у матери в кабинете были только портреты семерых детей ее и трех посторонних лиц, которых она считала лучшими своими друзьями или даже благодетелями...

Детские портреты висели в ряд за колоннами в нише и были почти все разные, сняты в разное время и разными способами. Самый старший брат Петр, впоследствии гвардейский офицер (о котором будет речь и в самых записках матери), красивый, румяный мальчик лет шестнадцати, был снят в камер-пажеском мундире, цветными карандашами и очень хорошо. Портрет старшей сестры Анны, девушки лет двадцати, красоты несколько серьезной, правильной, но не особенно приятной, с высоким фигурным гребнем в большой и высоко поднятой косе, — этот портрет был почему-то гравированный на камне, вместе с двумя другими портретами младших детей — сына и дочери: премилые русский личики — неправильные и симпатичные; мальчик — в острой, турецкой курточке без рукавов и девочка с большой косой, венцом вокруг головы; с одного из средних братьев был снят очень похожий, чор-

ный, конечно, силуэт; а с другого ребенка, бледного и задумчивого, срисовал довольно удачно акварель крепостной иконописец деда Петра Матвеевича Карабанова...

Я был самый младший, гораздо моложе других; и меня, вскоре после рождения моего, изобразил масляными красками тот же крепостной художник в идеальном виде бестелесного херувима с крыльями. Когда я вырос и во мне уже ничего невинного и ангельского не осталось, — мать отдала этот фантастический портрет кому-то из наиболее приверженных слугителей наших, и лет двадцать спустя, я, по возвращении моем из-за границы, нашел его у старой кухарки нашей в кухне; кухарка никак не могла удержать деревенских женщин, чтобы они, входя в кухню, на этого херувима не молились.

Все эти детские портреты, говорю, висели в ряд на стене за колоннами ниши, и все были украшены наверху розетками таких же трех цветов, как и диван, и занавески, и стены; на всех семи розетках цвета были нарочно расположены в разном порядке: на первом направо белый внизу, потом розовый и пуговка зеленая, на втором белый внизу, потом зеленый и пуговка розовая и т. д. Когда я был мал, я спал за этими колоннами на диване, и это симметрическое разнообразие розеток, которые я, проснувшись поутру, изучал, доставляло мне множество наслаждений.

Я прошу мне простить все эти, быть может, и лишние подробности; но мне так приятно обо всем этом писать! И кроме того, воспоминания об этом очаровательном материнском «Эрмитаже» до того связаны в сердце моем и с самыми первыми религиозными впечатлениями детства, и с ранним сознанием красот окружающей природы, и с драгоценным образом красивой, всегда щеголеватой и благородной матери, которой я так неоплатно был обязан всем (уроками патриотизма и монархического чувства, примерами строгого порядка, постоянного труда и утонченного вкуса в ежедневной жизни), что я не могу сдержаться, и мне все кажется, будто и простой рассказ матери станет гораздо живее, если я скажу больше о ней самой и даже о

тех предметах, которыми она была окружена не случайно, но вполне осмысленно, по собственному выбору и творчеству!

В этой комнате и в соседней с нею меня учили молиться перед угóльным киотом. Я спал несколько лет подряд в кабинете матери за колоннами, на трехцветном диване; и как часто, просыпаясь зимним утром, продолжал лениться и лежа на нем слушал внимательно, как сестра моя (только что взятая тогда из того же самого института, в котором воспиталась мать) читала по книжке утренние молитвы и псалом: «Помилуй мя, Боже»...¹⁰

Сестра читала, мать молилась; — за стеною, в спальне пылал с «веселым треском» утренний камин... В окна с моего дивана, я, не вставая, видел чистый снег куртины — безмолвную, мирную, недвижимую зимнюю красу. Я видел прививки, обернутые соломой, обнаженные яблони и большие липы двух прямых аллей. Яблони эти «кудиновские», почти все на этой куртине перед домом, как люди знакомые и памятные мне даже по особенностям вида своего, давно померзли и погибли; мать и сестра давно в могилах, а прекрасные липы, может быть, завтра срубят на «луб» юхновский крестьянин Иван Климов, которому я, подобно многим помещикам, *вынужден* был после долгой борьбы продать всю эту мою родовую святыню!²⁰

Много лет прошло с тех зимних дней, когда я просыпался на полосатом диване; много было и вовсе новых радостей и неожиданного горя; но эти утренние молитвы все так же живы в памяти и сердце; много глубоких перемен совершалось в моей жизни, были тяжкие переломы в образе мыслей моих, но никогда и нигде я не забывал тех слов псалма, которые меня тогда (почему? — не знаю сам) особенно поразили и невыразимо тронули...³⁰

«Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не унижит». Я с тех пор никогда не могу вспомнить об матери и родине, не вспомнивши и этих слов псалма; до сих пор не могу их слышать, не вспоминая об матери, о молодой сестре, о милом Кудинове нашем, о

прекрасном обширном саде и о виде из окон этой комнаты. Этот вид не только летом, когда перед окнами цвело в круглых клумбах столько роз, но и зимою был исполнен невыразимой, только близким людям вполне понятной поэзии!..

В этой же самой комнате, выросши, я слышал от матери столько рассказов о старине: о Людовике XIV и его столь несхожих между собою возлюбленных; о кровавых деяниях ненавистного Конвента; о борьбе нашей с Францией, об ужасах и подвигах 12-го года. О Николае Павловиче, которого мать боготворила; и отрывки из этого самого рассказа об Императрице Марии Феодоровне я слышал не раз на словах, прежде чем видеть его написанным...

Я сказал уже, что, кроме детских портретов, мать допустила в свой уединенный кабинет только четыре изображения и лишь таких именно лиц, которых она почему-либо имела основание считать или самыми близкими друзьями, или даже благодетелями своими. Все эти портреты и теперь у меня целы. Один — литографический — изображает молодого генерала, в латах, орденах и густых эполетах; лицо чрезвычайно энергическое и приятное; усы и борода, сбритые как у всех военных первой четверти этого века, и орлиный нос напоминают что-то римское; — это портрет Ивана Сергеевича Леонтьева, двоюродного брата моему отцу. Он скончался очень рано и оставил вдову и только одного сына, теперь тоже уже умершего. Он был очень дружен с моими родителями и как человек богатый делал им, кажется, много добра. Помимо родственной дружбы, Иван Сергеевич был, по-видимому, большой почитатель ума и красоты моей матери, и в Кудинове сохранялось о нем, об его доброте, любезности и веселой энергии много милых преданий. У меня на этажерке и теперь стоит старая и уже починенная местами, широкая белая мраморная ваза. На ней начертаны французские слова:

«Elle ne s'éteindra
qu'avec la vie».

В эту вазу, подаренную Иваном Сергеевичем, при матери опускался особого фасона плоский подсвечник с длинными ручками и короткой восковой или стеариновой свечою.

Тогда этот возглас о неугасимом пламени изящной дружбы становился виднее на прозрачном мраморе вазы, и вся комната озарялась восхитительным, романтическим полусветом. Я так любил, когда зажигали эту невидимую свечу, и так уважал мать за ее поэтические вкусы!.. В сохранившемся у меня также красном сафьянном ее альбоме с бронзовой застежкой есть двустилишие дедушки моего Михаила Ивановича Леонтьева, написанное именно по поводу этой вазы... Вот оно с орфографией подлинника:

Искусство здесь молчит но дружба говорит,
«Сей пламень мной возжен и вечно не сгорит».

Два другие портрета — превосходные акварели, и одна — оригинал известного в начале нашего века портретиста Соколова, другая — копия с работы Гау, — сделанная в 40-х годах в Петербурге второстепенным мастером, неким Осокиным; но копия до того изящная и верная, что ее невозможно было различить с подлинником Гау, когда их клали рядом и прикрывали подписанные внизу имена художников.

Акварель Соколова представляет мужчину лет 30, быть может, с небольшим... Он в модном светло-коричневом сюртуке тридцатых годов, в золотых очках. Лицо чрезвычайно тонкое, красивое, нежное, слегка румяное; русые волосы вьются на лбу и висках, как у всех щеголей того времени, когда Байрон умирал в Миссалонгах и слава Пушкина зрела в России. Этот русский «джентльмен», этот «барин» дипломатического вида, перенесенный так удачно и живо на бумагу тонкой кистью Соколова, был тоже ближайший и верный друг нашей семьи, сосед по мешковскому имению и очень богатый человек, Василий Дмитриевич Дурново.

На копии с Гау (другой совсем кисти, не менее прекрасной, но словно более старательной, более пунктир-

ной, если позволительно так выразиться), пожилая дама в белом батистовом платье и белом чепце с розовыми лентами. Да! пожилая дама с розовыми лентами! Но эта дама была и в старости своей так мила и красива, что не только на портрете, но и на самом деле эти розовые ленты к ней шли. Я ее очень хорошо помню.

Это была Анна Михайловна Хитрово* (или как в прежнее время обыкновенно говорили Хитрова), урожденная Голенищева-Кутузова, одна из дочерей знаменитого нашего фельдмаршала. Мать моя знала коротко ее еще в детстве и была ей обязана своим определением в Екатерининский институт, как она в записке этой и рассказывает.

Все эти портреты друзей висели в ряд, а над ними, как бы на особом и почетном месте, был прибит небольшой литографический портрет Императрицы Марии Феодоровны, о которой мать моя не могла говорить без самого глубокого и самого искреннего чувства благоговееющей любви. Императрица изображена, если не ошибаюсь, в трауре после кончины Государя Александра Павловича: в черном платье с широким воротником и в черном газовом токе. Слушая рассказы матери о Государыне, я часто и в детстве смотрел внимательно на маленькую литографию эту, и мне тогда еще наружность покойной Царицы очень нравилась; в несколько круглом и полном лице было столько и выразительного, и спокойного: доброта, достоинство и твердость. В линии губ столько сдержанности и чего-то тонкого и властного.

Я не стану выдумывать и уверять, что я часто размышлял о Царской Фамилии и любил ее членов вполне сознательно и в те ранние годы мои, когда еще трехцветная драпировка материнского кабинета не обветшала и не была заменена голубыми обоями; нет, конечно, этого не было; но я могу сказать, что монархическим духом веяло в то время в кудиновском доме, и чрезвычайно сильная моя

* Родная бабушка нашего теперь посланника в Бухаресте М. А. Хитрово.

любовь к моей в высшей степени изящной и благородной, хотя вовсе не ласковой и не нежной, а, напротив того, суровой и сердитой матери, делала для меня священными тех людей и те предметы, которые любила и чтילה она.

Позднее, юношей в 50-х годах, и я заплатил дань европейскому либерализму; но могу с гордостью сказать, что и в эту бестолковую пору моей жизни я ни разу ни кощунственной насмешкой, ни слишком настойчивыми и резкими доводами плохой либеральной философии не оскорбил тех личных чувств и тех идеалов, которые мать моя носила в сердце своем неизменно до гроба.

Я даже помню один спор. Мать, к несчастью, была слишком вспыльчива и неумеренна в иных выражениях, когда ее что-нибудь тревожило. Однажды (мне было уже за 20 лет) она сильно оскорбила меня. Я был влюблен; матери моей эта девушка не нравилась потому, что она была старше меня, по ее мнению, лукава и нехороша собой... Не ограничиваясь одними резонными родительскими предостережениями и советами, она начала издеваться и над наружностью, и над душевными качествами этой девушки, очень искренно и долго мною любимой.

Раздраженный этими действительно неуместными выходками слишком горячей и властолюбивой матери, я остановил ее и сказал так:

— Послушайте, зачем вы так неосторожно оскорбляете то, что для меня так дорого?.. Вспомните, оскорбил ли я когда-нибудь хоть намеком или шуткой то, что для вас священо, то, что составляет поэзию ваших воспоминаний, вашей молодости?.. Напротив, я люблю эти воспоминания ваши... Я помню почти наизусть ваши рассказы...

Тут я остановился и подумал — какой бы привести пример? И не нашел ничего другого, как указать на Императрицу Марию Феодоровну.

— Вот, например, я знаю, как вы любите Императрицу Марию Феодоровну... И я знаю, что вы любите ее не только за добро, которое она вам сделала, но и потому, что вы выросли на монархических преданиях, потому, что на-

ходите в них поэзию... Разве я когда-нибудь касался до этих чувств ваших?.. Разве я оскорблял их, скажите? *А мне, может быть, республика гораздо больше нравится?..*

Мать моя поняла, что я прав; замолчала и даже застыдилась. И мне стало так жалко, когда я увидел это честное смущение красивой, энергической и мужественной пожилой родительницы моей, что тотчас же стал целовать ее, и мы помирились.

Конечно, я не без основания обличил мать за ее неделикатный и бестактный гнев на тогдашний предмет моего обожания (тем более, что и теперь, через 40 лет, могу сказать: девушка эта была вполне достойна любви и уважения...) Но... *«республика!.. республика!..»* вот что было нестерпимо глупо!

Я и не подозревал, что я, во-первых, точно так же, как и мать, *именно рос среди монархических преданий*. А во-вторых, что республика мне ни к чему не была нужна; что все это был лишь один юношеский порыв хвалить то, чего у нас нет и особенно, что *тогда, при Государе Николае Павловиче, хвалить было даже небезопасно*.

Припоминая теперь внимательно и добросовестно разные мои «психологические моменты», я уверен, что и тогда в республиках мне нравилось не то, что они отличаются от монархий, т. е. не равноправность и не политическая свобода, а, напротив, те стороны великих республик, которые у них общи с великими монархиями: сила, вырабатываемое сословным строем разнообразие характеров, борьба, битвы, слава, живописность и т. д.

В этом эстетическом инстинкте моей юности было *гораздо более государственного такта, чем думают обыкновенно; ибо только там много бытовой и всякой поэзии, где много государственной и общественной силы*. Государственная сила — есть скрытый железный остров, на котором великий художник-история лепит изящные и могучие формы культурной человеческой жизни.

Итак, повторяю еще раз, я, сам того не подозревая, рос в преданиях монархической любви и настоящего русского

патриотизма, и до республики (как я сказал) мне не было никакого дела. И этими-то добрыми началами, которые сказались вовсе не поздно, а при первой же встрече с крайней «демократией нашей» 60-х годов, быть может — я более всего обязан матери моей, которая сеяла с самого детства во мне хорошие семена.

II

Краткая заметка матери моей об ее поступлении в институт и о том, как ей посчастливилось определить своего первенца в Пажеский корпус в 26 году, — по моему мнению, — написана гораздо суше и как-то официальнее, чем могла бы она быть написана, если бы покойница излагала в ней все так же подробно и живо, как, бывало, рассказывала она о том же самом в семье на словах; или, пожалуй, так, как написаны были ею те отрывки из дворянской жизни 11-го и 12-го годов, которые были напечатаны не так давно в «Русском Вестнике». Просто, живо, свежо и достаточно наглядно. Но там мать писала об отце своем, об матери, женихе; о танцах и маскараде в деревне, о бегстве в Ростов из Калуги от нашествия французов; о Царской Фамилии — ничего. ¹⁰ ²⁰

Когда дело дошло до сношений и встреч с лицами Императорского Дома, — литературная неопытность матери была причиной, что она не сумела удачно сочетать той почтительности общего тона, к которой она справедливо считала себя обязанной в подобном случае, с живостью и наглядностью некоторых подробностей, о которых она на словах вспоминать не забывала. Она предполагала еще при жизни своей уже давно напечатать этот краткий рассказ о том, как она в Калуге и Москве представлялась Императрице Марии Феодоровне и только что воцарившемуся Императору Николаю Павловичу, и, вероятно, потому прида- ³⁰ ла рассказу этот тон строгий и несколько официальный, без всяких побочных более живых подробностей, думая,

что именно так, а не иначе должно о подобных предметах печатать. Я сказал, что это литературная неопытность и больше ничего.

Когда мы передаем из жизни исторических или высокопоставленных лиц что-нибудь весьма оригинальное, резкое, из ряда выходящее, то, разумеется, можно и пожалуй даже должно сохранить за подобным историческим анекдотом самую строгую краткость изложения; — поражающее великодушие, доброта или, напротив того, строгость, смелость, сила, иногда даже и жестокость или оригинальность какой-нибудь выходки замечательного человека, или забавность какого-нибудь столкновения и т. п. — все это будет само за себя говорить, и больше ничего не нужно.

Но что же особенного в том, что «одна дама», «помещица», «провинциалка» представлялась когда-то Императрице и что ее сын был записан в пажи?

Кому это нужно — «так, как есть», «просто»? — Никому. Воспоминание об этом дорого только этой самой даме и, может быть, некоторым очень близким ей людям; да и то не само по себе, а потому лишь, что это было ей приятно и дорого; что это лично-важный случай из ее биографии, для близкого ей человека имеющей большое значение, — и только.

Но когда многое побочное освещено правдиво и наглядно; когда самый поступок высокопоставленного лица объяснен и осмыслен, — тогда и неважность этого факта личной нашей жизни может приобрести иную занимательность и более серьезное значение и для равнодушных людей.

Не знаю, успел ли я в этом, но я старался припомнить многое из того, что я слышал об этом случае и об этом времени от самой матери и чего в краткой записке ее не нашел.

Мать моя прежде всего описывает свое поступление в Екатерининский институт, свое в нем учение и выпуск.

«Я воспитывалась в Петербургском Екатерининском институте, куда была помещена по собственному моему желанию, но совершенно неожиданно, через посредство

добрейшего в мире существа». — Так начинает мать свой рассказ. — «Во время одной из войн с Францией, — продолжает она — отец мой был назначен командиром небольшого отряда подвижной милиции и, по заключении мира, получил приказание привести свой отряд в Петербург. Он воспользовался этим маленьким походом, забрал все свое семейство с целью разместить по казенным заведениям. В Петербурге он отыскал своих старинных знакомых и с помощью их поместил двух моих меньших сестер в Екатерининский институт, — одну на казенный счет, а за другую сам вносил известную сумму. Брат был помещен в Горный корпус. Оставалась одна я. Родители мои, не знаю почему, не хотели со мной расстаться. Я же, навещая часто моих сестер в Екатерининском институте, так полюбила этот тихий, безмятежный род жизни, что, как говорится, спала и видела — как бы туда попасть. К родителям я не смела приставать с этой просьбой и от горя и досады часто плакала тихонько».

Какое же это такое «добрейшее в мире существо», по выражению матери моей, неожиданно осуществило ее мечту об институте?

Существо это была молодая светская и придворная дама Анна Михайловна Хитрово. Я уже говорил в моем предисловии два слова об ней самой и об ее портрете.

Мать, в детстве своем, была, должно быть, особенно милая, хотя вероятно, судя по позднему складу своего ума и характера, — несколько серьезная и резонирующая девочка, и Хитрово, которая была уже замужней молодой женщиной лет 24, когда матери не могло быть более двенадцати-тринадцати лет, очень ее любила. Дружба между ними сохранилась до самой смерти Анны Михайловны (в 40-х годах); я ребенком, бывая у нее в Петербурге, всегда с удовольствием целовал ее нежную и душистую руку. Она была и в старости в высшей степени привлекательна.

Правда, Анна Михайловна была немножко легкомысленна, расточительна и слаба характером; но ее необычно-

венная доброта, аристократическое изящество и ласковость были истинно пленительны!

Я до сих пор с величайшим удовольствием вспоминаю ее небольшую квартиру в Петербурге, около Михайловского дворца. Бывать у нее в гостях с матерью, которую она так любила, было для меня тогда праздником. Хотя дела Анны Михайловны под старость были очень расстроены и она жила почти что одной помощью богатых родных и друзей (Опочининых и других), но все-таки в этой квартирке ее было все так хорошо, так красиво, так душисто, — по этажеркам, на камине и везде было столько дорогих и хорошеньких вещиц, и сама она была так мила и даже так красива, несмотря на преклонные годы свои, что и тогда в детстве я находил и даже теперь «ретроспективно» нахожу в этой почтенной даме более прелести, чем во многих молодых женщинах.

Я говорю, что дела Анны Михайловны Хитрово были очень расстроены; помню, мать моя рассказывала, будто бы кто-то просил Государя Николая Павловича заплатить за Анну Михайловну долги (кажется, около 20 000 р.), но Государь отвечал, что заплатит после ее смерти. Иначе она наделает новые.

Дружба ее с матерью моей началась, как я сказал, с ранних лет. Мать моя говорит, что две ее младшие сестры были отданы в Екатерининский институт, и ей тоже туда хотелось. Надо заметить, что бабушка и сама желала до известной степени удалить Феничку из дома, но она трепетала мужа, и без вмешательства Анны Михайловны никогда бы матери моей не попасть в институт. Почему не желал этого дед — не знаю; но думаю, что он до того ненавидел и презирал бабушку, что с него достаточно было одного подозрения о желании жены отдать дочь в заведение, чтобы воспротивиться этому. Именно эти-то ужасные отношения отца и матери и были главной причиной, почему ребенку так хотелось вон из дома. Когда-нибудь, при другом случае, я об дедушке моем, Петре Матвеевиче Карбанове, расскажу подробнее; он был, может быть, один из

самых «выразительных» представителей того рода прежних русских дворян, в которых иногда привлекательно, а иногда возмутительно сочеталось нечто тонкое «Версальское» с самым страшным, по своей необузданной свирепости, «азиятством». Истинный барин с виду, красивый и надменный донельзя, во многих случаях великодушный рыцарь, ненавистник лжи, лихоимства и двуличности, смелый до того, что *в то время* решился кинуться с обнаженной саблей на губернатора, когда тот позволил себе усомниться *в истине его слов...* слуга Государю и *Отечеству* преданный, энергический и верный, любитель стихотворства и всего прекрасного, — Петр Матвеевич был в то же время властолюбив до безумия, развратен до преступности, подозрителен донельзя и жесток до бессмыслия и зверства. Для семьи своей, для дворовых и даже нередко для посторонних лиц он был истинный «бич Божий», и трудно даже понять, как это могли люди жить и дышать под одною с ним кровлею! Рассказов об его зверских выходках я знаю много; но здесь я упомяну только об одной. Матери моей было лет семь, восемь; однажды летом, в деревне, бабушка сидела на диване с работой; мать играла около нее в куклы. Окно около дивана было отворено, и за ним снаружи что-то чинил плотник. Вдруг вбегает дедушка (да — именно *вбегает*, — рассказывала мать), вбегает с разъяренным, ужасным лицом, ни слова не говоря, кидается на бабушку, хватает ее за горло, опрокидывает на диван и начинает душить. «У матушки, — рассказывала моя мать, — лицо посинело; она не успела даже вскрикнуть, а я закричала: „Убьет! убьет!..“ Тогда плотник, который работал за окном, заглянул вдруг в это окно, увидел, что делается, и закричал: „Барин! барин! что ты! иль в Сибирь захотел!“ Этим он спас жизнь моей матери. Отец опомнился, оставил мать и молча ушел к себе!»

Повод к этой расправе мать моя не помнила; но этих поводов терзать жену Петр Матвеевич находил так много, что немудрено было и забыть половину их с тех пор. Очень может быть, впрочем, что и я выбрал пример для

деда моего не слишком невыгодный. Известно, что никто не может легче иной женщины довести и самого доброго, образованного и порядочного мужа до потери терпения и до насильственных поступков. Я понимаю, что самый благородный человек может в иную минуту ударить женщину и даже порываться убить ее; но дед мой систематически и нередко хладнокровно преследовал жену, и в отношениях с ней не было заметно у него и тени великодушия или справедливости, а только отвращение и постоянная злоба. Я выбрал этот пример, как один из самых ранних; худших случаев было много до поступления матери в институт. Она ужасно жалела и сильно любила тогда свою мать; но, вероятно, инстинктивно понимала, что она не только помочь ей не может, но даже «вредит своим присутствием». Она считалась «фавориткой» бабушкиной, и дедушка, чтобы только огорчить и ту, и другую, придирался по очереди то к той, то к другой; присутствие «любимицы» дочери было только мнимым поводом к оскорблениям и побоям. В высшем кругу, к которому принадлежала А. М. Хитрово, конечно, не знали всех подробностей домашней жизни Петра Матвеевича Карабанова, но все-таки могли понимать, что жизнь в его доме не легка, и вот почему Анна Михайловна приняла живое участие в судьбе хорошенькой девочки, которая упала к ногам ее, и даже тайно от гордого деда платила несколько лет за своего друга-ребенка деньги. Отчего дед, у которого было около 800 душ (в Вяземском уезде), не хотел или не мог тогда заплатить за дочь — сам не знаю. Кажется, что в это самое время и за самые эти 800 душ у него был очень тяжелый процесс с помещиком Шагаровым; а может быть, из упрямства и каприза.

Во всяком случае, понятно, мне кажется, после этого объяснения — почему все то, что касалось до Екатерининского института и до всех лиц, которые были связаны с пятилетней в нем жизнью, оставило в сердце матери моей такие светлые воспоминания. Я не говорю уже о лицах Царской Фамилии; и теперь любят совершенно *идеально* Госу-

даря и весь род Его столь многие правильно развитые русские; я говорю о других. Например, о какой-нибудь мад. Брейт-копф, тогдашней начальнице института; она была к матери моей не совсем справедлива; но и об ней мать говорила с какой-то благодарной почтительностью.

— В эти пять лет институтской жизни я забыла все домашние ужасы... Я точно выпила «воды Леты», — любила повторять она.

«Когда я откровенно призналась Анне Михайловне, что хочу воспитываться в институте (пишет моя мать), а родители не отдают, она начала меня уговаривать, утешать; но, увидев, что все бесполезно и что я горько плачу, — велела мне уйти в мою комнату и обещала уговорить моих родителей. Она точно исполнила свое обещание; долго оспорила моего отца, который очень уважал ее, но не хотел в сем случае сдаться ни на какие убеждения и думал кончить этот спор, признавшись, что, платя уже за одну из своих дочерей, он, по расстроенным своим делам, не может платить за двух. Г-жа Хитрово сказала на это:

— Oh! si ce n'est que cela, laissez-moi arranger cette affaire?»²⁰

Отец мой не сделал на это никакого возражения, и г-жа Хитрово тотчас уехала.

Через несколько дней отец мой получил отношение из канцелярии Екатерининского института, что он имеет право представить старшую дочь свою в институт, что она, по воле Ее Императорского Величества Императрицы Марии Феодоровны, принята. Батюшка был очень удивлен и как будто несколько сконфужен этим известием; но, не смея противиться воле Царской, через несколько дней представил меня в институт, и вскоре после того родители мои уехали в деревню. Я много плакала, расставаясь с ними, — но радость моя быть в институте служила мне утешением. От удовольствия я не спала почти всю первую ночь и встала гораздо ранее звонка, который, между нами будь сказано, в последствии времени часто меня сердил; — я любила поспать.

Я пробыла несколько лет в институте, и только в день выпуска, при выдаче квитанций из канцелярии, мы узнали, что я была пансионеркой г-жи Хитрово, которая, боясь, чтобы отец мой не отказался от ее вспомоществования в уплате за меня, — уверила его, будто бы я была принята на казенный счет. Родители мои, и я в особенности, были тронуты этим тайным благодеянием, но, к сожалению моему, я была лишена удовольствия лично ей изъявить мою признательность: добрая моя благодетельница, по каким-то причинам, оставила на несколько времени Петербург, и мы должны были ограничиться письменною благодарностью.

Это было в феврале месяце 1811 года. Несколько слов о моем пребывании в институте. Я имела хорошую память, училась порядочно; учителя были мною довольны. По поведению моему также считалась наравне с лучшими девицами. Начальница и классные дамы всегда отзывались обо мне с похвалою. Я немало удивлялась, слышавши от некоторых девиц, что они скучали и с нетерпением ожидали своего выпуска. А мне, напротив, не хотелось оставить института; мне очень нравился тамошний быт; я с ним так свыклась, что просила начальницу оставить меня пепиньеркой. Она с удовольствием услышала о моем намерении и обещала ходатайствовать у моих родителей, когда они приедут. Я не сомневалась в успехе, полагая, что родители мои отчасти отвыкли от меня. Несколько лет они меня не видали; на письма мои они отвечали редко. Однако я жестоко ошиблась. По приезде их к моему выпуску, начальница сдержала данное мне слово и уговаривала их оставить меня в институте; но они отказали наотрез.

Приблизилось время Царских экзаменов. Ее Высочество Великая Княжна Анна Павловна всегда сопутствовала Императрице. С первого раза, когда меня вызвали к доске для экзамена при Их Величествах, и во все дни экзамена, Великая Княжна неоднократно подходила ко мне и делала мне разные вопросы. Она спросила у меня однажды, имею ли я родителей и где они? — На мой ответ, что они теперь здесь, приехали за мной, она спро-

сила: „Probablement vos parents sont impatiens de vous avoir auprès d'eux?” — Я отвечала: „Je crois, madame, car c'est presque contre leur gré, qu'ils m'ont vue placée ici”. Ее высочество после моего ответа ничего уже более мне не сказала».

Мать много рассказывала мне о своей мечте остаться в институте пепиньеркой и жить в Петербурге. Она продолжала об этом думать и по возвращении в дом отца, до самого дня своего замужества.

В доме отца, как я уже говорил, ее многое возмущало; «вода Леты», которую она выпила, вступая в тихую, мирную, веселую и в то же время монастырски-правильную жизнь в институте, не была водой вечного забвения; — она скоро убедилась в этом!.. Что ожидало ее дома? — Угнетенная мать; отец свирепый и развратный; сестра вторая — Марфочка — оказалась подругой лживой и лукавой; любимый младший брат остался в Петербурге; несмотря на свое малолетство, он был зачислен на службу при поэте Дмитриеве, который был тогда министром. В близком будущем идеально и возвышенно настроенную девушку ждали еще более тяжкие перевероты: — она очень скоро горько разочаровалась в матери своей, которую в детстве она обожала и считала только невинной жертвой отца-тирана; она узнала, что мать ее крайне фальшива и неблагородна; увидела, что она держит себя без всякого достоинства и сама, весьма неблагоприятными свойствами души своей, нередко подает поводу отцу к жестокости и довольно основательному презрению.

Ей пришлось убедиться, что этот свирепый отец, которого она так боялась и не любила в детстве, от которого она бежала с таким вожделением в закрытое училище, гораздо прямее, честнее, благороднее этой, казалось, бедной, гонимой любимой матери. Сколько ни старалась она извинять мать тем, что она угнетена, — верный нравственный инстинкт продолжал, против воли, охлаждать прежнее дочернее чувство и, позднее, смерть деда оправдала этот инстинкт. Все неприятные качества бабушки обнаружились с новой силой, когда грозы над ней уже не стал

Она сама была вовсе не добра, не мягка, не великодушна. Уже тотчас по выходе из института в Петербурге, даже в доме Кутузовых, дедушка позволил себе несколько выходок, которые доказали матери моей, что *все в семье их по-старому!* Понятно, что после нескольких лет жизни правильной, мирной, размеренной, совершенно сообразной с характером моей матери (доходившей в любви к порядку и к изяществу чуть не до болезненности), ей не хотелось жить среди деревенской помещичьей распушенности и привыкать почти к преступному самодурству необузданного отца — после истинно-человечного, нежного даже, при всей своей строгости, обращения институтского начальства.

Но идеальное воспитание закрытого заведения сделало свое дело; мать была тверда и чиста в своих побуждениях, и потому смелее всех в своей семье. Дед стал ее бояться и уважать, и его скоро стало даже видимо стеснять ее присутствие. Протест этот был почтительный и большею частью безмолвный, но в двух-трех случаях она высказала ему прямо свое негодование, — и дедушка смутился и перенес эти выходки с удивившим всех терпением. Быть может, в них он увидал в более мягкой и женской форме лучшие движения собственного сердца, по природе прямого и честного. И вот он начинает уважать эту гордую, преданную, умную, красивую и бесстрашную дочь, от которой впервые услышал правдивые укоры — уважать... Да! Но она все-таки *стесняет его* своим присутствием! Из Петербурга он, вероятно, желал взять ее во что бы то ни стало и не позволял и думать ей о жизни в институте; он любил жить открыто и весело в своем уезде, и ему, конечно, весьма приятно было украсить свой дом такой красивой и образованной дочерью... Но когда, живя в имении, он увидал, что «нашла коса на камень» и что зоркий глаз и суровая критика этой дочери хотя и почтительно, но все-таки следят за ним и не дают ему привольно и покойно творить те чудеса, которые творить ему хотелось несмотря на старость, он поспешил отдать ее замуж за отца моего, который, надо сказать, был ей ни в каком отношении не

пара: ни по уму, ни по нравственным свойствам, ни по воспитанию, ни даже по наружности, ибо хотя он и был мужчина и очень видный, но до матери ему было и с этой стороны очень далеко. Выросшая на восьмистах дедовских душах, мать вышла по воле родителей, — без всякой любви к жениху и, почти не зная его, стала жить замужней женщиной и воспитывать детей на *семидесяти* душах запущенного мужем и вовсе не доходного калужского имения.

Все лучшие воспоминания ее были далеко за пределами ¹⁰ того скромного и уж, конечно, не *эстетического* помещичьего круга, в котором протекала в деревне ее замужняя жизнь. Но в этих стесненных условиях мать моя умела устроить такую строго-порядочную жизнь, такую тонкую, такую осмысленную, такую «культурную» (говоря нынешним языком), что я, хотя и много уже пожил и видал всего, кажется, немало на своем веку, но никогда и нигде не видал у другой женщины столько вкуса в образе жизни *при таких незначительных средствах*.
Что это не пристрастие, а истина — могут засвидетельствовать ²⁰ и теперь некоторые знакомые наши, еще живущие на этом свете.*

Этот маленький мир прекрасного, который создала мать моя в своем тенистом, веселом и, в то же время, романтическом, задумчивом Кудинове, был бедным, хотя и привлекательным отражением тех высших общественных сфер, которые имели такое решающее влияние на ее молодость. Она никогда не могла и не желала их забыть и до конца жизни любила свой *прежний* Петербург, тот Петербург, который любим был и Пушкиным и которого дорогие ей ³⁰ черты она умела находить и в новом Петербурге, теперь столь омерзительном.

* Тотчас по напечатании этого, я получил письмо от кн. С. В. М — ой с выражением сочувствия и подтверждением всего сказанного мною. Княг. М. — дочь покойной княг. Ек. Ал. Оболенской, соседки нашей по имению.

Провести несколько зимних месяцев на берегах *Иль*. в самой скромной комнате, бывать одной-одинешенькой в театре, посещать изредка немногих из постаревших, подобно ей, знакомых высшего круга, стало под старость для нее необходимой потребностью.

Ей приятно было видеть место ее, хотя и неудавшихся, но приятных надежд... Какие же это были ее надежды в годы юности? Она не скрывала их от нас, близких... Великая Княжна Анна Павловна хотела взять ее к себе во фрейлины; это она узнала, конечно, от семьи Кутузовых, и тот разговор при выпуске, который Великая Княжна так внезапно прервала и «больше не говорила» с ней, имел именно этот смысл.

Может быть, если бы мать моя была похитрее и подгадливее, она не ответила бы Великой Княжне так решительно, и вся судьба ее направилась бы иначе; ибо и дедушка, который вовсе не желал оставить дочь пепиньеркой для того лишь, чтобы ей предстояла скромная карьера классной дамы и много, много инспектрисы институтской, — совершенно иначе взглянул бы на дело, если бы знал, что, оставляя дочь в институте обыкновенной пепиньеркой на короткое лишь время, он ей готовит должность при дворце. Но мать, при всем огромном уме своем, не только смолоду, но и под старость, была не ловка, не хитра и не догадлива, а смолоду еще была к тому же очень застенчива.

Но вот приблизился выпуск. Мать моя, одна из лучших, способных и старательных воспитанниц, надеялась получить *шифр*; из подруг ее многие тоже были уверены, что Фанни Карабанова получит его или, по крайней мере, медаль. Но все они ошиблись.

«После экзамена Императрицы (рассказывает мать) собран был совет для назначения наград. Совет состоял из г-жи Брейткопф, инспектора г-на Малоземова, двух или трех учителей и двух советников при Екатерининском институте: г. Новосильцова и г. Румянцова. Наград было, кажется, пятнадцать; пять вензелей золотых, литера *М* с

короной и кокардой; старшинство их обозначалось тем, что на кокарде из белых лент были пунцовые полоски: на первой одна, на второй две полоски и т. д. Золотых медалей было пять: достоинство их обозначалось величиной и, кажется, с надписью. Серебряных медалей тоже пять и в таком же порядке, как и золотые медали.

Не помню всех девиц, которые получили награды, но кажется, что первый вензель получила княжна Варвара Сергеевна Гагарина; второй — Наталья Васильевна Зиновьева; третий — Надежда Павловна Шипова; четвертый — графиня Розалия Шальо, дочь эмигранта, и пятый — Анна Алексеевна Окулова. Об медалях не помню. 10

У старшего класса прекратилось учение после экзаменов, и девицы, по вольности дворянства, ничем не занимались; ходили из класса в класс, из дортуара в дортуар; толковали об ожидаемых надеждах; делали прожекты для светской жизни. Желание, однако ж, у всех было знать об наградах, и они просили г. Парис* уведомить их, когда назначатся награды в совете. 20

Как скоро совет кончился, г. Парис пришел в 1-ое отделение старшего класса. Только что он вошел, все девицы окружили его с расспросами. На лавках осталось немного; в том числе осталась и я. Г. Парис назвал по очереди всех пятнадцать девиц, получивших награды. Когда назвал последнюю (это была Обрезкова), — все девицы закричали: „C'est impossible!” Мы, оставшиеся на лавках, слушали внимательно. Вдруг все девицы обратились в мою сторону и закричали: „Et Karabanoff, l'ainée?” Г. Парис отвечал: „Rien, mesdames”. — „Est il possible, mais elle surpassa Obreskoff en tout, en conduite, comme en savoir”. Г. Парис взглянул на меня грустно и, махнув рукой, хотел уйти, но девицы остановили его и спросили: „Mais quelle raison donne-t-on pour cette préférence?” Тот 30

* Племянник г-жи Брейткопф — François Paris; он был учителем французского языка в младшем классе. *Прим. Ф. П. Леонтьевой.*

отвечал: „On dit, m-elle Karabanoff est restée peu de temps à l'institut, et que l'autre est restée bien d'avantage”. С этими словами он ушел.

Девушки долго ворчали и оказывали свое негодование. К счастью, что Обрезковой тогда не было в классе.

Вдруг одна из девиц (Васильева) отделилась из толпы, прибежала ко мне, бросилась ко мне на шею со слезами и говорила: „C'est moi qui est cause que vous n'avez pas reçu de récompense!” Я сказала: „Comment cela, ma chère?” Она ¹⁰ отвечала на это: „Вы, может быть, не знали, что я орденская, и потому меня предпочли вам, хотя вы больше меня заслуживаете”. Я встала, поцаловала ее, благодарила ее за участие и старалась ее уверить, что не она в этом случае виновата, а судьба.

В день раздачи наград случилась была большая неприятность для меня. Девушки, как я и прежде упоминала, недовольны были, что медаль доставалась Обрезковой, а не мне, и потому в задних рядах, между девушками, началось тихое совещание, чтобы в ту минуту, когда Обрезкова ²⁰ будет подходить для получения медали, всем им закричать в один голос: „Elle ne mérite pas”. К счастью, вторая сестра моя, услышав об этом намерении, вышла тихонько из рядов и пошла предупредить об этом классную даму, которая, подошед к девушкам, старалась уговорить их этого не делать, уверяя, что через этот неуместный поступок они сделают мне более вреда, чем пользы. Сестра тихонько плакала и тоже их упрашивала не делать этого. Наконец они успокоились и предоставили Обрезковой получить покойно свою медаль.

³⁰ В день раздачи наград, когда я подошла к Ее Императорскому Величеству с первым поклоном, начальница наша отнеслась обо мне с похвалой, Императрица повторила несколько раз: „Bien, mon enfant, très bien; je ne l'oublierai pas”. Удостоила меня поцаловать, и я отошла на свое место.

Вскоре после выпуска я уехала в деревню с моими родителями, и в том же году меня выдали замуж. Я говорю:

выдали, потому, что я не о замужестве думала, но все еще льстила себя приятною надеждою — быть когда-нибудь пепиньеркой в Екатерининском институте».

Что же случилось такое?.. Почему не наградили Фанни Карабанову?

Племянник г-жи Брейткопф, Парис, «махнул рукой» и ушел, не желая продолжать разговор. Матушка почему-то умалчивает в Записках своих о том, что, в этом случае, со стороны начальницы была видимая несправедливость. Может быть, она не хотела бросить невыгодную тень ни на кого из тех, которых имена связаны с самыми дорогими для нее воспоминаниями, или, еще вернее, глубокое, до религиозного чувства доходившее, уважение ее к Царской Фамилии не допускало ее упомянуть на бумаге почти ни о чем побочном или второстепенном; но верно только то, что в рассказах ее, я помню, очень ясно просвечивало подозрение о каких-нибудь интригах богатых и сильных людей в пользу других девушек... Например, мать не привела здесь собственных слов г-жи Брейткопф, которые я даже запомнил очень твердо:

— Карабановой нельзя не дать шифра... Elle me l'arrache...

«Вырывает — прилежанием, умом, примерным поведением»...

В этих словах «она его у меня вырывает» — ясно видна борьба справедливости с какими-нибудь иными чувствами и влияниями.

Мать моя, должно быть, действительно, могла «импортировать» в молодости своей деловитостью, исполнительностью, умом и тому подобными серьезными свойствами. Если сопоставить то впечатление, которое она производила почти на всех, уже будучи пожилой женщиной и главою семьи, с рассказами о ней других лиц, помнивших ее молодою, и с ее собственными суждениями о своих личных тогдашних качествах и недостатках, — то станет ясно, что она была девушка чрезвычайно способная, основательная, твердая, великодушная и приятная, несколько гордая по

натуре, но покорная властям по принципу, и вместе с тем доверчивая до простоты и, как я сказал, вовсе уж не хитрая, не ловкая и не остроумная. Она была и в старости в высшей степени женственна — со стороны тонкого изящества, привычек и вкусов, и долго хранила следы замечательной красоты; но по уму ясному, широкому и серьезно-му, и по характеру твердому и прямому, доходившему нередко до бестактности и неумения обращаться искусно с окружающими, — она больше похожа была на вспыльчивого и крутого мужчину.

Конечно, не одна же красота и миловидность ее привлекали на нее внимание Императрицы Марии Феодоровны и других высокопоставленных лиц, а все вместе взятое.

Несмотря на явную несправедливость к ней начальницы, г-жи Брейткопф, и членов совета, мать моя до того любила Екатерининский институт и свою о нем память, что сохранила небольшую записку, написанную при выпуске ей на память, на маленьком клочке *очень* простой бумаги, этой самую г-жею Брейткопф.

Вот содержание этой французской записки, в которой ничего нет, кроме общих мест весьма обыкновенного доброжелательства:

«J'aime toutes les élèves de l'Institut, aucune ne m'est indifférente, et elles ont toutes le pouvoir de me rendre heureuse.

Vous êtes une de celles qui se sont constamment bien conduites. Vous ne nous avez jamais donné des sujets de mécontentement. Vous avez fait valoir ce que la nature vous a donné de bien. — Je vous aime avec plus de sécurité; je jouis de mon sentiment, parce que je suis sûre que vous ne le trahirez jamais. Allez, chère et aimable enfant, suivez vos estimables parents, vivez pour leur obéir et pour les rendre heureux; il en résultera leur bienfaites bénédictions, et le bonheur que Dieu a promis à l'enfant soumis. Mes tendres vœux vous suivront partout.

A. Breitkopf».

Я сказал, что мать сберегла эту незначительную записку, я выразился слабо, — она хранила ее, как нечто драгоценное... У меня цела деревянная урна черного цвета с бронзовым рельефным распятием наверху. Урна эта той обыкновенной формы, которая встречается часто у нас на могильных памятниках. Спереди на белой дощечке вырезаны самой матерью слова:

«*Souvenirs précieux*».

Урна выточена очень чисто и правильно из какого-то простого дерева домашним крепостным столяром и покрашена черной краской так хорошо, что, не зная, можно принять ее за изделие из настоящего черного дерева. В этой-то урне мать моя хранила несколько предметов для нее в разном смысле одинаково дорогих: — по одному хорошему письму от детей (есть одно и мое, 1849 г., когда мне было 18 лет); предсмертное последнее письмо бабушки Александры Эпафродитовны Карабановой, с просьбой исполнить одно ее последнее, заветное и доброе желание; цветок (синий бель-де-нюи), нарисованный любимой золовкой Лизой Леонтьевой, которая ее обожала и прожила очень недолго; другой моей теткой Варварой Борисовной Леонтьевой вышитая шелками на небольшой бумажке пестрая бабочка. На бумажке надпись рукой матери: «*Emblème de M-r Dournoff*». И в ответ на это надпись Вас. Дм. Дурново: «*Il l'était avant de vous avoir connue*». И наконец, детские поздравительные стихи одного из братьев моих:

«Родителям и жизнь, и душу, и мысль посвятим!
От них имеем все — и все им отдадим;
Тогда на нас сойдет Небес благословенье,
И в счастье будем жить мы каждое мгновенье».

Детские стишки эти, выписанные, вероятно, из книжки еще в 20-х годах нашего столетия, имели для матери моей,

конечно, огромное значение. Этот брат мой, Александр, был в детстве и юности своей сын самый любящий из всех нас и самый любимый, и самый привлекательный по характеру и наружности; но к годам 30-ти он стал далеко не тем, чем обещал быть в своем милом детском и юном возрастах. Понятно, что мать с глубоким и болезненным чувством берегла эти стишки, драгоценные для нее, как воспоминание тех лучших дней, когда этот любимый Саша бегал по кудиновскому саду в курточке с отложным гофрированным воротничком, и никто не мог думать, глядя на его милое и доброе лицо, как мало оправдает он добрые надежды, возлагаемые на него.

В этой же урне я нашел и записку о последних днях жизни Императрицы Марии Феодоровны.

Есть в ней еще небольшое письмо любимой тетки материнской, подруги ее молодости и почти ровесницы ей, Федосьи Эпафродитовны Станкевич, в замужестве Алалыкиной. Эта женщина, сверх того серьезного значения, которое может иметь для каждого человека сверстник или сверстница, родственник или родственница, связанная связью дружбы в течение *пятидесяти с лишком лет*, имела на мать мою даже издали (из костромского имения своего) особого рода хорошее влияние: какое-то *идиллическое, успокаивающее*. Она была бездетна, очень счастлива с мужем своим Алалыкиным, с которым и прожила долго и покойно, как Бавкида с Филемоном. Это последнее письмо Федосьи Эпафродитовны писано ею вскоре после эмансипации, и старая помещица, бывшая девицей еще во времена Павла I, очень охотно и мужественно мирится с новыми и почти неожиданными либеральными порядками. Я знаю, что на мать эта любимая тетка, этот друг детства и юности, всегда влияла успокоительно, светло и отрадно; я за это любил эту бабушку, почти не зная ее лично; ибо помню ее мельком только в детстве.

Итак, в этой урне собраны матерью моей за *полвека с лишком* небольшие по объему, но великие по значению

для сердца ее, предметы, напоминавшие ей, в разные эпохи ее жизни, людей, совершенно не схожих между собой или схожих только тем, что они все, каждый по-своему, играли значительную роль в ее наполненной, недаром протекшей, довольно долгой жизни (она скончалась 79 лет в 1871 году). Начиная от воспоминаний о боготворимой Царице и кончая цветком любимой золовки, детскими стихами и вышитой по бумаге бабочкой с любовным комплиментом светского и красивого барина, — здесь есть намеки на все и отрывки всего, радостно или грустно волновавшего в течение жизни ее сильную душу.

И вот в этой же урне я нахожу не только ничтожную записку мадам Брейткопф, но и другое французское письмо инспектрисы Марии Альбрехт, и еще стихи институтской подруги, княжны Прозоровской. Письмо госпожи Альбрехт мне нравится больше, чем письмо директрисы; в нем все-таки заметно, что г-жа Альбрехт понимала, чего именно можно ожидать от «Fanny Карабановой»; чем она особенно отличается: «благоразумием, твердостью, трудолюбием...»

«Ma chère amie! — пишет mad. Альбрехт: — Je suis très sensible à la preuve d'amitié que vous me donnez en désirant que j'écrive quelques lignes dans votre livre de souvenir. Je ne saurais vous parler que de l'admiration et de l'attachement que vous m'avez inspirés par votre conduite sage, vos manières aimables, votre constante application dont j'ai eu des preuves évidentes au dernier examen; car les progrès que vous avez fait dans le peu d'années que vous êtes à l'Institut m'ont étonnée et me font faire le voeu d'avoir beaucoup d'élèves qui sauraient comme vous employer leur temps, et si bien profiter de l'éducation qu'on donne ici. Continuez, ma chère amie, à vous distinguer dans la grande société de ce monde, comme vous l'avez fait chez nous; les devoirs y sont plus pénibles, les fautes qu'on y pourrait faire plus graves; mais une jeune personne de votre façon de penser écouterá la voix de la raison, et tâchera toujours d'avantage d'acquérir des

forces pour combattre ses passions, afin de rester sur la chemin de la vertu. Relisez ces lignes pour vous rappeler d'une personne qui vous aime avec tendresse et qui désire vivement votre bonheur.

Votre toute dévouée amie
Marie Albrecht».

1811.

На письме есть следующая приписка матери:

«Elle est morte en 1812. Inspectrice de l'Institut.

10 Tu n'est donc plus, adorable personne? Je t'ai perdue sans retour! Que cet unique souvenir qui me reste de toi me sera cher et sacré jusqu'à ma mort!»

Стихи молодой княжны тоже очень милы; и, зная, до чего в годы учения были дружны между собой молодые девушки, — одна серьезная (мать моя), — другая веселая и проказница, — веришь и чувствуешь, что они писаны с самым искренним чувством.

20 Настал разлуки горький час.
Прости, мой друг; в последний раз
Тебя я к сердцу прижимаю,
Хочу сказать — не плачь, и слезы проливаю.
Но так назначено судьбой,
Прости... и Ангел мира
В дыхании зефира
Да веет за тобой.

Р. Р...у.

30 («Княжна Прас. Прозоровская написала эти стихи в день нашей разлуки; мы воспитывались вместе в институте, были в одном классе, в одном отделении, в одном дортуаре, были дружны. Вышли из института в один день и расстались навсегда в 1811 году 21 февраля»). Эти строчки прибавлены моей матерью.

Эти три бумажки: письмо любимой инспектрисы, стихи избранной сердцем подруги и даже ничтожная записка не-

справедливой начальницы — хранились матерью как святыня всегда в числе воспоминаний самых глубоких и самых лучших.

Вот до чего любили тогда люди те училища, в которых воспитывались!..

То ли могла бы теперь видеть мать моя в правнуках своих? Осуждать, корить всех и все, — вот что предпочитают «нынешние люди», переступая за порог воспитавшего их училища!..

III

10

Мать моя первый раз представилась Императрице Марии Феодоровне через *пятнадцать лет* после выхода своего из Екатерининского института, и Государыня не забыла ее.

Все это время мать моя жила в деревне: сначала — в семье своего свекра, под Мещовском, а потом, по смерти его, — в небольшом имении мужа (в том самом Кудинове, о котором я писал в своем предисловии). В полевое хозяйство она тогда мало входила; занимался им отец и, кажется, занимался плохо. У матери были уже дети на возрасте, и ее начинал заботить недостаток средств для их воспитания. Изредка она уезжала на зиму в Петербург, но больше для развлечения; ни в записках ее не видно, ни мне неизвестно — была ли у нее мысль рано или поздно хлопотать о помещении хотя бы старшего ребенка в какое-нибудь казенное заведение.

Неожиданный приезд Императрицы-Матери в Калугу решил, так сказать, судьбу почти всех ее детей.

Вот как матушка начинает рассказ о первом своем представлении Государыне:

«Так прошло несколько лет, в продолжении коих я занималась большею частью воспитанием детей моих, передавая им те познания, которыми воспользовалась в бытность мою в институте.

По кончине Его Величества Императора Александра Павловича, Императрица Елизавета Алексеевна возвра-

щалась из Таганрога через Калугу. По этому случаю ожидали в тот же город и Императрицу Марию Феодоровну. Слух об этом распространился, но до меня дошел позднее, потому что я жила в деревне; как скоро же я об этом узнала, желание мое видеть Ее Величество так было велико, что я тотчас отправилась в Калугу.

Приехав в город, я узнала, что уже третий день как Государыня прибыла сюда. Я прямо поехала к губернаторше,* которую я не имела удовольствия знать, и была в некотором замешательстве, — как себя ей отрекомендовать? К счастью моему, я нашла у нее близкую ее родственницу, а мою давнишнюю знакомую. Эта добрая и почтенная особа,** узнав от меня, в чем состоит дело, отрекомендовала меня губернаторше и просила для меня ее покровительства. Губернаторша спросила у меня: „Que désirez-vous, madame?“. Я отвечала: „Madame! je désire avoir le bonheur d'être présentée à Sa Majesté L'Impératrice“.

— Je ne sais, madame, si cela se peut faire, car la présentation générale a eu lieu hier soir; quant à être présentée seule, il faut une faveur particulière pour cela.

Я огорчилась, покраснела, и слезы навернулись на глазах. Добрая княгиня Ек. А. Оболенская, заметив это, объяснила губернаторше, что так как я воспитанница Императрицы, то, может быть, мне и не откажут. Губернаторша обратилась ко мне и сказала: „Tranquillisez-vous, madame; aujourd'hui j'ai l'honneur de dîner chez Sa Majesté; je verrai la dame d'honneur, je lui exprimerai votre désir“.

Я изъявила ей свою благодарность, и она у меня спросила: „Dites, je vous prie, madame, sous quel nom dois je vous annoncer?“

— Je suis mariée à M. Leontieff, mais Sa Majesté ne peut me connaître que sous mon nom de demoiselle. Ayez la bonté

* Княгиня Аграфена Юрьевна Оболенская, урожденная графиня Нелединская-Мелецкая. *Примеч. Ф. П. Леонтьевой.*

** Княгиня Екатерина Алексеевна Оболенская, урожденная графиня Мусина-Пушкина. *Примеч. Ф. П. Леонтьевой.*

de nommer une D-elle Karabanoff, élève de l'Institut de S-te Cathérine, de la 4-ème sortie.

Оставив у губернаторши мой адрес, я поблагодарила обеих княгинь Оболенских и отправилась в дом к моим родным, у которых намерена была квартировать, пока пробуду в Калуге».

Из рассказов матери, помню очень хорошо, что отец мой и вообще все семейные смотрели на намерение ее добиться представления Императрице — как на несбыточную фантазию. Все, кто посмелее, кто более робко, но все же высказывали ей сомнения, чтобы в такое краткое пребывание свое в Калуге Царица могла бы ее принять. И эти сомнения домашних, конечно, удвоили смущение и волнение молодой женщины, в тайне сердца своего пламенно желавшей доказать всем, что вера ее в обожаемую Императрицу не тщетна, что она, Карабанова, питомица незабвенного для нее института, — не забыта Державной Попечительницей этого училища.

«Сколько разных чувств, — продолжает она свой рассказ, — волновали мою душу в ожидании ответа. Боязнь отказа, желание видеть Императрицу, страх, что через столько лет я не могла остаться в Ее памяти, — так был велик, что, несмотря на внимание добрых родных, — я не в состоянии была обедать. Наконец в семь часов вечера мы увидели проскакавшего мимо окон и въехавшего к нам на двор жандарма; я обомлела и не могла встать с места. Одна из моих родственниц побежала в прихожую, чтобы узнать, зачем приехал жандарм; оттуда она возвратилась ко мне с раскрытой запиской и кричала мне: „Réjouissez-vous, réjouissez-vous; Sa Majesté a la bonté de vous recevoir”. Я не верила ей, вырвала записку; она была от губернаторши, и я прочитала следующее:

„C'est avec bien plaisir, madame, que je vous transmets l'ordre de Sa Majesté. Ce soir à 8 heures Elle aura la bonté de vous recevoir. Je suis, etc. etc.”.

Я была вне себя от радости. Милые родные напомнили мне о моем туалете, принялись меня одевать, и к 8 часам

я была уже у крыльца того дома, который занимала Императрица. Швейцар провел меня к княгине Волхонской (штатс-даме Ее Величества), которая послала тотчас доложить Императрице обо мне. Через несколько минут вошел камер-лакей и, обратясь к княгине, сказал: „Пожалуйте”.

Княгиня пошла вперед; я за нею, едва передвигая ноги, так казалось мне страшно. Страх этот продолжался не долго; лишь только увидела я эти благодию дышущие черты, лишь только услышала я этот знакомо-приветливый ¹⁰ голос, — я совсем ободрилась и, при словах Ее Величества: „*Bonjour, mon enfant! Je suis charmée de vous voir*”, — я хотела упасть к ее ногам, но Она меня не допустила и несколько раз обняла.

Что это было за чудное Существо! Я нашла мало перемены в лице Императрицы, а материнская заботливость Ее об нас, Ее воспитанницах, все та же. Расспрашивая меня в подробностях обо всем, что до меня касается, как я живу, чем занимаюсь, есть ли у меня сад, строевой лес, далеко ли имение мое от Калуги, Она между прочим спросила:

²⁰ — *Avez-vous des enfants?*
— *Plusieurs, Votre Majesté.*
— *Quel âge a votre fille ainée?*
— *Onze ans.*
— *Mon enfant, il faut songer à la placer.*
— *Ma fille ne dépend pas de moi.*
— *Comment cela?*
— *Ma mère l'a prise chez elle dès sa naissance et ne veut pas s'en séparer.*

— *Ah! c'est autre chose.*
³⁰ — *Mais puisque Votre Majesté a tant de bonté pour moi, j'ose la supplier pour mon fils; il a 13 ans, et il est inscrit au Corps des pages depuis plusieurs années, mais jusqu'à présent je n'ai pas pû le placer.*

— *Eh bien! mon enfant, j'en parlerai à mon fils et nous arrangerons la chose.*

Со слезами на глазах я упала перед Ней на колени; Она тотчас меня подняла и обняла.

— Si vous avez ici les papiers qui concernent votre fils, apportez les moi demain matin à 10 heures. Si vous ne les avez pas ici, ainsi vous les apporterez à Moscou. N'est-ce pas, mon enfant, que vous viendrez pour le couronnement?

— Absolument, Votre Majesté, si Vous me le permettez.

— Oui, oui; venez, nous arrangerons mieux les affaires.

Тут Ее Величество подошла ближе ко мне и начала поправлять на мне чепчик и шемизетку, и сказала, обратясь к княгине:

— Comme c'est agréable de voir, qu'ayant quitté l'Institut depuis plusieurs années, et habitant toujours la campagne, elle se tient si bien; elle soigne sa toilette; elle n'a presque pas changé.

Я несколько раз цаловала благодетельную руку, ласкавшую меня во время этих слов.

— Votre Majesté, — сказала я, — c'est l'éducation que j'ai reçue à l'Institut, qui est la cause principale de tout cela. J'aime tant l'Institut, que j'ai tâché de régler toutes mes occupations d'après les habitudes que j'y ai contractées.

— Bien, très bien! mon enfant! — и Она расцаловала меня.

Какая чудная память была у Ее Величества. Она назвала мне фамилии многих девиц, бывших одного со мною выпуска. Наконец, отпуская меня, сказала:

— Adieu! mon enfant! Je vous remercie beaucoup d'être venue me voir!

Я обняла Ее колени; Она меня поцаловала и прибавила:

— Ainsi dinc à demain!

— Votre Majesté! Vos ordres seront remplis!

С этими словами я вышла.

Не стану описывать, как я была тронута этим милостивым приемом; я плакала от умиления. Успокоившись несколько, — я прямо поехала к губернаторше, и, нашед у нее княгиню Оболенскую, ее родственницу, изъявила им обоим мою благодарность за ходатайство. Они приняли участие в моей радости.

С вечера я приготовила все бумаги и легла отдохнуть в ожидании назначенного часа.

На другой день, ровно в 10 час. утра, взяв бумаги, поехала к Императрице. Подъезжая ко дворцу, мне странною показалась необыкновенная тишина около него, тогда как накануне по этой улице беспрестанно ездили экипажи и народ толпился перед воротами; у меня невольно как-то сердце сжалось. Въезжаю на двор, к крыльцу; выходит служивый и спрашивает, что мне нужно, я говорю, что, по приказанию Императрицы, я приехала с бумагами.

Служивый. Да Императрицы нет!

10 *Я.* Как нет? Да где ж Она?

Служивый. Сегодня, в 6 часов утра, уехала в Белев.

Я. Зачем?

Служивый. Получила известие, что Императрица Елизавета Алексеевна занемогла очень в Белеве и далее ехать не может.

20 Это известие меня поразило и огорчило; я долго оставалась в недоумении, что мне делать; но, увидав бумаги, лежавшие возле меня, я решилась ехать к губернаторше и просить ее совета. Когда я ей объяснила все касательно приказа Ее Величества о моих бумагах и о моем недоумении, как поступить в сем случае, губернаторша советовала мне возвратиться в деревню, а бумаги взяла у меня, чтобы передать их своеручно г. Вилламову. Поблагодарив губернаторшу за ее доброе расположение, а родных моих за гостеприимство, я уехала в деревню; тем более я спешила ехать, что у меня оставался в деревне больной ребенок, которого по приезде я нашла почти выздоровевшим.

30 Через несколько дней по возвращении моем в деревню, я получила от княгини Екатерины Алексеевны Оболенской (которая жила в моем соседстве) приглашение приехать к ней для переговоров о моем деле. Я немедленно поехала к ней, и вот что она мне сообщила: что князь Хованский,* проезжая из Калуги в Смоленск, заезжал к ней и поручил ей передать мне следующее:

* Князь Николай Николаевич Хованский, генерал-губернатор Калужской и других губерний.

„По возвращении Ее Величества из Белева, многие особы, желая изъявить горестные свои чувствования по случаю кончины Императрицы Елизаветы Алексеевны, представлялись Ее Величеству. Императрица, обошед всех и заметив, что г-жи Леонтьевой не было, обратилась ко мне и сказала:

— Je ne vois pas m-me Leontieff; je lui ai dit de m'apporter ses papiers; elle aura été bien desappointée en ne me trouvant pas à l'heure indiquée.

Губернаторша, услышав эти слова, объяснила, что г-жа Леонтьева привозила свои бумаги в назначенный час, но, не застав Ее Величества, поручила их ей, а она передала оные г-ну Вилламову. На это Императрица отвечала:

— C'est bien, madame. — Elle m'a promis de venir pour le couronnement; je la verrai et nous arrangerons son affaire.

Потом, похвалив г-жу Леонтьеву, как она вела себя в институте и как теперь занимается в деревне, Ее Величество, обратясь ко мне, прибавила:

— Prince! je recommande m-me Leontieff à votre protection toutes les fois qu'elle la réclamera.

— Ce sera mon devoir, votre Majesté, — отвечал он”.

Может ли мать заботиться о своих детях больше, нежели Ее Величество заботилась о своей воспитаннице. Я не могла слышать всего этого без слез.

Добрая и почтенная княгиня Оболенская, догадываясь, что, по моему маленькому состоянию, у меня должен быть недостаток в деньгах для поездки на коронацию, предложила мне некоторую сумму. Итак, все препятствия были отдалены, я отправилась в Москву с старшим сыном и приехала туда за несколько дней до парадного въезда Царской Фамилии. По приезде моем, я немедленно отправилась к Императрице, которая занимала в то время, неподалеку от Москвы, дачу г-на Апраксина. Я прямо явилась к штатс-даме княгине Волхонской; она тотчас пошла доложить обо мне Государыне. Ее Величество приказала мне сказать, что, когда она может меня принять, она прикажет меня уведомить.

В ожидании приказания, я употребила свое время на отыскание г-жи Хитрово, благодетельницы моей, поместившей меня в институт, также и других моих знакомых и родных. Все они приняли участие во мне, и каждый из них помогал мне по своему достоянию и разумению, кто деньгами, кто протекцией, кто советами.

С радостью и умилением смотрела я на парадный въезд Их Императорских Величеств!»

Прерываю здесь записки матери, чтобы с ее же слов (почему-то ею не записанных) прибавить про коронацию Императора Николая Павловича несколько подробностей, не лишенных, мне кажется, исторического интереса. Из окна на Тверской она прекрасно видела торжественный въезд Царской Фамилии из Петровского дворца, а потом самое коронационное шествие по Кремлю с такой же эстрады, какие и в нынешний раз были построены для избранных лиц общества. «Нам всем, которые глядели из окон как только могли внимательнее, Государь показался невеселым и задумчивым, когда он проезжал верхом по улице... (говорила матушка). Многие в Москве это заметили: не мы одни... Императрица Александра Феодоровна тоже была как будто невесела... Только моя Мария Феодоровна не хотела унывать... Она улыбалась в карете; сидела прямо, глядела то в ту, то в другую сторону и махала народу платком»...

По уверению матушки, энтузиазма при въезде не было; тех дружных, потрясающих, восторженных криков народного привета, какие мы привыкли слышать во время двух последних коронационных торжеств, тогда не было слышно. «Едва едва... кой-где прокричат ура, — и все утихнет»...

Я могу ручаться, конечно, только за верность слов матери, но не за верность ее впечатления.

Передо мной очень хорошая книга, изданная недавно г-ном Н. Л. под заглавием — «В ожидании коронации». Я нарочно справлялся в ней о коронации Императора Николая I. В описании Свиньина говорится «о радостных

кликах народа, собравшегося вокруг Петровского дворца», когда Государь прибыл из Петербурга; что касается до «въезда» собственно, — то у Свиньина что-то тоже умолчено об энтузиазме толпы и, признаюсь, что в этом случае замечания иностранца Мармона, герцога Рагузского, внушают мне больше доверия со стороны исторической истины; тем более, что маршал Мармон был иностранец, России вовсе не враждебный. Он тоже ни слова не говорит об энтузиазме, описывая день въезда. По крайней мере, в книге г. Н. Л. я этого не нашел. 10

«Въезд, говорит г. Н. Л., не произвел на него (на маршала Мармона) особенного впечатления»...

Но у того же г. Н. Л. дальше (на стр. 72) находим следующие слова:

«Описав, какое огромное впечатление произвел в Москве неожиданный приезд из Варшавы Великого Князя Константина Павловича и его участие в торжестве коронации, герцог Рагузский»... и т. д.

Вот эти-то слова, по моему мнению, и подтверждают вполне рассказ моей матери, и не только подтверждают, но и объясняют его точно так же, как объясняла она его сама. 20

Она объясняла некоторую холодность первой встречи сомнениями по поводу всем известного вопроса о престолонаследии. Большинство не только простого народа, но и так называемого общества, не могло знать об отречении Великого Князя Константина Павловича от престола и о существовании завещания Государя Александра I-го в пользу второго брата Николая Павловича. Мать уверяла, что многие думали, будто Великий Князь Константин Павлович отстранен несправедливо, и чувство законности было не удовлетворено в сердцах русских людей. Они не были прямо недовольны; они были в раздумьи и в некотором охлаждающем сомнении. 30

По словам матушки, настроение почти мгновенно изменилось, как только Великий Князь прискакал из Варшавы ко дню коронации. Она рассказывала даже, будто бы Августейшие Братья встретились у самых дверей того самого

старинного дворца, который находится близ Чудова монастыря. Двери этого дворца были открыты на угловой балкон, и народ, который целый день толпился на площади, видел, как сперва Великий Князь преклонил колени перед младшим братом и как Государь поспешил, будто бы, ответить ему тем же. Они обнялись после этого при испуленном и внезапно радостном возгласе всей толпы.

10 Не знаю, насколько верны эти подробности; матушка не была сама на площади и своими глазами этого не видела; но если самый факт этого взаимного коленопреклонения и братских объятий перед толпой народа и не верен, то все-таки важна, так сказать, «легенда» такого рода, ходившая по Москве и не в одном простом народе, а и в той среде второстепенного дворянства, к которой принадлежала моя мать. Подобная легенда объясняет очень много, и скорее к чести тогдашнего общества и народа, чем к бесчестию. Не строгость же молодого Царя к крамольникам 14 декабря могла заставить задуматься такое множество русских людей разнообразных общественных положений...
20 Недовольными этой строгостью могли быть только некоторые близкие друзья и родные казненных или сосланных; но и то неизвестно: в дворянском обществе того времени было такое сильное чувство *политической законности*, такая давняя привычка любить и чтить власть, данную Богом, и такая *потребность доверия* к этой власти, что поверхностный и полуромантический либерализм блестящей петербургской молодежи не мог глубоко проникнуть в здоровые сердца и чрезвычайно спокойные умы большинства тогдашних дворян, как знатных и власть имевших, так и провинциальных или земских, основательных и хозяйственных не по-нынешнему! Что касается до
30 простого народа, то здесь и сомнений быть не может, что ему до той заслуженной кары, которая постигла декабристов, — не было никакого дела; — тогда не было ни дешевых газет, ни телеграфов, ни нынешней свободной болтовни; народ был тогда удаленнее от политики, чем теперь, и едва ли из тысячи человек один, в толпе простых москви-

чей, знал обо всей этой истории военного бунта перед Зимним Дворцом.

И, сверх того, кому не известно, что русский простолюдин ценит и уважает русского барина только как *царского слугу*, а совсем не как «ландлорда» и собственника. Иные наши дворяне и теперь стараются себя уверить в противном; но жизнь беспрестанно опровергает их. Это до того верно, что во времена крепостного права, когда случался где-нибудь крестьянский бунт, то помещики имели обычаем надевать или свой отставной, или даже просто *дворянский мундир* и ордена, какие были, и в этом виде шли смелее усмирять разъяренную толпу. *И почти всегда успевали...* Один вид *царского мундира* отрезвлял крестьян...

Я считаю поэтому, что большинство москвичей 20-х годов, во время коронации Государя Николая Павловича, было на короткое время в некотором нравственном колебании — никак не по поводу умеренных и справедливых строгостей, а по поводу престолонаследия.

Как только приехал Великий Князь Константин Павлович и как только увидели москвичи и все собравшиеся в Москву люди, что Царственные братья в полном согласии и что Константин Павлович принимает участие в церемониях коронации и шествует рядом с Государем по Кремлю, так все сомнения и колебания исчезли, и восторгу уже не было конца.

«Через несколько времени (так продолжается рассказ матери) дворцовый ездовой привез мне записку от фрейлины Екатерины Михайловны Кочетовой; она уведомляла меня, что Императрица приказывает мне явиться к ней завтрашний день в 10 часов утра. Радость моя была велика, но и волнение мое равнялось моей радости. Я почти всю ночь не спала и очень рано встала. Это утро, одевшись в белое кисейное платье и простой чепчик, я к 10 часам была у дворца и прямо прошла к Волхонской, которая, приняв меня очень ласково, послала доложить Императрице обо мне. Через несколько минут пришел скороход и попросил меня идти за ним. Он провел меня

через несколько комнат на террасу, окружавшую дворец, и сказал мне:

— Извольте пройти по террасе за угол дворца; там вы увидите Ее Величество.

И точно, в скором времени я увидела Императрицу! Ее Величество сидела перед столом, покрытым бумагами; у другого конца стола сидел г. Вилламов. Когда Императрица заметила, тотчас сказала:

— Ah! vous voilà, mon enfant. Venez, venez.

10 Я пошла скорыми шагами и стала на колени; Ее Величество обняла меня вокруг шеи рукой, и во все время разговора я оставалась в этом приятном для меня положении; наконец, Императрица заключила сими словами:

— Mon fils va venir dans une demie-heur; je vous présenterai à lui, mon enfant, et alors notre affaire sera tout à fait arangée.

Я так была тронута, что слезы у меня показались на глазах, и я, чтобы скрыть их, нагнула голову к Императрице на колени и поцаловала их; Она тихонько приподняла
20 мне голову и, заметивши слезы, обратилась к г. Вилламову с сими словами:

— Voyez comme elle est contente; c'est une preuve qu'elle Nous aime; elle pleure, cela me fait bien du plaisir de voir cet attachement pour la Famille Impériale.

Потом, расцаловав меня, прибавила:

— Allez, mon enfant, attendre dans l'appartement de la P-sse Volhonsky jusqu'à ce que je vous fasse chercher.

Возвратясь в комнаты княгини Волхонской, я не застала ее дома. Оставшись одна, я ходила по комнате и думала:
30 верно, Императрица имеет намерение представить меня Великому Князю Михаилу Павловичу; говорят, он начальник всех военно-учебных заведений. Через несколько минут я услышала барабанный бой; горничная вбежала ко мне в комнату и сказала:

— Вот Государь едет!

Я бросилась смотреть в окно и думаю: дай-ка посмотрю хорошенько на Царя; кто знает, приведет ли Бог еще

когда-нибудь Его видсть! Государь подъехал, вышел из коляски и вошел в сени; а я опять села у окна.

Через несколько минут горничная опять поспешно вошла ко мне и говорит:

— Камер-лакей Императрицы вас спрашивает.

Я тотчас вышла и спросила у него:

— Что вам надобно?

— Вас ли Императрица желает представить Его Величеству?

Я замялась и отвечала:

— Не знаю!

Он спросил мою фамилию и, услышав ее, сказал:

— Пожалуйте за мной.

Ноги у меня подкосились, и я, едва переступая, шла вслед за камер-лакеем; страх быть представленной Его Величеству так был велик, что меня чуть-чуть не била лихорадка. Прошед несколько комнат, камер-лакей остановился в одной из них и, указав дверь направо, сказал:

— Войдите туда!

Я бросила свою шаль на первом стуле и, тихонько вошедши в комнату, остановилась у притолки и, не смея почти поднять глаз, заметила, что Императрица опять сидела у стола, покрытого бумагами; перед ней стоял прекрасный молодой мущина и читал внимательно какое-то письмо. Императрица, увидев меня, обратилась к молодому мужчине и сказала:

— *Voici m-me Leontieff.*

Я подняла глаза и увидела, что этот мущина взглянул на меня; какой взгляд! Это Император!

Я вздрогнула и опять низко поклонилась. Государь, подойдя ко мне, сказал: „Очень рад, что могу быть вам полезен”. Я еще ниже поклонилась; но этот голос и эти слова меня оживили; я сделалась смелее и все смотрела на Государя. Между тем Императрица встала и начала выхвалять меня Государю; говорила о моем прилежании и поведении в институте, о моем образе жизни в деревне, о занятиях моих с детьми и хозяйством. Я покраснела и

стояла, потупив глаза. Наконец и сам Император сделал мне несколько вопросов:

— Много ли у вас детей?

— Шестеро, Ваше Величество.

— Который год старшему?

— Тринадцать лет, Ваше Величество.

— Вы так молоды, а имеете уже тринадцатилетнего сына!

10 — Я вышла замуж очень молода, Ваше Величество, тотчас после выпуска из института.

— Кто записал вашего сына в пажи?

— Он записан по просьбе двоюродного брата моего, генерала Леонтьева.*

— А!.. А давно ли ваш сын записан?

— Вот уже восемь лет будет скоро!

— Почему же он до сих пор не в корпусе?

— Брат обещал ходатайствовать о помещении его, когда лета выйдут; но брат умер...

— Знаю! А как была ваша фамилия в девицах?

20 — Карабанова, Ваше Величество.

— Не родственник ли вам Карабанов, который был у меня в инженерах?

— Это мой двоюродный брат, а родной мой брат служил в конной гвардии.

— Знаю, знаю; он потом перешел в конные егеря?

— Так точно, Ваше Величество.

Минутное молчание.

Надобно заметить, что в продолжении всего разговора Император иначе не говорил со мной, как по-русски. По-
30 думала я: видно не очень хорошо знает по-французски; да, нет, знает и хорошо. Он с Императрицей-то все говорил по-французски; так видно не любит иностранного языка. Как мне это понравилось; вот, подумала я, настоящий русский Царь!

* Генерал-майор Иван Сергеевич Леонтьев, бывший командир гусарской дивизии. *Прим. Ф. П. Леонтьевой.*

Последние слова Государя были: „Я желаю видеть вашего сына: обмундируйте его и представьте ко мне”.

Я низко поклонилась; Государь тоже мне поклонился; я поняла, что мне надобно уйти, и подошла к Императрице, которая сказала мне:

— Lorsque votre fils pourra être présenté à l'Empereur, faites moi prévenir par la P-sse Volhonsky.

Я хотела встать на колени; Императрица не допустила и, расцаловав меня, сказала:

— Au revoir, mon enfant!

Государь опять стоял у стола с бумагами; я расцаловала у Императрицы руки, вышла в дверь и тотчас сошла вниз, отыскивала своего человека и уехала к себе совершенно счастливая».

Матушка, от избытка ли старинной почтительности, или по ошибке многих людей способных, но литературно не совсем опытных, еще раз и в этом месте не решилась досказать на бумаге одно очень наглядное свое замечание... «Государь (рассказывала она мне) не был тогда таким полным, каким он стал позднее; он был очень худ, 20 очень высок и постоянно немного гнулся». Всем знакомые портреты Государя Николая I сделаны в года его полной возмужалости и зрелости. Многие из нас, еще живущих, сами встречали и видали его вблизи. Всматриваясь в эти черты истинно рыцарские, властные до грозности и в то же время чем-то духовным и высоким озаренные, понимаешь легко, с одной стороны — искреннюю любовь Пушкина к этому Царю и его стихи: «С Гомером долго ты беседовал один...», а с другой, тот благотворный страх, 30 который он умел внушать без труда и, нередко, нечаянно.

Гораздо реже встречаются копии с большого портрета его, писанного, вероятно, около того времени, о котором рассказывала моя мать, т. е. когда Государь был еще молодой и худ, усы брил по моде 20-х годов, и когда волосы на голове его были густы. Он написан почти в профиль: молодое лицо правильно и довольно строго; но видна еще почти только *натура*, а не тот уж вполне выработанный

жизнью колоссальный образ властителя, которым я только что восхищался. Мне случилось видеть и еще один любопытный гравированный портрет Николая Павловича. Он вместе с портретами других Августейших братьев и сестер покойного Государя (тоже гравированными) находится в канцелярии русского посольства в Царьграде. На этой гравюре Вел. Кн. Николаю Павловичу не более 15—18 лет, а может быть и менее; чтобы определить возраст вернее, нужно бы сообразить его с цифрами годов рождения или брака, а на это я не имею теперь средств, по чертам же этого поясного портрета я не берусь даже решить и то: юноша ли изображен на нем, или отрок; юноши очень красивые собой всегда почти бывают долго моложавы. Я не раз внимательно смотрел на эту гравюру: что за прелестное личико! Правильное, строгое линиями, нежное, как у молодой красавицы-девушки, но по выражению глаз и губ серьезное, немного даже угрюмое, и в то же время наивное; такое лицо, какое бывает у юношей гордых и сдержанных, вдумчивых и твердых, но немного еще застенчивых. Прелестное лицо!

Императрица Мария Феодоровна и Государь Александр Павлович сумели вовремя прочесть на том юношески-прелестном личике, которым я любовался в Константинопольском посольстве, — начертания будущей силы... Их выбор дал России великого Государя, еще вовсе историей нашей не оцененного и не понятого как должно. Император Николай I — это наш Людовик XIV; и доказать это было бы вовсе не трудно, если бы и без того мои примечания не казались бы мне слишком длинными...

Далее мать пишет:

«Дорогой я размышляла обо всем, что со мною было; о доброй Императрице, о прекрасном Императоре; о том, как я сначала Его боялась и как Он меня ободрил своим милостивым обращением; припоминала все Его слова и остановилась на том, что Государь приказал обмундировать сына и представить Ему. Как же с этим быть, подумала я; сына-то здесь нет, — да и обмундировать-то не

на что! Ну! — впрочем, не хочу теперь об этом думать; лучше расскажу мужу о моей радости, а там что Бог даст!

Когда я приехала домой, муж мой выбежал ко мне на крыльцо с вопросом: — „Ну что?“ Я бросилась к нему на шею со слезами и сказала: „Слава Богу, Петр принят; сам Государь лично об этом мне объявил и приказал его представить!“ — „Как же это?“

Я хотела было сначала рассказать о моем приезде к Императрице, но муж мой остановил меня этими словами: „Что касается до милостивого приема Ее Величества — я все знаю!“ — „Это от кого? при этом никого не было, кроме г-на Вилламова?“ — „Неправда; тысячи человек это видели; вот как я узнал. Карета твоя стояла против террасы, на которой сидела Императрица; народ тут толпился и смотрел на Нее; и наши люди, чтоб лучше видеть, влезли на кузов; в самое то время ты подходила к Ее Величеству; и как наши люди, так и прочие, видели милостивое и ласковое обращение Ее с тобой; итак теперь рассказывай далее!“ У мужа в это время были гости, наши родные; — надобно было видеть, с каким восторгом они слушали мой рассказ о милостивом Царском обращении и как восхищались, я только плакала и едва могла говорить от слез.

Когда мы остались с мужем одни, начали рассуждать о том, как бы привезти сына в Москву; это первое дело; а об обмундировке после; и так мы положились на том, чтобы просить моего родного брата привезти его с собой. Брат мой в это время находился в отпуску по домашним делам; имение его было недалеко от моего, и он сам намеревался приехать к коронации. Я тотчас написала к брату обо всех обстоятельствах, просила его заехать за сыном и привезти его с собой. В скором времени я получила ответ от брата; — он пишет, что постарается исполнить по моему желанию и даже очень скоро, потому что время коронации приближалось. Успокоившись на этот счет, я воспользовалась свободным временем, чтобы повидаться с доброй моей покровительницей г-жею Хитрово; зная, какое

теплое участие она принимала всегда в моих делах, желала я ей сообщить о Царской милости. Она очень радовалась за меня и спросила, что я намерена делать с обмундировкой сына и что она может стоять; я на это отвечала, что я еще об этом деле ничего не предпринимала до приезда сына и ничего не знаю о цене. На другой день, поутру, благодетельная г-жа Хитрово, которая знала мои небольшие средства, прислала мне 200 рублей ассигнациями для обмундирования сына.

10 Вознагради ее Господь хотя в той жизни за ее доброту!

Наконец приехал брат, привез сына; мы занялись его обмундировкой, и чего недоставало к подарку г-жи Хитрово, то добавил брат. Сын был совершенно готов; и я, по приказанию Императрицы, поехала к княгине Волхонской просить, чтобы она доложила об этом Императрице; но она не приняла меня по причине болезни. Очень расстроенная этим неприятным случаем, я не знала, к кому прибегнуть.

20 Возвратясь домой и поплакав о моей неудаче, мне вздумалось свозить сына моего к г-же Хитрово. Я сочла обязанностью, чтобы он сам, лично, благодарил ее за обмундировку. Между разговорами дошла речь до княгини Волхонской, и я рассказала о своем горе. Добрый мой гений и тут мне помогла; она тотчас снабдила меня письмом к фрейлине Кочетовой. Предупредила меня, где находится Императрица, и научила, как поступить. Я не замедлила на другой же день отправиться в дом графа Разумовского, который тогда занимала Императрица. Явилась к крыльцу фрейлины Кочетовой, послала к ней письмо г-жи Хитрово и велела ей доложить, что я сама здесь и дожидаюсь ее ответа. Г-жа Кочетова тотчас меня приняла, и на первый ее вопрос — чего я желаю, — я объяснила ей, что Императрица приказала мне доложить ей чрез княгиню Волхонскую, когда сын мой будет готов для представления Его Величеству; что я была у княгини Волхонской, но она отказала меня принять по болезни. Г-жа Кочетова подтвердила, что княгиня точно больна; но если я хочу, то она

сама сейчас пойдет доложить Ее Величеству обо мне. Я чрезвычайно этому обрадовалась и просила ее исполнить ее доброе предложение. Г-жа Кочетова пошла к Императрице, попросив меня дожидаться ее возвращения.

Оставшись одна, я ходила взад и вперед по комнате и была в раздумьи насчет ожидаемого ответа от Императрицы. Вспомнила обо всем, что было, и подумала — сколько в продолжение всего этого времени перешло в бедной моей голове различных дум и предположений; сколько трепетало мое сердце от разных ожиданий, отказов, приемов дурных и хороших.

Г-жа Кочетова скоро возвратилась и сказала мне:

— *L'Impératrice me charge de vous dire, madame, que lorsque Sa Majesté l'Empereur pourra recevoir monsieur votre fils, Elle vous fera prévenir.*

Поблагодарив г-жу Кочетову, я попросила позволения написать ей мой адрес. Она тотчас подала мне лист бумаги, на котором я написала, что прошу г-жу Кочетову взять на себя труд уведомить меня, когда Его Величество назначит день для представления Ему моего сына, и, подписав свою фамилию, прибавила свой адрес. Поблагодарив еще раз г-жу Кочетову и простясь с нею, я поехала домой почти совершенно успокоенная.

Прошло более недели после этого свидания, а отзыва от г-жи Кочетовой не было. Я начинала беспокоиться, как однажды, во время обеда, получила от нее записку: она в коротких словах уведомляла меня, чтобы завтрашний день я с сыном приехала к ней в 10 часов утра. Я очень обрадовалась и на другой день в назначенный час отправилась к ней».

Не знаю почему, в этой рукописи мать моя выпустила рассказ о сне, который она видела накануне того дня, в который ей пришлось представляться Императору Николаю Павловичу вместе с братом моим Петром. Сон этот записан у меня в особой тетради вместе с другими ее снами. Вот он:

«В 1826 году, в коронацию Императора Николая I, я была в Москве. Всем моим родным и знакомым известно,

как я и старший мой сын Петр, 13-летний мальчик, были милостиво приняты Императрицей Марией Феодоровной. Однажды я вижу во сне, что мне кто-то говорит: — не желаю ли я видеть знаменитого льва, который привезен в Москву и бережется в известном доме, на который мне указали. Я, взявши сына за руку, пошла в означенный дом. В первой комнате, в которую мы вошли, стоял сторож, одетый по-военному. Я спросила, где лев? Он указал мне на дверь; я вошла в нее. Это была большая зала, ¹⁰ очень светлая; вокруг стояли стулья и столы в простенках. К одной стороне, в углу, было какое-то возвышение, вроде лежанки; к нему было три ступеньки и вокруг колонны; как зал, так возвышение, ступеньки и колонны — все было белого цвета. Льва не было в зале; несколько времени я была в недоумении — что делать. Наконец решилась: пошла к возвышению, взошла по ступенькам, села и велела сыну сесть подле себя. Против места, занимаемого нами, была дверь в стене. Немного посидели молча, и сын мой, ²⁰ наклонив голову, положил ее ко мне на колени; у него были короткие волосы, но во сне они казались длинными и висели у меня по коленям. Он, казалось, заснул. Вдруг дверь, бывшая пред нами, тихо отворилась и оттуда вышел большой лев, удивительной красоты: грива, склад, взгляд — все прекрасно!

Лев несколько приостановился, поглядел на нас и начал тихими шагами к нам подходить. Я, признаться, ³⁰ струсил; сынина голова все еще лежала у меня на коленях. Подошедши к нам, лев начал всходить на ступеньки и, когда его голова поравнялась с Петровой головой, лев высунул язык, откинул им назад волосы, которые висели у Петра на лице, потом начал его лизать по лицу. Это продолжалось несколько секунд, а потом все исчезло, и я проснулась. Подумав немного об моем сне, я опять заснула.

Вставши в обыкновенный свой час, т. е. в 8 часов, я вспомнила обо сне и думала, что бы он значил, но никому об нем не говорила.

В 12 часов приехал ездовой из дворца и подал мне записку от фрейлины Кочетовой. Записка была следующего содержания: „что, по приказанию Ее Величества, я должна сегодня в два часа пополудни быть во дворце, и с сыном, и дожидаться у г-жи Кочетовой в комнате, пока Императрица пришлет за мною”.

В половине второго я была у г-жи Кочетовой в комнатах; часа в два с небольшим камер-лакей Императрицы пришел за мной. Мы оба с сыном пошли и, вошед в Императрицын кабинет, мы нашли там и самого Императора, который, сделав мне приветствие, подошел к сыну и занимался им; расспрашивал у него о разных вещах, приличных летам сына моего; несколько раз ласкал его, то по плечу, то по голове и, наконец, объявил обоим, что он берет его в Пажеский корпус.

Изъявив нашу беспредельную признательность Их Величествам, мы откланялись. Приехав домой, я рассказала домашним об моем сне и потом об милостивом приеме Их Величеств».

Что же это? Неужели этот сон не был предвозвестником?

Однако и все это серьезное дело не обошлось и без забавного.

Прежде чем дать место продолжению рассказа матери об этом вторичном ее представлении Государю, приведу здесь рассказ нашей старой няни о том, как мать собиралась ехать во дворец. Няня эта была тогда еще молодой горничной. Она была вольная; жила по найму; женщина была умная и способная; рассказывать подробности умела очень хорошо.

Помню, как она описывала наружность и туалет моей матери при этом втором представлении.

Мать моя тогда, по словам няни, была очень хороша собой и самый скромный туалет умела носить так, как будто на ней была роскошная одежда. Одета она была в белом *mousseline de Perse* платье, вышитом по тогдашней моде пунцовой шерстью; на голове пунцовый ток и пукли

à la Sévigné. Все шло отлично. Свои лошади, хорошая четверня с форейтором, в карете, были уже у подъезда. В гостиной сидели, в ожидании появления матушки, отец мой и дядя, брат матери, молодой полковник. Горничная, перед выходом госпожи, пошла в прихожую осведомиться о чем-то. Входит и слышит ужасный запах. У дверей стоит выездной лакей, тоже вольнонаемный, в парадной ливрее. Откуда же этот запах? Оказывается, что у лакея болел палец на руке, и он догадался, для утолнения боли, приложить любимое простолюдинами, но самое *непозволительное* средство. Горничная тотчас же прогнала его и сама побежала к Федору Михайловичу Белкину, богатому родственнику отца моего, жившему через несколько домов. Господ дома не было, но она умоляет их выездного лакея съездить с ее госпожой во дворец. Тот, понимая *всю важность минуты* и не задумываясь, отлучается без спроса у господ, тотчас одевается и является вслед за горничной к карете. Как ни быстро все это было сделано, но все же нужно было время, матушка же между тем вышла к мужу и брату, готовая с ними проститься. Тут она узнает, что случилось. Она была необыкновенно вспыльчива. Схватывает с головы ток и букли, бросает их на пол, кричит, что все пропало, что к приему опоздала и т. д. Муж и брат «видавший виды», оба, среди этой бури, на цыпочках удаляются из гостиной. Крики продолжают, но новый лакей и горничная уже на местах; смотрят на часы; времени еще много. Горничная берет ток, расправляет его круглым утюгом; букли тоже взбиваются; опять голова убрана, опять мать та же красавица; немного успокоенная, она садится в экипаж и уезжает совершенно благополучно.

Возвращение же ее после описанного ею представления было самое светлое и радостное.

«Когда я приехала (пишет мать), она, т. е. г-жа Кочетова, выслала ко мне свою горничную, велела меня привести к себе в приемную комнату и просила меня подождать, пока она кончит свой туалет. Через несколько минут она вышла парадно одетая; после некоторых обо-

юдных приветствий, я спросила у нее о причине такого раннего grande toilette, она отвечала мне, что сегодня Императрица принимает поздравления по случаю коронавания Императора. Сказав это, она пригласила меня идти к Императрице. Пришедши в ближайшую комнату около Императрицыных, она оставила меня в ней, а сама пошла далее. Я между тем находилась в большом беспокойстве, услышав, что парадное представление, а я в таком простом и ничтожном костюме; но успокоивала себя, вспоминая милости Императрицы и полагая, что Она простит мне мое непарадное одеяние. Г-жа Кочетова скоро возвратилась и объявила мне от имени Императрицы, чтобы я несколько подождала, пока Ее Величество кончит свой туалет. Г-жа Кочетова опять ушла; я села на диван; сын мой стоял подле меня.

Через несколько минут в ту комнату, где я дожидалась, вошел человек пожилых лет, с почтенным и умным лицом, волосы с проседью, одет по-кучерски, но богато, и две медали на кафтане. Вошедши, он поклонился нам обоим с сыном; мы ему отвечали тем же; и он стал поодаль к стене.

Так прошло несколько минут; потом послышались скорые мужские шаги из дальних внутренних комнат, и вслед за этим дверь, бывшая близ дивана, на котором я сидела, с шумом отворилась на обе половины; ее отворил скороход и пошел далее к другим дверям. Я невольно встала с места и чего-то ожидала; смотрю — в растворенную дверь входит молодая особа, милой наружности, в простом утреннем костюме; за ней дитя лет четырех, с ангельским личиком. Дама, увидевши всех нас тут стоявших, приветливо поклонилась, а я присела низко, совсем по-институтски. Дама с дитятей скрылись в противоположные двери. Я заметила, что человек в кучерской одежде поклонился очень низко, но не инстинктивно так, как я, а с каким-то сознанием; на лице его была заметна приятная улыбка. Я не могла воздержаться и, сделав несколько шагов, спросила у него, не знает ли [он], кто такая дама, которая сейчас прошла; он отвечал мне: — „Это Ее Величество Императрица Алек-

сандра Феодоровна и Великая Княжна Ольга Николаевна”.

Я очень обрадовалась, что имела счастье их видеть; а между тем с удивлением смотрела на кучера и думала, — что это за человек, который так знает Царскую Фамилию.

В это время вошел камер-лакей Императрицы и сказал мне, что Ее Величество меня спрашивает. Мы оба с сыном вошли в приемную Императрицы, и Она тотчас вышла ко мне, прекрасно одетая и с орденской лентой. Как Она ¹⁰ была еще хороша и как величественна! — Я не могла на Нее налюбоваться. Она подала мне руку; я поцаловала эту руку, преклонив колена. — Императрица сказала: — „L'Empereur va se rendre chez moi: attendez là, mon enfant, dans ma chambre de toilette”. Я поклонилась и хотела уйти; как вдруг Государыня, обратясь в сторону, сказала по-русски: — „А, здравствуй, Илья!” — Я взглянула и увидела, что это был тот самый человек в кучерском кафтане. Так вот тот самый Илья, подумала я, кучер покойного Императора Александра Павловича, человек почтенный и ²⁰ заслуженный. Я его никогда не видала и приостановилась, чтобы на него посмотреть. Императрица сделала ему несколько приветствий на русском языке и отпустила его, а сама вошла в свой кабинет.

Я осталась с сыном во внутренних Императрицыных комнатах, расхаживала по уборной и спальне; с любопытством все рассматривала. Вдруг услышала шорох в проходной комнате; я скоро подошла к дверям и увидела идущего через ту комнату молодого генерала. Он, увидев пажа, стоящего у притолки, остановился, посмотрел на него, ³⁰ потом спросил у кого-то, кто это? — Ему отвечали: — „Г-жа Леонтьева с сыном”. — Этот молодой генерал фамильярно вошел в кабинет к Императрице; я тотчас спросила об нем; мне сказали, что это был Великий Князь Михаил Павлович. Ах! подумала я, какой счастливый сегодня для меня день.

Через несколько минут Императрица Мария Феодоровна вышла из своего кабинета и вошла в уборную, и,

увидев меня, сказала: — „Mon enfant, l'Empereur ne viendra pas aujourd'hui; mais demain à la même heure, vous vous rendrez chez m-lle Kochetoff et vous attendrez mes ordres”. — Я присела; Ее Величество подала мне руку и, сказав: „А demain!” — пошла в зал, где Ее ждали для представления все особы, имеющие на то право. Великий Князь, проходя через ту же комнату, опять остановился, посмотрел на моего сына и, сказав: — „Новобранец, к нам!” — вышел. Императрица Александра Феодоровна, также осчастливив меня несколькими вопросами и приветствиями, пошла за Императрицей Марией Феодоровной, а я с сыном вышла и уехала.

Вот еще пример материнской заботливости покойной Императрицы о той, которая имела счастье воспитываться под Ее Высоким покровительством. Между особами, представлявшимися Ее Величеству, находилась двоюродная сестра моя.* Императрица, сделав ей несколько приветствий, спросила — знакома ли она со мной? — Услышав от сестры утвердительный ответ, Ее Величество сказала ей: — „Je la recommande à votre bienveillance”. — Г-жа Леонтьева, как умная и желающая мне добра женщина, отвечала: — „Votre Majesté, ma cousine n'aspire qu'à Vos bontés”. — Императрица на это возразила: — „Oh! quant à moi et l'Empereur — Nous ne l'oublierons pas”.

Божественная душа!

В назначенный день и час я с сыном опять явилась к г-же Кочетовой. — В скором времени вошел уже знакомый мне камер-лакей и без всяких расспросов прямо сказал мне: — „Его Величество приехал; пожалуйте!” — Я тотчас встала и пошла за ним; но с какими различными чувствами от первого раза; — тогда я трепетала, а теперь радость моя видеть Его Величество была неописанна.

Вошедши в Императрицын кабинет, я нашла там Их Величеств разговаривающих между собою; увидев меня с

* Любовь Николаевна Леонтьева, урожденная графиня Зубова.
Прим. Ф. П. Леонтьевой.

сыном, оба подошли к нам. Императрица меня поцаловала, а Государь приласкал сына и сказал: „Какой молодец ваш сын!” — Надобно сознаться, что сын мой был точно молодец; высок ростом и очень хорош собой. Его Величество по милости своей сделал мне несколько вопросов касательно моего сына. Императрица, обратясь к Государю, опять повторила похвалы моему поведению в институте, образу воспитания, даваемого мною детям моим, и проч. и проч. Его Величество слушал с большим вниманием. Наконец, милостивая моя Благодетельница заключила столь важными для меня словами: „*Mon fils! quoi qu'il m'arrive, je recommande madame Leontieff à votre protection et à vos bontés; je sais, qu'elle le mérite*”. Государь сделал головой знак согласия, а я не выдержала, упала перед Императрицей на колени. Когда Она меня заставила встать, я подошла к Его Величеству и почти до земли поклонилась Ему. Государь мне сказал: „Теперь надобно представить вашего сына в Пажеский корпус, а чтобы вам не возить его в Петербург, то отдайте его здесь, в Москве; он поедет с теми пажами, которые привезены сюда!” — „Ваше Величество! К кому прикажете мне адресоваться об этом?” — „К Дибичу; я ему прикажу, а вы наведайтесь у него!” Сказав эти слова, Император опять приласкал моего сына и слегка мне поклонился. Откланявшись Его Величеству, я подошла к Императрице, стала перед ней на колени; она наклонилась ко мне, обнимала и цаловала меня несколько раз; я прижала ее руку к губам, и слезы текли на эту благодетельную руку; Она сделала знак, что хотела меня поднять, я поспешно встала. Она меня еще раз поцаловала, и я отошла от нее, обтирая глаза. Когда я подошла к дверям, Императрица меня воротила и опять стала со мной прощаться, но не допустила меня стать на колени, крепко меня прижала и сказала: „*Mon enfant! Je vous bénis; ne m'oubliez pas*”. Я чувствовала, что скоро зарыдаю, и поспешно вышла из комнаты.

Мы сошли с лестницы и хотели ехать; но этого нельзя было сделать; у подъезда стояла царская коляска, и тот

самый Илья сидел на козлах; моя карета была далеко; подъехать было невозможно, тьма народу; пешком также нельзя было идти, дождь шел препорядочный, и я, чтобы переждать его, остановилась в сенях в углу; облокотясь на окно, бессмысленно смотрела в него, думая только об Императрице и о том, что я, может быть, никогда более ее не увижу. Я так задумалась, что не слыхала шагов по лестнице; сын мой слегка толкнул меня, я оборотилась и увидела Императора, сходящего с лестницы. Заметивши нас, Его Величество к нам подошел, приласкал моего сына и сказал: ¹⁰

— Молодец! Славный будет у меня гренадер!

— Лишь бы был угоден Вашему Величеству! — сказала я.

Государь отвечал:

— Если будет брать пример с своей матушки, так будет хорош!

Сказав это, Государь сел в коляску и уехал. Народ разошелся; мой экипаж подъехал, и мы отправились домой.

По приказанию Государя я наведальась у графа Дибича и отдала сына в число пажей, приехавших в Москву. ²⁰ После того мы пробыли еще несколько дней в столице, простились с сыном, благословили его на службу царскую и уехали в деревню».

Определением старшего моего брата в пажи не ограничились милости Императрицы Марии Феодоровны к моей покойной матери.

Государыня твердо держалась тех слов, которые она сказала при выпуске воспитанниц Екатерининского института еще в 11 году, когда г-жа Брейткопф хвалила ей мою мать: «*Bien, mon enfant, je ne l'oublierai pas*». Государыня ³⁰ и вне любимых ею училищ не хотела забывать и терять из вида тех девиц, которых она считала достойными своего внимания. Конечно, от Оболенских и Хитровых Ее Величество имела сведения о том, как умно и хорошо мать моя устроила свою жизнь при небольших средствах, и как она добросовестно исполняет материнский долг свой, обучая по институтским тетрадам несколько детей разом, так

как о найме хорошей гувернантки по средствам и думать было невозможно.

Через год, не более, после коронации был принят в пажы и второй мой брат. Мальчик подал сам Государю прошение на маневрах под Вязьмою. Тогда Императрица Мария Феодоровна еще здравствовала; но и по кончине ее еще на несколько времени сохранилась у членов Царского Дома память о покровительстве, которое покойная Государыня оказывала моей матери, и еще двое других братьев моих были ¹⁰ устроены очень скоро в военно-учебные заведения, а сестра определена в тот же самый Екатерининский институт на иждивение Императрицы Александры Феодоровны.

Об этом мать моя долго мечтала, и мечта ее сбылась, разумеется, благодаря все тому же следу, который оставила по себе скончавшаяся Императрица-Мать.

«В 1827 году назначены были маневры под Вязьмой. Матушка моя, имевшая небольшую дачу в семи верстах от города, пригласила меня приехать со всем семейством смотреть маневры. Я с большим удовольствием поехала; я ²⁰ никогда не видала маневров; к тому же надеялась увидеть где-нибудь Царя.

Когда я приехала к матушке, она мне сказала, что имеет надобность подать прошение Царю, но не знает, как это сделать.

— Что же вас затрудняет? — спросила я.

— А вот что! Говорят, будто надобно сперва адресоваться с просьбой к нашему генерал-губернатору князю Хованскому, который теперь в Вязьме по случаю маневров, а так как я его не знаю, то и не могу ни на что ³⁰ решиться.

— Если вам нужно, Матап, видеть князя Хованского, так позвольте мне в этом случае сделать вам маленькую протекцию, — сказала я смеючись.

— Как же это; разве ты с ним знакома?

— Немножко! Если угодно, я напишу письмо к князю Хованскому и попрошу его, чтобы он назначил, когда он может нас принять.

Матушка была очень довольна, и я тотчас написала к князю письмо, в котором упомянула о рекомендательных словах Императрицы обо мне и просила покорно принять меня и матушку мою, назначив нам время, когда мы можем к нему явиться, не отягощая его. Тот же день получили ответ; аудиенция была назначена на другой день в 6 часов после обеда. Между тем, рассуждая о матушкиной просьбе, я подумала — почему же бы и мне не воспользоваться сим случаем и не попросить Государя о другом моем сыне, который тоже уже был на возрасте. Бог знает — представится ли еще подобный случай! 10

В назначенное время мы с матушкой отправились, и дорогой я решилась непременно поговорить с князем об моем деле. Князь Хованский тотчас же нас принял, и я, отрекомендовав матушку, отошла в сторону, предоставляя ей говорить о своем деле. Когда она кончила, я просила князя, чтоб он взял на себя труд доложить Государю, что я здесь и умоляю Его Величество позволить мне еще раз иметь счастье быть ему представленной. Князь Хованский обещал, и мы с матушкой откланялись и уехали. 20

Когда Государь приехал в Вязьму, — то помещики всякий день туда приезжали, чтобы взглянуть на Царя. В особенности дамы беспрестанно толпились около крыльца того дома, который занимал Государь, и во всех местах, где могли только Его увидеть. Мы с матушкой тоже всякий день приезжали в город и проводили время у одной родственницы нашей, нанимавшей там квартиру. Однажды я шла пешком около занятого Государем дома; князь Хованский подъехал к крыльцу, вышел из коляски и, заметив меня, сказал: 30

— A l'instant même je veux tâcher de présenter à Sa Majesté votre supplique verbale.

— Mille remerciements, M-r le Prince. Que le bon Dieu vous soit en aide!

По случаю присутствия Государя в Вязьме, к маневрам съехались дворянские предводители всех уездов Смоленской губернии. Между ними находились двое моих родст-

венников: родной дядя и двоюродный брат. В самый тот день, как я встретила с князем Хованским, он давал обед, на который были приглашены все предводители, в том числе и мои родные. Князь, зная, что один из них мне дядя, поручил ему передать мне, что он докладывал обо мне Его Величеству и какой был ответ его. Я с матушкой по обыкновению проводила день у нашей родственницы. По окончании княжеского обеда оба наши родственника-предводителя приехали к ней же. Дядя, увидав меня, тотчас подошел ко мне и тоном несколько ироническим сказал:

— Племянница! Князь Хованский поручил мне вам передать, что на какую-то вашу через него просьбу (мне ведь неизвестно — о чем вы просили) Его Величество отказал.

Я стояла как громом пораженная; и грустно, и стыдно было при всех услышать эти ужасные слова. Я еще не успела опомниться, как другой предводитель, двоюродный брат мой, начал говорить так:

20 — Дядюшка! Позвольте вам напомнить, что вы не так передали слова князя Хованского сестре.

— А как же, сударь?

— Да вот как-с! Я ведь рядом с вами сидел и очень хорошо слышал от слова до слова.

Потом, оборотясь ко мне, двоюродный брат продолжал:

— Князь Хованский сказал дядюшке: „г-н Карабанов, передайте вашей племяннице, г-же Леонтьевой, что я, по желанию ее, докладывал Государю, и вот что Его Величество поручил мне ей сказать: „что Его Величество очень
30 сожалеет, что не может исполнить ее просьбы здесь” (ведь я тоже не знаю, о чем вы просили Его Величество, прибавил брат смеясь); но приказал сказать г-же Леонтьевой, что если она имеет какую-нибудь до Него просьбу, — то чтобы объяснила об этом письменно, и Его Величество за удовольствие сочтет для нее это сделать”.

Тут несколько голосов разом заговорили: „О! это большая разница!” — „Это совсем не то!” — „То, да не то...”

и т. п. Я молча посмотрела на дядю, который был очень сконфужен; потом поблагодарила брата за приятную весть и попросила матушку ехать домой, чтобы к завтрашнему дню приготовить прошение.

— Вот, — сказала я дорóгой матушке, — как иногда участь человека зависит от одного ничтожного слова или от того, что один человек был в этой комнате, а не в той. Не случись тут брата, я не знала бы, что подумать об отказе Государя, и не смела бы просить Его о другом сыне.

По приезде в деревню, я употребила вечер и часть 10
ночи, чтобы написать прошение, сперва начерно́, потом набело́. К свету оно было готово, и я легла немного отдохнуть. Нам с матушкой сказали, что Государь намерен был ехать куда-то очень рано утром и в 9 часов возвратиться. Нам хотелось к этому часу быть в городе, и потому, рано вставши, мы отправились; — матушка, с своим прошением, а я с своим. Я взяла также с собой сына, о котором просила. Я не могла решиться стоять у крыльца с просьбой; но поставила там сына; велела ему прибрать прошение 20
под курточку, а как увидит подъезжающего Государя, чтоб приготовить и подал Его Величеству. Во время маневров и парадного смотра я несколько раз показывала сыну Государя, и он меня уверил, что не ошибется. Сама же я осталась с каретой в переулке, против самого подъезда, так что мне все было видно. Через полчаса я услышала стук экипажа, и Государь первый подъехал, вышел из коляски и приостановился на крыльце, взглянул на моего сына, державшего запечатанный пакет. Его Величество подозвал 30
вблизи стоявшего полковника в жандармском мундире, что-то сказал ему, указывая на моего сына; полковник подошел к сыну, взял у него из рук пакет и вошел в сени. Я все видела и молилась. Государь, постояв еще несколько секунд на крыльце, ушел; тогда я знаками позвала к себе сына; когда он пришел, я спросила у него, что Государь ему сказал; он мне отвечал, что Государь ему ничего не говорил, но только усмехнулся, увидев его; потом позвал полковника и сказал ему: „Бибиков! возьми этот пакет и

положи у меня в кабинете 'на столе!" Я перекрестилась, перекрестила сына, поцаловала его со слезами и уехала.

В прощении моем Государю я упомянула только о милостивом его приеме в Москве и умоляла поместить другого моего сына в одно из заведений, в которое Его Величество заблагорассудит! Не более как через месяц я получила по почте пакет с печатью Царской канцелярии. Мы жили в это время в городе, потому что муж мой служил. Был праздник; мы всей семьей собрались идти к обедни; когда я увидела пакет с печатью, адресованный на мое имя, я обомлела и не решалась распечатать его. Муж мой вошел, взял у меня пакет, распечатал его, тихо прочитал письмо и сказал мне дрожащим голосом:

— Благодарю Господа! Борис принят в пажи.

Я тут же упала на колени; заплакала и долго не могла остановить слез; все знакомые, видевшие это, интересовались знать причину; мне было совестно, но не могла воздержаться от слез. Муж мой уведомлял каждого, кто спрашивал; и по окончании обедни все приехали к нам поздравить с милостью Царской.

Следующий 1828 г. был для меня несчастлив. Богу угодно было отнять у меня мою Высокую Покровительницу! Ужасная весть о кончине Ее Величества Императрицы Марии Феодоровны сразила меня.

Несмотря на все предосторожности и приготовления, с которыми мне объявили об этой бедственной для меня потере, я не могла твердо ее перенести. Семейные мои старались меня утешать; приводили ко мне часто детей и напоминали мне, что Государь, вероятно, не забудет слов своей Августейшей родительницы обо мне и устроит остальных детей моих; эти слова меня подкрепили; я старалась сколько возможно поддержать себя для детей и решилась зимой везти сына-пажа в Петербург.

Приехав, я, через посредство г-жи Хитрово, адресовалась к графу Чернышеву, который был тогда военным министром. Докладывал ли он обо мне Государю — это неизвестно; но через несколько времени дал мне знать через

г-жу Хитрово, что „в пажеском корпусе нет ни одной вакансии”.

Я опять пришла в уныние и не знала, что делать. Везти сына назад — невозможно! лета для помещения его вышли. К тому же и средства мои не позволяли мне делать пустые, дальние путешествия.

Однажды приехал меня навестить конной гвардии полковник Цинский, друг моего брата. Он, услышав об моем горе, советовал мне подать Царю прошение через Императрицу Александру Феодоровну; тем более, что Она ¹⁰ тоже знает меня лично. Я последовала его совету; на другой день написала прошение к Императрице и, объяснив Ей, как дело было в Вязьме, отвезла его к г-ну Шамбо.* Он принял от меня прошение, объявил мне, что оно будет подано завтра; взял мой адрес, сказав мне, что немедленно уведомит меня об ответе.

На другой день г. Шамбо прислал вечером ко мне курьера, который сказал мне, что г. Шамбо желает меня видеть, чтобы лично передать мне Царский ответ. Я тотчас поехала к нему; он показал мне мое прошение, на ²⁰ котором Государь написал карандашом несколько замечаний и приказал сообщить мне об них. Дело состояло в том, что Государь, сказав, что в Пажеском корпусе вакансий нет, советует мне поместить сына в Морской корпус.

Я не сделала никакого возражения и повесила голову.

Г. Шамбо. — Vous hésitez, Madame; vous ne désirez pas que votre fils soit placé à la marine.

Я. — Monsieur! Je ne peux pas résister à la volonté de Sa Majesté. Mais je vous avoue que j'ai une bien mauvaise opinion de cet établissement. ³⁰

Г. Ш. — Jadis vous aviez raison; mais depuis le règne de l'Empereur Nicolas ce corps a totalement changé à son avantage; savez vous, Madame, qui est le Directeur de ce corps, — c'est M-r Krousenstern.

* Стас-секретарь Императрицы Александры Феодоровны. Примеч. Ф. П. Леонтьевой.

Я. — Vraiment, M-eur! Oh! alors je ne m'étonne pas de toutes les améliorations qu'y ont été faites.

Надобно сказать, что Крузенштерн был известный своими путешествиями моряк и к тому же отличный человек. Я его несколько лично знала.

Г. Ш. — Permettez-moi de vous faire une objection, Madame! — Que pensera l'Empereur lorsqu' il vous propose l'établissement qu' il affectionne le plus, et que vous refusez d'y placer votre fils?

10 Я. — Ah! Monsieur, je ne refuse guère; mais, au contraire, je rends mille grâces à Sa Majesté.

Г. Ш. — Et pour que vous soyez plus exactement renseignée sur cet établissement, je vais écrire à M-r Krousenstern. Allez-vous même, il vous mettra au fait de toutes les améliorations.

Я. — Vous êtes mille fois bon, Monsieur.

20 Г. Шамбо пошел в кабинет, и, пока он писал к Крузенштерну, я взяла свое прошение, оставленное на столе, и прочитала все фразы, написанные Царской рукой. Мне очень хотелось взять это прошение с собой; но когда я просила позволения у г. Шамбо, он сказал, что он не имеет права мне отдать, — что это запрещено.

Написав и запечатав письмо, г. Шамбо подал мне его и прибавил: „Prenez la peine de porter cette lettre vous-même, Madame, et après avoir su tous les détails, vous aurez la complaisance de m'informrer de votre resolution par une lettre courte, pour que je puisse monter à Sa Majesté votre réponse”. — Я. — „Je ne tarderai pas”.

30 Поблагодарив г. Шамбо за все его внимания ко мне, я уехала домой.

На другой день утром я ездила к г. Крузенштерну. Он рассказал мне о Морском корпусе во всех подробностях. Я осталась довольна и, возвратясь домой, тотчас написала г. Шамбо письмо вроде того, как он мне советовал, и послала к нему с человеком. Прошло недели две, приказа не было еще о представлении сына в Морской корпус; я собиралась уже навесться, как вдруг получила записку от

старшего сына: он поздравляет меня с радостью, т. е. с тем, что сын мой, Борис, принят в пажи. Я не верила глазам своим и тотчас поехала в Пажеский корпус. Старший сын ожидал меня и потому стоял у двери. Он объяснил мне, что в их канцелярии писаря поздравляли его с приемом брата в корпус; и вот каким образом: в пажах был некто князь Эрстов; он сделался болен; мать его пожелала взять его из корпуса; Государь, как скоро уведомился об этом, тотчас отдал приказ: „чтобы князя Эрстова выключить, а на место его Леонтьева принять”.

10

Боже мой! Как не благодарить Царя за такое милостивое внимание?!

Пробыв Святую неделю в Петербурге, я простилась с сыновьями и уехала в деревню.

1829 год был еще для меня несчастнее; что может равняться с семейными горестями и потерю последнего состояния? Все это я испытала в этот год и была приведена в болезненное состояние; грусть, тоска, потеря сна, аппетита, вид детей, которые могли остаться сиротами, — все это привело меня почти ко гробу; медицинские пособия не помогали; душевный недуг подкреплял физическую болезнь. Окружающее меня семейство не знало, что делать! Беспреданно приводили ко мне детей и умоляли меня укрепиться духом, чтобы их устроить. Богу угодно было, чтобы я осталась жива, и многие обстоятельства послужили для подкрепления моих душевных сил, а за этим и здоровье стало улучшаться.

Родной брат мой, командовавший конно-егерским полком, услышав об моей болезни и знавший, что главный предмет моих забот были дети, — уведомил меня, чтобы я успокоилась пока насчет третьего моего сына (это был его крестник); что он подал уже прошение к Царю и что, вероятно, он будет в скором времени помещен.

Это приятное известие меня несколько успокоило.

Потом один добрый человек,* имевший хорошее состояние, узнав, что имение мое подвергалось продаже с публичного торга, предложил мне внести за него следуемую сумму своими деньгами и тем остановить продажу, пока я найду средства заплатить.

Вот еще благодетельное дело, которое подкрепило мои силы.

Осталось двое детей неустроенных: сын и дочь. Особенно тревожила меня мысль о дочери; я не могла себе представить, что она, по смерти моей, остается без помощи, без воспитания и без пропитания. В самую тяжкую минуту моей болезни мне пришло на мысль просить Императрицу Александру Феодоровну. В продолжение нескольких дней я понемногу писала прошение. Объяснив, что я нахожусь почти на смертном одре, я умоляю Ее Величество в память покойной Императрицы Марии Феодоровны обнадежить меня, что дочь моя, по смерти моей, будет помещена в казенное заведение и останется там навсегда. Письмо послала к г-ну Шамбо, от которого получила следующий ответ — „что Ее Величество поручила ему передать мне, что в какое бы время дочь моя ни была представлена, она будет принята в Екатерининский институт, и в случае если не будет казенной вакансии, то как пансионерка Ее Величества”.

Благодарение Господу и милости Императрицы — это известие совсем почти меня успокоило, и я помышляла только о том, как бы скорее укрепить свои силы для дальнего пути».

По этому поводу мать моя рассказывала одну незначительную, но все-таки интересную подробность, о которой мне не хотелось бы здесь умолчать. Великий Князь Михаил Павлович был в гостях у старшей сестры г-жи Хитро-

* Тот самый Василий Дмитриевич Дурново, которого портрет (превосходной кисти Соколова) висел у матери среди избранных сердца, — и который сделал около вышитой бабочки надпись: «Он был таков до знакомства с вами».

во, Елизаветы Михайловны. Анна Михайловна, друг и вечная покровительница моей матери, была тут же. Она убедительно просила Великого Князя об устройстве последнего брата моего. Императрицы Марии Феодоровны давно уже не было в живых; мать жила постоянно в калужской деревне своей, и ее стали, конечно, забывать; Великий Князь Михаил Павлович не принимал участия в делах и сношениях матери моей по устройству старших детей и прежде вовсе не знал ее; вероятно, он возражал что-нибудь Анне Михайловне; желающих определить детей в хорошее военно-учебное заведение тогда было такое множество и, по службе отцов, конечно, с большими правами, чем отец наш, отставной гвардии прапорщик. Между прочим, Великий Князь сказал: «надо бы, по крайней мере, знать, какие права на особенное внимание имеет эта г-жа Леонтьева?»¹⁰

Анна Михайловна хотела, кажется, рассказать об отношениях покойной Императрицы к матери моей; но Елизавета Михайловна вдруг вмешалась в разговор и воскликнула:²⁰

— Разве вам, Ваше Высочество, не довольно того, что она еще девицей была так близка к нашей семье и что мы рекомендуем ее с самой хорошей стороны?

Великий Князь тотчас же уступил.

Из записок матери видно, что и вторая дочь ее была принята в Екатерининский институт пансионеркой Ее Величества.

«Сколько лет уже прошло тому (так оканчивает матушка воспоминания свои о Высокой своей Покровительнице с ее Царственным Сыном и о других своих благодетелях);³⁰ все мои дети на возрасте; все были на службе Царской; иные и теперь еще служат; другие в отставке, а некоторые уже и не существуют; но я, описывая все эти обстоятельства, не могу вспомнить без слез благодарности о всех моих Благодетелях.

Успокоившись насчет детей и пробыв несколько времени с ними, я возвратилась в деревню. Здоровье мое стало

поправляться. Устройство детей, вспомоществование добрых людей по хозяйственным делам придали мне силы, и я, думавшая расстаться в скором времени с жизнью, живу по сих пор еще и пользуюсь довольно порядочным здоровьем.

Может быть, Святая душа нашей Высокой Покровительницы молится об нас у Престола Всевышнего, как мы молимся за Нее здесь на земле!»

Так кончает моя мать свой рассказ.

СДАЧА КЕРЧИ В 55 ГОДУ

(ВОСПОМИНАНИЯ ВОЕННОГО ВРАЧА)

I

Наши войска отступили от Керчи и сдали ее без боя союзникам 12 мая, в 55 году.

Я пишу на память, нигде и ни о чем не справляясь; но я уверен, что не ошибся, что это случилось именно 12 мая.

Есть вещи, которые до того поражают нас, что мы их забыть не можем, если бы даже и хотели. Поражают они радостью или горем; торжеством или страданием — все равно; забыть их невозможно!

Я люблю говорить правду. Или вовсе не писать своих воспоминаний, или говорить искренно. Для меня этот день военной неудачи нашей был одним из самых веселых дней моей жизни.

Мне было тогда 23 года; я жил личной жизнью воображения и сердца, искал во всем поэзии, и не только искал, но и *находил* ее! Я желал и приключений, и труда, и наслаждений, и опасностей, и энергической борьбы, и поэтической лени.

Когда я еще студентом в Москве читал стихи Огарева:

Чего хочу? Всего со всею полнотою...

мне казалось, что Огарев угадал мои чувства, что я почти сам написал эти прекрасные стихи.

Упорного или, как нынче говорят, «честного» труда за зиму у меня было перед этим достаточно; нынче кроме того особенно любят и хвалят «темный» труд, полезный и непритязательный, где-нибудь в дали, в глуши и неиз-

вестности. Мой труд от сентября до мая, всю осень и всю зиму перед этим, был именно таким трудом, по мере сил и знания добросовестным, однообразным, ежедневным. Иногда он был очень неблагоприятен и тяжел: в военной больнице, на 20 рублях жалованья, в глуши и неизвестности, в небольшой крепости Ени-Кале, на унылом и безлесном берегу Киммерийского Босфора, в стране «Киммерийского мрака», как выражались древние и, кажется, сам Геродот. В иные месяцы у меня было 200 больных в день; в их числе было и много раненых из Севастополя. Общество, окружавшее меня в этой печальной и почти забытой крепости, было очень простое, в дурном смысле этого слова, «серое» общество, вовсе не изящное, ни в каком смысле не поэтическое, ни в светском, ни в каком-нибудь диком и оригинальном. Военные доктора, интенданты, самые скромные пехотные офицеры, греческие торговцы рыбой, не рыбаки простые, которые борются с волной морской и опасностями; нет, а просто торговцы рыбой в «немецком платье».

20 С моим «внутренним» миром, с моими идеалами (в то время скорей всего Жорж-Сандовскими), все эти сослуживцы, сожителы и соседи не имели ничего общего; я был для них «младший ординатор», товарищ, неопытный в делах житейских, но уживчивый юноша в форменном долгополом вицмундире с красным кантиком, который ни во что не мешается; сам с подрядчика Гринберга денег не берет, но другим брать не мешает; вообще малый «сносный», лекарь Леонтьев и больше ничего. В Москве студентом я жил в кругу богатых родных, в обществе весьма тонко образованном и светском, и ученом; бывал часто у графини С., встречал у нее в гостиной Грановского, Кудрявцева, Щербину, П. М. Леонтьева, граф. Ростопчину, Сухово-Кобылина, Тургенева. С Тургеневым я был давно в дружеской переписке и печатал уже в журналах небольшие повести, не подписывая имени.

30 Мои сослуживцы ничего этого не знали, и мне это очень нравилось. Я сам хотел быть тогда хорошим или по

крайней мере хоть сносным военным лекарем, и пока (разумеется — пока) больше ничего! Тем лучше! Как прекрасно! Здорово! (я был тогда помешан на «здоровье»!) «Да! здорово и таинственно! Полезно и вовсе ново, не испытано...» — Правда, я скучал иногда или скорее идеально грустил в течение этой трудовой зимы, иногда, но очень редко. Скорее я был счастлив; я был бодр и деятелен в этой «серой» среде, вблизи от этой великой исторической драмы, которой отзывы беспрестанно доходили и до нас; в беспрестанном ожидании, что вот-вот и мы все здешние — керченские — будем вовлечены в поток этой кровавой борьбы... Когда мне становилось на минуту тяжело и скучно, я с ужасом (именно с ужасом) вспоминал, как я пять лет подряд в Москве все грустил, все раздирался, все анализировал и себя и других, и содрогаясь, все подозревал, что и меня другие анализируют с «язвительной улыбкой»; все учился и нестерпимо мыслил; мыслил и учился; все ходил или ездил на извозчике с Пречистенки, от Троицы-Зубова, все по прямым линиям или на Рождественку в клинику, или на Моховую в анатомический театр... Болезненно любил, болезненно мыслил, беспокойно страдал, все высокими и тонкими страданиями... Я вспоминал об этом с ужасом и почти со стыдом (недовольные собой и расстроенные герои Тургенева и других наших литераторов стали мне в Москве давно ненавистны)!.. Я вспоминал обо всем этом с отвращением, глядя в зеркало, видел, до чего эта простая, грубая и деятельная жизнь даже телесно переродила меня: здесь я стал свеж, румян и даже помолодел в лице до того, что мне давали все не больше 20-ти, а иные даже не больше 19 лет... И я был от этого в восторге и начинал почти любить даже и взяточников, сослуживцев моих, которые ничего «тонкого» и «возвышенного» не знают и знать не хотят!.. На радостях я находил в них много «человеческого» и ничуть не враждовал с ними... Я трудился, я нуждался, я уставал телом, но блаженно отдыхал в этой глуши и сердцем и умом.

Самолюбие мое здесь было покойно; в среде этой, в этой жизни, отчасти похожей на жизнь в крепости, описанной Пушкиным в «Капитанской дочке», отчасти на жизнь «Ревизора» и «Мертвых душ», я считал себя если не орлом или королевским соколом (этого я, кажется, не думал), то уж наверное какой-то «райской птицей». Эта райская птица по своей собственной воле дала остричь себе крылья и снисходительно живет пока на заднем дворе и не боится никого, и сама никого не трогает. Это она пока!..

¹⁰ Она притворилась только на время «младшим ординатором и больше ничего». Она поэт; она мыслитель и художник, миру пока неизвестный... она кроме того «charmant garçon», который нравится (кому следует)... и, наконец, калужский помещик, у матери которого в саду, в прелестном Кудинове...

Вблизи шиповник алый цвел,
Стояла темных лип аллея...

Думать так было, может быть, и глупо, но зато очень приятно!

²⁰ Всю зиму я трудился; лечил, как умел, и перевязывал солдат; резал ноги, руки, вскрывал нарывы; налагал крахмальные Сотеновские повязки; вставал иногда (не всегда — каюсь!) среди ночи в дежурные дни для приема новых больных; вскрывал трупы для того, чтобы еще учиться и проверять свою диагностику, и часто по длинным зимним вечерам, в то время когда смотритель, комиссар, аптекарь и другие играли по соседству в карты, я запирался в своей комнате и перечитывал то Андралю «Clinique medicale», то Гуфеланда, то Гризоля, то хирургию

³⁰ Видаля де-Касси, то литографированные лекции московского хирурга Басова и петербургского профессора Экка. Затруднений и мелких неудобств было много, но я с удовольствием их преодолевал... Литературу, которой я так много занимался в Москве, совсем здесь оставил. Совесть не позволяла мне тут заниматься ею; при виде стольких терпеливых страдальцев, порученных мне судьбою, я

желал одного: делать как можно меньше ошибок в диагностике и лечении. В палатах я проводил каждый день от 8 или 9 часов утра до 2-х и более; едва успевая все сделать, что нужно, и усталый, но бодрый и здоровый, спешил жадно съесть очень простой и очень грубый обед зрителя, которому я платил за это всего *три* руб. сер. в месяц.

Книг, кроме медицинских, у меня, слава Богу, с собой не было никаких. И у других сослуживцев моих тоже редко бывали книги и газеты. 10

Чтобы узнать подробнее о том, что делается в Севастополе, надо было съездить за 12 верст в Керчь. Не знаю, как решить теперь, — хорошо ли это было или худо, что мы так мало входили в дела, до нас прямо не касательные? Я думаю, что была тут, как и во всем, и доля хорошего: мы полагались по чувству доверия и по привычке на высшее начальство, без больших и часто бестолковых рассуждений; и кто хуже, а кто лучше, но занимались каждый своим ближайшим делом, каждый своими личными интересами, — идеальными или практическими, все равно. Изо 20 всех живших и служивших в этой унылой крепости русских я еще был самый либеральный и даже слегка «политикующий» человек, но именно *потому*, что политические... не то чтобы убеждения, а скорее какие-то смутные подобиya политических мнений моих были тогда несколько либерального оттенка, я находил более благоразумным класть «дверь ограждения на уста». Я сказал: изо всех русских в окружавшем меня обществе... Поляки, сослуживцы наши, — те гораздо больше нас занимались политикой: одни в духе довольно даже смелой оппозиции; 30 другие, напротив того, в духе самого исступленного и монархического патриотизма; особенно один молодой артиллерист, о котором мне еще придется говорить, быть может, и не раз.

Когда-нибудь я расскажу гораздо подробнее об этой трудовой зиме моей и обо всех порядках тогдашних; теперь же довольно об этом!

Весна наступила, как наступает она на юге, почти вдруг, без той тяжелой борьбы со стужей, которая бывает у нас, без тающих глыб снега, без шумных потоков, без внезапных возвратов вьюг и снега. Вдруг все стало веселее, теплее, светлее.

Пролив растаял и прошел... Небо стало чистое; степь зеленая. Больные наши, и те повеселели... И меня стало манить куда-то на волю, и мне захотелось иной деятельности, иной жизни, иной борьбы, не труда честного, а боевой опасности: захотелось в лагерь, в поле, в полк куда-нибудь; в самый Севастополь, если можно.

Года три подряд в Москве, еще до войны, я все думал о Крыме, о Южном берегу, об этой самой Керчи. («Где закололся Митридат»...) Думал я также и вообще об войне; я ужасно боялся, что при моей жизни не будет никакой большой и тяжелой войны. И на мое счастье, пришлось увидеть разом и то и другое совместно — и Крым и войну. Так как я не был казенным студентом и поэтому пользовался в глазах начальства некоторым правом выбирать себе место службы, то еще прежде высадки союзников в Крым, летом 54 года, я, в прошениях моих и личных разговорах с медицинскими властями, прямо указывал на Севастополь и Керчь как на места, в которых я служить желаю, именно потому, что там можно ожидать военных действий. В Севастополь мне тогда (то есть летом, до высадки) отказали, за неимением вакансий, а назначили в Керчь-Еникальский военный госпиталь. И так, хоть степную и восточную часть Крыма я увидал; но никакого даже подобия военных действий до сих пор вблизи не вижу. Мне хоть бы подобие, одно подобие! Что делать? Проситься в Севастополь — это бы лучше всего. Там уж не подобие. Там и докторов убивают!..

Но приезжий именно оттуда к нам недавно молодой врач сказал мне, что в то время, когда я прошлым летом просился в Севастополь, вакансии все были там действительно заняты, и так как, по-видимому, скорого и решительного десанта союзников у нас не слишком ожидали, то

врачей сначала, во время Альминского сражения, например, было уж слишком мало; а теперь их наехало туда так много, что тут, вероятно, откажут и возразят, что и здесь, в Восточной части Крыма, нельзя без докторов; нельзя тем более, что много раненых нам же сюда привозят из Севастополя и главной армии...

Что ж мне было делать?.. Я не долго думал и решился проситься в какой-нибудь полк. Я надел вицмундир, надел шпагу и каску и поехал в Керчь. Там жил со штабом своим генерал Врангель, командующий войсками в Восточной части Крыма; тот самый, который взял город Баязид в прошедшем году в Малой Азии.

Генерал Врангель был рослый, плотный и даже довольно толстый мужчина, белокурый с небольшой проседью, с приятным и спокойным немецким лицом. Он мне понравился еще прежде, когда приезжал в Ени-Кале осматривать нашу крепость, наши пушки и наши больничные порядки, и мы все в мундирах и навытяжку встречали и провожали его.

Он принял меня вежливо и просто.

— Я, в(аше) пре(восходительст)во, лекарь Леонтьев, младший ординатор...

— Помню; что вам угодно?

— Мне бы, в. пре—во, очень хотелось в полк, особенно если здесь откроются военные действия.

— Не знаю, есть ли теперь при полках вакансии. Посмотрю. Впрочем, если вы так желаете быть ближе к военным действиям, то я подумаю об этом. В случае чего-нибудь вас можно будет тотчас прикомандировать хоть к казачьему полку. Хорошо; я не забуду.

Я поблагодарил и возвратился опять в свою крепость, не говоря никому ни слова об этом.

Предчувствия мои, хотя немного, но оправдались.

Вскоре после этого ночью, не помню какого числа апреля, явился внезапно перед входом в керченскую бухту и в пролив союзный флот. У нас в Ени-Кале поднялась тревога. Что делали другие, не помню; помню только о

том, что касалось ближе моего дела. По распоряжению начальства, был прислан в нашу крепость командир одного военного корабля, чтобы немедленно, пока неприятель еще не ворвался в бухту и пролив, перевезти как можно больше больных из Ени-Кале через пролив в Тамань. Командир, плотный, плечистый моряк, ходил по палатам с нашим главным доктором В. Г. С., а я, как дежурный, за ними.

10 Главный доктор выбирал и назначал, которых больных можно перевозить; он очень был сердит и все бранился. Я изредка делал при этом свои замечания; моряк считал, сколько будет народу. Больше ничего почти не помню. Помню, что ночь была довольно светла и тепла; что беготни и хлопот было много, но испуга ни малейшего; все, кроме главного доктора, который чем-то расстроился, были очень веселы и бодры. И только. Тревога наша на этот раз была напрасная; союзный флот постоял и ушел. Помню, что в газетах, которые как-то в одну из моих редких поездок в «цивилизованную» Керчь я читал, над союзниками много по этому поводу смеялись. «Пришли, постояли
20 и ушли!»

Наступил май. Все шло по-прежнему, правильно и тихо. Одиннадцатого мая поутру меня позвали в канцелярию и показали бумагу, по которой я должен был собираться в путь. Генерал Врангель не забыл своего обещания и прикомандировал меня к Донскому казачьему № 45 полку. Без всякого сожаления, а напротив того, с большою радостью велел я своему кривоногому и кривому деньщику Трофимову укладываться и нанять лошадь, чтобы на завтрашнее утро нам отправиться в Керчь. Нанялся еврей
30 Ицка, с которым и прежде я не раз ездил. Все медицинские книги и тетради я заколотил в особый большой ящик и, чтобы не обременять себя на лагерном положении лишней и тяжелой поклажей, поручил их нашему еникальскому аптекарю, с просьбой хранить ящик до тех пор, пока я за ним не пошлю. Я вовсе даже не знал, где стоит этот 45 Донской полк и как мне при нем придется жить. Я понимал только, что об серьезных и последовательных ме-

дицинских занятиях в лагере думать нечего; что там нужна будет только первая помощь и больных придется все равно отправлять в госпитали, и потому взял с собою только известный (очень полезный молодым врачам) «Энхиридион» Гуфеланда и что-то еще из хирургии. Остальное все поручил аптекарю. Сдал свои палаты другому ординатору, молодому пруссаку Бутлеру, и весь остаток дня одиннадцатого мая провел в той спокойной и мечтательной лени, которая так приятна после нескольких месяцев однообразной и трудовой жизни. Здесь обязанности кончились; там еще не начинались... Да и какие еще там, в степи, будут обязанности до тех пор, пока не грянут выстрелы? Быть может, никаких. А весна так хороша! И небо, и море, и степь так теперь веселы и ясны! И я буду там с казаками на коне! С этими мечтами и приятными мыслями я крепко заснул.

Я думал выехать часов в 10 утра не спеша. Куда спешить! Но было еще очень рано, когда дверь моя вдруг шумно растворилась и Трофимов разбудил меня криком: «Вставайте, ваше благородие... англичанин пришел!»

Я спрыгнул с кровати и вышел на крыльцо.

Крепость наша была построена на крутом и неровном скате берега к морю; больничные строения и жилища служащих были рассеяны там и сям по этому склону, внутри старинных каменных зубчатых стен, и потому одно строение не заслоняло другому вид. Мое жилище было на полгоре, и с крылечка моего был свободный и прекрасный вид на пролив. Я часто в часы отдыха сидел бывало на нем и подолгу глядел, мечтая, на синюю полосу кавказского берега. Я знал, что там и жалкая Тамань, прославленная Лермонтовым. И мало ли о чем я думал бывало, сидя дома на этом крыльце! Керчи из Ени-Кале не видно вовсе; она скрыта за изворотами берега. Но в стороне Керчи, направо от наших дверей, вдали была всегда заметна небольшая полоса открытого моря, между двумя более темными, синими очертаниями двух концов земли, и от Кавказа на левую руку, и от Керчи на правую. Обыкновенно там

ничего не было; но теперь именно в этом светлом промежутке виднелось несколько черных каких-то точек или мушек, не знаю как их вернее назвать. Это были суда союзного флота.

В крепости опять поднялась суэта. Я поспешил проститься с моими сослуживцами. Смотритель, расчетливый К. Д—ч, был очень расстроен. Главный доктор В. Г. С., напротив того, почему-то на этот раз был очень весел, смеялся, глядел в бинокль и мне давал его, смеялся, чуть не прыгал. Не знаю, чему приписать его веселость. Думаю, что его, так же как и меня, приятно поразили неожиданность и серьезность этого приключения. Он прожил *тринадцать лет подряд* в этой крепости. И вдруг такая катастрофа! Союзные армии и, быть может, битва. А он был грубый человек и «себе на уме» до наивности; но уж вовсе не трус, а скорей молодец.

Я простился с ним и с другими, кого успел второпях отыскать, и тронулся в путь на дрогах с Ицкой, с деньщиком и с поклажей. При выезде из ворот крепости на ²⁰ большую улицу греческого рыбацкого городка, я встретил коменданта и артиллерийского подпоручика Це—ча, который начальствовал в Ени-Кале крепостными орудиями, обращенными к морю. И тут также разница: комендант, армейский отрядный подполковник (или майор, не помню) был очень смущен и мрачен; а юноша Це—ч так и сиял от радости, что *будут дела* и что он или отличится не хуже Щеголева в Одессе, или погибнет. Он и зимой все с жаром говорил мне, что жив отсюда он не выйдет и что ³⁰ если не в силах будет прогнать неприятеля, то взорвет и себя, и больных, и нас всех. «К чорту! к чорту, и вас всех взорву!» — кричал он и стучал кулаком по столу. И теперь на румянном юношеском лице его виден был такой искренний восторг, такая веселая отвага, что я, прощаясь с ним, подумал: «однако он и в самом деле на это способен!» Он выразительно и молча еще раз взглянул на меня, крепко пожал мне руку, и мы расстались. Я сел на дроги, и мы выехали в степь.

До Керчи, сказал я прежде, от Ени-Кале около 12 верст. Конечно, одиночкой, на дрогах и втроем с поклажей, мы ехали долго мимо пролива и мимо разведенных на крутом его берегу виноградных садов. Ехали, я думаю, часа два, если не больше.

И пока мы ехали, почти не спуская глаз с того светлого места, где и прежде, из крепости, были видны *чорные мушки*; пока мы доехали до Керчи; пока этот выход в Чорное море не скрылся опять за изгибом берега, — *этих мушек* становилось все больше и больше. Под конец мы насчитали их, кажется, около двадцати. Иные из них были очень велики, гораздо больше других.

Итак — война! И у нас — война!

И я был рад, подобно старому доктору нашему с биноклем в руках и молодому артиллеристу Це—чу, так и сиявшему от восхищения, что «можно в крайности и всех вас к чорту взорвать!»

Да! И я рад!.. И не только рад чему-то... Я даже торжественно счастлив на моих жидовских дрогах!

Наконец мы въехали в Керченское предместье...

Неприятельского флота уже не было видно; он скрылся за высокими берегами... Все казалось мирно и тихо... Ни выстрелов, ни шуму, ни каких-либо криков. Знакомые домики, веселые, опрятные, в линию по обеим сторонам; куры ходят и клюют, как всегда... Никакого движения, людей даже не видно вовсе. Я помню особенно один небольшой дом из темно-коричневого, хорошего камня. Около него росли акации, и мимо этого дома и этих акаций шел в это время, посвистывая и заложив обе руки в карманы панталон, юноша лет 17-ти или 18-ти, не больше. Мы обогнали его, и он не обратил, кажется, на нас никакого внимания. Одет он был странно: на нем была куртка, и куртка эта и панталоны были желтого цвета с черными полосками. Обыкновенная старая суконная фуражка была надета назад, на затылок; шел он себе тоже так беззаботно

и равнодушно, посвистывая, как будто ничего не случилось. Меня все это спокойствие очень поразило. Я ожидал смятения, шума, воплей и увидел пустую, безмолвную, безлюдную улицу, на которой даже никого, кроме этого босого и толстогубого свистуна в полосатой одежде, не встретил. Почему это так было, до сих пор не понимаю. Не понимаю тем более, что это предместье должно было прежде всех частей города подвергнуться действию ядер в случае насильственного вторжения неприятельского флота в Керченскую бухту. Быть может, впрочем, так всегда и бывает в подобных случаях. Я в первый раз в жизни видел город, *ожидающий* бомбардировки с минуты на минуту. Быть может, жители этого предместия замерли от страха за свою жизнь и собственность и притихли в своих жилищах в покорном ожидании *того, что будет*.

Но надо было подумать и позаботиться о самом себе и о своих вещах. Куда же мне ехать? Где остановиться? Где оставить пока деньщика с чемоданом и разными узлами? Как ни легкомысленно смотрел я тогда на жизнь, как ни ²⁰глубоко и несокрушимо было в то время в сердце моем убеждение, что важнее всего *поэзия*... (то есть не стихи, конечно, а та реальная поэзия жизни, та восхитительная действительность, которую стоит выражать хорошими стихами), как ни идеален был я в то время, но я, хотя и довольно смутно, помнил все-таки, что у меня в одном узле офицерская ваточная шинель с капюшоном и старым бобровым воротником, весьма полезная при случае для сохранения моего идеалистического тела; в другом узле что-то тоже нужное; в чемодане дюжина очень недурных ³⁰настоящих голландских рубашек с мелкими (модными тогда) складками на груди (на той груди, где бьется еще юное сердце будущего, — не знаю какого, право, но все-таки какого-то, какого-то... очень дорогого *мне* человека!) И наконец, сверх ваточной шинели, сверх незаменимых здесь московских непромокаемых сапог, работы г-на Брюно, сверх голландских рубашек с мелкими складками и нежными воротничками, которые придавали мне (в моих собст-

венных глазах) вид Аполлона, смиренно пасущего стада у царя Адмета, особенно в тех случаях, когда они, эти воротнички, виднелись из-под грубой, серой, толстой солдатской шинели с молодецким перехватом в талии, — сверх всего этого в багаже моем на длинных Ицкиных дрогах были и другие, даже более всего этого идеальные и дорогие мне вещи. Были мои рукописи: начало романа «Булавинский Завод», начало, года за три до того одобренное «самим» Тургеневым (для меня уже и тогда он был «сам»; для большинства читателей он стал таким гораздо позднее); был еще один отрывок — описание безлюдной и красивой усадьбы русской в зимнее утро... «Девственный снег, выпавший за ночь, на котором виден мелкий и аккуратный след хищной ласочки, ходившей на добычу эту ночью»... «Розовый дом с зелеными ставнями, осененный двумя огромными елями, вечно зелеными и вечно мрачными великанами»... Когда я прочел это в Москве, в доме одной графини, она воскликнула: «*Quel magnifique tableau de genre!*»

Как же мне было тогда, в 23 года, не беречь этих бумаг, этих неоконченных и еще в то время столь любимых, а впоследствии жестоко ненавистных мне сочинений?

Кроме рукописей и нужных мне даже и в лагере для справок медицинских книг, были и еще заветные для души моей вещи: была *дедовская* шкатулка из корельской березы для чая и сахара, — шкатулка, которую я помнил с тех пор, как стал сам себя помнить; была большая прекрасная фотография матери; был даже семейный, родовой, золотой ковчежец с мощами; он имел вид четырехугольного небольшого образа; частицы мощей были вложены под отверстия очень красивой формы правильными рядами и покрыты слюдою. Матушка, отпуская меня на войну, зашила этот образ в синий бархат и просила меня, не тяготясь его размером, надевать его на себя всегда, когда будет предстоять опасность. На этот раз я почему-то не подумал его надеть; но позднее, в лагере, когда неприятель был от нас то в 40, то в 20 всего верстах, в течение лета, я не

расставался с ним. С радостью и даже пожалуй с некоторым оттенком гордости я теперь вспоминаю, как я благоговейно относился даже и тогда к этой церковной и родовой святыне. Видно «бессознательное» во мне тогда было лучше, благороднее, умнее «сознательного», испорченного дешевым материализмом медицинского воспитания.

Куда ж мне все это укрыть, пока я сам поспешу к начальству и узнаю, что мне делать и куда мне ехать прикажут?

10 Я решил, что лучше всего отвезти эти вещи на квартиру приятеля, жившего в Керчи, молодого лекаря Л—на. Он состоял при штабе генерала Врангеля, и если он еще дома, то я обо всем, что мне нужно, от него узнаю тотчас же. Он жил на ближнем конце города, у выезда на Феодосийскую дорогу, у самых ворот, где на каменных столбах сурово глядели друг на друга два зеленовато-бронзовых грифона с поднятыми крыльями и грозными, загнутыми клювами. Еще недавно я ночевал в его опрятной и просторной квартире, провел несколько часов в приятной с
20 ним беседе и, вышедши случайно в сад, в первый раз в жизни увидел цветущий на воздухе розовыми цветами персик. Меня это восхитило. «Кто видел край, где роскошью природы оживлены дубравы и луга? Где весело синяя блестят воды, роскошные лаская берега?» Я не видал еще Южного берега, и для меня тогда и Керчь казалась «роскошным югом», и мне воображалось, что и в самом деле здесь «луна светлее блестяет в сладкий час вечерней мглы!»

Подъехали... Все тихо... Ворота заперты. Стучимся...

«Доктора нет; уехал давно к генералу!»

30 Что делать?

Плачу Ицке по договору полтора рубля. Он недоволен; я даю еще двугривенный на чай не без досады, потому что денег у меня очень мало, и те заняты у зрителя. Приказываю деньщику Трофимову остаться тут на дворе и ждать, пока будет от меня весть и приказание, куда везти вещи, и сам спешу... Правда, спешу, но куда? В штаб? К генералу?.. Бегу искать, где мой Донской Казачий № 45

полковника Попова полк?.. Ах, признаюсь, что нет... Я спешу в гостиницу Дмитраки; я проголодался на радостях, что пахнет хоть немного войной...

Для дел великих отдых нужен,
Спокойный сон и добрый ужин...

Положим, утром не ужинают; но утром зато пьют у Дмитраки в гостинице хороший кофе с превосходными сливками и свежим «францолом» (т. е. белым хлебом по-нашему).

К тому же гостиница Дмитраки гораздо ближе к той стороне, откуда идут союзники, и в случае бомбардировки я хочу быть в опасности, а не избегать ее... Мне бы нужно только поесть и выкурить сигару... А там пусть летят ядра и бомбы... Я их что-то не очень боюсь.

Наконец и штаб и генерал, все это недалеко от Дмитраки, два шага: я мигом напьюсь, наемся, накурюсь, и к делу!..

Перевязки и даже ампутации мне не новинка, и к теплой человеческой крови я уж привык. Не ей напугать меня! Скука и проза — вот что пугало меня в то время в жизни людской, а не ядра, не раны, не кровь... В Ени-Кале однажды, во время ампутации голени, по неосторожности фельдшера, слишком вдруг ослабившего турникет на ляжке больного, артериальная горячая кровь брызнула фонтаном мне прямо в лицо и попала в рот... Я выплюнул только и продолжал операцию...

Вот мы как! Ну, а «голод не тетка», кофею хочется!..

— К Дмитраки!

Дмитраки — патриот... Что он в самом деле, не знаю — грек он, итальянец или серб какой-то... Сам низенький, ³⁰ сухой, живой, любезный, хитрый; лицо, как на иных карикатурах, несообразно с телом большое, длинное, носатое... Зовут его, кроме Дмитраки (потому что он Дмитрий Иванович), еще и Гвариори; еще, сверх того, зовут Молчанович... и говорят в городе, что он *то-то* и *то-то*... А я знаю только, что со мной он очень обходителен и всегда

мне рад; что гостиница его чиста, пища вкусна, и еще знаю, что давно уже должен ему 13 р. с., которых теперь я не в силах отдать... (Как отдать 13 из 5-ти с полтиной, которые у меня в кошельке?) Еще за кофей заплатить нужно будет... Посмотрим!

Дмитраки встречает меня с отверстыми объятиями. Лицо его радостно. Он по-домашнему — в коричневой, знакомой мне альмавиве, прямо на чистую рубашку. Он не спешит одеваться и с презрением и смехом говорит о союзниках.

— Десант, говорят, будто они затеяли, дураки! Да куда им!.. — восклицает он.

— Десант?! Десант — в Камыш-Буруне?! В 15 верстах от города?!

Меня это поразило, и весь порядок мыслей моих вдруг изменился... Я тотчас же понял, что в случае десанта я должен быть при том казацком № 45 Донском полку, к которому прикомандировал меня по моему желанию генерал Врангель. Я чувствовал, что мне приличнее и приятнее было бы остаться в городе, если бы его бомбардировали с флота, ворвавшегося в бухту. О собственной смерти я совсем не думал; мне было для этого слишком весело, и какой-то непобедимый рассудком инстинкт постоянно говорил мне, что я рано не умру, потому что назначен в жизни *что-то* еще сделать (что именно, я и сам еще не знал). О собственной смерти я не думал, но я думал о других людях, об раненых; я знал, что в Керчи врачей немного, и стоит мне только показаться в штаб или отыскать моего товарища доктора Л., чтоб меня оставили в городе с радостью для перевязки и ампутаций, которые я делал уже смело и хорошо. Но если десант, если войско союзников идет к Керчи с сухого пути, то может случиться (почем я знаю!), что Донской № 45 полк будет действовать в поле, и тогда и долг, и самолюбие, и жажда сильных ощущений, все призывало меня туда, все заставляло меня желать быть при полку. Сколько войска в нашем отряде, будем ли мы сражаться, можно ли дать сражение

в степи перед открытым с сухого пути городом — я этого не знал и не разбирал тогда, не помнил...

Я знал одно, во-первых, что я ужасно голоден, и во-вторых, что насытившись надо спешить в штаб...

И я стал поскорее пить у Дмитраки прекрасный кофе с густыми сливками и есть белый хлеб.

Дмитраки все был весел и не унывал. Он ходил в своей коричневой альмавиве из столовой на открытый балкон и с балкона опять в столовую, курил спокойно сигару, смеялся над союзниками, отрицал возможность десанта; говорил, что это «у страха глаза велики», твердил: «они не посмеют! они и под Севастополем все напрасно с самой прошлой осени бьются и мрут».

— Положим, француз храбр, — говорил он между прочим, — положим, он очень ловок... Он два раза успеет ударить штыком; но русский ударит только раз и наповал.

И он, распахнув альмавиву, представлял и француза, и русского...

Однако я слышал — шум на улице возрастал...

Экипажи чаще и чаще гремели мимо гостиницы...

Проскакал отряд кавалерии...

Я хотел кинуться на балкон, но Дмитраки взял маленький столик и стул, внес их на балкон, поставил и приказал своей помощнице, молодой гречанке, подать мне еще кофею.

— Не спешите, — сказал он мне спокойно и любезно. — Выкушайте с сигарочкой, я вам хорошую дам... Поверьте, что они с сухого пути не придут сюда... Это, вероятно, ложный слух в городе... Ну, а начнется здесь пальба с судов, вы сейчас к генералу и скажите: «Ваше пре—во, я здесь и готов служить».

Мне, все еще голодному, самому очень хотелось допить как следует второй стакан превосходного кофею с этой хорошей сигарой, и я согласился с мнением хозяина. При первой бомбе, при первом выстреле я встаю со стула, я бегу и говорю начальнику: *я здесь!*

И я сел на балкон перед столом и как барин закурил сигару.

Позаботился только об одном: жаль нового вицмундира, не в нем же перевязывать раненых и окровавленных людей; я снял его и надел солдатскую форменную шинель. (Многим, может быть, неизвестно, что в то время, по примеру и по приказу самого Государя Николая Павловича, все офицеры, все врачи и все гражданские чиновники военного ведомства носили солдатские шинели из толстого серого сукна; это было очень удобно, экономно и красиво.)

Переоделся и сел, блаженствуя, на балконе гостиницы.
10 Но блаженствовал я недолго.

Пока от времени до времени мчались мимо меня по улице куда-то пролетки, тянулись телеги, скакали изредка казаки, я продолжал не спеша пить мой кофе и курить, мечтая даже о том, как бы это было хорошо, если бы сейчас начали падать около гостиницы этой гранаты, бомбы и ядра, а я бы имел право, как частный человек и художник, смотреть с балкона на весь этот трагизм, взирать, ничуть и сам не избегая опасности, на эту внезапно
20 развернувшуюся на интересном месте страницу из современной истории. Присутствовать безмолвно и философски созерцать... Прекрасная страница! Не только из истории человечества, но и из истории моей собственной жизни. Бомбы летят, а я смотрю!

Сижу и думаю — философ! Не боюсь — стоик! Курю — эпикурец!..

Но блаженствовал я недолго.

Раздался слева по улице опять громкий стук колес. Скакала почти во весь опор перекладная тройка. За ней
другая.

30 В первой перекладной сидел сам генерал Врангель; за ним мчались его адъютанты... За ними — отряд казаков.

Я едва успел вскочить на своем балконе и отдать честь. Генерал взглянул на меня снизу вверх и отдал мне поклон. Я успел заметить, что полное, круглое лицо его было совершенно спокойно.

Куда это?.. В телеге — тройкой?! За город... Зачем?! Не десант ли в самом деле... Нет, это не шутка!

Я бросил недопитый кофе. Дмитраки побежал вниз на улицу и мигом от кого-то узнал правду. Когда он вернулся наверх, лицо его изменилось: оно стало серьезным и озабоченным.

— Правда, десант, — сказал он коротко. — Чорт бы их взял! Генерал поехал, говорят, на Павловскую батарею.

Я решил, что надо скорее разыскать кого-нибудь из начальства или по крайней мере достать лошадь во что бы то ни стало и ехать к своему Донскому полку.

Я оставил свой новый вицмундир на попечение Дмитраки и сказал ему, что поеду искать доктора Л. или кого-нибудь еще из штабных, а потом забегу и возьму вицмундир или пришлю за ним деньщика. На всякий случай я простился с ним и сказал:

— А что ж мы будем делать с 13 руб., которые я вам должен?

— Покажите ваш кошелек, — сказал Дмитраки.

Я раскрыл кошелек; там было 5 р. и мелочь.

— Ну, что ж делать, — воскликнул великодушно Дмитраки, — в такую минуту вам самим необходимы²⁰ деньги... Ничего! Не беспокойтесь, — Бог даст свидимся... (И действительно мы года через полтора встретились и сочлись.)

Я поблагодарил его, и мы простились. Как только я вышел из гостиницы, мне попался хороший извозчик; я вскочил на него и помчался к Феодосийским воротам, на квартиру доктора Л., от которого я мог получить все нужные сведения.

Прежде всего мне необходимо было знать, что мне³⁰ делать, где мне быть, куда зовет меня служба.

К тому ж и деньщик с вещами остался там, у доктора.

С той минуты как я сел на этого извозчика и поехал, в памяти моей какой-то пробел. Нет той связи в воспоминаниях, которая была до сих пор.

Я помню, например, что я скачу на пролетке обратно от доктора Л. Помню, что я не застал его, но не помню уже не деньщика, ни вещей своих... Скачем мы с извозчиком

куда-то обратно по улице, гремим! На улице опять тихо, безмолвно, безлюдно.

Гремим... Выстрелов никаких не слышно. Вдруг раздастся ужасный гром... как сильный подземный удар.

Я хочу остановить извозчика.

— Стой! Что это такое?!

Мы остановились... Все было опять тихо, и мы опять помчались.

После я узнал, что это был взрыв Павловской батареи, которая защищала вход из Чорного моря в Керченскую бухту.

Ее взорвали наши, чтобы союзное войско, которое действительно высадилось в это утро в 15 верстах от города в прибрежном имении г. Олив, Камыш-Буруне, не воспользовалось пушками.

Вот куда скакал на перекладной генерал Врангель под балконом гостиницы, на котором я так независимо и мечтательно расположился со столиком, сигарой и кофеем!

Генерал, взглянувший на меня, казалось, только мельком, припомнил, однако, мне этот случай позднее. В июне я приехал просить его выдать мне из казенных сумм в счет жалованья вперед 50 р. сер. на обмундировку.

— У меня, ваше пре—во, вицмундир новый остался в Керчи в день выступления...

Генерал перебил меня и сказал, впрочем, ничуть не гневаясь:

— Вот-то и дело... и вицмундир был бы цел, когда бы вы кофей не пили на балконе.

И обратясь к штабному офицеру, бывшему при этом, прибавил:

— Вообразите, в городе все вверх дном... Я еду на Павловскую батарею, а он сидит с сигарой на балконе и барином пьет кофей! Вот и потерял платье.

Однако деньги выдать велел. А я все-таки вицмундира нового не сшил, а истратил деньги на какие-то воображаемые, юношеские потребности и всю остальную кампанию проходил и прослужил в солдатской шинели.

Пуще всего меня в этот день удивило то, что, проезжая так быстро внизу по улице, генерал разобрал, должно быть по цвету, что у меня на балконе второго этажа был в стакане именно кофей со сливками, а не чай, не пиво, не вино какое-нибудь.

Он прямо так сказал: «пьет себе барином кофей!»

Но все это говорилось месяца два позднее. А теперь что?

III

Раздался мгновенный гром и утих. Мы куда-то гремели с извозчиком по мостовой. Куда — не знаю, не помню. Но помню, что я был все так же возбужден и все так же торжественно покоен и на все готов.

Я мчался на быстром коне,
И кроткая жалость молчала во мне.

Потом этот быстрый конь, этот лихач-извозчик исчез, пропал, как во сне. Когда я расплатился с ним, почему я сошел с него посреди большой и торговой улицы, совсем не помню. Я стою посреди улицы с двумя знакомыми штатскими: с толстым Ильиным и с бронзовым мальтийцем доктором Крокко.

Ильин этот был тот самый несчастный Ильин, который несколько лет позднее погиб на Кавказе от кинжала убийцы-черкеса в ту минуту, когда он бросился защитить начальника своего, князя Гагарина. Князь Гагарин тоже был смертельно ранен.

Я не помню, чем был Ильин в Керчи; кажется, чиновником по особым поручениям при градоначальнике; я с ним познакомился зимою в один из моих редких приездов в Керчь и очень полюбил его за умную беседу в клубе.

Должно быть, я оттого и отпустил своего извозчика, что увидал Ильина и обрадовался ему.

Но толстый собеседник мой был теперь ужасно расстроен и с жаром разводил руками перед доктором Крокко,

который, скрестив на груди руки и выставив вперед свой бритый и энергический подбородок, молча стоял перед ним.

От них я узнал о том, что Павловскую батарею взорвали, что войска десанта движутся от Камыш-Буруна, что флот с минуты на минуту вступит в бухту и что им обоим, точно так же как и мне, не на чем уехать из Керчи.

Они сказали мне еще, что у неприятеля, должно быть, тысяч пятнадцать хорошего войска, а у нас так скоро и четырех из окрестностей нельзя было собрать; что известие из главной квартиры об отправке союзного десанта получено было поздно и т. д.

— Мы-то, мы-то все хороши теперь! — кричал Ильин, весь красный от волнения. — Куда мы денемся? Хоть пешком беги! хоть в плен отдавайся... я разорен!.. Все мои вещи должны пропасть здесь... Это ужасно... — говорил он с отчаянием и гневом. А доктор Крокко отвечал ему, все так же скрестив на груди руки и все так же важно глядя то на него, то на меня: «Et moi? Et moi? Je suis Maltais! Anglais me pendrons... Ils me pendrons. Soyez sur, qu'ils me pendrons!»...

Однако добрый Ильин вошел и в мое положение... Я сказал им так: «Господа, вы оба все-таки штатские и у вас в такую минуту уже нет никаких обязанностей. А я ведь военный врач, я должен быть при полку, при Донском № 45 полку. По совести я должен спешить к нему, а не из самосохранения только... Где он, я не знаю... Я вчера только получил предписание. Конечно, он где-нибудь в степи за Керчью. Только на чем же я до него доеду...»

— Это правда, — сказал Ильин, — подите скорее в канцелярию градоначальника; может быть, для вас найдутся почтовые... Едва ли, впрочем, едва ли...

— Bah! Des chevaux de poste! — воскликнул Крокко... — Ou sont ils ces chevaux de poste... maintenant?.. Voyons, courage jeune homme! Courage!

Я распростился с ними и почти побежал в канцелярию градоначальника, которая была недалеко.

Там я пробыл очень недолго. Разумеется, Крокко был прав: какие тут были лошади! Какие прогоны! Какие по-дорожные!.. Все было вверх дном. Я увидел кипы бумаг на столах; увидел чиновников, которые бегали туда и сюда с испуганными лицами. Не успел я, кажется, еще ничего спросить, как вошел полковник Антонович, исправлявший должность градоначальника (за отсутствием больного князя Гагарина, отца нынешнего товарища министра внутренних дел).

Вид полковника Антоновича поразил меня чрезвычай-¹⁰но. Мы знали друг друга прежде; он приезжал однажды и в Ени-Кале осматривать наши больничные палаты и очень понравился мне своим лицом: и тонким, и энергическим, и приятным. Понравился также и тем, что один из всех посещавших наш госпиталь военных начальников читал не хуже нас, докторов, латинские надписи на дощечках солдатских кроватей: «Pneumonia», «Hydrops»... и т. д.

Но тогда у него выражение этого симпатичного мне лица было веселое, а теперь?.. Теперь оно было до того печально и расстроено, что я даже изумился...²⁰

Изумился я потому, что сам был так весел и покоен и на все, как ужасное, так и приятное, как бы восторженно и тихо готов, и помню очень хорошо, что я именно удивился: «Что это с ним? Не притворился ли он? Почему он, такой умный и образованный военный, не радуется подобно мне, что жизнь наша вышла из обычного правильного порядка и русла своего!.. Ведь это такое блаженство!.. Странно!..»

Конечно, странного тут ничего не было.³⁰

Хорошо было мне, когда у меня не было ни семьи, ни имущества в Керчи; ни даже никакой ответственности, ни архива, ни власти в городе...

Я мог сказать в эту минуту: «*Omnia mecum porto!*» Даже и по службе своей я в этот день ни к чему не принадлежал; в Ени-Кале моя роль со вчерашнего дня была кончена; в Донском полку еще не наступала...

Можно ли было сравнить мое положение с положением градоначальника, застигнутого нашествием врагов? Теперь в 50 лет я понимаю, что тогда чувствовал г. Антонович; а тогда я даже подосадовал на него в сердце, зачем он не в таком же безмолвно лирическом восхищении, в каком был я.

Для очищения совести, я спросил его, однако, что мне делать и как мне уехать из Керчи к своему Казачьему полку. В глубине же души, признаюсь, мне, я думаю, было все равно, что нагнать полк свой, что не нагнать его и остаться в Керчи.

Г. Антонович сказал мне то же, что сказали Ильин и Крокко: «Где мы вам возьмем лошадей... Хотите подорожную, мы ее дадим... А лошади ни одной почтовой теперь не найдете!»

Я ушел без подорожной и в раздумьи вернулся на ту же главную улицу, на которой только что говорил с Ильиным и Крокко. Их уже не было на прежнем месте, и вообще улица, помню, была уже совсем почти пуста. Лавки все были заперты.

Я начал уже спрашивать себя: «Не возвратиться ли мне пешком в Ени-Кале? Больных там много: докторов без меня всего трое. Быть может, проникнув в Керченскую бухту, союзные суда поплывут дальше и по Киммерийскому проливу, захотят бомбардировать Ени-Кале, и наша крепость с предместьями своими, с виду столь унылая и глухая, как бы всем светом забытая дотеле и по образу жизни обитателей своих столь прозаическая и будничная, — внезапно озарится праздником славы! Будет страшно и весело; будет отвага и боязнь, будет кровь и самоотвержение, будут скромно-великие подвиги.

Идти в крепость пешком? Всего двенадцать верст, знакомых мне так коротко. Я ходил уже не раз. Почти все время вдоль по берегу пролива; налево будет степь, направо у моря виноградные сады. Это совсем не то, что искать Донской полк по ту сторону Керчи, в степи безбрежной, вовсе мне неизвестной, без всяких знакомых примет...»

В ту минуту, когда я стал думать об этом, я вдруг увидал перед собой еще знакомого. Это был князь Хамзаев, черкес, офицер русской службы. Я знал его в детстве. Мы с ним были в начале 40-х годов кадетами в Петербурге, в Дворянском полку, но меня скоро взяли оттуда; а князь Хамзаев кончил там весь курс и теперь состоял при гусарском Саксен-Веймарском полку, который точно так же, как и мой Донской 45-й, был где-то там, за городом в большой степи, по дороге к Феодосии. Хамзаев носил форменное черкесское платье и папаху. На выразительном, сухом, немного рябоватом, весьма строгом и в то же время приятном лице его был с одной стороны большой шрам от сабельного удара. Удар этот нанес ему в одном из сражений под Севастополем не вражеский воин, а свой русский кавалерист по ошибке. Хамзаев закричал ему: «Стой! чего ты!? Я свой, я русский».

— Знаем мы вас русских! — ответил солдат и ударил его саблей по лицу.

Хамзаев видел себя уже вынужденным защищаться; но в это время подскочили другие однополчане увлекшегося кавалериста и остановили его. Окровавленного князя отвели на перевязочный пункт, а на другой день ранивший его солдат пришел просить у него прощения. Он старался извинить себя только тем, что плохо еще знает разные «формы» и еще тем, «что, слышно, у них много есть народу, которые по-русски знают». Князь, конечно, простил и охотно потом рассказывал эту историю своего шрама.

Расстались мы с Хамзаевым в Петербурге мальчиками по 13—14 лет, а встретились только здесь, в Керчи, на другом конце России молодыми людьми и военными деятелями — врачом и офицером.

Хамзаев мне очень нравился, и я с радостью кинулся ему навстречу, объясняя ему безвыходность моего положения: все дело было в одной верховой лошади. Об имуществе моем, о деньщике на дворе доктора Л., о новом вицмундире в гостинице Дмитраки, обо всем этом я при виде

общего смятения, сменившегося вдруг поразительным безмолвием, вовсе забыл!

— Лошадь? Вам нужно верховую лошадь. Пойдите, голубчик, сейчас. Себе я достал кой-как. Я тоже здесь случайно, в таком же положении был, как и вы. Погодите, попробую.

И он тотчас же подвел меня к каким-то большим воротам в стене. Здания не помню. Только и помню, что стену и крепкие ворота.

¹⁰ Хамзаев постучался.

Из ворот вдруг вышли два почтенных татарина, духовные лица, в темно-коричневой одежде и белых чалмах. Они поговорили две минуты с князем, и князь, протягивая мне дружески руку, с участием сказал: «Нет у них больше ни одной свободной лошади... они бы дали. Последнюю мне отдают, что же делать, доктор, не моя вина. Спасайтесь, как знаете, а мне самому пора убраться отсюда».

²⁰ Я видел, как Хамзаев пошел опять к воротам между двумя этими белыми чалмами и... делать нечего... опять я остался один в серьезном раздумьи, но сердцем все-таки счастливый. Я пошел к морю. Набережная была близко. Я стал на тротуаре у самой воды, глядел на голубую бухту, на корабли, сбитые в кучу налево, на знакомый пролив, который широкой полосой уходил вдаль к Ени-Кале.

Все было тихо и красиво. Майское солнце сияло, море было гладко.

³⁰ Налево были видны вдоль загибающегося берега строения карантина и домики того самого опрятного предместья, через которое я давеча въезжал на дрогах Ицки с своей (теперь забытой) поклажей.

Я стоял перед этой тихой, голубой и, казалось, столь мирной бухтой и думал.

О чем же я думал?

Я думал, впрочем, помню это хорошо — без напряжения мысли, без всякого мрачного оттенка, без всякой тревоги. Мне было все так же хорошо, — нет! мне было еще лучше, чем прежде, теперь «гражданская» совесть моя

была покойнее. «Лошади нет, и я дороги к полку не знаю».

Если я пойду сейчас в Ени-Кале назад, то все равно могу не избежать плена. Где неприятель теперь? Где эта деревня г-на Олив Камыш-Бурун, в которой десант?.. И что такое 15 верст для войска — я почему знаю. Может быть, это для войска очень мало! Не все ли равно. А день так прекрасен! А море так сияет, так мирно и празднично сияет. И отчего бы на «казенный» французский, турецкий или английский счет не съездить за границу? Вероятно, 10
особого зла мне не сделают; быть может, еще и работу где-нибудь как врачу дадут. Я, так и быть, так и быть уж постараюсь быть любезным и понравиться им. Увижу две столицы, о которых я могу иначе (по недостатку средств) лишь мечтать и в книгах читать; увижу даром и при исключительных условиях Царьград, священный город Мусульманства, увижу, быть может, Париж — la capitale du monde, увижу великие памятники прошлого, Notre-Dame, С.-Жерменское предместье увижу, Jardin des Plantes, с 20
обезьянами, которых я так люблю. Боже мой! Да это прекрасно! Все к лучшему! И наконец, разве я строевой офицер, которому без крайности стыдно отдаться в плен... Я ведь не от робости остаюсь... Быть может, и пленному будет грозить опасность... Я доктор военный... Офицеры необходимее для отчизны... Они полезнее в такое время; убивать и быть убитым *вернее*, гораздо *вернее*, чем лечить и спасать. В битве нет иллюзии; чем больше у нас своих храбрых воинов, тем больше мы убьем и прогоним чужого народа; а медицина? Я исполнял свой долг в больнице, как умел, но я *мало верил* в серьезный результат наших тог- 30
дашних докторских трудов. И статьи Н. И. Пирогова в «Военно-Медиц(инском) Сборнике» мне очень нравились тем, что в них часто замечен был значительный скептицизм. Он, видимо, любил науку; но не верил в нее слепо и безусловно... И если он, Пирогов, великий хирург так думает, то что же значит *наша* доля пользы. Что значит *один* молодой и малоопытный военный врач... Таких, как

я, врачей довольно... Но во мне есть другое, я *будущий романист*... Я останусь в плену и потом напишу большой роман: «Война и Юг»... Мой герой будет юноша... Белокурый? Нет «chatain», такой как я... Только не военный *лекарь*... Фи! чорный с красным кантом длиннополый вицмундир и треуголка...

Нет, он будет гусар... Молоденький гусар; «chatain», в голубой венгерке... Немного женоподобный и даже боязливый сначала от самолюбия... А в деле окажется храбр...
10 Его берут!! Да, конечно... Это хорошо!.. Но *честь службы* требует бежать, хотя бы и пешком отсюда... Честь, честь!.. А роман?.. А сам Гете, великий Гете где-то, кажется, сказал... «Если ты деньги (или состояние) потерял, ты еще ничего не терял».

«Если ты *честь* утратил — приобрети *славу* и все простится.

Но если ты мужество, *дух* потерял, ты все утратил...»

— Да где же лошадь!.. Где лошадь?.. Но вот что важно: — *мать!*

20 Я мать свою *очень* любил, *очень* жалел и уважал.

Весть о взятии Керчи и Ени-Кале разнесется быстро у нас. Жив ли я? Где я? Как скорее послать ей письмо, что жив, здоров и даже безумно счастлив, оттого что приключения...

Пойти сказать какому-нибудь бравому французскому генералу: «*Mon general, j'ai une bien bonne mère en Russie... Une mère bien noble et bien tendre. Позвольте послать ей через наши аванпосты письмо...*» Но согласится ли генерал для одного моего письма посылать парламентаря?

30 И я вспомнил, как я осуждал жестоко одного из старших братьев моих, весьма тоже матерью любимого, за то, что он никогда не заботился извещать о себе, а писал ей тогда, когда *нуждался* в ней, в ее помощи, деньгах и т. д. Это ужасно! Я из крепости писал ей аккуратно, нередко и принуждая себя...

А теперь, если я не убегу и останусь в плену, сколько она перестрадает до первого письма. Даже и неволью

быть похожим на *этого* брата, на *этого* ничтожного и глупого брата — мне больно и стыдно... Теперь начало мая; у нас в Кудинове еще свежо, быть может; *она* теперь, быть может, в саду, в черной своей турецкой шали с зонтиком...

Я видел из-за тысячи с лишком верст ее кисейное серое с черными цветочками летнее платье, ее благородный и суровый профиль, ее большой нос с горбиной, ее круглую родинку с левой стороны на подбородке, ее величавую походку и задумчивый вид.

Вот что ужасно!

И эта мысль о матери, только эта одна жестокая мысль и смутила мое светлое настроение во все это странное утро.

Смутила на мгновенье... Да... Но солнце сияло все так весело в чуть заметных струйках тихого залива, и пролив знакомый так, неподвижно синевя, уходил в знакомую даль — и звуков я не помню даже никаких. Быть может, они и были, но я их не помню.

Я весь был раздумье и созерцание.

Вдруг за мной раздался звон конских копыт по мостовой. Я оглянулся; за мной остановился донской казак; худой, некрасивый, с рыжими усами, без пики, с одной только шашкой. Он вел в поводу за собою другую лошадь без седока и даже без подушки на седле, а только с одним деревянным остовом седла, с одним «арчаком», как они, казаки, помнится, называют это.

Судьба!.. Да, судьба. На погонах его был номер... *Номер этот был 45.*

Пораженный этим случаем, я поспешно обратился к нему и спросил: «так ты 45-го полковника Попова полка... Откуда ж ты с этой лишней лошадей?»

— Из Ени-Кале, — отвечал казак; — вчера с вечера отвез из лагеря больного товарища... У него лихорадка; ночевал там, теперь веду его лошадь назад в полк.

— А подушка с седла где?

— Он себе ее оставил.

Я хотел что-то еще сказать; но вдруг слева, с карантинной батареи раздался сильный пушечный выстрел, за ним другой, и одно ядро, за ним другое, перелетев с полбухты, ударились в море, подымая большие всплески.

Батарея дымилась, и мы оба молча глядели... И вот справа, с противоположной стороны, прямо напротив карантина, из-за высокого обрыва, где выход в открытое море, тихо и величаво вступил первый неприятельский пароход. Он был невелик. На мачте веял великобританский пестрый флаг.

— Вот и англичанин, ваше благородие, вошел! — сказал мой казак покойно.

С батареи нашей раздался еще выстрел, еще один... Ядра не долетели...

«Англичанин» не удостоил ответить. Он пустил клубы белого пара и остановился, не стреляя. Вслед за ним показалось другое огромное, великолепное боевое судно... Наша батарея смолкла.

Я стоял как очарованный и пожирал глазами и душою эти английские суда, с которых, быть может, на меня же смотрят оттуда какие-нибудь эти Джемсы, Джонсы, Вальтеры, которые были мне так дороги, так милы и так близки по романам Диккенса и Вальтер-Скотта.

Быть может, они в красных мундирах... и такие красивые; молодые, как я... влюблены...

И... О, что за глупость моя!.. Сказать ли? Я даже был невыразимо благодарен им, что они доставили мне все эти сильные ощущения... Однако долг, однако честь и мать!..

— Послушай ты, казак — дай мне эту пустую лошадь... Я прикомандирован доктором к вашему Попова 45-му полку... Я с тобой доеду...

— Да как же, в(аше) бл(агородие), лошадь не моя, товарища... Сотенный командир что скажет?..

— Он скажет тебе спасибо, что ты доктора им привез; будь покоен... А я тебе рублик...

Он согласился, и я вскочил мигом на деревянный «арчак»...

Мы направились с ним прямо в ту сторону, откуда должен был вступить сухим путем неприятель.

Я спросил у него: «Куда ж мы? Разве не в те ворота?..»

— Нет, — отвечал он; — там дальше: до нашего отряда здесь ближе.

И мы поехали по городу прямо навстречу союзникам.

Очень скоро нагнал нас рысью другой казак того же полка и присоединился к нам. Этот был при всей форме и с пикой.

Других людей, народу, прохожих, проезжих, кроме нас троих, ни около набережной, ни на улицах, ни у выезда вовсе не было. Или, быть может, что и было, но я никого не помню. Если и были люди, то я до того мало обратил на них внимания в моем умоисступлении, что никого из них не заметил.

Бухты уже не было видно за домами, и скоро мы выехали в широкую, открытую и зеленую степь.

Теперь, когда и совесть не могла укорять меня, мне оставалось только блаженствовать.

И я блаженствовал особого рода блаженством, дотоле мне неизвестным. Все московские и все другие, прежние мои радости были хуже этого!!.

IV

Сколько времени мы ехали по степи прямо в сторону неприятельского десанта — не помню. Налево, очень недалеко от нас, крутой берег Чорного моря; горизонт с этой стороны был как бы отрезан, и кроме неба, за этим близким от нас краем ничего не было бы видно, если бы в это самое время не двигались с безмолвной выразительностью нам навстречу *вершины больших мачт неприятельских военных судов*.

Уверенные в безопасном успехе, двигались союзные боевые суда, не стреляя, за этим краем, так близко от нас;

но нам не было видно ни самих кораблей, ни синих французов и красных англичан, которые были в эту минуту на них, а только — вершины самых больших мачт.

Мы считали их и сколько сочли — не помню.

Я был в упоении... Нет, я не так говорю!.. Я был теперь еще в несравненно большем упоении, чем давеча в городе!..

Направо от нас тянулась бесконечно вдаль холмистая зеленая, презеленая степь... На синем небе не было ни облачка... Крымские жаворонки пели и пели, пели и пели, взлетая все выше и выше... Их было множество, а трава на степи была очень свежа, майская трава, еще ничуть от жары не желтеющая, — высокая, душистая, густая...

Природа и война! Степь и казацкий конь верховой! Молодость моя, моя молодость и чистое небо!..

Жаворонки, эти жаворонки, — о, Боже! И быть может, еще впереди — опасность и подвиги!..

Нет! это был какой-то апофеоз блаженства. Я и сам теперь не пойму что такое...

20 Мачт уже не было видно налево...

Мы всё ехали большим шагом, не спеша и все прямо в ту же сторону; но казаки мои не были, по-видимому, так покойны, как я... Они внимательно и молча всматривались перед собою вдаль... И, наконец, один из них сказал другому:

— Смотри — а ведь это пехота ихняя...

— Да, — отвечал другой, — пехота...

Я тоже глядел вперед перед собой, туда, куда они указывали, прямо в сторону Камыш-Буруна, и мне казалось, что кроме зелени, травы и травы — ничего там нет... Но 30 я понимал, что мои «студенческие», штатские глаза и не могут равняться с зоркими очами сынов «воинственного Дона»! Надо было им верить, что там, где-то перед нами, быть может, верстах в десяти, положим, а может быть и ближе, — движется вражеская пехота...

Наконец, не знаю, в самом ли деле я увидел что-нибудь по их указанию, или мне вообразилось только, что я вижу

что-то, но как будто остались у меня теперь смутно в памяти как бы узкие темные две-три полоски на дальней зеленой степи...

Казак уверял, что это неприятельские колонны, движущиеся от Камыш-Буруна к Керчи.

Наконец один из казаков (тот не вполне вооруженный, который уступил мне лишнюю лошадь), сказал: «Надо прибавить рыси теперь».

— Бери правее, — сказал другой. — Может быть, у них и кавалерия есть. Кто ж их знает! 10

— Да ведь далеко, — заметил я, — разве поймают?

(У меня уже опять было мелькнула мысль о путешествии на казенный счет в Константинополь и Францию. Теперь уже и совесть молчала: с казаками вместе, без всякого самовольного романтизма, попался в плен. Чем же я виноват? Может быть, даже слегка и ранят в погоне, слегка, слегка, конечно!.. Бог милостив! И честь соблюдена, и все!)

— Разве поймают? — сказал я.

— Припустят человек десять-двадцать на хороших конях, так и поймают или убьют, — ответил казак и прибавил, обращаясь к товарищу: «Ну-эй! прибавь рыси!» 20

Я должен был покориться, и мы вдруг «побежали» очень быстро рысью, все забирая правее и правее в степь от берега и приближаясь к тому пути, по которому должны были отступить все наши войска к Феодосии.

Бежали мы, бежали на рысях, — сколько, уже не помню; край неба у близкого берега давно исчез из глаз за нами, и давно уже мы были окружены морем степной зелени со всех сторон.

Казак тоже успокоился и даже захотели дать отдохнуть лошадям и сошли с них; сошел и я, отдал и свою лошадь казаку, а сам лег на землю. 30

Травы тут были все высокие, густые, все душистые, как лекарственные, и все больше кустиками, а между этими кустиками были пустые места, покрытые какой-то мелкой травкой; вот на такое местечко я лег и полежал немного. Я даже не помню наверное, курил ли я. (Может

быть, я тогда забыл от восторга моего, что я курю, может быть, теперь не помню.) Но я очень хорошо помню, например, что я лежа рвал около себя душистые травы и, растирая их в руках, старался по виду и запаху припомнить — не знакомое ли это мне какое-нибудь полезное растение; это я помню.

Помню также очень ясно, о чем я именно в это время думал. Тут-то, во время первого отдыха моего, я в первый раз в это утро слегка и без усилия занялся «рефлексом»,¹⁰ *сознал* свои чувства с полной ясностью...

— О, как я рад! — говорил я сам себе, — природа и военная жизнь!.. Чего же лучше!.. И неужели это я? Я, тот болезненный и бледный студент, всегда чем-то смущенный и расстроенный, которого я знал столько лет в Москве? Этот вечно что-то мыслящий юноша, такой больной, и душой, и нервами, что даже любовь (настоящая, сильная любовь, давняя по времени и счастливая) — и та никогда не давала мне таких светлых и вполне чистых по радостному спокойствию минут!..

²⁰ Вот где именно кстати вспомнить слова Карамзина: «Я помню восторги (в Москве), но не помню счастья!»! Здесь, в этом удалении от всех своих, в удалении от книг, литературы, от Москвы, от родины (почему-то милой, однако), в этой простой, здоровой, первобытной жизни я буду счастлив; я уже счастлив и теперь до райского спокойствия. И самая боль от *деревянного седла без подушки*, на котором я ехал сейчас рысью, только усиливает мое тихое счастье. И я могу хоть сколько-нибудь равняться с этими сынами степей, с этими донскими центаврами. Они³⁰ оба даже на подушках, а я без подушки! Я ли? Я ли это? И как я этого даже, дивлюсь, удостоился... Боже мой!

Так я веселился, лежа на траве; и жаворонки все так же бились в чистом небе и так же громко пели, и только, мне все казалось, другим напевом, *не нашим*, не калужским. Так мне казалось.

Однако надо было спешить, и мы скоро опять поехали. Здесь я останавливаю немного на одном психологическом

вопросе, который меня интересует. Отчего я с той самой минуты, как меня встретил Дмитрики Молчанович в своей гостинице в альмавиве и с насмешками над союзниками, которые «дураки не посмеют сделать десанта!», и до конца этого первого короткого отдыха в степи, довольно все последовательно помню; а после этого и до самого захождения солнца в этот день последовательность и ясность моих *анамнестических* (если можно так выразиться) представлений теряется и меркнет. Все отрывки, все отрывки... Промежутки между памятными картинками и чувствами пусты до самого вечера, до того самого времени, когда мы с казаками устроивались ночевать на аванпостах в степи.

Эти сборы снова поразили меня и остались в памяти лучше многого другого.

(Приглашаю моего друга-психолога П. Е. Астафьева прочесть что за этим следует и объяснить: «почему это так?»... У него на все подобное есть готовые ответы, которые я люблю выслушать, и хотя половины не понимаю, но возлагаю всегда упование «на словеса учителя»!)

Когда мы сели, как мы поехали, — не помню и вообще обоим спутников моих с *этой минуты* около себя не помню. *Лиц и фигур* их больше не вижу. Я вижу вот что: нас уж не трое, а больше двадцати человек казаков, все моего 45 полка, едут шагом по степи всё на запад и на запад; и я с ними. Над ними начальствует молодой донской офицер; у него небольшие темные усы и довольно хитрое и приятное выражение лица. Мы едем; нам идет навстречу огромное стадо прекрасных крымских овец... с ним пастух.

Кто-то спрашивает: «чье стадо?»

Кто-то отвечает: «Багера».

А я знал еще прежде, что Багер — испанский консул *ad honores* в Керчи, человек, кажется, торгующий и богатый. У него где-то здесь недалеко имение...

— Какие хорошие овцы, — говорю я, — и как их много у него... Вот бы взять одну с собой да изжарить. О

сю пору уж есть хочется... А что мы будем в степи этой целый день есть?..

Это все я же говорю... Казаки молчат, офицер ни слова... Стадо жмется около наших лошадей.

Тогда я, одушевленный мыслью, что теперь война и это все защитники, а я голодный врач этих защитников, восклицаю, повелительно обращаясь к ближнему из всадников наших с такими словами:

— Ну, что смотришь, брат! Бери, чего зевать! У Багера много... Теперь война. Ведь нам тоже есть надо...

Молодой офицер, не осмелившийся сам на подобное распоряжение, стыдливо, но сочувственно улыбнулся и плутовски взглянул на меня, не возражая ни слова...

Казак тотчас же соскочил с коня, схватил овцу и устроил ее бережно перед собою на седле.

Татарин-пастух не позволил себе сказать ни слова.

Московская «цивилизация», в лице вдохновенного «военным положением» доктора, взяла верх над тщетно и давно прививаемой донским войскам правильной дисциплиной...

Мы немного позднее съели часть этой овцы с сотником 1-ой сотни И—м и друг(ими) офицерами, а другую часть оставили казакам.

Казацкие офицеры, хотя и ели похищенную мною у испанского консула овцу, но очень смеялись тому, что я вообразил, будто «теперь нам можно брать пищу у достаточных людей даром, когда нужно... и кончено!»

Я — признаюсь в своей глупости и наивности с этой стороны — в самом деле вообразил, что брать можно без денег и что это совсем не грабеж, когда нам, военным, есть хочется, а денег мало.

Сотник И—в особенно много смеялся и радовался на мою простоту, говоря: «Эх, батюшка, хорошо кабы так-то... Да не велят!»

Тут, после этого похищения овцы, у меня опять промежуток в памяти: какие-то непроницаемые завесы... Когда и где я встретился и познакомился с сотником И—м, с

казначеем нашего полка П—м, с войсковым старшиной Ш—ковым — решительно не помню. Только *знаю*, что в этот день. *Знаю*, что мы вместе еще до вечера ели *эту овцу*, но тоже *где*, совсем забыл.

Помню голод и нестерпимую жажду; помню соленую дурную воду каких-то ручьев, палящий зной; помню, что в одной татарской деревне я сижу в тени за каменной стеной и ем ложкой в первый раз в жизни густое и сладкое овечье молоко, в которое я покрошил черный хлеб... Помню иногда нестерпимую, тяжкую боль от седельной деревяшки; ¹⁰ знаю, что говорили мне: «как же не болеть: вы проехали от Керчи больше 25 верст, почти не слезая, да и еще много на рысях... Это и у нас заболит... А вы еще, право, терпеливы!»

Это, конечно, мне было очень приятно слышать от донцов; но ни лиц, в эти минуты, ни времени не помню и не могу вообразить...

А вот что я помню и *вижу* отлично и теперь... Чье-то имя. Дома барского я *не вижу*, но знаю, что он был. Я помню только, что жажда у меня ужасная, помню и *вижу* ²⁰ как *сейчас* перед собой скомканную на дне кувшина грязную тряпку, которой был кувшин заткнут, и она туда провалилась... Тряпка гадкая, но вода хороша, из колодезя, и я ее пью, пью с наслаждением...

Вижу еще (и *до сих пор вижу*) какой-то погреб в этом самом имении и человек десять рядовых казаков перед его толстой и крепко запертой дверью. Эти казаки были из того самого небольшого отряда, при котором я был, когда «распорядился» насчет овцы. Им, видно, понравился «дух» ³⁰ моей команды, и они тоже, умирая теперь от жажды, предпочли обратиться к моему «нравственному» авторитету, чем к своим законным властям.

— Ваше благородие, — сказал один мне весело, — вот тут в барском погребе много, говорят, простокваши. Просили, просили прикащика — не дает.

— Вот глупости! — сказал я, — как он смеет, дурак, усталым войскам не давать! Ломи, ребята! И я выпью!

Казаки налегли — и мигом дверь затрещала... Простоквашу вынесли... И я выпил прямо из горлача очень много этой холодной простокваши, и со мной ничего не случилось...

Тотчас же я был опять на коне, и мы поехали дальше от этого места... Все *спахталось* — во славу русского оружия и моего в этот день вдохновения!.. (Где ты, где ты, больной студент, боявшийся в Москве всякой неосторожности, — и *основательно* боявшийся ее, ибо ничто тебе там не сходило с рук?.. Где ты?.. О, как я рад, что я теперь — *не ты!*)...

Впрочем, и этот «грабеж» мой я произвел прежде, чем офицеры растолковали мне, что... *все-таки* — так нельзя... То есть — оно «конечно, можно, но — *не велят*».

Куда мы еще ехали, и сколько ехали, и с кем — не знаю; только уж стало почти вечереть, когда мы приехали уж с довольно большим отрядом казаков в какое-то еще новое селение и там нашли штаб.

Там я встретил и командира нашего полка полковника Попова, и начальника штаба, полковника К., и знакомого мне доктора Л—на, и многих других людей...

И тут я только в первый раз не без огорчения вспомнил, что у меня в этой погибшей для нас Керчи остались все мои вещи, и новый вицмундир, и все, все!..

V

Я помню, что уже вечерело, когда мы присоединились к штабу, в каком-то селении. Но самого места вовсе не помню.

Только что я сошел с лошади, разминая ноги, жестоко заболевшие от долгой езды на деревянном остове казацкого седла, как увидал перед собою нового и ближайшего начальника моего, полковника Попова, командира Донского № 45 полка. Ему уже сказали, что я тот самый «доктор», которого генерал Врангель прикомандировал к его полку.

Полковник пожал мне руку, сказал, что очень мне рад, и похвалил того рыжего казака, который согласился уступить мне в Керчи лошадь больного товарища.

Я с своей стороны тут же исполнил обещание и дал этому казаку рубль из бедных моих пяти с чем-то рублей.

Полковник Попов мне понравился с виду; лицо у него было солдатское, как бы испытанное трудами бури боевой, худое, строгое, выразительное; усы седые, и сам он был сухой и довольно стройный мужчина, на вид лет пятидесяти. Он казался теперь очень серьезным, да и для всех, конечно, минуты были тогда серьезны: мы еще не знали наверное, сколько у неприятеля войск; ходили только слухи, что 15 000; не знали, есть ли у союзников с собой кавалерия, и обязаны были с осторожностью с часу на час ожидать преследования и нападения в открытом поле. У нас войска было очень мало. Понятно, что полковник казался озабоченным. Но впоследствии, поживши с ним подольше, я узнал, что он был большой гуляка и балагур.

Пока мы с ним разговаривали и я сожалел о вещах моих, оставленных в Керчи, вдруг в стороне этой самой Керчи (мы стояли лицом к той стороне), в одном месте необъятного степного горизонта мгновенно поднялся высокий и широкий столб дыма. Поднялся, как черный сноп, расширившись кверху. Поднялся и исчез.

— Ени-Кале взорвали!.. Ени-Кале! Кто взорвал? Наши? Или случайно неприятель?

Я вспомнил молодое лицо спорщика Ц—ча и его обещание все уничтожить. Быть может, и себя. Вспомнил также знакомые лица некоторых своих больных, особенно хронических, которых я давно уже знал и помнил; двоих, которых я еще недавно счастливо ампутировал. И мне стало немного жалко. Я говорю *немного*. Именно немного, не стану лицемерить. Кроме того, что я в этот день был слишком весел и возбужден, чтобы чувствовать что-либо печальное (возбужден я был до того приятно и как-то спокойно, что даже и сильная боль в ляжках моих доставляла мне истинное удовольствие). Кроме этого временного

настроения чувств, самые *идеи* мои, мои еще прежде из долгих московских размышлений выведенные заключения не располагали меня ничуть видеть в войне *только бедствия*. Напротив того, поэзия войны, ее возвышающий сердце и помыслы трагизм совершенно заставляли меня забывать об *этих бедствиях*, о которых нынче до отвратительной пошлости твердят даже и люди, до смерти сами желающие повоевать, победить и отличиться. Или, вернее сказать, не то чтобы *мыслью* забывать; как же забыть *мыслью* о тысяче смертей, о свойственном всякому, даже и самому бесстрашному человеку, ужасе гибели в иные несчастные минуты! Как забыть о горе близких, о жестоких болях при некоторых боевых поражениях?.. Забыть умом нельзя, но можно, при сохранении того правильного, векового взгляда на войну как на дело славное и высокое — *именно* потому, что ей весь этот трагизм присущ — можно даже *любить* все эти страшные *возможности*... и шансы... XIX век (благодаря многим причинам, о которых здесь говорить было бы долго и некстати) до того изолгался, что очень немногие решаются говорить прямо и открыто хвалить то, что им самим в душе нравится!..

Я говорю, что был на мгновение тронут воспоминанием о *моих* больных и об отважном Це—че, и мгновение это, видно, было такое летучее, что я об этой легкости моего чувства сохранил *самую точную* память!

— Остался бы я случайно там — и меня бы взорвало... И конечно — чего тут долго об том думать!..

Но несколько минут спустя, за этим дальним и беззвучным, но столь выразительным в самом беззвучии своем взрывом, прошел другой слух, гораздо более страшный и жестокий... Кто-то из офицеров подошел и сказал: «Сейчас проехали жители из Керчи... Успели бежать. Говорят, в Ени-Кале высадились турки и *режут греков нещадно!*»

Этот слух ужаснул меня гораздо больше, чем взрыв Ени-Кале... С тем быстрым как молния и часто бессозна-

тельным оборотом на самого себя, который свойствен всем людям в таких случаях, я почувствовал, что иное дело было бы и для меня взлететь вместе с Це—чем, обломками крепости и больными на воздух, — взлететь или вовсе неожиданно, или самовольно и сознательно, в отважном напряжении всех душевных сил; и совсем другое дело, чтобы тебя взяли, положили и холодным оружием расправили бы тебе живот или вскрыли бы горло, беззащитному, подавленному болью и холодным ужасом смерти! Нет, вот это ужасно!.. Ведь и казнь несравненно страшнее поединка, и даже мирная «гражданская», так сказать, смерть от острого воспаления кишок и брюшины гораздо ужаснее внезапного ушиба при взрыве.

Бедные еникальские купцы-греки и гречанки их! Бедные! Нет, это вот в самом деле страшно! И я помню, как сейчас же представились тогда некоторые из знакомых мне этих рыбных торговцев, которые «ходили по-немецки» и жили в просторных двухэтажных каменных домах: Манираки, Маринаки, Стефанаки, Василагаки!..

Вот стоит около меня у обедни, Великим постом, в церкви mademoiselle Манираки; очень красивая, стройная девушка, лет 20, брюнетка, дочь купца, одна из лучших невест скромного и глухого городка. Она одета очень недурно и прилично, шляпка на ней темная, зимняя, модная, как следует, с лиловым чем-то. Цветы ли или ленты — не припомню. Вот она оглянулась на меня; черты тонкие и нежные, глаза черные, нос с небольшой горбинкой, лицо продолговатое — настоящее хорошее греческое лицо. (Я позднее на островах Средиземного моря и в Царьграде много таких видал.) Она оглянулась; черты довольно строгие, а взгляд почти детски-невинный. Неужели и ее убьют или... оскорбят нещадно?

Вспомнился мне также внезапно и еще один грек, с которым я никогда и слова не сказал и которого имени даже не знал. Он был средних лет, не более тридцати, казалось, небольшого роста, черный-пречерный и неприятно волосатый, — из тех брюнетов, у которых чуть не из

под самых глаз начинают по всему лицу расти черные волосы... На голове его была огромная шапка также черных-пречорных, курчавых, длинных волос. Незадолго до катастрофы, предавшей в руки неприятеля все керченское побережье и пролив, мы шли куда-то воскресным днем по единственной улице нашего рыбацкого городка с Бутлером (тоже младшим ординатором, одним из тех пруссаков, которые приехали к нам служить и лечить в действующую армию). Мы проходили мимо какой-то открытой по-восточному лавочки или булочной, не помню. Перед лавкой была небольшая толпа, а посередине ее русский, белокурый, стройный и плечистый молодой человек, в сером сюртучке (чей-то офицерский деньщик), держал этого самого грека руками за его густые волосы, нагнув его перед собою, и тряс туда и сюда. Никто не заступался, — все смотрели... Остановились и мы с Бутлером, молча... Деньщик скоро выпустил его. Но косматый грек, с лицом, искаженным жалобной и бессильной злостью, кинулся тотчас же опять на него и схватил его за грудь... Русский блондин почти без усилий, каким-то ловким и косым (я помню) ударом плеча кинул его на открытый прилавок и подмял его под себя. Тогда народ стал разнимать их; деньщика схватили за плечи и оторвали прочь. Косматый и побежденный грек был в малиновой с черными большими клетками короткой жакетке тогдашнего модного фасона и принадлежал, как оказалось потом, к семье торговой и весьма достаточной.

Лицо белокурого деньщика, его выразительные и острые серые глаза во все время борьбы, казалось, были спокойны и только слегка суровы. Он мне понравился. Бедный греческий франт казался мне ожесточенно несчастным. Мне стало его что-то очень жалко, — гораздо жалче, чем было бы, если бы он рядом со мной упал, сраженный неприятельским ядром, или если бы он лежал передо мною на операционном столе с испуганным выражением лица при виде наших, действительно страшных, докторских ножей, ножниц, пил и крючков. Вот объясните эту разницу!

Бойцов розняли люди, и мы ушли. Вечером в тот же день мы все с тем же Бутлером вышли опять погулять на взморье и по улице. Вечер был лунный и прекрасный. Вдруг к нам подошел пожилой, почтенного вида еникальский грек и попросил к себе в дом посмотреть одну больную, с которой сейчас только сделалось очень дурно. Мы пошли, конечно. Дом был хороший, комната, в которой лежала на диване больная, была просторная, пол некрашенный, но очень чистый; убранство простое, старинное, но все отзывалось довольством и порядком и произвело на меня приятное «хозяйственное» впечатление... Больная, я говорю, лежала на диване в шелковом платье, по-праздничному — получше одетая; она была еще молода, недурна, но и не особенно красива и очень бледна. Нам сказали родные, что она замужняя, а не девица.

Мы исследовали ее вместе с Бутлером внимательно; беременной она не была, и по всем признакам, с ней случилась только простая, но очень сильная истерика, вероятно, от какого-нибудь душевного потрясения. Мы посоветовались по-немецки, и я прописал ей тут же *tinct(ura) valerian(ae) aether(ia)* и больше, кажется, ничего. Пока мы занимались с молодой пациенткой, в комнату вошел кто-то еще, кроме отца и матери. Мы оглянулись и увидели того самого косматого грека в малиновой клетчатой жакетке, которого поутру так легко победил ловкий деньщик. Он был почти как дома, прохаживался туда и сюда около больной, заложив руки в карманы, и наконец сел около ее дивана, ни слова не говоря.

Когда мы с пруссаком выходили из этого дома, у нас обоих мелькнула, может быть, и совершенно ложная, но очень естественная и одновременная мысль: «Нет ли какой-нибудь связи между утренней дракой и этой истерикой?»

Первый выразил это мечтательное подозрение Бутлер.

— Что это, муж или брат ей? А может быть, это одна случайность, без всякой связи, — эта драка и эта истерика.

Вся незначительная история, впрочем, так мгновенно мелькнула в нашей с Бутлером жизни, что мы — ни тот, ни другой — и не справлялись даже, брат ли или муж, или еще какой родственник этот грек этой гречанке, и есть ли связь между «истерикой» и «дракой»?

Ничего тут важного не было и в том, что красивая m-Ше Манираки, случайно стоя рядом с ним в церкви, случайно взглянула на меня таким, как я сказал, невинным и стыдливым взором, и только... Никогда я с ней не говорил —
10 ни прежде, ни после этого пустого случая. Правда, признаюсь, я помню и теперь, что она была первая из крымских гречанок, об которой я подумал, живя в Ени-Кале: «вот она годится в героини романа из крымской жизни!»

Но ведь это такой вздор! одно мгновенье... Одно ничтожное, еще более этого ничтожное мгновение — и та мысль о «чужом романе», которая так, казалось бы, бесследно мелькнула в уме у меня в одно время с Бутлером... И мы оба о ней забыли тотчас же... Да, оба, казалось, забыли. Я забыл и не подумал даже и справиться: кто он
20 такой именно — эта бедная и словно глупая косматая голова в малиновой жакетке...

Однако вот *теперь*, стоя задумчиво лицом к востоку, в сторону Керчи и той покинутой мною с радостью глухой крепости, в которой я так много и усердно потрудился за всю эту зиму, глядя через темнеющую степь *все туда*, где за минуту перед этим поднялся вдали так безмолвно и многозначительно чорный, огромный столб дыма, — я всех их, *этих греков и гречанок*, вспомнил с большим чувством и ужаснулся за них!..

Однако что же делать?!

Житейские заботы берут свою дань!.. Мои вещи пропали... Жалко образа с мощами, жалко теплой офицерской шинели, жалко белья, книг, вицмундира, сапог непромокаемых (простуды ног я ведь больше боюсь, думал я, чем

пуль и гранат... Пули и гранаты — это *благородно*; а простуда ног и кашель и какая-нибудь еще туберкулезная чахотка, как у других небогатых молодых ученых и писателей бывает, — что за надоевшая издавна *городская проза!* Это хуже всего)...

А между тем делать нечего!.. Надо и на эту гнусность быть готовым... Грустно!.. Вечереет, сыро, холоднеет в воздухе...

Вдруг я вижу — идет ко мне по улице селения навстречу небольшого роста человек в военной фуражке и в русского покроя (как бывают дубленки) *гранатовой бархатной прекрасной шубке* на хорошем меху... У него толстые губы, круглый приятный нос и очень хитрые глаза. Он идет и зовет меня по имени. Это штабный доктор Л—н, — тот самый, у которого в Керчи я оставил мои вещи и у которого в хозяйском саду в первый раз в жизни я увидел цветущий на воздухе розовый цвет персика.

Он что-то очень расстроен и надут, несмотря на восхитительную и теплую шубу.

Мы здороваемся, и я сразу говорю ему:

— Знаете, Василий Владимирович, все мои вещи у вас на квартире остались и пропали... И не знаю даже, что случилось с моим деньщиком...

Но каково же было мое радостное удивление... Василий Владимирович мрачно отвечает мне:

— Не ваши вещи пропали, а мои... Ваши все целы, и деньщик ваш дальше, при штабном обозе! Завтра вы можете его разыскать.

— Как же это случилось? — воскликнул я, вероятно, очень плохо скрывая мою радость.

— Я поручил все мое добро хозяйке, когда утром поехал в штаб... Сказал ей, что пришлю за ним... Потом уж, при отступлении, выпросил в штабе один фургон и послал поскорее за вещами. Через те ворота с грифонами, знаете... Посланный спрашивает: «тут вещи доктора?.. давай скорей», а ваш деньщик говорит: «тут!», положил ваши вещи в фургон и приехал сюда...

Я спросил у него, откуда же у него такая прекрасная шубка?.. Он сказал, что это ему дал начальник штаба, полковник К—ский, жалея его и опасаясь, что он простудится..

Сказавши все это, доктор Л—н, все с тем же огорченным и мрачным видом удалился от меня, а я был очень рад, конечно, тому, что вещи мои так неожиданно спаслись. Впрочем, сознаюсь, что к этой позволительной и пожалуй безгрешной радости присоединялась в сердце моем и другая еще, нехорошая, грешная маленькая радость...

Я был представитель «идеализма», «романтизма» и т. п.; доктор (или, вернее, просто «лекарь», такой же младший ординатор, как и я) Л—н был, напротив того, представитель ловкости практической, очень хитрый молодой человек, с гораздо большими, чем я, медицинскими познаниями, но несравненно менее меня литературно образованный. И пока я то наслаждался «честным» и неблагодарным госпитальным трудом всю зиму, то искал и находил себе новую и еще гораздо более «первобытную» среду при этом казацком полку (где даже и палаток не полагалось), — Л—н заводил себе как раз связи при штабе, имел откуда-то постоянно деньги и вдобавок еще зимой наскучал мне то тем, что глядел мне в лицо с добродушно-насмешливой улыбкой и хитрыми глазами, то тем, что говорил слишком часто: «Что делать, *батюшка* (это я-то „батюшка!“ — ну какой же я „батюшка!“ как это скверно — „батюшка!“). Что делать — нынче век скептический, практический, материалистический!..»

Ну, и прекрасно! Вот тебе и практический век... Ходи теперь в чужой шубе, а у меня все цело и на твоих же лошадях привезли!.. Совсем даже и не жалко мне тебя...

Это я все помню очень хорошо...

Помню еще кой-какие мелочи. Помню, что ко мне подошел тут же фельдшер нашего 45 полка и рекомендовался мне. Он был казак молодой, с чуть пробивающимися усами, очень приятной и смышленной наружности... От него я

узнал, что у него в сумках есть все необходимое для первой перевязки ран. И у меня в боковом кармане шинели был портфель с хорошим хирургическим снарядами... Итак, с этой стороны также все было в порядке.

Помню еще, что полковник К—ский, начальник нашего отрядного штаба, главный помощник генерала Врангеля, сидел долго, отдыхая у какой-то стены; а около него также сидел худощавый, бледный мужчина, лет 30 с небольшим, так же как и мы все, в длинной солдатской шинели, но у него черный суконный воротник на этой шинели был не стоячий, как у всех других, а широкий отложной, как на штатском пальто, и высокие, острые накрахмаленные стоячие, по тогдашней моде, воротнички щегольской рубашки. Это уж было совсем не по форме. Неподалеку от него и К—ского стоял навьюченный разными вещами осел и громко кричал.

Наши казачьи офицеры сказали мне, что ослов близко от неприятеля держать по-настоящему не полагается, потому что их крик слишком пронзителен и может легко быть услышан издали.

Я узнал, что этот как бы привилегированный владелец осла и не по форме одетый франт был недавно приехавший служить в наш Восточный отряд богатый помещик Мартынов (кажется, родной или двоюродный брат тому Мартынову, который убил на дуэли Лермонтова).

Они сидели, потом куда-то исчезли; исчез и доктор Л—н, к которому совсем даже не шла изящная бархатная шубка полковника К. Исчезли из глаз все, — до самого захождения солнца...

Когда же солнце село и настали поздние летние сумерки, тут началось нечто иное, — очень серьезное, торжественно-таинственное и несколько даже страшное...

Начались у нас, в казачьем полку, приготовления к боевому ночлегу в открытой степи.

Две сотни 45-го Донского полка были назначены простоять около одного кургана всю эту первую ночь и принять на себя первые удары неприятельской кавалерии, если

бы союзникам вздумалось захватить нас в эту ночь врасплох. Позднее должна была еще подъехать Черноморская легкая батарея (не знаю, во сколько пушек)... За нами недалеко, в нескольких верстах, стояли Саксен-Веймарские гусары, и еще подальше — весь остальной отряд, пехота, артиллерия и еще казаки. Отряды черноморских казаков, так же как и наши донские сотни, охраняли другие пункты на аванпостах... Пикеты были, конечно, еще ближе к Керчи расставлены там и сям на высотах.

10 Я в первый раз тут наглядно понял их важное значение.

Эти сторожевые всадники должны были *заранее* успеть известить нас о приближении врага.

Итак, все остальные силы ушли пока дальше, и нас две сотни всего человек осталось без близкой помощи в темнеющей степи.

Полковник обратился к начальнику 1-й сотни, сотнику Исаеву, с вопросом, кто у него из людей самый надежный, бесстрашный, чтобы поручить ему знамя полка?

20 Я с величайшим любопытством ждал. Какой казак будет избран? Какой будет вид у этого примерного воина, которому доверят священный символ полковой чести?

30 Сотник Исаев вызвал тотчас же молодого урядника, юношу лет 20 с небольшим. У него даже и следа усов еще не было. Фамилии его я не помню. Он был роста низкого, довольно плечист, смугл, круглолиц, тих, медлен и даже как будто кроток с виду, но темно-серые глаза его имели в выражении своем нечто глубокое: томное, малоподвижное и несколько хитрое. Я почти всегда замечал, что у людей, имеющих такие глаза, много такта, спокойствия и твердости. Я даже скажу, между прочим, что *такие глаза, без злости хитрые* (прошу верить моей психологической статистике!), истинное сокровище и для семейной, и для товарищеской жизни. Я после короче познакомился с этим донским героем, — и действительно он был очень ровного, приятного характера, добрый, твердый и осторожный юноша.

Вызвали его из кучи спешившихся казаков и принесли знамя. Само знамя сняли с древка; велели и уряднику

снять с себя чекмень; потом сам полковник вдвоем с сотенным командиром стали обматывать знамя вокруг тела молодого человека; когда обмотали и укрепили, он надел опять чекмень свой и аккуратно застегнулся, а сверх чекменя надел и тоже застегнул плотно серую шинель. Полковник еще раз осмотрел его внимательно и сказал: «Теперь ты сам выбери четырех товарищей, — таких, на которых ты больше надеешься, и чтобы они всю ночь не отходили от тебя, а в случае тревоги, чтобы они за тебя отвечали. Понял? Ну, иди с Богом!» 10

В речи полковника было что-то ласковое, милостивое, как бы сочувствующее, при всей повелительности тона, и меня это сильно тронуло.

Все продолжали быть молчаливы и серьезны.

Пустое древко с пустым клеенчатым чехлом наверху воткнули на вершине кургана.

Я никогда не читал нигде и никогда не слышал о такого рода воинской хитрости. Значение всех этих предосторожностей, как я понял, было, конечно, следующее. В случае ночного нападения, самого внезапного, в случае исхода схватки самого для нас несчастного, — неприятель легко мог завладеть пустым древком, а самое знамя досталось бы ему только в случае смерти или плена молодого избранника. И смерть и пленение это сверх того могли бы быть только совершенно случайными, потому что никто из неприятельских людей не мог знать, на чьей именно груди сохраняется эта «честь» нашего отряда... И «надежность», которой требовал полковник, значит, имела самый общий смысл: и не теряться и не увлекаться, — помнить только о сохранении знамени... И в этом смысле, конечно, лучше в крайности бежать, чем быть убитым и потерять знамя. 20

Так по крайней мере я понял все то, что делалось вокруг меня.

Курган, на котором водрузили знамя, был широк и высок, а за ним земля вдобавок еще понижалась небольшой ложбинкой.

Поэтому всех казаков, человек двести, тесной кучей с лошадьми поместили за этим курганом. Позволено было двоим спать, не снимая с себя ничего, а третьему держать по три лошади в поводу.

Через несколько времени должна была произойти смена.

Все делалось необыкновенно тихо; даже лошади как будто понимали, что делается, и не ржали, и совсем почти ничем не шумели, и не стучали.

10 Куда скрылись офицеры, не знаю, должно быть, и они легли спать с казаками за курганом.

Перед курганом, на котором в темноте еще все-таки виднелось древко знамени, ближе, так сказать, всех к неприятелю остался один седой полковник наш. Он велел подать себе кожаную подушку с своего седла, перекрестился и молча лег на траву один впереди у подножия кургана.

20 «Лягу и я около него», подумал я, лег без подушки на эту сырую траву и попробовал вместо подушки подложить себе под голову вытянутую руку.

Я, разумеется, за весь этот день был утомлен движением и, вероятно, заснул бы и так, если бы не зяб нестерпимо... Все казаки были одеты теплее меня. Я не вытерпел, встал и полусонный стал ходить взад и вперед около отряда по дороге. Вскоре, однако, молодой фельдшер наш, который давеча на привале представился мне, рассмотрел меня как-то в темноте и подойдя спросил заботливо, отчего я не сплю? Я сказал, что очень зябну, и он предложил мне запасную свою фланелевую курточку на выпоротковом меху; она была у него во вьюках, и он мне тотчас же ее 30 принес.

Этого было достаточно; когда я надел эту курточку под шинель и лег спать, около полковника на траву и на руку, я скоро согрелся и стал уже крепко засыпать, как вдруг... послышался какой-то легкий шум, лязганье чего-то звонкого и лошадиный шаг... *впереди нас...* Полковник вскочил, и я проснулся.

В темноте перед нами явился внезапно всадник, за ним другой... Это были Веймарские гусары — офицер и его рядовой спутник... Офицер спросил, где полковник Попов, и когда полковник отозвался, то офицер сказал ему, что он послан начальником аванпостов генералом Сухотиным осмотреть пикеты и просил себе в провожатые казака, чтобы не сбиться... Казака гусару дали, и потом некоторые из наших офицеров (они все тоже во время этого разговора встали и подошли к нам) тотчас же по удалении его стали немного подтрунивать над ним, за то, что уезжая он спросил: «а что, там не опасно?»

— Хочет осматривать пикеты по направлению к неприятелю и спрашивает, опасно ли? Кабы не было опасно, зачем бы его послали?..

Кто-то заступился, говоря: «Еще неопытен, верно... Что ж за беда, что у нас спросил»... И мы опять все полегли, но ненадолго...

Опять послышался какой-то шум, и опять с каким-то будто бы звоном. Но в этот раз уже позади нас, за курганом. Подъехала шагом легкая Черноморская батарея и остановилась на Керченской дороге за нами. Все делалось по возможности тихо и беззвучно... Вся эта тишина и осторожность доказывали мне, новичку и «гражданскому чиновнику военного ведомства», и опытность войск, и серьезное значение этой ночи, при той почти полной неизвестности сил и средств неприятеля, в которой мы находились.

Но и этим появлением артиллерии нам на помощь и под наше прикрытие для защиты главной дороги наши небольшие тревоги еще не ограничились...

Еще немного погодя опять сзади послышалось какое-то движение — стук копыт, шопот наших, потом громкий, густой голос: «полковник Попов здесь?!»

Это был генерал Сухотин, начальник всех аванпостов под Керчью.

Он сошел с коня и стал на дороге. Лицо его я рассмотреть издали, конечно, не мог, но черный силуэт его пле-

чистой и приземистой фигуры был хорошо виден мне. (На другой день я увидал, что генерал очень красивый мужчина.) Полковник наш поспешил к нему, и генерал тотчас же стал «распекать» его нещадно за то, что пикеты по направлению к Керчи не хорошо расставлены.

— Как вам не стыдно! Вы старый служака, казачий полковник — и не умеете расставлять пикеты. Вы подвергаете весь отряд бесполезной опасности. Стыдно! Вы не знаете службы. Извольте сейчас... И т. д., и т. д.

10 В чем была ошибка старого полковника нашего, я не знаю; как будто смутно мне помнится, что он расставил пикеты слишком близко от отряда и слишком далеко от Керчи. А впрочем, может, и это смутное воспоминание ложно... может быть, ошибка полковника была совсем не та.

Покричавши сердито и сделавши нужные распоряжения, генерал Сухотин уехал; а мне стало очень жалко нашего усатого и бравого старика. Он не оправдывался даже и все почти время по-солдатски молчал, пока его так строго при всех нас судили. Я очень был тронут; опять я думаю, если бы этого самого полковника нашего рядом со мной убили наскочившие вдруг французы или турки, я бы гораздо меньше был тронут. Но мне очень было обидно с непривычки за самолюбие этого сурового и заслуженного воина.

Однако пришлось скоро успокоиться и с этой стороны. Полковник, исполнив тотчас же все приказанное ему генералом, лег опять на свое прежнее место на траве и весело сказал мне.

30 — Вот еще какого нового назначили! Бакенбарды во какие густые! Я его прежде не видал.

И ни слова не сказавши более, утих, положив голову на седельную подушку. Я догадался, что для него это не новость и не слишком уж важно.

И я скоро забылся около него даже и без подушки, а на вытянутой под голову руке. Это было очень неловко, но я все-таки заснул.

Так кончился этот первый день выступления из Керчи, — этот день, исполненный для меня таким множеством новых, сильных и вовсе непривычных впечатлений, телесно утомительных, но чрезвычайно приятных для сердца и ума!

VI

Короткая летняя ночь прошла скоро и благополучно. Нападения не было.

Я проснулся на рассвете. Все кругом меня тоже вставало.

Командир Черноморской батареи, которая вместе с нами охраняла дорогу, человек еще молодой и собой весьма приятный и красивый, взошел с подзорной трубой на соседний курган, и они вместе с нашим полковником смотрели долго в сторону Керчи.

Скоро солнце взошло, и начался опять такой же ясный и безоблачный день, какой был вчера.

Может быть, я и дурно делаю, что прерываю простой ход моего рассказа разными замечаниями и психологическими вопросами. Но меня эти вопросы самого очень интересуют, и я не могу от них воздержаться.

Вот например: почему я всю последовательность моих впечатлений, встреч и чувств в первый день, 12 мая, за немногими перерывами и исключениями, помню так хорошо? И почему изо всего дня следующего, 13 мая, для меня ясны только две картины: вот этот час первого пробуждения на сырой траве; восходящее солнце и черноморский красивый командир на кургане, в подзорную трубу наблюдающий степную даль. Чуть-чуть, мельком почти и своего полковника. И больше ничего во весь длинный день! Я сказал, две картины: этот час пробуждения и еще темный вечер с казацким штабом на покинутой почтовой станции (опять для охранения дороги?). Весь промежуток времени от рассвета до позднего вечера исчез из памяти. Потому ли это случилось, что второй день, проведенный в степи,

на бивуаках, как и первый, уже не давал мне достаточно новых впечатлений, или почему-либо другому — не знаю.

Я до того забыл весь этот день, что только на днях, например, я узнал, что я писал матери письмо, именно в этот самый забытый день 13 мая из большого поместья Аргин, верстах в 40 от Керчи. Меня это открытие даже удивило и отчасти обрадовало за самого себя «тогдашнего», обрадовало за сыновнюю любовь и добросовестность этого молодого военного лекаря и мечтателя, который так невообразимо теперь далек от утомленного, больного и столь близкого мне старого человека.

Мать моя не имела привычки сохранять письма близких людей; исключения она делала только для очень немногих писем, для тех, которые ей чем-нибудь особенно нравились, или были ей дороги. По возвращении моем из-за границы после ее кончины я с удивлением нашел в ее письменном столе все мои письма 50 годов из Крыма. Все другие мои же письма были уничтожены. Почему матушка именно эти только письма сберегла, а не другие — не понимаю. Может быть, за то именно, что я в военное время так аккуратно извещал ее из Крыма о себе; отъезд врачом на войну был первой моей дальней отлучкой из дома, и, вероятно, она моей внимательностью была сильно тронута и сберегла эти письма, по содержанию иногда очень ничтожные. Позднее она, верно, понемногу привыкла и к дальним странствиям моим, и к аккуратным сообщениям, и к печальному — к разлуке, и к хорошему — к сострадательной почтительности моей. А тогда все это было для нее ново, и она сберегла все мои крымские письма.

И вот на днях, когда я писал эти самые воспоминания мои, я вспомнил и о старых этих письмах моих и захотел сам себя проверить: так ли я чувствовал тогда все то, что мне воображается теперь?

Впрочем, я, кажется, неточно выразился. — Не то что так ли я чувствовал; конечно — так. Это несомненно для меня, что я тогда так чувствовал, как теперь описы-

ваю; но точнее было бы сказать, так ли я тогда писал *домой* о своих тогдашних чувствах. Во-первых, не всегда близкому человеку (особенно матери) можно писать о себе издали и с театра войны правду, чтобы ее не напугать и не расстроить напрасно; а во-вторых, письма наши вовсе не всегда выражают наше действительное настроение за известное время; они если и совершенно откровенны, то и в этом случае выражают нередко только настроение той минуты или того дня и часа, в который пишешь. Живешь довольно весело вообще; но в этот день всгрустнулось, и письмо вышло грустное. И наоборот, — развеселился человек, и письмо бодрое.

Я говорю, что хотел просмотреть эти старые письма мои, и вот в первый раз мне попалась очень маленькая и очень нечетко написанная записочка на самой простой и даже оборванной бумаге.

«1855 года.

Мая 13, Аргин.

Я пишу вам только записку, чтобы вы были спокойны на мой счет.

Я совершенно цел и невредим. Нахожусь на бивуаках в Аргине, с казаками, к которым я прикомандировался. — Здесь собран весь Керченский отряд.

Не пишите мне, потому что мы долго стоять не будем; я же буду по-прежнему аккуратно вас извещать. Что бы не услышали про Керчь или Ени-Кале, будьте спокойны. Это все *подразумевается* в этом письме и на меня не имело никакого худого влияния...» И т. д.

Если бы я не вздумал заглянуть для точности в эти старые мои письма, то я бы и совсем не вспомнил, не только об этой записке (о том, что я так скоро позаботился написать *домой*), но и о том, что мы среди дня, 13-го мая, стояли в этом самом богатом имении генерала Ладинского — *Аргине!* Теперь же, когда я увидел перед собою эту бумажку (ей в мае будет ровно 32 года!), я вспомнил неожиданно даже и то, как оригинально и полагерному я писал матери: казаки на привале в Аргине

навесили для меня большой чей-то пестрый ковер на оглобли какой-то телеги, и я, в тени этого ковра, доставши где-то этот клочок серой бумаги, положил его на казацкую сидельную подушку и писал. Кроме того, увидавши эту записку, я вспомнил и то, что именно в этот день и в этом Аргине я видел большой наш лагерь... Гусарские коновязи и множество палаток, и что мы ели на коврах и войлоках хороший борщ с прекрасной бараниной.

10 Ничего этого я не помнил, ровно ничего, пока не увидал, говорю я, записки... Как это называется: *ассоциации* впечатлений или иначе? Как это странно! Тридцать два года не помнить ни об этой телеге с ковром, ни о палатках и гусарских конях, ни об хорошем обеде, после целого дня лишений, и вдруг все это вспомнить при виде этого маленького письма!

Я скажу даже больше. Пока я писал и печатал в «Современных» Известиях» эти отрывки о «Сдаче Керчи», я все время делал усилия ума, чтобы припомнить: — кто это прощаясь со мной в Ени-Кале утром 12-го мая 20 пожал мне крепко руку и воскликнул с чувством и даже с какой-то доброжелательной завистью: «Прощайте, доктор, вы будете в первом огне!» Что мне кто-то это сказал, я знал наверное, но кто, — я долго не мог припомнить; но на днях образумился. Конечно, это был все тот же пламенный юноша артиллерист Це—ч! Он именно способен был завидовать тому, что человек может попасть в первый огонь. А я (как это странно!), до тех пор пока не увидал своей этой записочки, не мог этого припомнить и в 1-й главе написал, что он «молча» пожал мне руку. Но 30 огня этого, если не считать двух-трех выстрелов нашей карантинной батареи по первым английским судам, вошедшим в бухту, вовсе и не было ни в Керчи, ни под Керчью в этот день.

В Ени-Кале другое дело. Не знаю зачем, но крепость союзники бомбардировали; и уступая и уходя, наши взорвали только пороховой склад и часть строений. Помнится, никто, впрочем, из наших не погиб. И сам Це—ч около

полудня, 13 мая, живой и невредимый (должно быть все в том же Аргине) опять с чувством пожимал мне руку, но уже в самом деле молча... Он как будто стыдился передо мной, зачем он не погиб... Я, разумеется, не спросил его об этом; мне казалось неделикатным и очень грубым стеснять его таким вопросом. Само собою разумеется, что пользы от подобной гибели никакой бы никому не было; и, вероятно, опытный и рассудительный комендант просто приказал ему не взлетать самому вместе с погребом на воздух и удалиться из крепости, подобно всем другим в ней служившим, исполнив насколько было можно долг воинской чести и обороны; удалиться в степь и спешить, избегая плена, присоединиться к отряду генерала Врангеля на Феодосийской дороге. Я не только ни словом, ни даже взглядом каким-нибудь не укорил отважного юношу, — но в свою очередь сильно позавидовал и ему, и моему любимому Бутлеру в том, *что они были там!!*

Вообще в этот день и в следующие мы узнали многое о вчерашних событиях в Ени-Кале и Керчи. Ени-Кале с пролива бомбардировали; стреляли и наши; во время бомбардировки мой бывший товарищ и приятель пруссак Бутлер отличился; некоторые из больных вышли и даже выползли из больничных палат, чтобы не быть случайно погребенными под развалинами строений, и старались уйти и ползком уползти к верхней части крепости, на гору и в степь. Там было выше, дальше, безопаснее. Не все были в силах это сделать, и Бутлер многих унес туда на своей спине под выстрелами. Он был силен, ростом вылик и здоров. Я всегда с удовольствием вспоминал об этом хорошем и честном сослуживце; он и другой молодой пруссак, его товарищ Бек, — были, по правде сказать, во многих отношениях гораздо лучше наших русских молодых лекарей, благороднее, образованнее, благообразнее даже. Жаль, что надо так сказать; но это правда. Когда наши военные власти удалились из Ени-Кале, взорвавши пороховой склад, Бутлера оставили при больных, и он пробыл вместе с этими больными в плену до середины лета, по-

стоянно споря с союзными офицерами, протестуя и утверждая, что они его, пруссака, подданного нейтральной державы, держать в плену не имеют права и должны отпустить; с больными или без больных, это их дело; но его должны отпустить. Союзники обращались с ним любезно, но когда касалось до этого вопроса, то они только подсмеивались над его претензиями. И конечно, они были правее его; дело было не в том, чей он был подданный, а в том, кому он служил. Служил он неприятелю, русским, и они, ¹⁰ разумеется, имели полное основание держать его или даже отправить во Францию или в Турцию до окончания войны. Однако они этого не сделали, и Бутлер достиг наконец своей цели: через месяц или два (не помню) его отпустили к нам вместе с небольшим количеством оставшихся хронических наших больных.

Куда делись все остальные больные и севастопольские раненые, не знаю. Их, однако, было у нас в палатах много в день моего отъезда из Ени-Кале. Слышал я, что многие во время бомбардирования разошлись (и даже, как я говорил, ²⁰ расползлись) по хуторам и именьям в окрестностях Керчи и, может быть, иные на чистом воздухе и у добрых людей, кормивших их, поправились скорее, чем поправились бы в больнице; иные, может быть, умерли или были убиты... Не знаю. ³⁰ Одного из моих больных, юношу лет 20, казака нашего же 45 полка, мы несколько позднее, во время одной рекогносцировки нашей под Керчь, нашли случайно в имении того самого испанского консула Багера, у которого я похитил овцу. Он тоже убежал в степь, попался на глаза турецким солдатам, они его чуть-чуть не убили; но потом раздумали убивать, а только раздели его донага и оставили в поле. Он, чуть живой и голый, дошел кой-как на какой-то хутор; — оттуда его из сострадания ³⁰ взял к себе управляющий Багера, итальянец, одел и кормил все время, пока мы его там не нашли и не взяли с собою.

Ужаснувший меня в первый день слух о том, что турки высадились в Ени-Кале и режут греков нещадно — ока-

зался преувеличенным: «избиений» никаких не было, но были беспорядки, были насилия, были частные убийства. Говорили, что на один хутор пришли турецкие солдаты и хотели изнасиловать одну русскую молодую женщину; но вслед за ними туда же вошел офицер (английский, кажется), стал с ними браниться, заступаться за женщину и жестоко разрезал руку тому турку, который эту женщину держал. Рассказывали также, что другой турок отрубил ятаганом грудь у девушки за то, что она не соглашалась охотно на его предложения и т. п. Вообще говорили, что французское войско вело себя лучше всех. О буйствах и насилиях французов совсем не было рассказов; об англичанах и в особенности об английских матросах отзывались гораздо хуже. Беспорядки, которые производили англичане, имели даже более так сказать «варварский» характер, чем мусульманские насилия и бесчинства. В английских выходках было больше бессмысленной грубости, больше так называемого «вандализма», чем в турецких насилиях. В этих последних, судя по всем рассказам, было видно лишь одно разнуздавшееся половое зверство, был какой-то 20 многострастный азиатский трагизм, все это было преступно, но... как бы это сказать?.. Хотя бы менее бессмысленно и дико, чем поведение англичан... Английские матросы ворвались, например, в керченский музей древностей и все там перебили и переломали, что было только можно перебить и изломать... Они не только грабили (это еще все-таки понятно), они разрушали и портили множество вещей только из одной жажды разрушения. Они без всякой цели вытащили из квартиры полковника Иванецкого хороший рояль, запряглись в него и везли его с криками по мостовой, как экипаж, пока совсем не испортили. 30

Через год после всего этого, я встретил в Симферополе того самого Дмитраки, или Дмитрия Ивановича Гвариори, у которого я на балконе, философствуя, пил кофе. Он подтвердил мне многое из этих первых рассказов... Он прожил в Керчи под начальством союзников несколько месяцев и задумал бежать от них... Раза два он отпраши-

вался у французского генерала на соседние хутора по делам, давая слово возвратиться... И раза два или более возвращался, чтобы усыпить бдительность... Отпросился и еще раз; сел в двухколесную, одноконную тележку; часовые пропустили его по прежним примерам; но на этот раз, как только он заметил, что никто уже его видеть не может, так пустился вскачь, свернул на другой путь, помчался прямо на наши пикеты и вернулся к своим... Он также жаловался на постоянные бесчинства англичан и (что особенно удивительно и почти невероятно) жаловался на то, что английские офицеры «самого благородного вида» (говорил он) приходили к нему в гостиницу, заказывали, требовали и то и другое; ели, пили и потом уходили, не заплативши ни копейки; и делали это безнаказанно... Французы, говорил он, этого не делали; они платили... «Турки же (продолжал все он же) также очень скоро усмирились: — они бегали по хуторам и другим глухим местам только первые дни, отыскивая женщин. Но как только французский командующий десантом генерал велел расстрелять 20 пять-шесть человек, уличенных в подобного рода делах, так все это прекратилось».

«Я сам видел трупы этих расстрелянных на площади, — говорил Дмитраки, — их нарочно для устрашения оставили лежать там на несколько времени». Это Дмитраки рассказывал мне все, сказал я, через год. Но в эти первые дни отступления до нас отрывками доходили то оттуда, то отсюда разные подобные вести.

Все согласно утверждали, что больших «ужасов» не было, а были только случаи беспорядков и насилий... Дисциплина французских войск оказывалась наилучшей. Именно — дисциплина; я не думаю, чтобы по природе своей французы были бы *добрее* англичан и турок. Я думаю, напротив того... Между турками, напр(имер), очень много истинно добрых, благородных, сострадательных и честных людей: но то, что зовется «дисциплиной», назначается не для добрых качеств людей, входящих в состав войска, а напротив, для обуздания дурных наклонностей, слабостей

и пороков их; для приблизительного и временного приведения к одному лишь *сносному* и целесообразному среднему уровню всех разнообразных характеров, случайно и на скорую руку собранных под общее воинское знамя. Вот этот *средний, сносный* уровень *видимой* нравственности и внешнего благочиния, мне кажется, издавна во французской армии доведен до большей *общности*, так сказать, чем во многих других... «Добрая слава лежит, а худая бежит». О худых делах наши жители рассказывали, о довольном хороших, вероятно, молчали, считая их нормальными. Мне все кажется только, что были и между англичанами, и между турками, вступившими в Керчь, прекрасные люди, но так как дисциплины, выправки воинской и у тех и у других было меньше, чем у французов, то у последних худые, жестокие, взбалмошные, пьяные и т. п. люди не могли, подавленные этой общей выправкой, и в первые дни беспорядка проявлять свои дурные склонности так легко и свободно, как проявляли их некоторые порочные и грубые люди в среде английских и турецких войск...

В одном из позднейших писем моих к матери (от 18 мая), где я говорю об этих самых новостях тогдашних, я нашел на днях еще одну черту, о которой совсем было забыл. Некоторые из жителей, уходивших из Керчи, рассказывали даже, что иные англичане и французы «крестятся», когда входят в наши церкви. Из этого же письма моего видно, что многим обывателям союзники в первые же дни позволяли свободно уходить из города. И если Дмитраки Гвариори говорил правду, что его не пускали и что он принужден был не просто уехать, а «бежать», то на это могли быть какие-нибудь особые причины. Мне как будто помнится, что приходили к нам в отряд керченские жители только в самые первые дни, и некоторых я даже помню хорошо в лицо; но потом эта эмиграция как будто совсем прекратилась. Изредка являлись у нас в течение лета беглые союзники, чем-нибудь у своих недовольные: трое французов, два турка, один шотландец; но «наших»

жителей не помню. Очень возможно, что отпускать жителей в первые дни, когда все еще не устоялось, было безопаснее для союзников, чем позднее. В первые минуты испуга и растерянности эмигрантам этим было не до шпионства, и сведения точные они и не сумели бы нам тогда доставить. Но позднее, мне кажется, когда все больше определилось и выяснилось, стало невыгодно их отпускать. Дмитраки при всем своем, быть может, искреннем патриотизме (патриотизм ведь с торговым лукавством у многих хорошо совмещается) задумал, верно, остаться и поторговать получше. Отчего же с неприятелей торговому человеку не набрать при случае побольше денег? Ведь «с лихой собаки хоть шерсти клок!» Но потом, когда оказалось, что деньги платят неаккуратно, а требуют многого, ему захотелось уехать; а уезжать тогда уже стало труднее, и он бежал. Я его рассказу верю, не потому только, что он меня так любезно всегда «в кредит» угощал, но потому, что обстоятельства делают его рассказ правдоподобным.

Некоторые татары окрестных сел тоже в первое время позволяли себе нападать на уходящих жителей Керчи и грабили их. Но против этого довольно скоро приняли должные меры и наши и неприятельские начальники. Наши немного позднее снарядили нарочно небольшую экспедицию в одно из самых подозрительных татарских селений близь Керчи, и я сам в ней участвовал.

Что касается союзников, то в упомянутом уже выше моем письме от 18 мая сказано прямо (со слов керченских беглецов), что французский «адмирал» некоторых из них повесил. Почему у меня написано «адмирал», — не знаю, может быть, так выражались сами обыватели, а за ними и я. Той точности, впрочем, с которой я теперь пишу, тогда и ожидать от меня было трудно. Целые дни преданный своевольному полету мыслей и мечтаний, я в то время считал себя обязанным быть внимательным только в деле врачебном; тут во мне строго говорила совесть, хотя я и не чувствовал к медицине особого и сильного призвания. Во всем остальном я был невнимателен и рассеян, и если что

замечал и хорошо помню, то этим я обязан уж только природной наблюдательности моей, а не усилиям преднамеренного внимания.

Лечить больных и раненых, насколько могу получше, читать внимательно с этой целью — это долг чести, долг человечности и доброты, и самолюбия, и патриотизма; а остальное все... все остальное... как придется!.. Что мне?!..

— Живи! Борись и наслаждайся! Вот мой девиз того времени.

Только пчела узнает в цветке затаенную сладость,
Только художник на всем видит прекрасного след!..

10

Да, я видел этот «прекрасного след» даже иногда и в комиссариатских чиновниках, моих сослуживцах.

Как это я умудрялся, я когда-нибудь при случае расскажу и об этом, и надеюсь, что оно будет понятно.

Теперь я в силах быть точным и внимательным во многом, а тогда?..

Стоят, например, перед нами, передо мной и перед казацкими офицерами, керченские беглецы; молодой человек, с молодой женой и старой, но бодрой матерью. Он ²⁰ босой; сапоги держит на палке на плече; лицо у него приятное; глаза большие, карие, добрые; с виду ему 23—24 года, бороды у него еще мало; но он не успел выбриться через всю эту катастрофу; редкие волосы на подбородке не мягкие, не шелковистые, как бывают у молодых крестьян, которые вовсе не бреются, а грубые, щетинкой, и его это очень портит. Жена его еще очень молода и собой мила; она в простеньком платье, и лицо защищено от загара черным вуалем с мушками. Они ушли пешком из Керчи и рассказывают о вступлении непри- ³⁰ ятельских войск.

И вот изо всего их рассказа я помню только возглас матери: «Э! да у них и восьми тысяч пехоты не наберется! — Да и каких-то мальчишек понабрали. — Так ребята всё молодые да мелкие; точно ученики какие!..»

Только и помню... Гляжу на них и думаю.

Верно у них горшки с геранью на окнах были; белые, чистые занавески с белой бахромой внизу... Милая сцена из комедии Островского... Не люблю только, что у него руки такие маленькие и белые, а ногти длинные и грязные. Нужно, напротив того, мужчине иметь руку большую, пожалуй жесткую, а ногти стриженные и чистые. Не люблю!.. И еще вот это: любит ли она его или нет?.. Я бы на ее месте не особенно бы его любил; а жалел бы... Да и что такое любовь вообще... Посмотрим?

¹⁰ «В самом деле — посмотрим еще: что такое любовь вообще?.. Вот я, например, тогда-то, в Москве в санях, на морозе; или в Нижнем, когда липы цвели?.. Самолюбие это было одно, или нет?»

Конечно, при таком привычном направлении мысли не будешь очень внимателен ко всему тому, что не относится ни к жизни собственного сердца, ни к прямому долгу медицинской службы.

²⁰ Я оттого и стараюсь быть точен и осторожен *теперь* в рассказах о былом, что в *то время* был очень часто крайне невнимателен ко всему окружающему...

«На это на все есть начальство! А я вот живу и *ощущаю всю прелесть бытия и только!*.. Оставьте меня в покое, благо тут, на походе этом, нет у меня обыкновенных моих больных!»...

Вероятно, я так или в этом роде рассуждал тогда...

VII

³⁰ Поздний вечер и ночь 13 мая я точно так же, как и накануне, провел с казаками; но этот вечер и эта ночь вовсе не были похожи на вчерашние... На первый день все было так серьезно и торжественно; на второй вечер все было довольно смешно и беспутно, хотя положение общих дел ничуть не изменилось и опасности было не только меньше, а пожалуй и больше. Я думаю, что было больше, по тому соображению, что неприятель в течение суток

успел, вероятно, осмотреться в Керчи и ее окрестностях, отдохнуть, одуматься и гораздо точнее, чем в первый день, разузнать о размере наших сил и об их расположении.

У нас продолжали ожидать кавалерийского нападения, и двум-трем нашим донским сотням опять приказано было ночью охранять Феодосийскую дорогу; только в другом месте, видимо гораздо ближе к неприятелю, около покинутой вчера почтовой станции.

Я говорил уже, что кроме солнечного восхода в степи и двух-трех лиц на кургане и потом минутной встречи с уцелевшим Це—м, я изо всего этого дня до темного вечера ничего точно не помнил до тех пор, пока взгляд на краткое письмоце мое к матери, *невиданное мною в течение 32 лет и само совершенно забытое*, не пробудил во мне неожиданно некоторые, по-видимому совсем исчезнувшие из души моей образы и чувства. Не помню, впрочем, и после этого, откуда мы взялись и как приехали, но с той минуты как мы только очутились в этом заброшенном строении, мне вдруг все опять становится так ясно, как будто это сейчас происходит.

Ночь была темнее вчерашней; заходила дождевая туча. Начальствовал отрядом опять сам полковник, и кроме его было тут трое-четверо старших офицеров: казначей полка и два сотенных командира, которых я еще до тех пор не встречал. Один из них был уже пожилой, седой человек; сухой, широколицый, с седыми, подстриженными усами, говорил он очень мало, медленно, в нос, и больше молчал. Я его фамилии вовсе не помню. Другого офицера я фамилию не назову, хотя хорошо ее помню. Дальше будет понятно почему (быть может, он жив еще): этот был помоложе, но тоже не молодой; сильный, плечистый, с лицом грубым, но весьма выразительным. (Полковник Попов сообщил мне тут же по секрету, что он и еще сотник Малаканов самые надежные и отчаянные смельчаки в полку. Но Малаканов «добрый малый», а этот — «у-у-у!!» — сказал полковник, и прибавил еще: «Я его видел в деле: лев! На Кавказе, вообразите, доктор, чер-

кесы, хррребет! Паф-паф-паф!! и мы идем! И мы идем! И он как лев!»

Казначей был тонкий и стройный брюнет с небольшими усами; более других образованный, лет не более 30, вообще обходительный, любезный и веселый, но в этот вечер он чем-то расстроился и раздражился.

Казачи остались все наружи; а старшие офицеры (и я с ними) собрались в маленькой станционной и почти пустой комнате. Впрочем, в ней остался обкованный жесткий диван с деревянной спинкой, перед ним стол и одно или два кресла. Легкие стулья верно успело станционное начальство увезти, а тяжелая мебель осталась.

Все хотели есть, а не было ничего; я мучался голодом. Ни фуры, и ничего обозного мы не имели права при таком назначении иметь с собою. Отправили нас так быстро, что сам полковник ничего не успел захватить с собой.

Не знаю, что ели там, наружи, казаки, но для нас у кого-то во вьюках нашлось немного белых, пшеничного хлеба сухарей. Деньщик полковника (по-казацки — «драбант») изловчился где-то вскипятить какую-то плохую воду; нашлась и деревянная чашка; в нее налили горячую воду, в воду наклали этих сухарей и посыпали солью. Поставили это кушанье на стол перед диваном и подали две-три ложки.

Меня, который считался чем-то вроде приятного гостя в полку, полковник посадил с собою на диван и дал мне одну ложку. Старый молчаливый сотник сел около нас в единственное кресло. Мы ели эти размоченные и невкусные сухари, чтобы хоть сколько-нибудь утолить голод; остальные офицеры ждали, стоя или сидя на окнах. Потом они стали есть.

Я уступил кому-то на диване место и сел на окно.

Есть было нечего; а вино нашлось, довольно хорошее белое крымское; и мы все выпили.

Как только поели и выпили, начались рассуждения, которые кончились было довольно крупной ссорой. Полковник нашел нужным по серьезности обстоятельств составить небольшой военный совет.

Он принял на диване своем несколько официальный и важный вид и начал так:

— Господа! Нас поставили слишком близко от неприятеля, на большой дороге, на весьма заметном пункте... Нас не много, и нам до сих пор неизвестно, есть у неприятеля кавалерия или нет ее. Вероятно есть... Кругом нас татары, которые легко могут предать нас... В памятной книжке для гг. офицеров, изданной под покровительством Наследника Цесаревича, ныне царствующего Императора, по поводу подобных случаев сказано: «Если начальник отдельного отряда видит ясно, что вверенный ему отряд находится в опасности, он имеет право отойти неподалеку в другое, более безопасное место, оставив на прежнем месте только пикет».

Начался громкий спор; начались возражения, которые каким-то образом перешли в личные пререкания. Казначей и тот энергический плечистый офицер, про которого полковник говорил мне «у-у-у», схватились друг с другом жестоко за что-то *прежнее* и мне неизвестное; они стоя посередине комнаты наступали друг на друга с гневным криком.

— Ты службы до сих пор полевой, настоящей не знаешь! Не знаешь! В чем ты и где ты себя показал?.. А я... а я?.. — говорил офицер...

— А я тебе говорю — не *режь* ты против меня, не *режь*, — кричал казначей. — Ой, говорю тебе, не *режь* против меня... Плохо тебе будет...

— Да что плохо-то? Ты скажи прямо, что плохо?!. Бояться мне тебя что ли?..

— Да то и плохо, что тебя из такого-то полка за что выгнали?

— За что?

— За карты! Вот за что...

— За карты? — ты говоришь это?..

— Да, я говорю — за карты!..

Я сидя на окне думал: вот-вот или ударит один другого, или обнажат они сейчас свои шашки.

Старый, молчаливый офицер не мешался; он почему-то, я заметил, все глядел пристально не на спорящих противников, а на полковника, который тщетно унимал их: «Господа! Господа! оставьте... я прошу вас... я требую...»

А те все кричали свое.

— Господа! — восклицал полковник, — я требую внимания вашего. Положение серьезно... Господа!..

Но «господа» не повиновались. Утихали на минуту и опять наступали с криком друг на друга.

¹⁰ Бедный полковник опять начинал:

— В памятной книжке для гг. офицеров, изданной тогда-то, сказано: «Командующий отдельным отрядом в случае явной опасности своего положения...» Господа, я прошу вас прекратить... Вы не цените, я вижу, той вежливости, с которой я всегда обращался с вами...

Офицеры немного стихли и замолкли.

²⁰ Полковник, должно быть, обрадовавшись своей первой удаче, повторил еще громче и наставительнее: «Да, господа, вы, я вижу, вовсе не умеете ценить той вежливости, с которой я всегда обращаюсь с вами».

Но тут молчавший доселе широколицый старик с подстриженными усами вдруг перебил его и хладнокровно сказал все в нос:

— Да когда ж мы от вас, полковник, какую-нибудь вежливость-то видали? Я вот что-то не видал ее никогда, этой вежливости вашей.

³⁰ Почему это неожиданное замечание на всех вдруг успокоительно подействовало, я не знаю, но после него все стало как-то тише и рассудительнее. Полковник, ничего не возразив старику, опять изложил свой план небольшого своевольного отступления в сторону, и все слушали и резонно отвечали. Решено было сделать так: обмануть, так сказать, неприятеля, если бы ему дано было знать шпионами, что у станции незначительный отряд в 2—3 сотни. Наскочив внезапно, союзники могли бы захватить только пикетных казаков, да и то, может быть, не всех, и мы сами, извещенные вовремя, наоборот, могли

бы расстроить и разбить их внезапным набегом с другой стороны.

Так по крайней мере я понял эту меру.

На дворе шел сильный дождик и было очень темно, но мы все сели на коней и тронулись в путь.

Ехали мы, впрочем, не долго и где-то и около чего-то в темноте скоро остановились. Дождь все усиливался. К счастью, в течение дня я разыскал при обозе своего деньщика с вещами; надел свои дорогие непромокаемые сапоги, а за седлом у меня была привязана моя зимняя офицерская шинель с капюшоном, так что я надеялся не промокнуть и не промок ничуть. Спать, однако, мне хотелось нестерпимо; не знаю, как и на чем полегли в темноте другие, но мне мой добрый фельдшер посоветовал лечь на татарскую телегу, которую тоже не знаю зачем захватили с собою наши вместе с ее хозяином и продержали всю ночь при отряде. (Мне теперь соображается, что татарин этот встречен был случайно на пути; что он ехал по направлению к Керчи и его задержали для того, чтоб через него не дошло бы вести до неприятеля о том, где мы этой ночью находимся и сколько нас.)

Проспал я до рассвета под сильным дождем на сырой соломе этой телеги, как убитый. Под соломой в полусне ощупал что-то твердое и круглое; взбил солому над этой неизвестной мне вещью еще повыше, завернул голову в капюшон и лег головой на это место. Две шинели: солдатская внизу, а сверху ваточная, и московские сапоги французской работы на гуттаперче отслужили мне хорошо свою службу. Я встал на рассвете бодрый и почти сухой.

Только на секунду потревожил меня татарин, владелец телеги; только что я стал засыпать, вдруг слышу кто-то роется около самой головы моей и шепчет мне:

— *Бояр! Бояр!.. Уразá... Экмék!..*

Это значило по русски: «Барин! Барин!.. хлеб!» *Уразá* по-крымски то же, что по-турецки *Рамазан*, мусульманский пост, во время которого до вечера совсем есть нельзя.

Был, значит, в это время *Рамазан*; у бедного татарина под мокрой соломой был спрятан до ночи хлеб; и этот-то

хлеб и был той круглой и твердой подушкой, которую я себе устроил. Нечего делать! Он вытащил из-под головы моей хлеб, а я, все полумертвый от здорового утомления, кое-как опять взбил себе повыше солому и тотчас же погрузился в глубокий сон. Только первые минуты слышал, как прямо в ухо стучал по капюшону моему сильный дождь...

Солнце было уже довольно высоко, когда я помню себя опять на коне; еду я сбоку отряда, вместе с другими офицерами. На этот раз нас было, кажется, сотни три, если не ¹⁰четыре. Сам полковник едет шагом впереди всех по дороге; мы едем близко от него. На мне уже острая, хорошая шашка, надетая через плечо по-кавказски, вместо никуда не годной гражданской шпаги моей. Казацкие офицеры, новые мои товарищи, еще вчера посоветовали мне купить шашку у казаков.

Они говорили мне: «Ну, что, доктор, вы с нами будете служить, да с этой спицей ездить! Купите шашку и носите ее, как носят кавказские доктора. Найдутся в полку лишние, вы выберете себе полегче шашечку по руке... Ведь у ²⁰нас, если что — особого перевязочного пункта не будет... Наскочит на вас такой мусье, а вы Бог даст сами его и польснете! Да, право, скверно на вашу шпагу эту смотреть. Вы ведь у нас и сами-то довольно казаковаты... Купите».

Я послушался, выбрал, купил не дорого, стал совсем с виду военным и думал: «Что же, они правду говорят: если что случится, мы ведь только немножко с фельдшером отведем в сторону; слезем с коней и будем подбирать раненых... А впрочем, и то, пожалуй, невозможно. Гово- ³⁰рят, кавалерийские схватки кончаются очень быстро победой или поражением. И слезать нельзя будет. Если наши побегут, надо тоже бежать с ними; если разбит будет неприятель, наши погонятся, а на месте останутся свои и чужие раненые... вот тогда, в случае победы, нужно будет слезть и ими заняться».

Никто меня не наставлял, ни старшие доктора в отряде, ни высшее военное начальство, ни свой полковник. По-

ложение мое было исключительное; при казачьих полках в то время докторов не было; меня только прикомандировали к этому полку для службы на аванпостах, и я нахожу, что следовало бы кому-нибудь из старших дать хоть какие-нибудь правила молодому человеку в подобном положении, чтобы он хоть в самых общих чертах знал, чего требует от него долг. Но мне никто не сказал ни слова, где мне быть, где перевязывать раненых, всегда ли быть и везде впереди с передовыми или сторожевыми сотнями, или всегда состоять при полковнике, где бы он ни был. И так я и прожил все лето, пребывая по своему вкусу то там, то сям; то в рекогносцировках, или маленьких экспедициях, то при штабе, то при одной сотне, то при другой. Так и оба первые вечера и теперь это третье утро я на случай встречи с неприятелем не имел никаких инструкций, где мне быть и что делать, и потому сам в сердце своем, по здравому смыслу, решил так, как сказал выше: вовсе и не сходить с коня; побегут наши, и мне бежать; погонят наши — спешиться, позвать фельдшера и оказывать первую помощь раненым. 10

С этими мыслями я ехал с отрядом, неподалеку от полковника, опять к той самой почтовой станции, которую мы самовольно вчера новью покинули. 20

Едем, шутим, говорим. Небо давно уже опять чистое, ясное; солнце опять яркое; ранним утром еще свежо и приятно после ненастной ночи.

Дорога вьется; направо высокая, каменистая гора; дорога должна эту гору обогнуть, и теперь за ее высотой ничего вперед не видно. Только на вершине горы виден наш пикет...

Мы все глядим на этот пикет; вдруг кто-то говорит: «Смотрите, что такое? Казак с пикета к нам скачет... Чтобы это значило?» 30

И правда, не успели мы это заметить и сказать, как увидали, что прямо целиком по степи мчится во весь опор нам навстречу наш казак. Подскакал прямо к полковнику и запыхавшись сказал: «Ваше высокоблагородие, неприятель!»

Мигом все лица стали серьезны.

Ехавший рядом со мной толстый майор (войсковой старшина) побледнел.

— А сколько их примерно? — спросил полковник по-койно.

— Сотни две будет... Тоже с пиками кавалерия, — отвечал казак.

Нас было, помнится, больше.

Полковник тогда, слегка оглянувшись, скомандовал твердым и резким голосом: «Прибавь шагу!» И мы быстро и бойко пошли на рысях, все ускоряя. Полковник вперед.

Помню, что я в эту минуту ничего кроме жадного любопытства и радости не чувствовал. Сердце сжалось немного, когда полковник скомандовал так твердо и хорошо; но потом какая-то веселая бодрость как будто разлилась тотчас же по всему телу моему. Я продолжал ехать недалеко за полковником сбоку около первых рядов.

Поворот за гору был близко. Мы спешили. Еще минута, раздастся казацкий гик и выстрелы... Вот и поворот. Вот и дальше дорога и вся степь видна. Но вместо боевого крика и пальбы, раздается дружный смех офицеров; ему вторят и казаки.

Нам навстречу по дороге, правда, шла хорошая кавалерия с красными древками пик, в больших папах. Это были наши черноморские казаки. Впереди точно так же, как у нас, и у них ехал сам полковник, на большом и красивом пегом коне. Он издали весело нас приветствовал.

Черноморский полковник этот совсем был не похож на нашего. Наш был уже стар, худ, и лицо его, хотя было и красиво своими строгими чертами, но совсем солдатское. У черноморца черты были неправильны; но весь вид, приемы и, видимо, привычки были гораздо более барские и даже франтовские до смелости. Этот пегий конь, который выбрасывал ногами в стороны; щегольская черкеска, даже золотые браслеты на сильных, мужественных руках. Чуть ли не было красивой сережки в одном ухе. Какие-то мюратовские вкусы. Годами он был гораздо моложе нашего;

не больше 35 лет с виду. Мне очень жаль, что я не в силах вспомнить его имени, потому что я и тогда уже не разделял пристрастия графа Льва Толстого к «простым» людям, и люди *удачно* эффектные и даже приятно-претенциозные издавна мне нравились, а опыт жизни только утвердил меня принципиально в этом предпочтении. С годами я убедился, что на русскую нацию эстетически, так сказать, наклеветали ее литераторы, и блеск (не ложный, конечно, бесхарактерный, а настоящий, *выдерживающий* себя до конца) всегда возьмет свое; живое доказательство этому Скобелев. Правда историческая требует ведь признать, что сослуживцы его совершили не меньшие подвиги; *больших* по размерам он и не успел совершить; но его блестящий образ, его *уменьше делу* придавать именно то, что обыкновенно по ненасытной и непонятной какой-то нашей жажде прозы и принижения зовут *порицательно* эффектом, это *уменьше*, эта поэтическая способность молодого героя Геок-Тепе доставили ему заслуженную популярность. *Легче дышется* при виде этих «эффектных людей». И это вздор, будто русские их не любят. Не будешь того любить, чего не видишь и не знаешь. А покажись оно только — и *естественные* вкусы возьмут свое!

Вообще, замечу кстати, черноморские казаки с первой же встречи мне понравились больше моих донцов. Я очень приятно и дружественно прожил с донцами около года и сохранил о них гораздо более приятную память, чем о многих других сослуживцах моих, более их, пожалуй, в *обыкновенном смысле* «образованных» или ученых. Но эта товарищеская, добрая память сердца не мешает мне помнить, что в черноморцах было больше поэзии. Полковник был оригинален и эффектен; офицеры были ловчее, красивее; рядовые казаки крупнее, плечистее, сильнее, виднее донцов. Одежда черноморцев, почти вполне черкесская, была лучше тогдашней донской; посадка на конях у черноморцев мне представлялась более изящной, грациозной. Даже и эти пунцовые пики, и те были очень хороши. Не знаю, как судят об этом настоящие военные люди;

но я так чувствовал. Впрочем, помню, что и тогда офицеры другого оружия или других частей (например, гусары и артиллеристы) находили и боевых качеств у черноморцев больше, чем у донцов. В этом я, впрочем, не судья.

Итак, мы встретились с воображаемым врагом и по-приятельски. Веселая беседа и дружный смех — вместо выстрелов и стонов!..

10 Дело объяснилось легко: донцы, стоявшие на горе, были прибывшие недавно с Дона; прискакавший совсем еще мальчик, — они этой формы не видали вблизи, и ошиблись. Разумеется, такая ошибка лучше противоположной, и их даже за это не побранили.

Мы поехали все вместе и остановились отдохнуть и закусить получше в одном дворянском имении (Родзевича или Ревилиоти — наверное не помню). Но помню заново и красиво выкрашенный пол гостиной, хорошую, покойную мебель, открытые окна, за окнами акации, цветущие белыми, обильными кистями благоухающих цветов; на одном из окон черноморского нашего Мюрата с браслетами, свесившего ноги в щегольских сапожках. Оживленную беседу 20 тоже помню, но о чем она шла уж не знаю, а знаю только, что было очень весело...

Таким забавным аванпостным кипрокó кончилась для меня вся эта двухсуточная военная прогулка в окрестностях Керчи...

После этого началась довольно однообразная, хотя все-таки приятная бивачная жизнь в степи и длилась до самой зимы. Были рекогносцировки, не лишённые занимательности, были кавалерийские схватки с убитыми, пленными 30 и свежими ранами (в больнице, в Ени-Кале, я видел только застарелые). Были бомбы однажды, и даже разорванные люди, всего двое, но были. Дело не в количестве, а в том, что и мне вскоре пришлось видеть вблизи так называемые «ужасы войны», «les horreurs de la guêrre!» Когда-нибудь я расскажу, при случае, и обо всем этом лете на «Иване Постном», как писали (я своими глазами это видел) казаки своим женам и матерям.

Теперь я кончил мой рассказ.

Занимателен ли он или нет был для других, не знаю; для меня очень занимателен: я с большим удовольствием вспоминаю об этих двух ярких и оживленных днях; и не только об этих двух днях, но и о целых двух годах моей военной службы в Крыму. Не все за эти года было так бойко и весело, — было и много мрачного, особенно в больницах. Вот где, в этих жилищах смрада и страдания, я видел истинные ужасы войны, *холодные*; там обратная сторона медали, там тяжелая проза боевой жизни; но даже и там, у этих смрадных коек, при виде этих серых, желтых, черных язв, столь часто неисцелимых от неуправляемой и жестокой заразы, — я помню свое бодрое чувство, свою молодую энергию, свое «Горé имеем сердца!»...

Желал бы я когда-нибудь и об этих трудах и страданиях рассказать; о трудах и лишениях *наших*, о себе и о других врачах, о страданиях солдат и офицеров. Я рассказал бы только так, как было, или вернее сказать: *так, как я помню*.

Зачем мне идеализировать жизнь! Она и так хороша, со всей сменой невзгод и радостей своих; она хороша, когда в нашей собственной груди горит неугасимо какой бы то ни было высший идеал. Когда он горит в душе неугасимо, этот идеал патриотизма, человечности и даже личной, молодой жажды сильных ощущений, тогда хорошо и в трудах больницы, и на коне в степи.

В больнице врачебная мысль и долг гражданский; в степи беззаботная и ленивая, но здоровая мечта...

ТУРГЕНЕВ В МОСКВЕ.

1851—1861 гг.

(ИЗ МОИХ ВОСПОМИНАНИЙ)

I

Мне был 21 год, когда я отнес Тургеневу свое первое произведение — комедию «Женитьба по любви».

Я учился тогда в Москве, в университете, медицине и жил на Остоженке. Почти напротив нашей квартиры был довольно большой серый деревянный дом Лошаковской.

¹⁰ Я часто проходил мимо него, не подозревая, что он будет иметь такое большое значение в моей жизни. Я не знал, что в этом доме жила мать Тургенева, которая скончалась именно в тот год, когда я написал «Женитьбу по любви». Это случилось в 51-м году.

Я был на втором курсе и очень много страдал в этом году. У меня болела грудь, и я беспрестанно был нездоров. Знакомство через родных в Москве было большою частью в богатом кругу, а денег не было. В своей семье мне очень многое не нравилось. Я был очень самолюбив, требовал от

²⁰ жизни многого, ждал многого и вместе с тем нестерпимо мучился той мыслию, что у меня чахотка.

Медицина первые два года меня тяготила, хотя, конечно, были минуты, в которые меня занимало что-нибудь на лекциях. Общие научные выводы, общие идеи сначала занимали меня больше, чем подробности. Подробности стали нравиться мне позднее на 4-м курсе, у постели больного, и еще больше в военных больницах, где я уже был сам хозяином и распорядителем. Впоследствии времени я стал лечить недурно и нередко очень счастливо. Мне кажется,

впрочем, что и в самые вопросы о том — «дать ли тут опиум или aqua laurocerasi, пустить ли кровь или не пустить», — я стал все больше и больше вникать не столько из любви к науке или из корысти, сколько из человеколюбия, несколько романтического оттенка. Впрочем, об этом позднее. Одним словом, вынужденный обстоятельствами поступить на медицинский факультет, я полюбить медицину всей душою все-таки не мог.

Наука, значит, не могла в то время утешать меня и особенно на втором курсе, где еще не было передо мною *живых страдальцев*, возбуждавших мое участие, мое рвение, мое самолюбие, а только валялись на столах удавленные старики, замерзшие на улице пьяные, убитые блудницы, которых трупы терзали студенты, смеясь и кощунствуя всячески.

Меня не занимала грубая веселость моих товарищей. Видимо, они ни о чем почти не беспокоились и не думали, кроме экзамена и карьеры своей. Я же с утра до вечера *думал* и мучился обо всем.

Я утратил тогда и на долгое время детскую веру; только что перестал молиться; — успокоиться же на каком-то неясном деизме, эстетическом и свободном, на котором я успокоился недолго позднее, я в то время еще не мог. Все меня мучило: безверие, жизнь в семье, болезни, безденежье, подавленное самолюбие, университетские занятия, которые мне не нравились и к которым я принуждал себя, чтобы кончить *во что бы то ни стало* курс в высшем заведении. С другими студентами я почти не знакомился; мне казалось, что они ничего не понимают и поэтому у многих были такие неприятные лица; а я всегда любил изящное, даже и в товарищах. И на лекциях даже почти ни с кем не говорил и всех остерегался.

Был у меня один только друг Алексей Георгиевский. Он был тоже студент, двумя годами старше меня; сын очень бедного и многосемейного чиновника из глухого городка Боровска нашей Калужской губернии. Я его года два подряд без ума любил, но и от него я видел больше

горя и оскорблений, чем радости. Он был для меня тем, чем был Мефистофель для Фауста. Но у него ирония и отрицание происходили не от недостатка поэзии или идеализма, а скорее от злобы на жизнь, которая не давала ему ничего. Большинство товарищей не обращали на него внимания, считали его просто чудаком; но те немногие, поумнее и поразвитее, с которыми он сближался, подчинялись немедленно его уму, или лучше сказать смело — его гению.

¹⁰ Он *отравился* в 66 году. Я его совсем потерял из виду с 54 года; но еще в 51-м я прервал с ним все сношения, потому что он уже тогда сделался нестерпимо жолчен и несправедлив. Об нем одном можно было бы написать очень много, но здесь я хочу об нем сказать два слова только потому, что он своими советами и мнениями имел большое влияние на мои литературные занятия и сверх того, самая комедия «Женитьба по любви» без него не написалась бы.

²⁰ Мне тогда очень было тяжело жить на свете; — я страдал тогда от всего: от нужды и светского самолюбия, от жизни в семье, которая мне многим не нравилась, от занятий в анатомическом театре над смрадными трупами разных несчастных и покинутых людей... от недугов телесных, от безверия, от боязни, *что отцвету, не успевши расцвести*, от боязни рано умереть, «*sans avoir connu la passion, sans avoir été aimé!*»

Я был тогда точно человек, с которого сняли кожу, но который жив и все чувствует, только гораздо сильнее и ужаснее прежнего. Оттого-то я и не мог долго выносить иронию и умственную злость моего разочарованного друга; его даже и шуточные замечания действовали как едкое вещество на живое окровавленное тело.

³⁰ В 51-м году мне стало до того, наконец, уже грустно и больно, что я вовсе перестал понимать веселые стихи, веселые сцены и т. п... Я только понимал страдальческие болезненные произведения. Когда Тургенев напечатал «Записки лишнего человека», мне показалось, что он уга-

дал меня, не выдавши меня никогда. Был против университета трактир «Британия», в который я ходил читать журналы, слушать орган и пить чай (завтракать часто я не смел, потому что не было денег).

Что мне было делать, когда пришлось (не преувеличивая скажу) — плакать в трактире над историей этого «Лишнего человека?» — Я закрывался книгой в углу и плакал. Слава Богу, никто не обратил внимания.

Была в Москве одна девица — Э. К—ва. Отношения наши длились пять лет подряд; все время, пока я был в Москве, принимали разные формы от дружбы до самой пламенной и взаимной страсти. Но хорошее время настало после; а в 51-м году и эти отношения были какие-то нерешительные, неясные, шаткие, и даже они причиняли больше боли, чем радости. Есть одно стихотворение Ключникова (-Θ-).

Я не люблю тебя, но, полюбив другую,
Я презирал бы горько сам себя.

Оно было тогда мне ближе всей остальной поэзии, ближе Пушкина, Фета, Лермонтова, Кольцова, ближе всего на свете... «Я не люблю тебя», я находил несказанное наслаждение повторять это и себе, и ей. А не видать ее день один было для меня тяжело.

Под такими впечатлениями я написал «Женитьбу по любви». Не знаю, как бы мне как можно короче изложить ее содержание?

В Москве живет с родной теткой своей, еще не очень старой женщиной, молодой человек Андрей Киреев. У него вместе с теткой есть небольшое состояние, достаточное для независимой жизни. Ему 24 года.

Ему нравится молодая девушка 22-х лет... (имени ее не помню); она гораздо хитрее и осторожнее его. У этой девицы есть двоюродный брат, лет 30, Буравцов, брюнет, красивый, служил и сражался на Кавказе, «с красной ленточкой в петлице». Для колеблющегося Киреева он то ритор и офицер à la Марлинский, то пример чести и мужества.

Для молодой девушки он идеал мужчины: «с'est un homme énérgique et distingué, qui a vu la mort de près», и т. д.

У нее с Буравцовым был небольшой роман; но Б—в не захотел ни обольстить ее, ни жениться на ней. Теперь ему хочется выдать милую и бедную кузину за Киреева. У Киреева есть друг — Яницкий, 26 лет, бледный, красивый, с тонкими чертами лица, богатый, независимый, но он страдает грудью и потому несколько озлоблен. Он точно так же, как и мой небогатый студент-Мефистофель, от скуки проливает свой яд на раны беспокойного Киреева.

Киреев сам не знает, любит ли он кузину Буравцова, или нет. Яницкий тешится этим, уверяя Киреева, что он и вовсе будто бы *неспособен любить*...

Киреев раздирается от отчаяния:

Я не люблю тебя, но, полюбив другую,
Я презирал бы горько сам себя...

Тетка Киреева, которая его воспитала и обожает его, огорчена его страданиями; но не понимает в чем дело. Киреев и тяготится теткою, и до боли жалеет ее, делая ей, однако, всякие неприятности.

Наконец Киреев, чтобы доказать Яницкому, что он *может что-нибудь сильное сделать*, решается жениться. В последнем действии он очень несчастлив и мучает всячески и свою новобрачную, которая согласилась бы стать ему доброй женой, и тетку, которую он подозревает в неприятном чувстве к жене. Поссорившись и с той, и с другой, и почти прогнавши их, он вызывает на дуэль Яницкого из одного мщения и отчаяния. Но Яницкий, который очень храбр, имеет моральное мужество отказаться от такой дуэли, и это великодушие врага окончательно унижает несчастного Киреева.

Комедия эта была написана не для сцены, а для чтения; она вся основана на тонком анализе болезненных чувств. В ней, я помню, было много лиризма, потому что она вырвалась у меня из жестоко настрадавшейся души!

Я вынужден здесь распространиться хоть сколько-нибудь о разнице, которая была между мной и моим героем.

Конечно, у меня, как и оказалось на деле, при сходных обстоятельствах, было несравненно больше такта и твердости; но изменения эти внеслись сами собою в пьесу, как только я изменил некоторые внешние черты. Я был гораздо беднее Киреева; я был болен, — он здоров; он свободен, — я учился насильно медицине; я был в многолюдной и несогласной семье, — он жил с одной теткой, которая смотрела ему в глаза. ¹⁰ Одного или двух из тех условий, которые меня тогда так несчастно опутывали, было бы достаточно для горя и грустного лиризма, а у меня их было десять разом.

Отнявши у своего героя почти все те права на страдания, которыми я так щедро был тогда снабжен, я должен был *преувеличить его собственные вины*, чтобы путем глубокого презрения, *самоуничижения* причинить ему страдания той глубины, какая у меня самого являлась наполовину следствием внешних обстоятельств. Сколько бы я тогда (отчасти и со слов других) ни винил бы и ни ²⁰ казнил себя презрением, какой-то *внутренний голос* зывал во мне постоянно о пощаде; он говорил мне, что условия и другие близкие люди еще, пожалуй, хуже меня самого, и я убедился позднее, что это было не совсем *пристрастие*, а в значительной мере правда; с переменной даже и не всех людей, а только обстоятельств, — и я стал другой.

Конечно, это я теперь так разбираю свою юношескую комедию, но тогда все это было мне не так ясно. Я помню только, что мне вдруг стало гораздо *легче*, когда я написал ³⁰ два действия. Я не хотел прочесть рукописи ни родным своим, *ни той девице*, чтобы она не узнала меня в Кирееве и не судила бы об душе моей хуже, чем она была в самом деле. Я прочел ее только двум товарищам: тому Мефистофелю-Георгиевскому, который отравился, и другому Ер—ву, который и теперь жив и стареет в своем Нижегородском имении. С этого «второго» я списал внеш-

ность изящного Яницкого; — он был еще моложе меня, побогаче; танцевал прекрасно, ездил хорошо верхом; был иногда насмешлив, но больше как светский человек, а не как демон какой-то придиричвой и ненужной даже вовсе психологии. Я составил Яницкого из своей телесной болезненности, из ядовитости Г—го и из милой и светской внешности Ер—ва. Я презирал и жалел Киреева. Яницкого я любил и уважал.

Я пригласил их обоих раз после обеда и прочел им оба действия не спеша и с глубоким чувством.

Г—ий очень любил и понимал искусство. Он встал; его румяное и полное лицо утратило обычное выражение гордости и насмешки, оно стало радостным; он обнял меня и сказал: «Ну вот, Костя, что ж ты жаловался? Вот тебе и награда за страдания твои. Это настоящий талант!» — А Ер—в судить тогда об искусстве еще не брался твердо (ему было 20 лет) и сказал мне другое: «Знаешь, как странно видеть в своем близком знакомом вдруг такого даровитого человека!.. по правде сказать, я и не думал, что ты можешь так серьезно писать!» Как меня все это ободрило и утешило — сказать не могу! Однако мне хотелось найти себе протекцию и поддержку в литературном мире. Я не решался верить только себе и этим молодым приятелям. Плохую же вещь я печатать не желал. Я ненавидел посредственность в искусстве.

Я стал думать, к кому пойти? — Я встречал Хомякова и Погодина, но они оба тогда мне вовсе не нравились лично. Сочинениям их я также не находил в душе моей в это время ни малейшего отголоска. Из незнакомых мне авторов я «за глаза» больше всех любил Тургенева. Но он был за границей. Я собирался идти то к гр. Ростопчиной, то к Евг. Тур. Но первую, судя по ее собственным стихам, я не считал хорошим критиком, а ко второй, не помню почему, все колебался идти.

Мой Г—ий советовал тоже найти покровителя, но прибавлял: «Ты смотри однако — всем этим известностям не слишком уж верь. Они тоже ошибаться могут. Не верь им

во всем. Верь себе больше, — своему чувству; у тебя талант может выработаться большой. Скажут тебе — это дурно, это хорошо; а ты не слишком верь. Вот хоть бы этот Тургенев, — сам ведь он талант не первоклассный: описания его уж становятся скучны; у гениального писателя картина, заметь, никогда не похожа вполне на жизнь; она или лучше, или хуже жизни. У Гоголя она преднамеренно хуже; а у Тургенева эти „Записки охотника” так мелочны! Они производят точь-в-точь то впечатление, как сама жизнь. Не поддавайся поэтому вполне никому и иди своей дорогой. Ты можешь много сделать».

Мне было, конечно, лестно все это слышать от Г—го; но я тогда не в силах был понять всю оригинальность критики этого гениального юноши. *Только лет тридцати с лишком я дорос до него* и стал понимать, что перед судом строгого искусства — Тургенев *не совсем то*, чем можно быть и чем его провозгласили. Особенно эти прославленные «Записки охотника».

Но в то время эти нападки Г—го на Тургенева не последнего унижали в моих глазах, а заставляли меня лишь сомневаться в правоте первого. «Если он не ценит Тургенева (думал я), то могу ли я сам полагаться на его суждения и его похвалы?»

Каково было мое удивление, когда через несколько лет два человека, более нас обоих опытные и гораздо более начитанные, сказали мне о Тургеневе почти то же самое; но я даже и этим людям не верил вполне, а поверил только своему собственному чувству гораздо позднее, лет через семь и более! Один из этих строгих критиков был М. Н. Катков, в то время человек еще никому почти не известный, удаленный от должности профессора философии, скромный редактор весьма тогда скромных «Московских Ведомостей». Другого я не назову, потому что он жив и я не знаю, желает ли он, чтобы я назвал его.

Итак, я все не решался, к кому мне идти за советом и помощью.

Раз вечером я пришел к родным моим, Охотниковым, на Пречистенке и сел у круглого стола под лампой, беседуя с одной девицей. На столе лежала газета. Я газет не любил и не читал; но на этот раз случилось иначе. Я говорил с молодой девушкой о моих затруднениях, говорил о Тургеневе и случайно раскрыл газету. Вдруг вижу объявление: «Николай Сергеевич и Иван Сергеевич Тургеневы вызывают должников и заимодавцев скончавшейся матери своей такой-то; дом Лошаковской, на Остоженке».

10 Это было почти напротив моей квартиры. Я показал *т-Ше Sophie* газету, и мы оба удивились. Я ушел домой и на другой день утром часов в 9 с стесненным сердцем понес свою рукопись Тургеневу.

Человек пошел доложить. Тургенев жил на антресолях. Как я ни был занят своим делом, но *объективность*, как и всегда, не покидала меня и тут. Я не знал ни наружности, ни состояния Тургенева и ужасно боялся встретить человека *не годного в герои*, некрасивого, скромного, небогатого, одним словом, жалкого труженика, которых вид и тогда уже прибавлял яду в мои внутренние язвы. Терпеть не мог я смолоду бесцветности, скуки и буржуазного плебейства, хотя и считал себя крайним демократом. Герои Тургенева были всё такие скромные и жалкие. Ни Рудина, ни Лаврецкого он еще не произвел в то время. Однако меня скоро позвали, и я был приятно поражен. Тургенев любезно встал мне навстречу и, подавая руку, спросил, что мне угодно?

20

Росту он был почти огромного, широкоплечий; глаза глубокие, задумчивые, темно-серые; волосы были у него тогда темные, густые, как помнится, несколько курчавые, с небольшой проседью; улыбка обворожительная, профиль немного груб и резок, но резок барски и прекрасно. Руки как *следует* красивые, «*des mains soignées*», большие, мужские руки. Ему было тогда с небольшим 30-ть лет. Одет на нем был темно-малиновый шелковый шлафрок и белье прекрасное. Если бы он и дурно меня принял, то я бы за такую внешность полюбил бы его. Я ужасно был

30

рад, что он гораздо героичнее своих героев. Ни слова почти не говоря, я сел против него в большое кресло и начал читать ему свое сочинение. Он закрылся руками и прослушал около четверти часа; но потом прервал меня и сказал, чтобы я оставил ему рукопись, что он прочтет ее лучше сам и обдумает. Назначил мне на другой день зайти утром, сделал мне еще несколько вопросов об университете, о том, давно ли я учусь, давно ли пишу и т. д.

На другой день я зашел, но мне сказали, что он очень болен сердцебиением и что у него был сам Иноземцов. Через день ему стало лучше; он меня принял, и мы долго беседовали. 10

Может быть, здесь кстати будет упомянуть и об его впечатлениях; мне об них, смеясь, рассказывали позднее общие знакомые.

— Сижу я поутру дома (говорил им Тургенев). Накануне ко мне приносил свою драму незнакомый армейский офицер. От бумаги ужасно пахло жуковым. Там была какая-то графиня и обольститель, и такой благородный один офицер, верно это себя описывал автор... Вещь никуда не годная. Я второй раз уже не принял его и выслал ему вниз записку, что драма, по моему мнению, не может быть напечатана. Он при человеке моем ужасно рассердился, разорвал мою записку и ушел. Только что он ушел, докладывают — студент. Входит очень молодой человек, белокурый, в вицмундире, с треугольной шляпой и с рукописью. Говорит, что его фамилия Леонтьев, жмет мне руку, извиняется, что у него нет шпаги, потому что отдал чинить в ней что-то, и потом ни слова больше не говоря, садится и читает. Читал он не слишком хорошо, и поэтому я предпочел сам посмотреть рукопись. И тотчас же увидел, что это совсем не то, что у офицера... 20

В глаза Тургенев говорил мне также много ободрительного и лестного.

— Ваша комедия произведение болезненное, но очень хорошее; особенно для вашего возраста это очень много. Видно, что вы не подражаете ничему, а пишете прямо от 30

себя. Ваша тетка, например, не похожа на моих теток или на теток Гончарова. Искренности также много. Ваш герой — больной ребенок, но поэтому он и может возбудить участие. Она у вас не совсем кончена; кончите ее, и я с радостью ее напечатаю. Насчет цены я постараюсь выхлопотать вам сразу 75 рублей. Так устроился Писемский; я и Григорович получаем только 50 рублей за лист; за эту цену (за 50 руб.) я вам ручаюсь.

Он спрашивал, нет ли у меня еще чего-нибудь начатого и просил принести. Я принес ему две-три первые главы романа, который я начал почти в одно и то же время с комедией. Название романа было: «Булавинский завод». Недалеко от Калуги был сахарный завод Унковского, которого окрестности мне очень нравились. Это-то место я выбрал для своего романа. Огромный сосновый бор; «серо-зеленые» холмы и по ним «сбегают кудрявые дубки и березы». Завод в стороне, а на одном холме созданный моим воображением просторный и теплый, новый деревянный домик; «свежие бревна, необшитые тесом»; зелень вокруг, а зимой «морозным вечером — красные шторы на освещенных окнах». В этом милом домике на веселой опушке дремучего бора, в здоровом воздухе, я поместил своего героя — доктора Руднева. Руднева и Киреева я создавал в одно и то же время. И тот и другой был я, и ни тот, ни другой не был мною. Если Киреев был богаче меня, был независимее и лучше моего поставлен в московском обществе, — Руднев зато был еще беднее, он нуждался в хлебе; он был сирота; у него не было, как у меня, прекрасного материнского прибежища, — родного имения, красивого, тенистого нашего Кудинова! Киреев был здоров. Руднев был болен грудью, как я. Руднев был доктор, как я.

Все свое малодушие, все свое слабое я придал Кирееву; все солидное, почтенное, серьезное, что во мне было, я вручил Рудневу. Я отдал Рудневу всегдашнюю серьезность и честность моей мысли, мою выдержку в занятиях (даже и в медицинских, которых я не любил), мою жажду

знания, мое *grübeln* и осыпал его зато *внешними* невзгодами, как осыпан был ими я сам.

Сверх того в Кирееве была моя дворянская, «светская», так сказать, сторона; в Рудневе — моя труженическая. Я сделал Руднева любящим медицину, как любил бы, вероятно, ее и я, если бы мечты о службе искусству не охлаждали бы меня к ней.

Я услал Руднева из столицы в лес управлять заводом и именем богатого молодого помещика Булавина и лечить его крестьян, ибо я и сам мечтал тогда много об этом. Я хотел быть *один*, хотел быть подальше от родных, хотел быть «в лесу», здоров, деятелен, *полезен бедным*, и вместе с тем независим. Еще я хотел одного... Я хотел иметь молодую, очень молодую возлюбленную, простую, короткую, послушную, которая бы не требовала от меня все высокого и высокого, как требовали девицы нашего круга, а только доброго и доброго...

По мере того, как я писал и переживал это, еще недоступное студенту, будущее почти независимого, сельского врача, душа моя все веселела и смягчалась, и требовала нового и нового! Захотелось мне съездить в Петербург, и вот Булавин выписал Руднева в столицу на два месяца (не более)!.. На радостях, что я такой дельный доктор и что я «в лесу», и что грудь прошла, и что у Паши волосы как лен и платье зимнее из серой материи с белыми полосками и синий бантик, — на этих радостях захотел я еще добра и добра... Кого бы пожалеть?.. Кого еще полюбить?.. Я придумал для Руднева сироту — младшего брата, юношу молодца и красавца, которого он взял с собой из Москвы в свой «лес».

Потом явился еще машинист, молодой француз Огюст, воспитанный в России, знакомый давно с русской жизнью, ловкий, *bon enfant*... Вот начало романа... А дальше я не знал и сам, что будет! Но писать эти три-четыре главы было для меня тогда блаженством!

Тургенев прочел их и нашел, что они еще лучше «Женитьбы».

— У вас большой талант, — сказал он; — Руднев другое лицо; это уже не больной ребенок, как Киреев, а человек физически болезненный, но сильный мыслью и духом; он предан науке. Это лицо вовсе новое. Описания ваши очень милы. Эти *серо-зеленые холмы*, например. Это правда: в таких местах много серого моху. Этот завод, мальчик-брат — все это очень кстати. Не портите только вашего таланта каким-то юмористическим любезничаньем с читателем... К чему это вы говорите вдруг по поводу копоты: «И забор, *не ускользнувший от проказ заводской трубы*». Вы видели это, может быть, у кого-нибудь другого. Но помните, что эти выходки и у самого Диккенса вовсе не хороши. Не острите, бросьте это; у вас может выработаться спокойное, светлое или грустное мирозерцание, но этого рода ложную юмористику вы оставьте. Это не ваш удел! Кончайте вашу комедию и ваш роман, и я их напечатаю в Петербурге. Не торопитесь; не портите вашего таланта и не давайте, без моего совета, редакторам эксплуатировать себя; они рады заставить вас писать фельетоны и т. п. дрянь.

Эти первые свидания с Тургеневым приходились весной 51-го года, через несколько дней он уехал в Орловскую губернию на лето, а я к матери, в Калужскую.

Летом я не спеша отдал мою комедию совсем и послал ее Тургеневу. Конец вышел еще лучше начала. Создание Руднева, похвалы Тургенева, нескрываемое удивление многих близких людей, когда я рассказывал им о моих разговорах с этим писателем, хотя тогда еще и не прославленным, но все-таки уже достаточно известным, — все это возвысило меня в моих собственных глазах и отдалило меня от глубоко униженного *Киреева*... Память о нем, об его ошибках и недавних страданиях была еще настолько свежа, что теплота в выражении чувств сохранилась, а мое от него постепенное отчуждение помогло мне лишь больше уяснить себе все образы и все душевные движения действующих лиц.

Вместе с комедией я послал Тургеневу еще один отрывок *стихотворный*, — начало небольшой поэмы, писан-

ной плохими гекзаметрами. И эти стихи я сочинил *все в ту же зиму*, в которую начал и «Женитьбу по любви», и «Булавинский завод». Несмотря на самые неблагоприятные и даже мрачные условия со стороны здоровья, семейных отношений и т. д. (обо всем этом я говорил уже) в эту ужасную зиму из души моей каким-то неудержимым ключом и почти вдруг стало бить литературное вдохновение! Я до сих пор даже и понять не могу, когда я успел все это вообразить, обдумать и написать! Тем более мне это кажется странным, что на лекции я все-таки довольно аккуратно ходил; в первый раз после долгого отвращения и тяжелой борьбы стал «препарировать» в анатомическом театре мускулы и жилы на отрезанных мертвых руках и ногах; делал физиологические опыты под руководством старого профессора Глебова и заслужил даже его одобрение за представленный ему отчет о роде страданий и об образе смерти одного несчастного голубя, которому сам Глебов насквозь проткнул булавкой полушария большого мозга. Мне дали этого голубя на дом для наблюдений над припадками, которые должны были последовать за таким важным повреждением. Мне помнится, что голубь прожил с булавкой в большом мозгу — дня три в спокойном, хотя и оцепелом состоянии, но на четвертую ночь стал так громко биться и трепетать крыльями, что я проснулся и присутствовал при его кончине. Помню, что, умирая, он все вертелся в одну сторону; не знаю, как теперь учат, а тогда (если мне не изменила вполне «медицинская» память) нас учили, что этого рода неправильное движение случается при поражении мозжечка с одной стороны. Утром я вскрыл осторожно маленький череп мученика науки, нашел, что мозжечок действительно был поражен, и написал свой отчет. Я упоминаю здесь об этом случае лишь потому, что, повторяю, сам не могу постичь, как и когда я успел в эту зиму столько настрадаться за себя и даже за других, столько прочесть, столько передумать и перечувствовать нового; столько написать и вместе с тем удовлетворительно приготовить к экзамену! В первый раз я тогда

стал резать сам трупы; в первый раз коснулся руками холодного и гниющего человеческого тела; в первый раз узнал, что такое глубина и жестокость *молодого* отчаяния (оно нестерпимо, хотя и скоро проходит); в первый раз делал физиологические опыты над живыми существами; в первый раз написал и эти, хоть сколько-нибудь да сносные, стихи.

Тургенев тотчас же по получении моих рукописей отвечал мне длинным и самым любезным письмом. Это *первое* его письмо покажется, вероятно, многим читателям довольно скучным, ибо он очень внимательно и подробно занимается в нем стихосложением и метрической, так сказать, критикой моих гекзаметров; я нахожу, однако, необходимым поместить его здесь, не только потому, что оно *первое*, но еще и потому, что оно делает большую честь его доброму сердцу и его литературной добросовестности. Пусть оно само говорит за себя; кому надоест разбор неправильности стихов, тот все это пропустит, пробежав лишь глазами.

20

С. Спасское
12 июня 1851 г.

Милостивый Государь
Константин Николаевич.

Я получил ваше письмо и посылку вчера и, видите, не замедлил ответом. Вы не почли нужным, как вы говорите «*рассыпаться* в изъявлениях благодарности» — я, с своей стороны, избавлю и вас от уверений в искреннем моем участии к вашему таланту; лучшим доказательством этого ³⁰ участия послужит подробность и добросовестность моих заметок.

Начнем с ваших гекзаметров. Прилагаю их к этому письму вместе с таблицей всех чисто метрических ошибок, найденных мною в ваших стихах. Вы извините за откоро-

венность: вы до сих пор не имели точного понятия о гекзаметре. Но это не должно вас опечалить; вы владеете языком, выражения ваши живы и счастливы — овладеть размером вам будет очень легко. Позвольте сообщить вам несколько замечаний о гекзаметре, которые, я надеюсь, не будут вам бесполезны, и не взъищите за наставнический тон.

Гекзаметр состоит из *шести* стоп, *пяти* трехсложных, в которых первый слог долгий, а вторые два коротких, и *одной* окончательной, усеченной стопы, состоящей из *одного* долгого и одного короткого слога. Вот его форма:

1	2	3	4	5	6
— ∪ ∪	— ∪ ∪	— ∪ ∪	— ∪ ∪	— ∪ ∪	— ∪
Жил был са	дов ник о	дин в о пу	стелом и	грустном и	мень и

Эта форма представляет *полный* гекзаметр. Греки, изобретшие этот размер, заменяли часто в одной, иногда в двух, иногда во всех стопах, *исключая пятой*, которая *всегда оставалась полной*, и последней, *шестой*, усеченной, которая *тоже никогда не изменялась*, — заменяли, говорю, короткие два слога одним длинным,* что придавало большое разнообразие и гибкость этому размеру. Повторяю, *пятая* стопа и *последняя* никогда не изменялись; они-то придают гекзаметру его характер, и потому оканчивать стих *мужскою* рифмой, слогом с ударением, как вы это делали, напри(м)ер, в полустишии: Яков садовник хранил — совершенно противно всем правилам и превращает гекзаметр в пентаметр.

* Напр., у них беспрестанно встречаются такие гекзаметры:

	1	2	3	4	5	6
	— —	— ∪	— —	— ∪	— ∪	— ∪
или:	— ∪	— —	— —	— ∪	— ∪	— ∪
или:	— —	— —	— ∪	— —	— ∪	— ∪
или:	— —	— —	— ∪	— ∪	— ∪	— ∪
или даже:	—	— —	— —	— —	— ∪	— ∪
						и т. д.

Далее, новейшим народам, перенявшим гекзаметры у греков, предстояло большое затруднение. Не имея, как греки, количественно-долгих и коротких слогов, независимо от ударений, имея только ударения, они, по-настоящему, могли ввести у себя только полный гекзаметр, заменив первый, долгий слог каждой стопы слогом с ударением:

' ' ' ' ' ' '
 — ∪ — ∪ — ∪ — ∪ — ∪ — ∪

10 Но, чувствуя однообразие этой формы, немцы первые
 решились, по мере возможности, заменять два короткие
 слога одним долгим, или, говоря точнее, слогом с ударением, т. е. вместо — ∪ ∪, ставить — '. Они это сделали не соображаясь с какими-нибудь произвольными, придуманными законами, не идущими к их языку (известно, что у греков постоянные законы определяют долготу слога), но с ухом, с мерой и духом, можно сказать, с музыкой языка. Главная задача состояла в том, чтобы читатель, не затрудняясь, тотчас прочел измененный гекзаметр так, каким его сочинил поэт, и эта задача была
 20 достигнута, эта попытка в руках талантливых людей удалась; но надо иметь талант и ухо, чтобы чувствовать, где именно возможно нарушить однообразие полного гексаметра введением длинного слога, вместо двух коротких. Вы сами в некоторых местах очень удачно это сделали. Не один читатель запнется, как прочесть следующий ваш стих:

1	2	3	4	5	6
— ∪ ∪	— ∪ ∪	— ∪	— —	— ∪ ∪	—
Только и	было, что	пять; од	на над	продом в де	ревне.*

* Полный гекзаметр был бы следующий:

— ∪ ∪ — ∪ ∪ — ∪ ∪ — ∪ ∪ — ∪ ∪ — ∪ ∪

Только и было, что тридцать; одна над рекою в деревне.

в котором у вас две стопы среди, 3-я и 4-я, состоят из двух долгих слогов, — или этот стих:

1	2	3	4	5	6
— ∪ ∪	— ∪ ∪	— ∪ ∪	— —	— ∪ ∪	— ∪
Жизнью ки	пящих, счас	таивых и	сильных,	злою на	смешкой.

в котором у вас 4-я стопа состоит из долгих.

Воейков в следующем гекзаметре:

1	2	3	4	5	6
— —	— ∪ ∪	— —	— ∪ ∪	— ∪ ∪	— ∪
Здесь сквозь	доски по	ла визж	ит, заце	плясь зу	бами

10

Гнедич в переводе «Илиады» часто весьма удачно изменяли полную форму. Очень жаль, что Жуковский не понадеялся на свое умение владеть стихом и всю «Одиссею» перевел полными гекзаметрами, что производит утомительное однообразие и стукотню. Конечно, оно легче, удобнее и, положим, даже правильнее, но, повторяю, лучше тогда совсем бросить этот размер. Только, разумеется, надобно умеючи вводить долгие слоги (правильнее, слоги с ударением, потому что количественно-долгих слогов в новейших языках нет, но мы для краткости будем их называть долгими). Правила, как это делать, предписать невозможно, но некоторые намеки могут быть даны:

20

а) Никогда не должно превращать в долгий слог незначительную частицу или незначительный слог в слове, на которых неестественно остановиться, как вы это сделали в 55-м стихе:

— ∪ ∪ — ∪ ∪ — ∪ ∪ — — ∪ ∪ — ∪
Думать должнó, что заглох он от неухода и пищи.

что ужасно дерет слух.

б) Также надобно наблюдать, чтобы первый, долгий слог стопы, следующей за стопой, превращенной в долгую (— —), был не частица или незначительный слог, как, напр., у вас в 60-м стихе:

— ∪ ∪ — ∪ ∪ — — — ∪ ∪ — ∪ ∪ — ∪
Темную кровлю казал, как бы наблюдая тихонько,

где после продолженной стопы — зал как — читатель принужден сделать ударение на *бы*, что неестественно.

с) Должно стараться, чтобы продолженный слог — слог, представляющий собою два коротких слога, имел либо значение в стихе, как напр. (см. выше),

— ∪ ∪ — ∪ ∪ —
Только и было, что пять и т. д.

либо, чтобы за ним следовал знак препинания, что позволяет голосу остановиться, как напр.:

10 — ∪ ∪ — ∪ ∪ — ∪ ∪ — — — ∪ ∪ — ∪
Ягод багровых пучки выставляла. Ландышей скромных

Но, повторяю, правила для употребления этой вольности должны находиться в ухе поэта, и если вы на свое ухо не надеетесь, пишите, так и быть, исключительно полными гекзаметрами. Но где больше труда — больше и чести.*

20 Что же касается собственно-поэтического достоинства отрывка, то он свеж и картинен. Не могу, однако, не заметить, что *младые прогрессисты* в 90-м стихе неприятно поражают слух и что не худо бы вам отвыкнуть от таких оборотов, как напр., «клен-то не шибко здесь рос по себе», что я, помнится, называл вам любезничаньем и что вовсе не идет к вашему ясному и спокойному поэтическому взгляду. Еще замечу вам, что ревенем, точно, пахнет тополь, только не серебристый. Но мне весьма было бы приятно знать, что вы продолжаете вашу поэму, соображаясь с метрическими правилами, а метрические правила соблюдать так легко, что право, не стоит нарушением их вредить впечатлению читателя.

30 Я так подробно распространился о ваших гекзаметрах, что не имею более времени говорить как бы следовало о вашей комедии. Я третье действие прочел со вниманием; оно не переменяло моего прежнего мнения: это сюжет, не

* В подлиннике следуют подробные указания на метрические ошибки в произведении.

говору не сценический, но антидраматический; интерес в нем даже не психологический, а патологический. Но со всем тем это вещь замечательная и оригинальная. Я исполню все ваши поручения — пошлю вашу комедию к Краевскому с письмом к Дудышкину, критику «О〈течественных〉 З〈аписок〉»; но я об этом еще поговорю с вами в другом письме, в котором я выскажу вам все свое мнение о вашем произведении. Я надеюсь, что в августе месяце вы непременно будете иметь деньги.

Пока будьте здоровы, работайте. Смею думать, что вы теперь не сомневаетесь в желании моем быть по мере сил полезным вам и вашему таланту; надеюсь, что со временем к чувству литературной симпатии прибавится другое, более теплое — личное расположение. Желаю вам всего хорошего.

Ваш покорный слуга *Иван Тургенев*.

Таково было это первое письмо Ивана Сергеевича. Могло ли оно не ободрить двадцатилетнего мальчика?

Сила его действия удваивалась, помню, еще и бескорыстной радостью тому, что сам Тургенев так красив, так ростом велик и плечист, такой «барин»! Мне было приятно быть обязанным человеку, который мне так нравился. Я радовался даже тому, что он богат.

Все некрасивое, жалкое, бедное, болезненное с виду ужасно подавляло меня тогда, не оттого, чтобы я был сух или несострадательен, а напротив, потому, что я при первом переходе моем из отрочества в юношеское совершеннолетие, принимал все слишком близко к сердцу и в иные минуты уж было мне и не под силу всех и все жалеть, начиная с самого себя и кончая каким-нибудь беззащитным щенком, над которым профессора наши Севрук и Глебов делали такие жестокие опыты!

Еще бедное, истерзанное сердце мое не окрепло, не возмужало, не притерпелось, и мне было так приятно порадоваться хоть на чужую силу, на чужую красоту или на

богатство, доставшееся хоть не в мои, но в хорошие руки, в руки человека, по моему мнению, достойного всякого счастья.

Я помню это лето (51-го года) в нашем калужском имении. Карамзин сказал про свою первую молодость: «Я помню восторги но не помню счастья». Мне захотелось, говоря об этом лете в родной деревне, привести эти слова Карамзина, только немного изменяя порядок их: «Конечно, — я не помню счастья, но помню восторги!» Да, я их помню, и обязан я был ими больше всего Тургеневу.

Я помню одну летнюю ночь... должно быть в июле месяце. Я долго не мог заснуть от необычайного возбуждения мыслей и каких-то неясных, но восхитительных чувств. Открытое на всю ночь окно моей комнаты выходило в сад. Сквозь марлеву заставку при сильном лунном свете я видел, хотя и смутно, большие липы нашей огромной густой аллеи; видел яблони и груши, знакомые с детства; с полей созревающей за садом ржи раздавался посреди безлюдья громкий крик коростелей... Мало ли сколько раз я слышал этот крик и прежде, и после, но ни разу ни прежде, ни после, этот знакомый крик не действовал на меня так сильно, так поразительно, торжественно и странно!

Конечно, не одно это милое и столь ободрительное письмо было причиной моего приятного душевного возбуждения в это достопамятное для меня лето... Были и другие обстоятельства, благоприятные для хорошего настроения моего духа. Особенно — два. Одно из них, для меня очень важное, было прямо связано с мыслями о Тургеневе, — вытекало из знакомства с ним; а другое было совсем случайное, но тоже в моих глазах весьма существенное. Впрочем, я помню, что при тогдашних размышлениях моих и об этом втором, случайном обстоятельстве, хотя на мгновение, но все-таки являлся передо мной с безмолвным благословением призрак моего поэтического орловского помещика. Если бы я на этот раз (только на один этот раз!) — был бы французом или был бы уверен,

что могу правильно писать по-французски, то я выразился бы между прочим так: ...«l'image noble et gigantesque de mon généreux protecteur!» — или вообще в этом роде — вместо этих простых слов «призрак»... Но у нас не полагается так писать. У нас ведь прежде всего надо упомянуть о том, как кто-нибудь «сопел, глаза протирая, плевался, сюсюкал, хихикал» и т. д...

Первое благоприятное для моего настроения обстоятельство, вытекавшее отчасти, как я сказал, из этого счастливого знакомства с Тургеневым, было то, что я именно в это время задумал впервые и решил прервать, наконец, все сношения с Алексеем Георгиевским. Решение это, не без долгих дум и не без борьбы, созрело и окрепло в душе моей за это лето так сильно, что я тотчас же, по возвращении моем осенью в Москву, привел его в исполнение, и гораздо легче и смелее, чем сам от себя ожидал.

Г—ий становился все несноснее, придирчивее, несправедливее и неделикатнее; и замечу, только с теми из сверстников, с которыми он был близок, в привязанности которых он был уверен. С остальными людьми он был осторожен, вежлив и даже иногда любезен. Для меня все это было истинной загадкой: сам я решительно подобных чувств и склонностей не понимал. Другого друга своего (нашего же калужского товарища П—ва) он довел своими жесткими шуточками и насмешками до того, что П—в решительно выгнал его из квартиры своей. Но Георгиевский от избытка самомнения стал выше этого, обратил все это в шутку и пришел с какими-то карикатурными ужимками к нему просить иголки и ниток для починки казенного носового платка (он был казенным студентом). П—в, который славился у нас еще прежде упорством и твердостью характера, доходившей иногда и до тупого упрямства, — не устоял против этого паясничанья своего даровитого друга и примирился с ним. Я помнил этот недавний случай крепко, и молчаливое, затаенное негодование мое на Гергиевского было уже так сильно, что я оказался непоколебимее упорного П—ва.

Привязанность моя к Г—му, в начале университетской жизни нашей столь искренняя и пылкая, начала, положим, уже и зимой остывать под влиянием тех вовсе ненужных и злых гадостей, которые он нам с П—м постоянно говорил; раз я даже на извозчике сказал ему по поводу одной его выходки:

— А знаешь ли ты, что за это по лицу бьют?

Он, как и всегда, нашелся: «Пока меня не ударили, мне право — все равно!»

¹⁰ Драться мы в саях и в треугольных шляпах на улице, конечно, не стали; но я ничего не забыл и все собирал воедино в негодующем сердце моем.

От разрыва меня долго удерживали два чувства; — одно внушало мне какие-то тончайшие сомнения в своей собственной правоте, сомнения уж слишком добросовестные и строгие к себе до несправедливости. Мне часто думалось тогда: «истинно умный человек не может не быть добрым и справедливым. Г—ий так удивительно умен; как же может он быть недобр и несправедлив ко мне, который ²⁰ его так любит и которого беседы, ум и дружбу он сам предпочитает обществу и дружбе всех других людей! — *Надо еще размыслить: не прав ли он? Может быть, и я виноват? Может быть, я чего-нибудь не понял, а он, конечно, уж все понимает!*»

Глупые мысли неглупого мальчика, у которого от боли сердечной и обид ум зашел за разум!.. Именно зашел дальше, чем нужно было...

И вот я все искал, чем бы его оправдать, а себя обвинить, и найти не мог. Обиженное сердце с величайшей ³⁰ болью протестовало против всех изысканных и самоукоряющих доводов сбитого с толку ума.

И я все более и более (ничего ему об этом не говоря) начинал, после двухлетней веры в непогрешимость его «гения» и даже его нравственного суда, — *предполагать, что даже и он может быть неправым.*

Другое чувство, которое долго мешало мне прекратить с Г—м все сношения, была потребность так называемого

«обмена» мыслей высшего порядка. Я около себя не находил, кроме него, ни одного человека, с которым бы я мог так много, так свободно и так «современно», как говорится, рассуждать о Пушкине и Гомере, и Гоголе и Белинском, о любви и дружбе, о вере и безверии, об общих началах науки и поэзии. Говорили многие довольно умно, читали... Но мне всего этого было мало, а его независимый и мощный ум не только удовлетворял, но даже и подавлял меня беспрестанно.

Как только я познакомился с Тургеневым, как только Тургенев признал во мне талант, я понял, что *теперь* я в силах буду найти себе и помимо Г—го собеседников «наивысшего порядка» и что мой самодовольно-ядовитый и без достаточной причины придирчивый товарищ мне уж не так необходим для умственной жизни, как я с полгода тому назад воображал.

И вот, гуляя один по нашим живописным кудиновским рощам и липовым аллеям, я думал, думал, думал и... и надумался...

Какая-то струна в сердце моем от этой думы, долгой и упорной, — перетерлась и порвалась раз навсегда, невозвратно!..

Пока я воображал смиренно, что мой ежедневный обвинитель и жестокий судья — непогрешим *мыслью* своею, я не смел, *во имя идеальной правды*, расстаться с ним. Пока я боялся, что без него мне не с кем будет говорить о том, например, какая разница в характерах у Онегина, Печорина и Бельтова («Кто виноват?») и *на которого из них лучше быть самому похожим* в жизни и т. д. Пока я боялся, что некем будет с этой стороны заменить его — я терпел. *Теперь* — я не желал более терпеть и не боялся с ним рас-³⁰статься.

В начале сентября, в Москве, когда начались уже лекции, Г—ий пришел ко мне вечером. У меня в это время сидел еще другой молодой человек, некий русский-француз Эж. Р., давний тоже калужский сверстник и приятель, также весьма неглупый, но совсем в другом роде: просто-сердечный, веселый, легкомысленный и добрый.

Начался разговор и очень скоро перешел на литературу.

— А ты как там не толкуй, молодой писатель, — сказал Г—ий, — а твой Тургенев все-таки немного мелкопоместен (Г—ий любил придумывать такие необыкновенные выражения). — Вот, например, этот «Бежин луг». К чему эти подробные описания всех этих облаков утром... Помнишь?.. уж больно густо! Подумаешь, человек для того пишет, чтобы побольше за лист взять... «Дадут за лишний лист, да еще скажут про меня — „художник!”»
10 (Слово «художник» он произнес с насмешливой, сентиментальной ужимкой и претенциозным голосом.)

Я возмутился и отвечал:

— Послушай, что ты говоришь «за лист»... Ведь у него больше тысячи душ крестьян! Он получает по 50 р. с. за лист; сколько ж за это описание придется? Быть может, 5 рублей.

— Ну, так вот: «художник!», — повторил он тем же тоном и потом продолжал: — Перечел я недавно «Наташу» и «Аптекарьшу» графа Соллогуба. — Вот это чувство!
20 и простота, и художественность настоящая... На что уж я, кажется *on ours*... Как это у вас, господа, говорят?.. *Un ours*... уж не «*moscovite*» даже, а «*de Borowsk*»... а кончая «Наташу», заплакал... И «Аптекарьша» тоже — какая искренняя и прекрасная вещь! Эти немцы русские в уездном нашем городке и немцы немецкие в Дерпте... Эта девочка в коленкоровой шляпе, дуэль, старик профессор!.. Прелестно!.. «Мысль обрела язык простой и голос страсти благородный»... А у Тургенева все какие-то штучки, вроде комизма или юмора — как будто что-то и гоголевское... Да
30 куда! Далеко кулику до Петрова дня!.. А хочется тоже! Нет, брат, как хочешь, мелкопоместен он, мелкопоместен... Я думаю, он никогда не будет даже в силах написать длинную и серьезную вещь. Вот Писемский — хоть твоей, так сказать, женственности, «Тюфяк» его и противен, я знаю... А он скорее Тургенева создаст объективное и сложное произведение... Даже вы, молодой автор, вы, я полагаю, скорее Тургенева способны сочинить сложный

план большого романа... Конечно, надо стараться, *мал-дой че-к*, надо стараться! — прибавил он уже с веселым добродушием, представляя какого-то начальника.

На все это я ответил только, что я с этим не согласен и, может быть, даже и *не понимаю* всего этого.

Г—ий в ответ на это продекламировал свое четверостишие, сочиненное им еще прежде не на меня, а на другого нашего товарища, лирического стихотворца:

Ты многого не понимаешь,
И многого, быть может, не поймешь!
Ты только то порядочно поешь,
Что сам в себе лишь замечаешь.

10

— Впрочем, (поспешил он прибавить), — второй стих к тебе не приложим. Ты «многое со временем поймешь», «чего теперь не замечаешь»... Вот, *граф*, как я для вас это... *перефра?*... *пере?* *фрази?*.. *Перефрадьяволил?*..

Такой обычной ему выходкой кончил Г—ий свой жестокий критический поход на Тургенева, которого слава была еще далеко впереди.

Каково было мое удивление, когда *лет через десять*, ²⁰ *если не более*, я начал вдруг находить, что этот сын бедного боровского «приказного», ничего кроме калужской гимназии прежде не видавший, незнакомый вовсе с иностранными языками, *несравненно* менее меня с ранних лет начитанный (я уже и в детстве много вовсе *не-детского* — успел прочесть и по-французски и по-русски), — что он был, если не во всем и не совсем, то *почти* все-таки прав в своей строгой художественной оценке!

Но это понимать я стал уже *тридцатилетним* мужем, а он был до того способен, что в двадцать три года опережал не только нас, ровесников, но даже и *будущую критику* и русскую, и иностранную. Нельзя, разумеется, и теперь не ценить таланта Тургенева, но нельзя же и равнять его, напр(имер), хоть бы со Львом Толстым, а в некоторых отношениях его надо поставить ниже Писемского, ниже Достоевского, ниже Щедрина. По лиризму гораздо ниже

30

Достоевского; по широкой и равномерно разлитой объективности — ниже Писемского; по силе ядовитого комизма (от которого Тургенев был все-таки не прочь) и по пламенной сатирической злобе — ниже Щедрина, за которым и не разделяющий его направления человек должен все-таки признать эти свойства.

Да! 21-го года — я был не в силах сравняться в силе критической с моим гениальным Г—м! Но самая эта сравнительная слабость мысли послужила *в то время* мне на пользу... Слабость мысли придала мне силу воли, силу решимости — покончить с ним сразу все!

Немного погодя, он собрался уходить. Я при французе нашем не хотел ничего обнаружить, а сказал Г—му: «Ну, хорошо, пойдем.. Я провожу тебя по двору до ворот». Эжен Р. сделал было тоже движение какое-то... (ночь была лунная, хорошая), но я взглянул на него так значительно, что он понял и остался.

Мы шли по двору сначала молча... Мне было больно, очень больно... Г—ий, наконец, догадался, что это не спроста, и полушутливо спросил, подходя к калитке: «Батюшки! Что это такое значит?»

— А то значит, — сказал я, протягивая ему руку, — что я прошу тебя никогда больше ко мне не ходить и, встречаясь, не заговаривать даже со мной, а оставить меня в покое.

Он тихо пожал мне руку и молча ушел.

Я вернулся к себе и со вздохом опустился на диван. И больно, и легко!

Мой опытный и живой Эжен начал спрашивать:

— Что такое? Что такое? Секрет?

Я рассказал ему.

Эжен, слушая, улыбался, не то одобрительно, не то скептически и, наконец, сказал:

— Однако, какой ты стал решительный! Ведь ты так любил его!

— Люди, голубчик, обучат решительности. Всему, и моей уступчивости, и моему ослеплению есть предел! —

возразил я этому доброму малому, который ни на что подобное по слабости и легкомыслию своему не был способен.

Я сказал, что слабость мысли придала мне силу решительности. Надо объяснить это.

Что часть критических нападок его на Тургенева была справедлива, я тогда понять не мог, а слышал только в речах его звуки какого-то личного злорадства; я прочел в них неблагоприятное желание отравить недавнюю радость товарищу, который так его любил, так смирялся перед ним¹⁰ и так много за последнее время страдал.

— Что-нибудь одно: или он все это в самом деле думает, или назло мне говорит. Если он говорит то, что думает, то он неправ *умственно*; значит, он ошибается как критик. — Что ж тут худого, что «Записки охотника» так похожи на жизнь этой милой мне русской провинции? «Мертвые души» эти, над которыми он, Г—ский, чуть не ежедневно с восторгом хохочет — *на жизнь все-таки не похожи*; все-таки в них изображена одна пошлая ее сторона... Я недавно только под его²⁰ влиянием *понудил* себя второй раз их прочесть; понял наконец, что художественность велика в самом деле, и все-таки, *молча*, пожал плечами и сказал себе: да мне до этого какая нужда! Я и без этой «великой поэмы» знал, что есть мошенничество, что от Петрушек и Селифанов часто дурно пахнет и т. д. А Тургенев научает меня, что хорошо и что дурно в нашей помещичьей жизни, что гуманно и негуманно, что поэтично и что пошло; он незаметно указывает мне, как мне вести себя. Он беспрестанно, кроме того, в «Записках охотника» напоминает³⁰ мне своими чувствами мои собственные, естественные чувства, когда я живу в Кудинове и езжу оттуда в уездные наши города, в живописный Юхнов или в Мещовск, или даже в Калугу... А так, как чувствуют действующие лица «Мертвых душ» или даже сам Гоголь, я никогда не чувствовал и *не буду... Не хочу...* Разве вот сравнение России с *тройкой!* Нет, Г—ий ошибается!

Это натяжка — это восхищение «великой поэмой», и для меня «Записки охотника» выше — и кончено!..

Такова была моя тогдашняя юношеская, *сердечно-тенденциозная* критика! Конечно, я был в этом не совсем прав, но я был прав в том, что в его рассуждении о Тургеневе я слышал некоторое злорадство. Если и признать, что слова его были искренни, то все-таки *аккомпанемент* этих слов, сердечная музыка его речей в этом случае была нечистая, недобрая.

10 Я бы не *так* и не *таким тоном*, кажется, говорил бы, если бы я был на его месте, а он на моем, подумал я.

Подумал я это, — авторитет его, и умственный и нравственный, вдруг пошатнулся; перетертая уже прежде струна бескорыстной, молодой дружбы лопнула... *и все было кончено — раз навсегда!*..

20 Три года еще мы пробыли вместе на медицинском факультете; встречались на лекциях; сначала издали иногда кланялись друг другу; я не чувствовал ни малейшего сожаления. Он один раз попытался было завести разговор; подошел, с радостным видом подал руку и сказал:

— Ты в лице так поправился, посвежел, и взгляд стал бойчее... Я очень рад...

— Да, мое здоровье теперь лучше, — ответил я и тотчас отошел прочь.

После этого, встречаясь изредка (мы впоследствии были на разных курсах), мы перестали друг другу кланяться.

30 Ненависть моя против него вначале, после разрыва, была так велика, что я несколько раз на лекциях, узнавши издали его голос или его какую-то особую, изысканную манеру покашливать, исполнялся злобою и с наслаждением воображал его убитым и лежащим передо мной на земле в крови... Это было совершенно произвольное движение сердца, и оно стало повторяться все реже и реже, по мере того, как я реже и реже встречал его. Я понемногу стал к нему равнодушен.

Жизнь моя текла с тех пор своим путем, и мысль моя развивалась, как ей было предначертано развиваться, без

всякого его участия. И с тех пор я никогда уже не отдавался никому душой и умом так безусловно... То сердечное и умственное рабство, с которым я прожил около двух лет тогда, уже ни разу и ни в какой форме не повторялось в моей жизни, и мне впоследствии времени нужно было делать даже усилия ума, чтобы вообразить себя в этом состоянии, чтобы понять, как это так могло со мной случиться и как это я мог так покорно его любить!

Тургенев не имел на меня и десятой доли его умственного влияния; а про чувство сердца или про какое-нибудь невольное подчинение воли и помину быть не могло, ибо сношения наши с Тургеневым для этого были сравнительно слишком поверхностны, и свидания даже слишком редки. 10

К тому же, восхищаясь Тургеневым всячески, признавая его авторитет настолько, насколько необходимо юноше признавать авторитет дарований и опыта в старших (чтобы не выйти самому надменным и грубым дураком), — я все-таки и тогда сознавал, что ищу в нем, до известной степени, и внешней силы, внешней для своих дел опоры, литературной протекции, ободрения, помощи, практических советов и т. д... А что в этом роде мог сделать для меня казенный студент Гсоргиевский, никому не известный и во всех отношениях в обществе хуже и ниже меня поставленный?.. Поэтому и чувство мое к нему было бескорыстнее, чем к Тургеневу, и мое «обожание» его ума безусловнее, чем почтение мое к дарованиям Тургенева. 20

Впрочем, взявши в расчет года Г—го, его слабую подготовку, его сравнительную необразованность и тесный, бедный, даже жалкий житейский круг, в котором он вращался, я готов, пожалуй, и теперь признать, что изо всех знакомых мне лично в жизни разнообразных людей, он был, быть может, и в самом деле самый гениальный по природным своим дарованиям. И, признаюсь, мне даже очень досадно, что я не могу гораздо подробнее и доказательнее говорить здесь об нем. 30

А все-таки мне стало гораздо просторнее дышать на свете, когда я в *это лето* (51 года) *решился* прекратить с ним сношения.

Другое обстоятельство, благоприятное для моего вдохновения, все в то же лето, было то, что ни один из моих старших холостых братьев не гостил на этот раз в нашем Кудинове. Они по многим причинам мне очень не нравились и во многих отношениях, вероятно, и сами того не подозревая, стесняли меня. Я не хочу здесь судить их строго или нападать на них; — оба они уже померли. Уж если нужно кого-нибудь по этому поводу строго судить, то скорее всего самого себя за слишком тонкую тогдашнюю эстетику мою... Я в то время стал находить, что поэт, художник, мечтатель и т. п. (особенно желающий сам быть по мере сил лично поэтичным) не должен иметь никаких этих братьев, сестер и т. д. Можно иметь мать; ну, пожалуй, почтенного отца; тетку добрую, дядю, наконец (особенно холостого и одинокого — это как-то лучше!). Но братья, сестры... Особенно братья...
20 Да еще старшие!.. Это несносно!.. Права — на фамильярность какую-то непонимание, неделикатность и т. д.

Я так стал думать, перейдя за двадцать лет, и продолжал держаться этого мнения очень долго... Нужно мне было дойти до 40 лет и пережить крутой перелом, возвративший меня к *положительной* религии, чтобы я был в силах вспомнить, что привязанность к родным имеет в себе нечто более христианское, чем дружба с чужими по своемувольному избранию сердца и ума. Христианство, конечно,
30 не запрещает и последней; оно даже одобряет иногда отчуждение от родных, если это отчуждение происходит по-человечески во имя веры; я не про это говорю; я хочу сказать только вот что: смирения перед волей Божией гораздо больше в принятии данных нам судьбою близких родных, без всякого участия нашей воли и вкуса, чем в том свободном избрании дружбы и любви, которым мы все так естественно расположены дорожить.

Разумеется, и христианин самый искренний и твердый в убеждениях своих может поссориться с близкими и удалиться от них; но он не станет из гордой поэзии какой-то обращать этого удаления и разрыва в принцип, в нечто вроде долга самоуважения.

Мое воспитание, увы! строго-христианским не было, и я уже в то время задумывался, как бы стать подальше от братьев и сестер (особенно от братьев), не огорчая слишком матери, которую я очень любил и жалел. И признаюсь, мне стало гораздо приятнее жить на свете, когда я со всеми ними (за исключением одного) прервал позднее и навсегда все сношения.

В тот год, о котором тут идет речь, конечно, недоброе чувство это не обратилось еще в систематическое правило, но оно было все-таки уже настолько сильно и настолько сознательно, что мне было несколько неприятно знать, что даже и у Тургенева есть ни к селу, ни к городу какой-то брат Николай Сергеевич. Утешал я себя, впрочем, тем, что Тургенев в своем Спасском живет и пишет один, и никто не мешает его вдохновению, никто не вертится некстати у него перед глазами в его возвышенном одиночестве...

Относительно себя и своей обстановки я уже и тогда утратил прежнее отроческое добродушие, которое радовалось и веселилось на многолюдство родной семьи, и начинал все больше и больше утверждаться в мысли, что в «моем» (не юридически, а душевно моем) Кудинове, где цветник на большом дворе так узорно-красив, где аллеи в саду так длинны и таинственны, где самый шум деревьев для меня как будто осмысленнее и многозначительнее, чем тот же шум в других местах, — что в этом Кудинове должно существовать только то, в чем я находил поэзию: мать умная, образованная, красивая, оригинальная, энергичная; тетка — старушка горбатая, приятно-безобразная, приятно-ограниченная, смиренная, набожная, меня не только любящая, но чуть не почтением меня почитающая; няня — чрезвычайно умная, несколько злая, но в высшей

степени оригинальная, безграмотная и русская вполне, но на простую, «классическую», добрую няню вовсе не похожа. И кроме этих трех старых женщин, кроме мужиков и дворовых кудиновских, и меня самого — никто бы не должен жить здесь! Здесь все должно быть поэтично и характерно! А братья мои, казалось мне, были ни то, ни се.

10 Положим, что в смысле строгого «вкуса» собственно, я был, пожалуй, и прав; и сверх того они, как старшие, позволяли себе в обращении со мной такие оттенки, которых я-то позволять не желал им более по мере того, как вырастало и созревало мое самолюбие. Все это так, положим.

20 Но, повторяю, если бы воспитание мое было более христианским, то и самое удаление мое от них не дошло бы (как оно впоследствии дошло) до враждебного с ними разрыва. Инициатива разрыва была моя и выдержка в нем до конца тоже моя. И я был против них много виноват и грешен! До этого было, впрочем, в 51-м году еще довольно далеко; но я помню очень твердо, что в *то лето* явилась у меня впервые ясная, сознательная мысль о том, что и с *ними*, с этими братьями, хорошо бы как можно реже видаться и что их отсутствие действует на меня очень приятно и даже вдохновительно.

30 При чем же тут Тургенев? Вот при чем: при много-сложной, болезненной, утонченной работе моей неопытной, еще не утвердившейся совести, при жестокой иногда борьбе «поэзии с нравственностью», при тогдашней моей *нравственной* требовательности от себя и *эстетической* придирчивости к другим, мне необходимо было для успокоения душевного узнать: *имею ли я право и основание так чувствовать и так думать?*

Мне нужно было проверить себя посредством хотя бы мысленного обращения к какому-нибудь признанному мною же авторитету. И вот я вызывал не раз из Орловской губернии сюда к нам, в Калужскую, тень изящного, даровитого и крайне доброго, гуманного, как я был убежден,

«Охотника» с его ружьем и собакой и говорил сам себе так:

Вообрази себе, в самом деле, что этот самый Тургенев вместо того, чтобы жить где-то около Мценска, был бы нам соседом и зашел бы усталый к нам с ружьем. Как бы теперь (когда братьев моих нет) ему бы все у нас понравилось! Не богато, но дом большой, удобный, и благодаря уму и тонкому вкусу матери — как все своеобразно и красиво! Красивее и милее, чем у многих богатых. Все бы ему понравилось: и сад — огромный, романтический, и дом веселый, и обед, и сама мать, и тетушка в чепце с перелинкой на большом горбу!.. а братья? — Нет, нет, они не могут нравиться человеку с высоким вкусом... Я ведь их не гнал отсюда и гнать даже ни власти, ни права не имею... Я *только рад, что их нет...* И, конечно, сам Тургенев, у которого и лицо такое доброе и которого сочинения так гуманны, не осудил бы мою радость, как радость жестокую или низкую.

Вот в каком смысле я говорю, что Тургенев *в это время*, сам того не подозревая, влиял издали даже на мою частную, личную жизнь, на мои вкусы, желания и на такие решения, от которых прочного поворота назад в жизни уже не бывает.

II

Поздней осенью Тургенев, проезжая в Петербург, пробыл в Москве несколько времени и виделся со мною не раз и познакомил меня с графиней С., в доме которой я потом встречал Кудрявцева, Грановского, М. Н. Каткова, П. М. Леонтьева, Е. М. Феокистова, графиню Ростопчину, Щербину, В. П. Боткина и раза два видел автора «Свадьбы Кречинского», Сухово-Кобылина. Это был тогда очень смуглый и очень красивый брюнет, собою видный, рослый, с чрезвычайно энергичным выражением лица. Он мне очень понравился.

Напротив того, В. П. Боткин, которого письмами об Италии я еще года за два до этого восхищался, читая их в «Современнике», пришлось мне вовсе не по сердцу. Тургенев стоял в красивой и богатой гостинице Мореля на углу Петровки. Я сидел однажды у него поутру и внимал его наставлениям. Кто-то вдруг постучал в дверь. Тургенев сказал: «войдите». Я был, конечно, очень раздосадован, что нам помешали... Вошел невзрачный мужчина средних лет, в темно-коричневом сюртуке, плешивый, бледный, с неправильными, но довольно выразительными чертами лица. Тургенев нас познакомил: «Вот г. Л—в, молодой, начинающий писатель; а это г. Боткин, писатель старый»...

— Да, старый, очень старый, совсем плешивый, — сказал Боткин весело и погладил свою лысину.

Я *таких* в то время не жаловал и на внешность обращал внимания гораздо больше, чем случается вообще с молодыми людьми моего тогдашнего возраста.

Эта склонность, вернее сказать, бескорыстное пристрастие к людям красивым, или физически сильным, или очень изящным с виду было тогда у меня в значительной мере сознательное, даже пожалуй систематическое. Почему? Я объяснить здесь не могу; ибо если бы я начал распространяться обо всем том, что невольно приходит на ум при воспоминаниях о том времени, когда я разрывался между медициной и поэзией (и когда в то же время я ими обеими равносильно *развивался*), то этой статье и конца бы не нашлось...

Мне Боткин не приглянулся. Мне стало очень досадно, зачем такой плешивый и невзрачный ездил в страну Абен-Хамета и Сиды, в страну Альгамбры и боя быков! «Тургенев и Сухово-Кобылин имели право там жить, но не человек с подобной наружностью»... Эта мысль так сильно овладела моим воображением, что не более как через год или два после этого первого моего знакомства с Боткиным, я, встретивши его раз у одного общего знакомого, — ни с того, ни с сего позволил себе весьма неприличную выход-

ку... Я вдруг обратился к нему нарочно очень почтительно и любезно с такого рода вопросом:

— Скажите, пожалуйста, Василий Петрович; но только откровенно — вы в самом деле были в Испании или нет?..

Боткина так и передернуло... Он пожал плечами, взглянул сердито и воскликнул: «Какой странный вопрос!»

Досада его была вполне основательна, и моя мальчишечья выходка была не то чтобы бестактна (преднамеренное нельзя назвать бестактным), а просто глупа и дерзка.¹⁰ Есть небольшое подозрение, что Боткин в одном случае (незначительном, положим) *лет через восемь* мне отместил или по крайней мере попытался отместить за это рукою Тургенева... Но об этом после.

С Боткинским Тургенев был видимо очень близок; хотя, судя по некоторым признакам, не особенно ценил его характер. Он при мне один раз другим говорил так, сравнивая Боткина с Фроловым (писавшим об А. Ф. Гумбольте в «Современнике» 1848—1849 года): «Приятно ли или неприятно мне с человеком, — это ведь совершенно не²⁰ зависит от нравственных его достоинств... Вот, например, Фролов и Боткин. Ведь с точки зрения нравственного характера их и сравнить трудно. Фролов человек с убеждениями; ну, а Василия Петровича вы знаете сами... Однако с ним весело, а Фролов наводит на меня такую невыносимую тоску, что мне кажется — свечи начинают ярче светить, когда он выйдет из комнаты».

Комедия моя «Женитьба по любви» была давно уже отправлена Тургеневым в Петербург, к Дудышкину, критику и главному помощнику А. А. Краевского по редакции «Отечеств(енных) Записок».³⁰

Продолжая всячески ободрять и утешать меня, Тургенев привез с собою из деревни письмо, которое написал ему Дудышкин по прочтении моего первого произведения. Оно было в высшей степени лестно для начинающего. Дудышкин «не хотел верить, что мне только 21-й год» и признавал, что при всей давней привычке своей к подобно-

го рода чтению, он готов был прослезиться под конец над горькой участью Киреева.

Показывая мне это письмо, Тургенев заметил еще от себя: «Особенно верна у вас одна весьма дурная черта в характере Киреева — это слабость, переходящая в грубость... Это очень верно!»

Я на это с молодой и, быть может, бестактной откровенностью сказал ему: «Я очень рад, конечно, что и вам, и Дудышкину моя комедия так нравится; но это все так близко мне, а самому походить на Киреева — это ведь ужасно... Лучше на свете не жить!..»

— Раз вы могли написать эту вещь и так строго отнестись к вашему герою, — возразил мне мой добрый утешитель, — вы уже этим самым доказали, что сами вы не Киреев... Это только временное настроение больного воображения. Впрочем, человеку очень трудно понять, какое впечатление он произведет на других; вы совсем не производите такого впечатления, как ваш Киреев.

Я сам это почти сознавал: напр., этой отвратительной черты характера, «слабости, переходящей в грубость», на которую он обратил внимание, — похвалюсь смело — у меня вовсе не было. Слабость, конечно, бывала, и нередко, быть может, и большая; но она была у меня совсем другого оттенка. А эту черту я, вероятно, подметил у кого-нибудь из тех близких родных моих, которые мне не нравились.

Было у нас с Тургеневым в этот приезд его довольно много и других разговоров разного рода.

Один раз, помню, он сидел в самом красивом номере на столе; а я стоял около него и, любуясь на его широкие плечи и выразительное, благородное лицо, сказал ему:

— Не знаю, что это на меня действует: медицинские ли занятия развивают во мне потребность какого-то сильного физиологического идеала, или этого требуют мои художественные наклонности (я ведь и рисую самоучкой, кажется, недурно), только я ужасно люблю смотреть на людей сильных, здоровых, красивых; я когда шел к вам в

первый раз, ужасно боялся, что найду вас похожим или на вашего чахоточного «Лишнего человека», или, еще хуже, на «Шигровского Гамлета». Лишний человек хоть на дуэли с князем Н. дрался и даже ранил его; а Гамлет ваш даже табак нюхает! Это ужасно! И когда я увидел, что вы такой большой и здоровый — я очень обрадовался. Особенно не люблю, когда литераторы с виду плохи, — так мне это тяжело и грустно...

Пока я это все говорил, у Тургенева совсем изменилось лицо: оно стало мрачно, глаза сделались задумчивые, даже грустные. Я подумал, что он не желает почему-то продолжать этот разговор, и замолчал.

Потом общие наши знакомые сказали мне, что он человек весьма болезненный, вовсе не особенно силен и часто хворает. Поэтому, что-нибудь одно из двух: или мои слова — «здоровый, сильный человек», напомнили ему о тяготивших его недугах, рассказывать о которых он не желал; или, напротив того, речь моя ему так сильно понравилась, что он нашел нужным скрыть от меня свое удовольствие...

Если так, то он скрыл его очень хорошо; я никогда не забуду печальную, суровую и глубокую тень, набежавшую внезапно на его лицо; так это было выразительно! Но побуждение его осталось для меня и теперь загадкой. Предполагать ведь все на досуге можно; но как доказать?

Говорили мы в этот раз с Тургеневым и об литературе вообще, и об русских писателях.

Всего вспомнить не могу, но что помню, то помню верно и твердо.

Тургенев убеждал меня не только читать почаще Пушкина и Гоголя, но даже изучать их внимательно.

— А нас-то всех: меня, Григоровича, Дружинина и т. д., пожалуй, можно и не читать, — прибавил он.

Насчет Пушкина я вот что скажу. Мне именно около того времени Лермонтов, более резкий, более страстный и мрачный, стал больше нравиться, чем светлый и примиряющий Пушкин. *Все, что я встречал у Пушкина, мне в*

то время стало казаться слишком легким, как будто поверхностным и чересчур уже известным и простым. Это случается, впрочем, со многими другими неопытными и сильно все чувствующими молодыми людьми. Их потребности сильного, *раздирающего душу* впечатления от поэзии не скоро удовлетворишь.

Авторитет Тургенева, не обративши меня сразу, конечно, заставил меня, однако, опять задумываться над этим Пушкиным, который не более как года за два до этого царил еще над всеми поэтами в отроческом сердце моем. Неиспорченное еще, полудетское чувство было вернее всех изысканных утонченностей позднейшего моего вкуса, который и после еще долго не мог возвратиться на правильный путь.

Что касается до Гоголя, то в пору этих свиданий наших с Тургеневым он был еще жив; я знал, что он в Москве, но не имел ни малейшего даже желанья видеть его или быть ему представленным, потому что за многое питал к нему личное нерасположение. Между прочим и за «Мертвые души», или, вернее сказать, за подавляющее, безнадежно прозаическое впечатление, которое производила на меня эта «поэма». Положим, что безукоризненную и вескую художественность этого произведения я уже начинал сознать; Белинский своими статьями и Георгиевский своей изустной критикой утвердили меня в этом последнем понимании; но что ж мне было делать, если во мне неискоренимо было то живое эстетическое чувство, которое больше дорожит *поэзией действительной жизни, чем художественным совершенством ее литературных отражений!*

Ни карикатуры слишком жестокой, ни сатиры, ни комизма с ядовитым оттенком я никогда особенно не любил, а тогда, весь и за себя и за других исстрадавшийся, я даже ненавидел все это — и Тургеневу пришлось напоминать мне о «Тарасе Бульбе», об очерке «Рим», о могучей поэзии повести «Вий», чтобы помирить меня с гением, которого последние и самые зрелые, но злые все-таки и сухие

творения («Ревизор», «Игроки», «Мертвые души») почти заслонили от меня все эти другие восхитительные его повести; восхитительные не только по форме, но и по содержанию, по выбору авторского мировоззрения.

Тургенев повторил также одобрительно мнение Герцена о том, что «Гоголь бессознательный революционер», потому что он изображает русскую жизнь с самой пошлой, возмутительной точки зрения... Одобрял, впрочем, он Герцена (я это хорошо помню) — не в смысле политическом, не в смысле какого-нибудь прямого сочувствия или коренным реформам, или народным восстаниям, а только в том смысле, что Герцен верно понял тот род влияния, который, между прочим, могут иметь сочинения Гоголя, независимо от собственной воли автора и неожиданно для его сознания. Эта мысль, совершенно для меня новая, изумила меня, но как-то неубедительно, она опять сделала только некоторый вред Гоголю в моем мнении и больше ничего... Я слишком многое любил в русской жизни; другой жизни никакой не знал тогда, — разве по книгам; слишком многое мне в этой окружающей меня русской жизни нравилось, чтобы я мог желать в то время каких-нибудь коренных перемен; я хотел только, чтобы помещики и чиновники были к простолюдинам как можно добрее и больше ничего; о государственных же собственно вопросах я и не размышлял в эти года; я даже вовсе тогда не понимал их и не искал понимать, сводя все на вопросы или личного счастья, или личного достоинства, или на поэзию встреч, борьбы, приключений и т. д. В этом смысле я и на революции в чужих странах смотрел не как на перестройку обществ, а только как на инсurreкции, опасные, занимательные; я смотрел не с телеологической точки зрения на все подобные движения, не с точки зрения их целей, а со стороны их драматизма, поэтому я и поэзию находил где придется и в той и в другой партии, смотря по человеку и по обстоятельствам. (Например, революция 48 года мне почему-то, сам теперь не пойму, нравилась; а когда позднее Наполеон сделал ночной soup

d'Etat и проехался по Парижу верхом, в мундире и с напوماженными усами, — мне и это очень понравилось.) Я полагаю, впрочем, что революция 48 года мне нравилась только потому, что в «Иллюстрации» французской, которую мать моя получала, были очень *героические*, занимательные картинки, и вероятно потому еще, что французы сочиняли тогда очень смешные песни, вроде следующей, которую мне так напел только что вернувшийся из Франции Эжен Р. (тот самый, который присутствовал при свержении мною ига Г—го), что я начало ее и до сих пор не могу забыть:

Partons, mon ami Guisot!
(говорит король Луи-Филипп)
Vite, il n'est pas trop tôt —
Mal va nôtre affaire
Car le *peup'* parisien
Trouve que ça n'va pas bien
Depuis la semaine dernière...
Décampons, décampons...

20

и т. д.

И потом:

Adieu, l'poulet, l'dindon!
La faridondaine, la faridondon
Fourrez moi deux dans mon habit,
Biribi,
À la façon de Barbari —
Mon ami...

и т. д.

А до того, кто и что будет господствовать в Европе, капитал или труд, буржуазия или еще кто, — мне тогда дела было очень мало; да и бедная молодая голова уже и так едва вмещала всю бездну других новых мыслей, почти внезапно закипевших в ней при переезде в Москву и при переходе в *настоящую юность*, за 20 лет...

Интересоваться политическими вопросами я стал гораздо позднее этого, годам к тридцати, а *понимать* их ясно еще *позднее*. Замечу кстати мимоходом, что хотя многие

из современных, нынешних юношей гораздо более нас, юношей 50-х годов, интересуются политикой, но из этого они никак не должны заключать, что они и понимают ее лучше нашего. Я полагаю, что умственный закон остается тот же для всех. Юноши увлекаются в ту или другую сторону своими сердечными чувствами; они все более или менее пристрастны в суждениях политических, так или иначе, под влиянием воспитания, личных обстоятельств удобных или тяжелых и т. п. А ясное государственное суждение может утвердиться только позднее. Исключением могут быть только те из очень молодых людей, которые находились с ранних лет под каким-нибудь очень близким и прямым влиянием старших деятелей практической политики; рано по протекции и связям попали на довольно значительные дипломатические должности и в сферы высшей администрации. Я говорю теперь не в смысле консерватизма или либерализма, т. е. не в смысле преданности тому или другому направлению, а только, повторяю, в смысле ясного понимания. Впрочем, относительно нынешних юношей, я, может быть, и ошибаюсь...²⁰ Не ручаюсь наверное, но встречал я многих из них; а этого ясного понимания и в 70-х—80-х годах не замечал ни у одного 20—25-тилетнего... Всем нужно было объяснять почти так же, как дамам или грамотным мужикам...

Если таковы нынешние юноши, то каков же я был по этой части в начале 50-х годов! Я и знать даже ничего подобного не хотел (и, по-моему, это и хорошо; чем меньше мешаются женщины и юноши в государственные дела, тем эти дела лучше идут).

Я вот и запомнил твердо слова Тургенева о том, что Герцен был первый, который высказал о Гоголе такое мнение: «Он бессознательный революционер». Но слова остались в памяти, а влияния на меня непосредственного они вовсе не имели...³⁰

Меня все-таки еще долго продолжало гораздо больше интересоваться то, что Гоголь лицом на какого-то неприятного полового похож, или то, отчего это у него ни одна

женщина в повестях на живую женщину не похожа: или это старуха вроде Коробочки и Пульхерии Ивановны, или какая-то красивая тень, вроде Анунциаты («Рим») и Оксаны; какое-то живописное отражение *красивой плоти*, не имеющей души... «Очи как молния», «красавица» и т. д. — тогда как все эти совершенства вовсе даже не нужны, чтобы женщина внушала человеку чувство сильной любви... А революционер ли Гоголь или нет — мне не до того было тогда! Просто, наконец, недосуг подумать... О

¹⁰ Гоголе, я, впрочем, буду вынужден, вероятно, в другом месте довольно подробно и «по-своему» упомянуть...

Упоминал также в этот приезд свой Тургенев о других русских писателях, которых тогда называли «второстепенными» (по сравнению с Пушкиным, Гоголем, Грибоедовым или Лермонтовым), о себе, о Григоровиче, Гончарове, Евг. Тур и Достоевском. Замечу, что первое произведение Льва Толстого «Детство» явилось, кажется, через год или полтора позднее, а Писемский незадолго перед тем (в прошлую зиму 51-го года) напечатал первый свой роман

²⁰ «Тюфяк», о котором почему-то в этот раз Тургенев не упомянул. Моего Георгиевского «Тюфяк» восхитил донельзя, а на меня произвел такое удручающее, отвратительное впечатление своим содержанием, что я долго после этого (до появления «Тысячи душ») и помириться с автором не хотел. «Тюфяк» возмутил меня еще болезненнее «Мертвых душ», — ибо, сколько бы ни восхваляли «Мертвые души» и Тургенев, и Белинский, и сам Георгиевский, я, не дерзая еще слишком противоречить этой исповедуемой мною критической троице и не умея даже

³⁰ тогда формулировать мое упорное внутреннее чувство в виде мысли, все-таки смутно чувствовал, что «Мертвые души» не что иное, как гениально написанная, односторонняя или в сторону отрицания преувеличенная карикатура; а «Тюфяк» (увы!) был гораздо реальнее и ближе к действительности, ибо содержание его было *живее, полнее*; в нем была *любовь*, было много сердечного *чувства*... Но тем-то он и казался мне особенно ужасным, этот жалкий, некра-

сивый, всеми попираемый герой; эти так бессмысленно и так прозаически терзающие друг друга люди! Эта неожиданная и бессмысленная смерть героя в своей глухой деревне от подлой этой холеры, после будничных ссор с женой!.. Это все я находил ужасным и долго за это ненавидел талант Писемского, понимая и признавая его силу... «Зачем такую мерзость и так равнодушно и холодно выбирать!» Вот за что!

О других того времени русских писателях Тургенев говорил мне, что из них только один Гончаров обладает даром «архитектурной постройки», что он обнаружил этот дар в «Обыкновенной истории» (из «Обломова» в то время был напечатан только один прекрасный отрывок «Сон Обломова»). Ни у себя самого, ни у Григоровича, ни у Дружинина этой «архитектурной» способности Тургенев не находил.

Он очень хвалил «Ошибку» — первую повесть Евг. Тур — за то, что в ней слышен «жар искреннего внутреннего чувства».

— Эта искренность сильного личного чувства неотразимо действует на читателя, — сказал он.

О повестях Григоровича я не помню, что он именно говорил, но вообще он их мне в поучительный пример не ставил и видимо относился к ним холодно и не особенно одобрительно. Я же их очень тогда любил за гуманность их и за милые мне деревенские картины.

О таланте Дружинина, которого тонкий вкус в выборе сюжетов, изящные образы и прекрасный язык я тоже очень ценил и любил тогда, Тургенев отозвался, к удивлению моему, весьма строго и неодобрительно. Он сказал, что только первая его повесть «Полинька Сакс» (весьма в то время любимая публикой), произведение *нормальное* и даже положительно хорошее; а все последующие его повести и рассказы дышат *ненормальным* чувством. Я понял скоро, что Тургенев был прав, и стал осторожнее и недоверчивее относиться к сочинениям этого автора. (Позднее Дружинин сам догадался, что ему надо «творчество» бросить, и

он стал печатать в «Русском Вестнике» и других изданиях 60-х годов превосходные компиляции, весьма умные, беспристрастные и безукоризненно изящные; о «войне англичан в Индии в 59 году», например, или о Прусском короле Фридрихе I-м (отце Фридриха Великого) и т. п).

Кстати сказать, Тургенев тогда же о Дружинине, и с точки зрения личных его свойств, отзывался очень для него невыгодно.

— Какое-то напускное разочарование и в то же время ¹⁰ «офицерство» самого неприятного оттенка... Он производит на меня отталкивающее впечатление! — сказал он.

Несколько лет спустя я сам, так сказать, *попытался* познакомиться с Дружининым и тотчас же вспомнил Тургенева и согласился с ним. Впечатление на меня Дружинин произвел почти тяжелое... Я не знаю, как даже выразиться... Черты лица его были правильны и, пожалуй, красивы... Но что-то непостижимо неестественное в движениях и тоне речей; нечто блуждающее и крайне фальшивое в выражении глаз. В разговоре, в противоположность изяществу и благородству языка его в печати, беспрестанная грубость, грязь, цинизм... Например, я спросил, читал ли он романы «*Elle et Lui*» — Ж. Санда и ответ Paul de Musset: «*Lui et Elle*» и хороши ли они? Дружинин отвечал очень грубо и цинично. Конечно — это было очень противно и, главное, как-то к этой вялой и полумертвой фигуре Дружинина ужасно не шло.

О Достоевском Тургенев упомянул только случайно. Достоевский в это время был в Сибири, ничего не печатал и был не то чтобы совсем забыт; — забыт вполне он не ³⁰ был: все интересовавшиеся литературой помнили его первую трогательную (хотя и слишком похожую на «Шинель» Гоголя) повесть «Бедные Люди»; но он был сослан, кажется, лет на восемь; считался больным, и об нем стали мало думать, как мало думают о человеке, хотя и способном, но рано умершем. Тургенев упомянул о нем, я говорю, случайно и с точки зрения личного предостережения мне, начинающему.

— Конечно (сказал он), надо стремиться к высшему. Плохой тот солдат, который не надеется быть генералом. Ни один начинающий писатель не может ручаться, что из него выйдет Гете, но надо стараться, надо стремиться к высшему идеалу. Хотя, с другой стороны, таким молодым людям, как вы, из личного достоинства не надо при первых успехах давать волю своему самолюбию. Вот как, например, случилось с этим несчастным Достоевским. Когда он отдавал свою повесть Белинскому для издания, так увлекся до того, что сказал ему: «Знаете, — мою-то повесть надо бы каким-нибудь бордюриком обвести!»¹⁰ Зачем же делать себя смешным...

Больше ничего о Достоевском мы не говорили. И так, надававши мне много еще и других подобных указаний и полезных литературных наставлений, Тургенев уехал в Петербург, обещая мне успех. Я же принялся за свои обычные студенческие занятия спокойно и весело, ожидая денег и лестных критических отзывов о моей болезненной, но прочувствованной «Женитьбе по любви».

В октябре я получил от Тургенева из Петербурга следующее письмо:²⁰

С.-Петербург.
(3/15 декабря 1851 г.)
понедельник

Я имею сообщить вам неприятную новость, любезный Константин Николаевич: комедия ваша запрещена цензурой от первого слова до последнего. Я этого, признаюсь, никак не предвидел, хотя и думал, что ее пощиплют. Я на днях получу ее обратно от Краевского и буду ждать дальнейших ваших распоряжений на ее счет. Мне очень досадно, что вы с первого же шага на литературном поприще наткнулись на препятствия, но это не должно лишать вас бодрости: порядочный человек тут-то и должен показать себя; в таких случаях допускается не апатия, а озлобление. Я вам даже должен сказать, что, следуя правилу по мере³⁰

возможности извлекать добро из худа, я с некоторой стороны не совсем огорчен этою неудачей. Ваша комедия прекрасная вещь, но в том, что вы мне показывали, кроме ее, более условий успеха, и цензуре, кажется, не так оно покажется зловредным. Пишите только, не унывая, и дайте мне знать, как вы работаете. Есть еще одна неприятная сторона в этом запрещении: вы, может быть, ожидали денег — и теперь не должны на них рассчитывать. Но и этой беде помочь есть возможность: редакторы «Современника», с которыми я состою в дружеских отношениях, готовы выслать вам вперед в половине этого месяца известную сумму, как задаток за ваши будущие произведения. Напишите мне прямо и без обиняков, сколько бы вы желали, и я берусь вам это устроить. А, главное, не падайте духом и идите вперед смело и весело.

Мой адрес: на углу Малой Морской и Гороховой, в доме Гиллерме, квартира № 9.

Будьте здоровы. В ожидании вашего ответа жму вам крепко руку и остаюсь преданный вам

Ив. Тургенев.

Как я отнесся к первой моей неудаче? — вот естественный здесь вопрос. Я отнесся к ней до такой степени равнодушно и вообще хорошо, что и сам до сих пор почти удивляюсь этому. Я говорю не просто «удивляюсь», а только «почти», потому что объяснить это спокойствие есть достаточно способов и путей; удивляться же можно только тому, что, при моей тогдашней физической болезненности и крайней душевной впечатлительности, это спокойствие и равнодушие были уже слишком совершенны или слишком полны. Впрочем, не хочу *сейчас* на этом долго останавливаться; поговорю лучше в другом месте об этих моих *психических моментах* подробнее, если по ходу рассказа моего это потребуется. Тургенев во 2-м письме своем весьма непохвально разрешает мне «озлобление», *чуть не советует* его. А я не только теперь не одобряю

подобного развращающего молодой ум совета, но, слава Богу, и тогда даже и не подумал — ни на цензуру и ни на кого-либо другого озлобляться... Я так смело, весело и покойно стал тогда вдруг смотреть на свою литературную будущность, что и два и три запрещения не могли бы меня поколебать и расстроить...

При таких-то внутренне-благоприятных условиях начался для меня новый 52-й год. Конец 51-го и весь 52-й год — это было в моей юношеской жизни время вообще довольно хорошее; многое разом в эти полтора года неожиданно улыбнулось, многое улучшилось, просветлело, и сам я почти внезапно стал как-то крепнуть, мужать и смелеть...

И если не всему, то очень, очень многому в этом просветлении моей жизни был главной причиной Тургенев. Он наставил и вознес меня; именно вознес; меня нужно было тогда вознести, хотя бы только для того, чтобы поставить на ноги. До того первые два года московской студенческой жизни были для меня жестоки; до того я был безжалостно истерзан и непониманием близких людей, и внешними обстоятельствами, и первыми неожиданными телесными недугами, и бурным вихрем впервые серьезно перерождающейся мысли! Что за горький, что за жестокий процесс этого первого умственного перелома!.. Это ужасно!

Как же мне не быть благодарным Тургеневу; как же мне не вспоминать его добром, совершенно независимо от того, по каким разным путям мы оба пошли лет 10—15—20 позднее, и несмотря на глубокую до враждебности, пожалуй, разницу в наших с ним позднейших гражданских взглядах и приверженностях.

В начале 52 года, в феврале, я получил от него из Петербурга одно за другим еще два письма; вот они:

С.-Петербург,
2 февраля 1852 г.

Любезный Леонтьев.

Я перед вами весьма виноват; у меня, впрочем, два извинения: шестинедельное мое нездоровье, до сих пор продолжающееся, и желание достать для вас денег от ред(акции) «Современника». Эта редакция оказалась, к сожалению, сильно истощенною по причине уплаты множества старых долгов; и потому позвольте мне предложить вам следующее: я готов от себя дать вам 100 р. сер. вперед взаймы, но так как у меня здесь таких денег нет, то я сегодня же напишу к себе в деревню приказ о высылке вам их по вашему адресу в Москве, заранее рассчитывая на ваше согласие. Жалею, что эта мысль мне раньше не пришла в голову; может быть, вы это время чувствовали то неприятное стеснение безденежья, которое мне так знакомо бывало в дни юности.

Ваша комедия погибла для печати, и скажу вам — я не слишком об этом сожалею: в вас уже теперь таланта гораздо больше, чем насколько она показывает. Для чего же вводить читателей в обман? Кончайте повесть, о которой вы говорите мне, или хотя 2 первые главы «Б(улавинского) завода». С присовокуплением плана целого романа можно печатать отрывками, как, напр(имер), «Богатый жених» Писемского. Пишите и присылайте мне, как той литературной бабушке, которой суждено принимать ваших рождающихся детей. Жаль, что до сих пор они так неудачно являются на свет.

Я рад, что моя статья вам нравится. Настоящего дела я, по причине цензуры, сказать не мог, и потому она может подать повод к недоразумениям.

Прощайте, любезный К. Н. Желаю вам всевозможных удач и, главное, здоровья. До свидания в мае; но мы до того времени еще будем переписываться.

(За повесть — цензурную — вам «Соврем(енник)» хорошо заплатит. Вот вам самое лучшее средство со мной расплатиться. Присылайте ее поскорей, а уж я ее продам выгодно.)

Жму вам дружески руку.

Ваш *Ив. Тургенев*.

II

С.-Петербург,
18 февраля 1852 г.

Я только что получил ваше письмо, любезный Константин Николаевич, и собирался уже вам отвечать, как вдруг получил ответ на мое предписание в деревенскую мою контору, что ранее двух недель этих 100 р. вам выслать не могут, за совершенным истощением наличных средств. Вы не можете себе представить, как это мне было досадно, и если б я сам не был в некотором безденежье здесь, я бы тотчас выслал их вам. Нечего делать — прошу меня извинить и подождать две недели. Я вам пишу все это так бесцеремонно потому, что я надеюсь, что между нами церемонии не у места.

Из присланного вами перечня содержания «Булавинского завода» я решительно должен был заключить, что пока нечего и думать о возможности провести его через здешнюю цензуру. Обезображенным его печатать не следует, и что же это будет за роман, из которого все выкинут, кроме описаний, как вы говорите? С другой стороны, так как мне очень бы желалось увидеть вас в печати, не можете ли вы кончить тот небольшой рассказ, о котором вы мне говорили? «Современник» бы с радостью его принял. Если б вы его прислали к половине хотя будущего месяца, он бы был помещен в апрельской книжке. Правда, вас теперь занимают экзамены, но, все-таки, вы бы хорошо сделали, если б нашли время написать хотя небольшую, но отделанную вещь.

Не пишу вам больше сегодня — очень занят. Желая вам всего хорошего, начиная с здоровья, и вторично прошу вашего извинения в невольном моем замедлении.

Остаюсь искренно преданный вам

Ив. Тургенев.

В этих письмах упоминается о начатом мною в одно время с «Женитьбой» романе «Булавинский Завод» и еще об одной новой, еще только задуманной мною повести. О «Булавинском Заводе» мне необходимо будет еще раз упомянуть, когда я буду рассказывать о том, как я ездил зимой 1853 года к Тургеневу в деревню; здесь скажу только, что цензура была бы совершенно права, если бы не пропустила «Булавинского Завода» в том виде, в каком на досуге, от времени до времени, я в течение двух лет обдумывал его продолжение. Содержание его было в высшей степени безнравственно, особенно со стороны эротической. В настоящее время я нахожу, что цензурные учреждения должны быть разумно-строги; и если я за что-нибудь готов осудить петербургскую цензуру 50-х годов, то никак не за строгость ее, а за некоторую бестактность, которой она нередко грешила. «Женитьбу по любви» запрещать, например, не стоило. Положим, она могла производить довольно мрачное впечатление, но кто же тогда не считал как бы долгом писать мрачные вещи? — «Тюфяк», «Записки лишнего человека», «Антон Горемыка» и мало ли таких, отрицательных, было пропущено! Если же, например, я написал бы «Булавинский Завод» весь сполна так, как я намеревался его писать (я его скоро бросил потом), то справедливо было бы его запретить, ибо в то время уже мало-помалу подкрадывалась к уму моему та вредная мысль, что «нет ничего безусловно нравственного», а все нравственно или безнравственно только в эстетическом смысле... «Что к кому идет»... «Quod licet Jovi, non licet bovi!» и т. д. Позднее — я все это не только говорил, но, к сожалению, даже и печатал!..

Эта мысль, что «критерий *всему* должен быть не нравственный, а эстетический» и что даже сам Нерон мне дороже и ближе Акакия Акакиевича или какого-нибудь другого «простого и доброго человека» (которых, впрочем, надо заметить, литература наша тогда слишком уж превозносила, даже довольно долго пером Графа Льва Толстого)... Эта мысль, говорю я, которая, начиная приблизительно с 25 года моей жизни и почти до 40, легла в основу моего мировоззрения в эти зрелые года мои, уже и в ту раннюю пору начала под разными сильными и разнообразными влияниями проникать в мои произведения. И полусознательно эта мысль беспрестанно просвечивала уже и в «Булавинском Заводе». Я, вероятно, уже *чувствовал* в себе эти безнравственные наклонности и тогда, не умея еще формулировать их точно. С другой стороны, не умея также в эти года стать на точку зрения цензора, я *предвидел*, однако, что цензура с подобным сюжетом едва ли помирится. В этом смысле я и писал Тургеневу, даже и преувеличивая, что будто «*кроме описаний природы ничего не пропустят!*» Разумеется, я цензорам в этом случае по неопытности и по развращению идей моих сочувствовать не мог; но, помню, и не огорчался особенно тем, что труд, начатый мною с таким искренним пафосом, должен быть оставлен. Я сам что-то разочаровался в нем, не с нравственной, а с чисто художественной точки зрения, и очень редко к нему на минуту возвращался. Поэмы своей в стихах я тоже не стал кончать; *второй раз стихи, даже и посредственные, мне уже никогда не давались.*

Что касается до новой повести «Немцы», о которой упоминает Тургенев, то в 53 или 54 году она была напечатана в «Московских Ведомостях» под заглавием «Благодарность».

ВОСПОМИНАНИЕ ОБ АРХИМАНДРИТЕ МАКАРИИ, ИГУМЕНЕ РУССКОГО МОНАСТЫРЯ СВ. ПАНТЕЛЕЙМОНА НА ГОРЕ АФОНСКОЙ

I

Девятнадцатого июня скончался на Афоне игумен русского Пантелеймоновского монастыря архимандрит Макарий. В телеграмме, полученной через Афины «Моск(овскими) Вedom(остями)», сказано, что смерть его была почти внезапная. Он сам служил литургию и только что стал разоблачаться, как вдруг его поразил удар.

Окончить самому литургию, последний раз совершить великое таинство Евхаристии и умереть!

Счастливая кончина, — вполне достойная его долголетних подвигов, его святой жизни, его прекрасной души!

Я знал лично отца Макария; знал его даже коротко, потому что сам целый год прожил на Афоне 17 лет тому назад (71—72), постоянно пользуясь его гостеприимством в Руссике.

Это был великий, истинный подвижник, и телесный, и духовный, достойный древних времен монашества и, вместе с тем, вполне современный, живой, привлекательный, скажу даже — в некоторых случаях почти светский человек в самом хорошем смысле этого слова, то есть с виду изящный, веселый и общительный. Не знаю наверное, каких лет он скончался, но думаю, что около 70 лет — 66—67, быть может. В бытность мою на Афоне, в 72 году, я помню, он как будто говорил мне тогда, что ему 48 лет. Он был в то время чрезвычайно подвижен и бодр. Седых волос в его черной и длинной бороде еще мало было.

Родом отец Макарий был из тульских купцов, из богатой и весьма известной в России семьи Сушкиных. Звали его (кажется) Михаил Иванович.

Во время наших с ним частых и долгих бесед на Афоне он, по просьбе моей, рассказывал мне многое о своей прежней жизни в міру и о своем удалении на Св. Гору.

Ему не было еще 30 лет, если не ошибаюсь — всего 25, когда он постригся против воли отца.

Мать его была очень набожная и добрая женщина и, как он мне сам говорил, имела на него большое влияние. ¹⁰

Но по наружности молодой Сушкин жил так же, как и многие богатые и молодые купеческие сыновья 40-х годов: помогал отцу по торговым делам, ездил на ярмарки, щеголял, бывал и на балах, танцевал, по собственному признанию — даже охотно читал и кой-какие романы, курил трубку; думал иногда, конечно, и об невестах. Но при всем этом *девственность свою* он строго хранил, и мечта о монашестве не оставляла его посреди коммерческих хлопот и всяких мірских развлечений.

Мать его любила беседовать с ним о духовных предметах и часто горячо увещевала его оберегать себя до брака от плотских страстей. «Когда и жених, и невеста оба вступают в брак девственниками — ангелы Божии радуются на небесах и невидимо летают над брачным ложем их», — говорила ему мать, — и эти слова ее производили на юношу, по его собственному мне признанию, глубокое впечатление. ²⁰

— Я думал, — говорил он мне с чувством, — что если я согрешу, то не только навлеку на себя гнев Божий, но и мать жестоко обижу, а мне и вспомнить об этом было ³⁰ даже больно.

Потом прибавил смеясь: «Ну и о невестах думал, и были барышни очень красивые, с которыми танцевать приходилось, и танцевать я был не прочь».

Я помню, до чего мне было приятно на суровом и дальнем Афоне в 70-х годах видеть этот мгновенный просвет на веселую прежнюю жизнь наших провинций и слышать

эти простые и живые признания от одного из величайших аскетов нашего времени!

Такого рода рассказы и признания, вовремя и кстати произнесенные опытными монахами, чрезвычайно ободрительны не только для начинающих послушников, которых нередко отпугивают будущие тяготы иноческой жизни, но и для мирян, желающих подчинить хоть сколько-нибудь свою жизнь учению воздержания и понуждения. Когда мне случалось в тяжкие минуты какого-нибудь нравственного или телесного изнеможения открывать душу мою этому умному, благородному и святому человеку и он говорил мне: «Понудьте себя, — только понуждающие себя восхищают Царствие Небесное!», я чувствовал, что он, этот герой самоотвержения о Боге, имеет право мне так говорить!

Как обыкновенно начинал он свою жизнь, как он прожил богато и привольно до 25 лет и что он перетерпел потом здесь, на этих дальних, чуждых и безмолвно-унылых скалах — это вообразить, я думаю, нетрудно!

И само даже мирское юношеское воздержание его было еще потому особенно ценно, что он, по всеобщему свидетельству, смолоду был красавец. Много легче тому вести себя скромно, на кого и глядеть никому нет особой охоты; но красота целомудрию великий противник. Может ли не чувствовать молодой человек, живой от природы, что он очень красив и что понравиться женщине ему вовсе не трудно?

А что Михаил Иванович Сушкин был очень красив смолоду, то на это у меня есть случайное и очень надежное свидетельство одного из наших товарищей по консульской службе — Николая Федоровича Якубовского, умершего консулом в Салониках в 73 году.

Якубовский был старый эстетик и романтик и во всем красивом, изящном, выразительном и сильном знал толк и был всему подобному бескорыстно предан.

Когда он приехал сменить меня на консульский пост в Салоники года за два до смерти своей и увидал отца Ма-

кария, они вспомнили оба первую и случайную встречу свою в Дарданеллах лет около 20 тому назад, и Якубовский потом рассказал мне об этом.

Он до Крымской войны служил секретарем вице-консульства нашего в Дарданеллах; свикся и сроднился с Востоком, но в сердце оставался пламенно-русским человеком и всему русскому был всегда до иступления рад.

Однажды из окна своего он увидел двух людей, которые, стоя на улице, оглядывались с недоумением и как будто чего-то искали. 10

— Я тотчас узнал в них русских (рассказывал Якубовский). Да и нельзя было не узнать, потому что один из них был в высоких хороших сапогах, в долгополом купеческом сюртуке и фуражке. Средних лет, солидный. А другой был много моложе и одет щеголевато и просто писанный красавчик; немножко бледный брюнет, тонкий, стройный; прекрасный нос с горбинкой; чернобровый; глаза выразительные, томные; держал себя скромно и немножечко как будто бы с гордостью... Прямо так! *Avec dignité!*.. Я им ужасно обрадовался. — «Наши, думаю, наши!» Давно я настоящих здесь русских людей не видал. Кликнул их; они тоже обрадовались; взошли, и мы побеседовали. Это и был молодой Михаил Иванович Сушкин с каким-то прикащиком, — отцовским или чужим, уж не помню. Они ехали на Афон, попали в Дарданеллы и искали для справок и указаний русское консульство. Ну я, конечно, все им устроил тотчас, — и вот теперь мне 60 лет, ему около 50, и где пришлось встретиться? в Салониках. Я консул, — он архимандрит! 20

Впрочем, прибавлю я от себя, отец Макарий и 50-ти лет, и архимандритом был очень красив, строен и гибок по-прежнему; такие же прелестные выразительные глаза из-под густых черных бровей; в лице чрезвычайно привлекательном сочетание серьезности с добротою, а по временам и с откровенною, любезной веселостью; и даже та смесь скромности и достоинства в манерах, которую 30

Якубовский находил у него смолоду, была у него заметна и после тридцатилетних трудов на Святой Горе.

Призвание к монашеству у молодого Сушкина явилось рано. По всем признакам оно было самого чистого и возвышенного характера, *самопроизвольного*, так сказать, характера, а не последовательного какого-нибудь. То есть для привлечения его души к аскетизму — не нужно было никаких особенных переворотов, скорбей, оскорблений, неудач и т. п. Есть люди, которые становятся очень религиозными и даже идут в монахи после сильных нравственных потрясений; нередко также к Богу, к Церкви и к аскетизму и без глубоких потрясений этих приводит человека его собственный тяжелый, неприятный и неуживчивый характер. Человек вообще несимпатичен, не любим; он это и сам чувствует, он винит нередко себя; но ведь у самого-то у него *сердце есть* человеческое. Оно болит ежедневной и долгой обидой... И вот он ищет Бога; хочет Бога любить, Его Евангелие, Его святых, Его ученье, Церковь, старцев учащих и людей, не как людей уже (это уже ему почти недоступно), а как *братию* о Христе, братию такую же грешную, слабую, многострастную и страдающую, как и он сам, но единомысленную ему в строгом мировоззрении. «Возлюбим друг друга, чтобы в единомыслии исповедывать Отца и Сына и Святаго Духа» и «Будем в единомыслии исповедывать Троицу христианскую, чтобы возлюбить друг друга насколько есть сил!..»

Отец Макарий, повторяю, был откровенен со мною и рассказывал мне достаточно о себе, хотя бы и только в главных чертах, — ни о чем подобном я от него не слышал. Рассказы его именно и были следствием частых вопросов моих: «почему, и как, и вследствие чего тот или другой человек стал монахом». Это один из самых замечательных и поучительных вопросов, когда идет речь о монашестве.

На подобные мои вопросы он, между прочим, рассказывая и о себе, говорил, что переворотов, внезапных или глубоких потрясений в жизни его не было, несчастной

любви он не испытал, и влюбиться даже он ни разу еще не успел.

О дурном, неуживчивом каком-нибудь собственном его характере, мне кажется, не могло быть и речи. Первоначальная натура человека, для опытного и наблюдательного ума, всегда просвечивает произвольно сквозь самый законченный и совершенный иноческий образ. Когда изучишь монахов с доброжелательством и, в то же время, с беспристрастием, то монашество начинает казаться каким-то *самоваянием* по определенному образцу, при помощи Божией и при руководстве наставников... Чувствуешь, что по *изволению* своему, по усердию, по искренности веры и любви к идеалу, человек сделал много, одержал над собою много побед в том или другом отношении; видишь, догадываешься, что «самоваяние» это было у него усердное, нередко даже жестокое, беспощадное к самому себе... Но что же делать, если у одного натура золотая, а [у] другого — медная, а у иного — деревянная или глиняная, и чаще всего смешанная какая-нибудь: золото — в одном, железо — в другом, глина — в третьем! Заслуга невидимая, перед Богом, быть может, и равная, но видимый перед людьми результат не тот. Опытные старцы-руководители, следя за внутренней борьбой, зная, что кому тяжело, отлично понимают все эти оттенки... И мы, со стороны, если хотим быть добросовестными судьями и не смущаться, должны выучиться понимать, что нельзя и требовать от всех натур равной или одинаковой чистоты окончательного монашеского образа. Но, даже и при самом правильном изваянии, разнородный, прирожденный «материал» можно видеть и мысленно осязать.

Мне кажется, что у отца Макария сама по себе и натура была драгоценная... Симпатичная душа М. И. Сушкина беспрестанно просвечивала сквозь вынужденную положением суровость и властность Святогорского игумена... Узнавши его почти 50-летним аскетом, я *наугад* берусь утверждать, что он и смолоду *не мог не быть* добр, приятен, уживчив. И я уверен, что мою догадку подтвердят все те,

которые знали его юношей. Поэтому едва ли какая-нибудь болзненная мизантропия или досада и на себя, и на людей могли быть причиной его удаления в монастырь.

Каких-нибудь притеснений или обид дома также, по-видимому, не было. Мать была очень добра; отец — суровее, но тоже не обижал ничем особенно. *Прямо — призвание, чистое, настоящее.* Какая-нибудь общая мысль о суете и греховности мира этого; какая-нибудь непосредственная, постоянная, утверждаемая духовным чтением, мысль о загробной жизни, о райском блаженстве, об адских, ужасающих муках, — т. е. именно то, что составляет самую сущность христианской веры, сущность, увы, слишком часто забываемую нынче для дум о практической земной морали, о пользе ближних и т. д.

Быть может (и даже наверное), и сильная примесь бессознательного эстетического чувства; любовь к особой поэзии иноческой жизни. «Коль возлюбленны селения Твоя, Боже сил! Желает и скончается душа моя во дворы Господни».

«Ибо птица обрете себе храмину и горлица гнездо себе, идеже положит птенцы своя; алтари Твоя, Господи сил, Царю мой и Боже мой».

«Яко лучше день един во дворех Твоих паче тысяч; изволих приметатися в дому Бога моего паче, неже жити ми в селениях грешничих».

Любовь к столь торжественному и столь трогательному православному богослужению тоже сильно действует на молодых религиозных мечтателей. Само собою разумеется, что, при самом искреннем смирении и сознании своей греховности, набожный юноша, поступая в монахи, не может не мечтать иногда и о том, что, быть может, он удостоится стать со временем иеромонахом, что он будет сам совершать «великия и страшныя таинства», как он будет произносить во храме те самые возгласы, которые теперь его со стороны так сильно потрясают.

Люди, отбившиеся от Церкви, отвычные от истинного «дедовского», несентиментального Православия, и понять

уже не в силах всей сладости подобных мечтаний, но кто не утратил настоящей веры, или кого Господь помиловал и возвратил опять к ней какими бы то ни было, Ему известными, путями, тот понимает подобные желания, тот завидует служащему иеромонаху *такою завистью, какую никакая заповедь запретить не может*, — завистью доброю, любящею, чистою ревностью по Господним таинствам и по службе великой и священной Апостольской Церкви нашей.

Я уверен, что покойный старец архимандрит Макарий¹⁰, еще будучи красивым щеголем — Мишей Сушкиным, мечтал об этом безнадежно и робко. Кто знает?.. быть может, даже и за стаканом чая, с трубкой в руках, сидя в каком-нибудь трактире, на ярмарке по отцовским делам.

Воображение у о. Макария было. Это несомненно. Сильная идеальная его натура была видна и в самой наружности его: в его бледном, продолговатом лице, в его задумчивых глазах, даже в той сильной впечатлительности и подвижности, которую не могли уничтожить в нем вполне ни природная твердость характера, ни ужасающая непривычный ум суровость афонской дисциплины, под действием которых он так долго прожил.²⁰

Я знал, я видел сам не раз, как его чувствительности, например, было тягостно отказать в чем-нибудь людям, стеснить их, наказать, строго понудить. Я даже часто дивился, глядя на него и слушая его речи, как могла эта натура, столь нежная, казалось, во всех смыслах столь идеальная, и сердечная, и быстрая, — как могла она подчиниться так беззаветно, глубоко, искренно и безответно³⁰ — всему тому формализму, который в хорошем монашестве неизбежен! Скажу еще — не только неизбежен, но и в высшей степени плодотворен для духа, ибо он-то, этот *общий формализм*, дающий так мало простора индивидуальным расположениям, даже нередко хорошим, может быть, более всего другого упражняет волю инока ежечасными понуждениями и смиряет его своенравие, заставляя

иногда даже и движениям любви и милосердия предпочесть послушание начальству или уставу.

Поживши на Святой Горе, я понял скоро и сам всю душевную, психологическую, так сказать, важность всего того, что многие, по грубому непониманию, зовут «излишними внешностями».

Но и понявши, я продолжал дивиться, как такая, выражаясь по-нынешнему (т. е. противно и даже довольно глупо) «нервная» натура смогла подчиниться всему этому так глубоко и так искренно! — И дивясь, только еще больше любил и уважал его.

В последние 80-е года, по свидетельству очевидцев, о. Макарий достиг крайнего бесстрастия. Его уже ничто не возмущало: никакая случайность, никакая внезапность.

«Если бы и гора Афонская с грохотом валилась в море, — он и тогда, кажется, не смутился бы!» Так выражаются эти очевидцы.

II

Никто от этого некролога моего не имеет права требовать точности, — ни по отношению к самым событиям, ни по отношению ко временам и срокам.

Моя память, мои впечатления *восемнадцать* лет тому назад, в душе моей живущий образ этого прекрасного человека, кой-какие отрывки из наших с ним бесед, из его рассказов и признаний, мнения о нем других людей — монахов и мирян, — вот мои источники.

Быть может, я ошибусь в каком отдельном случае, — но я думаю, что все те, которые покойного отца Макария знали, найдут изображение мое схожим и верным.

Ошибусь я в фактах и сроках, но едва ли ошибусь в понимании духа его жизни, в оценке его заслуг, его природы и стремлений.

Мне помнится, например (довольно, впрочем, смутно), будто я слышал от нескольких русских монахов на Афоне, что в Тульской губернии и соседних с нею, около 48 года,

в среде купеческой молодежи усилилось особенно стремление к монашеству и образовалась целая компания молодых людей, которые сговаривались все вместе идти на Афон. Был, между прочими, в этом кружке и молодой малоросс, учитель музыки, которого я тоже знал на Святой Горе строгим иноком и замечательным регентом. По недавним известиям, он жив еще и теперь, хотя совсем дряхлый старец. Знал я и других монахов из этого самого кружка Руссика; одного из них, помню, звали отец Анатолий; теперь его уже нет на свете. 10

Известно, что многие русские люди торгового сословия, сами будучи вообще набожными, нередко препятствуют сыновьям своим поступать в монахи; они, точно так же, как и многие люди дворянского общества — не отвергающие ни Бога, ни Церкви, находят, вероятно, монашество крайностью. Или, даже и считая его святым или хоть, по крайней мере, полезным учреждением в принципе, по эгоистической страстности, находят, что это прекрасное учреждение создано для кого угодно, только не для их сыновей. Препятствий этих от семьи не избегли и некоторые 20 молодые люди из этого религиозно-настроенного кружка. Иные отцы не только не благословляли охотно сыновей на монашество, но даже не хотели долго пускать их на поклонение Святым местам Востока, опасаясь, что они там останутся. Особенно много горя выпало на долю того юноши, которого я знал в Руссике уже под именем инока Анатолия. Его отец долго и жестоко тиранил и без милосердия бил за его аскетические стремления.

Отец Михаила Петровича Сушкина хотя и не мучил сына, но тоже долго не соглашался отпустить на паломничество. Наконец — согласился с тем уговором, что он 30 вернется домой. Пришлось уступить, но Бог судил иначе.

Все ли разом эти молодые люди поехали на Восток или врозь — не знаю, не помню. Кажется — врозь. Помнится, как будто М(ихаил) Петр(ович) первый из них остался на Св. Горе, а вслед за ним приехали другие. Справок обо всем этом навести мне негде, да оно и не важно.

Я очень хорошо помню, что о компании этой, о страданиях отца Анатолия и о собственных тогдашних молодых чувствах мне во время жизни моей на Афоне рассказывал тот, и поныне здравствующий, малоросс-музыкант, который был в Руссике регентом в 70-х годах. Помню также очень хорошо, что я рассказ его слушал несколько рассеянно, — но рассеянность моя происходила не от равнодушия и пренебрежения, а, напротив того, от одной весьма серьезной мысли, которая меня во время рассказов этих

10 волновала.

Я очень хорошо помню, что я думал в то время так:

— Ведь все то, о чем он рассказывает, это религиозное движение юношей в провинции происходило в конце 40-х годов. Кажется, в том самом 48 году, когда вся Европа была в революционном огне и когда в Петербурге в другом кружке русской же молодежи, в кружке Петрашевского, задуман был безбожный и кровавый переворот. После неудачи глупого заговора этого, когда по милости Императора Николая заговорщики были не казнены, а

20 только все сосланы в Сибирь, — рассказывали, будто бы эти молодые люди ненавидели не только Царскую власть и сословный строй России, но и религию, до того, что приобрели плащаницу и рубили ее на куски; а про Петрашевского говорили знавшие его лично люди, что он нарочно часто проходил мимо тех лавок, где на столиках стояли выставленные для продажи иконы, и нарочно же задевал их длинным воротником шинели, чтобы они падали на землю. Клевета ли это, или правда — не знаю; но так говорили.

30 Во всяком случае несколько больше, несколько меньше — а дух был такой у этой столичной молодежи, по имени только русской. Там дворяне, люди тонкого воспитания, люди высшей образованности, — там Европа демократическая и безбожная; а здесь, в глуши провинции, — купечество и разночинство молодое; тесный кружок единомысленных идеалистов, которые думают не о земном спасении русского общества и тем более не о «че-

ловечестве» каком-то, а только о загробном спасении *своей души!* — Они тоже заговорщики; они собираются, толкуют, шепчутся, но о чем? Не о том, как устроить общество и жизнь, а как *уйти от них*. — И что же? Кто больше стал полезен тому же обществу, той же русской жизни: те ли разрушители по любви к уравненному и опошленному «человечеству», или эти созидатели русских религиозных общин на чуждом по быту Востоке, созидатели «селений Господа сил», по любви к своей собственной душе? И вот и я, смолоду воспитанник той же столь европейской, столь не самобытной по духу русской литературы 40-х годов, сам теперь, под сорок лет, считаю за счастье прийти поучиться не только вере, но и разуму у этих тульских и старооскольских каких-нибудь купцов на далеком Афоне! Учусь у них и умнею под старость, скорблю и блаженствую, каюсь и радуюсь и за честь себе считаю их дружбу, их участие; за дар Божий — их наставления!!

Вот, что я тогда думал, слушая рассказ отца Г. *Думу* эту свою я помню твердо; ее я не забыл, но через думу эту я, в самом деле, быть может, что-нибудь и не совсем так расслышал и не совсем точно передал... Прошу тех, кто лучше моего знает все эти обстоятельства, простить мне и исправить мои ошибки.

Когда молодой Сушкин приехал на Афон, — Русрик стал только что поправляться в своих делах, благодаря тому, что престарелый игумен-грек, отец Герасим, незадолго до этого пригласил в свой разоренный до голода монастырь русского иеродиакона Иеронима, который дотеле жил один в особой собственной келье на берегу моря.

Подробности этого переселения я не стану здесь рассказывать; вкратце об этом я говорил уже давно, в статье моей «Панславизм на Афоне», и ее всякий может найти в моем сборнике «Восток, Россия и Славянство»*...

О. Иероним стал духовником и старцем еще немногочисленной тогда русской братии в монастыре Св. Панте-

* Ст. Т. I-й; стр. 56, 57 и т. д.

леймона. Это был не только инок высокой жизни, это был человек более чем замечательный. Не мне признавать его Святым, — это право Церкви, а не частного лица, но я назову его прямо великим; человеком с великой душою и необычайным умом. Родом из не особенно важных староскольских купцов (Воронежской губернии?), не получивши почти никакого образования, он чтением развил свой сильный природный ум и до способности понимать прекрасно самые отвлеченные богословские сочинения, и до умения проникаться в удалении своем всеми самыми живыми современными интересами, Твердый, непоколебимый, бесстрашный и предприимчивый; смелый и осторожный в одно и то же время; глубокий идеалист и деловой донельзя; физически столь же сильный, как и душевно; собою и в преклонных годах еще поразительно красивый, — отец Иероним без труда подчинял себе людей, и даже я замечал, что на тех, которые сами были выше умственно и нравственно, он влиял еще сильнее, чем на людей обыкновенных. Оно и понятно. Эти последние, быть может, только боялись его; люди умные, самобытные, умеющие разбирать характеры, отдавались ему с изумлением и любовью. Я на самом себе, в 40 лет, испытал эту непонятную даже его притягательную силу. Видел его действие и на других.

Что же должен был чувствовать увлеченный духовными мечтами юноша Сушкин?

Конечно, он тотчас же открыл о. Иерониму свою заветную мысль; сознался ему, что он не просто только поклонник и богомолец у Св. мест, но человек, жаждущий идти по стопам его аскетизма.

О. Иероним сначала сурово отклонял его.

«По воле Божией он поставлен пасти здесь пока еще малочисленное русское стадо. Положение на чужбине трудное. В руках греков до его перехода в Руссик, община обнищала до того, что Протат Афонский вывесил объявление о банкротстве этого монастыря, и греческие монахи собирались разойтись и бросить вовсе обитель. Не было ни

имений, ни жертв. Как ни проста и сурова жизнь святогорских киновий, но что-нибудь надо же есть и во что-нибудь надо же одеваться. Не было, наконец, ни хлеба, ни фасоли, не было ничего, кроме долгов. После призвания Иеронима дела начали немного поправляться. Съехались русские, получились жертвы из России. Но монастырь еще беден и строения почти в развалинах. Надо быть осторожным. В России и так духовные власти расположены осуждать афонцев за слишком легкие и многочисленные пострижения. И они, эти власти, во многих случаях правы, к несчастью... Люди недостойные, негодные, неприготовленные постригались где-нибудь тут у греков и болгар, возвращались в Россию и позорили сан монашеский. Отец Сушкина — человек очень богатый, сильный, влиятельный, — он будет жаловаться, если его сына постригут здесь вопреки родительскому запрету. Имеет ли право отец Иероним для него одного, для Михаила Петровича, жертвовать нравственными и вещественными интересами целой общины, порученной ему по воле Божией? Конечно — нет. Пусть поживет, погостит, поучится, пусть просит у отца разрешения постричься... Тогда увидим».

Так думал и говорил великий наставник...

С горестью подчинился этому решению молодой человек. Придется, быть может, и домой возвращаться! Но Господь судил иначе. По неожиданному стечению обстоятельств, его пришлось постричь очень скоро; постричь даже прямо в схиму, минуя все обычные порядки и всякую постепенность.

Примечание автора. Все это уже было написано, когда я прочел в «Московск(их) Ведомост(ях)» (№№ 182 и 184) превосходную статью г. Красковского о том же самом архим. Макарии. Ее стоит рекомендовать читателям. Кой в чем мы, однако, разнимся с ним, и я думаю даже, — он

в некоторых отношениях правее меня. Пока я, впрочем, в своем рассказе почти ничего не изменил и в следующий раз поговорю подробнее о некоторых более важных разногласиях наших. Исправил я у себя только две ошибки, полагаясь на свежую память г. Красковского, недавно бывшего на Святой Горе. В первой статье моей я называл молодого Сушкина — «Михаил Иванович»; здесь я, по г. Красковскому, стал звать его Михаилом Петровичем... Другая моя ошибка была та, что я думал — отца Макария ¹⁰ постригли больного в мантию, — но оказывается, что даже — в схиму... Я и это переменял.

III

Статья г. Красковского которой я сочувствую уже за одно то, что автор так чистосердечно полюбил покойного о. Макария, имеет сверх того и другие достоинства. Она, вообще, хорошо написана и дает ясное понятие об образе жизни и нравственной физиономии этого благородного и привлекательного инока.

Автор сознается, между прочим, что он ехал на Св. Гору с некоторым недоверием, находясь под влиянием книги ²⁰ г. Благовещенского — «Афон» (изданной еще в 60-х годах); но впечатление, которое произвел на него архимандрит Макарий, было так сильно, что он скоро переменял свои взгляды.

У г. Красковского можно найти и довольно много подробностей, изображающих необычайно деятельную жизнь о. Макария в последние года, т. е. в то время, когда он управлял обителью уже один, без руководства и поддержки своего наставника, о. Иеронима (скончавшегося, кажется, в 85 году). Не довольствуясь тем, что он видел сам, ³⁰ г. Красковский приводит целые отрывки из книги секретаря русского посольства в Константинополе, г. Смирнова — «Две недели на Святой Горе».

И в этих отрывках много хорошего.

Так как весьма вероятно, что не все подписчики «Гражданина» читают сверх того и другие газеты, то, я думаю, никто из них меня не осудит за довольно длинные цитаты из обоих этих почитателей покойного архимандрита.

Вот что говорит г. Смирнов: «Я не мог достаточно надвинуться бодрости и энергии отца Макария. Участвует он, например, в служении всенощной, длящейся всю ночь, служит затем обедню, после которой председатель за монастырскою трапезой. А потом, глядишь, в полдень, по нестерпимой жаре, бредет чрез двор в сопровождении нескольких монахов.

И до вечера то там, то сям видно его, постоянно занятого и спокойно, неторопливо отдающего приказания. Даже в *архондарике* * (гостиной) за чаем ему не дают покою; явится монах, поклонится ему в ноги, примет благословение и вполголоса долго говорит ему что-то. Отец Макарий выслушает и одним словом, часто одним движением головы сделает распоряжение. Говорит ли, или смеется не в меру кто-либо из монахов в архондарике за столом, игумен только взглянет в его сторону — и монах вдруг смолкает, смущенно и с виноватым выражением глядит вокруг. Немало надобно тонкого ума, такта, кротости и сноровки, чтобы держать в порядке братию, ладить с Протатом и со всеми властями. Не легко держать игуменский посох».

«Опасаясь явиться пристрастным (добавляет далее от себя г. Красковский), так как, повторяю, я очень любил почившего отца игумена, решаюсь сказать о нем более существенное чужими словами. „Архимандрит Макарий, пишет г. Смирнов в указанной выше статье:

Невысок ростом, худощав; большая борода и длинные волосы с проседью (в последнее время они были уже со-

* *Архондарикон* — приемная для архонтов, для важных лиц. Русские монахи, которые попросту, переломали это звучное греческое слово в какой-то жалкий «фондарик».

вершенно седыми) придают особую мягкость его доброму и выразительному лицу. По случаю болезни глаз, он носит дымчатые консервы, и это мешает разглядеть его прекрасные серые глаза. Разговор у него неторопливый, голос негромкий и негустой, порою будто срывающийся. По тому выражению, с которым взгляды монахов останавливаются на архимандрите, сразу видно, что он тут глава не по одному названию. Я с любопытством вглядывался в приятное лицо игумена, о неутомимой деятельности и административных способностях которого так много слышал.

Архимандрит Макарий занимает две небольшие комнаты с низкими потолками и маленькими окнами. Прежде у игумена была одна комната, так как другую занимал покойный старец Иероним. Деревянные диваны, несколько гнутых стульев, два-три стола и шкаф составляют все убранство игуменской кельи; ни одного мягкого кресла, никаких намеков на роскошь и комфорт; по стенам несколько икон и портретов, на окнах простые белые шторы, во всем простота, доведенная до последней степени”.

20 Когда г. Смирнов вошел к почившему отцу Макарию, комната „была полна народом, мирскими и монахами, пришедшими к игумену за различными распоряжениями перед праздником. Увидя такое многолюдное сборище, я хотел было воротиться назад, но отец Макарий уже увидел меня и поднялся из-за письменного стола, за которым сидел. Я извинился и просил его не отрываться от занятий.

— Да, действительно, — сказал мне архимандрит, — накануне праздника (храмового) дела накопилось немало. Вот сами видите. — Он показал наполненную народом 30 комнату. — Уж извините, через четверть часа я буду свободнее. А пока не желаете ли мою дачу посмотреть?

На небольшой балкон, который игумен назвал своею дачей, пришлось проходить чрез соседнюю комнату, которую, как я уже говорил, занимал отец Иероним. Тут помещается теперь спальня отца Макария, отличающаяся такою же, как и его кабинет, если еще не большею, строгостью обстановки. Спит игумен почти на голых досках,

имея под головою жесткую кожаную подушку. Маленькая дверь ведет на узкий деревянный балкон, уставленный кадками с цветами, под остальными окнами игуменской келлии, выходящими в другом направлении, обширная каменная терраса, окруженная чугуною решеткой и заменяющая крышу здания ризницы. С террасы открывается прекрасный вид на монастырь, на море, на горы, с выходящею из-за них острою вершиной Афона. С маленького балкона, на котором я очутился теперь, вид гораздо уже: видны берег, часть залива и вдали горы Македонии, но на балконе была такая прохладная тень, в то время как полуденное солнце немилосердно накалило стены, крыши и каменный пол террасы, открывающийся пред нами уголок вида так ярко и красиво освещен, что я охотно присел отдохнуть на игуменской "даче" ¹⁰.

Отец Макарий тоже любил наслаждаться этою картиной, в глубокой задумчивости повторяя поэтическое песнопение: *Свете тихий святых славы... Пришедше на запад солнца, видеши свет вечерний, поем Отца, Сына и Святаго Духа Бога...* ²⁰

Но это были редкие минуты, когда отец Макарий находил возможным отдыхать душой в природе, хотя и любил ее поэтической любовью, потому что все свои силы и все свое время он употреблял на исполнение иноческого долга и обязанности игуменской. День его начинался в глубокую полночь, когда братия несколькими ударами в колокол возбуждалась на келейное правило, которое требовалось исполнить до начала полунощницы и которое для схимонаха, каким был отец Макарий, заключается в *тысяче двухстах поясных и ста земных поклонах*. Зимой ³⁰ сейчас после полуночи, а летом ранее ее, звонят к заутрени. Вместе с утренею для отца Макария, как первого в монастыре духовника, начиналась очень бодрственная, деятельная, сосредоточенная жизнь. Двери небольшого параклиса в Покровском соборе, за которые один за другим, без отдыха для духовника, входили желавшие исповедываться, осаждались такою плотною толпой монахов и пок-

лонников, что пот катился по их лицам. По два, по три часа дожидались очереди, лишь бы только проникнуть за эти заветные двери и „у самого батюшки исповедаться”. Трудно, пожалуй, этому поверить, но это факт, что отец Макарий, особенно поклонников, иногда по часу и более времени исповедывал, зато и исповедь эта была такою, какую у латынян называют „генеральною”. Отец Макарий не допрашивал о грехах, особенно по требнику, как это делают некоторые неопытные или небрежные духовники, а исповедывающийся сам во всем сознавался, вследствие одного намека прозорливого старца, глядевшего таким ласковым, всепрощающим, но в то же время глубоким взором, что тот невольно чувствовал пред собою присутствие Всеведущего и Всемилосердного, но и Карающего, а потому содрогался душой и падал ниц в трепетном сознании своей греховности. Некоторые поклонники приезжали на Афон нарочно для того только, чтобы исповедаться у отца Макария.

После утрени отец Макарий немедленно шел в один из параклисов совершать свою игуменскую, так называемую раннюю литургию, которая оканчивалась почти всегда одновременно с позднею, начинающеюся полутора часами позже. Игуменской литургии предшествовала панихида о каком-либо из новопреставившихся „благодетелей” обители или иноков. После панихиды начиналась проскомидия с продолжительными поминаниями просивших отца Макария молиться о них. Несколько иноков из толстых переплетенных книжек читали имена поминаемых, в то время как игумен вынимал частицы об их здравии или упокоении. Во время проскомидии читались часы медленно, внятно, большею частью кем-нибудь из иноплеменных новичков- послушников.* Литургия осложнялась особыми афонскими прошениями о России на сугубой эктении „о еже утверди-

* В время моего пребывания на Афоне часы на игуменской литургии почти ежедневно читались или маркизом де-Гр—о, или одним отставным обер-офицером из евреев. *Примеч. 2. Красковского.*

ти в земли нашей мир и благочестие”, о том, „чтобы Господь разрушил совет дерзновенно восстающих на попрание власти, Господом установленной”, чтобы Вседержитель „исполнил долгою дней Благочестивейшего Государя Императора нашего Александра Александровича, да совершит вся во славу Господню и во благо народа своего”; затем тоже продолжительными поминаниями на эктениях целых сотен имен жертвователей в монастырь, отсутствующих и больных иноков, а также присутствующих в храме богомольцев. Почти такое же, только сокращенное, поминовение происходило и во время великого выхода со Св. Дарами. После литургии непременно служилось молебствие иногда девяти, даже двенадцати Святым одновременно, и отец игумен сам своим слабым голосом пел такое молебствие. 10

Оканчивалась литургия, но для игумена не было отдыха. В коридорчике у дверей его келлии уже дожидались многочисленные просители из келлиотов, пустынножителей, сиромах и мирских, преимущественно греков. Лишь только игумен входил в свою келию, как эта толпа буквально врывается за ним в дверь, так что приходилось запира́ть эту дверь на замок, чтобы дать отцу Макарию возможность выпить хоть чашку чаю и за ней отдохнуть две, три минуты. Когда отец Макарий и приглашенные им гости усаживались (а гостям этим во избежание натиска от греков-просителей приходилось иногда проходить через келейную комнату), как сейчас же подавалось неизбежное глико,* причем отец игумен выпивал рюмку фруктового, домашнего рому, закусывал вареньем и принимался за большую чашку густого московского чаю, причем в скоромные, то есть рыбные дни, допускал роскошь — кушал чай с известными филипповскими сухарями. Но лишь только одна чашка чая была выпита, как сейчас же растворялась дверь и являлись просители-греки. У кого из них келлии требовали починки, у кого калива разваливалась, 20
30

* Просто варенье с водою.

кто просил платья, кто обуви, кто сколько-нибудь денег. Игумен терпеливо выслушивал каждого, направлялся к своему письменному столу, отпирал его ящик и раздавал кому золотую лирку, кому серебрянный меджид или половину меджида. На платье и обувь выдавались особые билеты, с которыми получившие их отправлялись в обширный монастырский склад, из которого выдавались требуемые вещи. На склад этот работали обширные мастерские, устроенные отцом Макарием. Однажды только мне пришлось выслушать отказ отца игумена в выдаче подрясника какому-то сиромаше, а именно, когда потонуло монастырское судно с несколькими тысячами подрясников.

— Нет подрясников, — проговорил отец игумен, — потонули подрясники. Знать мы плохо молились.

В числе просителей о денежном пособии являлись нередко и русские богомольцы, израсходовавшие в пути, чаще всего потому, что в Иерусалиме, благодаря образцовой неисправности турецкой почты, по целым месяцам напрасно поджидали присылки денег из дому. Отец Макарий никогда не отказывал таким просителям и даже не домохозяевам, а простым малороссийским батракам выдавал в долг (как они просили об этом) по 25 и более рублей. Почти не было случая, чтобы эти деньги не возвращались богомольцами, чаще же всего они отсылались обратно с излишком на поминовение или свечи. Многие из богомольцев испрашивали у отца Макария в долг ценные иконы.

Не успев еще выслушать всех просителей, отец Макарий шел вместе с прочею братией в столовую участвовать в братской трапезе, после которой возобновлялись беседы с просителями, а в почтовые дни начиналась письменная работа, захватывавшая все время отца игумена до десяти часов вечера, за исключением, конечно, времени, необходимого для вечерни и повечерия, на которых отец Макарий почти всегда лично присутствовал и лично же читал акафисты. Это чтение акафистов в праздничные дни было особенно торжественно».

Выписки мои из чужих статей на этот раз длинные; но, повторяю, едва ли кто посетует за это на меня. Сам я гостил на Святой Горе давно; а гг. Смирнов и Красковский очевидцы недавние, и впечатления их свежее, чем мои.

К тому же и восемнадцать лет тому назад, если бы мне пришлось писать о деятельности и образе жизни отца Макария, я не сумел бы, вероятно, лучше этого сказать. Все это верно и *все это было и тогда*, когда я проживал подряд по 5—6 месяцев на Афоне, в 1872 году, отъезжая куда-нибудь в «мир» только на короткое время... Та же удивительная бодрость, при сложении вовсе не особенно крепком, та же доброта, та же симпатичность, тот же ум, те же *три с половиной часа сна* после необычайно трудового дня; та же щедрость к бедным; та же способность служить во храме с глубоким чувством и особым торжественным изяществом, поражавшим не только усердного богомольца, но и всякого посетителя.

К этим строкам двух русских паломников мне пришлось бы прибавить немного; разве только несколько личных воспоминаний, мне особенно дорогих, для других же имеющих мало значения.

Теперь, когда долг справедливости исполнен, мне предстоит более трудная и менее приятная обязанность — указать на то, в чем мои воспоминания о Руссике и о самом отце Макарии несколько разнятся от свидетельств г. Красковского.

ГЛАВА А

Второе мое, не слишком важное и даже не совсем решительное возражение или замечание на рассказ г. Красковского о молодости и пострижении отца Макария — состоит в следующем. Г. Красковский говорит, что родители позволили М. П. Сушкину постричься на Афоне и вообще там, где он хочет. У меня в памяти, напротив того, осталось впечатление, что отец его уступил и смягчился только в виду «совершившегося факта». Этим, мне кажет-

ся, и объясняются долгие колебания отца Иеронима и игумена Герасима, когда дело шло о пострижении молодого и богатого купца. У г. Красковского сказано, что отец Иероним колебался постричь именно «больного» Сушкина. У меня же из рассказов самих этих покойных подвижников сохранилось в уме другое воспоминание. Вот какое. Греко-русская община Св. Пантелеимона в то время едва только начала воссоздаваться из расстройств и такой крайней нужды, что монахи собирались уже покинуть ее и разойтись по другим обителям. Духовное начальство Российской Церкви и без того жаловалось неоднократно правительству нашему на слишком неразборчивые пострижения русских поданных на Святой Горе. Понятно поэтому, что и грек-игумен, от. Герасим, и духовник русской братии, от. Иероним — оба считали долгом своим прежде всего заботиться о вверенной им Богом общине и находили правильным принести в жертву духовные потребности одного юноши внешнему спокойствию многих; ибо это внешнее спокойствие всей братии как русской, так и греческой, необходимо для посвящения всех помыслов и забот одной лишь духовной жизни. Но когда этот юноша заболел уже так опасно, что казался вовсе безнадежным, — его постригли немедленно и даже прямо в схиму (по свидетельству самого автора). Опасно больных постригают вообще охотно, не только на Афоне, но даже и в русских монастырях, менее свободных (граждански), чем восточные.

Многие, заметим кстати, и понять не могут — зачем же это умирающего постригать? Ведь он жить уже по-монашески не будет. Обетов самоотвержения — уже исполнить на этой земле не в силах. Это какой-то бессмысленный, старый обычай, какая-то формальность, самообольщение, которое понятно было в суеверные времена Иоанна IV и Бориса Годунова, но теперь!? И «теперь», и тогда, во времена московских Царей, основы и общий дух Православия были неизменны... И тогда, и теперь умирающие постригаются не для того, чтобы жить на земле по-монашески, а для того, чтобы чистыми предстать пред

страшным судилищем Господним. Пострижением уничтожаются и омываются все прежние грехи, а тех новых, в которые будет неизбежно впадать живой монах, оставшийся опять на земле, умирающий уже совершить не успеет.

Однажды я у этого самого отца Макария спросил:

— Что такое пострижение — *таинство* это или только священный обряд?

— Оно относится к таинству покаяния и есть его высшая степень, — отвечал он.

Я никогда не встречал такого определения в катехизисах и, не будучи сам богословом, могу в этом случае ручаться по совести только за достоверность моего свидетельства, а не за догматическую правоту афонского аскета. Быть может, вопрос этот относится к числу тех не решенных еще окончательно высшим церковным авторитетом вопросов, которых, по мнению иных русских богословов, еще существует довольно много в системе восточно-православного учения (так думает, между прочим, о. Иванцов-Платонов). И эта неоконченность системы Восточно-Православия не только не должна пугать нас, но, напротив того, она должна нас радовать, ибо такое положение дел ручается за то, что Церковь Православная может не только еще продолжать свое *земное существование*, посредством одного строгого охранения, но и *жить*, т. е. развиваться далее на незыблемых апостольских корнях своих.

Если определять пострижение так, как я его определил со слов о. Макария (и многих других монахов), то, разумеется, становятся понятны предсмертные пострижения, и отказывать в них желающим духовные отцы не имеют ни права, ни основания.

Сушкина же даже и *больного* колебались постричь; но умирающего постригли немедленно, не ожидая никак, что он встанет и принесет со временем обители такое множество нравственной пользы и такое обилие вещественных выгод.

Я уехал с Афона в Царьград в самом конце 1872 г., взволнованный и огорченный теми серьезными размерами,

которые приняла уже тогда греко-болгарская распря, и впервые начиная прозревать вовсе не церковные и не богомольные цели тех самых болгар, которых и мне не раз в должности консула приходилось поддерживать. Я написал тогда две статьи для «Русского Вестника»: одну, общеполитическую, «Панславизм и греки», а другую, более специальную, о начинавшихся национальных распрях и на Св. Горе: «Панславизм на Афоне». Последняя была писана отчасти для русских читателей, отчасти же в ответ на фантастические нападки руссофобской греческой газеты «Босфорский Маяк» (Phare du Bosphore).^{*} «Маяк» (между прочим, как слышно было, получавший помощь от германского посольства) страстно обвинял русских монахов на Афоне в политическом Панславизме.

Это была решительно ложь и доказывало только еще раз, как я был прав, находя уже в то время, что «интеллигенция» православного Востока, и греческая, и славянская — одинаково вся сплошь гораздо менее нас, русских, расположена к лично-религиозным чувствам, а занимается лишь весьма противной и неосторожной игрой в политическое Православие. И греки, и болгары более образованного класса не верили даже и тому, что я жил так долго на Святой Горе из-за личных, душевных побуждений, и считали меня, конечно, ловким притворщиком и особого рода агентом генерала Игнатьева. И это в то самое время, когда многие из русских друзей и сослуживцев моих, зная до какой степени это неправда, не только верили в мое личное увлечение Афоном и монашеством, но по другого рода недостаточности (все-таки более сердечной, чем восточно-единоверческая) опасались за мое психическое состояние.

В вышеупомянутой статье «Панславизм на Афоне», в которую г. Красковский, может статься, в свое время и заглянул мимоходом как «старожил» Катковской редак-

^{*} Статья эта была переведена мною самим по-французски и издана тогда же в Константинополе отдельной брошюрой.

ции, есть одно место, где я говорю о том же, о чем и теперь, т. е. защищаю русских монахов от напрасных обвинений в преднамеренном и сознательном «славизме» на Св. Горе. Я привожу там несколько примеров и кратко рассказываю историю и причины удаления трех-четырех русских людей на Афон, не называя их по имени, ибо они все были тогда живы: двое из купцов (отцы Иероним и Макарий), один из офицеров и один безграмотный мужик-троечник.

Об отце Макарии я нахожу там вот что: «приезжает¹⁰ на Афон, на поклонение, богатый купеческий сын; он и дома был мистик и колебался давно, что предпочесть: клубук и рясу, или балы, театры, трактиры, торговлю и красивую, добрую жену? Он заболел на Афоне; он умоляет грека-игумена и русского духовника постричь его хоть пред смертью. Игумен и духовник колеблются, добросовестность их опасается обвинения в иезуитизме. Молодой человек в отчаянии, положение его хуже, жизнь его в опасности. Он опять просит. Его наконец постригают. Он выздоравливает; он иеродиакон, иеромонах, архимандрит; он служит каждый день литургию, он исповедует с утра до вечера; он везде — у всенощной, на муле, на горах; на лодке в бурную погоду; он спит по три часа в сутки; он беспрестанно в лихорадке; он в трапезе каждый день ест самые постные блюда, — он, которого отец и братья миллионеры; его доброту, ум и щедрость выхваляют даже недруги его; греки советуются с ним, идут к нему за помощью. Иные, напротив того, чем-нибудь на него раздосадованные, говорят: „все он с греками, все он за греков”²⁰

— Что это значит? *Панславизм*, конечно!?» — прибавляю я в насмешку над «Маяком».

Все это было писано под влиянием недавних впечатлений и вчерашних рассказов и прочтено прямо в печати обоими упомянутыми старцами. Отец Макарий по делам обители несколько раз после этого приезжал в Царьград; всякий раз виделся со мною, говорил об этой статье и не³⁰

делал мне никаких указаний на какую-нибудь ошибку в этих строках.

«Обвинение в иезуитизме» — так написалось мне тогда; под этими свежими впечатлениями, и я помню, что это слово «иезуитизм» я употребил потому, что о. Иероним, рассказывая мне о пострижении о. Макария, говорил так: «Сушкины люди очень богатые и сильные, мы опасались постричь его: отец мог обвинить нас в том, что мы кой-как поспешили постричь сына в надежде на богатый вклад. Мы не желали иметь в России такую худую славу и повредить этим обители. Человека по-проще можно было бы без таких колебаний постричь. Но умирающему как было отказать! Мы и положились на помощь Божию».

Итак, не столько болезнь, сколько богатство молодого Сушкина и его родителей — смущали игумена и о. Иеронима.

Чем сильнее болен человек, тем резоннее его скорее постричь добросовестным монахам, за богатством же во что бы то ни стало гонятся только тупые и недобросовестные игумены. И приснопамятный возобновитель Оптинской обители, архимандрит Моисей, забывал о деньгах, когда дело шло о других, высших соображениях.

Бог наградил упование отцев Иеронима и Герасима (игумена). Родители Сушкина приняли хорошо весть о пострижении сына, и вскоре прислан был от них на обитель большой денежный взнос. И с этого дня благосостояние и слава Руссика начала расти.

Молодой Сушкин принес обители благословение и счастье.

Вот мое, в сущности незначительное, возражение г. Красковскому.

Оканчивая эту главу, я перечел еще раз с начала и нашел в ней мало связи, очень мало отношения к настоящему предмету речи и, наконец, убедился даже, что и возражать о таком «оттенке» пожалуй что и не стоило. Но все-таки предаю ее на суд читателя, не исправляя ее и в

том виде, в каком она у меня, так сказать, вырвалась, под гнетом личных весьма сильных воспоминаний и личных же дорогих мне размышлений о духе и назначении монашества.

Сознаюсь в избыточности всех этих до дела прямо не касающихся отступлений и прошу мне их великодушно простить.

Кто пережил такие сильные внутренние перевороты, как я пережил на Святой Горе около двадцати лет тому назад, тому очень трудно воздержаться от подобных увлечений или излишеств!

И так приходится очень многое, слишком многое в себе подавлять и хранить!

Остается еще одно замечание — третье, последнее и самое главное.

ГЛАВА Б

Теперь следует мое последнее и самое главное возражение г. Красковскому.

В самом начале своей статьи об отце Макарии он говорил так:

«19 прошлого июня на Афоне скончался игумен и священно-архимандрит Св. Пантелеймонова монастыря отец Макарий, имя которого хорошо известно не только русскому, но и всему православному миру. Инок жизни высокоаскетической, он в то же время был великим патриотом и одним из тех замечательных русских организаторов Петровского типа, которыми собрана, устроена, возведена и прославлена Россия. Он восстановил на Афоне русское иночество, привлекал в управляемый им монастырь ежегодно тысячи русских поклонников из самых отдаленных окраин нашего обширного отечества и разнообразных слоев русского общества; самих турок заставил уважать русское иночество» и т. д.

По моему мнению, все это, что сказано в этих строках, надо отнести к отцу Иерониму, а не к отцу Макарию.

Отец Иероним был организатор; отец Макарий был только ученик и последователь его. Отец Иероним «восстановил на Афоне русское иночество» и т. д. Он создал новую русскую общину и прославил ее. Отец Макарий только сохранил и приумножил духовные его насаждения.

Это ясно прежде всего из того, что и самого отца Макария сформировал, утвердил и выучил — отец Иероним, нередко и жестоким искусом.

¹⁰ Эта неправильная историческая оценка весьма понятна со стороны г. Красковского: он отца Иеронима не видал, отца же Макария видел в полной духовной зрелости, в полной готовности к загробной жизни.

Я же видел их вместе в начале 70-х годов, видел сыновние отношения архимандрита к своему великому старцу; знал, что он уже и тогда, избранный в кандидаты на звание игумена в случае кончины столетнего старца Герасима, безусловно повиновался о. Иерониму и нередко получал от него выговоры, даже и при мне. Приведу только ²⁰ один пример.

Однажды пришлось архимандриту Макарию, по особому случаю, служить (не помню, в какой праздник) обедню за чертой Афона* на Ватопедской башне. Башня эта, служившая когда-то крепостью для защиты монашеских берегов, теперь имеет значение простого хутора или подворья какого-то, принадлежащего богатому греческому монастырю Ватопед.

³⁰ В башне есть очень маленькая и бедная домовая церковь. В ней-то и совершил о. Макарий литургию в сослужении молодого приходского греческого священника из ближайшего селения Ериссо́. Жители этого селения ненавидят афонцев, по древнему преданию, за то, что когда-то и какой-то из Византийских Императоров отнял у них

* Границей Святой Горы от «мира» считается небольшой ручей, текущий по кустам неподалеку от того места, где оканчивается плоский, низменный перешеек и начинается первая афонская крутизна.

землю и отдал святогорцам. Судя по тому, что сербский* монастырь Хилендарь — самый близкий из всех монастырей к черте Афона со стороны перешейка, вероятно (если только предание верно) земля эта досталась ему. Незадолго до моего приезда на Св. Гору сгорела у этого монастыря, и без того бедного, значительная часть прекрасного хвойного леса, и все подозревали, что жители села Ериссо нарочно подожгли его. Была ли какая-нибудь тяжба по этому поводу — не знаю; но помню, что сам о. Макарий рассказывал мне об этих враждебных отношениях соседних селян. Тем не менее он с молодым священником, приглашенным для совместного с ним служения, не только обошелся как нельзя ласковее, но даже на прощание подарил ему для его приходской церкви очень красивые и совсем новые воздухи белого глазета с пестрым шитьем. (О. Макарий привез их с собою, зная, до чего убога церковь на этой заброшенной башне.)

Когда, по окончании обедни, мы сели — он на мула, я на лошадь свою, — и поехали обратно в Руссик, о. Макарий сам сознался мне в этом добром деле своем, небольшом, конечно, по вещественной ценности, но очень значительном по нравственному смыслу (ибо это был дар святогорца представителю враждебного святогорцам селения).

Отец Макарий сказал мне с тем веселым и сияющим умом и добротой выражением лица, которое я так любил:

— Мне уж и его, бедного (т. е. молодого священника), захотелось утешить. Пусть и он повеселее уедет домой...

Отец Макарий сказал «и он», потому что он знал, как я был в этот день некоторыми обстоятельствами обрадован и утешен.

* Не знаю, как теперь, а в мое время монастырь Хилендарь был только по прозвищу *сербский*. Болгары, как мне говорили, мало-помалу заменили в нем сербов, потому что сербы вовсе стали отставать от монашества в XIX веке. В то время о них на Афоне почти что и не слышно было.

Он знал также, до чего я доброту и щедрость люблю по природе моей и как я в то время к монашеству привязался. Другому, быть может, он бы и не нашел нужным об этом сам говорить; но он угадывал, до чего мне будет приятно это слышать. Доброта глубокая часто гораздо виднее в мелочах жизни и тонкостях сердца, чем в случаях крупных; в последних нередко душа и жесткая, но не лишенная благородства, смягчается и становится добра. И каждый из нас, я думаю, в жизни своего сердца может припомнить такие случаи, когда какое-нибудь тонкое к нам внимание, внушенное другому человеку мгновенным и милым движением души, несравненно больше нас тронуло, чем самые серьезные благодеяния и услуги.

Так и в этом неважном, казалось бы, деле, в котором я был вовсе в стороне, в деле красивых, но недорогих воздушов, подаренных почти что врагу, и в улыбке, и в словах о. Макария, обращенных ко мне, когда мы тронулись в путь, — мое и без того так сильно расположенное к нему сердце прочло столько живой и тонкой любви, что мне захотелось тотчас же поцеловать его благородную руку! И будь мы одни, без свиты, я наверное и сидя верхом сделал бы это.

Да, меня восхитило это трогательное движение его сердца; но не так взглянул на дело общий нам обоим, суровый и великий наставник.

Когда, вернувшись в Руссик, я пришел в келью к о. Иерониму, он сказал мне при самом архимандрите.

— Отец Макарий-то, видели? Воздухи подарил священнику! С какой стати раздавать так уж щедро монастырское добро — и кому же: врагу Афонского монастыря!

Отец Макарий сначала молчал и улыбался только, а потом сказал что-то, не помню, до этого дела вовсе не касающееся, и ушел.

Оставшись со мной наедине, о. Иероним вздохнул глубоко и сказал:

— Боюсь я, что он без меня все истратит. Он так уж добр, что дай ему волю, так он все «тятинькино наследство в орешек сведет!»

Я, разумеется, стал защищать о. Макария, и мне было немножко досадно на старца, что он вместо того, чтобы разделять нашу небольшую духовную радость, охлаждает ее практическими соображениями.

На возражения мои отец Иероним отвечал мне кротко и серьезно, с одной из тех небесно-светлых своих улыбок, которые чрезвычайно редко озаряли его мощное и строгое ¹⁰лицо и действовали на людей с неотразимым обаянием. — Он сказал мне так:

— Чадочко Божие, не бойся! Его сердца мы не испортим... он уж слишком милосерд и благ. Но ведь игумену сто лет; я тоже приближаюсь к разрешению моему, — ему скоро придется быть начальником, пасти все это стадо... И где же? Здесь, на чужбине! — Само по себе — оно и хорошо, что он эти воздуха подарил, и вы видите по жизни наших монахов, что им самим-то ничего не нужно. Но монастырю средства нужны. И отца Макария надо ²⁰беспреданно воздерживать и приучать к строгости. Он у нас «увлекательный» человек...

Так сказал старец.

При виде этой неожиданной и неизобразимой улыбки на прекрасном величественном лице, при еще менее ожидаемой для меня речи на «ты» со мной, — при этом отеческом воззвании — «Чадочко Божие» — ко мне, сорокалетнему и столь грешному, — мне захотелось уже не руку поцеловать у него, а упасть ему в ноги и поцеловать ³⁰валеную старую туфлю на ноге его.

Даже и эта ошибка «увлекательный» вместо «увлекающийся» человек, — эта маленькая «немошь образования» в связи со столькими великими силами духа, и она восхитила меня!

Да, как ни высок был нравственно отец Макарий, едва ли бы он мог без отца Иеронима стать тем замечательным начальником, каким мы его знали.

Я говорил прежде о «самоваянии» иноков. Отец Иероним был человек железной воли по преимуществу. Его внутреннее «самоваяние», вероятно, имело целью прежде всего смягчить свое сердце, сломать, смирить свою по природе гордую волю. Возможно также, что именно с намерением отстранить от себя все искушения власти над кем бы то ни было, он так упорно и долго отказывался от иеромонашества и в России, и на Афонской горе, и только самое строгое повеление его святогорского наставника, старца Арсения, вынудило его принять хиротонию. Я слышал от него самого, что из России он уехал тогда, когда архиерей, полюбивший его, сказал ему: «мы тебя далеко поведем».

Отец Иероним был до того всегда покоен и невозмутим, что я, имевший с ним частые сношения в течение года с лишком, ни разу не видал — ни чтобы он гневался, ни чтобы он смеялся, как смеются другие. Едва-едва улыбнется изредка, никогда не возвысит голоса, никогда не покажет ни радости особой, ни печали. Иногда только он немного посветлее, иногда немного мрачнее и суровее. А между тем он все чувства в других понимал, самые буйные, самые непозволительные и самые малодушные. Понимал их тонко, глубоко и снисходительно. Все боялись его и все стремились к нему сердцем.

— Какое у него «тяжелое» лицо! — сказал мне один набожный юноша-грек, взглядевшись в него.*

— Как он умеет успокоить и утешить одним словом, одним взглядом своим, — говорили мне монахи.

И то, и другое было верно. Так действовал он и на меня.

Отец Макарий, напротив того, по самому темпераменту своему, видимо, был человек подвижный и горячий, чело-

* Выражение — *вари просопон* — в подобных случаях обычное переводится словом «важный»; но я нахожу, что к лицу покойного о. Иеронима идет больше такой перевод «тяжелое лицо», т. е. подстрочный [перевод] слова *варис*, и. В минуту суровости в его лице было действительно нечто спокойно-подавляющее, бесстрастно-гнетущее.

век любви и сердечных увлечений. Ему нужно было для успешного начальствования и для той внешней борьбы с людьми и обстоятельствами, к которой он был предназначен, несколько остыть и окрепнуть в руках человека покойного и непреклонного, но тем не менее искреннего в духовных вожелениях своих.

Что касается до милостыни собственно, то и о. Иероним славился на Афоне щедростью своей к нуждающимся. Я сам знаю, сколько он делал и вещественного добра. Но «смирять» ли он хотел от времени до времени архимандрита, ученика своего, делая ему выговоры даже и при мне и «готовя ему за крепость венцы», или в самом деле находил, что его доброта и щедрость переходят за черту рассудительности, — это я не берусь решить.

Это лучше моего знают те люди, которые с ними обоими жили дольше моего. Вообще я сознаюсь, что я сказал здесь очень мало об о. Иерониме, и даже то, что я сказал, совершенно недостойно ни его великого значения, ни его великого характера. Но что вместилось здесь, то и вместилось. Здесь невозможно изобразить со всей полнотою и ясностью его нравственный образ.

Заниматься мимоходом таким священным для меня делом я не стану; описывать же его житие так, как того бы требовала важность предмета, я теперь, по многим причинам, не могу.

МОЕ ОБРАЩЕНИЕ И ЖИЗНЬ НА СВ. АФОНСКОЙ ГОРЕ

I

Однажды на Афоне я разговаривал с отцом Иеронимом о тех неожиданных внутренних переменах, которые я в себе ощущал по мере того как вникал все больше и больше в учение Православной Церкви. Эти перемены и новые ощущения удивляли и радовали меня. Разговаривая так, я дошел до мысли, что было бы полезно поделиться когда-нибудь с другими этой историей моего «внутреннего перерождения». Отец Иероним согласился, но прибавил: «При жизни вашей печатать это не годится. Но оставить после себя рассказ о вашем обращении, это очень хорошо. Многие могут получить пользу; а вам уже тогда не может быть от этого никакого душевредительства». Потом он, весело и добродушно улыбаясь (что с ним случалось редко), прибавил: «Вот, скажут, однако на Афоне какие иезуиты: доктора, да еще и литератора нынешнего обратили».

Это о действительной, автобиографической моей исповеди. Но, с другой стороны, он же находил, что можно написать и роман в строго православном духе, в котором главный герой будет испытывать в существенных чертах те же самые духовные превращения, которые испытывал я. Роман такого рода он благословлял напечатать при жизни моей, потому что многое во внешних условиях жизни было бы изменено и не было бы ясно: я ли это или не я. Мысль эта пришла мне самому, а не ему, но он ее охотно одобрил, находя, что и эта форма, как весьма популярная и занима-

тельная, может принести пользу как своего рода проповедь.

Эти беседы мои с великим Афонским старцем происходили в 72 или в 71 году. С тех пор в течение восемнадцати лет я постоянно думал об этом художественно-православном труде, восхищался теми богатыми сюжетами, которые создавало мое воображение, надеялся на большой успех и (не скрою) даже выгоды. Радостно мечтал о том, как могут повториться у других людей те самые глубочайшие чувства, которые волновали меня, и какая будет от этого им польза и духовная, и национальная, и эстетическая. Все это я думал в течение 18 лет; думал часто; думал страстно даже иногда; думал, не сделал. Я ли сам виноват, обстоятельства ли (по воле Божией) помешали, не знаю. «Искушение» ли это было или «смотрение Господне», не могу решить. Мне приятнее, конечно, думать, что это было «смотрение», двояко приятнее: во-первых, потому что это меня несколько оправдывает в моих собственных глазах («Богу не угодно было»; «обстоятельства, видимо, помешали»); приятно думать, что хоть в этом не согрешил перед Богом и перед людьми. И еще приятно не по эгоистическому только чувству, но и по той «любви» к людям, о которой я никогда не проповедывал пером, предоставляя это стольким другим, но искренним и горячим движениям которой я, кажется, никогда не был чужд. Близкие мои знают это.

В чем же любовь? Хочется, чтоб и многие другие образованные люди уверовали, читая о том, как я из эстетика-пантеиста, весьма вдобавок развращенного, сладострастного донельзя, до утонченности, стал верующим христианином и какую я, грешный, пережил после этого долголетнюю и жесточайшую борьбу, пока Господь не успокоил мою душу и не охладил мою истинно-сатанинскую когда-то фантазию.

И победа духовного (мистического) рассуждения и чувства над рассуждением рациональным, к которому приучили меня и дух века, и в особенности медицинское воспита-

ние, и мое пристрастие смолоду к естественным наукам, эта победа тоже стоит внимания.

Что может больше повлиять в этом смысле: хороший, удачный роман, или откровенная внимательно написанная автобиография?

Вообразая себя на месте не твердых в Христианстве, полуверующих читателей (это, кажется, самый верный прием), думаю, что автобиография. Хороший, завлекательный роман, идеалистический, высокий по замыслу и направлению, и вместе с тем в подробностях реально написанный, может, конечно, иметь большое влияние. И тем более, что у нас истинно-православных художественных произведений вовсе нет. Считать «Братьев Карамазовых» православным романом могут только те, которые мало знакомы с истинным Православием, с Христианством Св. отцов и старцев Афонских и Оптиных.

Но, во-первых, еще вопрос: хорошо ли я написал бы его? Хорошо ли в смысле доступности общему вкусу? Ни одна из моих повестей, ни один из моих романов не только не имели шумного успеха, но и не заслужили ни одной большой журнальной, основательной критической статьи (хотя все они, эти романы и повести, были по крайней мере оригинальны, не похожи ни на Тургенева, ни на Л. Толстого, ни тем более на Достоевского). Все отзывы были краткие, как бы мимоходом; даже и самые похвальные популярности моей не увеличивали. Издавать их на свой страх никто не чувствовал особой охоты; это было так постоянно, что и я давно совершенно охладел к таким изданиям и мало думаю о них.

Опять скажу: я ли не умел заинтересовать большинство читателей; обстоятельства ли сложились странно и невыгодно, не знаю; но если в течение 28 лет (от 61 года, например) человек напечатал столько разнородных вещей в повествовательном роде и иные из них были встречены совершенным молчанием, а другие заслужили похвальные, но краткие и невнимательные отзывы, то что же он должен думать? Что-нибудь одно из трех: или что он сам

бездарен, что у него вовсе нет настоящего художественного дара; или что все редакторы и критики в высшей степени недобросовестные люди; что даже те почитатели и друзья его, которые на словах и в частных письмах превозносят его талант, тоже недобросовестны и не честны или беззаботны по-русски в литературном деле; или, наконец, что есть в его судьбе нечто особое (*habent sua fata libelli*).

На каком взгляде из трех христианину полезнее и правильное остановиться в моем частном случае?

Признавать мне себя недаровитым или недостаточно даровитым, «не художником», это было бы ложью и натяжкой. Это невозможно. Этого я никогда, ни от кого не слышал. Такого решения и смирение христианское вовсе не требует. В известные годы, созревши вполне и с огромным запасом житейского опыта, человек не может даже не сознавать (одного сравнения достаточно), что он добр, например, храбр, искусен в чем-нибудь, умен, физически силен, красив и т. д. Это все дары Божии, и как таковые все они отъяты могут быть Богом же или, и сохраняясь даже, не принести, однако, человеку для загробной его жизни ни малейшей пользы, и даже могут принести вред, если будут не по учению благодати развиты и направлены.

Не физиологическое смирение нужно, а духовное. Не нам, не нам, Господи, а имени Твоему!

Других всех, даже друзей и почитателей своих, считать людьми легкомысленными или недобросовестными, это было бы не только грешно и не честно, но даже и глупо! Какой вздор! Я мог бы назвать здесь многих. И стоило бы только назвать некоторых из них, чтобы обвинение в легкомыслии и недобросовестности оказалось невозможным. От некоторых из них я видел столько добра, что кроме самой живой признательности к ним ничего не чувствую. Однако и из них многие не сделали для моего имени, для успеха моих сочинений того, что они могли бы сделать.

Могли бы!.. Могли ли? Вот главный вопрос. Вот он! А если не могли?

Есть разные критерии возможности или возможного. Превосходный, практический врач, например. При благоприятных условиях и с моей и с его стороны он мог бы меня вылечить скорее и лучше всех других. Но он сам был болен и не выезжал, когда я был с ним в одном городе; он выздоровел и стал опять практиковать; а я незадолго перед тем уехал, и мы не встретились. Он бы и мог, да вот не мог же. Хотя и знал меня, и жалел, и хотел бы вылечить; но Богу не угодно было, чтобы он меня лечил. Почему же? Этого мы не знаем. Пути Господни неисповедимы.

Если бы я умер; если бы никто другой, кроме этого врача, не смог меня излечить; а ему нельзя было ездить ко мне, тогда судьба моя была бы понятна: я должен был умереть. Но я неожиданно вылечился в другом месте и у других врачей. Для чего же мы не могли тогда видеться? И т. д. Я мог бы привести множество подобных примеров из моей литературной жизни. Многие люди могли бы сделать много для моего прославления; они видимо сочувствовали мне, даже восхищались; но сделали очень мало. Неужели это явная недобросовестность их, или мое недостойнство? Да! Конечно, недостойнство, но духовное, греховное, а не собственно умственное или художественное. Богу не угодно было, чтобы я забылся и забыл Его; вот как я приучил себя понимать свою судьбу. Не будь целой совокупности подавляющих обстоятельств, я, быть может, никогда бы и не обратился к Нему...

Не нужен, не «полезен» мне был при жизни такой успех, какой мог бы меня удовлетворить и насытить. Достаточно, видно, с меня было «среднего» succès d'estime, и тот пришел тогда, когда (сравнительно с прежним) я стал ко всему равнодушнее. (Полного равнодушия не смели приписывать себе и великие аскеты; по свидетельству отца Иеронима, борьба с самолюбием даже у Афонских пустынников, живущих давно в лесу или пещерах, самая упорная из всех. Деньги им уже не нужны; к молитве постоянной и телесным подвигам они себя давно приучили, чувст-

венность слабеет с годами; но с самолюбием до гроба и этим людям приходится бороться!)

И убедившись в том, что несправедливость людей в этом случае была только орудием Божьего гнева и Божьей милости, я давно отвык поддаваться столь естественным движениям гнева и досады на этих людей. Человек может быть прав житейски, но он духовно грешен, и Бог неправедною рукой ближнего, как будто бы с вида ни за что, ни про что, наказывает и смиряет его.

Я не раз говорил с людьми духовного разума о том, обязан ли человек во всяком случае считать себя неправым, а ближнего правым? Все они отвечали согласно: «нет, не во всяком случае неправым, но во всяком случае перед Богом чем-нибудь да грешным!» Итак, видимо, Богу было не угодно, чтобы сочинения мои имели успех. С какою же целью в таком случае я буду писать роман? Почему же я при таком убеждении предпочту его посмертной автобиографии? При последнем выборе есть еще надежда на большой успех; на успех романа нет у меня надежды, как бы он ни был хорош. Но на что же мне этот посмертный успех? Мне, человеку верующему в вечность небесного и бренность земного? Не для себя, а для других. Ни избрание сердца, ни долг справедливости не запрещены нам.

Автобиографические, искренно написанные воспоминания всегда внушают больше доверия, чем роман.

Романист может иногда, не веруя сам, превосходно изобразить верования другого лица. Тургенев прекрасно изобразил чувства Лизы Калитиной (в «Дворянском Гнезде»); Л. Толстой истинно и правильно — религиозное настроение княжны Марии («Война и Мир»); Эмиль Зола в «Проступке аббата Муре» до того правильно и глубоко анализировал духовную борьбу молодого священника, что если устранить из этого изображения некоторые особые душевные оттенки, свойственные исключительно Католи-

честву, то в истории этой борьбы и православный монах может при сходных условиях узнать самого себя. Творчество Зола в этом случае гораздо ближе подходит к духу истинного личного монашества, чем поверхностное и сентиментальное сочинительство Достоевского в «Братьях Карамазовых». Лично же нет никакого сомнения, что Достоевский в то время, когда взялся писать «Карамазовых», гораздо ближе начинал подходить по роду верований своих к церковно-православному Христианству, чем Зола в то время, когда он писал свой роман. Зола настолько уже прославился, что если бы он ходил на исповедь к патеру и причащался, то мы бы давно об этом узнали, как узнали, что материалист Поль-Бер скончался покаявшимся католиком. Про Достоевского же мы знаем, что он говел и причащался; и хотя это еще не вполне доказывает, что человек действительно (наедине с самим собою и Богом) чувствовал и думал о вере совершенно правильно, однако все-таки и это имеет некоторый вес.

Я хочу этим сказать, что художественное творчество может быть обманчиво. Человек мог верить смолоду очень живо или иметь позднее временные возвраты к Церкви, временные колебания и теплые порывы к вере отцов. Он помнит прекрасно все эти чувства свои; учение в общих его чертах он знает, он дополнил чтением то, чего он не знал или о чем забыл. Он был знаком в жизни с истинно-религиозными людьми, беседовал, спорил с ними; не забыл их доводов, их возражений. Совокупность этих впечатлений такова, что при некотором усилии творческого воображения и неверующий романист может чрезвычайно верно изобразить не только поступки или речи своего религиозного героя, но и самую сокровенную последовательность его помыслов.

Но внушает ли это ту степень фактического доверия, какую желательно бы внушить неутвержденным людям? Конечно, не внушает.

Надо, чтобы читающий верил, что я сам верю... Я пишущий; я живой, реальный, современный ему человек, че-

ловек, выросший в среде сходной по воспитанию и впечатлениям со средою самого читающего.

Искренность личной веры чрезвычайно заразительна. Я знаю это по опыту; ибо и на меня в свое время имели другие большое влияние этою искренностию.

Многие, конечно, не допускают и мысли, чтобы человек образованный нашего времени мог так живо и так искренно верить, как верит простолудин по невежеству. Но это большая ошибка! Образованный человек, раз только он перешел за некоторую ему понятную, но со стороны недоступную черту чувства и мысли, может веровать гораздо глубже и живее простого человека, верующего отчасти по привычке (за другими), отчасти потому, что его вере, его смутным религиозным идеям никакие другие идеи не мешают.

Побеждать ему нечего; умственно не с кем бороться. Ему в деле религии нужно побеждать не идеи, а только страсти, чувства, привычки, гнев, грубость, злость, зависть, жадность, пьянство, распутство, лень и т. п. Образованному же (а тем более начитанному) человеку борьба предстоит гораздо более тяжелая и сложная, ему точно так же, как и простому человеку, надо бороться со всеми этими перечисленными чувствами, страстями и привычками, но сверх того, ему нужно еще и гордость собственного ума сломить и подчинить его сознательно учению Церкви; нужно и стольких великих мыслителей, ученых и поэтов, которых мнения и сочувствия ему так коротко знакомы и даже нередко близки, тоже повергнуть к стопам Спасителя, Апостолов, Св. Отцов и, наконец, дойти до того, чтобы даже и не колеблясь нисколько находить, что какой-нибудь самый ограниченный приходский священник или самый грубый монах в основе мирозерцания своего ближе к истине, чем Шопенгауер, Гегель, Дж. Ст. Милль и Прудон... Конечно, до этого дойти не легко, но все-таки возможно при помощи Божией. Нужно только желать этого добиваться; мыслить в этом направлении, молиться о полной вере еще и тогда, когда вера не полна. (По опыту

говору, что последнее очень возможно и даже не трудно; достаточно для этого быть сначала, как многие, деистом, верить в какого-то Бога, в какую-то высшую Волю.) Раз это чувство есть, раз есть и в уме нашем это признание, нетрудно хоть изредка, хоть раз в день, хоть при случае с глубоким движением сердца воскликнуть мысленно: «Боже всемогущий! Научи меня правой вере, лучшей вере! Ты все можешь! Я хочу веровать правильно; я хочу смириться перед верой отцов моих. Если она правильнее всех других, ¹⁰ покажи мне путь; научи меня этому смирению! Подчини ей мой ум! Сделай так, чтоб этому уму легко и приятно было подчиняться учению Церкви!»

И все это понемногу придет; придет иногда незаметно и неожиданно. *«Просите и дастся вам!»*

Раз же мы переступим сердцем за ту таинственную черту, о которой я говорил выше, то и сами познания наши начнут помогать нам в утверждении веры. Все атеисты или ²⁰ антитеисты нам послужат, и даже, чем самобытнее мы сами, чем мы способнее скептически отнестись ко всем величайшим приобретениям науки и вообще ума человеческого, тем менее могут авторитеты этой науки и этого ума помешать нам смиряться и склоняться перед тем, перед чем мы сами хотим, не обращая даже никакого внимания ни на Руссо и Вольтера, ни на Гегеля и Шопенгауера, ни на Фогта и Фейербаха...

За эту таинственную чертой все начнет помогать вере, все пойдет во славу Божию, даже и гордость моего ума! *«Что мне за дело до всех этих великих умов и великих открытий! Я все это давно знаю! Они меня уже ничем ³⁰ удивят... Я у всех этих великих умов вижу их слабую сторону, вижу их противоречия друг другу, вижу их недостаточность. Может быть, они и умом ошиблись, не веруя в Церковь; математически не додумались... упустили из вида то и другое... И если уже нужно каждому ошибаться, то уж я лучше ошибусь умом по-своему, так, как я хочу, а не так, как они меня учат ошибаться... Буду умом моим ошибаться по-моему; так ошибаться, как мне приятно; а не*

так, как им угодно, всем этим европейским мыслителям!.. А мне отраднее и приятнее ошибаться вместе с Апостолами, с Иоанном Златоустом, с митрополитом Филаретом, с отцом Амвросием, с отцом Иеронимом Афонским, даже с этим лукавым и пьяным попом (который вчера еще, например, раздражил меня тем-то и тем-то), чем вместе со Львом Толстым, с Лютером, Гартманом и Прудоном... Сами молодые философы наши, Грот, например, признают умственные, философские права чувства.

Вот как и гордость моего ума может привести ко смирению перед Церковью. ¹⁰

Не верю в безошибочность моего ума, не верю в безошибочность и других, самых великих умов, не верю тем еще более в непогрешимость собирательного человечества; но верить во что-нибудь всякому нужно, чтобы жить. Буду же верить в Евангелие, объясненное Церковью, а не иначе.

Боже мой, как хорошо, легко! Как все ясно! И как это ничему не мешает: ни эстетике, ни патриотизму, ни философии, ни неправильно понятой науке, ни правильной любви к человечеству. ²⁰

II

Был ли я религиозен по природе моей?

Было ли воспитание мое православным?

Стараюсь как можно точнее припомнить детство свое. Вспоминаю все что только могу вспомнить и о близких моих, и о самом себе, и говорю себе нерешительно: да и нет!

Дом наш, вообще сказать, не был особенно набожным домом. Отец мой был, кажется, равнодушен к вере; я не помню, чтоб он ездил в церковь; не помню, чтоб он говел; хотя знаю, что духовником его был не тот священник, который исповедывал мою мать, тетку, сестру и меня. У нас у всех сначала духовником был отец Лука, священник села Быкасова, а когда он скончался, то мы все стали ³⁰

говеть в селе Велине у отца Дмитрия, который только недавно умер почти 80 лет. Я не помню, чтоб отец говел; но умирая он причащался, и на похороны его приглашен был вместе с приходским (щелкановским) духовенством священник села Чемоданова. Тогда говорили: «надо за духовником его послать». Лет мне было тогда восемь (или девять), я ко всему этому относился очень невнимательно, потому что к самому отцу и к его смерти был совершенно равнодушен. Произвело на меня довольно сильное впечатление только то, что у чемодановского священника риза на похоронах была сшита из разных шолковых кусков, треугольниками, как шьются одеяла, и еще, что ни у кого я не видал так много мелких морщинок поперек лба, как у отца Афанасия (кажется, его так звали). Отец жил давно особо, не с нами, в небольшом флигеле, бедно убранном; в нем он заболел ужасною болезнью (*miserere*), в нем умер, в нем и лежал на столе в довольно тесной комнате. Это было зимой, и так как хоронить его желали в Мещовском монастыре, то сборы были долгие; лежал он около недели, и под столом стояли корыта со льдом. Около этого стола во время панихиды теснилось духовенство, едва помещаясь и толкая друг друга. Щелкановский дьякон, человек, которого лицо мне казалось тогда очень грубым и даже злым, как у разбойника, раза два оттолкнул очень грубо чемодановского батюшку в лоскутной ризе, и священник, обернувшись, посмотрел так грустно и жалобно, и морщинок на лбу у него сделалось так много, что мне стало его очень жалко. И родные мои говорили с сожалением: «Какие бедные облачения у чемодановского причта! Просто жалость глядеть!»

Вот все, что у меня сохранилось в памяти о похоронах отцовских. В Мещовск повезли его хоронить тетка с сестрой, я остался с матерью дома и очень хорошо помню, что ничуть не горевал и не плакал. Относительно религии отцовской помню еще два случая. Один вовсе ничтожный, другой поважнее. Принесли к нам как-то раз летом чудотворную икону Святителя Николая из села Недоходова.

Мы все вышли встречать ее. Отец первый приложился, прошел под нею, согнувшись с большим трудом, так как он был очень велик и толст. Помню его пестрый архалук из термаламы и как развевались белые волосы его от ветра над лысиной. Потом все стали тоже проходить под икону, и мне это очень понравилось почему-то. Не помню, проходила ли мать моя. Мне кажется, что нет: она не любила в точности исполнять обряды. Если бы она проходила, то я верно этого не забыл бы; я так ее любил и так охотно на нее любовался! (Она была несравненно изящнее отца; а для меня это по врожденному инстинкту было очень важно!) Я упомянул об этом потому, что только раз и помню отца исполняющим обряд. Что он когда-нибудь да говел, видно из того, что у него оказался духовник в последнюю минуту. Но я не сохранил в памяти ничего больше об его религиозности, может быть, и потому, что я был очень равнодушен к нему и мало им занимался. При утренней встрече поцелую руку, вечером подойду под благословение и тоже поцелую руку, и больше ничего. И он мною и моим воспитанием вовсе не занимался.

Другое обстоятельство было немного поважнее. Когда в первый раз семи лет я пошел исповедываться в большую нашу залу к отцу Луке (быкасовскому), и тетка мне велела у всех просить прощение, то я подошел прежде всего к отцу; он подал мне руку, поцеловал сам меня в голову и захохотавши сказал: «Ну, брат, берегись теперь... Поп-то в наказание за грехи верхом кругом комнаты на людях ездит!»

Кроме добродушного русского кощунства он, бедный, не нашел ничего сказать ребенку, приступавшему впервые к священному таинству!

По всему этому видно, что отец мой был из числа тех легкомысленных и ни к чему не внимательных русских людей (и особенно прежних дворян), которые и не отвергают ничего, и не держатся ничего строго. Вообще сказать, отец был и не умен, и не серьезен.

Совсем иного рода было влияние матери.

Про нее можно сказать так: она была религиозна, но не была достаточно православна по убеждениям своим. У нее, как у многих умных русских людей того времени, Христианство принимало несколько протестантский характер. Она любила только ту сторону Христианства, которая выражается в нравственности, и не любила ту, которая находит себе пищу в набожности. Она не была богомольна; постов почти вовсе не соблюдала и нас не приучала к ним, не требовала их соблюдения. Заметно было иногда, что она ¹⁰немножко даже и презирала слишком набожных людей. Например, она нередко с пренебрежением употребляла слова «ханжа», «ханжество» и т. д.; тогда как истинно и по-православному верующий человек никогда этих слов и не позволяет себе употреблять; ибо никто не может знать, почему другой так заботлив о внешней обрядности; и как бы ни казался ему нравственно нехорош очень набожный ближний, он всегда ищет в сердце ему какого-нибудь оправдания, даже и не любя его лично. (Например: этот человек так много молится именно потому, что кается, что ²⁰понимает сам, какой у него дурной характер; а это и есть смирение и т. д.)

Все это, однако, касательно матери я стал соображать, конечно, позднее, но в детстве моем я был ей все-таки гораздо более, чем отцу, обязан хорошими религиозными впечатлениями.

Молиться перед угловым киотом учила меня не мать, а горбатая тетушка моя Екатерина Борисовна Леонтьева, отцовская сестра. Но я помню хорошо, как сама мать молилась по утрам и вечерам. Когда незадолго до смерти отца ³⁰16-летнюю сестру мою Александру привезли в Кудиново из Екатерининского (петербургского) института, то мать моя вместе с нею молилась у себя в кабинете по утрам; а я часто еще лежа на диване слушал. Я рассказал об этом подробнее в другом месте (в воспоминаниях матери моей об Императрице Марии Феодоровне). Не знаю, как бывает это у других; но у меня те чувства мои, которые соединились с какою-нибудь картиной, лучше сохранились

в памяти. Помню картину, помню чувство. Помню кабинет матери, полосатый, трехцветный диван, на котором я, проснувшись, ленился. Зимнее утро, из окон виден сад наш в снегу. Помню сестра, оборотившись к углу, читает по книжке псалом: «Помилуй мя, Боже!» «Окропиши мя исопом и очищуся; омыеши мя и паче снега убелюся. Жертва Богу дух сокрушен; сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит!» Эти слова я с того времени запомнил, и они мне очень нравились. Почему-то особенно трогали сердце.

Позднее, когда сестра стала старше, все это изменилось; молитв у матери по утрам она больше не читала, потому что мать во всем дала ей больше противу прежнего воли. Но эти две первые зимы ежедневных утренних молитв не прошли для меня без следа. И когда уже мне было 40 лет, когда матери не было уже на свете, когда после целого ряда сильнейших душевных бурь я захотел сызнова учиться верить и поехал на Афон к русским монахам, то от этих утренних молитв в красивом кабинете матери с видом на засыпанный снегом сад и от этих слов псалма мне все светился какой-то и дальний, и коротко знакомый, ²⁰ любимый и теплый свет. Поэзия религиозных впечатлений способствует сохранению в сердце любви к религии. А любовь может снова возжечь в сердце и угасшую веру. Любя веру и ее поэзию, захочется опять верить. А кто крепко захочет, тот уверует. В детстве есть такие минуты, в которых мы более, чем в другие минуты, готовы к принятию сильных и глубоких впечатлений. Эти минуты очень редки, и потому мы вообще из детства нашего немного хорошо помним. Последовательно не помним ничего, а все в виде отдельных и мгновенных образов. Очень часто ³⁰ даже бывает, что случаи, возбуждавшие в детском уме особое внимание, вовсе не важны сами по себе; но, вероятно, какие-нибудь психические сочетания в эту минуту в высшей степени благоприятны для восприятия и сохранения впечатлений. Я рос, например, в деревне; мог ли я не видеть каждую зиму снега в саду, каждое лето цветов, полей, засеянных хлебами, птичьих гнезд и т. д.? Конечно,

видел все это с первых лет жизни и постоянно. Отчего же снег в саду или сад в зимнем уборе я запомнил только в один какой-то раз, в одно какое-то утро, когда я лежа на диване слушал слова псалма? Положим, что тут еще была особая причина: совпадение слов псалма с картиною, видной мне из окон («Омыеши мя и паче снега убелюся»). Но почему я в какой-то светлый летний день, именно в этот день, в этот раз, а не в другой, узнал впервые, какая разница между овсом, ячменем, пшеницей и рожью. Быть может, и прежде их показывали; однако я на всю жизнь сохранил память об одном этом только случае. Светлый день; голубое небо; я иду с теткой в поле, и она мне срывает колосья и показывает разницу. Почему еще я о цветах ничего не помню до той минуты (именно минуты), когда я (5 или 6 лет, а может быть, и 7 даже) подхожу к большому круглому столу в кудиновской гостиной и вижу на нем вазу с ранними цветами. В этот день, 18 мая, именины сестры, недавно взятой из института; я вижу в этой вазе только три сорта цветов: белые и лиловые. Я спрашиваю, как их зовут; и мне говорят: «это сирень; это нарциссы; а это темно-лиловые ирисы». Неужели я прежде не видал этих цветов и не говорил о них? Наверное и видал и говорил. Однако только с этой минуты у меня явилось и осталось на всю жизнь ясное, сознательное представление о первых красотах весны и лета; о том, что цветы в вазе на столе это что-то веселое, молодое, благородное какое-то, возвышенное... Все, что только люди думают о цветах, я стал думать лишь с этого утра 18 мая. И с тех пор я не могу уже видеть ни ирисов, ни сирени, ни нарциссов даже на картине, чтобы не вспомнить именно об этом утре, об этом букете, об этих именинах сестры (других ее именин я вовсе не помню). Вспоминаю всегда и о ней самой; об ее довольно веселой и оживленной молодости, о нашей тогда дружбе и о позднейшей ее весьма нерадостной судьбе и незначительной жизни.

В этом же роде я могу припомнить, при каких обстоятельствах я ясно сознал и запомнил, что такое парящий в

небе ястреб или орел. И многое я могу привести в этом роде на память, чтобы доказать, что неизгладимые следы в памяти нашей зависят не столько от важности самого случая или события, сколько от нашей готовности воспринять глубоко то или другое впечатление. Есть много вещей гораздо более замечательных и важных в нашей жизни, о которых мы или вовсе не помним и вспомнить и вообразить их даже с помощью других не можем; или забываем вовсе до тех пор, пока не увидим какой-нибудь давно не виданный предмет, относящийся к тому времени: письмо, книгу, портрет, мебель, дорожку в саду или в поле и т. д.

Например, когда в 70 году Маша, возвратившись от меня из Турции, сказала моей матери, что я, несмотря на все последние удачи мои по службе, стал очень тосковать и думать о том, чтобы кончить жизнь мою в монастыре, мать приняла это очень спокойно и сказала ей: «Это странно! Когда я его маленьким возила раз в Оптину, ему так там понравилось, что он мне сказал: „вы меня больше сюда не возите, а то я непременно тут останусь“». Я же не только этих слов моих, но и самой поездки в Оптину²⁰ вовсе не помню и вспомнить не могу. И мать моя до этого разговора с Машей никогда об этом случае не упоминала ни без меня, ни при мне. Такого важного обстоятельства моей детской жизни я вовсе не помню, а из числа менее важных и поразительных случаев я в течение всей моей жизни беспрестанно вспоминал о том, что первый раз, когда я помню мать мою ясно и хорошо, это был в один день ее причащения. Я ее поздравлял. Было это вот как. Тетка сказала мне: «поздравь маменьку; она причащалась сегодня». Я вышел в залу, в которой мать моя наигрывала что-то на фортепиано, и подошел к ней. Если я скажу просто: «мать нагнулась ко мне и поцеловала меня с улыбкой», это будет совсем не то, что я хочу сказать. Я хочу сказать, что ни прежде, ни после (в течение долгого времени) этого полудня я не помню лица моей матери в эти года. Тогда еще у нее не было морщин; я их не помню вовсе, по крайней мере, в эту минуту, когда она сидя у

фортепиано с нежною улыбкой нагнулась поцеловать меня, у нее было именно такое красивое, молодежливое и приятное лицо, как на акварели Соколова в круглом чепце и красном шелковом платье с воздушными рукавами. Только платье у нее было другое, белое кисейное с голубыми горошками. Не могу сказать и сам не могу понять, что на меня так сильно подействовало в этот краткий миг; но могу уверить, что я никогда не забывал его. Когда я вспоминал что-нибудь о детстве или о любви моей к матери, или о днях

10 Св. причащения, это мгновение одним из первых представлялось мне. После 20 лет я стал сочинять повести и романы. Иногда нужно мне было вообразить для них образованную, благовоспитанную, изящную и не старую еще мать! И тотчас же мне представлялось, что мой герой видит свою молодую мать после причастия, в зале, за фортепиано и непременно в кисейном белом платье с голубыми горошинками. Мне не пришлось нигде этого написать, ибо великое множество задуманного мною от 20 до 58 лет я

20 написать не мог; но мне всегда казалось, что если придется изображать такую молодую мать, то непременно надо ее представить в таком платье; иначе читатель даже будет менее будто бы тронут, как будто образ, на меня действующий, должен и на него точно так же подействовать.

Сам по себе этот случай, положим, мало объясняет главный вопрос, было ли мое воспитание православным или нет; но мне кажется, что он имеет вот какое значение: хорошо, чтобы в детских воспоминаниях религиозное соединялось с изящным. Чувство будет сильнее, полнее. Приятнее будет вспомнить.

30 Если я теперь начну внимательно припоминать все что могу относительно религиозного влияния на меня матери моей во время детства и отрочества, лет до 17—18, то мне придется сказать, что вообще оно было средней силы; она не вредила мне с этой стороны, но и не делала мне большой пользы. Остались у меня в памяти очень приятные воспоминания о некоторых богослужениях; изредка о зимних всенощных в кудиновской длинной зале, которые про-

изводили на меня впечатление. Несколько раз мы с матерью ездили на зиму в Петербург, сперва чтобы видеть сестру в Екатерининском институте и старших братьев в корпусах, потом чтобы взять сестру из института, когда она окончила курс; потом ездили уже с сестрой вместе туда. В эти зимы в Петербурге мать моя гораздо чаще ходила с нами к обедне и ко всенощной, чем в деревне. В Петербурге я ее видел несравненно более богомольною, чем в деревне. Причину я понимаю теперь; понимаю даже ее чувство. «Народничества» или «простонародничества»¹⁰ тогда вовсе не было у дворян. Если и было, то бессознательное и больше у тех, которые сами были «посерее», так сказать, и этим ближе к народу. Мать моя не любила «простого» народа; не любила толпы, тесноты и толкотни в храмах; принуждать себя много не находила нужным. Она хотела молиться для себя искренно, тепло; хотела молиться тогда, когда ее сердце требовало молитвы. Она, видимо, была из тех людей, которые не признают важности долгого принудительного и тяжкого (почему бы то ни было тяжкого) присутствия в храме. Она хотела не почтительного повиновения уставу и обряду, искала не подвига послушного (и отчасти сухого) выстаивания даже при неудобных, развлекающих или раздражающих условиях; она хотела молитвы горячей и покойной. Вот почему, я думаю, она некоторые петербургские церкви, особенно домовые, предпочитала не только деревенским, но и калужским, например. Когда я в течение 4-х с лишком лет учился в Калужской гимназии (от 44 до 49-го?) и вся семья наша зимы проводила в Калуге, я не помню, чтобы мать моя часто ездила в церковь. А в Петербурге она часто бывала³⁰ у обедни особенно в домовых церквях; или чаще всего она ходила и нас с сестрой водила в домовую церковь Института слепых. Ходили мы не с главной лестницы и не в самую церковь (самой церкви я даже ни разу и не видел!). Мы проходили через какое-то внутреннее крыльцо и по особой лестнице в просторную комнату с паркетным полом, из которой была боковая дверь в церковь. Богослу-

жения видно не было из нее, но возгласы и пение были очень хорошо слышны. Через эту комнату проводили к началу обедни в церковь и самих слепых по два в ряд, в длинных сюртуках. (Помню, что смотреть на них мне было очень неприятно; какая-то физически брезгливая жалость.) Остальные же впечатления были мне так приятны, что я даже раз или два отпрашивался у матери туда и без нее ко всенощной. (Мне было тогда уже 11—12 лет.) В этой зале или большой комнате с паркетным полом было очень чисто, светло и просторно; общество молящихся было избранное; не то чтобы исключительно знатное, но избранное в том смысле, что тогда в нее (не в самую церковь, всем предоставленную, а в эту боковую залу) можно было входить только по знакомству или рекомендации. Тогда швейцар впускал. Здесь обедня начиналась поздно; все почти стояли у стен; никто друг другу не мешал; никто не толкался, не «протискивался» вперед; не хватал рукой вас за спину или бок, чтобы оттолкнуть с места; никто не плевал на пол, не сморкался в руку, не «харкал». Можно было всегда достать стулья.

Здесь, я помню, мать усердно молилась; много крестилась; была сосредоточенна; клала поклоны охотно; Великим постом даже и земные, не брезгая здесь полом, как брезгала во многих других местах. Боже мой! Как я стал после 40 лет, после жизни на Афоне, понимать ее и даже сочувствовать ей! А было время, когда (между 20 и 40 годами) я не понимал ее в этом и не сочувствовал ей.

По этому поводу, то есть по поводу церкви «всенародных», так сказать, «тесных и многолюдных», и церковью особых, «дворянских» что ли, домовых и т. п., можно, я думаю, написать целое психологическое рассуждение и разобрать подробно, какое разнородное значение имеют эти храмы для души христианина. Но я боюсь слишком далеко отвлечься этим рассуждением, а приведу только один разговор, который я имел в Москве в 70-х годах с Дмитрием Васильевичем Аверкиевым и его другом Антроповым (который написал «Блуждающие огни»). Мы разговаривали о

чем-то касающемся Православия, и мне случилось упомянуть, что я по субботам бываю у всенощной или на Моховой в той церкви, которая по правую руку от Охотного Ряда (названия не знаю), или в той, которая в самом Охотном Ряду выступом (тоже забыл; где отец Иоанн Виноградов), или еще в маленькой дворцовой церкви, а по воскресеньям у обедни в университетской церкви; Аверкиев воскликнул: «Вот уж таких церквей, как университетская, не люблю! Мне нужна такая церковь, где мужик молится или стоит около меня какая-нибудь несчастная салопница с подвязанною щекой!» Я узнал тотчас же в этих словах моего умного и доброго собеседника мою собственную, прежнюю точку зрения, мое собственное объективное, так сказать, народничество 60-х годов. И мне когда-то (до жизни на Святой Горе) для пробуждения во мне какой-то тени или подобия религиозных чувств нужен был пример людей низших по умственному развитию, общество существ более простых, более наивных, как говорится; ибо во мне самом была тогда только смутная любовь к вере, но самой веры не было. А когда пришла настоящая вера, мне уже вовсе не нужны стали для сильных религиозных чувств ни мужик, ни салопница. Напротив того, они стали в храмах физически мне больше прежнего мешать. К 40-м годам здоровье мое сильно расстроилось, и для бедной, немощной плоти моей теснота в церкви стала слишком тяжела; толпа и теснота так развлекают и тревожат телесно, что я мог выдерживать их только как подвиг, послушание, принуждение, а сосредоточиться уже не мог так отрадно и усладительно, как сосредоточивался на молитвенных и покаянных мыслях в такой церкви, где никто мне не мешал, никто меня не толкал, не хватал руками за спину, не сморкался около меня в руку и т. д.

Когда Аверкиев сказал мне о том, что он не любит таких церквей, как университетская, я тотчас же вспомнил о бедной (уже несколько лет до этого умершей) матери моей, вспомнил об ее брезгливости и нервности и о том «народничестве», которому я был так долго сам причастен

и от которого более всего освободил меня Афон. И вспомнив обо всем этом, сказал Аверкиеву:

— Да, и я так думал и так чувствовал, пока сам не уверовал. И даже, помню, осуждал несколько мать свою покойную за ее слишком брезгливую дворянскую веру. Она никогда почти в обыкновенные приходские церкви не ходила и не ездила, а выбирала все такие, где было просторно, очень чисто и покойно. И мне когда-то казалось, что те светские дамы и образованные мужчины, которые ¹⁰ ходят в такие «избранные» церкви, не веруют так искренно, как веруют те мужики и салопницы, о которых вы говорите. Но мне пришлось позднее сознать мою ошибку. Когда я сам стал чувствовать сильную потребность молитвы и присутствовать при совершении таинства, то мне для души народ стал менее нужен. А для тела больного и усталого стало нужнее спокойствие. Поверьте мне, Дмитрий Васильевич, та вера еще не настоящая, которая ²⁰ нуждается в этих воздействиях «простых людей». Это чувство, «мужики и т. п.», чувство хорошее; в нем смешаны чувство эстетическое с гуманным или со славянофильским каким-то, патриотическим, пожалуй; но это не настоящее чисто-религиозное [чувство], которое заставляет человека искать молитвы для себя и радоваться всему тому, что устраняет рассеяние и раздражение. На что народ тому, кто хочет для себя молиться?..

Аверкиева я находил всегда одним из самых добросовестных (умственно) людей в России; он на это не отвечал ни слова, и я видел по доброму и ясному выражению его лица, что он понял, если еще не опытом сердца, то умом ³⁰ правду мою и не находил нужным противоречить мне. Что касается до Антропова, то он прямо сказал: «Я думаю, что вы правы!»

Конечно, если человек болезненный или очень брезгливый, подобно моей матери, понудит себя выстоять или даже отчасти и высидеть всюнощную или обедню в толпе и толкотне ревностных, но грубых и часто неопрятных простолюдинов, это будет с его стороны истинный подвиг,

который ему и сочтется (ибо понуждение зависит от нас, а умиление и радость молитвенная от Бога); можно похвалить его за это, поставить его при случае в пример, но избави нас Боже осудить такого человека за то, что он предпочитает домовые и просторные церкви церквам тесным и менее опрятным. Такова немощь его, зависящая от болезни или от тонкого воспитания с ранних лет, или от чего-нибудь другого. И совсем не следует думать так, как думают многие, что вера простолюдина непременно лучше, чище и сильнее нашей веры. Это просто вздор. Из того, ¹⁰ что один человек стоит около меня в старом зипуне и в лаптях и молится; а другой стоит в дорогом сюртуке от Бургеса или Lutun с Тверской, с хорошею тростью, и правую рукой крестится, а в левой, на которой французская перчатка, держит десятирублевую шляпу, никак не следует, что вера первого лучше, чище, сильнее. Это ужасный вздор и вздор даже в высшей степени вредный, потому что такая точка зрения унижает религию, а не возвышает ее.

— Я не верю религии моих образованных знакомых, но ²⁰ религии мужика, солдата, мещанки и простого монаха верю.

На это надо ответить так: В этом случае ваше самомнение, ваша гордость берут верх над вашим умом. Это не мысль хорошая, объективно беспристрастная; это дурное чувство. Вы веру не ненавидите сами по себе. Вы ее даже уважаете и любите. Но сами вы не умеете верить; и вам завидно, что некоторые ваши знакомые умеют верить, дошли как-то до этого; а вы со всем вашим умом никак до этого дойти не могли. И вот вы допускаете, что те люди, ³⁰ которые не знают того, что вы знаете, не читали того, что вы читали, не жили барином, как вы жили, могут известным образом чувствовать, а люди, схожие с вами по воспитанию, привычкам, образованности, не могут иметь ни «страха Божия», ни веры в чудеса и таинства, ни упования на загробную жизнь, а непременно должны притворяться или обманывать самих себя, когда они ходят в церковь,

причащаются, постятся и т. д... Вам досадно, вам не хочется признать, что эти люди, которых вы, может быть, не желаете ни в чем счесть выше себя, сумели развить в себе такие чувства, которые вам недоступны, и вы, вместо того чтобы обратиться к себе с строгим вопросом: «все ли я сделал, чтобы *добиться* такой веры», предпочитаете признать их какими-то притворщиками или фантазерами от нечего делать. Это гордость и зависть и больше ничего.

¹⁰ Вот что надо ответить таким людям. Такой образ мыслей допустим на время во всяком человеке, и умном, и хорошем; но упорствовать в нем прежде всего не умно, не глубокомысленно, не справедливо. Что за вера в *свое* рассуждение безусловно! *Проповедывать* же все подобное, как проповедует гр. Л. Н. Толстой, это просто злодейство!

Что за ничтожная была бы вещь эта «религия», если бы она решительно не могла устоять против образованности и развитости ума!

ОПТИНСКИЙ СТАРЕЦ АМВРОСИЙ

(ИЗ ПИСЬМА К РЕДАКТОРУ «ГРАЖДАНИНА»)

I

«Не будь побежден злом, но побеждай зло добром», — сказал ап. Павел.

Ведь мы все: и вы, князь, и я недостойный, мы все «верующие» — православные христиане: не будем же более радовать мелкими раздорами нашими наших общих врагов, которые не дремлют, как вы видите, и восстают с разных сторон, и в новых видах и с новым, разнородным оружием (Вл. Соловьев, Л. Толстой, разные ученые специалисты и даже Н. Н. Страхов, явившийся недавно жалким защитником Ясно-Полянского юрода)!¹⁰

Неужели добросердечность, неужели «мораль» будут уместны везде, кроме литературы?

Неужели только в литературе, под предлогом службы «идеям», будет разрешено и похвально всякая злопамятность, всякая жолчь, всякий яд, всякое упорство и всякая гордость, даже из-за неважных оттенков в этих идеях?

Нет! Не верю я этому! Не хочу верить — несправедности этого зла! Не хочу отчаяваться.²⁰

Блаженной памяти наставник мой и стольких иных людей русских от. Амвросий — во многих и многих случаях был одним из тех миротворцев, про которых сказано, что они «сынами Божиими нарекутся».

Он скончался, обремененный годами и недугами и утомленный, наконец, — непосильными трудами для исправления и спасения нашего...

Я счел бы себя крайне неправым, если бы не предложил вам, князь, перепечатать здесь, во-первых, начало небольшой заметки Евгения Поселянина о том, кем и чем был в міру о. Амвросий, когда и как он поступил в монахи и т. д., а потом описание его кончины и погребения (того же автора). С этого надо начать, а после, надеемся, Господь поможет нам и от себя еще что-нибудь прибавить.

¹⁰ «Иеросхимонах Амвросий, — говорит Евгений П., — старец Калужской Введенской Оптиной пустыни, преемник великих старцев Леонида (Льва) и Макария, мирно почил 10 октября, достигнув глубокой, почти 80-летней старости.

Он был уроженец Липецкого уезда, Тамбовской губ., происходил из духовного звания и назывался в міру Александр Михайловичем Гренковым. Успешно окончив курс, он был оставлен преподавателем при Тамбовской семинарии, и никто не думал, что он будет монахом, так как он в юности был общительного, веселого и живого нрава. Но будучи уже учителем, он стал задумываться о призвании человека, и мысль о полном посвящении себя Богу стала все сильнее овладевать им. Не без труда и не без колебаний он решил избрать иноческую жизнь, и, чтобы никто не мог отнять у него решимости, за которую он боялся, Александр Михайлович, не предупредив никого, лет 25-ти от роду, не взяв отпуска, тайно от всех ушел из Тамбова за советом к старцу Илариону. Старец сказал ему: „Иди в Оптину и будь опытной“. Уже из Оптины прислал он письмо епископу Тамбовскому Арсению (впоследствии митрополиту Киевскому), в котором просил извинить его за сделанный им поступок и излагал причины, побудившие его к тому. Владыка не осудил его.

³⁰ Из своего уединения отшельник звал к себе одного из своих товарищей по учению и по службе, ставшего впоследствии тоже оптинским иеромонахом, — и в восторженных словах описывал то душевное счастье, к которому он приблизился.

В Оптиной пустыни Александр Гренков, принявший при пострижении имя Амвросия, находился под руководством известного старца отца Макария.

Предвидя, какой светильник готовится монашеству в лице молодого инока, и любя его, отец Макарий подвергал его тяжелым испытаниям, в которых закалилась воля будущего подвижника, воспиталось его смирение и развились иноческие добродетели.

Как близкий помощник отца Макария и как ученый человек, отец Амвросий много потрудился в переводе и издании известных аскетических сочинений, которые обязаны своим воскрешением Оптиной пустыни.

По кончине — в 1866 году, отца Макария, — отец Амвросий был избран старцем.

Старец, руководитель совести — это лицо, которому поручают себя люди — миряне точно так же, как монахи — ищущие спасения и сознающие свою немощь. Кроме того, к старцам, как к вдохновенным руководителям, обращаются верующие люди в трудных положениях, в скорбях, в часы, когда не знают что делать, и просят по вере указания: „скажи мне путь мой, в онь же пойду”.

Отец Амвросий отличался особенною опытностью, безграничною шириной взгляда, кротостью и незлобием детским. Молва об его мудрости росла, к нему стал стекаться народ со всей России, а за народом пошли к нему великие и ученые мира. К отцу Амвросию приезжал Достоевский, был не раз — и граф Л. Толстой.

Всякий подходивший к отцу Амвросию выносил сильное, незабвенное впечатление, в нем было что-то действовавшее неотразимо.

Аскетические подвиги и трудовая жизнь уже давно изнурили вконец здоровье отца Амвросия, но до последних дней он никому не отказывал в совете. Великие таинства совершались в его тесной келии: здесь возрождались на жизнь, обеспечивались семьи, утихали скорби.

Великие милостыни текли от отца Амвросия всем нуждающимся. Но больше всего жертвовал он на свое любии-

мое детище — женскую Казанскую общину в Шамардине, в 15 верстах от Оптиной, которой предстоит великая будущность. Тут он провел последние дни и скончался».

(«Моск(овские) Вед(омости)» № 285; 15 окт.)

Из того же 285 № я выписываю другой отрывок г. Фед. Ч., изображающий очень верно характер деятельности усопшего старца.

«Оптина Пустынь — хороший монастырь. Хорошие в нем порядки, хорошие монахи, это Афонский монастырь в России... Но нет в нем таких святынь, как чудотворные мощи, как особенно прославленные иконы, — привлекающие русских людей в другие монастыри...

Почему же, зачем, к кому ездили и шли в Оптину: деревенская баба, изнывающая над пояском своего единокровного „ангельчика“, отошедшего от нее к Богу и унесшего с собой все ее земные радости; мужик с зарубелым телом, которому пришло в жизни „ложись да помирай“; мещанка с кучей ребятишек, не имеющая куда главу преклонить; дворянка, оставшаяся от мужа с дочерью „ни с чем“, и дворянин с семьей, по старости оставшийся без дела, с восьмью детьми, которому пришло „хоть петлю на шею“; ремесленник, торговец, чиновник, учитель, помещик — с разбитым здоровьем или с разваливающимся состоянием, запутанными делами и все с разбитыми сердцами?.. Почему, зачем, к кому ездили: сенатор с семьей из Петербурга, важные лица по управлению Империей, по управлению губернией, по управлению уездом, Митрополит из столицы, Великий Князь, член Царской Семьи, писатель, полковник из Ташкента, казак с Кавказа, целая семья из Сибири, износивший сердце и мысль атеист русский, запутавшаяся в делах ума и сердца русская полунаука, разбитое сердце отца, мужа, матери, оставленной невесты... Куда, к кому шло все это? В чем тут разгадка?..

Да в том, что тут, в Оптиной, было сердце, вмещавшее всех, тут были свет, теплота, радость, — утешение, помощь, уравновешение ума и сердца, — тут была благодать

от Христа, тут был тот, кто „долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит” — все ради Христа, все ради других, — тут была любовь, всех вмещающая, тут был старец Амвросий»...

Весьма хороши также следующие стихи, взятые мною из третьей статьи того же нумера (статья подписана только буквой А.).

10

Среди лесов, в стране далекой и глухой
Обитель мирная издавна приютилась,
Стеною белою от мира оградилась, —
И в небо шлет мольбу за пламенной мольбой.

Обитель мирная — приют больных сердец,
Разбитых жизнью, обиженных судьбою,
Иль чистых сердцем душ, предызбранных Тобою,
О, Всемогущий и Всеведующий Отец!

Пусть буря там вдали, немолчный гул валов,
Пусть пенится, кипит страстей житейских море,
Пусть волны грозные бушуют на просторе, —
Здесь пристань тихая у верных берегов...

Здесь так молитвенно и ласково шумит
Вершинами дерев сосновый лес, душистый;
Свой бурный бег смирив, здесь лентой серебрястой
Река между кустов задумчиво бежит...

20

Здесь храмы... иноки... и много лет живет
В лесу, в скиту святом здесь старец прозорливый;
Но мир о нем узнал: рукой нетерпеливой
Стучит уж в дверь к нему и просится народ...

Им принят всякий здесь: и барин, и мужик,
Богатый и бедняк, — всем нужен старец чудный:
Струей целительной в волненьях жизни трудной
Здесь утешенья бьет духовного родник.

30

Сюда, боец прискорбных наших дней!
В обитель мирную на отдых и молитву:
Как древний муж, гигант-боец Антей,
Здесь силой укрепясь, опять пойдешь на битву.

Здесь хорошо. Здесь можно отдохнуть
Душой усталою в борьбе за правду Божью,
И свежих сил здесь можно почерпнуть
На новый, грозный бой с безверием и ложью.

10 Тем, кто посещал Оптину, в особенности тем, кто долго жил в ней, — эти искренние стихи, конечно, напомнят много знакомых чувств и картин.

II

В № 295 «Моск(овских) Вед(омостей)», от 25 октября, Евгений Поселянин описывает довольно подробно кончину и погребение отца Амвросия; — я передам его рассказ в несколько сокращенном виде:

20 «Отец Амвросий (говорит Е. П.) недомогал уже очень-очень давно. 52 года назад он пришел в Оптину со слабым здоровьем; тому лет 25, возвращаясь в санях из Оптиного монастыря в скит, он был выброшен из саней, получил сильную простуду и вывих руки и от плохого лечения простым ветеринаром долго страдал. Этот случай окончательно расшатал его здоровье. Но он продолжал те же непомерные труды и то же страдное существование.

30 Доктора, по просьбе лиц, любивших старца, навещавшие его, всегда говорили, что его болезни — особенные, и ничего они сказать не могут. „Если бы вы спрашивали меня о простом больном, я бы сказал, что остается полчаса жизни, — а он, может быть, проживет и года”. Старец существовал благодатию.

Ему шел 79-й год.

3 июля 1890 года он выехал в основанную им женскую Казанскую общину в Шамардине, в 15—20 верстах от

Оптиной, — и более не возвращался. На эту общину, которая ему была чрезвычайно дорога, он положил свои последние заботы. Прошлым летом он собирался ехать обратно, уже вышел на крыльцо, чтобы сесть в экипаж; ему сделалось дурно, он остался. Зимой же у него появилась откуда-то новая икона Божией Матери. Внизу, среди травы и цветов, стоят и лежат ржаные снопы. Батюшка назвал икону „Спорительницей хлебов”, составил особый припев к общему богородичному акафисту и указал праздновать иконе 15 октября. 10

К концу зимы отец Амвросий страшно ослабел, но весной силы как будто вернулись. Раннею осенью стало опять хуже. Приходившие к нему видели, как иногда он лежал, сломленный усталостью, голова бессильно падала назад, язык еле мог произнести ответ и наставление, чуть слышный, неясный шопот вылетал из груди, — а он все жертвовал собой, никому не отказывал.

К концу сентября старец начал торопиться с шамардинскими постройками, велел все оставить и кончать скорей богадельню и детский приют. С 21 сентября началась его ²⁰ предсмертная болезнь. Появились нарывы в ушах, причинявшие ему сильную боль. Он начал терять слух, однако обычные занятия продолжались и он подолгу говорил с теми, кто приезжал из других мест и кому он был близок. Одной монахине он сказал: „вот это уж последние страдания”; но она поняла так, что ко всем тягостям жизни старца должно присоединиться и еще испытание, — мучительный недуг. Болезнь шла своим чередом, но мысль о смерти не приходила никому в голову.

С октября начались новые беспокойства: епархиальная ³⁰ власть требовала, чтобы старец вернулся в Оптину; архиерей должен был приехать, чтобы высказать свое желание. Батюшка говорил: „Вот приедет архиерей и много вещей нужно будет спросить ему у старца; много будет народу, а отвечать ему будет не кому — я буду лежать и молчать; но как только он приедет, я уйду пешком в мою хибарку”.

Наступали последние дни.

Великое утешение было послано отходящему старцу: он был оставлен наедине с собой. Нужно было видеть, что всегда, с утра до ночи, происходило около отца Амвросия, чтобы понять, какую малую часть дня он мог употребить на себя, на молитву о себе, на думы о своей душе. Страшная борьба могла бы омрачить последние дни старца, борьба между любовью к своим детям, которые толпой шли к нему, и жаждой пред отходом из мира остаться наедине с Богом и своею душой. Он стал глух и нем.

Раз как-то, когда стало лучше, он проговорил: „Вы все не слушаетесь, вот и отнял у меня Бог дар слова, и слух отнял, чтобы не слышать, как вы проситесь жить по своей воле“.

Его приобщили и соборовали; к нему ходили за благословением, и он старался осенить крестным знаменiem. Только его живые прозорливые глаза светились прежнею мудростью и силой. И тут он умел выразить свою ласку. Так, одному из ближайших монахов он раньше сделал горячее замечание по стройке и считал себя виноватым. Когда батюшку приподняли, чтоб оправить, он положил голову на плечо этого монаха и смотрел на него, точно прося прощения.

Последние семь дней он совсем не принимал пищи. Слух и речь, по-видимому, иногда возвращались; в предпоследнюю ночь он с одним из своих помощников говорил о делах Шамардина. Навсегда осталось скрытым, какие чувства и мысли возникали в оставявшей землю душе великого праведника; безгласный он лежал в своей келии; по движению губ было заметно, что он шепчет молитвы. Силы оставили его совсем. 10 октября, в четверг, он склонился на правую сторону; прерывистое дыхание еще показывало присутствие жизни; в половине двенадцатого он вдруг тихо затрепетал и отошел.

Выражение безмятежного покоя и ясности запечатлело черты его образа, при жизни светившегося такую беззаветную любовь и такую правдой.

В этот самый день, ровно в 11 1/2 часов, архиерей сел в карету, чтоб ехать к старцу. Когда на полдороге ему донесли, что отец Амвросий скончался и в котором часу, он был поражен. Он заплакал и сказал: „Старец сотворил чудо”.

Никакие слова не опишут той скорби, какую почувствовали шамардинские сестры. Они сперва не могли верить, что батюшка, их батюшка умер, что его нет с ними и не будет. Тяжелые картины горя наполнили монастырь, и по тому потрясающему впечатлению, которое произвела кончина отца Амвросия на всех знавших его, можно судить, что такое отец Амвросий.

Между Оптиной и Шамардиным долго шли переговоры о том, где хоронить батюшку. Синод решил хоронить в Оптиной. Невозможность сохранить у себя даже могилы старца было новым горем для Шамардина.

13-го числа батюшку отпевали. Церковь, в которой он стоял, представляет громадную залу с простыми деревянными стенами; на стенах местами картины-образа. Он сам устраивал эту церковь. В последние недели его жизни к этой церкви, которая есть не что иное, как зала стоявшего тут помещичьего дома с громадною пристройкой, окончательно приделали с правого бока целый ряд больших комнат, сообщающихся непосредственно с церковью окнами и дверями: сюда отец Амвросий задумал перевести из своих шамардинских богаделен тех убогих, которые не могут двигаться — их не нужно будет возить в церковь, чрез окна им будет всегда слышна служба.

Когда приехал из Оптиной архиерей, — совершили панихиду, и архиерей вошел в церковь при звуках: „аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа”!

Началась обедня. Когда стали произносить надгробные речи, а затем совершилось отпевание, поднялись страшные рыдания. Особенно трудно было смотреть на 50 детей, которых батюшка воспитывал в своем приюте. Во время службы видели, как неизвестная женщина подносила ко гробу младенца, молилась и плакала, точно прося защиты.

В этот день произошло событие, о котором много говорят. К батюшке часто ездила благотворительница Шамардина, жена очень известного московского торгового деятеля, г-жа П. У ее замужней дочери не было детей, и она просила батюшку указать, как лучше ей взять ребенка на усыновление. В прошлом году, в половине октября, батюшка сказал: „Через год я сам дам вам дитя”.

За похоронным обедом молодые супруги вспомнили слова батюшки и подумали: „вот он умер, не исполнив обещания”.

После обеда, у крыльца корпуса игуменьи, монахини услышали детский плач; у крыльца лежал ребенок. Когда дочь г-жи П. узнала о том, она кинулась к младенцу с криком: „Это батюшка мне дочку послал!” Теперь ребенок находится уже в Москве.

14 октября происходило перенесение тела отца Амвросия из Шамардина в Оптину. На всех это событие произвело впечатление не погребального шествия, а перенесения мощей. Стечение народа было громадное; большая дорога во всю свою очень значительную ширину была заполнена двигающимся людом, и все-таки шествие растянулось на две версты. Большинство провожавших прошли пешком весь длинный, около 20 верст, путь, несмотря на сильнейший ливень, продолжавшийся все время. Так возвращался он „пешком в свою хибарку!” В селах встречали его перезвоном колоколов, священники в облачениях с хоругвями выходили из церквей. Женщины пробирались через толпу и прикладывали детей ко гробу. Были люди, которые несли, не сменяясь, переходя только с одной стороны на другую.

Больше всего поразило всех следующее несомненное знамение. По четырем сторонам гроба монахини несли зажженные свечи безо всякого прикрытия. И страшнейший ливень не только не загасил ни одну свечку из них, но не слышно было ни разу треска капли воды, падающей на фитиль.

15 октября — в тот же день, как батюшка установил праздновать иконе „Спорительнице хлебов”, его похорони-

ли. Об этом совпадении догадались только потом. Невольно думается, что, покидая своих детей, эту икону отец Амвросий оставил как знак своей любви и своей постоянной заботы об их насущных нуждах.

Посреди Оптинской церкви в честь Казанской иконы Божией Матери, которую особенно чтит старец, стоял его гроб, окруженный множеством иеромонахов, при торжественном чине архиерейской службы.

Посещавшие Оптину помнят за стеной летнего собора, слева от дорожки, белую часовню над могилой предшественника и учителя отца Амвросия, старца Макария. Рядом с этою часовней, на самой дорожке, вырыли могилу. Во время работ коснулись гроба отца Макария; деревянный ящик, в котором он стоял, весь истлел, а самый гроб и вся обивка после 30 лет остались неприкосновенны. Рядом с этим гробом поставили новый гроб, сверху насыпали небольшой холм. Это — могила отца Амвросия.

Те, кто знали, какую жизнь прожил отец Амвросий, не могут примириться с мыслью, что тело его постигнет общая судьба.

В Оптиной пустыни особых перемен не может быть; там остался тот же архимандрит; там же и любимый батюшкин ученик, отец Иосиф, которому, уезжая из Оптиной, отец Амвросий поручил свое дело».

(Прибавим от себя: и другой его же ученик — скитоначальник отец Анатолий, сам уже давний духовник и многоопытный старец.)

«Но положение Шамардина гораздо тяжелее (говорит дальше Евгений П.). Шамардино существовало одним отцом Амвросием; ему нет и десяти лет. Строй жизни этой общины, ее история, значение, которое ей придавал отец Амвросий, его пророчества о ней, все это говорит об ее великом уделе.

Но пока ее крест тяжел. Всякое слово о кончине отца Амвросия тут — крик заболевшего сердца, вопль существа, у которого отняли все.

Пятьсот сестер остались почти без средств и без руководителя.

Отец Амвросий предсказал, что обители предстоят жестокие испытания; но он говорил также: „Без меня вам еще лучше будет”.

Вера в старца одна поддерживает сестер».

Мне почти нечего прибавить к рассказу преданного старцу автора.

10 Необходимое все сказано, и я могу только свидетельствовать, что он верно и правильно оценивает дух и заслуги нашего общего наставника.

Что касается до основательного и подробного жизнеописания отца Амвросия, то оно еще впереди.

Найдется несомненно раньше или позднее в среде его многочисленных почитателей и учеников и такой человек, который решится возложить на себя этот богоугодный и уж, конечно, — занимательный труд.

20 Здесь же я, в заключение, позволю себе напомнить, что многие думают, будто отец Зосима в «Братьях Карамазовых» Достоевского более или менее точно списан с отца Амвросия. Это ошибка. От. Зосима только наружным, физическим видом несколько напоминает от. Амвросия; — но ни по общим взглядам своим — (наприм(ер), на *перерождение государства в Церковь!*), ни по методу руководства, ни даже по манере говорить — мечтательный старец Достоевского на действительного Оптинского подвижника не похож. Да и вообще от. Зосима ни на какого из живших прежде и ныне существующих русских старцев не похож. *Прежде всего все эти старцы наши вовсе не так слащавы и сентиментальны, как от. Зосима.*

30 От. Зосима это воплощение идеалов и требований самого романиста, а не художественное воспроизведение живого образа из православно-русской действительности...

СОДЕРЖАНИЕ

ВОСПОМИНАНИЯ, ОЧЕРКИ, АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Несколько воспоминаний и мыслей о покойном Ап. Григорьеве	7
Моя литературная судьба	27
Моя литературная судьба. 1874—1875 года	72
Мои воспоминания о Фракии	140
Моя исповедь	228
Отец Климент Зедергольм, иеромонах Оптиной Пустыни	253
Воспоминание о Ф. И. Иноземцове и других московских докторам 50-х годов	352
Рассказ смоленского дьякона о нашествии 1812 года	363
Пасха на Афонской горе	373
Князь Алексей Церетелев	388
Н. П. Игнатьев	398
Разбойник Сотери	404
Мой приезд в Тульчу	444
Польская эмиграция на Нижнем Дунае	458
Консульские рассказы	488
Майносские староверы	508
Поединок	529
Арестованный	536
Рассказ моей матери об Императрице Марии Феодоровне	552

Сдача Керчи в 55 году	621
Тургенев в Москве. 1851—1861 гг.	696
Воспоминание об архимандрите Макарии, игумене русского монастыря Св. Пантелеймона на горе Афонской	748
Мое обращение и жизнь на Св. Афонской горе	782
Оптинский старец Амвросий	805

КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ
ЛЕОНТЬЕВ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЕ И ПИСЕМ
В 12-ТИ ТОМАХ

Том 6

Книга первая

*Утверждено к печати
Редколлекцией полного собрания сочинений
К. Н. Леонтьева*

Подписано к печати 19.08.2003. Формат 60×90 1/16. Бумага офсетная
Гарнитура Академическая. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 51.6. Уч.-изд. л. 39.6. Тираж 1500 экз.
Тип. зак. № 4756

Издательство «Владимир Даль»
193036. Санкт-Петербург, ул. 7-я Советская, д. 19

Отпечатано с готовых диапозитивов
в Академической типографии «Наука» РАН
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12

